

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ | ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
Дмитрий
Сечин

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В 18 ТОМАХ

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

ТОМ 11

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ
(«РУССКАЯ МЫСЛЬ»: 1955–1972)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДМИТРИЙ СЕЧИН
МОСКВА 2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6
А28

Вступительная статья, составление, подготовка текста
и примечания

Т.М. Климова, О.А. Коростелев, С.Р. Федякин

Художник
Екатерина Березина

Адамович Георгий Викторович

А28 Собрание сочинений: В 18 т. Т. 11: Литература
и жизнь: «Русская мысль» (1955–1972) / Вступ.
статья, сост., подгот. текста. и примеч. Т.М. Кли-
мовой, О.А. Коростелева, С.Р. Федякина. —
М.: Изд-во «Дмитрий Сечин», 2018. — 683 с.
ISBN 978-5-904962-46-3 (общ.)
ISBN 978-5-904962-66-1 (т. 11)

Том составили критические работы Георгия Викто-
ровича Адамовича (1892–1972), публиковавшиеся в па-
рижской газете «Русская мысль» с 1955 по 1972 год под
рубрикой «Литература и жизнь».

Эти статьи и заметки за редким исключением не пере-
печатывались и впервые собираются под одной обложкой.
Собранные вместе, они дают широкую панораму русской
литературы по обе стороны баррикад в отражении тонкого,
глубокого и непрдвзятого критика.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

© Т. Климова, О. Коростелев,
С. Федякин, составление, вступи-
тельная статья, примечания, 2018
© Е. Березина, оформление, 2018
© Издательство «Дмитрий
Сечин», 2018

ISBN 978-5-904962-46-3 (общ.)
ISBN 978-5-904962-66-1 (т. 11)

**«Надо печататься и во Франции...»:
Георгий Адамович в парижской газете
«Русская мысль»**

После окончания Второй мировой войны Париж перестал быть столицей русской эмиграции — некоторые старшие эмигранты умерли, младшие погибли, многие писатели эмигрировали в Америку. Газеты и журналы («Числа», «Последние новости»), которым критик был обязан славой, прекратили свое существование. Центром журналистики русского зарубежья стал Нью-Йорк.

Адамович печатается в новых недолговечных изданиях: альманахах «Встреча», «Русский сборник», «Орион», нью-йоркском журнале «Новоселье». С 1945 года входит в штат просоветской газеты «Русские новости», основанной бывшим сотрудником Милюкова А.Ф. Ступницким, где пишет статьи и рецензии о литературе и кино. Через пять лет он уходит из «Русских новостей» и начинает публиковаться в идеологически нейтральном «Новом русском слове», газете, издававшейся в Нью-Йорке еще с 1910-х гг.

Сразу после окончания войны об оппозиционном по отношению к сталинской России издании в Париже не могло быть и речи. Но в 1947 году юрист и журналист В.А. Лазаревский в противовес «патриотической» газете создал «Русскую мысль». В первом же номере учредитель обозначил позицию издания: «Смирение перед Россией, непримиримость к советчине»*. В состав редколлегии вошли министр внутренних дел в правительстве А.И. Деникина В.Ф. Зелеер, генеральный секретарь парижского Союза русских писателей и журналистов В.В. Полянский и бывший сотрудник «Последних ново-

* Лазаревский В.А. Русская эмиграция перед лицом России // Русская мысль. 1947. 3 мая. № 3. С. 1.

стей» С.А. Водов. Из эмигрантских писателей с первого номера в газете публиковались Б.К. Зайцев (руководил литературным отделом), И.С. Шмелев, Н.Н. Берберова. С 1954 г. постоянным литературным критиком и обозревателем «Русской мысли» стал Ю.К. Терапиано — он писал преимущественно об эмигрантских изданиях, рецензировал новые номера журналов «Возрождение», «Грани», «Новый журнал», «Современник», «Опыты», альманахов «Воздушные пути» и «Мосты», но не оставлял без внимания и творчество советских поэтов*.

О сотрудничестве с «Русской мыслью» Адамович стал задумываться с начала 1950-х гг. Но некоторые знакомые критика были убеждены в том, что ставший «просоветским», «полумосковским» Адамович не станет работать в издании с прямо противоположными идеологическими установками. Он писал А.В. Бахраху 16 февраля 1953 г.: «Меня Люб. А. Полонская не уговаривала, нет, а просто приговорила к тому, что “конечно, вы откажетесь писать в этой газете!”». Для нее это само собой разумелось. Зайцев был будто бы у нее и говорил, почему собственно А-чу отказываться, а она махала на него руками**». Призывая Бахраха принять приглашение Алданова сотрудничать в газете, Адамович намекает, что сам бы не отказался там печататься, аргументируя это отсутствием «твердокаменности в принципах»: «Меня никто в газету не приглашал. Скажу Вам правду, что, опозорившись в одном месте, почему бы не опозориться в другом? Если бы мне предложили что-нибудь выгодное и лестное, я едва ли бы ломал комедию с принципами. Но сам я закидывать удочку ни в коем случае не стану, а до сих пор никто меня туда не звал. Если Вас, хотя бы косвенно, приглашает столь почтенное лицо, как Алданов, — соглашайтесь, с сохранением достоинства и видимости раздумия и колебания. А за Вами, может

* Советской поэзии Ю.К. Терапиано посвящал как общие обзоры, так и персональные статьи, см., например: «Антология русской советской поэзии 1917—1957» (1958. 15 марта), «Ленинградский альманах» (1958. 31 мая), статьи о П.Г. Антокольском (1958. 19 июля), Г.Н. Петникове (1961. 10 июня), Н.А. Заболоцком (1965. 30 октября) и др.

** Письма Георгия Адамовича А.В. Бахраху / Публ. Вадима Крейда и Веры Крейд // Новый журнал. 1999. № 217. С. 58.

быть, и я устроюсь на тепленькое литературно-театральное местечко. Честное слово, я не могу притворяться, что я стопп непримиримости и общественной морали, когда мне все равно, о чем передовая статья. Вас, м.б., возмутит этот цинизм. Но я не вижу цинизма. Всякая политика — грязь, о чем есть верный афоризм у П. Валери. И я чувствую себя достаточно запачканным, чтобы играть в недотрогу»^{*}.

В 1954 году, после смерти В.А. Лазаревского, главным редактором «Русской мысли» становится С.А. Водов и планирует перестроить газету — сделать ее «милюковско-демократической», что не может не импонировать Адамовичу. Но, несмотря на просьбы главного редактора о сотрудничестве, критик колеблется. Как, впрочем, и некоторые «демократы», в числе которых оказались Н.В. Вольский, Б. Суварин, М.В. Вишняк, В.А. Маклаков, А.А. Поляков. Адамович советуется с Алдановым в письме от 11 февраля 1956 г.: «Я получил от Водова письмо с предложением сотрудничества и с просьбой ответить, да или нет. <...> Мне не хочется ответить Водову то, что ответили ему уже многие, но, насколько знаю, — не Вы: пусть сначала появится у Вас Х. или Y. в качестве “заложника демократии”. Каждый должен и решать, и отвечать за себя. Что на меня будут всех собак вешать, — теперь скорей слева, чем справа, — не сомневаюсь. Но меня это мало трогает. Сотрудничество в “Р<усской> м<ысли>” мне было бы скорей приятно, потому что это — Париж, а не что-то заокеанское и далекое, как другая планета. Это доводы — “за”. Есть, конечно, и против. <...> известно ли Вам что-нибудь об отношении “демократов” к “Р<усской> м<ысли>” с тех пор, как мы с Вами виделись?»^{**}.

Несмотря на то, что решение было принято до обращения к Алданову (об этом свидетельствует признание,

^{*} Письма Георгия Адамовича А.В. Бахраху / Публ. Вадима Крейда и Веры Крейд // Новый журнал. 1999. № 217. С. 58.

^{**} «...Не скрывайте от меня Вашего настоящего мнения...»: Переписка Г.В. Адамовича с М.А. Алдановым (1944–1957) / Предисл., подгот. текста и коммент. О.А. Коростелева // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2011. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2011. С. 444.

адресованное А.С. Гингеру 28 января 1956 г.: «Я буду писать в “Русской мысли” после долгих колебаний, в ответ на приглашение»*), Адамович пишет еще одному «демократу», бывшему заместителю редактора «Последних новостей» и сотруднику «Нового русского слова» А.А. Полякову: «На Рождестве, в Париже, я два раза виделся с Водовым, теперь единоличным редактором “Русской мысли”. Вы, вероятно, слышали о его желании перестроить газету на “демократический” лад. <...> Но у него — всяческие затруднения. Все “демократы”, к кому он обращался, — в частности, Алданов, — говорят: да, *roui quoï ras* [почему бы и нет. — *фр.*], но пусть у Вас сначала появится такой-то, дабы сомнений в демократичности “Р<усской> м<ысли>” больше не было. А эти “такие-то” — Вишняк и др., даже Маклаков, — отвечают то же самое, и получается порочный круг. Водов очень обескуражен и не знает, что делать. Лично о моем сотрудничестве у меня были с ним разговоры уклончивые, и я тоже держался линии “*roui quoï ras?*”, без чего-либо определенного. Вчера я от Водова получил письмо с просьбой ответить: да или нет? Вот об этом я у Вас и спрашиваю. <...> Ответьте мне, что Вы на моем месте сделали бы? Тактика “пусть сначала другие” мне противна. Каждый должен решать за себя, не боясь всяких княгинь Марий Ал<ексеев>н**».

В ответном письме от 13 февраля 1956 г. Алданов замечает, что «заложники демократии» в «Русской мысли» уже появились — это Вольский и Суварин. И признается в том, что Суварин тоже одержим сомнениями, но уже по другому поводу — стоит ли ему уходить из газеты? Алданов пишет: «Я ему с полной искренностью ответил, что не вижу для этого никаких оснований, что теперь, при Водове, “Р<усская> мысль” очень мало отличается

* Письма Георгия Адамовича / Публ. и примеч. В. Крейда // Новый журнал. 1994. № 194. С. 280–281.

** BAR. Ms Coll. Poliakov. Box 1. Folder 1. Цит. по: «...Не скрывайте от меня Вашего настоящего мнения...»: Переписка Г.В. Адамовича с М.А. Алдановым (1944–1957) / Предисл., подгот. текста и коммент. О.А. Коростелева // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2011. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2011. С. 450–551.

по направлению от “Нового русского слова”, в котором и меньшевики, и эсеры часто печатаются. Только то же самое могу сказать и Вам. <...> Вам, по-моему, теперь еще потому не очень приятно было бы отказаться, что все-таки из-за Вас (хотя Вы тут и ни при чем) Водов, очевидно, отказался от сотрудничества Глеба Струве*. И думаю, что все-таки в самом деле надо печататься и во Франции. Ведь живущие во Франции русские не читают “Нового русского слова”, как почти не читают и “Нового журнала”, и “Опытов”**.

15 марта 1956 года в «Русской мысли» появляется первая статья Адамовича «Не ко двору: Достоевский в СССР». После месяца сотрудничества в газете он с удовлетворением отмечает в письме к Алданову: «Мы думали до сих пор, что это газета правая, в нашей, гукасовской линии, а теперь сомнения нет — это “Последние новости” и линия милюковская»***.

Сотрудничая в «Русской мысли», Адамович продолжает публиковаться в «Новом русском слове», а в октябре 1956 года просит разрешения печатать некоторые статьи в обеих газетах. Он обращается к Вейнбауму, редактору «НРС»: «Считаете ли Вы возможным помещение одной и той же статьи в “Н<овом> р<усском> слове” и в парижской “Русск<ой> мысли”? Разумеется, не о всякой статье речь. Обыкновенные отзывы, рецензии и т.п. в счет не идут. Но при сотрудничестве в двух газетах бывает иногда жаль дать статью лишь в одну из них, и невольно колеблешься: в какую именно? Никакой “конкуренции”, мне кажется, быть не может:

* Редакция «Русской мысли» отказалась опубликовать статью Г.П. Струве об Адамовиче (она была напечатана через год в другом издании: *Струве Г.* Об Адамовиче-критике: По поводу книги «Одиночество и свобода» // Грани. 1957. № 34/35. С. 365—369). С осени 1955 г. сотрудничество Г.П. Струве с «Русской мыслью» прекращается, его следующие публикации в газете появились лишь пять лет спустя.

** «...Не скрывайте от меня Вашего настоящего мнения...»: Переписка Г.В. Адамовича с М.А. Алдановым (1944—1957) / Предисл., подгот. текста и коммент. О.А. Коростелева // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2011. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2011. С. 447.

*** Там же. С. 455. Письмо от 13 апреля 1956 г.

Нью-Йорк и Париж друг от друга далеки, и, в частности, достать в Париже “Н<овое> р<усское> с<лово>” почти невозможно, если не быть на него подписчиком. Вероятно, так же обстоит дело с “Р<усской> м<ыслью>” в Америке^{*}. Не получив ответа от редактора, Адамович заручается поддержкой Я.М. Цвибака по поводу статьи к юбилею Алданова и присылает Вейнбауму статью о московском балете с припиской: «В дальнейшем я буду считать “молчание” знаком согласия на помещение некоторых статей в обеих газетах»^{**}. Статья «Московский балет» выходит и в том, и в другом издании с разницей в три дня^{***}.

В дальнейшем Адамович публиковал некоторые статьи в обеих газетах, но с условием: писать «не об отдельных книгах, а взгляд и нечто»^{****}. Условие было поставлено Вейнбаумом, тогда как Водов не имел ничего против печатания одних и тех же статей. Но иногда критику приходилось хитрить: «Вот теперь, недели через две, мне хотелось бы написать об Алданове (скорей о человеке, чем о писателе). Куда послать? А писать две статьи и разные, но о том же, — не хочется, да и трудно. Пожалуй, я кое-что изменю в каждой, чтобы не все было одинаково»^{*****}.

В жанре «взгляд и нечто», подразумевавшем не анализ конкретного произведения, а общие рассуждения, Адамович писал и некоторые статьи, посвященные эмигрантской литературе. В «Русской мысли», по договоренности с Водовым, с 1967 года он обозревал советские книги, а эмигрантская литература оставалась за Терапиано. Но иногда делал исключения, в чем признавался Р.Н. Гринбергу 11 июня 1965 г.: «Мне не хочется вступать в соперничество с Терапиано и вторгаться в его область. Вот на днях хочу написать о новой книге

* Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University. Mark Weinbaum papers. Gen MSS 106. Box 1. Folder 1.

** Там же.

*** Русская мысль. 1956. 15 ноября. № 978. С. 4—5; Новое русское слово. 1956. 18 ноября. № 15849. С. 8.

**** Письмо А.С. Гингеру от 17 ноября 1956 г. Письма Георгия Адамовича / Публ. и примеч. В. Крейда // Новый журнал. 1994. № 194. С. 285.

***** Письмо А.А. Полякову от 19 марта 1957 г. BAR. Ms Coll. Poliakov. Box 1. Folder 1.

Зайцева*, — и Водов об этом предупредил Терапиано, — но это будут именно общие рассуждения»**. Об этом же Адамович пишет и А.В. Бахраху 5 марта 1968 г.: «Я твердо условился с Водовым, почти уже год тому назад, писать исключительно о советских книгах (сегодня написал о Бабореко). Терапиано крайне честолюбив, возомнил себя великим критиком — и я ему тоже сказал, что в его область, т.е. в эмигрантскую лит<ературу>, вторгаться не намерен»***. Впрочем, нельзя сказать, что это разделение критических пространств твердо соблюдалось — Ю.К. Терапиано неоднократно писал о советской литературе, большое внимание уделяя поэзии шестидесятников, нередко противореча взглядам Адамовича. К примеру, из поэтов оттепели Терапиано выделял Андрея Вознесенского и писал в рецензии на его сборник «Антимиры» (М.: Молодая гвардия, 1964): «Подобно тому, как футуристы стремились взорвать и поставить вверх дном все поэтическое хозяйство классиков, символистов и акмеистов, Вознесенский так же (словесная ткань, образы, ритмы, интонация), как его “Гоген”, хочет “параболой гневно пробить потолок Королевского Лувра”. Мы же, старшее поколение, видевшее прежних футуристов, поражены не столько этой кажущейся новизной и революционностью, сколько одаренностью самого “новатора”»****. Адамович же был убежден, что по степени «даровитости» Вознесенского намного превосходит Евтушенко: «Невозможно сомневаться: это настоящее дарование, сильное, свежее и легкое, это “Божьей милостью” дарование! <...> Талант во всяком случае первостепенный, и надо иметь “пробку вместо уха”, — как выражался Ремизов, — чтобы этого не

* Статья вышла три недели спустя: Адамович Г. «Далекое» Б. К. Зайцева // Русская мысль. 1965. 7 августа. № 2344. С. 1.

** «Поговорить бы с Вами долго и длинно и даже посплетничать...»: Переписка Г. В. Адамовича с Р. Н. Гринбергом (1953–1967) // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 416.

*** Письма Георгия Адамовича А.В. Бахраху (1966–1968) / Публ. В. Крейд // Новый журнал. 2002. № 228. С. 177.

**** Терапиано Ю. Новые книги // Русская мысль. 1964. 19 декабря.

расслышать»*. Вознесенский удручал Адамовича «монотонной, механической восторженностью и наивным модернизмом, который на деле представляет собой ни что иное, как литературное модничанье в духе двадцатых годов»**.

Адамович признавался В.Д. Самарину 3 сентября 1967 г.: «Я счастлив, что оставил лит<ературную> критику, в особенности о здешних братьях-писателях. Занимался я этим долго, и осадок у меня остался в душе горький»***. В «Русской мысли» Адамович публиковался время от времени, без той спешки, которой требовала от него до войны газетная поденщина, и личные отношения с объектами критики теперь уже меньше ограничивали его суждения. Если раньше он мог отозваться о «братьях-писателях», руководствуясь принципом «литература проходит, а отношения остаются», не видя ничего дурного в том, чтобы перехвалить поэтов из близкого окружения, то теперь об этом можно было меньше заботиться, с большинством рецензируемых им советских авторов он не был лично знаком. Тем не менее, переживая за происходящее в советской России, Адамович не упускал возможности встретиться с каждым литератором, оказавшимся в Париже, и переписывался с А.К. Бабореко, В.И. Лихоносовым, Ю.О. Домбровским, Ю.П. Казаковым, О.Н. Михайловым, А.П. Межировым, Е.А. Евтушенко.

Адамович всегда следил за советской литературой, в которой видел «единственное по своей ценности и важнейшее свидетельство о России»****. Еще в двадцатые годы, пролистывая московскую периодику, замечая новых, «подающих надежды», авторов, он задавался вопросом: оправдается ли надежда? Этот вопрос поставлен им в заглавие статьи о Леониде Леонове, одной из первых его статей в «Последних

* Адамович Г. Литература и жизнь [Стихи Е. Евтушенко] // Русская мысль. 1962. 27 сентября. № 1896. С. 1.

** Адамович Г. О стихах Евгения Евтушенко и о русской поэзии вообще // Новое русское слово. 1966. 4 сентября. № 19536. С. 8.

*** Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University. Vladimir Samarin papers. Gen MSS 295. Box 1. Folder 1.

**** Адамович Г.В. Человек в советской литературе // Последние новости. 1931. 13 августа. № 3795. С. 2.

новостях»*. «Надеялся» Адамович на то, что даровитый писатель станет «настоящим художником», к которому не будут применимы ярлыки, навешиваемые советскими и эмигрантскими критиками: «В ранних своих повестях Леонов пристально вглядывается в жизнь и никаких готовых схем не принимает извне. Он “сомневается и раздумывает” — и если теперь из последнего его романа постараемся узнать, к чему его сомнения и раздумья привели, то ответ, кажется, должен быть таков: меняются эпохи, меняется строй жизни, быт, уклад; меняется оболочка, — но человек не меняется; и вечным предметом искусства остается его душа... Когда писатель это понял и всем своим существом ощутил — к нему уже неприменимы паспортные клички “советский” или “зарубежный”. Он просто русский писатель, где бы он ни жил и законам какой страны ни подчинялся бы»**. Так, осторожно, «надеясь», оговариваясь, в тридцатые годы Адамович обращал внимание на наиболее значительных советских писателей. Например, в 1939 году он открыл русской эмиграции Андрея Платонова, который к тому времени писал и печатался уже больше десяти лет***. Адамович писал как о знаменитостях (Б.А. Пильняк, Л.М. Леонов, М.М. Зощенко, Ю.К. Олеша, И.Э. Бабель, К.А. Федин, М.А. Булгаков), так и о менее известных советских писателях (Ю.П. Герман, Я.С. Рыкачев, Л.И. Добычин, А.Г. Лебеденко).

В предвоенные годы критик пытался понять, каким начинающий советский писатель себя мыслит в той реальности, где ему довелось существовать, находится ли в ладах с собственной совестью: «...о большей части теперешних советских писателей вовсе нельзя сказать, что они плохи или неудачны. К ним с этими эстетическими мерками нельзя подходить. Если ими бываешь возмущен, то думаешь вовсе не о литературе, а о человеке. Литература, может быть, и плоха, но человеческий облик за ней еще несравненно хуже, — и он-то и приковывает к себе целиком все внимание. <...> Борьба революции

* Адамович Г.В. Оправдается ли надежда? // Последние новости. 1928. 12 апреля. № 2577. С. 2.

** Там же.

*** Адамович Г. Шинель // Последние новости. 1939. 11 мая. № 6618. С. 3; 18 мая. № 6625. С. 3.

и контрреволюции давно кончилась, осталась только борьба честности и подхалимства, искренности и лжи, “добра и зла”, если угодно выражаться метафизически. И “зло” в этой борьбе побеждает^{*}. Нередко, отказываясь говорить о художественных особенностях отдельных произведений, Адамович старался рассматривать советскую литературу в целом, делая акцент на среде, в которой писателю довелось развиваться. Анализируя творчество Платонова, он замечает: «Сложись такой писатель в иной среде, внимание к нему было бы, конечно, обусловлено размерами его художественного дарования. <...> существование такого творчества в России — факт значительный сам по себе, независимо от таланта Платонова»^{**}. Но некоторые советские произведения критик выделял особенно, вне зависимости от «среды», оценивая «дух» книги, ее эстетическую ценность. Так к повести Пришвина «Жень-шень» Адамович подходит с прежней оптикой, расценивая ее не как некий «советский продукт», а как литературу «высшей пробы», ту, к которой «паспортные клички» неприменимы: «Пришвин ничего не хочет доказать и ничего не проповедует. Но, разумеется, повесть его глубочайшим образом расходится с тем, что кем-то из европейских мыслителей было названо “пафосом Москвы”. Пафос Москвы — отчасти — во вражде к стихиям, в механизировании быта и мира. Пришвин же недоуменно останавливается: разве человек не может быть счастлив без машин, без “строительства”? А если может — к чему они? Не прогадает ли в конце концов человек, именно на них делая свою ставку? Из маленькой книжки вырастают огромные вопросы. На них каждый ответит по-своему. Но все единодушно признают — что маленькая книжка полна большой поэзии»^{***}.

В статье «Сомнения и надежды», завершающей книгу «Одиночество и свобода», Адамович, подводя итоги сталинскому периоду советской литературы, пы-

^{*} Адамович Г. Судьбы советской литературы // Последние новости. 1930. 23 октября. № 3501. С. 3.

^{**} Адамович Г. Шинель // Последние новости. 1939. 11 мая. № 6618. С. 3.

^{***} Адамович Г. Корень жизни // Последние новости. 1934. 21 июня. № 4837. С. 2.

тается ответить на собственный вопрос — оправдалась ли надежда? Выводы оказались неутешительными: «Перечитывая те пять-шесть давних книг, которые, казалось, позволяли на что-то надеяться, чувствуешь, что надежды не оправдались. Не то... Задание могло бы оказаться больше, глубже, исполнение же тронут душком той роковой, рабской, поспешной, на все готовой русской сговорчивости, которую мы, русские, привыкли узнавать, увы, во многом, что “Русью пахнет”, в соседстве с подлинной ширью и вольностью, без всякого взаимного исключения <...>. В ранних советских книгах, при всей их литературной серости, было больше безотчетности, инстинктивного понимания всего, что происходит в духовной жизни мира, в подводных ее течениях: теперь на понимание не осталось и намека»*.

В хрущевской России Адамович приветствует новое поколение, призывая следить за тем, во что превратится советский человек после упразднения «культы личности»: «Сейчас в России впервые начинают жить сознательной жизнью миллионы и миллионы людей, отцы и деды которых доступа ни к какой культуре не имели. Они действительно “строят жизнь”, — говорю это без малейшей иронии, — гораздо меньше считаясь с правительственными и партийными указаниями, чем мы здесь предполагаем. То, что нам надоело, их еще волнует. То, на что мы махнули рукой в уверенности, что ответа все равно не получишь, им еще кажется неотложно важным»**. «Человек будущего» вызывает у Адамовича не только надежды, но и опасения. Сознвая невозможность изменить мироощущение последующих поколений, Адамович констатирует, что остается только тщательно наблюдать за его становлением. Это становление, по мнению критика, во многом зависит от советской словесности, отражающей «брожение, происходящее в бесчисленных сознаниях»: «Когда новые русские поколения придут по закону природы к управлению страной, на разных постах, больших и малых, они принесут

* Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 311.

** Адамович Г. Литература для детей старшего возраста // Русская мысль. 1962. 9 августа. № 1875. С. 1.

с собой то, что одушевляет их сейчас. Их важнейшее для России дело восторжествует, не может не восторжествовать, и есть все основания верить, что “сие буди, буди”, как сказано у Достоевского»^{*}.

Адамович не просто «вчитывается» в молодую советскую литературу и публицистику — он пытается говорить с советским читателем так, как тридцать лет назад говорил с эмигрантским. Он недоумевает, спорит, призывает задуматься над «проклятыми» вопросами, искать и сомневаться. Казалось, что после упразднения культа личности наступила возможность диалога. Но разговор состоялся не с современным Адамовичу читателем, а с читателем будущим. Статьи Адамовича в «Русской мысли» воссоздают послевоенный период эмигрантской литературы, а также предлагают посмотреть на портрет эпохи — хрущевской «оттепели» — глазами главного эмигрантского критика.

^{*} Адамович Г. Облик и дух советской литературы // Русская мысль. 1967. 9 ноября. № 2660. С. 4.

Литература
и жизнь
(«Русская мысль»:
1955–1972)

Не ко двору: Достоевский в СССР

Советские критики сделали замечательно-ценное и смелое открытие: обнаружили, что был в России великий писатель — Федор Михайлович Достоевский. Писатель этот «дорог нашему народу», «близок всему прогрессивному человечеству».

За последние тридцать—тридцать пять лет об этом что-то не было слышно. О Достоевском в Москве молчали. Конечно, всем было известно, что существовал в прошлом веке такой романист, и даже не лишенный таланта, но был он мракобесом, был изувером, — стоило ли о нем вспоминать? В доказательство, что дело обстояло именно так, сошлюсь на факт исключительно красноречивый: в оглавлении распространеннейшего советского школьного руководства по истории литературы под редакцией проф. Бродского имени Достоевского нет. Есть Марлинский, есть Лажечников, Решетников, Курочкин, Гаршин, Надсон, не говоря уж о Щедрина, Гончарове или Островском, которым посвящены отдельные главы. А Достоевского нет! В общем обзоре семидесятых годов ему отведено две с половиной странички, до крайности сбивчивых. Очевидно, можно было еще недавно кончить советскую среднюю школу и, сдавая экзамен по литературе прошлого века, не знать о Достоевском ровно ничего.

Внезапно произошла метаморфоза. К семидесятипятилетию со дня смерти Достоевского московские газеты и журналы пестрят статьями, где, хоть и с оговорками насчет «ошибочного мировоззрения», он прославляется и возвеличивается. Надо полагать, что следующее издание учебника, о котором я упомянул, выйдет в дополненном виде. Составители его прежде не знали, как Достоевского представить, как его «подать», чтобы, из-

бави Бог, не произошло неприятностей. Теперь насчет этого даны указания.

Имя слишком знаменитое, нельзя им пренебречь. Обойти молчанием, скажем, Чаадаева или Конст. Леонтьева можно, на Западе о них почти ничего не знают. Но Достоевский! При всемирном его влиянии, при его всемирном престиже как было не догадаться, что затянувшееся его замалчивание в конце концов станет смешным? Надо было предъявить на него права: «великий писатель», «близок народу», «мы никому его не уступим», и так далее.

Достоевский, видите ли, был обличителем капитализма. Никто с такой убедительностью не показал, что «адские силы царизма» — заимствую это прелестное выражение из «Лит. газеты» от 9 февраля, — угнетали, калечили и терзали человека, никто не дал столь обширной галереи людей больных и жалких. Правда, недостаток великого писателя в том, что он не представил ни одного положительного типа, и этим будто бы изменил основной традиции русской литературы от Пушкина до Чехова (мимоходом хотелось бы спросить: где положительные типы у Толстого? Каратаев? Нехлюдов? Но с советской точки зрения это ведь не образцы для подражания, а скорей юродивые). Достаточно, однако, и того, что может современный, прогрессивный читатель у Достоевского найти. Сила его в отрицании, в критике, а о тех его произведениях, где он, забыв о капитализме, издевался над революционной молодежью, не стоит и говорить. Идейные заблуждения обусловили падение художественное. «Бесы», например: слабая, ничтожная вещь, никак не из разряда тех, которые «нашему народу дороги!».

Вот, в нескольких словах, что теперь о Достоевском в московской печати пишут. Не думаю, однако, чтобы юбилейное прославление его, хоть и однобокое, было началом действительно внимательного к нему отношения. Плохо в это верится. Правдоподобнее предположение, что увлекшиеся критики спохватятся, испугаются, — как спохватятся и кремлевские верхи, — и снова примутся невозмутимо толковать о Щедрина или Чернышевском. С ними спокойнее, а куда забредешь, говоря о Достоевском, и предвидеть нельзя. Дело не

в его консерватизме, не в православии, не в монархизме: с этим на крайность можно было бы справиться, сославшись на заблуждения писателя, как было это проделано с Гоголем в недавние юбилейные дни. Гоголь ведь был не менее консервативен, чем Достоевский. Но у Гоголя легко отделить «Ревизора» и «Мертвые души» от «Переписки с друзьями» и сказать: читайте то-то, а вот этого не читайте! Здесь мол, Гоголь велик, а тут ничтожен. При желании такую же операцию можно было бы проделать и над Толстым: читайте «Войну и Мир», не читайте «Исповеди» или «Воскресения»! Но у Достоевского ограничиться игнорированием «Бесов» — кстати замечу, книги истинно гениальной, как бы к ее идейной сущности ни отнестись: неужели в Москве никто этого не понимает, никто громко этого не скажет? Один ведь старик Верховенский чего стоит! — ограничиться игнорированием «Бесов» рискованно. Надо бы исключить и «Карамазовых», и «Преступление и наказание», и «Записки из подполья», оставив, пожалуй, лишь то, что написано до каторги, т.е. тогда, когда, в сущности, Достоевский еще не был Достоевским. Нет, дело не в православии и не в монархических убеждениях, а в чем-то другом.

В Москве воспитывают людей, которых не должны смущать ни недоумения, ни вопросы, обычно именуемые «проклятыми». В Москве все извечные загадки решены, или, точнее, в Москве решено то, что никаких таких загадок не существует. Когда-то люди по невежеству своему верили в Бога: наука разъяснила, что Бога нет. Когда-то люди бились над тем, как бы устроить на земле всеобщее счастье: теперь всякому ребенку известно, что всеобщее счастье придет с торжеством коммунизма. Когда-то люди... Впрочем, незачем перечислять всего того, что с московской точки зрения людей волновало и мучило лишь потому, что они не знали Маркса и Ленина. В наш век волноваться нет оснований. А если кому и придет в голову что-нибудь неразрешимо-«проклятое», тому следует обратиться в ближайший горком или обком, где на любое сомнение будет дан авторитетный ответ.

И вдруг человек, в таком духе воспитанный, берет-ся за Достоевского... Вдруг он читает, что хотя, по всей вероятности, дважды два в самом деле четыре, однако

«дважды два пять — тоже премиленькая вещица», как сказано в «Записках из подполья». Вдруг он видит в статье Раскольникова, что людей следует делить на стадо и на собственно людей, которые вправе делать со стадом все, что им вздумается, — а затем, в «Карамазовых», находит продолжение и развитие той же идеи, но со страстным на нее возражением. Вдруг он узнает от Кириллова, что если Бога нет, то единственно достойный и верный вывод из такого открытия — самоубийство...

Побежать за разъяснением в ближайший горком? Перечитать «Азбуку коммунизма»? Делаю предположения заведомо смехотворные, но подумайте, в самом деле — что может произойти в голове какого-нибудь духовно-честного, умного и впечатлительного юноши, который в московских условиях начнет в Достоевского вчитываться! Юноша, конечно, не примет мыслей Достоевского на веру, да у Достоевского, в сущности, и нет мыслей, к которым он сам бы относился как к си-найским заповедям. Достоевский сам с собой спорит, кружится около своих предположений и догадок, с разных сторон к ним подбегает: полная противоположность одному Толстому, с его может быть и не менее «проклятым», но единым, огромным, цельным вопросом о жизни.

Быть последователем Достоевского в том смысле, в каком существуют толстовцы, трудно, почти невозможно. Но внимательно прочесть его, не заразившись всеми его беспредельными сомнениями, еще труднее! Достоевский — это динамит, способный взорвать мировоззрение и похитрее того, которое насаждается в Москве. Помимо мыслей, самый состав чувств у него такой, что заставляет по-новому взглянуть на все окружающее. Достоевщина? Может быть! Достоевщина стала у нас чуть ли не бранным словом. Но в романах Достоевского все это причудливое, неповторимое сплетение восторга и безнадежности, жалости и отвращения, любви и жестокости так органично и проникнуто таким вдохновением, что презрительным словечком от него не отделаешься. Даже такие страницы, как рассказ Мармеладова, — которые нам теперь нередко кажутся банальными, почти что опошленными, — даже такие страницы при первом чтении должны бы вызвать дли-

тельное потрясение ума и души. «Выходите, пьяненькие, выходите, соромники! И мы выйдем, не стыдясь, и станем... И прострет к нам руце свои, и мы припадем... и заплачем... и все поймем!.. тогда все поймем! И все поймут... Господи, да придет царствие Твое!» Нет, это не критика капитализма, который будто бы до такого состояния человека доводит. И не может быть, что бывшие «русские мальчишки» окончательно очерствели, окончательно одеревенели, и уже не способны понять и почувствовать, что дело тут не в пороках какого-либо общественного строя, а в чем-то бесконечно более глубоком и важном.

По странной случайности юбилей Достоевского совпал с другим юбилеем: столетием со дня смерти Лобачевского. Параллели между ними, кажется, никто еще не проводил. Кое-что общее, однако, есть, — потому что в идейной или психологической области Достоевский сделал открытия и предположения, которые к традиционному взгляду на человека относятся приблизительно так, как Лобачевский к Евклиду... Не знаю, можно ли говорить о прямом влиянии, хотя уже и от сравнительно раннего замечания насчет «премиленькой вещицы — дважды два пять» Лобачевским веет. А в знаменитом, предшествующем «Великому Инквизитору», разговоре Ивана с Алешей есть несомненное указание, что о казанском профессоре Достоевский слышал: иначе не упомянул бы о параллельных линиях, которые «где-нибудь в бесконечности, может быть, и сойдутся». Но это не дает все же права говорить о воздействии Лобачевского, которого к тому же большинство русских считало в те времена еще человеком полупомешанным. По-видимому, Достоевский к своим догадкам пришел самостоятельно. А если вернуться к той роли, которую творчеству его в советской России суждено сыграть, то приходится сказать следующее: Лобачевскому в Москве, может быть, и будет воздано должное (говорю «может быть», без полной уверенности в этом). Но в упрощенном и схематическом представлении о мире, которое в России считается навсегда установленным и научно доказанным, каким бы то ни было внеевклидовским выдумкам или прозрениям, переложенным на идейно-моральный лад, места нет.

В России человеку разрешено думать «постольку-поскольку», «отсюда-досюда». Социальное здание, в России возводимое, имеет шансы удержаться лишь при условии этого неизменного «отсюда-досюда». Как и зачем здание возводится, известно тем, кто постройкой заведует: в их всеведении и мудрости сомневаться никому не разрешено. Обыкновенные смертные должны работать, помогать, слушаться, верить, — и, в сущности, вся советская литература именно об этом, ни о чем другом, и говорит.

Едва ли в такой обстановке не покажется подозрительным внимание к писателю, который если чему людей и учит, то лишь чему-то вроде духовной бессонницы и необходимости неустанно пересматривать и проверять все, что иные близорукие, самоуверенные учителя выдают за истину.

После войны

I

За последние десять лет в эмиграции вышло немало хороших книг. В журналах и газетах были помещены талантливые романы и рассказы, содержательные статьи. Некоторые из появившихся в последние годы стихов достойны того, чтобы запомнить их надолго. По мере сил, количественно не Бог весть каких богатых, эмиграция, значит, продолжала делать в литературе нужное России дело, с уверенностью, что рано или поздно оно будет оценено. Да, как будто бы так! Сетовать как будто бы не на что. А между тем тревога за участь нашей литературы растет, и не думаю, чтобы можно было отрицать ее основательность иначе как по недостатку внимания, безразличию или по стремлению считать белое черным и черное белым.

Общий уровень эмигрантской словесности, уровень, так сказать, «культурный», а то и просто грамотный, непрерывно и неуклонно падает, а появление отдельных прекрасных произведений скорее оттеняет это скольжение, чем задерживает его и сводит на нет. Общий уровень «опровинциализается», будто духовная гегемония

в литературе от Петербурга и Москвы мало-помалу переходит к Рязани и Царевококшайску.

До войны уровень колебался, как колеблется он всегда и везде, но чувство, возникающее теперь, тогда отсутствовало: чувство, будто движется на нас какая-то серая мутная волна, которая при слабости сопротивления или беззаботности в защите может все захлестнуть. До войны, в бесконечных тогдашних спорах и толках о литературе советской и литературе здешней, большинство спорящих бывало объединено сознанием, что если у нас здесь есть какое-нибудь особое, важное дело, — или даже «миссия», — то сводится оно к сохранению высокого и свободного представления о творчестве, и что должны мы делу этому быть верны, без всякого с нашей стороны самоупоения и бахвальства. Не то чтобы были мы в эмиграции как-то особенно даровиты, особенно возвышенно настроены или отмечены судьбой, — нет, нисколько: дело было делом нашим просто потому, что должна же была история, в ею же затеянных передрыгах, кому-нибудь его поручить, а кроме нас для этой роли никого в данное время не было.

Понижение литературного уровня в России после революции было неизбежно, — кто же этого не понимал? Случалось иногда смеяться, притом «горьким смехом», над отдельными уродствами, с этим понижением связанными, в частности над крайностями в рабологии. Случалось ужасаться торопливому отказу от основного, почти священного для всякого писателя права: права на замысел, на свободное личное истолкование жизни и всех ее явлений. Но сам по себе тот факт, что бесчисленные новые сотрудники советских журналов писали и пишут несколько суконным языком, на несколько примитивные темы, — независимо от какой-либо пропаганды, — ничего удивительного и неожиданного не представлял.

Иначе и быть не могло. Нам не нравился этот язык, нам были скучноваты эти темы, с неизменным торжеством коммунистической добродетели и посрамлением контрреволюционного порока в их развитии, но нельзя же было забыть, что перо в руках держат люди, которые недавно еще не совсем твердо знали, как с пером обращаться! Былая глубокая и узкая русская культура рас-

текалась в ширину, неизбежно при этом мельчая. Как бы к революции ни относиться, это ее последствие, особенно в первоначальной стадии, невозможно было счесть явлением исключительно отрицательным или незаконным, — да и чего искали бывшие русские «кающиеся дворяне», как не нравственного оправдания этой, пугавшей и притягивавшей их жертвы? Вопрос, что и говорить, большой, сложный. Затронул я его только для того, чтобы высказать мысль несомненную и ничуть не сложную: в эмиграции оснований к культурному снижению нет и не было, как не было и нет для него оправдания. Если мы его допустим и если мы с ним примиримся, то еще одной иллюзией, связанной с выполнением каких-либо наших «миссий», станет у нас меньше.

Когда-нибудь мы вернемся в Россию, — мы, наши дети или наши внуки. Каждый из нас, вероятно, не раз спрашивал себя: с чем вернемся? Поскольку речь идет о литературе, ответ не может обойти одного из двух положений: во-первых, приглядевшись к Западу, приобщившись к его жизни и быту, должны будем рассказать о нем правдивее и вернее, чем было это сделано былыми, случайными путешественниками, то чрезмерно восторженными, то близоруко-презрительными, а, во-вторых, — и это много важнее, — хорошо было бы, если бы оказались мы в силах перенести в жестокий и дикий двадцатый век то, что одушевляло в России век девятнадцатый со всеми его противоречиями и всем его единством.

Утверждение это, пожалуй, кое-кого удивит, будто подразумевается в нем нечто вроде литературной и духовной реставрации. Нет, прошлое есть прошлое, воскресить его в былых его формах нельзя. Но, не говоря уж о том, что русский девятнадцатый век был одной из вершин во всемирном развитии культуры и что были в его облике черты непреходящие, вечные, мы по историческому возрасту своему, по самому положению своему — ближайшие его преемники. Не оттого ли и очутились мы в эмиграции, что хотели его отстоять, по мере возможности его продолжить? У нашего консерватизма нет другого смысла, — в особенности, если консерватизм это живой, обращенный к будущему, а не мертвый, и великим нашим несчастьем была бы неспособность прошлое с будущим в этом отношении связать.

Но литература, — скажут мне, — падение уровня, убыль литературной грамотности, причем здесь все это? Неужели русское будущее в опасности оттого, что какие-то повестушки или стихотворения в наших журналах и газетах не совсем достойны наследников Пушкина или Толстого? Да, в опасности, как бы ни казалось это парадоксально на первый взгляд. Литература существует не для развлечения, а для выражения и отражения того, чем возвышается человек над всем остальным животным миром. Падение уровня в той исторической обстановке, в какой живем мы теперь, — явление многозначительное, даже трагическое, и дай Бог, чтобы удалось остановить его в его развитии.

Надо же понять, что не в нашем читательском удовлетворении, или, наоборот, неудовольствии, вопрос, а в том, что русская культура, вышедшая в прошлом веке на авансцену истории, сейчас в России приняла формы насильственные и механические, что для ее движения там проложены некие рельсы, с заранее намеченным конечным пунктом, и что если нам здесь дано гулять и блуждать, куда кому вздумается, вне всяких маршрутов, то с этим сопряжена и огромная ответственность...

Мы не имеем права нашей литературой пренебречь, не вправе спустя рукава и с более или менее сомнительной грамотностью «пописывать», оставив читателя, к тому же усталого и достаточно потрепанного жизнью, «почитывать», без малейшего ответного и сколько-нибудь творческого усилия. В сущности, не имеем мы права сдавать и терять былую русскую литературную столичность, и забыть, что — по плечу нам это или нет, — тянуться, да, хотя бы только тянуться должны мы к тому, чтобы сознать себя преемниками Пушкина, Чаадаева, Гоголя, Тютчева, Баратынского, Герцена, Леонтьева, Достоевского, Соловьева, Толстого, — называю имена умышленно разнородные, в полнейший идейный разнотой, объединяя их лишь по признаку «уровня», — а не продолжателями Мамина-Сибиряка, Шеллера-Михайлова, Надсона, Фруга или Потапенко. Нео-Шеллеров и нео-Потапенков в советской России вполне достаточно, и скажу еще раз: помимо принуждения к известному литературно-духовному складу, должна там давать себя знать и неслыханная социальная перетасов-

ка последних десятилетий, как дает себя она знать там во всех областях, например — в манере говорить, в произношении слов, в интонации и строении речи.

Иногда в разговорах на такие темы приходится слышать, чаще всего от людей из России недавно уехавших, нечто вроде следующего: «Да что вы!.. Да забудьте вы ваши причуды, ваши никчемные петербургские выдумки!.. В наше-то время... Какие там уровни!.. Динамическая эпоха, суровость, трезвость... Кому нужны теперь все эти туманы!» — и прочий плоский вздор, от которого подлинно уши вянут, вздор тем более страшный, что в каком-то смысле исконно русский, «рассейский», выплывающий из темных глубин, с полуслова знакомый. Были в России Пушкин и Толстой, но было и это. И до сих пор есть. Надо сделать действенный выбор, нельзя ограничиваться вздохами и сожалениями, пожалуй и согласившись насчет «динамической эпохи».

Когда, как, откуда возникла опасность? Об этом — в следующий четверг.

II

Было бы ошибкой объяснять падение литературного уровня в нашей печати какой-либо одной причиной. В жизни, личной или общественной, все сплетено и переплетено, и крайне редко случается, чтобы отдельное явление не было последствием целого ряда других. Вернее, не случается этого никогда.

В том вопросе, о котором я говорю, особенно важны, пожалуй, два обстоятельства. По существу независимые друг от друга, но оказавшиеся тесно связанными: во-первых, естественная убыль сил в старой эмиграции, во-вторых — появление эмигрантов новых, страстно отталикивающих от всего советского и вместе с тем несущих в литературу именно то, что советской поэзии и прозе свойственно.

Об этом писал, — и писал очень верно, очень пронизательно, — в «Новом журнале» Н. Ульянов, сам принадлежащий к эмиграции новой. Его положение в данном случае удобнее, чем положение человека, выехавшего из России в первые годы революции: никто не заподозрит его в скрытой вражде к «пришельцам», в трагикомиче-

ском эмигрантском высокомерии или, еще хуже, в боязни за свои насиженные места и позиции. Он сам — плоть от плоти нового эмигрантского слоя, ему легче быть вполне откровенным в беседе со сверстниками или товарищами по участи. Однако к его утверждениям и замечаниям следовало бы кое-что добавить.

Среди поэтов и прозаиков из числа так называемых «ди-пи» есть люди не только подлинно одаренные, но и такие, которые в общее русло нашей литературы входят сразу беспрепятственно, как несомненно «свои». Не все ими написанное может нравиться, но тон, склад, сущность этих писаний убеждают, что спорить не о чем, возражать не на что: перед нами не случайный непрошенный гость в литературе, а человек, которому должно быть отведено в ней место. Едва ли любителям поэзии нравятся, например, все стихи В. Маркова, но достаточно было прочесть в том же «Новом журнале» его воспоминания о советском студенческом житье-бытье, чтобы доверие к нему, автору прелестных и своеобразных «Гурилевских романсов», окончательно окрепло. Не буду называть других имен, чтобы не создалось впечатление, будто присваиваю я себе право отделять в литературном ковчеге «чистых» от «нечистых», — но как не назвать хотя бы имя И. Елагина! Есть где-то у Ремизова запомнившееся мне выражение «пробка вместо уха»: так вот, не расслышать того, что Елагин — истинный, рожденный поэт, как бы ни были спорны его поэтические методы, только при наличии «пробки» и возможно.

Однако это скорее исключения. Замечательно, что «ди-пи» принесли с собой, — по-видимому, в порядке самозащиты, — особую заносчивость, вызывающую, требовательную уверенность своей общественной значительности, в своей творческой правоте, в своем праве на внимание. Говорю «в порядке самозащиты» потому, что вероятно, под этой заносчивостью кроется сомнение и боязнь, как бы не обнаружились промахи по части общей культуры, социально может быть и оправданные, но литературно все же досадные. Переход в наступление не всегда ведь представляет собою доказательство силы, бывает он и маскировкой растерянности.

Новые литераторы-эмигранты очень любят местоимение «мы», и произносят они его с характерной гор-

достью, давая понять, что «мы» знаем что-то такое, чего «они», в данном случае эмигранты старые, не знают. «Нам это чуждо», «мы это отвергаем», «для нас это отнюдь не интересно», — и так далее, будто некие непрекаемые заповеди, с неизменно подразумевающимся указанием, что если для «нас» что-либо малоинтересно, то, следовательно, это и само по себе вздор, чепуха, устарелые интеллигентские причуды. «Мы» — новые люди, «нам» принадлежит будущее... Кто спорит, ди-пи много вынесли, многое перетерпели, и, несомненно, опыт их кое-чем обогащен по сравнению с опытом людей, из России выехавших четверть века тому назад, а то и раньше. Напрасно только они думают, что этого в эмиграции старой никто в расчет не принимает: нет, если здесь и возникает иногда по отношению к ним некоторое недоверие, то никак не в силу их биографии, а исключительно из-за их стремления использовать эту биографию, как верховный козырь в литературной игре. «Вы безмятежно читали Гёте или Бодлера, а мы в эти годы задыхались в концлагерях»... — как бы говорят они.

Да, — хотелось бы ответить, — да, мы знаем, мы отдаем себе отчет, что делает с человеком концлагерь, какой сверх-достоевской, сверх-некрасовской страстью и слухом к страданию может он душу человека усложнить. Постыдно было бы об этом забыть. Но если уж говорить правду, то и делать на каторжном паспорте успешную литературную карьеру по нашему, — без кавычек нашему, — разумению чуть-чуть неловко, а что касается нарицательных Гёте или Бодлера, то чтение их было полезно, как гарантия или по крайней мере помощь в посильном сохранении духовного уровня. Нам и вам надо было бы это понять, и, не пренебрегая ни тем, ни другим опытом, а в особенности ничем друг перед другом не похваляясь, постараться писать так, чтобы написанное не было ни салонным, вычурно-модным рукоделием, действительно никому сейчас не нужным, ни сероватым сырьем, «от сохи», или по теперешнему — от трактора.

Средний рассказ или роман среднего беллетриста из новых эмигрантов представляет собою, в большинстве случаев, копию советского романа или рассказа с вывернутой наизнанку тенденцией: вместо коммунистической морали предлагается мораль противоположная, только

и всего. Краски, стиль, приемы — те же. Внутренний уровень — тот же. Подается это притом, как достойный продукт нашего литературного «сегодня», спокойно, порой даже не без благодушной величавости, в назидание мнимым декадентам или мнимым снобам, от имени новых людей, крепких, деловых, энергичных, трезвых, разумных, твердо знающих, что в романе или рассказе нужно дать сначала картинку природы с какой-нибудь «пепельно-жемчужной дымкой гор» или прочими красотами, затем обрисовать типы, ввести диалог, по возможности «сочный», с бытовыми или областными словечками, завязать интригу, кое-где оживив ее переборами, — да, знающих все, что растолковано в учебниках словесности, о чем читают лекции патентованные «литературоведы», но не догадывающихся, что настоящая литература начинается с отвращения к учебникам, с сознания, что ничего нужного сказать нельзя, с чувства беспомощности, растерянности, отчаяния, за которым только и брезжит единственно верный, спасительный творческий свет...

Падение уровня! Да, именно, мы возвращаемся в Чухлому или в Царевококшайск, к духовному владичеству нео-Скабичевских, и что тут вспоминать Толстого или Достоевского: достаточно вспомнить любого из больших писателей нашего века, чтобы ощутить ужасающий срыв.

Несправедливо, однако, было бы все валить на новых эмигрантов. Уровень мало-помалу падает и без всякого их влияния и участия. Правда, падает по-иному, с другим оттенком и привкусом. Сказывается преимущественно то, что редееющие литературные ряды пополняются людьми, которым в прежних условиях доступ к гласности был бы не так легок, как стал он теперь.

Нормально у каждого литературного поколения должна быть смена. Как это ни странно, наше несчастье в том, что русская эмиграция обосновалась в странах с исключительно высокоразвитой, мощной и утонченной цивилизацией: именно это и лишило нас смены. Живи мы в Югославии или Чехии, русская молодежь, вероятно, стремилась бы сохранить свою «русскость», сознавая и чувствуя связанное с ней первородство. Даже, пожалуй, в Германии это было бы так... Но в Париже! Достаточно пройти по бульвару Сен-Мишель, чтобы

понять, отчего у нас нет смены: инстинктивно, безотчетно, русские молодые люди из кожи лезут вон, чтобы во всех повадках уподобиться истинным парижанам, даже и грацируя усерднее, чем полагается!

Это явление бытовое, может быть даже пустячное, но французская культура вообще импонирует русским, чему, несомненно, есть и глубокие основания. Одаренные русские молодые писатели становятся писателями французскими, и со времен Анри Труайя им уже почти что потерян счет. Смены нет, а время неумолимо делает свое дело, и на освобождающиеся места являются претенденты, которым тем легче удастся на них утвердиться, что литература — как природа — пустоты не терпит.

Не хочу продолжать и развивать эти невеселые размышления, к тому же ничего нового в себе не заключающие. Уверен, например, что все сколько-нибудь чуткие к поэзии люди давно уже обратили внимание на поистине катастрофическое падение уровня и качества стихов, появляющихся в нашей печати. В большинстве случаев трудно эти произведения даже и назвать стихами. Покойный Ходасевич определял состояние ума подобных авторов словами: «не подозревает», — то есть не подозревает, что четыре строчки с описанием чувств, с рифмами на конце и с более или менее правильным чередованием ударений еще не представляют собой поэтической строфы. Не подозревает, что простота есть не начало, а венец и завершение всякой изысканности. Кстати, по поводу простоты, один из «неподозревающих» не так давно сказал мне: «я пишу просто... как Пушкин». Должен сознаться, я был настолько ошеломлен, что не нашелся ничего ответить.

Есть ли надежда на то, чтобы все это изменилось? Должны ли мы, наоборот, примириться с мыслью, что в общем европейском хоре русские голоса надолго останутся голосами, прислушиваться к которым можно только из вежливости? Вопрос вовсе не во влиянии на кого-либо и на что-либо в современной западной литературной жизни. Влияние, если и будет, то придет оно много позже, мало имея общего с участием в повседневной литературной суете сует, с премиями, сенсациями, новыми направлениями и всем прочим.

Вопрос глубже и больше: в нашей литературе отражено лицо России, в ней живет ее душа и ее сознание. Нельзя допустить их искажения, и если есть грех, который нам в истории никогда не простится, то именно этот.

Розанов

На днях исполняется сто лет со дня рождения Розанова и как раз к этому сроку Чеховское издательство выпустило сборник избранных его сочинений. Простое ли это совпадение, сделано ли это с расчетом, сказать с уверенностью не берусь. Но досадно было бы не воспользоваться случаем поговорить о своеобразнейшем и удивительном писателе, стоящем в нашей литературе совсем особняком, ни на кого не похожем, в своем роде единственном.

Редактор сборника Ю.П. Иваск утверждает в предисловии, что Розанов «русскому читателю почти неизвестен». Утверждение едва ли верное. Конечно, читатели существуют всякие, и если Иваск имел в виду тот их тип, который обычно определяется как «широкий», он прав. Но тогда к писателям неизвестным пришлось бы причислить и авторов столь знаменитых, как Чаадаев, Хомяков, Герцен, Леонтьев, Влад. Соловьев, многих других. «Широкая» публика знает и о них только понаслышке.

Если же иметь в виду людей, способных ценить не только внешнее — занимательную беллетристику, людей, достаточно проникательных, чтобы понимать и чувствовать, что можно быть большим художником слова, ни к каким вымыслам не прибегая, если иметь в виду читателей просвещенных и требовательных, еще не совсем у нас переродившихся, то упрекнуть их в безразличьи к Розанову никак нельзя. Скорее наоборот: на Розанова возникла у нас мода, внимание к нему растет, и дошло чуть ли не до того, что его ставят в один ряд с Паскалем, одним из гениальнейших людей, когда-либо существовавших. Правда, книг Розанова нет в продаже, а в советской России не возникает вопроса о том, чтобы их переиздать. Но это препятствие преодолимое. Достать, хотя бы на время, розановские сочинения при желании не

слишком трудно, и так или иначе многочисленные поклонники его с главными его писаниями, по-видимому, ознакомились.

Сборник составлен Иваском довольно причудливо. Из целого ряда розановских книг взято по несколько глав, а то и по несколько страничек. Последовательности и связности в развитии мыслей у Розанова вообще было не много, но при чтении сборника впечатление, будто беседуешь с человеком, который болтает без умолку обо всем, что придет ему в голову, возникает не раз. Особенно к концу. Жаль, что сравнительно мало взято из «Темного лика», самой содержательной и важной книги Розанова, самой страстной и глубокой, той, в которой он свой ужас перед аскетической сущностью христианства — втайне для него неотразимо-прекрасной и влекущей, — выразил с наибольшей силой. В «Темном лике» нет еще расслабленно-говорливого интереса к самому себе, прорвавшегося в «Уединенном» и особенно в «Опавших листьях». В «Темном лике» Розанов как будто в последний раз собрал остатки мужества, и великий свой словесный дар обратил не на отрывочные, щемящие, растерянные записи о том, как ему страшно жить и сколько в его жизни боли, а на размышления о предметах, которые могли бы его от страха и боли спасти, по крайней мере отвлечь.

Потом пришла сдача, пожалуй, именно расслабление. Успех «Уединенного», очевидно, побудил Розанова собрать в «Опавших листьях» многое такое, что иначе как болтовней назвать нельзя, — правда, вперемежку с признаниями, которые и через сорок лет нельзя забыть хотя бы потому, с какой простотой и волшебной точностью они выражены, какую вереницу полумыслей, получувств вызывают они в ответ.

«Я не хочу истины, я хочу покоя».

Помимо смысла этого утверждения, о котором можно бы написать целый психологический трактат — ведь как сказано! Вот в том-то и обнаруживается настоящий, прирожденный писатель, что не только обращает внимание на значение слов, но попутно чувствует свежесть их, взаимное их притяжение или отталкивание, случай и место, где данное слово нельзя было бы заменить никаким другим. Иваск в предисловии проводит параллель между Розановым и покойным Г.П. Федотовым. Согласен,

Федотов был очень даровитый, очень умный человек, но как писателя его невозможно с Розановым и сравнивать: у Федотова — блестящие, гладкие, безупречно построенные периоды, неожиданные сравнения, яркие эпитеты, т.е. все то, что на первый взгляд и необходимо для репутации перворазрядного стилиста. И действительно, он был превосходным стилистом...

Но писатель, так сказать, «Божьей милостью» — совсем другое дело, бесконечно более редкое, много труднее разложимое и объяснимое, и неужели при чутье к слову не ясно, что блестящие страницы Федотова, все вместе, не стоят одной фразы об «истине и покое», — приблизительно так же, как все великолепное красноречие Владимира Соловьева превращается в словесный прах и мусор рядом с одной угловатой фразой Толстого, где секрет неотразимого действия тоже не в блеске, а во внутренней силе, в убеждении и безотчетной верности интонации.

По качеству словесного дара из наших новых писателей-эссеистов или философов с Розановым вообще никого нельзя сравнивать. Кого вспомнить из прежних? Леонтьев, Герцен... Но у них, у Герцена в особенности, чувствуется иногда, что то или иное сказано «для красного словца». Герцен, при крайней грамматической неряшливости и богатейшей словесной находчивости, сам собой порой любит. Розанов, не менее неряшливый и даже возведший неряшливость в стилистический принцип, подкупает единственной своей способностью создать впечатление, что слово возникает под его пером само собой, в полнейшем соответствии с мыслью, без всякого между ними расстояния. Насчет его писательской непосредственности были высказаны, как известно, сомнения, в частности Зинаидой Гиппиус. Не знаю, была ли в них хоть малейшая доля основания. Трудно поверить, чтобы подделка могла оказаться настолько совершенна.

Розанова невозможно читать спокойно. Он сам был исключительно беспокойным человеком, и у читателя вызывает тревогу, смущение, кое-где недоумение, стремление возражать, а иногда и чувство, похожее на желание распахнуть окно, глотнуть чистого, легкого, холодного воздуха после всей его сонной одури, после той запальчивой апологии обывательщины, которой он

порой предается... В сущности, не раз он оказался бы на границе пошлости, не будь в нем мучительного раздвоения и способности откликаться на все, что плачет, страдает, томится или гибнет. Отсюда и двоящееся его отношение к христианству, «душераздирающее», по его собственному определению. Как он на христианство ни восставал, ранен и уязвлен он был им от рождения.

Нет писателя, к которому меньше бы подходило слово «учитель», по Гоголю, от писательского звания не делимое. Какой Розанов учитель! Смешно представить себе его в этой роли. Но в беспредельной откровенности своей, притом усложненной известным лукавством и хитрецей, в двуличье своем, неотделимом от непрерывного духовного пламенения — «как свеча перед иконой», — в каких-то своих плотоядных причмокиваниях и пришепетываниях, во влечении ко всему телесному, плодови-тому, густо-жизнейскому, вместе с безошибочно-жадным слухом ко всяческому небесных вздохам, Розанов — не учитель, нет, а человек, который, может быть, первый в мировой литературе сумел рассказать о себе без прикрас, не то что сорвав с себя маску, а как будто и не подозревая, что в литературе маски распространены. В этом и величие, и ничтожество Розанова.

Несомненно, рядом с такими писателями, которые возвышаются, как глыбы, над остальным, заурядным, человечеством, он кажется мелок. В нем и было что-то мелкое, в нем сидел как будто персонаж из «Мертвых душ» или какой-нибудь Фердыщенко или Лебядкин, притом склонный идеализировать свое состояние. Но эта мелочность приняла у него чуть ли не богоборческие размеры, он на ней обосновал свой пафос и ей же наполнил страстную, самоубийственную тяжбу свою с «Судьей мира» — название замечательной статьи в «Темном лике», к сожалению, в сборник не вошедшей, — сознавая, конечно, что восстает на то, что ему дороже всего. Притом ум у него был очень зоркий, он свои слабости видел, но не хотел их скрывать, под старость утратив всякую сдержанность. В «Опавших листьях» это нередко бывает тягостно.

Только к концу жизни, после революции, представившейся ему тем более ужасной, чудовищной катастрофой, что в ходе русской истории он для нее не находил

оснований, Розанов опять окреп, свернулся, съежился, и написал «Апокалипсис нашего времени», нечто вроде своего завещания, и написал так, как именно и пишутся завещания: с намерением передать людям все, что в душе его уцелело после отбора золота от побрякушек.

В целом, с бесчисленными «за» и «против», которые при чтении возникают в сознании, — явление удивительное. Да, бесспорно, были писатели неизмеримо более значительные, и если уж вспомнился Паскаль, то надо еще раз сказать, что до Паскаля Розанову — как до звезды небесной! Паскаль — кремень, алмаз, о который душа может разбиться, может и обточиться, но лишь при условии ответного посильного напряжения. При чтении Паскаля становится самого себя совестно, своей серости, своей слабости, своих ежеминутных сделок с жизнью, — как и при чтении Толстого. Для Розанова характерно то, что он не требует от читателя ни малейшего усилия, умственного или нравственного. Он тревожит сознание, но не ждет от него никакого взлета, будто на этом и строя свои расчеты на усталое читательское сочувствие, которого явно и с болезненным нетерпением ищет. «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти, — вскользь говорит он о самом себе. — Мне всегда холодно». Его пугает грубость, суровость и безразличие мира, и в сущности, в последнем своем преломлении, откровенность его только на то и направлена, чтобы во всеуслышание сказать, что каждый человек достоин жалости, а он, Василий Васильевич Розанов, комок нервов, существо с кровоточивым сердцем, больше всех других.

К сборнику «Избранное» Юрий Иваск дал большое предисловие, в высшей степени интересное и кое-где Розанову «созвучное», как принято теперь выражаться. При беглом просмотре оно может показаться несколько капризным, даже манерным в скачках мысли, в непривычности и зыбкости речевых оборотов. Но в предисловие это стоит вчитаться. Даже при невозможности с Иваском согласиться, — что лично мне пришлось отметить в суждении о Федотове, — ценно то, что думает он по-своему, а не по чужой указке, и высказывает иногда соображения чрезвычайно тонкие, будто одну обманчиво-цельную мысль удалось ему расщепить на множество составных частей.

Задача России

Книга В.В. Вейдле «Задача России» написана на темы, которые очень давно уже волнуют русских людей и едва ли окажутся когда-нибудь в их представлении исчерпанными и устарелыми. Книга эта — новый вклад в спор западников со славянофилами, спор далеко не конченный, в наше время опять разгоревшийся, усложнившийся новыми доводами «за» и «против», — хотя более полу столетия тому назад Влад. Соловьев, подводя ему итоги, считал, по-видимому, что все недоразумения выяснены и толковать больше не о чем. Вейдле тоже ищет решений окончательных и долю правоты признает за обоими лагерями. Весь тон его книги как будто внушен желанием устранить крайности, образумить спорщиков, установить порядок там, где двумя враждебными вихрями сталкивались разноречивые суждения о России и ее будущем.

В мыслях Вейдле много убедительного, несомненно верного, впервые подмеченного. Книга его — книга ценная, нужная, а кроме того выделяющаяся среди обычных российских импровизаций и открытий давно открытых Америк всем своим спокойным, истинно вдумчивым складом, своей внутренней основательностью. Но исторического спора она не заключает. Не только Соловьеву, но и чуть ли не каждому из писателей, которые этого «проклятого» русского вопроса касались, представлялось, что именно он нашел ответ, поставил в споре точку. Едва ли можно сомневаться, например, что Тургенев, — когда писал он в «Дыме» знаменитую, приводившую в ярость и содрогание Достоевского, страницу о том, что «наша матушка, Русь православная» ровно ничего не создала, что если бы «провалилась она в тартарары», в мире ничего не изменилось бы и что надлежит нам поэтому идти на поводу у Запада, никакими иллюзиями насчет особых своих миссий не обольщаясь, — едва ли можно сомневаться, что Тургенев мысленно ставил в споре точку. Нашлись люди, полностью с ним согласившиеся. Но другие недоумевали, возражали, и так как речь шла не о фактах, а о мнениях, и даже не о знании, а о вере, разногласие сделалось лишь сильнее.

В обычных человеческих спорах плохо то, что все мы, — думаю, почти без исключения, — озабочены не только самым предметом спора и поисками истины, но и своей в нем ролью. Нам во что бы то ни стало хочется быть правым, нам необходимо выйти в словопрении победителем, «посрамить» противника. А если спор страстен, запальчив, то мы хватаем через край, говорим и пишем не то, что надо бы, может быть смутно и сознавая это, но в пылу схватки уже ни о чем, кроме самой борьбы, не помня...

Вейдле никак нельзя упрекнуть в запальчивости. Он не горячится, не полемизирует, а держится как некий третейский судья, который, рассмотрев противоречивые данные, уверенно и веско выносит решение. По характеру тем и выбору их, да, пожалуй, даже и психологически, т.е. по эмоциональному составу, «Задача России» ближе всего к «России и Европе» Н.Я. Данилевского, одной из основных русских книг прошлого века, «капитальной», по определению Достоевского, книги смелой и местами глубокой. Правда, взгляды Данилевского резко расходятся со взглядами Вейдле. Данилевский к концу жизни пришел к убеждению, что «Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное», что относиться к ней нам следует «без ненависти и без любви», а все в Европе происходящее должно быть нам безразлично, как будто бы происходило это «на луне».

Вейдле лишь вскользь упоминает о Данилевском, но зато говорит о Шпенглере и Тойнби, связь которых с автором «России и Европы» не раз была отмечена. Кстати: верно ли, что Шпенглер теорию свою о существовании обособленных культур, ограниченных и смертных подобно всякому организму, заимствовал у Данилевского, как утверждают многие его русские критики? Действительно ли он Данилевского читал? Влад. Соловьев в своем разборе «России и Европы» указывал, что основные идеи этой книги совпадают с мыслями Генриха Рюккерта, полузабытого теперь немецкого историка. Не естественнее ли предположить, что Шпенглер испытал влияние Рюккерта, своего соотечественника, и лишь в силу этого оказался с Данилевским в духовном родстве? И еще, второе «кстати»: хочется выразить надежду, что в Москве, — если действитель-

но налаживается там какой-то «новый курс», — наконец поймут, что нельзя начисто игнорировать большого писателя из-за его «реакционности», мнимой или даже подлинной. В советской энциклопедии Данилевскому посвящено пять-шесть пренебрежительных строк, с указанием, что был он «реакционным публицистом». Допустим, согласимся: реакционный публицист. Но когда же дано будет советским читателям право кое-что знать и о «реакционерах», если признано, что прошлое своей страны они знать должны? Или так и останется аксиомой, что среди русских мыслителей, не согласных с Чернышевским, Добролюбовым и людьми их склада, никого кроме пустых изуверов и мракобесов не было?

Я отвлекся от книги Вейдле, но достаточно вспомнить самое название ее — «Задача России» — чтобы найти этому и объяснение, и оправдание. Задача России: даже в чужом, даже в чуждом освещении трудно такой темы коснуться, чтобы не задеть мимоходом многого, что дремало в сознании и не уйти в сторону. По Вейдле — нет России вне Европы, как и нет Европы без России. Оригинальность его позиции в западническо-славянофильском споре может быть вкратце сведена к тому, что ему одинаково кажутся опрометчивы и тургеневское представление о единственно разумной и трезвой западной цивилизации, которой надлежит нам по-ученически следовать, и заносчивое славянофильское убеждение в нашем особом историческом призвании, Вейдле не отрицает русской самобытности. Но для него она — не только не препятствие к участию в общем великом деле, а именно условие этого участия, и даже неперемennое условие: нельзя быть европейцем, не будучи подлинно русским человеком, и только в русском обличи наш европеизм может оказаться плодотворен и творчески жив. Мы — не дикари, не подражатели, мы вносим свой вклад в общую сокровищницу с уверенностью, что это сокровищница наша, во всяком случае и наша, и что Пушкин или Тютчев, при всей их глубочайшей «русскости», европейцы не менее коренные, нежели Гёте, Расин или Шекспир.

У каждого писателя есть понятия, особенно ему близкие, есть слова, которые он произносит по-своему, с особым чувством. Для Вейдле такие слова — культу-

ра, Европа, притом Европа не ограниченная географическими очертаниями. Если он готов броситься в бой, «полон чистою любовью, верен сладостной мечте», то именно в бой за культуру. Перебирая великие русские имена, он оживляется, одушевляется при воспоминании о тех, в общении с которыми понятию культуры, в его незыблемо-возвышенном, благородно-уравновешенном значении, никакие передряги и катастрофы не угрожают, — прежде всего, конечно, при упоминании имени Пушкина. Полными вещего смысла представляются ему слова Герцена о петровском «вызове» России, на который она «ответила Пушкиным»...

С Толстым у Вейдле счеты труднее. Он знает, конечно, что из понятия «русской культуры» Толстого никак не выбросишь, но чувствует он и то, что для сохранения в этом понятии нужных ему черт Толстого необходимо ограничить, обезвредить. Поэтому у Вейдле Толстой прежде всего — эпический поэт, русский Гомер, «соблазненный хитростями отрицающего и доказывающего разума». В отвлеченном мышлении Толстого настоящей России будто бы маловато, она вся — в его подлинном творчестве. Даже опрощение Толстого — наполовину от его барства... Все это суждения не раз высказывавшиеся, давно знакомые и до крайности спорные. Их неожиданность, даже их неуместность в книге, богатой мыслями оригинальными, объясняется, по-видимому, тем, что при более внимательном отношении к Толстому построение Вейдле оказалось бы в опасности. Позволю себе сказать в связи с этим, что «Смерть Ивана Ильича», например, в развитии русской культуры — явление не менее великое и органическое, этап не менее важный, чем «Медный всадник», и что в «рассудочном схематизме» Толстого, в «хитростях его отрицающего разума» не меньше черт неискоренимо-русских, чем в его патриархально-бытовых панорамах. Но с европеизмом тут, конечно, что-то не в ладу, да не совсем в ладу и с Пушкиным! Критик-фрейдист отметил бы, вероятно, как характернейший «ляпсус», доказывающий рассеянность по отношению к Толстому, ту фразу, где Вейдле утверждает, что «в будущем историческом музее косоворотка и сапоги Толстого будут висеть недалеко от косоворотки и сапог Распутина». Косоворотка Толстого! Никогда Толстой

косовороток не носил, и даже смеялся над Стасовым, приехавшим к нему в расшитой шелковой русской рубашке, очевидно по соображениям национально-патристическим.

Возражений на «Задачу России» можно бы — и помимо Толстого — сделать немало. Но в короткой газетной статье их трудно развить: нужна была бы для этого книга такого же размера. Вейдле нередко сглаживает углы, кое о чем забывает — или умышленно молчит. Говоря, например, о русской интеллигенции, разрушившей былую дворянскую культуру, и утверждая, что «дворяне были одновременно и культурным, и правящим классом», а следовательно не могли быть правительству враждебны, он ни единым словом не упоминает о декабристах: пропуск, очень облегчающий построение схемы. Даже в «Медном всаднике», особенно ему дорогом и нужном, он отмечает только «восторг перед Петром, благословение его делу» и не видит другого, скрытого облика поэмы — темного, двоящегося, отразившего тот ужас перед «державцем полумира», который охватил Пушкина в тридцатых годах, когда он ближе ознакомился с его действиями и личностью.

Особенно долго следовало бы остановиться на том, что Вейдле называет «восприятием античности», т.е. на вопросе о наследстве, полученном Россией через Византию и о нашей связи с древнегреческим миром. Да, кое-что воспринято действительно было, в киевский период это было ясно... Но что было потом, каким Божьим бичом прошлись по нашей земле татары, как знаменателен, как неисчерпаемо-многозначителен тот факт, что нас не коснулось возрождение! Ницше не случайно же сказал о русских, что это — «самый неклассический народ в мире»...

Но пора кончать. А в заключение хотел бы заметить, что те книги и следует ценить, речь о которых по обилию материала и своеобразию его обработки, приходится обрывать на полуслове. Книга Вейдле — несомненно, одна из таких книг, быть же согласным с автором «Задачи России» в каждой его мысли трудно хотя бы уж потому, что мысли эти слишком близко нас, со всем нашим прошлым и будущим, задевают.

Против России

Недавно в Лондоне, в одном из русских кружков, был устроен вечер памяти Достоевского, — вернее, была прочитана о нем лекция. Следовало бы, кстати, отметить удивительный факт: несмотря на то, что русская эмиграция в Лондоне количественно беднее, чем в Париже, собраний, докладов и вечеров там больше. В Париже были годы исключительного оживления, но с войной все это безвозвратно кончилось. Ходасевич когда-то саркастически писал о «многострадальном зале Лас-Каз», где действительно два-три раза в неделю происходили русские сборища, по характеру своему нередко оправдывавшие употребленный Ходасевичем эпитет. Но «иных уж нет, а те далече», эмигрантской столицей сделался Нью-Йорк, а Париж мало-помалу погрузился в спячку, прерываемую лишь случайными толчками. Лондон русским центром, в сущности, никогда не был, для усталости у эмигрантов-лондонцев нет оснований, и они скромно и спокойно делают дело, которое почти оставили парижане.

Итак, в Лондоне была прочитана лекция о Достоевском. Однако сказать несколько слов мне хотелось бы не о самом докладе, а о выступлениях, состоявшихся после перерыва. Некоторые из них заслуживают внимания потому, что за ними чувствовалось нечто общее, поднявшееся из темных, сбитых с толку глубин русского сознания, нечто в наши дни распространенное, настолько знакомое, что, слушая иную речь или читая иную статью, с полуслова знаешь, каковы будут заключения и выводы. По существу ничего нового ни в статьях, ни в речах такого рода нет. Было это, увы, и прежде в России, — только в наше время настроения эти обострились, осмелели, приняли форму вызова, окрасились в какие-то мстительно-торжествующие тона, а иногда имеют и другой вид: измученный, ожесточенно-нервный, как именно и было в Лондоне.

Что сказал незнакомый мне оппонент, — из новых эмигрантов, — крайне недовольный, взволнованный докладом, выступивший с тем, чтобы не оставить в нем камня на камне, и притом с русской литературой, по видимому, довольно основательно знакомый? Начал

он с того, что Достоевский — величина дутая. Людей он будто бы не знал, героев своих с их причудливой и безумной психологией начисто выдумал, и всем его потугам на глубину — грош цена.

Признаюсь, я слушал эту вступительную часть возражения докладчику с любопытством. Не то чтобы утверждения, будто «никаких Раскольниковых в настоящей жизни нет», «я по крайней мере их не встречал», были сами по себе интересны. Нет, нисколько. Заинтересовал меня человек: весь мир признает Достоевского великим писателем, а вот выходит перед аудиторией Иван Иванович или Петр Петрович и, не колеблясь, заявляет, что король-то гол! Какая непоколебимая вера в свою проницательность! Вместо того, чтобы постараться понять, что же люди в Достоевском находят, вместо того, чтобы помолчать, подумать, поискать, вчитаться — небрежное отшвыривание: я не понимаю, следовательно, понимать и нечего!

Однако пока дело касалось того, гениален или бездарен Достоевский, мы оставались в области суждений литературных. Дело пошло иное. «Пора открыто заявить, — с перекошенным от искреннего, о, несомненно, искреннего негодования лицом, и, как это ни странно, с каким-то «достоевским» исступлением в самом складе речи, говорил оратор, — пора наконец признать, что все эти наши прославленные мудрецы и пророки, всякие там Толстые, Достоевские, Некрасовы, Белинские, ничего кроме вреда не принесли. Оттого и сидим мы здесь, на реках Вавилонских, что были у нас Толстые да Белинские! Чем они, в сущности, занимались? Распатывали русскую государственность, готовили революцию, ждали ее, как царства небесного... Ну, вот и дождались, радуйтесь! А мы здесь по недомыслию своему продолжаем их на все лады славословить! Если был в России писатель, который видел истину и сказал то, что действительно русскому народу надо было услышать, то это Гоголь в “Переписке с друзьями”. Вот об этом великом учителе и следовало бы помнить, а не о разных лже-гениях и лже-мудрецах».

Не ручаюсь, что я вполне точно передал содержание речи. Но общий смысл, дух ее был таков, и в качестве имен, ничего кроме презрения не заслуживающих, были названы именно эти четыре имени: — Толстой,

Достоевский, Некрасов и Белинский. Несомненно, монархист и консерватор Достоевский был бы озадачен, узнав, что попал на скамью подсудимых вместе со страстно им ненавидимым Белинским. Но в порыве возмущения наш оратор все валил в одну кучу, да, пожалуй, и в самом деле по взрывчатой сущности своего творчества Достоевский союзником его оказаться бы не мог.

Первую часть выступления я слушал, повторяю, с любопытством. Вторую — с некоторой растерянностью: что ответить? Надо бы начать с таких азов, а затем перейти к таким прописям, что не хватило бы на ответ и двух вечеров. Когда-то Михайловского просили дать статью в защиту свободы слова. Он сказал: «Свобода слова для меня принцип настолько абсолютный, что я забыл, как его надо обосновать... мне гораздо легче было бы написать статью о чем-либо спорном, чем о том, что дважды два четыре». Мне вспомнился Михайловский, когда я слушал о русских отщепенцах — Толстом и Достоевском, Некрасове и Белинском: действительно трудно без подготовки вернуться к духовной азбуке.

В представлении людей такого склада, как данный оратор, главная ответственность за национальные бедствия лежит на Толстом. Тут вместо ответа следовало бы посоветовать прочесть давно вышедшую, замечательную по ясности и убедительности мысли, брошюру Василия Алексеевича Маклакова «Толстой и большевизм». В ней каждое слово верно. В ней навсегда дан урок тем, кто с высоты своего легкомыслия решается Толстого в чем-либо обличать.

Но вдаваться в рассмотрение нужных доводов сейчас я не стану. Отстаивать от слепой вражды великие русские имена ни к чему. Важен не самый факт, что подобные выступления в наше время возможны, важно то, что оно отнюдь не случайно и не исключительно, что это лишь частица некоего эмигрантского (а может быть, и общерусского, пока еще скрытого, — как знать?) целого, что это голос из хора, что за отдельным выступлением видна все растущая, темная волна, грозящая надолго захлестнуть самые дорогие в облике России черты, погасить ее огонь ради душка дубровинского или ждановского (что — с поправкой на историческую перспективу — почти одно и то же).

Не знаю, помнят ли читатели, хотя бы смутно, две мои статьи, помещенные в «Русской мысли» месяца полтора тому назад под названием «После войны», — о понижении культурного уровня в нашей литературе. Политическую сторону вопроса я в них умышленно оставил в стороне, хотя без политики в наше время не обходится ничего, и, хочешь не хочешь, ее вмешательство чувствуется всюду.

Не может быть сомнения, что обскурантизм, на нас надвигающийся, корнями своими уходит в почву политическую, и что советская выучка, та атмосфера, которою люди, в советской России выросшие, в течение долгих лет дышали, осложнившись жестокой, выстраданной ненавистью ко всему в самом общем смысле слова «революционному» — прежде всего к таким понятиям, как «революция», «социализм» и даже «равенство», даже «свобода», — дает сейчас горькие свои плоды. Об этом можно и надо жалеть, этому надо сопротивляться, но тяжкой ошибкой было бы ограничиться иронической усмешкой, означающей, что «это нас не касается»: мы-де люди интеллигентные, культурные, мы храним заветы, чтим традиции — и так далее.

Нет, надо растолковывать, объяснять, давать почувствовать, что если действительно в прошлом великая русская литература была с русской государственностью не в ладу, то вовсе не потому, что была она одержима каким-то нигилистическим и разрушительным сумасшествием. Она думала о человеке, о человеческой личности и ее правах, о том, каково должно быть справедливое общество, о том, чего ищет человеческая душа, и как же понять, что когда Белинский в ответ на «Переписку» Гоголя, — книгу кое в чем глубоко замечательную, но в доброй половине своей и нестерпимо лицемерную, — кричал: «Проповедник кнута, поборник мракобесия, что вы делаете?» — он прав был даже перед тем Богом, которого в своем наносном атеизме отрицал и которому Гоголь усердно молился. В те годы, когда Гоголь свою книгу писал, людей в России продавали и покупали, как вещи: казалось бы, автор «Переписки», только душе-спасительными предметами и занятый, должен был бы счесть это чем-то чудовищным и безбожным. Но Гоголь ни единым словом против крепостного права не обмол-

вился и даже дал понять, что ничего дурного в нем не находит. Да что вспоминать!

Конечно, и Гоголь — одно из наших сокровищ, «умное, странное и больное существо», как сказал о нем Тургенев, и непростительно было от него отречься из-за невозможности во всем с ним согласиться. Ошибки, срывы, заблуждения бывали у всех, но в целом русская литература оттого и вызвала на Западе при знакомстве с ней такое волнение, что несла она с собой полузабытую на Западе моральную тоску, подъем и тревогу. Было, конечно, признание чисто художественное, но было и нравственное молчаливое преклонение перед людьми, мысли которых воспринимались как укор или упрек...

Запад в конце прошлого века узнал Толстого и Достоевского, но если бы познакомился и с тем, что писали Некрасов или Белинский, то нашел бы и у них, под поверхностной пеленой позитивизма и рационализма почти то же самое. Некрасовские рыдающие стихи, имеющие будто бы исключительно «общественное содержание», — гораздо ближе к молитве, чем любая поэма на религиозные темы: они продиктованы истерзанной совестью, они от сомнений и угрызений как бы не находят себе места, и, право, это много важнее, а в особенности много существеннее, чем то, что Некрасов издавал либеральный «Современник» и был на дурном счету у правительства.

Надо бы все-таки, чтобы русские люди поняли, что именно это — настоящая Россия и что было бы самоубийством от нее отречься и на нее клеветать. Но еще раз замечу, надо объяснять, растолковывать эти истины, а не считать, что кто их не признает, с тем и говорить не стоит! Незадолго до войны, на каком-то собрании один из ораторов в прениях произнес речь с антисемитскими выпадами. Председательствовавший Бердяев долго хмурился, а потом вскочил и, побледнев, сдавленным шепотом проговорил: «прошу немедленно оставить зал, здесь не чайная союза русского народа!» Реакция Бердяева была в свое время вполне естественна и вызвала шумные одобрения, но не думаю, чтобы теперь правильно было бы ею ограничиться.

В те годы казалось, что это былая, тупая, постылая российская «накипь». Но обстоятельства изменились.

Исторические условия теперь не совсем те же, что были до войны. Из советской России бежали тысячи и тысячи людей, у которых навсегда запечатлен в памяти их ужасный жизненный опыт. Даже и страх далеко еще не полностью ими изжит. Если и принесли они с собой «накипь», то несколько иного рода, другого происхождения. Нет ничего удивительного, что многие из этих людей, в судорожных поисках виновников всего случившегося, договариваются до хулы на лучшее, что Россия дала. Вслед за Розановым они могли бы сказать: «Я не хочу истины, я хочу покоя», и не сознают роковой своей ошибки, не понимают, что меняют одно рабство на другое. Надо быть милосерднее в отношении их, хотя едва ли им слово это понравилось бы: лондонского оратора оно во всяком случае окончательно бы вывело из себя.

Ну, что же, обойдемся без милосердия, без жалости! Дело ведь не в словах, а в том, чтобы уловить некую стихийность поднимающегося ослепления, общие его источники и причины, отсутствие в нем чего-либо индивидуального, и найти в себе достаточно силы, разума и чувства, чтобы помочь людям прозреть. Отвечать возмущением на возмущение бессмысленно, как ни трудно бывает иногда спокойно читать или слушать тот или иной кощунственный бред.

«Новый журнал» [№ 44]

Небольшой рассказ Мих. Иванникова «Правила игры», которым открывается тридцать четвертая книжка «Нового журнала», вызвал суждения до крайности разноречивые. Говорю, конечно, о прессе «устной»: отзывов печатных было до сих пор немного, да по количественной своей скудости наша зарубежная печать и вообще не может сколько-нибудь отчетливо отразить колебания и расхождения в читательских оценках. Расхождениям политическим отдано у нас первенство, и всякие другие разногласия оттеснены ими на задний план.

Не думаю, чтобы при внимании и чутью к слову, при способности ценить самую ткань повествования, а не только то, что именно в нем сообщено, можно было отрицать, что «Правила игры» — вещь на редкость талант-

ливая. Должна ли она всем прийтись по вкусу, оправданы ли возражения, которые можно было бы сделать «по существу», т.е. в связи с литературными методами и приемами Иванникова, — вопрос другой, и, добавлю, вопрос второстепенный.

«Правила игры» — рассказ, который, разумеется, не может нравиться тем, кому в творчестве дороги непринужденность, безыскусственность, все то вообще, что обычно определяется расплывчатым, опасным и загадочным словом «простота». Поистине об Иванникове можно было бы заметить, что он «словечка в простоте не скажет», а читатель, которого в конце концов привели бы в ужас и раздражение все его стилистические фокусы, вспомнил бы, пожалуй, и Тургенева: «воняет литературой».

Да, совершенно верно, литература эта ни на минуту не дает иллюзии, будто она литературой быть перестает, будто грань между нею и жизнью или жизненной правдивостью окончательно уже стерта. Нет сомнения, что великие наши законодатели «правдивого» жанра, Толстой и Чехов, прочли бы «Правила игры» с недоумением и даже отвращением. Но это — не довод против такого рода писаний, во всяком случае — довод не против Иванникова исключительно, а против всего, что произошло в литературе и искусстве за последние полвека, и о чем судить надо бы в целом, приняв во внимание общеисторические и общекультурные причины происшедшего.

У кого Мих. Иванников учился? Прежде всего, по видимому, у Андрея Белого. Самая фраза его звучит, как фраза Белого, с напоминающим «Петербург» или «Котика Летаева» нагромождением диковинных эпитетов, то никчемных, то блестяще-удачных, с прерывистым, будто спотыкающимся ритмом, с язвительным юмором, подсказывающим внезапные перебои этого ритма. Мне пришлось слышать предположение о влиянии Набокова на автора «Правил игры». Нет. Набоков гораздо глаже, стремительнее, эластичнее: здесь скорей Андрей Белый, да, кстати, и сарказмы автора над интеллигентствующими «бородачами», руководителями некоего эмигрантского «Общества», с жалкими интригами, сплетнями и борьбой самолюбий, напоминают стра-

ницы Белого, посвященные московским профессорам, приятелям его отца, известного математика Бугаева. Герой рассказа — некто Радкевич, ведущий двойное существование: с одной стороны, он среди иностранцев, на службе — новейшая разновидность Акакия Акакиевича Башмачкина, готовый обратиться к окружающим с бессмертным башмачкинским вопросом: «зачем вы меня обижаете?», с другой — он видный член «общества», подкапывающийся под членов еще более видных, и сам себе представляющийся, значит, величиной, особой, персоной. «Общество» обрисовано восхитительно-метко, с первоклассной силой изобразительности, в частности — госпожа Цык, почтенная дама, много лет уже неудачно и настойчиво добивающаяся избрания в председательницы, и находящая, наконец, утешение более естественное:

«Вся ее клокочущая, вздымающая высокую грудь, пятидесятилетняя страстность обрушилась на внука Тютика, ребенка совершенно необыкновенного: он говорил уже ау, говорил уже уа, он рос не по дням, а по часам, и постоянное прибавление в весе, вровень с его ковыляющими шажками, озарялось удивительной понятливостью, проблесками будущей гениальности: и умоляющая, заумно похохатывающая Цык все просила представить себе все это, а Радкевич с учтивой ненавистью глядел на ее запудренное, колышащееся нежным жирком альтовое горло...»

Надеюсь, по этой короткой цитате читателям трудно будет составить себе представление об общем стиле рассказа. Отмечу в добавление к ней особый, остроумный прием, которым пользуется Иванников, вводя в речь повествовательные фразы от первого лица. Например: на собрании памяти председателя общества Цык и Радкевич «говорили речи о заслугах покойного, незримое присутствие которого все мы в настоящую минуту ощущаем, господ...» Или дальше: «Радкевич призывал вернуться памятью к тем временам, я бы сказал, животворящего беспокойства...» Это мелочи, возразят мне, пожалуй. Действительно, мелочи. Но в иных мелочах больше блеска и находчивости, чем в целом ряде добросовестно раскрашенных страниц. Здесь слышен тембр голоса, видишь человека, наслаждающегося

на эстраде цветами собственного красноречия, — и хотелось бы мне закончить эти замечания о «Правилах игры» стереотипным пожеланием: будем надеяться... Да, будем надеяться, что имя Иванникова станет в нашей печати чаще встречаться, а в литературе нашей надолго удержится.

Рассказ В. Яновского «Болезнь», как обычно у этого писателя — достаточно известного, чтобы нужно было давать его общую характеристику, — драматичен по замыслу и не то что ставит, а как бы только повторяет, напоминает вопросы из разряда самых «проклятых». Случай на первый взгляд выбран самый пустяшный: русский беженец Борисов семь месяцев живет в Нью-Йорке впроголодь, без работы. «Попробуй сознаться, что ты без работы, и кроме злорадных советов, критических замечаний и дешевых поучений ничего не добьешься. Но если заявить “у меня рак или камни в почке, нужна сложная операция”, пожалуй, добьешься подлинного сочувствия, а иногда — рикошетом — и денег». Кончается, однако, все благополучно, работа получена, притворяться больным больше нет причин. У обыкновенного бытовика все бытом и ограничилось бы. Но Яновский, о чем бы он ни писал, неизменно касается того, что Блок назвал «мировой чепухой», и все его персонажи, вместе с Борисовым и другими, в сущности лишь марионетки в руках непостижимой силы, о которой он даже не знает, злая она или добрая, слепая или мудрая.

«Дело Тверитинова» Г. Альтшуллера — отрывок из книги об известном московском чудаке-вольнодумце начала восемнадцатого века. Будет ли книга издана? Судя по отрывку — «добротно», «солидно» написанному, — не говоря уж об эпохе, к которой книга относится, эпохе неисчерпаемо богатой в своем содержании, бесконечно сложной, таящей в себе корни всех наших теперешних смут, — судя по главе, помещенной в «Новом журнале», книга Г. Альтшуллера вполне заслуживает издания. Но не окончательно ли сделались теперь русские издатели «существами метафизическими», как выразился Карамзин о космополитах?

Четырнадцать стихотворений Георгия Иванова объединены общим названием «Дневник». И это действительно дневник, если угодно, повесть о чем-то очень

личном, очень смутном и очень горестном. Предлог, повод к стихам Георгия Иванова в каждом отдельном случае иной, новый, но тема во всех его стихах последних лет — одна, и, вероятно, то особое, настороженное внимание, которое именно в последние годы в поэзии Иванова возникло, на этом и основано. Не так часто поэзия, полностью оставаясь поэзией, перестает быть литературой в верленовском, условном, отрицательном значении слова, чтобы можно было ею не заслушаться.

У Иванова как стихотворца мало общего с Есениным. Он прежде всего гораздо искуснее, гораздо изощреннее его, он больше «мастер», а в певучей своей непосредственности едва ли ему уступает. Но имя Есенина я назвал не случайно: психологически, жизненно ивановская тема близка есенинской, — разумеется, лишь к Есенину самого его последнего периода, — в том смысле, что у обоих поэзия душевной ликвидации, поэзия «обманувших надежд», поэзия «облетевших цветов, догоревших огней» уничтожила всякие иные побуждения к творчеству. Порыв возникает из-за того, что рваться, собственно говоря, уже не к чему. Параллель легко было бы развить, она была бы в высшей степени интересна, но по недостатку места я ограничиваюсь указанием на ее возможность, с уверенностью, что любители поэзии мысленно продолжают ее сами... Послевоенные стихи Иванова — замечательное явление в нашей литературе. Тихим, приглушенным, вкрадчивым голосом, с причудливым, тончайшим смещением иронии и лиризма, с какими-то неожиданно-«достоевскими», — из «Кроткой» или из «Бобка», — интонациями в мелодии, он ведет монолог, ни от кого и ниоткуда не ожидая отклика или ответа. Меньше всего от судьбы.

В. Корвин-Пиотровский, по-видимому, находится на переломе, и, оставаясь верным излюбленному своему размеру, четырехстопному ямбу, изменяет прежней «прекрасной ясности» ради туманов, намеков и умолчаний. С первых же строф, однако, чувствуется, что это именно Пиотровский, а не кто-либо другой. Каждая из них скреплена, — как сказал Теофиль Готье о Бодлере, — его личной печатью. Стихи живут, «существуют», а не выдуманы или механически сделаны. У Лидии Алексеевой тоже, кажется мне, есть данные для непод-

дельного литературного существования. Некоторые ее строчки сразу запоминаются. Но признаюсь откровенно, я недостаточно внимательно за Алексеевой следил, не помню даже того, есть ли у нее отдельные сборники, — и оттого и пишу «кажется»: не из критической осторожности, а лишь по недостатку оснований для суждения твердого.

Несколько интересных — или, по крайней мере, любопытных статей, — политических, философских (Н. Лосский о Бердяеве), литературных (Е. Каннак о неизвестной пьесе Чехова). Особняком стоит «Моцарт» В. Маркова, произведение, о котором можно бы, перефразируя Некрасова, сказать, что в нем «словам просторно, мыслям тесно». Три-четыре оригинальных замечания тонут у Маркова в море суждений опрометчивых, скороспелых, а порой и фактически ошибочных. Стиль статьи, к сожалению, соответствует ее внутреннему складу. Досадно видеть под ребяческими, мнимо-поэтическими красотами и эффектами, которыми «Моцарт» в изобилии приправлен, подпись подлинного поэта.

Выделю, хотя и по другим причинам, и воспоминания Е.Д. Кусковой «Давно минувшее»: образец и доказательство того, что в девяти случаях из десяти человек пишет хорошо, действительно хорошо и свободно, лишь тогда, когда не слишком этим озабочен. А что записки Кусковой полны ума, чувства и знания жизни, незачем и добавлять.

«Новый журнал», книга 45-я

Рассказ Е. Гагарина «Охота на гусей», которым открывается очередная книжка «Нового журнала» — рассказ не плохой. Написан он, так сказать, по лучшим рецептам. Картины природы широки, величавы, спокойны, язык богат и точен. Поэтический элемент, связанный главным образом с появлением в деревенской глуши некоей обаятельной и таинственной молодой женщины, по прозвищу Аттила, тоже выдержан в тонах испытанных, проверенных, на первый взгляд безошибочно действенных. Почти Бунин, одним словом... Но в том-то и беда, что «почти»! В каждой строке «Охоты на гусей» замет-

но, что это вещь подражательная, а не подлинно творческая, не оригинал, а копия. Но копия, повторяю, хорошая, искусная, и, вероятно, многим читателям придется она по душе.

Совсем другое дело — отрывок из романа Ирины Одоевцевой «Когда бушевала буря». Едва ли к нему применимо выражение «придется по душе», хотя бы по всему его тревожному, даже мучительному складу. Но думаю, все признают, что в отрывке этом нет и следа какой-либо подражательности и что о горестных или постыдных происшествиях, составляющих его фабулу, рассказано в нем вполне по-своему. Да и написан отрывок вполне по-своему.

Одоевцева — романистка с уже большим стажем, а до сих пор не было в нашей критической литературе сколько-нибудь вдумчивой и справедливой статьи, ей посвященной. У меня нет, конечно, претензии заполнить сейчас этот пробел, и хочется мне только сказать несколько общих слов о даровании Одоевцевой, — том даровании, которое лет тридцать—тридцать пять тому назад отметил у совсем еще юной девочки, чуть ли не подростка, с высоты своего тогдашнего величия Лев Троцкий. Помню заключительную фразу Троцкого: — Bravo, мадемуазель! Продолжайте! — означавшую приблизительно следующее: пролетариату и трудящимся массам ваши прелестные фантазии, сударыня, к сожалению, не «созвучны», но талант ваш мы ценим и приветствуем.

За Одоевцевой прочно установилась репутация писателя веселого, легкого, жизнерадостного, что отчасти верно, — но только отчасти, — и держится на впечатлении исключительно стилистическом. Звук ее фразы действительно легкий, порывист, и ни в коем случае не располагает к меланхолии или задумчивости. Бунин, очень ее любивший, как-то пошутил: «читаю и будто сижу в лифте... вверх-вниз, вверх-вниз!» При чтении отрывка в «Новом журнале» это бунинское образное и остроумное замечание не раз приходило мне в голову: короткие предложения, почти без придаточных, нередко и без глаголов, точки там, где другой писатель поставил бы запятую, какой-то безостановочный полет, бег, неутомная стремительность. Казалось бы, чтение действительно

должно давать «бодрую зарядку», как выражаются в советской России.

Но индивидуальность Одоевцевой глубоко противоречива. В основании ее писаний лежит скрытый, может быть даже безотчетный ужас перед жизнью и перед беззащитностью человека. Оболочка ее писаний как бы в вечной опасности из-за толчков изнутри, и обманчиво-легкий их стиль готов каждую минуту сжаться, распасться, прорваться, чтобы дать место чему-то темному и глубокому. Тема беззащитности особенно ясна у Одоевцевой, когда она пишет о детях, или о полудетях, и мне вспоминается по этому поводу довольно удивительный случай: ее роман «Изольда» и известная повесть Жана Кокто «Les Enfants terribles» вышли почти одновременно, так что ни о каком заимствовании не могло возникнуть и речи. Между тем в замысле эти два произведения странно близки, близки они и в колорите, со смесью ангелоподобной чистоты и порочности, радости и отчаяния, ребяческой заносчивости и того, что можно определить непереводаемым словом *resignation*. Статья моя превратилась бы в отзыв об одной только Одоевцевой, если бы я увлекся и стал подробнее говорить о ее творческих особенностях. Приходится поэтому оборвать эти замечания на полуслове, добавив только, что в отрывке «Когда бушевала буря» эти особенности — и этот талант — столь же отчетливо очевидны, как были в давнем «Ангеле смерти».

Речь идет в нем о спекулянте и «дельце» Рачинском, по малодушию совершающем во время немецкой оккупации чудовищную подлость и, как Раскольников, ищущем самооправдания в сравнении себя с Наполеоном. Но Раскольников, — хотя по собственному своему приговору он «не Наполеон, а вошь», — все-таки герой и великий человек рядом с Рачинским. Остатки живого чувства в душе Рачинского, впрочем, есть: и любовь, по видимому жертвенная, а не чисто плотоядная, к некоей Ксане, вполне достойной его самого... Но все вместе, и он, и Ксана, и две несчастные старухи, им обманутые, и ребенок, чудом спасшийся от немецкой газовой камеры, все тонет в ужасе, бессмыслице и печали. «Скучно жить на свете, господа!» — сказал Гоголь. Одоевцева внесла бы поправку: — «страшно жить на

свете». А, по-видимому, ей хотелось бы иметь и сохранить совсем иное представление о мире, и сознание ее омрачилось и застыло в безнадежности вопреки ее природным данным.

«Человек, которому все равно» Л. Ржевского интересен в психологическом отношении. Разумеется, все мы знаем и без каких-либо доказательств или документальных свидетельств, что в советской России есть множество людей, не вполне «приспособившихся», душевно-сложных, и представляющих собой нечто вроде оппозиции, если и не в прямом политическом смысле, то по своей духовной структуре.

Был в советской литературе писатель, о котором давно ничего не слышно, совсем теперь забытый, — какова его судьба? — Яков Рыкачев, автор замечательной книги «Сложный ход», одной из самых замечательных и умных книг, которые вообще за последние тридцать лет в России появились (ему же принадлежит и любопытнейшая повесть «Величие и падение Андрея Полозова», напечатанная в «Красной нови», но, насколько мне известно, отдельным изданием не вышедшая). Рыкачев специализировался на «несогласных» или на тех, которые изо всех сил бьются, чтобы стать хотя бы по виду «согласными», однако тщетно.

У Ржевского его герой Батулин занят преимущественно эмоциями любовными, притом с карамазовской одержимостью и маниакальностью, но это не мешает ему высказывать мысли, в которых коренное, непреодолимое несогласие на быт, организованный в духе насильственно-уравнительного благополучия, сквозит повсюду. Батулин малопривлекателен. Помимо Рыкачева, о котором автор повести, Ржевский, может быть, и не помнил, у Батулина есть явное родство с незадачливым Кавалеровым, героем знаменитой повести Юрия Олеши «Зависть». Оба они вышли из духовного «подполья» и восходят, в конечном счете, именно к «Запискам из подполья», произведению, оказавшему огромное, не поддающееся учету влияние на тысячи литераторов последнего полустолетия. Не то чтоб эти литераторы единодушно уверяли, что дважды два, может быть, вовсе не четыре, а пять, — нет, конечно: но им скучно, им душно, оттого что дважды два по-прежнему четыре, и какое-то

фантастическое «пять» они возвеличивают на все лады, притом и в тех областях, где математике решительно нечего делать. А в России-то, где «дважды два четыре» провозглашено и утверждено с новой силой, настойчиво, нетерпимо, агрессивно и без тени сомнения в вечной ценности этой истины, притом во всех ее разновидностях, в России язвительно-подпольные намеки на возможности «пяти», тоска о «пяти», должны были найти новое вдохновение.

О Батулине Ржевский рассказывает со стороны, на основании нескольких встреч с ним, разделенных годами. Но по существу рассказ представляет собой монолог Батулина, весь выдержанный в запальчиво-подпольном говорке: от Лермонтова, который будто бы «выше Пушкина» — (вопрос, кто «выше», во веки веков неразрешен, и если вдуматься, вполне бессмыслен: но для душ сколько-нибудь ущербленных Лермонтов с его отсутствующим у Пушкина «вздохом», с его «небом полночи», навсегда останется «выше») — к «девочкам», от «девочек» к людям, «ползающим на брюхе перед властью», и так далее, и так далее. Монолог горячечный и местами тягостный, при всей его искренности. Примиряет с Батулиным, пожалуй, лишь смерть его. Но смерть примиряет всех и все, и более ценно было бы примирение, которое налаживается еще при жизни. Это, кстати, следовало бы принять за общее правило.

Из стихов надо обратить внимание — правильное было бы сказать: «наконец обратить внимание» — на стихи А. Величковского. Имя его, сравнительно новое, в последние годы довольно часто мелькает в нашей печати.

Не берусь судить о размерах дарования Величковского. В его стихах есть почти всегда что-то неуклюжее, то подчеркнуто-прозаическое, то простодушное в самой манере выражения. Но зато у него есть свой тон, и это с лихвой искупает все, что в стихах его может покорибить. Тон далеко не обычный: глуховатый, сдавленный, скромный, с отзвуками глубоко утаенной боли и недоумения. Читаешь, бывает, иные стихи, иных авторов, — и думаешь: будто вода из крана! Льется, журчит, и если крана не закрыть, будет литься до бесконечности, — но к чему, зачем, даже если вода чистая и прохладная?

О Величковском этого никак не скажешь. Большой ли из него выйдет поэт, останется ли он таким, каков он сейчас, гадать не будем. Но нет сомнения, что он — поэт настоящий.

В. Злобин, которого к малоизвестным и молодым причислить нельзя, с каждым годом развивается и заслуживает того, чтобы поговорить о нем обстоятельно. С большой охотой поговорил бы я обстоятельно и о легчайшем, ускользающем от логического анализа, сюрреалистическом вдохновении Одоевцевой как поэта и стихотворца, если бы проза ее не заставила меня уделить ей в моей статье слишком много места. Замечу только, что последние строки ее стихотворения:

Я крепко сплю, не достигая
Глухого дна
Отчаянья

— очень красноречивы в качестве комментария и дополнения к тому, что было о ней сказано.

Статьи ценны, содержательны, интересны, в особенности «Шиллер в России» Дм. Чижевского, а отчасти и «Анненский о Гоголе» Зои Юрьевой (впрочем, в некоторых суждениях статья эта очень спорная). Номер журнала вообще прекрасно и богато составлен. Воспоминания Е.Д. Кусковой — «объядение», как писал кому-то Чехов, и надеюсь, почтеннейший автор не примет это мое определение за развязность. Воспоминания действительно восхитительны, — и в том, как они написаны, и во всем своем добродушно-умудренно-всепониющем складе. О разговорах со Львом Шестовым, по записи Б. Фондана, о «Комментариях» М. Карповича, в их литературной части, — когда-нибудь в другой раз.

Древняя Россия

Название книги Ю.Л. Сазоновой — «История русской литературы. Древний период» — может отпугнуть читателя «рядового», малосклонного к тому, чтобы снова чему-либо учиться или вспоминать полузабытые имена, годы, события, содержание словесных памятников.

Это и в самом деле история, т.е. прежде всего школьное руководство. Но написана книга с такой непосредственностью и с таким увлечением, что с первых же страниц забываешь о ее образовательных целях и с головой уходишь в мир далекий и вместе с тем близкий, мертвый и живой, таинственно глубокий, неисчерпаемо богатый.

Среди появившихся в печати отзывов о книге Сазоновой были статьи, где преимущественно отмечались неточности и отдельные мелкие ошибки, допущенные автором. Не будем спорить, неточности указаны были верно (хотя и с явно преувеличенной настойчивостью, а порой и раздражением). Но ошибки можно исправить, — поставив, например, в ближайших изданиях вместо одной даты другую, — а вот проникновения в дух прошлого, способности уловить связь между прошлым и настоящим, т.е. всего, что отсутствует в иных солидных и внешне безупречных руководствах, этого-то ничем заменить было бы нельзя! И это — главное, чем книга Сазоновой прельщает и подкупает. Ключевский говорил о некоторых своих учениках: «мало знать, надо понимать». Сазонова во всяком случае «понимает», чувствует, умело и чутко догадывается, безошибочно взвешивает и оценивает, да и «знает» слишком много, чтобы те или иные погрешности в изложении можно было приписать чему-либо, кроме рассеянности. Тысячи, тысячи сведений, фактов, чисел, имен, — и, право, при сколько-нибудь справедливом отношении к делу никак нельзя свести на нет ценность прекрасной книги из-за того, скажем, что Мамай умер не в том году, который в ней указан.

Книга полна мысли и в ответ, как говорится, будит мысль. Внушена, вдохновлена она сознанием единства русской литературы, и вовсе не по какому-либо капризу беспрестанно переходит автор от древних памятников к писателям новейшим, вплоть до Гумилева и других: преемственность, связь, верность русскому духу — тема Сазоновой, а изложение должно в ее представлении стать развитием этой темы, ее утверждением и иллюстрацией.

«Русская литература родилась в монашеской келье, в младенчестве носила рясу черноризца, в отрочестве облачилась в латы воина. Этим в значительной степени объясняются ее судьбы».

«То, что русская литература родилась в монастыре, и что первым ее служителем был отрешившийся от мира отшельник, наложило неизгладимую печать на весь позднейший облик русского писателя, которому вменялось в обязанность быть подвижником...»

«С первых строк темой русской литературы были национальные нужды, вопросы будущего, “печалование” о Руси, стремление указать правильный путь... Такое понимание целей художественного изображения сохранилось на протяжении веков... Источником заветов русской литературы, служивших мерилем значения писателя, была монастырская келья с ее строгим отношением к правде».

Все это непрерываемо верно, а если подчас, при новых веяниях, эти истины и кажутся устарелыми, отжившими, требующими пересмотра, то полезно уйти в глубь веков, и, взглянув оттуда на все длительное развитие нашей словесности, убедиться в ее цельности и даже больше: в особом, действительно «подвижническом» ее характере. Правда, относится это только к вершинам ее. Но не по вершинам ли надо о творческих явлениях и судить? Несомненно, от древних летописцев, как утверждает Сазонова, тянется к Гоголю, Толстому или Достоевскому прямая соединительная нить. Ну, а если — скажу от себя, — писания Икса или Игрека с этой линией не вполне совпадают, то тем хуже для них: большого значения это не имеет!

Нет возможности остановиться на отдельных главах книги Сазоновой, хотя в каждой достаточно содержания, чтобы сделать это стоило. Стоило бы поговорить особо о песнях, о проповедях, а тем более о «Слове о полку Игореве», несравненная поэтическая прелесть которого, пробиваясь сквозь трудный по составу язык, может служить для русского человека оселком: глух он к поэзии или нет? О житиях, о сказаниях, об Иосифе Волоцком и его противнике Ниле Сорском, одном из великих общерусских учителей, о многом другом.

Основное впечатление, не новое, в сущности, и ничуть не неожиданное, но при чтении усиливающееся с каждой главой: сколько боли в русской истории, сколько в ней страдания и грусти! Пожалуй, и другие народы могли бы сказать о себе то же самое: в самом деле,

дорогой ценой оплатило и оплачивает до сих пор человечество путь свой к тому, что мы называем «цветением цивилизации». Но у русской истории свой тон, своя окраска и привкус, да и судьба у России особая, иная. Одна из цитат, приведенных в книге Сазоновой, меня поразила, и не сомневаюсь, поразит и даже взволнует многих читателей, как отклик «из глубины веков» на их приглушенные, притупившиеся от времени мысли и чувства, как что-то сказанное чуть ли не вчера, после долгих скитаний, воспоминаний, надежд, недоумений, обид, после всего, что пришлось русским эмигрантам испытать, и что все-таки не превратило их в Иванов-непомнящих. А написаны эти строки в пятнадцатом веке, Афанасием Никитиным, путешественником, побывавшим в Турции, Индии и других далеких странах:

«Турецкая земля очень обильна. В Волошской земле также обильно и дешево все съестное. Обильна всем и Подольская земля... А Русскую землю Бог да сохрани! Боже сохрани! Боже сохрани! На этом свете нет земли подобной ей, хотя бояре Русской земли не добры. Но да устроится Русская земля и да будет в ней справедливость! О Боже, Боже, Боже, Боже, Боже!»

Нечего к таким словам добавить. Но раз прочитав, нельзя их и забыть.

* * *

Переходя к вопросам совсем иного порядка, должен заметить, что некоторые утверждения Сазоновой представляются мне довольно спорными. В частности, ее замечания о Киеве и том периоде киевской культуры, который она определяет, как «русский Ренессанс».

Сазонова не только приписывает ему такое же значение, как Возрождению итальянскому, но даже склонна отдать ему предпочтение. Не Рим, а Греция вдохнула жизнь в русскую цивилизацию. Платон, Эсхил, Софокл стояли у ее колыбели. Именно тем, что киевская Русь явилась духовной преемницей Эллады, и следует будто бы объяснить, что позднейший, французский классицизм — у нас называвшийся ложноклассицизмом, — не мог привиться в России. Что в самом деле могли дать Корнель и Расин народу, хранившему память о первоис-

точнике всей европейской культуры, и еще дышавшему афинским животворящим воздухом! Да, — указывает Сазонова, — татарское иго было страшной катастрофой, надолго отбросившей Россию назад. Но связь окончательно нарушена не была.

Нет ли здесь натяжки? Тема исторически сложна, в двух словах о ней, разумеется, ничего не скажешь. Спросим себя, однако: был ли действительно в России когда-либо Ренессанс и уместен ли этот термин в применении к византийски-киевскому знакомству или даже увлечению древней эллинской литературой, мудростью, просвещением? Где в нашей истории Возрождение, именно воз-рождение, т.е. не преемственность, а восстановление чего-то забытого, возвращение к дорогому, утраченному прошлому?

Чем было Возрождение итальянское? Прежде всего — вспышкой света, радости, пробуждением от долгого сна, вновь обретенным ощущением безгрешности мира, каким-то утром культуры, проникнутым утренней бодростью и головокружительно-безбрежным вдохновением. Да, совершенно верно, средневековые вовсе не были эпохой сплошного мрака и грубости, и прежние невежественные представления о нем давно пора оставить. «*Le moyen Age énorme et délicat*», — хорошо сказал о нем Верлен. Была в Средние века напряженнейшая духовная жизнь, было все то, что навсегда запечатлено в дивных, рвущихся ввысь средневековых соборах и не менее дивных сказаниях, легендах, наконец — в великом историческом явлении крестовых походов.

Но душа человека двоятся. Ее тянет ввысь, но держит ее и земля, со всей упоительной прелестью и сладостью земного существования. Возрождение несло в себе, несло с собой оправдание того, что казалось навеки осуждено, отвергнуто, как нечто бесовское, удрученное тяжестью первородного греха, — и конечно, оно должно было возникнуть именно в Италии, где само небо в своей сияющей синеве как бы свидетельствовало, что жить стоит, что не может человек думать только о бренности земного существования и о смерти, что если мир создан Богом, то в нем и до сих пор «все добро зело»... В киевской Руси не было долгих веков забвения и не могло быть поэтому и счастья находки, узнавания, восстановления. Кстати,

у Буркхардта в знаменитой его книги о Возрождении, — одной из любимых книг Ницше, — есть рассказ о находке чисто материальной, физической, и о том волнении, которое она в Италии возбудила. Найдена была гробница с чудесно сохранившимся трупом молодой римлянки: люди склонялись над ней в молитвенном благоговении, именно потому, что это была римлянка, женщина, которая, может быть, видела Вергилия или — как знать? — беседовала с Цицероном. Для них это было видение из потерянного рая, осколок мира, где в первый и единственный раз человек был полностью человеком. Ничего подобного не могло бы возникнуть в киевской Руси, оттого и отклики нашего мнимого Ренессанса были слабее, независимо от татар.

А Корнель и Расин... Но ведь вовсе не только в России и для русских они были не классиками, а псевдоклассиками, и не только Лев Толстой утверждал, что это «поэтическая язва на теле Европы», не только Пушкин считал, что в «Федре», кроме прекрасных стихов, ровно ничего нет! В Германии, в Англии было распространено то же мнение, и высказаны были оценки еще более резкие. Едва ли, значит, отталкивание от французского классицизма следует приписать преобладанию влияний греческих.

Спорить, однако, можно до бесконечности. Скажу в заключение, что соглашаясь или не соглашаясь с автором, отраднo читать книгу, очень богатую содержанием и заставляющую думать о предметах по-настоящему интересных и до сих пор существенных.

«Весть» — стихи поэта

В сборнике стихов Александра Гингера всего двенадцать стихотворений, а помечен он годами 1939—1955. Это сначала удивляет: меньше чем по одному стихотворению за год. К такой скупости, к такой осмотрительности наши современные поэты нас не приучили, — наоборот, большинство из них могло бы выпускать книжку за книжкой, будь для этого издательства и средства.

Нельзя, однако, считать расточительность дарования признаком его богатства и силы. Дело скорей в твор-

ческом методе, в отношении к самому себе, в общем взгляде на поэзию. Двенадцать стихотворений Гингера, почти без единого исключения — стихи замечательные, внутренне сжатые, живущие каждое самостоятельной жизнью, и не случайно при чтении их вспоминается то, что Фет когда-то сказал о маленькой книжке Тютчева: «томов премногих тяжелей». Конечно, по теперешним меркам упоминание о «томах» должно показаться преувеличенным: кто же выпускает теперь «тома» стихов? Но мастерства и своеобразия у Гингера действительно больше, чем во многих сборниках, где на первый, поверхностный взгляд благодатно-легкое вдохновение льется через край.

Не думаю, чтобы стихи Гингера стали когда-нибудь широко популярны. Вероятно, и сам он на это не рассчитывает, да судя по всему складу его поэзии, он этим и мало озабочен. Стихи его не то что трудны, нет: особого умственного усилия, или того, что Вячеслав Иванов называл «поэтическим со-творчеством», они не требуют. Но, несомненно, в основе их лежит возбуждение словесное, или на крайность ритмическое, а не какое-либо чувство, со словом не связанное, т.е. возникли они из сочетания звуков, а не из внезапно нахлынувшей грусти или радости, которую поэт затем иллюстрирует образами. «Дьявольская разница», можно было бы в данном случае процитировать Пушкина. Придутся по душе стихи Гингера преимущественно тем, кто оценит самый словесный состав их, оригинальную, крепкую и органически-убедительную материальную их сущность, и лишь после этого полюбопытствует, каким отношением к миру и жизни они внушены. Добавлю сразу, что ничего общего с фокусничеством, с пустой, выхолощенной виртуозностью стихи Гингера не имеют. В них есть то, что мы называем содержанием — и что иначе называть и нельзя. Но это содержание не декларативно, не голословно, а претворено в самой плоти поэзии и от нее неотделимо.

Есть в истории французской литературы известный рассказ, в сущности — полу-анекдот, однако полный смысла. Дега, знаменитый художник, писал стихи, но не Бог весть какие, и, сознавая это, жаловался Малларме: «не удаются мне стихи... а ведь идей у меня

не мало!» Малларме ответил: «Бедный друг мой, дело в том, что для стихов нужны не идеи, а слова». Пожалуй, Малларме тут чрезмерно заострил свою мысль и нарушил манящее, как идеал, равновесие: совсем без «идей» и всего, что с «идеями» связано, подлинной поэзии быть не может, и он сам дал этому пример. Но если понять его мысль как указание, что слова нужны *прежде всего*, — подобно телу, необходимому для всего живого, — он был совершенно прав. Равновесие, разумеется, достигается крайне редко. У нас, за всю историю нашей поэзии, достигал его, в сущности, один только Пушкин, и кстати, не на этом ли держится преимущественно та его «гармония», о которой за сто лет было столько досужей и высокопарной болтовни? Не в этом ли и объяснение того, что Пушкин непереволим и в переводах действительно делается «плоским», как говорил Флобер Тургеневу. Другие наши основные поэты — Лермонтов, Тютчев, Некрасов и немного в стороне застывший в своей горестной задумчивости Баратынский, — менее совершенны именно в этом смысле, хотя каждый из этих «сыновей дисгармонии» велик по-своему.

Но это — разговор общий, разговор долгий, если только позволить себе им увлечься. Отрадно, однако, иметь дело с поэтом, который к таким общим соображениям уводит и дает к ним основание. Стихи Гингера в высшей степени «литературны» и далеки от фетовского стремления «сказаться без слов». На дневник или на исповедь они не похожи нисколько. Сердечных излияний в них не найти. Они не продолжают одно другое, а каждое само собой ограничено и в себе закончено. В них чувствуется стоическое сопротивление тому разложению искусства, тому пренебрежению к его установившимся формам ради каких-то высших, прекрасных, но почти неуловимых целей, которое так характерно для наших дней. Пишу я об этом не в похвалу Гингеру, как и не в осуждение тем, кто склонен в поэзии к другой линии: в данном случае я лишь «констатирую факт», а если Гингер похвалы и заслуживает, то не по самой своей творческой позе (т.е. «аттитюд»), а по твердости, спокойному достоинству и мужеству, которые в каждой его строчке отражены и поэтически воплощены. Всякая поза допустима, всякая может оказаться законной, и решающее

значение имеет не первоначальный выбор, а конечное его оправдание.

В пояснение мне хотелось бы добавить, что стихи Гингера, вероятно, очень понравились бы Гумилеву (и наоборот, — и это чрезвычайно характерно! — едва ли понравились бы Блоку). Может быть, Гумилева удивил бы несколько архаический, с реминисценциями из Державина, стиль Гингера. Но самую суть его поэзии, духовный склад ее он, ненавидевший всякую сентиментальность, малейшее «ковыряние в самом себе», говоря словами Конст. Леонтьева (считавшего это занятие «досаднейшей русской особенностью»), приветствовал и одобрил бы.

Архаизмы Гингера — едва ли явление случайное. Когда-то он, вместе с покойным Поплавским увлекался течениями футуристическими, но не в пример Поплавскому воспринял от футуризма отталкивание от романтической мечтательности, чувствительности и простодушных жалоб на жизненные невзгоды. С годами это усложнилось. Представление о творчестве нашло поддержку в общем «мироощущении» поэта. Опыт подсказал, что обычный «строгий» стих, хваленый «кованный» ямб, на брюсовский лад, и все прочее в том же роде — в большинстве случаев псевдострогость, псевдокованность, готовая превратиться в труху при малейшем дуновении свежего ветерка. Отсюда, вероятно, и возникла стилистическая тяга к восемнадцатому веку, тем более естественная, что духовной цельности, Гингеру близкой и нужной, в смятениях и смущениях века девятнадцатого никак было не найти, — ну а подражать Пушкину... не знаю, как кончить фразу, не обижая людей, которые тешат себя иллюзией, что они по пушкинскому пути идут: на деле это занятие, может быть, и невинное, но к поэзии имеющее мало отношения. Пушкину подражать, а в особенности Пушкина продолжать нельзя иначе как «изнутри», и может это привести, пожалуй, к тому, что стихи, написанные в другую эпоху, окажутся с формальной точки зрения на пушкинские несколько не похожи.

В моем изложении, в той характеристике, которую я пытаюсь Гингеру дать, поэзия его рискует показаться напыщенной и, чего доброго, слегка дубоватой. Нет затеи более тщетной, чем характеристика поэта, чем пере-

сказ его стихов «своими словами», и давно уже я пришел к убеждению, что самое большее, чего может критик достичь, это внушить желание прочесть книгу, о которой он пишет. У Гингера много фантазии и непосредственности, при общем торжественном, подчеркнуто «высоком», так сказать антибудничном, антикомнатном, антиобывательском складе его стихов. Некоторые его строчки не могут не вызвать ответной, — не насмешливой, а сочувственной, — улыбки, — как, например, в «Факеле», где он предполагает, что ему придется

...покинуть рано
Этот глупый, но приятный свет.

Но полностью я приведу другое стихотворение, «песу», как любил говорить Ходасевич, давшую название всей книге, — «Весть». Она типична для Гингера, и в замысле своем касается темы простой и загадочной — сущности поэтического творчества.

Ознобов и бессонниц тайных
Нас утомляет череда
Сцепленьем слов необычайных,
Не оставляющих следа.

Средь ночи добровольно пленной,
При поощреньи щедрой тьмы,
Мы пишем письма всей вселенной,
Живым и мертвым пишем мы.

Мы пишем, как жених невесте,
Нам перебоев не унять,
Чужим и дальним шлем мы вести
О том, чего нельзя понять.

Мы прокричим, но не услышат,
Не вспыхнут и не возгорят,
Ответных писем не напишут
И с нами не заговорят.

Тогда о чем же ты хлопочешь,
Тонический отживший звон,
Зачем поешь, чего ты хочешь,
Куда из сердца рвешься вон?

В последнее время было в нашей печати довольно много толков о «парижской школе» русской поэзии, школе, будто бы страдающей унылым однообразием. А разве Гингер не парижанин? Разве при этом стихи его можно спутать с чьими-либо другими? Если в Париже «школа» и была, то никак она не навязывала единого, по одной мерке установленного склада и стиля, а стремилась убедить, что в поэзии каждый должен найти себя и в поисках этих никого не обманывать, никому не пускать пыли в глаза.

В парижской «школе» возвеличивалось лицо, и после долгого периода, отмеченного комедианством и притворством, жалкими претензиями и несносной фальшью, в ней возникло и удержалось отвращение к маскам. «Школа» требовала отказа от лжи, расторгала чудовищный брак поэзии с ложью, к чему бы поэта одиночество ни привело. В своем культе поэзии «школа» с крайней недоверчивостью относилась к ее суррогату — к поэтичности. Никаких же единых творческих канонов или истин она не утверждала, зная, что их нет и не будет, пока люди рождаются не совсем друг на друга похожими.

«Не хлебом единым»

Год тому назад имя В. Дудинцева не было никому известно. Сейчас об этом молодом советском писателе говорят повсюду, и статей о его романе «Не хлебом единым» появилось в иностранной печати множество. Роман еще не переведен ни на французский язык, ни на английский, он только этой осенью был помещен в трех выпусках «Нового мира», — августовском, сентябрьском и октябрьском, — и если не ошибаюсь, даже в России не вышел еще отдельной книжкой. Сенсация в западном мире возникла понаслышке на основании слухов о впечатлении, которое роман Дудинцева произвел на советских читателей. Соответствующие номера «Нового мира» в Москве — будто бы на вес золота. Обсуждение «Хлеба единого» будто бы проходит при тысячных толпах. Молодежь ни о чем другом не говорит, а по сведениям Эдуарда Кранкшоу, обозревателя из «Обсервера», московские студенты обмениваются такими замечаниями:

— Скажи мне, каково твое отношение к этому роману, и я скажу тебе, кто ты!

— Прежде у нас была литература великой лжи, теперь возникает литература великой правды!

Сенсация на этот раз не пустая, не «дутая». Если бы нужны были доказательства, что в СССР какие-то перемены произошли и происходят, то достаточно было бы сослаться на «Не хлебом единым». Не только роман этот не мог бы несколько лет тому назад появиться, но и о попытке хоть вскользь коснуться задетых в нем вопросов не могло бы быть и речи.

Два слова сначала о чисто литературных качествах этого произведения. Роман, бесспорно, талантлив, а автор его, бесспорно, — человек прозорливый, вдумчивый, наблюдательный. По образованию он, по-видимому, техник, и обилие машиностроительных деталей в его повествовании порой утомляет и может даже отпугнуть тех, кто с этой стороной советской литературы еще не свыкся. Дудинцеву, пожалуй, не хватает писательского опыта, но зато у него есть свежесть восприятия и стиля, есть острота в психологическом анализе. Кое-где чтение «Хлеба» напомнило мне старинный роман, до крайности не популярный в эмиграции и до еще большей крайности превознесенный в СССР, «Что делать» Чернышевского, — роман, о котором следовало бы сказать, что истина в его оценке посередине: он, право, не так уж безнадежно плох, как повелось у нас здесь утверждать, он схематичен, но не бездарен. Дудинцев, как Чернышевский, склонен комментировать поступки своих героев и разъяснять то, что осталось им непонятно — впрочем, делая это с меньшей настойчивостью и назойливостью.

По первым главам кажется, что «Не хлебом единым» — один из тех советских романов на тему о торжестве добра и посрамлении зла, которым нет числа. Добродетельный, честный изобретатель, построивший новую, полезнейшую машину для выделки чугунных труб, движимый мыслями о нуждах народа и государства, наталкивается на всевозможные препятствия, интриги и козни, — и так и ждешь, что в известный момент вмешается в дело какой-нибудь сверхдобродетельный партиец, рассудит, кто прав, кто виноват, обласкает од-

них, покарает других, и все окончится традиционным мажорным аккордом во славу победоносного коммунизма. Да, — иносказательно внушается в таких романах, — подлецов, «рвачей» в нашей стране еще немало: но это — наследие прошлого, это паразиты, которым в советских условиях пощады нет. Вероятно, большинство москвичей перелистывали вступительные главы дудинцевского романа, считая, что развитие действия им заранее известно: короленковские «огоньки впереди», пусть и по-новому поданные, должны были представляться им неизбежными.

Ноникаких «огоньков» у Дудинцева нет. Содержание его романа излагать подробно не к чему, вкратце же оно сводится к бесконечным мытарствам некоего Дмитрия Лопаткина по всяким учреждениям, институтам, стройкам и министерствам, где неизменно встречают его и его изобретение в штыки. Несчастья Лопаткина доходят до того, что попадает он в тюрьму, а оттуда на каторгу, — разумеется, по проискам недоброжелателей. Но почему отношение к нему таково? Во-первых, потому что человек он слишком даровитый, изобретение его слишком оригинально и своевременно, а следовательно при успехе обнаружит бесполезность других машин, построенных людьми влиятельными, орденоносцами, академиками, профессорами, — вроде старика Авдиева, который в каждом сопернике видит врага, подлежащего уничтожению. Во-вторых, Лопаткин — одиночка, а в советских условиях, видите ли, все, во всех областях, должно твориться коллективно... Именно тут-то у Дудинцева главная «запятая», если воспользоваться выражением Ивана Карамазова...

Как будто бы с ортодоксально-коммунистической точки зрения он провозглашает принцип приемлемый: первенство принадлежит коллективу. Но изображен у него этот коллектив в столь отталкивающем, даже страшном виде, что принцип оказывается подорван в самом основании. Следует отметить к чести Дудинцева как художника, что он не сгущает красок, не изображает каких-либо мелодраматических злодеев. Его Дроздов, например, лицо, быстро и успешно продвигающееся по службе, и к заключению повествования оказывающийся заместителем министра, — не подлец, а скорей полу-

подлец, однако, как Воронцов у Пушкина, имеющий все данные, чтобы сделаться подлецом «полным, наконец». Он умен, хитер, энергичен, деловит, и к тем, кто ему не мешает, относится безразлично, даже с напускной дружественностью. Но это человек, которому «пальца в рот не клади»: личные интересы определяют для Дроздова все его поведение и всю его нравственность. Притом это вовсе не буржуазный осколок, нет, это разновидность парней «в доску своих», поднявшихся с самых низов. С низов поднялся и профессор Авдиев. Сановник Шутиков мельче, легкомысленнее, но по части волчьей морали и он не уступит никому. Галерея ярка и богата.

Люди, дорвавшиеся до власти, до хороших окладов, до автомобиля, до кабинета с глубокими кожаными креслами, оберегают свои преимущества, не стесняясь в средствах, и связаны безмолвной круговой порукой. Кандидаты на власть, на автомобили и кабинеты льстят, раболепствуют, угодничают, пока не добьются своей цели, зная, что ни до творчества, ни до народного блага никому дела нет: все это «девятнадцатый век», как в минуту откровенности говорит Дроздов, т.е. сентиментальщина, дряблый вздор. Дроздов, впрочем, не всегда откровенен и на словах любит связывать свою карьеру с преуспеванием государства. Но на практике связь эта полностью обращена к его выгоде.

Где же партия? Где ее всевидящее, недремлющее, неподкупное, высокоидейное, спасительное око? Партия отсутствует, безмолвствует, — хотя Дроздов с компанией, несомненно, тоже партийцы, даже весьма заслуженные. Роман кончается реабилитацией Лопаткина, но Дроздов и Авдиев остаются у дел, у власти, и ни в коем случае нельзя быть уверенным, что они нашего идеалиста-изобретателя оставят в покое. В последних сценах за Лопаткина страшно. Он одинок, как прежде, и если новоявленных своих друзей сторонится, то не без основания.

В некоторых иностранных статьях о «Хлебе едином» было указано, что роман этот — обвинительный акт против всего советского государственного и социального замысла, против самой идеи коммунизма, и, в частности, мнение такое высказал уже упомянутый мною Кранкшоу, один из английских авторитетов по со-

ветским делам. Не вполне это верно, и не следует подменять своими мыслями и стремлениями мысли и стремления автора. Коммунизм как теоретическое понятие в «Хлебе» скорей возвеличен и идеализирован, чем развенчан. Сомнение насчет того, с какими отказами, с какими жертвами коммунизм, даже в лучших его формах, может оказаться связанным, автору чуждо. Как бывало в ранних, до-сталинских, советских книгах, коммунизм у Дудинцева маячит в качестве далекого земного рая, населенного безгрешными, чистыми, преодолевшими всякий эгоизм людьми. Но именно потому, что для Лопаткина-Дудинцева человек при коммунизме должен бы стать щедрее, богаче, добрее, смелее, отзывчивее, чем когда-либо, именно поэтому все его существо восстает против куцевого советского официального мировоззрения, против официальной лжи, против плоской «классовой» мудрости, проповедуемой доморощенными философами, против малограмотного материализма и всего прочего.

Лопаткин страстно любит музыку. Особенно волнует его второй фортепианный концерт Шопена, да еще концерт Рахманинова, тоже, конечно, второй, столь любимый всеми пианистами. Но что слышится ему у Шопена, на гипсовый слепок с руки которого он смотрит с трепетным благоговением? «Страдания героя, сгорающего как комета в темном небе». Шопен именно его, Лопаткина, искал, — искал и нашел, — среди других, равнодушных слушателей в концертном зале. Шопен от него требует сочувствия и понимания. С «Азбукой коммунизма», с советским упрощенным и общеобязательным «четким взглядом на мир» эти романтические порывы, вечночеловеческие по природе своей, согласовать, конечно, трудновато, даже если бы в министерствах не засели, как полновластные хозяева, Дроздовы и Шутиковы. Когда Лопаткину указывают на расхождение его мечтаний с действительностью, он отвечает знаменательными словами:

— Я ведь и не говорю, что у нас коммунизм!

Не идеал, значит, плох в его оценке, нет, плохи люди, этот идеал исказившие. Государственная система сделалась нестерпима из-за нравственного уродства тех, в ком она воплощена и кем она представлена. Одни только

лицемеры способны утверждать, что новому советскому человеку неизвестны пороки, которые прежде стирали черту между человеком и зверем. Под прикрытием звонких фраз о нуждах рабочих масс, под убаюкивающие песни о наступающем царстве справедливости и счастья, неискорененные, ужасные, беспощадные инстинкты окрепли, усилились, легче прорвались наружу, — и, в сущности, диагноз Дудинцева напоминает то, что было когда-то глубочайшим убеждением Гоголя: без личного совершенствования никакого общественного благообразия и благополучия достичь нельзя, без него все останется обманом, иллюзией и химерой.

В романе много диалогов, замечательных или, по крайней мере, любопытных. Лопаткину говорят, например, что современные коммунисты — «строящие муравьи».

— Мы, строящие муравьи, нужны... А ты, гений-одиночка, не нужен... Мы к нужному решению придем постепенно, без паники, в нужный день и даже в нужный час...

Сдерживая «закипающую вражду», Лопаткин отвечает:

— Один из этих муравьев забрался все-таки на березу повыше и позволяет себе думать за всех, решает, что народу к чему, а что ни к чему... Я тоже муравей. Но я на березу не лезу.

Если принять во внимание, что действие романа происходит за несколько лет до смерти Сталина, кто этот муравей на березе — достаточно ясно.

Читателей, вероятно, интересует вопрос, каково отношение к «Хлебу единому» в советской печати. Отзывов до сих пор было сравнительно немного, и это само по себе показательно. Критики, по-видимому, несколько озадачены и растеряны, и хотя в «Правде» было определенно указано, что Дудинцевым допущены «важнейшие ошибки», поди разбери, в чем они: может ведь это повести к «ошибкам» еще более важным! Из больших журналов статья о «Хлебе» была лишь в «Октябре», статья уклончивая, сбивчивая, утверждающая, однако, что Дудинцев показал «теневые стороны нашего недавнего прошлого» — обратите внимание: недавнего! — и что в наличии «теневого» повинен культ личности,

т.е. новейший советский козел отпущения. Крайнее недовольство выражено по поводу того, что Дудинцев не сумел «отделить дроздовщины от руководящих кругов нашего общества». «Пафос огульного отрицания увлек автора на ложный путь», в результате чего может возникнуть впечатление, что в советской стране «создаются условия для бесконтрольной диктатуры зла».

На этой блестящей формуле я и поставлю точку: московский критик, вероятно, сам не подозревает, до чего он договорился.

Писатель для юношества

В очень интересной, но и очень спорной, и притом будто с каких-то синайских высот написанной статье — «Миф Владимира Маяковского» — Н.А. Оцуп говорит о многом: одно устанавливает, как незыблемую истину, другое категорически отбрасывает. Статья программная, имеющая, по-видимому, целью внести ясность в современную идейную путаницу, навести в литературе порядок... У меня нет оснований Оцупу возражать. Если я статьи его касаюсь, то лишь потому, что в ней он с досадой говорит о некоем «эмигрантском писателе, который с непонятной настойчивостью утверждает, что Достоевский — писатель для юношества». Его, этого эмигрантского писателя нетрудно было бы, по мнению Оцупа, разоблачить, как «тайного врага религиозной сути христианства», — ибо только такой человек способен отрицать, что «суть христианства» заключена в «уроках подвижничества старца Зосимы и отчасти в мирской жизни Алеши».

Определение Достоевского как «писателя для юношества» принадлежит мне. Об этом я действительно не раз, может быть даже «настойчиво», говорил, но, очевидно, говорил недостаточно ясно. А так как вопрос представляется мне и интересным, и важным, то я хотел бы воспользоваться случаем и мысль свою развить. Подчеркиваю «во избежание недоразумений», — а любители устраивать «недоразумения» всегда находят, — что я с Оцупом не полемизирую, себя не защищаю и о себе говорить не намерен. Оставляю на совести авто-

ра статьи упрек во «вражде к христианству», обхожу его молчанием. Дело не во мне, не в Оцупе, а в Достоевском. О Достоевском, значит, и должна быть речь.

Писатель для юношества — не было ни в коем случае характеристикой пренебрежительной, и как бы к Достоевскому ни относиться, в этом определении скрыто было, в моем представлении, скорей признание его исключительной силы и исключительных особенностей его творчества, чем умаление достоинства. Никак я не предполагал, что характеристика эта будет истолкована в примитивном фениморкуперовском или майнридовском смысле: писатель для людей незрелых, писатель, взрослым не интересный. Слишком уж это на Достоевского не похоже! Если формула, мной употребленная, и не была совсем обычна, то содержание ее казалось мне понятно. Очевидно, это не так.

О Достоевском размышлять можно всю жизнь, можно всю жизнь и перечитывать его. Но в первый раз лучше прочесть его в шестнадцать или восемнадцать лет, не отрываясь, всего подряд, когда «впечатления бытия» еще новы, когда глаза еще доверчиво и широко открыты на Божий мир. Надо, чтобы в душе еще девственной, отзывчивой и свежей произошло великое потрясение, следы и раны от которого останутся на все дальнейшее существование, надо, чтобы человек именно в шестнадцать лет узнал, что в жизни может случиться и сколько в жизни может таиться боли, страдания, бессмысленного и беспричинного зла. Позднее мы задумываемся над различными «проблемами», в «Карамазовых» или в «Идиоте» затронутыми, — хотя каюсь, «проблемы» и теперь представляются мне чем-то второстепенным, умышленным, сравнительно малосущественным, и с годами это мое убеждение усиливается.

Достоевский был великим выдумщиком и, конечно, по части «проблем» он дает уму и воображению больше пищи, чем все остальные русские писатели, вместе взятые. Достоевский высказывает мысль как предположение, не принимая за нее полной ответственности, чего никогда не делает Толстой: оттого-то, — независимо от его необыкновенной умственной одаренности, — он на вопросы и сомнения так расточителен. В Достоевском и в его идеях чрезвычайно много смелого, любопытного,

оригинального, острого, глубокого, и не случайно одинокие размышления Раскольникова о разнице между Наполеоном и вошью оказали столь сильное влияние на Ницше, а догадки Кириллова, например, о праве человека «заявить своеволие» вызвали целую философскую литературу... Все это, разумеется, страницы в высшей степени замечательные, хотя, может быть, и не бессмертные, в том смысле, что содержание их со временем может оказаться исчерпано.

Подлинно бессмертно у Достоевского, мне кажется, другое: страницы о людях в том состоянии, когда человеку «пойти некуда», когда жизнь взяла человека за горло, а он, человек, все-таки чувствует в себе присутствие образа и подобия Божьего и не может ни от образа, ни от подобия отказаться, когда безнадежность в его душе сплетается с восторгом, отчаяние с верой...

Нет, лучше не продолжать, потому что нельзя своими словами передать всю эту смесь чувств, впервые и с необычайной страстностью, с несравненной гениальностью Достоевским показанную, глупо и даже грешно было бы пытаться это сделать! Нет, однако, ни малейшей парадоксальности в утверждении, что в рассказе Мармеладова, — да, в истрепанном, надоевшем, опошленном всеми провинциальными трагиками рассказе Мармеладова! — больше неповторимой и единственной новизны, чем во всех рассуждениях Ивана Карамазова, — новизны реальной, а не придуманной. Именно это Достоевский принес в мир как величайшую драгоценность, и это именно то, что в шестнадцать лет должно бы навсегда в сознание врезаться. В сорок лет человек прочтет, скажем, пушкинскую речь, зевнет и, покачав головой, подумает: да, кое-что справедливо, а вот это — не совсем верно, и я лично придерживаюсь другого мнения, да и профессор такой-то недавно высказывал совсем другой взгляд! В шестнадцать лет мальчик прочтет о том, как Катерина Ивановна всю ночь простояла в ногах Сони, после того как та вернулась домой с тридцатью рублями, и сам всю ночь проведет без сна, мучаясь, недоумевая: как все это возможно, где всему этому ужасу найти оправдание? Или прочтет главу из «Подростка» о матери в пансионе Тушара, или «Кроткую».

Действительно, в целом мире, во всей мировой литературе, ничего подобного нет, пусть это и не значит, что Достоевский — величайший в мире писатель, «выше Толстого». Толстой сделал свой вклад. Достоевский — свой, и хотя русские люди, вероятно, до конца нашей истории не перестанут спорить, кто «выше», решать это бессмысленно, а решить невозможно. Пожалуй, можно бы сказать, что Толстой основательнее. Достоевский в общем своем замысле более шаток, фантастичен и в конце концов эфемерен, — но и только. Несомненно, у Достоевского есть то, чего тщетно было бы искать у Толстого: состав чувств, им уловленный, им открытый, вероятно по собственному опыту, вопль к небу, некое «Господи, воззвах к тебе, услыши мя». Больше всего именно это, «услыши мя!» Нужно было, очевидно, простоять несколько минут на Семеновском плацу в ожидании неминуемой смерти, нужно было провести четыре страшных года на каторге в Сибири, чтобы на это набрести.

Вот, собственно говоря, что я имел в виду, когда писал о «юношестве». Счастлив тот человек, который до зрелости или даже до старости сохраняет былую восприимчивость, однако таких людей мы что-то не встречаем... Нет, впрочем, одного человека назвать могу: помню, Анна Ахматова говорила когда-то, что не может Достоевского читать, бросает книгу на половине, — потому что не может выдержать ответного нервного напряжения, заболевает, чуть ли не сходит с ума. Правда, это было давно. Ахматова была еще молода, а с тех пор, вероятно, как все смертные, стала выносливее и равнодушнее. Время одинаково беспощадно — или одинаково милосердно — ко всем.

Два слова о старце Зосиме, в «уроках подвижничества» которого будто бы заключена суть христианства. Об этом в русской литературе были долгие споры, Оцупу, несомненно, известные. Зосима считается списанным со знаменитого оптинского старца Амвросия, хотя Константин Леонтьев, хорошо Амвросия знавший, подолгу с ним беседовавший, утверждал, что это — не портрет, а карикатура. Леонтьев утверждал и другое: а именно, что оптинские старцы, познакомившись с поучениями Зосимы, без колебания их отвергли. «Розовое»

христианство, — с пеной у рта говорил Леонтьев, — приторное, фальшивое, близорукое, сентиментальное, тепленькое... Не знаю, был ли он прав, это вопрос очень сложный, с бесконечными «за» и «против». Но, конечно, в том же мармеладовском рассказе, особенно в его удивительном, вечно памятном конце, «суть христианства» очевиднее, живее, непосредственнее, действеннее, чем во всем том, что Достоевский своему красноречивому и благодушному Зосиме поручил высказать. Нельзя даже и сравнивать одно с другим, нельзя и усомниться, где больше отблесков того огня, который, по евангельскому тексту, был когда-то «низведен на землю».

Иностранцы чувствуют это иногда не хуже русских.

В прошлом году, в связи с семидесятипятилетием со дня смерти Достоевского, по мюнхенскому радио были переданы в Россию различные отзывы и суждения о нем, в том числе — небольшая заметка известного английского поэта Одена, затем помещенная в газетах.

Начал Оден довольно странно. Признавшись, что Достоевский ему чужд, он сослался на то, что автор «Карамазовых», видите ли, — «не джентльмен», и пишет не о «джентльменах». Действительно, слово «джентльмен» к Достоевскому никак не подходит, — что и говорить! Но, будто спохватившись, Оден в заключение сказал несколько слов глубоких и верных. Достоевского, по его мнению, должны бы особенно внимательно прочесть люди, добившиеся в жизни успеха, почета, солидного положения, — дельцы, банкиры, государственные деятели. Им большей частью кажется, что мир устроен правильно. Является Достоевский и заставляет их взглянуть на все то, чего они не знают и знать не хотят. На Достоевском, на его мыслях, — считает Оден, — нельзя построить общества. Но то общество, которое забудет все, о чем Достоевский рассказал, недостойно называться обществом человеческим.

Да, это действительно так, «да, да, да!», — писал в подобных случаях Розанов, не скупясь на восклицательные знаки. Следовало бы только добавить, что люди, о которых говорит Оден, должны бы прочесть Достоевского в молодости. Потом будет слишком поздно, потом они скажут, что русский романист донкихотствует, что он не знает настоящей жизни, и что все у него преувеличено,

что борьба за существование имеет свои непреложные законы, и так далее... Надо, чтобы в молодости душа ответила Достоевскому всем своим содроганием, тогда и до последних лет человек сохранит стыд, хотя бы и глубоко затаенный, за всех, кто дальше борьбы за существование и ее законов, ничего не видит. За всех, — не исключая, конечно, и самого себя.

Записные книжки Фадеева

Покойный Фадеев был, бесспорно, человеком даровитым и далеко не пустым: кто тридцать лет тому назад прочел его юношескую повесть «Разгром», не мог больше в этом сомневаться. Фадееву повредило положение сановника, которое он занимал все последнее время. Именно оно, это положение, подорвало к нему доверие, притом не только здесь, но, вероятно, и в советской России. Фадеев управлял, организовывал, председательствовал, ездил во главе всевозможных делегаций за границу, произносил громовые речи, возвышал или втоптывал в грязь своих «собратьев по перу», словом был чем-то вроде литературного диктатора.

Но внезапно он покончил с собой, и это отбросило на его диктаторство какой-то странный свет. Самоубийство почти всегда вызывает к человеку любопытство, интерес или сочувствие: как могло это случиться? — спрашиваешь себя. До чего должен был дойти человек, если мог на это решиться? Фадеев по официальной версии спился и покончил с собой в пьяном безволии. Но едва ли это действительно так, да если в официальной версии и есть доля правды, хочется спросить, почему человек, добившийся всех доступных ему внешних успехов, запил горькую: не с отчаяния ли, не от мучительных ли сомнений в своей деятельности? Кстати, в нашумевшей статье Симонова о том, как Фадееву по приказу свыше пришлось переделывать свой последний роман «Молодая гвардия», можно найти намеки на истинные причины его смерти.

В февральском выпуске «Нового мира» помещены выдержки из записных книжек Фадеева, под заглавием «Субъективные заметки». Касаются они исключительно

но литературы или искусства, однако кое-что в них показательно и для общих настроений писателя. Заметки эти подготавливались к печати, значит — ничего особенно «интимного» в них быть не может. Но, вероятно, составляя сборник, Фадеев задумался бы, стоит ли включать в него, например, несколько строк из письма архитектора Стасова, жившего в первой половине прошлого века, — строки, по-видимому, его задевшие:

«По свойству моему или по моей натуре мне нужно для исправления моей должности совершенное спокойствие духа... а потому прошу, когда я в кабинете, оставлять меня в совершенном покое».

Фадеев от себя добавил: «Старик был прав, — о, как он был прав!»

Достаточно красноречива и другая короткая запись:

«Недостаток многих произведений современности объясняется тем, что авторы не являются подлинными хозяевами, господами своих идей».

Дальше, правда, идут стереотипные рассуждения о пролетариате и его бунтарском «авангарде», но приведенная мной формула бьет в самую точку и вскрывает основную слабость советской литературы, вернее — ее основное несчастье.

В других заметках Фадеева много спорного: умного вперемешку с наивным, зоркого, пронизательного рядом с близоруким. Чувствуется порой и вошедшее в привычку бахвальство «достижениями», которые будто бы ставят советскую словесность на первое место в мире. Фадеев составляет длинный список повестей и романов, включая в него произведения заведомо ничтожные и фальшивые, и горделиво восклицает: «Пусть-ка хоть одна из стран Западной Европы или Америки попробует составить за этот же срок — 28 лет — подобную библиотеку!»

На это не стоит и возражать. Даже не принадлежа к принципиальным, убежденным поклонникам новейшего западного творчества, даже отдавая себе отчет, сколько в нем глубокой растерянности, человек беспристрастный должен признать, что по уровню мастерства и тематической значительности оно неизмеримо выше творчества советского. Беря в руки советскую книгу, мы будто из высшей школы попадаем в приготовительный

класс. Многих из авторов, которых называет Фадеев, — в том числе и мнимых «классиков», вроде Гладкова, — в рядовом французском или английском журнале просто не нашли бы возможным печатать по явному недостатку общелитературной и общекультурной их грамотности. Падение уровня в советском творчестве было неизбежно по причинам социальным: прежняя узкая и глубокая культура растеклась в ширину, и иронизировать по этому поводу у нас нет основания, да не должно бы быть и желания. Но не надо черное называть белым и неуклюжие опыты выдавать за блистательные зрелые удачи. (Любопытно, между прочим, что в фадеевском списке, куда внесены имена третьестепенные, нет Эренбурга.)

Попадают у Фадеева и недоразумения. В очень интересной заметке о Тургеневе он утверждает, что «такими рассказами, как “Касьян с Красивой мечи” и “Живые мощи” Тургенев предвосхитил всю народно-крестьянскую тему Толстого». Если даже это и верно по отношению к «Запискам охотника» вообще, то никак не может относиться к «Живым мощам», рассказу, написанному Тургеневым уже в старости и включавшемуся лишь в позднейшие издания сборника. Фадеев, по-видимому, об этом забыл — или этого не знал.

Тургенева автор «Субъективных заметок» оценивает чрезвычайно высоко и как бы защищает от Толстого. Указывает он, между прочим, на то, что женские образы Тургенева — так называемые «тургеневские девушки» — раздражали Толстого «как реалиста более плотского и строгого». Фадеев находит в этих женских образах «необычайную прелесть и правду» и выражает желание, чтобы тургеневской «прелести и правде» учились советские романисты. Что же, это, пожалуй, было бы не плохо! Но не плохо было бы и задуматься над тем, почему Толстой не выносил «тургеневских девушек» — независимо от более «плотского», как выражается Фадеев, восприятия жизни. Вспомним подлинно убийственную запись Толстого по прочтении «Накануне»: «Девушка куда не годится. У нее были длинные ресницы. Ах, как я тебя люблю...» Здесь — ключ к толстовскому раздражению.

Но, конечно, в целом Тургенев действительно — «прекрасный писатель», и хотя бы за одного Базарова,

за десять страниц о смерти Базарова, простятся ему все «длинные ресницы» и несколько приторные стилистические красоты. Мне понравилось и даже тронуло меня у Фадеева то, что свои восторги он заключает словами: «Как жалко, что всего этого нельзя высказать ему лично!» Тургеневу эта непосредственность была бы, вероятно, приятнее всяких комплиментов, даже самых изысканных. Иногда, перечитывая иного давно умершего автора, испытываешь именно такое чувство, — т.е. чувство, что он живее живых, и что хотелось бы с благодарностью пожать ему руку.

Останавливаюсь мимоходом на других замечаниях Фадеева, в частности на его словах о Кольцове, в связи с разбором «Литературных мечтаний» Белинского. Кольцова он сравнивает с советским поэтом Исаковским, но считает, что «по мысли и по форме Исаковский выше».

Утверждение это, несомненно, многих покоробит, а то и возмутит. Подумайте, Кольцов — и какой-то Исаковский! Должен признаться, что лишь поверхностно зная поэзию Исаковского, недостаточно внимательно следив за ней, я в данном случае не имею своего мнения: хорош ли, плох ли Исаковский, — твердо не знаю... Но не в нем тут дело, а в Кольцове. Давно, давно пора бы вслух сказать то, с чем, вероятно, все современные поэты согласны: Кольцов — одно из великих недоразумений нашей литературы, одно из тех явлений, в оценке которых двадцатый век бесповоротно разошелся с девятнадцатым. В прошлом столетии постоянно говорили: Пушкин, Лермонтов, Кольцов, — не находя ничего нелепого в сопоставлении этих имен, отодвигая на второй план Тютчева и Баратынского, обходя Некрасова и других более мелких, но все же замечательных поэтов. По-видимому, самый факт появления поэта «из народа» казался настолько необычайным, что парализовал критическое чутье. Но в наше время народность, мнимая или подлинная, никого не соблазнит, а перечитывая Кольцова, только руками разводишь: где в этих гладких и легких, — конечно, талантливых, но неприятно хорошеньких, — песнях то «могучее чувство», то «высокое вдохновение», о котором толковали современники? Вопрос это крайне интересный, я сейчас лишь бегло ка-

саюсь его. Следовало бы когда-нибудь заняться им обстоятельно и попытаться объяснить, почему Кольцов и его огромный успех кажутся теперь явлениями, принадлежащими к категории скорее надсоновской, чем пушкинской.

Дальше о Чернышевском. Чрезвычайно метко у Фадеева указание, что по языку и стилю «Что делать?» ближе всего к писателю, которого Чернышевский должен был считать своим злейшим врагом — к Достоевскому. «Разночинская манера выражаться», — замечает Фадеев.

Об Эртеле, авторе «Гардениных»:

«...У нас его не считают классиком, а так, писателем третьего, а может быть и четвертого разряда. Мамин-Сибиряк считается повыше. И мало кто знает Эртеля».

Да, это действительно так, до сих пор, — несмотря на отзыв Толстого, несмотря на очень высокую оценку, которую в своих «Воспоминаниях» дал Эртелю Бунин, вообще-то мало кого одобрявший. «Гарденины» — роман неровный, далеко не безупречно скроенный, со множеством утомительных подробностей, о коннозаводстве и о другом. Но некоторые страницы удивительны в своей картинности, в психологической правдивости и почти достойны Толстого. Вспоминаю разговор с Алдановым об эртелевском романе. Алданов им восхищался, но когда я сказал «местами почти Толстой», замахал руками:

— Что вы, что вы! Не надо так преувеличивать!

Спорить я не стал. Для Алданова не было в мире писателя, которого можно было бы с Толстым, — со «Львом Николаевичем», как неизменно говорил он в последнее время, — сравнить, даже прибавив слово «почти».

О Чехове: «это несомненно один из самых чудесных писателей на земле». Хочется ответить: верно, правильно, в самом деле «один из самых чудесных»! Но тут же Фадеев добавляет: «Вряд ли Горький с чисто профессиональной точки зрения писатель более крупный».

Вряд ли! Да кто же, находясь в здравом уме и твердой памяти, способен насчет этого колебаться? Пусть даже Горький и «героический» писатель, как указывает Фадеев, — можно ли считать это решающим достоинством по сравнению с душевной стыдливостью и скромностью Чехова? Ведь если и есть у Горького что-либо хорошее, долговечное, — автобиографическая трилогия,

отдельные рассказы, такие, например, как «Страсти-мордасти», — то именно в этих вещах всякая героика отсутствует, и наоборот, там, где Горький «героичен», там не брезгает он и грошовыми ходулями. Разумеется, в Москве говорить об этом не полагается, и, кажется, один только Виктор Шкловский в своем «Гамбургском счете», книге остроумной и кое-где блестящей, решился высказать сомнение в праве Горького на место в первом ряду русской литературы. Но книга эта и изъята из обращения.

В общем, подводя итоги, следует сказать, что «Субъективные заметки» Фадеева не всегда и не везде действительно «субъективны». Не обошлось в них и без казенных прописей. Но читать их все же интересно, — как интересно беседовать с умным и знающим свое дело человеком, если даже он и обрывает самые личные, самые важные свои мысли на полуслове.

«Новый журнал». Кн. 47 и 48

Следовало бы начать с того, что в последних двух книжках «Нового журнала» очень много интересно, если бы такое указание не было трюизмом: «Новый журнал» интересен всегда, и в каждом его номере есть не только материал для увлекательного чтения, но и «пища уму». Есть всегда над чем задуматься. По привычке или по инерции многие повторяют: но «Современные записки»... Бесспорно, «Современные записки» были богаче, полнее, живее, разнообразнее. Раскроешь теперь любой их выпуск, взглянешь на оглавление, и как старуха-графиня в «Пиковой Даме» вздыхает «кто пел! кто танцевал!», хочется воскликнуть: какие имена! какие люди! Но «иных уж нет, а те далече», и общее наше оскудение с каждым годом все очевиднее. Ничего с этим не поделаешь, никто в этом не виноват.

Предпоследняя книжка «Нового журнала» открывается «Трудными дорогами» Г. Андреева, переведенными, наконец, из отдела воспоминаний и документов в отдел художественной прозы. Это повышение в ранге «Трудными дорогами» вполне заслужено, если даже по существу они и представляют собой воспоминания.

Я не читал той книги Г. Андреева — «Горькие воды» — о которой в сорок восьмом номере журнала пишет В. Александрова, но судя по «Дорогам», отзыв ее об авторе как о человеке с «не очень громким писательским голосом» чрезмерно осторожен. Конечно, никто не знает, каков от природы у Андреева «голос», да и не все «громкие» голоса ценны и долговечны, но эпитеты вроде «слабоватый», в рецензии В. Александровой встречающиеся, могут внушить представление, что речь идет о писаниях, требующих снисходительности. Между тем «Трудные дороги» — повесть по-настоящему талантливая, отлично передающая то неповторимое, прихотливое смешение чувств, которое возникло у человека совсем еще молодого, бежавшего из каторжного лагеря, знающего, что на удачу в побеге нет надежды, и все-таки наслаждающегося этой короткой свободой, этой возможностью бродить, говорить, спать, даже голодать без надзора и окриков сверху, обреченного и счастливого в то же время. Некоторые страницы ужасны в своем беспощадном и спокойном реализме, и именно благодаря спокойствию они убедительнее многих иных рассказов отражают то «удавье дело», — как говорит Андреев, — которое никакими проблематическими будущими земными раями оправдано быть не может: достаточно прочесть хотя бы рассказ о встрече с группой полумертвецов, раскулаченными крестьянами, сосланными в тайгу, чтобы с новой силой — пусть и в сотый раз — это почувствовать.

В сущности, то, что в последние сорок лет произошло в России, — даже если признать, что совершено оно было именно во имя будущих равенств и благополучий, — возвращает нас к недоумениям Ивана Карамазова насчет цены, в которую должна обойтись «финальная гармония», и не случайно тема эта в ранней советской литературе постоянно сквозила и маячила, — у Юрия Олеши, например, или у Леонова, — пока не оказалась заглушена гулом производственного и строительного энтузиазма по правительственным рецептам. Правда, Карамазов говорил только о детях, никому никакого зла еще не сделавших и страдающих невинно. Но вопрос так широк и глубок, настолько «проклят», что ограничить его детьми невозможно. В русской литературе он задолго до Достоевского был с совершенной ясностью

поставлен Белинским, и как свойственно было нашему подлинно «неистовому» Виссариону, тут же в двух словах, с лихорадочной поспешностью разрешен (письмо к Боткину).

У Андреева, помимо страшных бытовых картин, очень хороша природа. Не следует, однако, разглядывать его слог в лупу, останавливаясь на каждой строчке. Отдельные фразы могут показаться написанными наспех, начерно. Но в целом могучий, девственный сибирский лес, могучие сибирские реки, солнце, зима, снег, — все это отражено с естественной верностью тона и заразительным восхищением. Автор «Трудных дорог» — писатель сравнительно новый для эмиграции, из «Ди-Пи». Будем надеяться... стереотипное предложение это незачем кончать: каждый договаривает его сам.

Г. Евангулов, наоборот, — писатель, давно эмиграции знакомый, опытный, успевший приучить читателей к своей повествовательной манере. «Игра» напомнила мне давний рассказ его — если не ошибаюсь, называвшийся «Четыре дня» и помещенный лет двадцать тому назад в «Современных записках». По фабуле рассказы различны: там было о мучительно-затянувшейся голодовке, здесь — о картах, но в обоих героем — или, вернее, жертвой — оказывается человек беззащитный перед судьбой или своими страстями (что в индивидуальном существовании большей частью сливается в одно неделимое целое, хотя люди и не отдают себе в этом отчета).

В новом евангуловском отрывке виден опыт не только писательский, но и игорный: психологически все в нем так же правдиво, как внешне, и в изображении парижских карточных притонов. Кстати, что в нашей литературе написано о картах и азарте самого верного, самого незабываемого? Когда-то был об этом в писательской среде долгий спор. По-моему, на первом месте, вне сравнений, — Николай Ростов, проигрывающий Долохову сорок тысяч, а у Достоевского не «Игрок», нет, а отчаянные его письма к жене из всяких Гамбургов и Баден-Баденов, с мольбами о прощении и клятвами никогда больше не играть, клятвами, которым юная, но успевшая узнать мужа Анна Григорьевна, конечно, не верила.

В сорок восьмой книжке «Нового журнала» — «Бред Шелля» покойного М. Алданова, отрывок из романа уже

известного. Под действием какого-то наркотического средства Шелля, агента американской разведки, то мучают кошмары, то смущают соблазнительные видения прошлого, и это дает повод Алданову высказать несколько остропроницательных соображений о советских порядках в последние сталинские годы или перенестись в Версаль, где стареющий король Людовик XV безмятежно развратничает, успокаивая себя тем, что «потоп» настанет «после». Не раз уже мне приходилось говорить об одной из отличительных черт алдановского дарования — о его вежливости к читателю, о его постоянной озабоченности тем, чтобы не дать читателю скучать.

«Бред Шелля» — красноречивый образец этого. Отрывок непрерывно держит внимание и мысль настороже, и в переходах от содержательности идейной к содержательности живописной исключительно характерен для автора. Особенно замечательно начало, в котором Шелль, беседуя в бреду с русским изобретателем-ученым, уговаривает его бежать с ним в Америку и объясняет, почему в советских условиях невозможна творческая работа. Неожиданно доводы Шелля «перекликаются» — как теперь принято выражаться — с мотивами дудинцевского отныне знаменитого романа, о «Хлебе едином», романа, которого Алданов знать не мог. Добавлю, что на «Хлеб единый» помещена в журнале большая рецензия Романа Гуля, одна из самых верных, которые приходилось до сих пор читать (кроме замечания, что «написан роман по старинке»: что это значит? не пора ли пересмотреть вопрос о ценности новизны «как таковой»? Не пора ли одуматься поклонникам «новизны для новизны», «во что бы то ни стало», ради щекотания нервов? М. Слоним недавно поместил в «Новом русском слове» статью о новаторстве, пылкую и на первый взгляд как будто убедительную, но только потому, что сущность вопроса в ней полностью обойдена).

От Алданова к Ремизову — будто с одной планеты на другую, или, по крайней мере, из одного века в другой. Нет, кажется, в нашей литературе двух писателей столь различных в отношении к своему «святому ремеслу», в приемах, во взглядах, в настроениях, в характере, — решительно во всем. Можно, разумеется, довести эклектичность вкуса до того, чтобы одинаково ценить обоих,

можно и к обоим остаться равнодушным, безразличным. На деле, однако, как всякий более или менее близкий к литературным кругам человек знает, взаимное отталкивание распространяется и на читателей: поклонники одного недолюбливают другого. (Об этом писал в дневнике своем еще Александр Блок, и притом именно по поводу Ремизова: но в качестве «антиремизовца» он назвал драматурга Гнедича, о котором всерьез говорить вообще трудновато.)

Отрывок из романа «Плачущая канава» написан давно, более сорока лет тому назад. По сравнению с позднейшими произведениями Ремизова он сдержан, менее витиеват и причудлив по языку, да, пожалуй, и по общему своему складу. Было бы крайне желательно прочесть весь роман полностью. Даже и в той сравнительно небольшой его части, которая помещена в журнале, чувствуется, что основной, глубокой своей теме Ремизов был верен всегда, при любых вариациях в ее разработке: тема эта — некое «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя», вопль к небу, страстная тоска о человеке, которому на земле вовсе не «скучно и грустно», а прежде всего страшно.

Стихов много, и есть среди них стихи очень хорошие. Нельзя не обратить внимания на А. Величковского. Его поэзии, может быть, и чужды элементы прелести или очарования, но зато в ней есть тяжесть, скромность, упорство, настойчивость, глухая печаль, а главное — свой, особый напев. Даже в моменты явного литературного простодушия, — как в коротеньком стихотворении о свече перед иконой, — он остается в этом смысле самым собой. Олег Ильинский — стихотворец, несомненно, даровитый, но дарованию его, по-видимому, еще далеко до зрелости. Мне могут возразить, что стихов будто бы «зрелых», — независимо от возраста пишущего, — то есть таких, где все эмоции будто бы пережжены и переплавлены, где в неизменный пятистопный ямб уложены размышления о суете сует, где все пристойно, приятно, благоприлично и все чуть-чуть ни к чему, — что таких стихов у нас хоть отбавляй... Совершенно верно! Но и размашисто-декламационные выкрики о венгерском восстании тоже ни к чему, еще больше ни к чему! Есть какое-то разительное, мучительное несоответствие

между событиями, вроде будапештской драмы, и торопливыми, квази-поэтическими иллюстрациями к ним. Читая стихи о Венгрии, я вспомнил знаменитое изречение Андре Жида насчет того, что «хорошие чувства идут на изготовление плохой литературы». Справедливость требует, однако, добавить, что в иных случаях литература Ильинского бывает и хорошей, например, в цикле о «Памяти».

О Иване Елагине и Ольге Анстей — отложим разговор для другого раза, чтобы не отделяваться несколькими словами по поводу случайно попавшихся стихов. Наша критика у обоих этих поэтов в долгу, даже если и были о них отдельные заметки.

Оставляю под конец два стихотворения Георгия Иванова, как всегда мастерские, со все больше усиливающимся у него стремлением к смешению поэтичности с прозаизмами, будто сахара с солью. Метод был бы для другого стихотворца опасен, но Георгия Иванова спасает то, что надо признать его чудесной особенностью: как сердце, по Пушкину, «любит оттого, что не любить оно не может», так и стихи его всегда поют, — очевидно, потому что «не петь не могут».

Статья моя разрослась, а сколько бы еще надо в двух книжках журнала отметить, даже если ограничиться словесностью, которую в прежние времена называли «изящной»! Воспоминания Е.Д. Кусковой о «Давно минувшем» вызвали, кажется, у всех читателей оценку единодушную и обезоружили даже тех, кто в спорах политических склонен винить автора в грехах чуть ли не смертных. Для русской провинциальной жизни конца прошлого века, для характеристики тогдашней интеллигенции, сбитой с толку, притихшей после 1 марта, но все еще беспокойной и свободолюбивой, для блужданий ее между толстовством, народничеством и едва-едва начавшим распространяться марксизмом — это документ первостепенной важности, порой даже в самом стиле своем. «Замужество — серьезный этап в жизни девушки... Простая запись в мэрии не отмечает с достаточной силой этого психологического перелома души при переходе в новую стадию существования». Е.Д., может быть, сама не почувствовала, когда писала эти строки, сколько в них «аромата эпохи» и как много они в самом выборе

слов дают уловить и понять. Очевидно, «давно минувшее» в процессе писания действительно ожило в ее сознании, слилось с настоящим.

Возразить я позволю себе только насчет Некрасова. В воспоминаниях приведены его величавые и трагические строки «Волга, Волга, весной многоводной...», а дальше сказано: «Удивительно! тогда все это волновало, трогало!» Уверяю Екатерину Дмитриевну, что и теперь, почти три четверти века спустя, это трогает и волнует многих: по-моему, должно бы волновать всех тех, кто к поэзии не утратил слуха.

Юрий Анненков очень живо, ярко, порой и с благоговением, пробивающимся сквозь привычную для него иронию, рассказал о своих встречах с Блоком. Н. Валентинов — о встречах с Андреем Белым, примешав, впрочем, к воспоминаниям крайне спорные и довольно желчные соображения о творчестве поэта и о символизме.

Выделить особо надо бы «Мысли о музыке» Н. Метнера. Не решаюсь судить о них с чисто музыкальной точки зрения, но как мысли об искусстве вообще, они остры, смелы и верны. Сошлюсь хотя бы на строки, — пусть и не совсем справедливые по отношению лично к Прокофьеву, — о мнимых новаторах, которые по Метнеру только тем и новы, что «показывают язык своим бывшим учителям» и наперебой стараются изумить мир «жалким школьничеством»^{*}). К сожалению «жалкое школьничество» все успешнее, все беспрепятственнее в наши десятилетия сходит за высокие и многозначительные искания, и тем-то оно и страшно.

Алданов — человек и писатель

Смерть Алданова вызвала большое количество откликов, воспоминаний, попыток охарактеризовать его творчество и определить его значение. Несомненно,

^{*} У Хиндемита, в одной из ранних его опер, притом в самый комический ее момент, дважды звучит мелодия из «Тристана». Допускаю, что Хиндемит очень талантливый музыкант, но что в какой-то мере он и «жалкий школьник», не сомневаюсь тоже. До чего все это глупо, на какие низменные отклики рассчитано!

это был один из двух-трех самых любимых писателей эмиграции, пожалуй, именно тот, которого в эмиграции больше других считали «своим»: в самом деле, хотя начал Алданов писать еще в России, все книги, давшие ему известность, написаны уже здесь, после революции. Едва ли можно сомневаться и в том, что когда теперешним неурядицам настанет конец, когда будет повсюду признано, что Россия одна, и что те, кто были противниками установившегося в России строя, не только остались на чужой земле русскими людьми, но и по мере сил сделали свой вклад в единую русскую культуру, — когда вся эта трагическая бессмыслица, с какими-то рубежами и занавесами будет ликвидирована, — у Алданова найдутся бесчисленные новые читатели, которые пожалеют, что не знали его прежде.

Останется ли к тому времени в живых кто-нибудь из друзей Марка Александровича, кто мог бы рассказать о нем, как о человеке? Догадуются ли новые читатели, почувствуют ли по книгам, что это был за человек? Некоторые возразят, вероятно, что личность автора не имеет значения, что важны лишь произведения его. Да, теоретически это, пожалуй, и так, но на практике это лишь наполовину верно, и во всяком случае в первое время после смерти писателя, до всяких «литературных портретов», хочется запечатлеть, сберечь, удержать в памяти его чисто человеческий облик. В особенности, когда речь идет о таком человеке, как Алданов.

Была у него черта, всем, кто с ним встречался, хорошо известная и, кстати, отмеченная чуть ли не во всех статьях, посвященных его памяти, — черта, глубже связанная со всем его отношением к жизни, чем это многим казалось: крайняя и совершенно естественная приветливость, крайняя благожелательность и какая-то осторожность в обращении с человеком, будто с драгоценным, хрупким сосудом. Случается, ведь, что встречаясь даже с одним из людей, принадлежащих к разряду «приятелей», не знаешь, что он на этот раз тебе скажет: то сострит как-нибудь неумовимо-язвительно, то передаст злую сплетню, притом с плохо скрытым удовольствием от передачи, с «аппетитом», как выражался Тургенев. Нет уверенности, нет гарантии, что встреча действительно будет отрадной, не покоробит, не оставит дурно-

го осадка. С М.А. гарантия была абсолютной, и это с его стороны не было лицемерием или хотя бы любезностью по расчету: толкование, которое не раз приходилось слышать, все в том же порядке злых и, в сущности, ни на чем не основанных догадок. Шла ли эта благожелательность прямо от сердца, была ли скорей продиктована рассудком, решить трудно. Но позы, притворства не было.

Алданов знал, что такое жизнь, знал и чувствовал, сколько в жизни тяжелого и жестокого, и не хотел, даже органически не способен был, эти ее свойства увеличивать. Его не развлекала обычная житейская суета сует, особенно литературная игра самолюбий, он знал ей цену и отстранял ее. Он производил впечатление человека очень усталого. Но усталость в его улыбке, в его глазах, в отдельных его замечаниях была не столько от недоумений или каких-либо забот, сколько от созерцания той жалкой и глупой «человеческой комедии», к которой нередко на три четверти сводится наше существование, в особенности существование общественное. Не думаю, чтобы он обольщался насчет людей или идеализировал их. Нет, он был очень умен, редкостно умен и все человеческие слабости видел, как мало кто другой. Но почти никогда он о них не говорил, а если и говорил, то вскользь, нехотя, со снисходительностью, которой не было предела. Кажется, это Аминадо пустил о нем остроумную шутку, которую он со смехом вспоминал, втайне соглашаясь с ее содержанием:

— Какая разница между Господом Богом и Марком Александровичем Алдановым? Бог правду видит, да не скоро скажет. Алданов правду видит и не скажет никогда.

Из-за этого его считали великим дипломатом. Но если он дипломатом и оказывался, то по побуждениям, которые далеки были от эгоистического расчета со всеми ладить и при этом вести какую-то свою «линию». Убедительный пример: он едва ли во что-нибудь верил, т.е. едва ли верил в возможность какого-либо загробного продолжения жизни, в потусторонние встречи, награды и воздаяния. В этом смысле он был материалистом и та грусть, которая была в нем и которая запечатлена во всех его книгах, была, мне кажется, прежде всего грустью, возникшей от уверенности, что все обрывается

здесь, с разрушением мозговых клеток, что за роковой чертой ничего человека не ждет, что никакой души, способной существовать вне материи, нет.

Конечно, как человек подлинно образованный, он понимал, что знать в этой области нам ничего не дано, что вера так же свободна от логических доказательств или опровержений, как свободен и атеизм. Но чувствуя, насколько нужна иным людям их вера, даже порой самое их сомнение, — как последний проблеск света, как соломинка утопающего, — он своего скептицизма никогда никому не навязывал, не возражал, не спорил, а только качал головой и разводил руками, как бы говоря: «ну, что же, если вам так жить легче, так и живите!» Не раз я бывал этому свидетелем, — потому что там, где соберутся русские люди, редко ведь обходится без разговора о «последних тайнах», о метафизических «проклятых вопросах», — не раз я бывал этому свидетелем, и всегда мне это представлялось поведением истинно достойным и истинно человеческим.

Там, где соберутся русские люди, в особенности русские литераторы, сам собой возникает разговор и на другую, какую-то неисчерпаемую литературную тему, — и, улыбаясь, Марк Александрович часто говорил мне: «Ну, давайте выясним же, наконец, кто больше — Толстой или Достоевский». Действительно, беседа, с чего бы она ни началась, неизменно соскальзывала к Толстому и Достоевскому. Приходится иногда слышать, что пора бы сопоставление этих двух имен оставить, что оно надоело, чуть ли не набило оскомину: все будто бы одно и то же. Толстой да Достоевский. Достоевский да Толстой! Никак не могу с этим согласиться. Этой темы хватит нам для размышлений еще надолго. Это — тот круг, который очерчен нам самым характером русской культуры, не говоря уже о том, что это — область, где всемирное значение русской культуры обнаруживается особенно ясно.

Должен, однако, добавить, что если М.А. и говорил «давайте выясним же, наконец, кто больше», то говорил шутя, только напоминая, что в беседе еще не было сказано ни слова ни об «Анне Карениной», ни о «Карамазовых», и зная, что это неизбежно произойдет. Для него вопроса, кто больше, кто выше, кто значительнее, не существовало. Он подлинно молился на Толстого и в последние

годы даже почти никогда не называл его по фамилии, а говорил Лев Николаевич, с безграничным благоговейно-любовным уважением. Помню, он как-то сказал, что если встретил бы Достоевского или Гоголя, то, вероятно, спросил бы их о некоторых, не совсем для него ясных, чертах их творчества, потом, пожалуй, стал бы спорить, даже возражать, горячиться. «Если бы я встретил Толстого, то молчал бы и только поклонился бы ему до земли».

Он считал «Войну и мир» и «Анну Каренину» величайшими книгами, когда-либо человеком написанными (несколько меньше ценя «Воскресение», что мне всегда казалось не вполне справедливым), и заметил как-то, разумеется в шутку, что если бы Толстой записал счет от прачки, то и это получилось бы у него гениально. Он утверждал, что великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате», — и замечательно, что при всей своей осторожности и сдержанности, он однажды повторил это в присутствии Бунина, причем Бунин это ничуть не задело, не покорило, как, я уверен, не покорило ни одного из наших новых писателей утверждение, что, сколько бы ни было сейчас дарований, «золотой век» русской литературы все-таки уже позади. Но помимо художественного гения Алданова изумляло у Толстого то, в чем все-таки далеко не все отдают себе полностью отчет: величие личности, сокрушительная сила искренности, цельность, неукротимость духа, постоянная обращенность к «единому на потребу», то, чего нет ни у Достоевского, ни у Гоголя, ни у Пушкина, решительно ни у кого.

Однако, при всем своем преклонении перед Толстым, Алданов ни в малейшей мере не был толстовцем, и в этом отношении показательна одна черта в его писаниях — отношение к Наполеону (судя по газетным отчетам, об этом говорил на одном нью-йоркском собрании И.Л. Тартак). Кто-то еще в прошлом веке остроумно заметил, что если Наполеону изменили его маршалы, то нашлась у него другая, более блестящая свита: чуть ли не из всех поэтов столетия, Байрона, Виктора Гюго, Пушкина, Лермонтова и других. Алданов не то что хотел бы записаться в свиту, нет, но Наполеон его глубоко интересовал, тревожил его воображение, постоянно при-

существовал в его памяти, — настолько, что нет, кажется, ни одной статьи его, не говоря уж о целой книге, где имя Наполеона несколько раз не упоминалось бы.

Объяснение этого, по-видимому, в том, что, всецело принадлежа к типу людей «кабинетных», Алданов гораздо больше размышлял, думал, искал и писал, чем жил в смысле волевого риска, в смысле каких-либо удач или катастроф, возвышений и срывов, движения, фактов, превращающихся в события, всего прочего в этом роде, и что образец жизни исключительно яркой, прожитой как азартная игра, «самой головокружительной в мировой истории карьеры», как сказано, насколько помню, в «Ульмской ночи», с монументальным концом на Св. Елене, этой «великолепной могилой», по Пушкину, внушал ему безотчетно-завистливое удивление.

Обыкновенный, рядовой человек совмещает в себе, пусть и в зачаточных формах, деятеля и созерцателя, героя и мыслителя. Деятеля, героя в Алданове не было совершенно, вся сила его натуры ушла в другую крайность, и к человеку, который как падающая звезда или метеор внезапно озарил весь исторический небосклон и оставил в наследство потомкам единственную в новые времена историческую легенду, он, вопреки всем сарказмам Толстого, не мог быть равнодушен.

* * *

В создании образов Алданов, как мне уже приходилось писать, был скорее скульптором, чем живописцем — черта, роднящая его из прежних наших больших писателей с Гончаровым. Подобно Обломову, незабываемому Обломову, некоторые из алдановских персонажей едва ли не самое округленное, самое законченное, что в новейшей русской литературе создано: например, адвокат Кременецкий в трилогии, этот русский вариант флоровского аптекаря мсье Омэ, или хотя бы Александр II в «Истоках», лучше, на мой взгляд, из его романов. Именно как скульптура образ виден со всех сторон и рельефность его исключительна. Оттого-то исторические портреты или портреты выдающихся современников — область, в которой Алданов был исключительным мастером. У него, правда, нет того, чем прельщают худож-

ники иного склада: волнения, рождающегося неизвестно как, почему и откуда, скорей всего из самого сочетания слов, из напева, явственно звучащего во фразе, из одной, как будто случайно подмеченной подробности, одного оттенка, порой одного эпитета. Зато есть редкая способность построить широкое повествование со сменой действия и даже сменой поколений, есть умение вести рассказ в соответствии с замыслом, а не как импровизацию, есть то, что Пушкин отметил в знаменитых словах о «едином плане Дантова Ада». Каждому свое, и не надо одному писателю ставить в упрек то, что в иной области другой писатель сильнее.

Одна тема, одно положение проходит в разных видах через все романы Алданова, и по-видимому, это самое личное, о чем он, — по природе не склонный о себе говорить, — когда-либо писал. Самая его фраза начинает тут звучать каким-то глухим музыкальным дребезжанием, вообще-то ему мало свойственным. Тема эта — о человеке, уже не молодом, знающем, что играть с судьбой в прятки поздно, спрашивающем себя в задумчивости и растерянности, зачем он, собственно говоря, жил, что в жизни заслуживало внимания, труда и жертвы, как надо было жить, чтобы при подведении итогов жизнь не казалась «пустой и глупой шуткой». Конечно, первым в нашей литературе, и с беспримечной силой, спросил себя об этом толстовский Иван Ильич, но едва ли правильно было бы говорить о подражании только потому, что тема не совсем нова. Несомненно, «Смерть Ивана Ильича» имела очень большое влияние на многих новых писателей. Лев Шестов утверждал, например, что из нее вышел весь Чехов. Мог, значит, выйти и Алданов. Но это — вопрос теоретический, которым займутся, вероятно, будущие «литературоведы».

Если я сейчас остановился на образе человека, подводящего итоги, то потому, что образ этот позволяет многое понять и почувствовать в Алданове, в его сложной, скрытной, не то чтобы противоречивой, но ушедшей в себя, притаившейся в раздумии, спрятанной под бесчисленными замками натуры.

Дюмлер в «Истоках», Вермандуа в трилогии и другие недоумевают: зачем они жили? стоило ли цепляться за такую жизнь, какой они жили? А автор за ними

одержим почти навязчивой мыслью: что следовало бы сказать людям, если бы пришлось писать завещание, что надо было бы передать им самого важного, самого нужного? Не хочу ничего упрощать и не буду сводить идеи и побуждения долгой творческой жизни к наспех придуманным формулам. Но даже и не делая этого, даже помня, сколько у самого Алданова было бы колебаний и поправок при попытке составить это свое «завещание», можно все-таки сказать, что внушен его message был бы стремлением облагородить и упорядочить наше существование, отстоять в их незыблемом содержании понятия добра, свободы, справедливости, в наш век часто считающиеся выветрившимися и подлежащими коренному пересмотру, а то и просто сдаче в архив.

В нашумевшем романе Дудинцева есть восклицание — «Это все девятнадцатый век!» — достаточно красноречивое в своей пренебрежительности. В этом смысле Алданов хотел бы отстоять девятнадцатый век, и именно в этом смысле, в готовности стоять — не идти, а стоять, — против течения, против слепых, неизвестно куда рвущихся и к чему ведущих стремлений эпохи, в нем было очень много мужества. Гораздо больше, чем принято было думать.

Он с грустью и удивлением смотрел на новейший мир, — потому что удивляло и печалило его отсутствие подлинно-бережного отношения к личности, притом не только в странах «тоталитарных», где этого никто и не ждет, но и там, где о личности как о величайшей ценности, толкуют по любому поводу. Повторяю, он едва ли верил в существование божественного промысла. Насколько могу судить, он склонен был бы признать наиболее правдоподобным то, что в минуту отчаяния сказал Тютчев: «нет в творении Творца и смысла нет в мольбе». Но все его умственные и нравственные стремления были основаны на том, что если вместо всеблагого и всемогущего Провидения есть только черная, вечная пустота, то это ничего не изменяет и даже побуждает жить так, как будто по высшим непреложным законам нам велено было... не любить, нет, где уж тут любить!.. а хотя бы уважать друг друга, помогать друг другу, не подставлять друг другу подножек, не уподоблять нашего мира каким-то джунглям, притом даже не величествен-

ным, а мелким джунглям, смешным и скучным. Апостол сказал: «вера без дел мертва».

Алданова вера не трогала и не волновала, он был метафизически спокойным человеком, отчего, может быть, и остался чужд людям, которые к этим сторонам духа особенно чувствительны. Но в том, что дела без веры не мертвы, что отсутствие веры не должно отразиться на характере дел, в этом он не сомневался. Это было его основным убеждением. Даже больше: уверенность, что никакой награды за дела нас нигде не ждет, была источником его морали. К чему награды? Человек должен быть человеком не ради них, а ради самого себя. «Если Бога нет, все позволено», — утверждал Смердяков. Все написанное Алдановым есть опровержение этой ужасной мысли, восстание против нее: не может все быть позволено, ибо человек — живая, несомненная, наделенная способностью страдать реальность, — есть во всяком случае.

Мне часто он казался взрослым среди детей, или, пожалуй, вернее — трезвым среди людей не то чтобы пьяных, но все-таки какого-то хмеля хлебнувших. Особенно в литературе, и в частности при сравнении с писателями более молодыми, которых — как я знаю по многим свидетельствам — это от него отдаляло, а то и отталкивало. Молодежи, людям «молодежного» склада, бывало над его книгами скучновато из-за отсутствия иллюзий в этих книгах, отсутствия малейшей уступки игре, фантазии, сказочности, мнимым полетам мнимого вдохновения, всего, что будто бы неразрывно связано с поэзией. В нашей литературе не было человека, который решительно отверг бы всякую маску и притворство, не было человека честнее, правдивее его, и в литературной судьбе его, внутренне не столь удачливой, как может это показаться по внешнему признанию и успеху, многое этим объясняется.

Было бы крайне интересно остановиться на причинах разлада Алданова с поэзией, и вообще на недоверии такого рода людей, как он, — прирожденно-трезвых, взрослых и грустных, — ко всему, что в расплывчатое понятие «поэзия» обычно включается. К сожалению, в двух словах об этом мало что скажешь. Есть поэзия легкая, которая всюду ищет и всюду беспрепятственно

находит для себя пищу, все в поэзию будто бы чудотворно претворяет, «вспыхивает» от любого соприкосновения. И есть другая поэзия, — скупая, требовательная, верящая только тому, что уцелеет после всех испытаний, пройдет через все препятствия, и что, будучи полито серной кислотой словесного и эмоционального скептицизма, все-таки поэзией останется: редкими крупичками золота вместо ворохов мишуры.

Нельзя, конечно, свое представление о поэтическом творчестве считать для всех обязательным. Но по существу, несколько насмешливое и недоверчивое отношение таких людей, как Алданов, к поэзии вообще внушено именно огромным преобладанием легких ее образцов, беспечностью и безответственностью самозванных, мнимых Моцартов, не чувствующих, как мало в нашей жизни поводов для истинного вдохновения и как в ней мало для него места.

Однако было бы с моей стороны опрометчиво в этот разлад дальше и глубже сейчас вмешиваться. Если я его коснулся, то лишь потому, что совсем обойдя его, понять что-либо существенное в Алданове было бы трудно. Думаю, что трудно было бы понять в нем что-либо существенное и если бы задержаться на разборе отдельных его романов, на характеристике героев, анализе приемов, всего того, что предлагается в учебниках по литературе. Разумеется, это имеет значение: не очень большое, но имеет! Самое важное, однако, то, что остается в памяти как вывод, как итог, что выделяется из творчества как дух и сущность его, когда все мелочи, все частности забыты. Если не выделяется ничего, то как бы ни был человек даровит, все-таки он — не настоящий писатель, а только рассказчик, помогающий «убить время». Алданов это испытание во всяком случае выдерживает.

Что же выделяется из его книг, что осталось в сознании как общее, никакими случайностями не замутненное впечатление? Прежде всего, прочнее всего — облик человека, к кому библейские слова о «образе и подобии», по которому созданы были люди, могут быть применены полностью, без иронии, как бы мало он о Библии сам ни думал. Осталось воспоминание о спокойной и верной дружественности, внимательной и твердой, о сердечности без малейшей слащавости, без громких слов, оста-

лось в памяти приглашение жить без надежд на какие-либо чудеса, но зато и без риска растерять ради этих проблематических и недостижимых чудес то небольшое, что мы могли бы сберечь и что может нашу жизнь, скрасить, может притупить в ней ту ее боль, которую Алданов, по-видимому, всем своим существом чувствовал, хотя никогда о ней и не говорил. «Трудна работа Господня», — сказал, умирая, Влад. Соловьев. Имени Алданов не повторил бы, но «трудна работа человеческая», думаю, сказал бы, — с уверенностью, что каждый по мере сил и на своем месте должен эту работу делать, никакой награды не ожидая, кроме той, которую найдет в самом себе и в памяти друзей.

«Современные записки» Воспоминания М.В. Вишняка

Нельзя всем угодить, — ни в литературе, ни в жизни. За двадцать лет существования «Современных записок» не было, вероятно, ни одного человека, который, одоблив журнал в общем, не сделал бы какой-нибудь оговорки, не добавил бы к похвалам какого-либо «но». Одни считали, что в журнале слишком много политики, другие — что ее недостаточно, одни хмурились на чрезмерную левизну этой политики, другие на будто бы все усиливавшиеся уступки вправо. Слышались упреки в том, что журнал мало-помалу становится похож на епархиальные ведомости, и наоборот, в том, что он не учитывает всего значения православия в развитии русской культуры. Поэты негодовали на пренебрежительное отношение к поэзии. Некоторые беллетристы — как Осоргин — удивлялись, что в двадцатом веке редакция серьезного «толстого» журнала может еще уделять место такому вздору, как стихи.

Иначе и быть не могло. Еще раз скажу: на всех не угодишь! Даже в советской России, где единомыслие возведено в верховный общественный принцип, нет журнала, который не вызывал бы нареканий и критики. При свободе же мнений, взглядов и вкусов, недовольство одних тем, что нравится другим, неизбежно, подразумевается само собой и как бы входит в программу журнала. Слава

Богу, что это так, и будем надеяться, что времена, когда все со всеми окажутся согласны, еще далеки...

Но «Современные записки» давно уже — семнадцать лет тому назад — прекратили свое существование. За двумя-тремя исключениями все главнейшие их сотрудники — на том свете. Былые страсти улеглись. Былые обиды забыты, — в частности, думаю, со стороны тех «молодых», — «незамеченного поколения», по терминологии В. Варшавского, — которые горько жаловались на отсутствие внимания к ним. Оглядываясь на прошлое, перебирая в руках и перелистывая семьдесят книжек «Современных записок», всякий теперь скажет с еще большей уверенностью, чем прежде: хороший был журнал, сделавший очень большое, очень нужное дело, отстоявший честь русской эмиграции!

Нельзя считать его исчерпывающим, идеально-полным, безупречно-справедливым и безупречно-чутким в выборе материала, нельзя утверждать, что умственная жизнь эмиграции отражена в нем целиком. Но помянуть добрым словом русский журнал, который был убежищем духа свободы в годы, когда в России свобода духа была объявлена глупой выдумкой или преступлением, надо, и хочется сделать это без всякой натяжки, без малейшего насилия над собой, с благодарностью от обоих поколений, застигнутых революцией, и замеченного, и «незамеченного». Если «незамеченному» дорого не столько оно само, не столько его личные успехи и личное признание, сколько нечто «надличное», к доброму слову присоединится оно наверно.

М.В. Вишняк, последний оставшийся в живых из редакторов «Современных записок», написал интересные воспоминания о журнале: о его возникновении, о трудностях, связанных с его изданием, о редакционной жизни, о некоторых сотрудниках. Зная обычный склад писаний Вишняка, его нетерпимую, прирожденно-полемическую натуру, я ждал, что и рассказ его о журнале окажется страстным и запальчивым. Сводить какие-либо счеты было бы поздно, и этого, конечно, в воспоминаниях Вишняка оказаться не могло бы. Но ведь и благодущие, казалось, ему тоже не свойственно, а между тем в книге о «Современных записках» разлито именно благодущие, будто автор растроган воспоминаниями

о любимом своем детище, — доставлявшем, кстати, ему столько хлопот, — и настроен примирительно ко всему, что когда-то его раздражало.

Совершенно верно указано в издательском предисловии, что книга эта — «ценнейший вклад в литературу о русской интеллигенции». Все пять редакторов журнала были плотью от плоти русской интеллигенции, все связаны были с самым трагическим периодом в ее существовании, и даже незначительные их расхождения, отразившиеся на составлении той или иной книжки журнала, в этом отношении характерны. «Дождались!» — иронически воскликнул в октябре 1917 года один из немногих умных русских реакционеров по адресу русской интеллигенции. В «Современных записках» для историка ценно и интересно будет проследить, как к этому «дождались!» отнеслись потомки тех, кто в течение целого столетия «ждали», — и как они восприняли сбившую все их надежды «неожиданность».

Мережковский, Гиппиус, Степун, Шмелев, Осоргин, Ходасевич, Федотов, — не называя деятелей чисто политических, — обрисованы в книге быстрыми, легкими штрихами, и, в общем, с желанием найти в каждом из них скорей хорошее, чем плохое («симпатическим карандашом», — сказал бы Добролюбов). Однако, несмотря на «симпатический карандаш», рассказ Вишняка кое-где производит впечатление тягостное: в частности, на тех страницах, где он вспоминает о писательском местничестве, о претензиях, о вспышках самомнения, порой мало на чем основанного, о хлопотах по устройству благоприятных рецензий и о прочем в том же роде. Не хочу на этом останавливаться: к сожалению, «так было, так будет» — и приходится утешаться лишь тем, что были и будут и исключения.

Из характеристик, данных ближайшим друзьям автора, особенно ярка, — и лично меня, признаюсь, особенно заинтересовала, — характеристика Фондаминского-Бунакова. Помню, когда-то покойный Алданов сказал, что если бы ему надо было посоветоваться по какому-нибудь важнейшему для него делу, то отправился бы он к Фондаминскому, ни к кому другому. Алданов чрезвычайно высоко ценил Фондаминского, считал его умнейшим и даровитейшим человеком, и, между прочим, сето-

вал на Варшавского за то, что тот в своем «Незамеченном поколении» отнесся к нему скорей скептически. Повидимому, таково же, т.е. близко к мнению алдановскому, и мнение Вишняка.

Лично я довольно часто встречался с Фондаминским, хотя ни в коем случае не был бы в праве причислить себя к его друзьям. Мне он всегда представлялся человеком приятным, — даже, если угодно, «во всех отношениях», — порывистым, отзывчивым, постоянно склонным к энтузиазму, но не без примеси какого-то душевного сахара: человеком не очень значительным, в конце концов, и далеко не столь талантливym, как, например, Федотов, его единомышленник и соратник в попытках создать живую «пореволюционную идеологию». Даже в качестве оратора: по привычке, или, может быть, по инерции о Фондаминском неизменно говорят, как об ораторе «блестящем», «неотразимом». Но, правду сказать, он на эстраде всегда напоминал мне открытый кран: вода хлещет гладко, ровно, если крана не закрыть, будет хлестать час, два часа, два дня, без остановки! Ни сучка, ни задоринки в речи: горящие глаза, эффектные, округленные периоды, широкие жесты, — но и только! Дар слова был очевиден, но дар какой-то никчемный, слишком легкий, пресный, и притом самому оратору доставлявший явное удовольствие. Да и самые мысли Фондаминского были «без сучка, без задоринки», и ни глубины, ни оригинальности в них было не найти. Может быть, была глубина чувства? Может быть, бессилие выразить то, что жило в его сознании, и вообще некоторая бескостность Фондаминского, зыбкость его душевных очертаний, предавали его? Может быть, надо было знать его ближе, с глазу на глаз, чтобы полностью оценить? Охотно допускаю это. Свидетельство друзей, тех, для кого он, как для Вишняка, был «милым и дорогим Илюшей», в этом отношении очень важно, — тем более, что поведение и смерть Фондаминского во время немецкой оккупации заставляют верить в справедливость оценки его, как личности замечательной и даже героической.

Довольно много говорит Вишняк о журнале, который был «Современным запискам» открыто враждебен, — о «Верстах». Мимоходом упоминает о «Числах».

Приводит он, между прочим, и выдержку из письма Петра Струве, где тот, в связи с появлением в «Числах» статьи Франка, говорит:

«Быть отвергнутыми “Современными записками” и попасть в “Россию и славянство” — это какое-то идейное расхождение, перейти же из “Современных записок” в “Числа” не имеет вовсе такого значения и есть только переход в худшее помещение».

Утверждение это, впрочем, для печати не предназначавшееся, голословно и неверно в корне, поскольку слову «значение» придан в нем исключительно политический смысл. Петру Струве «Числа» не могли и не должны были нравиться, это ясно само собой. Но сколько бы ни было у этого журнала недостатков, говорить, что это — те же «Современные записки», только в худшем виде, нельзя, не искажая истины. Вишняк, не сомневаюсь, прекрасно это знает, и было бы лучше, если бы к словам Струве он добавил несколько слов от себя, хотя бы ради «объективности».

К «Числам» я имел близкое отношение и могу засвидетельствовать, что возникновение их вызвало у тогдашней литературной молодежи подлинный энтузиазм. Не в том было дело, что в «Современных записках» охотнее печатали Кизеветтера, чем, скажем, Поплавского, а в том, что «Современные записки» хотели, главным образом, охранить русскую культуру, «Числа» же хотели ее развить и продолжить. Молодежь, те, которых З. Гиппиус, впрочем, и тогда уже называла «подстарками» — что сказала бы она теперь! — это сразу почувствовала, сразу на это отозвалась и в самое понятие эмиграции попыталась вдохнуть содержание творческое, что «Современным запискам» было, в сущности, чуждо.

Ошибки были допущены и там, и здесь, — кто же станет это отрицать? Но и «Числа» сделали в свое время очень нужное дело, в частности, стремясь обогатить русскую культуру плодами долгого пребывания на Западе, использовать несчастье беженства как нечто такое, что в конце концов может обернуться России на пользу. Шмелевская «Няня из Москвы», например, — независимо от ее литературных достоинств — ни в коем случае не могла бы в «Числах» появиться, и если я на отдельное произведение ссылаюсь, то с целью подчеркнуть, как от-

талкивались «Числа» в духовной окраске понятия культуры от многого, многого, что поколение предыдущее принимало беспрепятственно и даже им наслаждалось.

Кстати, если не ошибаюсь, эта «Няня из Москвы» была Петром Струве высоко оценена. А у некоторых сотрудников «Чисел» ее вызываяще российский, «квасной» стиль и склад возбуждал содрогание и глубочайшую скуку, хотя никто из них не был настолько слеп, чтоб отрицать у Шмелева большой и подлинный талант.

Долго было бы теперь обо всем этом толковать. Доверимся приговору «будущего историка», лица проблематического, который, может быть, и займется когда-нибудь нашими здешними спорами и разногласиями. Думаю, что по справедливости он признает за «Современными записками» первое и почетнейшее место в эмигрантской печати, если уж непременно понадобится ему устанавливать некую табель о рангах. Но не признает их изданием единственным, т.е. таким, по сравнению с которым никакие другие журналы ничего существенно отличного не дали.

А книгу Вишняка он прочтет с увлечением и великой для себя пользой. Жаль только, что нельзя передать ему несколько ее экземпляров, поля которых мы испещрили бы своими добавлениями, примечаниями, соображениями, возражениями, а то и «вопросительным крючком», как Онегин.

Судьба Иннокентия Анненского

Не так давно в «Русской мысли» Ю.К. Терапиано напомнил об Иннокентии Анненском и даже привел целый ряд его стихотворений. Было это и своевременно и полезно, да и перечитать эти удивительные, несравненно-своеобразные стихи было отрадно. Говорю «перечитать», хотя знаю наверно, что есть в Париже десять—пятнадцать человек, к которым слово это не применимо: с первой произнесенной строки они могли бы продолжить каждое стихотворение наизусть. Но ни «Кипарисового ларца», ни «Тихих песен», ни других книг Анненского в продаже нет, а еще далеко не всем любителям и ценителям поэзии Анненский врезался в память с достаточной

силой. Перепечаткой если и не следует злоупотреблять, то в исключительных случаях ее можно только приветствовать. А Иннокентий Анненский и его судьба в русской литературе — случай именно исключительный.

«Кипарисовый ларец», основной сборник Анненского, — книга посмертная. До ее появления почти никто Анненского большим поэтом не считал. Был он довольно значительным чиновником Министерства народного просвещения, и в некрологе, помещенном в журнале этого министерства, указывалось, что «покойный был не чужд изящной словесности и отдавал ей свои досуги». Нельзя сказать, чтобы «Кипарисовый ларец» сразу произвел очень большое, очень сильное впечатление. Нет, тогдашний поэтический диктатор, — впрочем, уже начавший сдавать свои позиции, — Брюсов, человек, который мог «опрокинуть свою чернильницу на любую поэтическую репутацию», дал о сборнике отзыв холодно-одобрительный, с признанием достоинств, но достоинств ограниченных, пожалуй, слишком изысканных и хрупких, относящихся скорей к области «любопытного», чем «замечательного». Гораздо выше оценил книгу Вячеслав Иванов, однако поколебать общее представление об Анненском не удалось и ему: чудак, одиночка, эстет, дилетант, чуть-чуть сноб и притом «совершеннейший истукан», как много позднее говорил мне Бунин, встречавшийся с ним в Крыму. В «Русском богатстве» был другой Анненский, более знаменитый, — Николай Федорович. Для большинства русских журналистов и критиков Иннокентий Федорович был всего только «братом Николая Федоровича».

Но произошло нечто неожиданное: несколько молодых людей, — преимущественно поэтов, и скорей петербургских, чем московских, — подлинно «влюбились» в стихи Анненского, оказались заворожены, загипнотизированы ими, бредили ими, ничего не могли после них читать. О подражании не было речи: пожалуй, у Анны Ахматовой какие-то следы подражания можно было найти, но у других — нет. Возник культ, но не было ученичества. Гумилев этот культ возглавил, хотя по существу трудно было бы назвать поэта, который и формально, и внутренне был бы Анненскому более чужд, чем он. Но Анненский был петербургским открытием, петербург-

ской находкой, и Гумилев, уже мечтавший о том, чтобы сменить москвича-Брюсова на диктаторском посту, не мог таким козырем пренебречь. Правда, Анненский считал себя символистом, но самый символизм был у него особый, как бы вещественный, без романтически-беспредметных туманностей, Гумилеву враждебных, и привлечь его в союзники можно было без слишком большой натяжки.

К началу революции культ окреп, расширился, или лучше было бы сказать: углубился. Образовалось то, что французы называют *«une chapelle»*. В первые революционные годы, — до того, как «Кипарисовый ларец» был переиздан, — появились редкие рукописные экземпляры его, передававшиеся от одного к другому как драгоценность. К тому же времени относится эпизод мало кому известный: Гумилев внезапно к Анненскому охладел.

Было это в августе 1921 года, в последний раз, когда я Гумилева видел. Георгий Иванов, не сомневаюсь, помнит этот разговор и мог бы мой рассказ подтвердить: Гумилев пришел и сразу заявил, что он свое отношение к Анненскому пересмотрел, что пора сказать о нем правду, что это второстепенный, неврастенический стихотворец, а истинно великий поэт наших лет, непонятый, неоцененный — граф Комаровский. Вскоре, через несколько дней, Гумилев был арестован и погиб. Не случись этого, вполне возможно, что он, при своей страсти к литературной стратегии, предпринял бы на Анненского организованный поход, как возможно и то, что вместо Комаровского нашел бы другое «знамя»: Комаровский — явление далеко не ничтожное, но большое и темное, к роли знаменосца не подходил. Ничего достоверного об этом сказать нельзя. Достоверно лишь то, что Гумилевская «переоценка», — едва ли случайная, по-моему давно в его сознании напевавшая, — последствий не имела.

В эмиграции культ Анненского стал одним из главных жизненных и литературных дел той же группы, которая была ему верна в Петербурге: Георгий Иванов, Николай Оцуп, Ирина Одоевцева. Мы чуть ли не каждый год устраивали вечера его памяти, говорили о нем, читали с эстрады его стихи, — не без удивления и молчаливого сопротивления со стороны тогдашней молодежи,

настроенной большей частью футуристически, а также и старших, которые, как Мережковский и Гиппиус, знали об Анненском только понаслышке. Гиппиус хмурилась, пожимала плечами, считала наше увлечение капризом: «что это вы, в самом деле, все носитесь с этим Анненским, как вам не надоест!» — говорила она и нехотя взяла у меня «Кипарисовый ларец» с очевидным предвзятым намерением раскритиковать его вовсю. Экземпляр этот, к сожалению, у меня не сохранился, а может быть, и лучше для памяти Гиппиус, что он исчез: поля его сплошь были испещрены замечаниями вроде «слабо», «вяло», «ни к чему», «Боже какая безвкусица» и так далее.

Отношение Ходасевича к Анненскому было сложнее. Еще в Петербурге он прочел о нем в «Доме искусства» доклад, где довольно искусственно, но остроумно сопоставлял его с толстовским Иваном Ильичом. Но многому, очень многому у него научившись, многое взяв у него, он вместе с тем от него и отталкивался. Крайне интересно было бы провести параллель между обоими поэтами: Ходасевич как будто усовершенствовал, уточнил Анненского, поставил в его манере все точки над *i*, прояснил, договорил то, что у Анненского оставалось зыбко. Но именно это оказалось для него роковым. У Анненского между слов и строк гуляет какой-то сквозной ветерок, между тем как поэзия Ходасевича мучительно безвоздушна, будто захлопнуты все окна. У Ходасевича в стихах все сказано, ни о чем не умолчано, в них ничего не рвется «откуда-то» и «куда-то», — и потому они не оставляют в сознании отзвука.

Анненский, как никто другой, использовал верленовский совет искать «не краски и не цвета, а только оттенка», не бояться «некоторой ошибки в выборе слов»: не ко всякому стилю, разумеется, этот совет применим, но в прихотливейшей его поэзии, где воспоминания о Еврипиде сплетены с парижскими утонченностями и пряностями, а за ними неожиданно маячит в своей щемящей беспомощности Акакий Акакиевич Башмачкин, в прихотливейшей его поэзии это сделало чудеса! Ходасевич как будто перестарался: слишком чисто, слишком внятно и ясно, а главное-то, неуловимое-то и улетучилось.

Да, было сопротивление еще со стороны Марины Цветаевой, не сдержанное, уклончивое, как у Ходасевича, а бурно-нетерпимо-презрительное, с мнимоснеговых вершин своего собственного вызывающего вдохновения. «Анненский? Читала и бросила. Зачем я стану его читать?» Однажды я слышал и другое ее замечание о «Кипарисовом ларце», на одном из собраний «Кочевья», устраивавшихся Слонимом: как и в случае с гиппиусовским экземпляром книги, лучше о нем забыть.

С тех пор прошло четверть века. Даже больше. За литературную судьбу Анненского бояться больше нечего и опасность, что о нем забудут, и что придется нашим правнукам вновь открывать его, по-видимому, исчезла. Случалось ведь в истории потомкам недоумевать: как могли современники быть столь близоруки и рассеяны? Сейчас — разумеется, лишь в узком кругу — сталкиваясь с другим явлением, в сущности тоже опасным: с преувеличением. Несколько лет тому назад один из тех парижских поэтов, которых мы по привычке все еще называем «молодыми», говорил мне: «нет, вы Анненского недооцениваете!» и утверждал, что он «выше Тютчева», а с Боратынским его будто бы и сравнивать смешно. Что мог я на это ответить? От себя, от имени тех своих друзей, которых назвал выше? Ведь мы на Анненском, можно сказать, все глаза проглядели, ночей из-за него не спали, жизнь свою — в литературном смысле — за него положить были готовы, — и вот теперь слышишь: «нет, вы Анненского недооценили!» Руки опускаются, спорить нет охоты.

Разговор, помнится, начался с Тютчева. Конечно, конечно, конечно, — я готов тысячу раз повторить это «конечно»! — Анненский — не Тютчев. В мастерстве он, пожалуй, ему не уступит, но безмерно уступает в щедрости духа, отразившейся в каждом слове, в каком-то непрестанном излучении сердечной энергии. Некоторые тютчевские стихи как будто сами собой переходят в свет и тепло, и кажется, что написаны они не чернилами, и не кровью, нет, а каким-то расплавленным золотом. Тютчев пятьдесят лет ждал всенародного признания, но дождался его по праву, и этого-то, я уверен, с Анненским не произойдет никогда. Он тоже останется «учителем поэзии

для поэтов», — как сказал, если не ошибаюсь, о Тютчеве Горнфельд, — незаменимым, настоящим учителем, но некий холодок, внутренне сковывающий его поэзию, задержит его на полдороге к славе окончательной, не подлежащей пересмотру, той, к которой «не зарастет народная тропа». В статье Вячеслава Иванова, о которой я упомянул, было замечание о «скупых нищих жизни», выразителем и глашатаем которых Анненский явился. Необычайно верно, необычайно метко! Тут и становится ясно все, что отделяет его от Тютчева. Да и не только от Тютчева: от Блока, — от Блока, который был и водянистее Анненского и стилистически гораздо неряшливее его, но который в лучшие свои мгновения рискует, взлетает, сгорает, жертвует собой... там, где Анненский только мерцает и тлеет.

Мне могут сказать: начал во здравие, кончил за упокой! Нет, этого упрека я принять не могу. Неожиданность явления Анненского, глубокое своеобразие этого явления и тончайшая, ювелирная выделка его стихов по сравнению с размашистыми и аляповатыми красотами тогдашних общепризнанных «мэтров», Бальмонта и даже Брюсова, должны были поразить. Глубокая, глубочайше-гамлетическая человечность его поэзии, «печать века сего» на его сомнениях, намеках, колебаниях, задержках, раздумиях, все это должно бы сохранить ему навсегда верность тех, кто был ему верен хотя бы один день.

Но Анненский — это все-таки мирок, а не мир: мирок единственный, одновременно жуткий и манящий, однако без того, что в творчестве дороже всего, без самозабвения, без самопожертвования. В конце концов, все в поэзии решается именно этим, и вечные слова о тех, кто «душу свою потеряет...», вечны и в ней.

Нео-нигилизм

В предпоследней, сорок девятой книжке «Нового журнала», — общий отзыв о которой, вместе с книжкой пятидесятой, я надеюсь дать в самое ближайшее время, — есть одна замечательная мелочь, любопытнейшее совпадение: два автора, В. Набоков-Сири и В. Яновский,

в трогательном согласии называют речь Достоевского о Пушкине «вздором».

Набоков пишет о «вздоре в пресловутой речи». Яновский, более обстоятельно и настойчиво, определяет речь как «вздор самодовольный».

Предположение, что они сговорились или что один на другого повлиял, — мало правдоподобно. Писатели это совершенно различные и ни в образе мыслей, ни в стилистической манере ничего общего у них нет. Яновский негодует, кипит, нервничает, обличает. Набоков бросает свое замечание вскользь, с высокомерным пренебрежением, — но, как это ни удивительно, в выражении они сошлись: «вздор»! Когда-то, мол, люди придавали этой речи значение, но помилуйте, теперь, в двадцатом веке, пора понять, что ничего, кроме усмешки, она не заслуживает.

Пора бы понять...

Да, действительно, после всего, что в России — и с Россией — произошло, пересмотр, а может быть, и «переоценка» прошлого, неизбежны и естественны. Кто же станет это отрицать? Русский человек должен искать ответа, добиваться объяснения: как, почему, отчего случилось то, что случилось? Кто, в конечном счете, виноват? Кому обязаны мы тем, что уже почти сорок лет сидим здесь, на новых «реках вавилонских»? Если бы такого вопроса в русских сознаниях не возникало, это был бы плохой признак, свидетельствующий об окончательной спячке. Одни озлоблены, и в тупом, а часто и невежественном своем озлоблении валят все и всех в одну кучу, Льва Толстого вместе с Милюковым. Другие вглядываются, вдумываются, ищут источник новейших бедствий в давнем русском прошлом, в ошибках русских правителей, начиная чуть ли не с Петра, в заблуждениях наших «властителей дум»... К выводам ясным, бесспорным никто не пришел, да едва ли когда-нибудь и придет, но самое стремление их доискаться — одна из основных черт нашей эпохи, нашего исторического положения. У каждого умственно-живого человека есть с судьбой счеты личные, внушенные чувством, что «живу я только один раз», и, значит, должен в этом удивительном и навеки непостижимом факте как-то разобраться, пусть и бушуют вокруг любые социальные бури, и есть счеты

другие, именно с этими бурями. Перефразируя Тютчева, можно бы сказать, что мы оказались «застигнуты ночью России» и должны, значит, по мере сил дать себе отчет в причинах случившегося.

Все это так. Однако замечания о «вздоре» Достоевского едва ли можно отнести к мыслям этого рода. Они — из другой области, другого разряда. В них отражено то, что, к сожалению, тоже является одной из особенностей нашей эпохи, в частности — эмиграции. Кажется, это Боборыкин впервые пустил в оборот словечко «наплевательство»: так вот, в данном случае перед нами «наплевательство», ничто другое, плюс крайняя, слепая самоуверенность. (В каком-то советском романе мне попало еще до войны забавное, образное выражение, сродни «наплевательству»: сгусяводизм!)

Набоков и Яновский, безапелляционно сведшие к «вздору» знаменитую речь одного из величайших русских писателей, одного из умнейших русских людей, — вовсе не одиночки. Нередко приходится теперь подобные заявления читать, еще чаще — слышать. Впечатление создается такое, будто эмиграция стареет, дряхлеет как организм, даже разлагается, и в старческом своем забытье лепечет что-то несуразное, сама того не понимая. Имею я в виду не отдельных ее представителей, которые могут быть и совсем молоды, а именно эмиграцию как нечто целое. Мы, по-видимому, перестаем сознавать, что собой представляем, чем должны дорожить и что можем сберечь. Сознание это нельзя, конечно, отождествлять с полнейшим единообразием мнений и суждений, в частности суждений литературных, нет, если оно к чему-либо и обязывает, то совсем к другому: к отсутствию «легкости в мыслях необыкновенной», в особенности, когда речь идет о нашем прошлом, связанном — надо надеяться, — с нашим будущим.

Пушкинская речь Достоевского — вовсе не какой-либо священный текст, критике не подлежащий. Основные ее положения в самом деле не Бог весть как убедительны, и, вероятно, небывалое волнение, крики, рыдания и даже обмороки, которые она вызвала в зале, следует отнести на счет того, как и кем она была произнесена: надо было видеть Достоевского на эстраде, с его горящими глазами, надо было слышать его глухой, уже

предсмертный голос, по временам вздымавшийся до «пророческих» интонаций. Перечитывая речь теперь, три четверти века спустя, удивляешься общей шаткости ее построения, — и в частности Яновский кое-что верно и остроумно говорит о той «всечеловечности», которую Достоевский Пушкину приписал и в которой усмотрел залог всемирно-объединяющего, всемирно-примирительного признания России. Лично меня всегда особенно удивляла в этой речи одна фраза, — о том, что будто бы «в два века своей политики Россия ничего другого не делала, как только служила Европе, может быть больше, чем самой себе». Надо было бы, пожалуй, спросить Европу, прежде чем такие заявления делать: радовалась ли она русскому «служению», просила ли о нем, оценила ли его? Сюрприз, вероятно, получился бы не малый.

Но сколько бы возражений ни было необходимо Достоевскому представить, счесть его речь «вздором» в целом никак нельзя, не говоря уж о том, что русский писатель мог бы — и должен был бы! — найти другое, более пристойное слово, чтобы выразить свое несогласие с автором «Бесов» и «Карамазовых». Есть в речи отдельные очень глубокие мысли. Да и о Пушкине как подлинно великом явлении Достоевский, в сущности, сказал первым, и после него стало невозможно возвращение к суждениям Белинского, к самому тону этих суждений, где восхищение чудесным даром поэта соседствует со стремлением определить и ограничить размеры его значения (Белинский кончает свою монументальную статью о Пушкине похвалами «изяществу» его созданий и называет его «симпатичным существом»!).

Достоевский напутал, Достоевский увлекся, и в патетических своих догадках, надеждах и предвидениях зашел так далеко, что «холодный рассудок» отказывается за ним следовать, — но Боже мой, насколько были бы мы все беднее, если бы в памяти не жили его огненные призывы, в самой безмерности которых, как и во всем, что теперь беззаботно величается «достоевщиной», было больше боли и страха за Россию, чем «квасного» бахвальства ею, и где так явственно чувствуется ожидание неминуемой смерти на Семеновском плацу, несколько ужасных лет в Сибири, а затем мучительная, истинно-творческая потребность высказать что-то та-

кое, что никогда никем прежде найдено и сказано не было, все то вообще, из чего складывается огромное, чудовищное, единственное понятие — Достоевский!.. А вот теперь оказывается — «вздор». Три-четыре строчки, бывшие заблуждения разъяснены, перейдем с чувством собственного достоинства к очередным литературным делам.

Набоков, впрочем, Достоевским не ограничивается. В том же «Новом журнале», года три назад, промелькнула другая его замечательная фраза, никем не подхваченная, никого, по-видимому, не задевшая, — что тоже свидетельствует о нашем общем одряхлении: одну из трагедий Расина, насколько помню «*Athalie*» — т.е. вместе с «Федрой» вершину расиновского гения, ту трагедию, о которой Вольтер сказал, что это «*le pur chef-d'œuvre de l'esprit humain*» — он, Набоков, назвал «дурацкой», притом, как водится, в виде окончательного приговора, без малейшего объяснения.

Теперь, упрекая, — и справедливо упрекая, — русских читателей в недостатке любопытства, он говорит:

«Пыльные томы написаны о каких-то “лишних людях”, но кто из интеллигентных русских потрудился понять, что такое упоминаемая Печориным “юная Франция”, или почему собственно, так “смутился” издававший виды Чекалинский? Я знаю поклонников Толстого, которые думают, что Анна бросилась под паровоз, а поклонников Пушкина, которые думают, что муж Татьяны был почтенный старец».

Внимание — свойство весьма полезное, очень похвальное. Начитанность, осведомленность в истории литературы — полезны тоже. Конечно, образованный и внимательный поклонник Лермонтова должен бы знать, что «юная Франция», упоминаемая в «Тамани», это — молодые писатели-романтики, группировавшиеся в начале тридцатых годов прошлого века вокруг Теофиля Готье и Жерара де Нерваля. Конечно, внимательный поклонник Толстого знает (здесь я обхожусь без сослагательного наклонения), что Анна бросилась под колеса вагона, а не паровоза... Но если бы даже читатель ошибся, очень ли велика была бы беда? Иные начетчики и педанты могут ответить на вопрос, когда, в каком году, например, Пушкин заменил в таком-то стихот-

ворении запятую точкой с запятой, — и при этом ровно ничего не понимают в сущности его поэзии. Можно поминать, можно по-настоящему *знать* «Анну Каренину» в целом, и все-таки сбиться в пересказе подробностей повествования, ну, если и не насчет вагона или паровоза, так в чем-либо другом! Право, даже как-то неловко разъяснять такие азбучные истины.

Много, много важнее, много нужнее иметь представление о лишних людях, о «каких-то лишних людях», чем знать о прозвище, взятом друзьями Теофиля Готье, или быть в состоянии определить, на основании некоторых пушкинских указаний, — кстати, довольно противоречивых, — сколько приблизительно лет было «толстому генералу», мужу Татьяны. Вполне возможно, что Пушкин сам этого в точности не знал. Но лишние люди — это, видите ли, «вздор»! Онегин, Печорин, Рудин, Лаврецкий, лермонтовская «Дума», герценовские размышления о погибшем поколении, сороковые годы, все царствование Николая I, с длившимися тридцать лет откликами гибели декабристов, целый кусок русской истории, в которой все связано, где ничего не прошло бесследно, да, лишние люди, внуки и правнуки которых встречаются еще у Чехова, — какое нам до них дело! Какие-то бородатые тупицы интересовались ими, сочиняли толстые тома. Нам эта болтовня не нужна.

Что это, все вместе взятое, «пресловутый Достоевский», «дурак-Расин», «какие-то лишние люди», что это — озорство? Да, пожалуй, или скорее — нигилизм, — поскольку юный задор, юное, естественное стремление к баловству и дерзкой шалости здесь полностью отсутствует. Озорничал, скажем, Писарев, но Писареву было в то время двадцать пять лет. А озорство или нигилизм в качестве принципа, в качестве метода, притом в возрасте уже почтенном, — явление скучное и смешное. Если же возбуждает оно досаду, даже беспокойство, то главным образом потому, что это явление и заразительное, в эмиграции распространяющееся, способствующее постепенному превращению сбитых с толку наших соотечественников в каких-то Иванов непомнящих, в русских без России.

Памяти Аминадо

Он был редкостно талантлив, проницателен и находчив.

Если когда-нибудь, — не теперь, конечно, а лет через пятьдесят, а то и через сто, — будет написана история русской эмиграции, то одним из ценнейших источников для главы о ее настроениях, о трагикомических мелочах ее повседневного существования, о ее удачах и невзгодах окажутся стихи и очерки Аминадо. Читали мы их до войны чуть ли не каждый день, в «Последних новостях», и они сразу врезывались в память. Большею частью бывало смешно, порой в шутках сквозило что-то грустное, но всегда изумляла безошибочная меткость слова, верность сатирического прицела, а кроме того, — если это были стихи, — ладность и крепость самих строк. Случалось, Аминадо с усмешкой говорил: «какой я поэт!.. меня ведь за поэта никто и не считает!» Не помню точно, что я в таких случаях отвечал ему: вероятно, отделялся стереотипно-любезными общими словами, ни к чему не обязывающими и мало что значащими.

По существу ответить надо было бы приблизительно следующее: «вы не захотели быть поэтом, вы сами убили в себе поэта, раз навсегда ограничив себя нижними, самыми густыми и плотными, “житейскими” пластами жизни... ваша неумолимая зоркость в отношении людей внушила вам недоверие к их порывам и мечтаниям, вызвала стремление вывести их на чистую воду... да, вы остались чуть-чуть в стороне от поэзии, хотя, согласен, поэзия — понятие неясное, располагающее к притворству и самообману... Но вот что ясно, что несомненно: у вас удивительное стихотворное дарование, и ему многие поэты, более или менее признанные, могли бы позавидовать!»

Стихотворным талантом Аминадо неизменно восхищался Бунин, и в одной из книжек «Современных записок» он свое восхищение выразил, — коротко категорически, не так, как пишутся иные «дружеские» рецензии. Когда-то Аминадо показывал мне письмо Марины Цветаевой, полное восхищения не меньшего. Он, насколько помню, не очень любил поэзию Цветаевой, но письмом этим дорожил, как признанием, шедшим от

человека во всем ему противоположного. Да и как можно было, при сколько-нибудь развитом слухе к стихам, к звуку их, к самой ткани их, не восхищаться отдельными на диво сработанными строками Аминадо, а то и целым его стихотворением?

Однако читателей других, гораздо более многочисленных, он привлек не этим, а преимущественно своим неиссякаемым остроумием.

Ни у кого не было его способности найти в двух-трех словах окончательную формулу для какого-нибудь явления из эмигрантского быта, никто не умел «припечатать» — нет, не заклеить, потому что Аминадо никого не «клеил» и ювеналовских поз не принимал, — что-нибудь смешное и жалкое в нашем быту. Как пословицы некоторые его строки входили в обиходный язык и надолго в нем удерживались. Я не сравниваю Аминадо ни с Грибоедовым, ни с Крыловым, но его словесная находчивость — того же порядка, который отличает их.

Кто жил в Париже в предвоенные десятилетия, кто помнит иные эмигрантские собрания и доморощенные, литературные или политические салоны и вечеринки, и бриджи, и страстные уверения в пол-оборота, с шоферского сидения в такси, что пора мол, господа, собираться, пора доставать чемоданы, ибо «вот-вот большевикам крышка», и рядом, тут же, скрытая, смертельная тоска от сознания, что до «крышки» нам, пожалуй, не дотянуть, кто со всем этим сроднился, знает Аминадо истинную цену... Говорю «в Париже», думая, что в других эмигрантских центрах и самая жизнь, вероятно, сложилась по-другому. Кстати, у покойного Довида Кнута есть большое, замечательное стихотворение о еврейских похоронах в российском захолустье, где-нибудь в Бердичеве или Шклове с замечательной строкой:

Особенный, еврейско-русский воздух...

Вот, о годах, которых я сейчас коснулся, можно было бы сказать — «парижско-русский воздух»! Было много досадного, много суетливого или никчемного, но оглядываясь на прошлое, хочется повторить и следующую строку Кнута об этом «особом» воздухе: «блажен, кто им когда-нибудь дышал!» Правда, прошлое всегда

кажется лучше настоящего, а тут и самое простое объяснение налицо: эти годы и в чисто физиологическом смысле были лучшими для того поколения, к которому Аминадо принадлежал. Поздняя молодость, зрелость — все было прожито в Париже, былой эмигрантской столице, теперь опустевшей и опустившейся. Но как бы то ни было, жаловать нечего: даже если и грызли мы «черствый хлеб изгнания» в чужой, равнодушной стране, в кое-как наладившихся условиях, многое, многое из этого недавнего прошлого надо бы от всей души помянуть добрым словом.

Аминадо и Тэффи: оба они останутся своеобразными «историографами» этого периода, по крайней мере в том его разрезе, который сам Аминадо определил, как «наша маленькая жизнь». Но зарисовки Тэффи ограниченнее, уже: она главным образом облюбовала, в качестве жертв, эмигрантских дам, в характеристике которых была неподражаема. Аминадо, по долгу чуть ли не ежедневного фельетониста, касался самых разнообразных тем, и если бы все его газетные стихи и наброски собрать, получилась бы живейшая, внутренне-связная хроника: 1920—1940. После войны он замолчал и лишь совсем недавно вернулся к газетной деятельности, — в «Русской мысли» и в «Новом русском слове», — вероятно, уже больной. Но удивительный в своей отчетливости и яркости юмористический дар, удивительное мастерство в отечивании стихов-пословиц, стихов-поговорок остались прежними.

В смехе его никогда не пробивалось тех жирных, плотоядных оттенков, которые после Гоголя стали в русской литературе нестерпимы. «Сквозь слезы»? Нет, не совсем. Но это был смех с каким-то дребезжанием внутри, с отголосками того, над чем смеяться ни у кого нет охоты. Помню, меня чрезвычайно обрадовало его отношение к Зощенко, этому, может быть, и не большому, но чудесному писателю, которого когда-нибудь еще оценят как должно. В рассказах Зощенко чудесна именно эта, идущая от Гоголя, естественная смесь веселости с печалью, и постоянный герой его, этот испуганный, растерявшийся среди всяких «планетарных» событий советский человечек — гоголевский образ (отчасти, впрочем, напоминающий и раннего Чарли Чаплина, который Гоголя

едва ли читал, но будто весь из него вышел). Я спросил Аминадо, какого он мнения о Зоценко, чуть-чуть опасаясь ответа отрицательного, а еще больше — пренебрежительного, столь у нас распространенного: но он просиял, расплылся в улыбке и стал говорить о своем советском сопернике с таким восторгом, какого я у него почти никогда не видел.

Придет время, когда и самого Аминадо оценят как должно. Умышленно я не называю сейчас его книг, не разбираю отдельных его произведений. Сразу после смерти как-то неловко это делать, хотя, в сущности, трудно было бы определить, что именно уместно в качестве «надгробного слова»: пожалуй, уместнее всего сознание, что ничего действительно нужного и подходящего сказать нельзя.

Не так давно, встретив одного своего знакомого, человека совсем еще молодого, я сказал ему:

— Что это творится вокруг! Каждый день кто-нибудь умирает.

Он с неподдельным удивлением ответил:

— Разве? А я этого не замечал!

Ему было двадцать или двадцать пять лет, и он этого «не замечал», потому что «замечает» человек главным образом исчезновение своих сверстников или, во всяком случае, людей близкого поколения, с которыми вместе довелось ему быть на исторической или жизненной сцене. Сейчас у тех, кто даже и не вполне уверен, было ли им когда-нибудь двадцать лет, мало-помалу создается впечатление, что с каждым новым днем связана новая утрата. И это действительно так. Что-то обрывается, кончается, и на смену идет другое, очередное «что-то», нам неведомое.

Со смертью Аминадо это чувство еще более обострилось. Никто его не заменит и из его друзей или читателей-современников никто его не забудет.

«Новый журнал». Книги 49 и 50

В двух последних книжках «Нового журнала» очень много интересного и ценного. Настолько много, что если бы остановиться на каждом рассказе или повести,

каждом стихотворении, каждой статье, то или отзыв о журнале непомерно растянулся бы, или пришлось бы сказать всего несколько слов о вещах, над которыми автор думал, может быть, в течение целого года. Замечу мимоходом, что именно это, т.е. пропасть между обычным, пусть нередко и вынужденным критическим верхоглядством и духовной энергией, затраченной автором, — больше всего и смущает в газетных или журнальных рецензиях. Иной автор, случается, всего себя вложил в свое произведение, сомневался, колебался, мучился, изменял, перечеркивал, рассчитывая на внимание, на ответную вдумчивость и усердие: является критик, «пробегаёт» книгу и в полчаса решает, что автору удалось, что не удалось и чего вообще книга стоит. Не помню, кто написал о «Войне и мире», сразу по выходе романа, что в нем «бездарно все, начиная с названия». Это должно бы служить вечным уроком для критиков: не торопитесь с приговорами, не ставьте второпях писателям отметки, как школьникам, подумайте о той отметке, которую со временем поставят вам самим.

Повторяю, в двух книжках «Нового журнала» очень много интересного. Но, не имея возможности сколько-нибудь обстоятельно высказаться обо всем, что в них включено, предпочитаю остановиться только на двух-трех больших вещах, и стихов, например, не касаться вовсе. Есть в журнале стихи превосходные, есть и другие, скорей неуклюжие, сероватые. Но в подтверждение оценки нужен был бы целый ряд «придаточных предложений», — как в таких случаях говорил Гумилев, не допуская отзывать восклицательных, всегда настаивавший на необходимости объяснения и мотивировки в разборе поэзии. Если ограничиться замечанием «хорошо» или «слабо», можно, пожалуй, вызвать у читателя возражение: вам нравится, а мне не нравится, — или наоборот. И ведь читатель будет совершенно прав! Ему нужны не голословные заявления, ему нужно содействие в отношении к читаемому, даже если с критиком он ни в одном слове и не согласится.

«Трудные дороги» Г. Андреева, печатавшиеся в четырех книжках «Нового журнала», наконец закончены. Что в этом длинном повествовании о лагерях, тюрьмах и побегах в советской России фактически точно, какие

подробности придуманы, нам неизвестно. Но общая, основная правдивость рассказа очевидна, она не подлежит сомнению, она чувствуется в каждой строчке, с первой страницы до последней, и думаю, никто не читал, никто не прочтет этих записок без волнения. Андреев не сгущает красок, не увлекается изображением ужасов, он вспоминает о них скорей с недоумением, будто сам себя спрашивая, как эти ужасы могли в России возникнуть, среди русского народа, который пусть и не «богоносец», но все-таки народ не злой, склонный — нам казалось — к состраданию и милосердию. Многие, вероятно, воспримут это недоумение, как свое собственное. В первые годы революции многие разводили руками и в растерянности спрашивали себя: как возможно это в России, в «нашей» России? Неужели мы обольщались, обманывали себя и других? У Андреева в последних главах «Трудных дорог» на эту тему беседуют заключенные, среди которых есть, конечно, и «смертники»: священник, инженер, учитель, молодой московский поэт-мечтатель. Одни бранятся, только и всего, другие философствуют, надеются, ждут лучших дней, если не для себя лично, то для родной страны. Сектант-украинец Твердохлеб негодует на тех, кто «хочет устроить по книжкам жизнь». Он мог бы войти в портретную галерею «Записок из Мертвого дома», для него всякий образованный человек — враг, а что «нема правды на свити», это он знает твердо, знает по личному опыту и с этим горестным сознанием он и умрет. Автор «Трудных дорог» тоже ждет смерти, и случайно увидев из-за решетки тюрьмы вольную жизнь, улицу, прохожих, весь вздрагивает: «Неужели они не понимают, какие они счастливы? Неужели им не хочется прыгать от радости, кричать, смеяться, плакать от этого безмерного, необъятного счастья? «Перед ним, автором, только «безнадежная, слепая и немая обреченность». Но казнь, в неизбежности которой он уверен, заменена ему ссылкой на Соловки. Здесь, в этом финальном эпизоде, Андреева подстерегала большая опасность: соблазн покрасоваться, принять величаво-надменную позу безразличья и презрения к тюремщикам мог бы оказаться сильнее стремления к правдивости, тем более что товарищи автора по заключению обречены, что животная его радость не совсем выгодно оттенена их безысходной то-

ской. Но автор — или герой — «Трудных дорог», совсем еще мальчик, несовершеннолетний, ничего не утаивает: он справиться со своей радостью не в состоянии, он ни о чем другом думать не в силах, кроме того, что «я буду жить!» — какими словами и оканчиваются его записки.

В целом это замечательная вещь, одна из тех, которые должны бы остаться в назидание потомству. Никакие указания на то, что, мол «лес рубят, щепки летят», не могут ослабить сильного и страшного впечатления, которое она производит. Да, пожалуй, ничего особенно нового по фактам в «Трудных дорогах» нет, да, по десяткам и сотням рассказов мы знаем о том, что делалось в России за последние тридцать—сорок лет, и сколько было в делавшемся нелепо и ненужно зверского, рядом с тем, что какими-то ссылками на неизбежность «щепок», худо ли, хорошо ли, можно было бы объяснить. Но свидетельства, восстанавливавших картину испытанного с такой отчетливостью, полнотой и психологической убедительностью, — а кроме того, с такой еще не иссякшей, еще не растраченной доверчивостью к жизни, с широко и дружелюбно раскрытыми на нее молодыми глазами, — их было у нас мало. В многопудовое и многотомное «дело» нашей эпохи, для будущего, — впрочем, более чем проблематического, — суда над ней «Трудные дороги» должны бы быть включены. А если верно, что все во всем виноваты и все за всех отвечают, — как утверждали иные русские мыслители, — т.е. если действительно люди связаны круговой порукой, то и в этом смысле над повестью Андреева нельзя не задуматься.

В «Двух вариантах» Л. Ржевского тоже есть значительный материал для «дела» нашей эпохи, — хотя рассказ этот, с искусной легкостью написанный, все же лишен исключительной документальной ценности «Трудных дорог». Употребляя слово «легкость», я отнюдь не хочу намекнуть на что-либо легковесное в самом замысле Ржевского: нет, рассказ его по существу трагичен, касается он одной из роковых черт советского строя, и только писательская манера Ржевского такова, что мучительность темы причудливо сочетается у него с беллетристической живостью и ясностью изложения, с «занимательностью» его. Рассказ мастерски построен, правда немножко в духе тех литературных опытов, кото-

рые когда-то насаждались в советской России, а теперь подвергнуты гонению, как «штукачество» или «формалистика». С внешней стороны он вообще напоминает кое-что из былой советской словесности, озабоченной поисками формальных новшеств, подлинных или мнимых. Вероятно, в Москве его прочтут — или прочли бы, — как нечто более «свое», чем большинство эмигрантских произведений (даже стилистически более «свое», по самому звуку и строению фразы, по допущению таких, например, словечек, как «муторно» и др.). А о том, какую внутреннюю реакцию он в Москве вызвал бы, приходится только догадываться. В качестве комментария к недавним судорогам, прошедшим в советской литературе, — теперь, после «исчерпывающих указаний тов. Хрущева», возвращающейся к той же тиши и глади, что и при Сталине, — рассказ во всяком случае очень своевременен.

«О, Господи, если б мог я писать так, как мне хочется!» в этих вступительных словах «Двух вариантов» — тема рассказа. С некоторой долей иронии его можно было бы назвать «Муками творчества», подчеркнув, что муки эти в Москве мало похожи на те, о которых говорилось в литературе прежде: Саша Лишин, молодой московский писатель, мучается от того, что должен писать не так, как представляется верным и нужным ему, а так, как требует некто Тесемкин, его «творческий руководитель», «факультетский парторг». Лишин талантлив, у него живое сердце, живой ум, его отталкивают лживые, казенные схемы, которым он волей-неволей должен следовать, и в различных вариантах сочиняемой им повести видно, какое совершено над ним насилие. Неудача любовная сплетается с литературной. Саша гибнет, нелюбимый, непризнанный. Чахотка его, может быть, была и излечима, но писатель в нем несомненно был убит, а не умер естественной смертью.

В Москве, или, точнее, в московской печати, ответят Ржевскому, что его рассказ — клевета, пасквиль, в лучшем случае плод эмигрантского заблуждения и слепоты по отношению к советской действительности. Тов. Хрущев ведь «разъяснил», что партия и народ — одно и то же, что современный русский человек, достойный имени русского и имени человека, не может не ви-

деть, что партия есть воплощение мудрости и правды. Настоящий русский писатель радуется партийному руководству, а не тяготится им, — как же этого не понять! Несомненно, иного гласного, печатного ответа из Москвы ждать нельзя. А что бесчисленные Саши Лишины духовно искалечены, это в Москве знают, наверно, так же твердо, как знаем мы это здесь. Но об этом там молчат.

«Челюсть эмигранта» В. Яновского на днях вышла отдельным изданием. О ней и высказаться, значит, можно будет отдельно.

Из статей надо бы обратить особое внимание на статью Р. Плетнева «Н.Ф. Федоров и Ф.М. Достоевский». Она обстоятельна, содержательна, сопровождается ссылками на источники, а о теме ее неловко даже сказать, что она интересна: это — один из самых загадочных, самых острых, отчасти и «проклятых» вопросов в новой русской литературе. Разумеется, дело главным образом в Федорове, а не в Достоевском, — не потому чтобы Достоевский был менее значителен, нет, конечно, а потому что он, Достоевский, прочитан, перечитан, изучен и по мере сил понят. С Федоровым не то. В эмиграции внимание к нему неуклонно растет, однако при крайней скудости здешних издательских возможностей ни его книг, ни книг о нем у нас нет или почти нет. То, что найти можно у случайных продавцов, ценится на вес золота. В советской же России Федорова полностью игнорируют, и в подтверждение этого я сошлюсь на факт, о котором, помнится, мне уже приходилось писать: в Большой Советской Энциклопедии имени Федорова нет, как нет, впрочем, и имени Конст. Леонтьева! Факт чудовищный, поразительный, если бы только не пришел срок перестать поражаться тому, в какие прокрустовы рамки русская культура в СССР постепенно укладывается. По существу же именно с Федоровым, с замалчиванием его, у советских идеологов произошло недоразумение, — хотя для объяснения этого недоразумения, и для того, чтобы не быть совсем превратно понятым, надо бы иметь возможность высказаться гораздо полнее, чем в газетной статье. Сущность недоразумения, в двух словах, по-моему, в том, что если бы советскую государственную и общественную философию «сублимировать», как

принято теперь выражаться, если ее очеловечить, если бы довести ее до последних, чуть ли не метафизических, выводов, то кое-что общее между нею и Федоровым обнаружить можно. «Природа не храм, а мастерская»: знаменитое базаровское изречение, т.е. мысль о необходимости использовать и подчинить себе все силы природы, близка и ей, и ему. Идея «рая на земле», не на небе, а на земле, — близка тоже. Конечно, Федоров — визионер, мечтатель, но вместе с тем и глубочайший рационалист, собиравшийся воскрешать мертвых именно научным путем.

В Федорове есть и безумие, есть рядом и непоколебимая вера в организующую силу разума и знания. Нет сомнения, что появление спутника, например, чрезвычайно обрадовало бы его, как первый шаг к тому заселению вселенной, о котором он говорил, будто о чем-то возможном: нет, не о солнечной системе, а о вселенной, о миллиардах иных систем, на миллиардных, квадриллионных расстояниях! Правда, теперь, после Эйнштейна, некоторые ученые согласны допустить предположение, что при межзвездных путешествиях относительность времени может превратить миллиард лет в несколько секунд, но как бы ни было фантастично, научно спорно и шатко такое предположение, особенно на практике, а не в теории, Федоров-то во всяком случае об относительности не знал! Непостижимо: подлинная мудрость с одной стороны, совершенное сумасшествие с другой! Кстати, Плетнев ссылается на Бердяева, назвавшего в одной из своих книг Федорова «гениальным и дерзновенным мыслителем». Бердяев, очень интересовавшийся Федоровым, высказывал о нем суждения противоречивые, и если на чем-либо настаивал постоянно, то лишь на моральной гениальности его. В этом он был, конечно, прав! Действительно, это был подвижник и святой, действительно в его идее о воскрешении «отцов», в его убеждении, что смерть царит в мире по недостатку в мире любви — моральное зерно наиболее важно, и если сердце может быть гениально, то у Федорова оно было именно таково. На современников, включая и Льва Толстого, он впечатление святого и произвел.

Плетнев в своей статье дает сводку того, что известно о взаимоотношениях Достоевского, а заодно

и Владимира Соловьева*, с Федоровым. Невозможно выбрать, что именно было бы уместнее процитировать, на что указать: в статье все заслуживает самого пристального внимания.

А другое? Интереснейшие статьи Л. Сабанеева о Стравинском, Ю. Иваска о Баратынском, воспоминания покойного Бориса Романова о Павловой и Нижинском, такие же порывистые, как был их автор, воспоминания Е.Д. Кусковой, многое еще: всего не перечтешь и обо всем, к сожалению, не расскажешь.

Тютчев по-французски

«Переводчик в прозе — раб, в стихах — соперник». Изречение Жуковского еще в первой половине прошлого столетия стало программным и дало обоснование нашей литературной традиции — переводить стихи стихами. Но, вероятно, каждый, кому приходилось думать о стихотворных переводах, а тем более работать над ними, испытывал сомнение: не безнадежно ли «соперничество» и не приводит ли оно в лучшем случае к тому, что возникает новое русское стихотворение, может быть и превосходное, однако лишь напоминающее образец? По существу поэзия непереводаима, т.к. передавая логическое содержание строки, переводчик лишь в редчайших, исключительных случаях может передать и ее звучание, — а ведь если в стихах важен был бы только логический смысл, не стоило бы их и писать.

Тургенев когда-то читал Флоберу пушкинское восьмистишие «Я вас любил, любовь еще, быть может...», тут же переводя его и стараясь убедить, как оно хорошо —

* Совсем недавно, в потоке воспоминаний о «великом Октябре», промелькнула в советской печати любопытная мелочь: когда после революции было решено поставить в главных русских городах памятники выдающимся писателям, Наркомпрос составил перечень их и представил на утверждение Ленина. Из списка этого Ленин выбросил имя Владимира Соловьева, — надо полагать, не без крепкого словца! Удивительно, по-моему, вовсе не то, что Ленин Соловьева вычеркнул, удивительно, что Луначарский мог думать, что он сооружение памятника Соловьеву одобрит. Тут, как ни ищи, точек соприкосновения с коммунистическим идеалом не найти.

на что Флобер только разводил руками: «*mais il est plat, votre poète!*» — и по-своему был прав. В этих строках, по-пушкински сдержанных и чистых, смысл углублен и возвеличен ритмом, интонацией, особенно в конце, где неперебиваемое «как дай вам Бог» в самом замедлении своем явственно вскрывает истинную тему стихотворения, т.е. колебания поэта, сомнение его, действительно ли прошлое стало полностью прошлым, нет ли еще в «любил» и какой-то доли «люблю».

Тургенев, разумеется, переводил прозой. Если бы он попытался перевести стихами, результат был бы, несомненно, еще хуже: получился бы банальнейший мадригал. В прозе, по крайней мере, смысловая оболочка текста не была извращена.

Тютчев по-французски... Я раскрыл небольшую книжку, составленную знаменитым славистом проф. Андре Мазоном и Николаем Оцупом с некоторым страхом: неужели перевод в стихах? Сразу одна за другой в памяти промелькнули отдельные, волшебные тютчевские строки, — неужели можно было, даже при безупречном мастерстве, переложить их в другие стихотворные строки? Нет, слава Богу, перевод сделан прозой! Очарование оригинального текста исчезло, но, по крайней мере, не произошло подмены его текстом будто бы «адекватным».

Заранее можно было быть уверенным, что Тютчев лучше выдержит переводную операцию, чем Пушкин, и даже первоначальный, беглый просмотр книги это подтвердил. Не буду сравнивать одного великого поэта с другим, не буду решать, кто «выше», кто «лучше»: думаю, что досадная, хоть и неискоренимая в людях склонность к таким сравнениям наиболее правильно разрешается в процессе чтения. Когда читаешь Пушкина, неизменно говоришь себе: нет, конечно, он — первый из первых! При чтении Тютчева впечатление такое же: кто же другой писал у нас подобные стихи? А Лермонтов, с его как бы случайными, гениальными проблесками, с такими строками, как «ночь тиха, пустыня внемлет Богу...», строками, о которых Розанов, помнится, удивительно верно и неожиданно сказал, что это будто эпитафия над древним Египтом и его спящей в пустыне, загадочной цивилизацией? А Некрасов, неровный, то падающий, то

взлетающий, но во взлетах неотразимый, «не поэт, а океан»? Нет, воздержимся от сравнений, от сравнительных оценок, — к чему они?

Если от Тютчева в переводе остается больше, чем от Пушкина, то единственно потому, что мысль и чувство у него не окончательно растворены в звуках, не полностью слиты с ними и способны жить самостоятельной жизнью. Конечно, Тютчев, при стихотворной технике еще более изоощренной, чем техника пушкинская, все же менее совершенен, — именно потому, что его поэзию отчетливее и легче можно разложить на составные элементы. А перевод ведь и начинается с разложения. От Пушкина, в особенности от лирики его, в переводе не остается почти ничего, ибо его поэзия живет лишь как явление целостное, органическое, от Тютчева же остаются отдельные мысли, отдельные образы, способные произвести должное впечатление и вне целого, независимо от словесной оболочки. Приблизительно то же можно было бы сказать о Гёте, а в качестве примера поэзии непереводимой назвать Расина.

Проф. Мазон в коротком предисловии к сборнику указал, что выбор стихов он предоставил Оцупу, как «поэту и глубокому знатоку Тютчева». Оцупу принадлежит и содержательное, интересное не только для французского, но и для русского читателя введение, и примечания к тексту.

Несколько слов о выборе стихов. Оцуп разбил сборник на отделы и во введении объяснил, что предпочел сгруппировать стихи по их основным мотивам, — природа, любовь, история и так далее, — а не руководиться хронологией. Ограниченность места заставила его в каждом отделе сделать значительные пропуски, и особенно пострадали при этом политические стихи Тютчева. Оценивает их Оцуп довольно сурово, утверждая даже, что между ними и подлинно тютчевскими созданиями такая же пропасть, как между «Дневником писателя» и художественным творчеством Достоевского. Мнение это распространено и, хотя я лично не могу с ним согласиться, возражать нет оснований. Да и пришлось бы для убедительности возражения сделать цитаты, привести примеры, развить некоторые соображения, т.е. превратить газетную статью в статью специальную и выйти за

приемлемые для нее размеры и даже характер. Но есть пропуск, который меня поразил: в отделе, посвященном природе, отсутствует один из чудеснейших тютчевских шедевров:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный...

Конечно, «о вкусах не спорят: — (хотя Бунин правильно говорил: «только о вкусах и спорят»), — но я слишком хорошо знаю Оцу, знаю его литературное чутье, его острый слух к стихам, чтобы допустить недооценку таких строк. Случайность, рассеянность? По-видимому, то или другое. Кстати, эта «Осень» могла бы дать в примечаниях повод к любопытному и до сих пор никем еще не сделанному указанию.

Тютчев, как известно, был широко образованным человеком и, в частности, усердным читателем французских классиков. Давно уже было отмечено, — и Оцуп об этом напоминает, — что его знаменитое уподобление человека «мыслящему тростнику» заимствовано у Паскаля. Но день «как бы хрустальный», восхищавший Брюсова, считался его личной находкой... Между тем в одном из писем мадам де Севинье есть такие слова: — *«les journées de cristal du début de l'automne»*. Едва ли можно сомневаться, что этот образ Тютчев у нее взял, едва ли можно счесть более правдоподобным простое совпадение, тем более что пример с «тростником» доказывает склонность поэта к таким заимствованиям! Должен, однако, откровенно признаться, что в огромной переписке мадам де Севинье мне не удалось до сих пор, — как я ни старался, — эти «хрустальные дни» отыскать. Их приводит Сент-Бёв в одной из своих «понеделничных бесед» как образец восхитительного стиля маркизы, и у него я их и нашел. Но Сент-Бёву можно верить: он не мог ошибиться, не мог эти слова и выдумать.

Переводы, собранные в книге, принадлежат Шарлю Саломону и сделаны больше полувека тому назад. Проф. Мазон и Оцуп ограничились тем, что внесли в них некоторые поправки. Позволю себе предложить и небольшие дальнейшие изменения: почему, например, «Царь небес-

ный» переведен «le Tsar des cieux»? Слово «tsar» имеет специфически-русский оттенок и оно едва ли в данном случае уместно, пусть речь идет именно о русских «бедных селениях». Не лучше было бы заменить его безличным «goi», как именно и переведен «царь земли» в другом стихотворении? В стихах о «поздних бледных роздыхании», которым «декабрьский воздух разогрет», слово дыхание переведено «le parfum». Не лучше ли было бы «le souffle»? У Тютчева природа живет, розы дышат, а не только пахнут, и если дыхание превращено в аромат, исчезает неподражаемый тютчево-шеллингианский колорит этих строк.

Надеюсь, ни читатели, ни составители сборника не заподозрят меня в стремлении «придираться к мелочам». Нет, книга настолько нужная, полезная и в целом хорошо составленная, что о каких же придирках может быть речь! Но совершенства на свете нет, а в работе над Тютчевым дополнения, изменения и поправки возможны без конца. Разумеется, в прозаическом переводе все то, что составляет магию стиха, должно быть обойдено и опущено, иного и требовать нельзя! Однако в стихотворении «Проезжая через Ковно», где Тютчев поистине магически переставляет слова в двух относящихся к Наполеону строках, — сначала «своими чудными очами», затем «очами чудными своими», — не следовало ли бы сделать перестановку, грамматически вполне допустимую и в переводе? Худо ли, хорошо, кое-что от оригинального текста, слабый отблеск его был бы все-таки сохранен.

Мелочи? Да, конечно, мелочи. Но при невозможности в прозаическом переводе воспроизвести ритм, стилистическая верность тексту приобретает особое значение. Я ограничился двумя-тремя указаниями или предложениями почти что наудачу. Можно было бы сделать их и много больше.

Для французского читателя, в особенности для студентов, изучающих русскую литературу, — а сборник, по-видимому, на них главным образом и рассчитан, — необходимо было указать ударения. При расстановке их допустимы два принципа: ударения общие, как в прозе, причем в таком случае на словах односложных никаких отметок не требуется, или ударения, указывающие, как должны быть произнесены стихи (в сборнике дан и рус-

ский текст). Оцуп, по-видимому, склоняется ко второму принципу, хотя и не без колебаний. Иногда он в односложных словах ударение ставит, и ставит совершенно правильно, — как, например, на слове «нет» в строке «нет, никому еще не удавалось». Иногда поступает иначе, — например, в строке «Так. Но прощаясь с римской славой...», где на «так» никакого значка не ставит, хотя без остановки, без «акцента» на этом «так» строку прочесть нельзя! Или «Бой невозможный, труд напрасный...»: на «бой» значка нет. Колебания, впрочем, вполне понятны.

У Тютчева больше чем у кого-либо другого из наших поэтов школьные схемы — ямб, хорей и другие — обнаруживают свою несостоятельность (или, по крайней мере, свою грубую приблизительность), и насчет того, как следует его стихи читать, порой возможны разногласия. Тютчев склонен к стилю восклицательному гораздо больше, чем сравнительно спокойный Пушкин. Одна из любимых его словесных форм — восклицание «о, как», постоянно у него повторяющееся. Где здесь ударение, на «о» или на «как»? По-моему, скорее на «как», но можно сделать его и на «о», ломая ямб. Или в дактиле: «слезы людские, о, слезы людские» — нужна ли остановка, нужно ли повышение голоса на «о»? Повторяю, колебания естественны, неизбежны, именно потому, что тютчевская стихотворная манера со схемами не считается и в них не укладывается.

Под конец мне трудно удержаться от общего замечания, пусть к французскому переводу оно и не относится. Пожалуй, это не замечание, а тоже восклицание: какие стихи, сколько в этих стихах ума и неистощимо-щедрой сердечной энергии, какой поэт! Недаром Лев Толстой сказал, притом сказал в те годы, когда этого не говорил еще никто: «без Тютчева нельзя жить». Во введении своем Оцуп указывает, что первым о величии Тютчева заговорил Некрасов. Это если и верно, то с оговоркой, — потому что некрасовская оценка была все-таки сдержанна и отводила Тютчеву место среди поэтов «второстепенных». Слово «великий» было, если не ошибаюсь, впервые употреблено Достоевским, в одном из его последних писем: «Покойник Ф.И. Тютчев, наш великий поэт...». Тогда это должно было казаться преувеличением, тем

более что Достоевский вспомнил Тютчева как своего поклонника, ставившего «Преступление и наказание» выше «Отверженных» Виктора Гюго. Но теперь об этом нет и не может быть споров.

Если сборник проф. Мазона и Николая Оцупа поможет французам уловить и почувствовать хотя бы часть того, что в тютчевские стихи вложено, молодые французские читатели должны бы понять, что Россия передала им одно из своих сокровищ.

Скиф в Европе

Повесть Романа Гуля «Скиф в Европе» — очень интересная книга на очень интересную тему. Интерес исторический сплетается в ней с психологическим, сплетается неотделимо, нерасторжимо, по той причине, что люди, о которых Гуль рассказывает, если и не «творили» историю, то все же на ход ее влияли. Подзаголовком к книге даны два имени — Бакунин и Николай Первый. Имена сталкиваются, сшибаются, как было это сто лет тому назад, и любопытство сразу возбуждено.

Повесть свою Роман Гуль написал по образцу тех «художественных биографий», которые стали в наш век распространенным литературным жанром. По-видимому, забота художественная была у него даже на первом плане: действие развивается скачками, исторические эпизоды то освещены исключительно ярко, то, наоборот, оставлены в полутени, кое-где вступает в свои права и воображение, — словом, с историческим материалом у автора обращение своенравное и властное. Да и самый стиль его, нервный, прерывистый, до крайности «импрессионистический», не похож на стиль и язык исторического исследования.

Главы о Николае и Бакунине идут параллельно. Два этих человека в жизни никогда не встречались, и как ни заманчиво было бы для романиста сцену их свидания представить, на такие «эксцессы», превращающие повествование в сказку, мало кто решается (впрочем, недавно я видел в газетах отчеты о книге, где Наполеон, бежав со св. Елены, подготавливает в Париже свою реставрацию). Гуль от основных фактов не отступил, и хорошо сделал,

что не отступил. Царь и бунтарь у него представлены в рамках точных, или, по крайней мере, — правдоподобных.

Николаю I в нашей литературе не повезло. Два гиганта, Лев Толстой и Герцен обрушились на него с такой ненавистью (у Герцена почти что патологической) и притом с такой силой, что образ его врезался в память, как образ всероссийского жандарма, тупого, самоуверенного и безгранично-жестокоего. Вполне ли это верно? Я задаю себе этот вопрос, зная, как в наши дни легко и легкомысленно оправдывается, даже возвеличивается в русском прошлом все реакционное, и не имея ни малейшего желания по этому пути следовать.

Но с Николаем Первым дело не так просто, как иногда кажется, и по всем данным, частично оставшимся недоступными для современников, человек это был незаурядный, а главное — одушевленный истинным стремлением к служению России на царском посту (вопреки тому, что сказал о нем Тютчев). Несомненно, был в нем и солдат, «прапорщик», по Пушкину, и страной он не столько управлял, сколько командовал. Была в нем заносчивость, непомерная гордость, сказывалась и узость общего кругозора, недостаток образования, недостаток «культуры», как выразились бы мы теперь. Но все-таки это был человек, если и не великий, то понимавший, чувствовавший сущность и природу государственного величия, человек, игравший свою роль не как обреченный, а как судьбой к ней предназначенный, — особенно в конце жизни, перед Севастополем и во время него, когда все вокруг разваливалось и он сознавал, что вину за развал не вправе ни на кого сваливать.

Знает ли, помнит ли читатель те удивительные, литературно-великолепные страницы в мемуарах Сен-Симона, где рассказано о смерти Людовика Четырнадцатого? Кое-что общее в этом рассказе с концом Николая I есть: одиночество, печаль, твердость в неудачах. Людовик, «Король-Солнце», тоже не был гением, хотя, вероятно, с помощью льстивого окружения тоже склонен был гением себя считать, но умирал он с величавым достоинством, — а ведь разваливалось в его делах и в его системе все с не меньшей очевидностью, чем в николаевской России, и предлог для малодушия нашелся бы. Сен-Симон его терпеть не мог, но тут уступил, нашел

слова правдивые и беспристрастные. Беспристрастия должен бы дожидаться, наконец, и Николай Первый. Не случайно же он оставил по себе у большинства лично его знавших память как о «настоящем» царе, не случайно произвел на современников такое впечатление! Маклаков рассказывает в своих воспоминаниях, как он был поражен, когда студентом впервые прочел Герцена: вырос он в окружении вовсе не исключительно консервативном, но и в этой среде привык слышать о Николае отзывы, не похожие на суждения герценовские. Маклаков не знал, кому верить, отцу ли, другим знакомым людям прошлого поколения, — или Герцену? Из русских царей еще большее впечатление на современников произвела, пожалуй, только Екатерина, хотя она совсем другими способами этого достигла, да и была совсем другим, бесконечно более гибким человеком*.

* Два слова о Екатерине.

Покойный М.А. Алданов встречался в начале эмиграции с некоторыми членами императорской фамилии и при своем страстном интересе ко всем историческим мелочам, ко всему, что только представители династии и могли слышать от своих отцов и дедов, наводил разговор именно на «фамильные» темы. Стоило, однако, назвать ему имя Екатерины, как на лицах собеседников отражалось смущение, ответы становились сдержанны и уклончивы. Алданов не раз мне об этом рассказывал и добавлял: «У меня сложилось впечатление, что для дома Романовых, вероятно, по очень давней, более чем столетней традиции, воспоминание о Екатерине — нечто вроде воспоминания о семейном скандале, о котором не принято говорить». Если догадка Алданова была правильна, — подчеркиваю, однако, что он высказывал ее именно как догадку, без твердой уверенности, — то потомки «северной Семирамиды» оказались к ней по меньшей мере несправедливы. Разумеется, основания для смущения были, «скандал» был, особенно в последние, зубовские годы Екатерины: об этом сохранилось слишком много свидетельств и воспоминаний, чтобы могло существовать два мнения. Но понятия семьи и династии — понятия разнородные, и какова бы ни была частная жизнь Екатерины, она для блеска, славы и престижа династии сделала больше, чем кто бы то ни было. Недаром Фамусов, рассказывая о своем царедворце-дяде, который провел «век при дворе», чуть ли не с благоговением добавляет: «И при каком дворе! Тогда не то, что ныне! При государыне служил Екатерине». Да и Ключевский в своей знаменитой, и действительно превосходной, юбилейной статье, написанной к столетию со дня смерти Екатерины, в общем довольно сурово оценивая ее государственную деятельность, под конец говорит о ее «всесветной славе», отбросившей лучи и на ее окружение, о том, что Екатерину «любили, как любят артиста, блестяще исполнившего свою роль».

Роман Гуль в обрисовке царя следует Герцену и Льву Толстому. Приводит он даже ту знаменитую, и что говорить, действительно ужасную резолюцию, — «Слава Богу, смертной казни у нас нет, и не мне ее вводить. Провести двенадцать раз сквозь тысячу человек», — которая приведена и в «Хаджи-Мурате».

В «Скифе в Европе» Николай — человек взбалмошный, гневливый, ограниченный, словом самодур и «прапорщик» до мозга костей. Но под конец повествования, там, где факты говорят сами за себя, возникает некоторое психологическое противоречие: в соответствии с тем представлением о царе, которое складывается при чтении первых трех четвертей книги. Николай должен был бы доставленного в Россию Бакунина немедленно повесить. Но царь, — правда, заключив «мерзавца» в крепость, — предложил ему написать свою «исповедь», а прочтя написанное, сказал: «он умный и хороший малый». Об этом рассказано и в «Былом и думах», и у Герцена, так же, как теперь у Гуля, получается тут явная неувязка. Кое в чем, однако, Гуль с Герценом расходится. Никогда специально Бакуниным не занимавшись, я не берусь судить, на чьей стороне историческая правота. По Гулю, разъяренный царь требовал сначала от саксонского, затем от австрийского правительств выдачи государственного преступника. На докладах о Бакунине Николай будто бы кричал: «Достану и за границей!», не допуская и мысли, чтобы кто-нибудь смел его послушаться. А Герцен пишет: «Австрия предложила России выдать Бакунина. Николаю вовсе не нужно было его, но отказаться он не имел сил».

К главному своему герою автор «Скифа в Европе», по-видимому, чувствует симпатию, вглядывается в него со вниманием и дает яркий его портрет: «всемирный смутьян», революционный романтик, мечтатель, трибун, а немножко и болтун. Не он первый испытывает к Бакунину влечение, не он и последний, конечно! Однако если Гуль хотел передать свое чувство и дружим, то напрасно включил в повесть отрывки из «исповеди», документа отвратительного, пусть и вызвавшего у Николая замечание об «умном и хорошем малом». Бакунин по своему признанию, — впрочем, вызывавшему и сомнения, — хитрил и царя перехитрил. Но когда он много позднее, бежав из Сибири, говорил об этом

в Лондоне все с тем же Герценом, то солгал, будто написал нечто вроде газетной «передовой статьи», с рассказом о событиях, в которых участвовал. На самом деле эта «передовая статья» была покаянным воплем, мольбой о прощении, раболепнейшим объяснением в любви и верноподданнических чувствах.

Как известно, бакунинская исповедь была обнародована только в 1919 году, Ленин, унаследовавший от Маркса неприязнь и пренебрежение к Бакунину*, опубликовал ее, вероятно, не без удовольствия. Но на старых революционеров, типа Веры Фигнер, она произвела впечатление угнетающее. Приходится удивляться, что эта «исповедь», вероятно, забытая, так долго пролежала в прежних архивах без того, чтобы кто-нибудь догадался ее напечатать! С охранительно-полицейской точки зрения это ведь был документ полезнейший: «смотрите, вот ваш кумир Бакунин, полюбуйте-ка, что он писал царю и как перед ним пресмыкался!» На иные горячие головы это был бы ледяной душ.

Передавать содержание «Скифа в Европе» незачем: достаточно указать, что действие приурочено к концу сороковых и самому началу пятидесятих годов прошлого столетия, когда чуть ли не вся Европа была охвачена революционным пламенем и, казалось, должна в нем сгореть. Мелькает множество исторических лиц, в том числе Рихард Вагнер, не без изумления слушающий неистовые речи Бакунина о близкой и неминуемой гибели цивилизации, науки, искусства, в котором единственное исключение он согласился бы сделать для бетховенской Девятой симфонии (рафаэлевской Сикстинской Мадонной он, как известно, при наступлении пруссаков на Дрезден предложил рискнуть, как щитом!). Появляется и Полудинская, женщина безнадежно и безотчетно любившая Бакунина.

* Неприязнь и презрение — вполне взаимные — Маркса к Бакунину доходили до того, что в своей «Новой Рейнской газете» он намекнул, будто неукротимый бунтарь ведет игру двойную и доставляет сведения о своих друзьях в Петербург, причем для придачи словам большего веса Маркс сослался на Жорж Занд. Та возмутилась и немедленно опровергла сообщение. (Приведено в обстоятельной французской работе о Бакунине русского автора Б. Гепнера.)

Я уже сказал, что в общих чертах историческая достоверность в повести соблюдена. Но попадаются и странные несообразности: в Париже, например, Бакунин с Герценом иронически беседуют о благословении, присланном папой по «электрическому телеграфу» французской императрице по случаю рождения у нее сына. Ко времени, когда Луи Бонапарт был провозглашен императором, Бакунин давно был в России, а когда родился так называемый «императорский принц», единственный сын Наполеона III, то по повелению Александра II Бакунин был переведен в Шлиссельбург и никаких бесед с Герценом вести не мог. Что это, вольность нарочитая, умышленная, как иногда бывает в «художественных биографиях»? Допускаю это предположение потому, что Гуль эпоху изучил основательно и промах столь очевидный с его стороны маловероятен.

В книге чувствуется скрытый пафос, какой-то личный свободолобивый, взволнованный «message», и посвящение ее «венграм, павшим в 1956 г. в борьбе за свободу Европы» это впечатление усиливает. Может быть, и подчеркнутая суровость в отношении Николая I должна быть объяснена тем, что и он, Николай, венгров «усмирял», и что в сознании автора «Скифа в Европе» далекое прошлое оказалось связано с настоящим. Повидимому, так. Эпиграфом к книге Роман Гуль взял блоковских «Скифов», которые приведены полностью. Надо признать, что в качестве введения в повесть о славянском «мессии» Бакунине это выбор чрезвычайно удачный, хотя положение и изменилось, и у Блока скифство настроено миролюбиво, скорей обороняясь, чем нападая. Но родство есть. Конечно, в те годы, когда Блок писал «Двенадцать» и «Скифов», Бакунин был ему близок, «созвучен», и во многом, что он тогда говорил, как в призыве «слушать музыку революции», был оттенок бакунинский, мятежный, пусть и без бакунинского ликования.

Если не ошибаюсь, это ведь именно Бакунин советовал своим друзьям гегельянцам «искать в революции Бога»: слова совсем блоковские, по духу, по складу. Ответ напрашивается сам собой, и, пожалуй, Блок, в отличие от Бакунина проверявший свои слова жизнью, болезненно отзывавшийся на отрыв слов от дела, пожалуй,

Блок, после своего недолгого и горестного бунтарского опыта, с таким ответом согласился бы: искать Бога можно во всем, значит можно и в революции. Но найти Его в ней нельзя.

Памяти доктора Б.Н. Беляева (Б. Щербинского)

На днях исполнилось два года со смерти доктора Бориса Никандровича Беляева, в литературе — Б. Щербинского.

Как врача его знал весь русский Париж. Знал, что Беляев был учеником и ассистентом знаменитого Сиротинина, знал, что он человек особенный, на других не похожий, чуткий, отзывчивый, какой-то весь трепетный, «врач-художник», без малейшей профессиональной самоуверенности или узости во взглядах. Беляев сам не раз говорил: главное в нашем деле поставить диагноз, с остальным на крайность справится и фельдшер! Это замечание очень для него характерное: поставить диагноз, уловить, догадаться, в чем корень зла, с чего началась болезнь, какой винтик в сложнейшей человеческой машине стал сдавать, и при этом всегда помнить, что на ход машины влияют причины не только физические, но и психологические.

Однако о враче-Беляеве судить по-настоящему могут только специалисты. Дилетантские соображения в этой области ни для кого не убедительны и могут оказаться досужей болтовней, — чему примеры бывали. Но о человеке вправе сказать несколько слов всякий, кто с Беляевым встречался.

Пожалуй, охотнее всего он беседовал о музыке и сам был превосходным пианистом. В частности бетховенские сонаты «сводили его с ума». Но и музыка в расширенном смысле слова, «музыка» в кавычках, музыка в сравнительно новом, ницшевском понимании термина была сферой, куда он с особой силой тянулся, и, в сущности, только тех людей он и ценил, которым это «музыкальное» начало не было чуждо. Сказывалось это и в его литературных суждениях. Все бытовое, плоско-натуралистическое оставляло его совершенно равнодушным, и как бы ни был искусен, красочен и живописен иной ро-

ман, если в романе этом не было скрытого второго «подводного течения», он заинтересоваться им не был в силах. Наоборот, малейший нервный, «нервический» — как выражался Тургенев — перебой, малейшее дребезжание заставляло его насторожиться — и откликнуться. «Тут что-то есть», как будто задумывался он и пытался понять, в чем загадка.

Музыка и литература: по-видимому, Беляев жалел, даже, может быть, страдал от того что главнейшие свои силы отдал науке, — хотя нельзя сказать, чтобы медицины он не любил или не видел в ней ничего увлекательного. Нет, но к музыке и литературе относился он все-таки совсем иначе. Он сам писал, и писал так же нервно, порывисто, как делал все в жизни, с теми же колебаниями, теми же сомнениями, удалось ли ему сказать то, что сказать хотелось бы. Поймут ли читатели его? Была, кажется, и тайная мысль: полюбят ли? В его литературном энтузиазме было что-то донкихотское, — если только лишить это понятие всего насмешливого, что к нему пристало, и оставить лишь черты благородно-бескорыстные, те, которые в Дон Кихоте отметил Достоевский, считавший сервантесовское создание самым высоким и чистым поэтическим образом в истории человечества. Да, в литературе Беляев был немножко Дон Кихотом. В своем писательском увлечении он даже терял природную зоркость по отношению к людям, он забывал, что иной его собеседник ровно ничего не в состоянии понять в его порывах, исканиях, намеках, — и читал, читал, читал свои писания пациентам, которые много охотнее внимали бы разъяснениям насчет того, почему, скажем, у них колет в левом боку. Случалось, замечая нетерпение, Беляев говорил: «да, да, я сейчас выпишу рецепт, совершеннейшие пустяки, не волнуйтесь, натошак по одной столовой ложке, — но вот послушайте...» — и продолжал чтение. Об этом с добродушным юмором рассказывала Тэффи, очень любившая Беляева, очень его ценившая, но, в отличие от других больных, способная оценить и его литературное «горение», а уж ко всему донкихотскому особенно чувствительная. Иногда она с усталой улыбкой прерывала чтеца: «Борис Никандрович, значит, анализ крови делать не стоит?» Другие пациенты мало-помалу переходили к другим врачам, может быть и менее

талантливым, но ни повестей, ни рассказов не сочинявшим и Бетховена не игравшим.

Самый заметный след, оставленный Беляевым-Щербинским в литературе — большой роман «Постскрипtum». На знаю, какова судьба рукописи другого рода, об императрице Александре Федоровне, с которой Беляеву приходилось чуть ли не каждый день встречаться в царскосельском лазарете во время войны, и о ее окружении: опыт медицинского, даже психиатрического подхода к истории на том историческом «отрезке», где только при медицинском истолковании многое и становится понятным. Помнится, любопытнейший очерк этот должен был выйти в английском переводе, но, насколько мне известно, до сих пор не вышел.

В «Постскриптуме» автор — пожалуй, с чрезмерной к себе строгостью — говорит:

«Я никакой не писатель, я только рассказчик некоего “жизненного случая”. Посему и никакая критика в обычном смысле ко мне не применима. Как можно критиковать или придирааться к рассказу о том, что человек видел, знает? Если тебе не интересно, захлопни книгу, скажи: «мне скучно слушать, скучно читать», и вопрос исчерпан. Я на это отвечаю: другой кто-нибудь прочтет, кого заинтересует. Что касается писателей, пользуюсь случаем высказать свое о них суждение. Я их делю на людей, которым есть о чем поговорить (таких большинство), которым есть что интересного рассказать, и, наконец, таких, которым есть что сказать. Этих единицы. Повторяю: я не писатель, но и мне есть что сказать, — только благодаря тому, что передо мною, врачом, люди не скрывали правды, мне же их слова удалось запомнить».

Это была его постоянная мысль: врач знает людей больше, чем кто бы то ни было, так как видит их порой в состоянии, когда им не до притворства или актерства. Его удивляло и даже возмущало замечание Толстого о Чехове, что, не будь Чехов доктором, он писал бы еще лучше. Но у Толстого к медицине, впрочем как и ко всему решительно, было отношение свое, особое. Толстой считал медицину наукой лживой, вредной, и, кстати, мало кто заметил, что отрицание медицины заставило его, кажется, единственный раз в жизни согласиться

с Наполеоном, признать слова Наполеона разумными, проницательными: в «Войне и мире», где с хронологической перестановкой приведена цитата из лас-казовского «Мемориала Св. Елены» насчет необходимости оставить человеческий организм жить и умирать без всякого вмешательства. У Толстого врач — почти всегда тупица, да еще и чуть-чуть пошляк, который входит к больному в комнату с вопросом «как делишки?» — думая, что эти «делишки» пациента должны ободрить. Или истукан, вроде светила-профессора, который на робкий вопрос Ивана Ильича, опасна ли его болезнь, отвечает: «я сказал все, что считал нужным сказать», и полупоклоном дает понять, что прием окончен. По существу, конечно, Беляев был прав: если врач внимателен, если он зорек и не глуп, поле для наблюдений перед ним открыто необозримое. Толстой судил по себе: ему не нужны были никакие консультации, чтобы видеть людей насквозь. Но не все писатели — Толстые.

Автобиографичен ли «Постскриптум»? Сомневаться в этом трудно, и кто знал Беляева, сразу уловит в его Павлике черты знакомые.

В Париже встретились два старых приятеля, не видавшихся много лет. Один — врач, постоянно живущий во Франции, другой — профессор-лингвист, приехавший в командировку из СССР. Сначала в их отношениях что-то не ладится. Профессор шумлив, болтлив, насмешлив и с трудом приноравливается к болезненной сосредоточенности своего друга. Человек он простой, давно отвыкший от лирических бесед на метафизические темы и с неловкостью от них отшучивающийся. «Совсем ребенок», — думает доктор. Однако именно этому профессору оставляет он свой дневник, внезапно исчезнув из Парижа, и тот, кряхтя и охая, принимается его читать:

«— Ах, докторчик, докторчик! Страшно мне за тебя, голубка. Хоть бы кто-нибудь полечил тебя, родной мой!»

Но доктор, судя по дневнику, страдает недугом, который лечению не поддается. Он живет — и не живет. Он — созерцатель, мечтатель, аналитик, он не в силах участвовать в жизни вместе с другими людьми, он чувствует, что жизнь уходит как вода сквозь пальцы, он хочет удержаться, за что-то схватиться, на что-то опе-

реться, — а вокруг пустота. Именно поэтому доктор из «Постскриптума» так любит музыку. В музыке он забывается, в ней находит наркот от всех своих мучений. «Радости мне, конечно не испытать, — говорит он сам себе, не она — мой удел... Но только бы освободиться от того, кто я сейчас!»

Исповедь доктора разделена на главы: «первая тайна», «первое разочарование», «первая ложь», «первое искушение», «первый протест», «первая женщина», «первая дружба». Самые факты, о которых он рассказывает, ничего исключительного собой не представляют. Но крайняя, сверх-мимозная чувствительность автора дневника, крайняя его впечатлительность превращают всякий пустяк в драму.

Едва ли было бы ошибкой сказать, что истинная тема «Постскриптума» — раздробление сознания, расщепление или распыление души, то есть тема, связанная с основными мотивами новой западной литературы. Павлик что-то в себе утратил, и из-за этого вся его личность распадается. Он — не совсем цельный, будто не вполне доделанный Творцом человек, он — туманность, лишенная отчетливых очертаний. Как далекий потомок Гамлета, он в недоумении стоит перед жизнью, и о чем бы ни думал, о чем бы ни вспоминал и ни рассказывал, повторяет все тот же вопрос: «быть или не быть?»

Перечитывая «Постскриптум», книгу неровную, книгу, в которой рядом со страницами на редкость содержательными и даже глубокими попадают, что же скрывать, и декоративно-слащавые банальности, — вроде посмертной прогулки доктора со своим другом в нездешнем, райски-просветленном мире, — перечитывая этот роман, где, несомненно, автору было, действительно было «что сказать», невольно вспоминаешь Беляева, каким он представлялся в повседневной жизни, и думаешь: так вот что таилось за его какой-то неуловимостью, за тем, что при всей своей порывистости он будто ускользал, улетучивался, испарялся именно тогда, когда казался, наконец, близок? Причудливый это был человек, обаятельный и неясный, настойчиво стремившийся к общению, к тесной сердечной связи с людьми и в последнюю минуту наталкивавшийся по пути к ней на непреодолимые препятствия. Беседовать с ним бывало

всегда интересно, хотя бы потому, что был он человеком больших знаний, широкой культуры. Но кое-что в беседе и смущало, — и теперь я понимаю, что именно под-разумевал профессор-лингвист, когда, приступая к чтению дневника, хмурился: «ах, докторчик, докторчик, страшно мне за тебя, голубка!»

Со своей раздвоенностью и уклончивостью, при всей своей «туманности» это был во всяком случае человек, которого нельзя было не заметить в толпе других людей, промелькнувших в жизни. Его легкий и грустный образ удержался в памяти, а, кажется, он больше всего и хотел, чтобы о нем не совсем забыли и на его мучения и стремления не ответили полным безразличием.

«Новый журнал». Книги 51—52

Начну с того же, с чего начал и предыдущую статью о «Новом журнале»: в обеих последних книжках так много материала, и большей частью материала интересного, что приходится сделать выбор, — то есть или сказать по несколько слов о каждом авторе, или остановиться только на некоторых произведениях, обойдя другие молчанием. Второе решение мне представляется предпочтительнее, хотя к нему необходимо бы сделать разъяснение, оговорку: в молчании не содержится и не подразумевается, конечно, никакой оценки. Наоборот, иную статью приходится отложить до проблематического «другого раза» скорее потому, что в ней слишком много содержания, и если бы вступить с автором в спор, или, изложив его соображения, добавить к ним свои собственные, то больше ни на что не осталось бы места. Мне крайне жаль, например, что я принужден обойти молчанием короткие, но интереснейшие «Комментарии» М.М. Карповича, на этот раз полностью посвященные литературе, в частности Достоевскому. Жаль отчасти потому, что возражения и добавления напрашиваются сами собой. Отложим их «до другого раза», с надеждой, что намерение это не окажется пустой фразой.

Сегодня разговор преимущественно о стихах. Поэты недовольны. На них при разборе «Нового журнала»

мало обращают внимания, и должен покаяться, я лично перед ними действительно в долгу. В последних выпусках журнала — целая галерея поэтов, и, бесспорно, внимания они заслуживают.

Первое, основное впечатление от чтения всех помещенных стихов подряд — разнообразие стилей, приемов, настроений, школ, вкусов, всего решительно. Когда-то существовала пресловутая парижская «нота», — «нота» многострадальная, следовало бы сказать, если бы, давно скончавшись, она не была бы теперь мертвенно-равнодушна ко всему тому вздору, который о ней порой еще слышится. В наши дни никаких «нот» больше нет. Каждый пишет по-своему и о своем: разноречивый полный. Радоваться этому или огорчаться? По-моему, скорее радоваться. Во-первых, всякие «ноты», при естественном своем стремлении к единообразию и установлению некоей моды, на деле приводят к притворству и подделкам, во-вторых, жизнь, значит, в эмиграции не оскудевает, а эмигрантская поэзия еще не вышла из состояния того «буйного цветения», которое Константин Леонтьев считал признаком эпох истинно творческих. Я слегка иронизирую, конечно. Особенно буйного «цветения» в нашей поэзии не заметно. Но стихи попадаются прекрасные, и таких стихов немало.

Несмотря на разноречивый некоторым диссонансом звучит стихотворение покойного Б.В. Савинкова. Несправедливо было бы сказать, что оно совсем слабо. Нет, но оно поэтически наивно, оно легковесно в самом словесном составе своем, и если бы не имя автора, человека, который в истории нашей след оставил, помещать его в большом журнале не стоило бы. По совести, место ему скорее в изданиях вроде «Огонька» или «Солнце России».

Если кому-либо из читателей замечание мое о литературном простодушии Савинкова покажется произвольным, пусть вслед за его стихотворением прочтет стихи Д. Кленовского. Думаю, каждому станет ясно, в чем дело, и что я имею в виду. Кленовский — настоящий мастер, требовательный, подчеркнуто консервативный, но умеющий одной чертой, одним намеком вдохнуть в свой консерватизм жизнь, остановиться там, где началась бы мертвечина. Вот, например, его первое

стихотворение о «славном содружестве поэтов благословенной пушкинской поры»: на первый взгляд — типичная стилизация под тридцатые годы прошлого века. Одна, единственная строка — «развлечены, но не потрясены», с этим двойным, непривычным «ны», — заставляет насторожиться и вносит в пушкинообразное, будто бы подражательное стихотворение нечто свое, новое, живительное. Или неожиданное «перешептали» в стихотворении об украинских соловьях, настолько голосистых, что их не перекричать, но которых влюбленным удалось «перешептать»! Каждое стихотворение Кленовского отмечено подобными своеобразными находками. В общем складе его поэзии есть что-то гумилевское: мужественность, стройность композиции, стойкость в раз навсегда принятой литературной позиции. Но гумилевскую манеру Кленовский обточил и развил, от основных ее принципов не отступая.

Олег Ильинский как будто находится еще в стадии поисков самого себя, своей индивидуальности, своего стиля и жанра. Поэт эти поиски оканчивает, и оканчивает успешно, лишь тогда, когда авторство его можно узнать без подписи. Ильинский от этого еще далек, и думаю, если бы такой опыт со стихами его проделать, никто не узнал бы, кому они принадлежат. Стихи Ильинского ничем между собой не связаны и никак одно другому не откликаются. Но в том, что он талантлив, сомнений нет, — талантлив и довольно смел, хотя и не всегда удачлив. Слово «синтез», например, в русской поэзии употреблено, вероятно, впервые. По-моему, слову этому хорошо было бы еще полежать, помедлить в словарях, в ученых трактатах, в статьях, пускать его в поэзию еще рановато, если когда-нибудь и найдется ему в ней место! Ведь даже тютчевский «протест» — «души отчаянный протест» — чуть-чуть режет слух. Самое стремление стереть стилистические отличия поэзии от прозы, конечно, законно, и заложено оно в ходе вещей. Но к словам иностранным и отвлеченным поэзия мало расположена и плохо с ними уживается.

О рифмах: Ильинский рифмует «завладел» и «в воде», «разлив» и «донесли». Такие созвучия появились в нашей поэзии давно, лет сорок тому назад, если не больше. Одно время они казались остроумным, жела-

тельным новаторством, теперь скорей кажутся несколько устарелой, досадной причудой. Замечательно ведь вот что: ни один стихотворец, в литературе не искушенный, ни один стихотворец-дилетант и самоучка никогда «в воде» и «завладел» не срифмует! Зато срифмует он — и поэты неопытные постоянно это делают, — «в воде» и «во мне», «в воде» и «на окне», то есть слова с разными опорными согласными, но без дополнительной согласной в конце. Ухо, очевидно, к таким созвучиям склонно, оно их допускает. Но «в воде» и «завладел» есть насилие над слухом, ничем не оправданная выдумка, и если она и приемлема, то, пожалуй, лишь в стихах, написанных размером вольным, в стихах вольного, размашистого, скажем, «Маяковского», склада, но едва ли в правильных ямбах*.

У Ирины Одоевцевой — редкое в нашей новейшей поэзии совпадение того, *что* сказано, тому, *как* сказано. Ее-то можно безошибочно узнать по трем-четырем строчкам! Что особенно у Одоевцевой своеобразно, это сплетение обманчиво-веселого, даже почти что пляшущего напева, игры словами, красочной пестроты с темной, скрыто-трагической сущностью общей ее темы. Не

* Впрочем, как все шатко и спорно в области созвучий, слуха, гармоний! В одном из предыдущих номеров «Нового журнала», например, В. Набоков-Сирий писал с необычным для себя лиризмом, что строка из «Онегина»

Напев торкватовых октав...

для него «насквозь осветила и окрасила полжизни», что он до сих пор слышит ее «весной во сне». Я был крайне удивлен совпадением в выборе строки, т.к. именно она, эта строка, всегда казалась мне сравнительно мало удачной. Пушкину почти никогда не изменяли ни чувство меры, ни слух, но здесь он оказался к этому близок: инструментовка стиха на «к» и «в» слишком подчеркнута, «ква-ква» похоже на кваканье. Если некоторые строки из «Онегина» могли бы и мне «осветить полжизни», то другие, скорей всего из последних двух глав.

А из уже упомянутых мной «Комментариев» М. Карповича я узнал, что Юрий Олеша о другой пушкинской строке «И пусть у гробового входа...» говорит: «Пять “о” подряд! Вы спускаетесь по ступенькам под своды, в склеп. Да, да, тут под сводами — эхо».

Но ведь здесь — явное недоразумение. В пушкинской строке не пять «о», а всего только два, т.к. остальные три неударяемых «о» при правильном произношении звучат неопределенно и никакого эхо не напоминают. Олеша, если не ошибаюсь, одессит, а очевидно говорит по-русски с вологодско-архангельским оканьем.

случайно одно из ее стихотворений кончается упоминанием о «райском ужасе»; словосочетание крайне для нее характерное. Одоевцева о рае туманно мечтает, а ужас отчетливо перед собой видит, и в стихах с постоянной, все усиливающейся «сумасшедшинкой» от мечты к реальности переходит, перебегает, будто в заколдованном кругу. Ворожба, колдовство в стихах Одоевцевой очевидны. Но эта ворожба вдруг исчезает, растворяется в каком-то легчайшем, жалобном вздохе, будто то, что поэт знает, он бережет про себя, а пугать никого не хочет. Надо бы когда-нибудь о стихах Одоевцевой поговорить обстоятельно, они стоят того. Лев Троцкий проявил несомненное литературное чутье, когда в ранних, еще полудетских балладах ее отметил черты, принадлежащие ей одной, больше никому.

О стихах Игоря Чиннова тоже следовало бы поговорить не в общем обзоре, а отдельно, с тем вниманием, которого они заслуживают. Поэзия Чиннова настолько сдержанна, меланхолична и внутренне стыдлива, что первый шаг к ней должен бы сделать читатель. Но не всякий читатель к этому склонен: большинство предпочитает, чтобы их «брали за жабры» (как выражался Бунин, говоря о Некрасове). Однако широкой популярности Чиннов, кажется, и не ищет. Был в русской истории «тишайший» царь: теперь есть у нас «тишайший» поэт, тишайший и тончайший. Кто к чинновской поэзии первый шаг сделает, многое в ней уловит, если только от природы не глух: поэзия эта вся в обертонах, вся — по верленовскому совету — в оттенках и переливах, хотя при ювелирной своей отделке и не впадает в претенциозную изысканность. Чиннов расщепляет чувство, мысль или образ, обычно считающиеся цельными, а затем снова их собирает, — но лишь предварительно показав их сложнейший состав. Бывают поэты-ораторы, поэты-трибуны и запевалы. Чиннов — крайняя им противоположность: он никого не потрясет, не увлечет на своих «крыльях» под облака (подлинные или бутафорские: случается ведь и это!), но он может заставить задуматься о многом таком, мимо чего ораторы и запевалы рассеянно проходят мимо. Пожалуй, даже больше: может иного оратора при сравнении с собой превратить в болтуна и верхогляда.

Галерея поэтов в «Новом журнале» действительно обширна, приходится отзывы и замечания сократить.

А. Величковский пишет все лучше, все чище и увереннее, без тех странных срывов, которые у него бывали еще недавно. Школа Ходасевича? Да, бесспорно. Поэтический реализм Величковского, реальность, переходящая в сновидение, сон, превращающийся в реальность — от Ходасевича. Но что же, школа это хорошая, а Величковский — один из немногих, кто с пользой для себя в ней побывал!

Стихи Н. Туровой, как всегда, ладно скроены, крепко сшиты, добротны, и, что особенно в них привлекательно, живут органической жизнью, то есть это стихи, которые ничем, кроме стихов, быть не могли бы. Полет или ход в них тяжеловат, но движение свое и без перебоев. О Юрии Трубецком (первое стихотворение которого сразу вызывает в памяти блоковское восьмистишие «Ночь, улица, фонарь, аптека...», — и не могу не воспользоваться случаем сказать: восьмистишие поистине гениальное, одна из драгоценностей русской поэзии), о Екатерине Таубер, о Лидии Алексеевой, о Н. Евсееве, о Георгии Евангулове — в другой раз, и подчеркиваю, повторяю, настаиваю, исключительно потому «в другой раз», что статья и без того разрослась. Новое имя — по крайней мере, для меня — Мих. Дороганов: не уверен, однако, что и в другой раз найдется, что о нем сказать. Но отчаиваться никогда не надо, подождем подписи его под другими произведениями.

Наконец — шесть стихотворений Георгия Иванова, «Дневник». Позволю себе, в отступление от правил и даже, пожалуй, от литературной благопристойности, указать, что в «Новом журнале» помещена моя статья о стихах Георгия Иванова, и к ней отослать тех, кого критическое суждение о них могло бы заинтересовать.

В прозе надо отметить «День гнева» Г. Андреева, короткий рассказ о казаке, перешедшем во время войны к немцам, — рассказ, полный напряжения, недоумения перед случившимся, «тревоги и беспокойства», если воспользоваться словами автора, всего того, что слышалось у Андреева и в «Трудных дорогах». А еще — любопытнейший историко-беллетристический очерк

Н. Ульянова «Педро Иванович», о русском посольстве в Испанию при царе Алексее Михайловиче.

«Ремизов о самом себе» Н. Кодрянской — всего восемь страничек, отрывок из готовящейся к печати книги, — пожалуй, самый верный «ключ» к Ремизову, какой у нас до сих пор был. Не скрою, не стану притворяться: мне лично «ключ» к этому очень сложному, очень противоречивому, замечательному и несносному писателю нужен. Завидую тем, кто им восхищается без оговорок или отбрасывает его без колебаний! У Кодрянской Ремизов человечен, мудр, чуть-чуть жалок, и... второе «чуть-чуть»: у Кодрянской он чуть-чуть похож на Розанова, и даже вспоминает ту же молитву «Не имамы иныя помощи...», которая приведена в незабываемом предисловии к «Людям лунного света». К помещенной в предыдущей книжке журнала «Плачужной канаве» записки Кодрянской — лучший комментарий и дополнение.

Интересны и содержательны статьи — М. Слонима о романе Пастернака — кстати, есть ли надежда, что роман этот мы прочтем по-русски? в переводе, даже самом искусном, от Пастернака должно мало что остаться! — прот. В. Зеньковского о «Мирозерцании Тургенева» (впрочем, до крайности спорная в выводах). В. Седуро о Достоевском и другие. Как обычно, воспоминания Е.Д. Кусковой не только интересны и содержательны, но и с чудесной непосредственностью написаны.

P.S. Статья Ник. Оцуа о сборнике переводов из Тютчева — в ответ на мою статью, появившуюся в «Русской мысли» месяца два-три назад, — меня удивила. Во-первых, если уж отвечать, почему было не ответить сразу, когда и читатели, и даже я сам, твердо помнили, в чем дело? Во-вторых, удивили меня цветы полемического красноречия, статью Оцуа украшающие.

О них говорить не будем. Оцуп «с уважением к противнику», — признать, я не знал, что я его «противник»! — «вынужден указать мне мои ошибки». Внимательно прочитав статью, я, однако, ошибок не обнаружил, а нашел только расхождения в истолковании противоречивых замечаний о Тютчеве Некрасова и Достоевского.

Несколько иначе обстоит дело с вопросом об ударениях. По-моему, Оцуп в тютчевских стихах расставляет их произвольно и с явными колебаниями. Отметив это, я, помнится, добавил, что колебания вполне естественны, — но Оцуп их отрицает. Речь идет о словах односложных, — и Оцуп пишет: «Ставлю я значок на односложных словах лишь там, где и так подразумеваемое ударение надо усилить, так сказать, нажав педаль». Прекрасно, но почему в таком случае в ямбической, — т.е. требующей ударения на втором слоге, — строчке

Так! Но прощаясь с римской славой...

на «так» значка нет? Что же, надо прочесть ее, как ямб правильный, гладкий? «Педали» нажимать не следует?

Или дальше: «О, этот юг, о, эта Ницца...» На «о» значка нет, а ведь это тоже ямб! Не могу допустить, чтобы Оцуп, поэт, читал эту строчку с ударением на «этот», «эта», а не на «о».

И подобных примеров — без счета.

«Спорным» считает Оцуп мое замечание, что в строчках:

Где поздних, бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет

«дыханье» следовало бы перевести словом «souffle», а не «parfum», тем более что это лучше сохранило бы шеллингианский оттенок, у Тютчева если не постоянный, то не редкий. «Шеллинг Шеллингом, — пишет Оцуп, — а переводы-то все-таки сделаны на французский, а не на немецкий язык!» Совершенно верно. Но насколько мне известно, слово «souffle» по-французски и значит дыхание, а «parfum» значит аромат, запах.

Все это, — да и кое-что другое, разумеется, — мелочи, и, не увлекаясь полемикой, я хотел бы повторить, что в общем сборник составлен Оцупом отлично. А вот с его утверждением о великой пользе «столкновения мнений» согласиться не могу. По французской поговорке, «из столкновения мнений возникает — jaillit — истина». Нет, в девяти случаях из десяти не jaillit ровно ничего, в особенности при спорах газетных и журнальных, — от-

части потому, что каждый из спорящих думает не столько об истине, сколько о том, как бы изловчиться и положить «противника» на обе лопатки.

«Марьянка»

Рассказы Леонида Зурова

Среди писателей, сложившихся в эмиграции, нет ни одного, который постояннее и сильнее помнил бы о России, чем Леонид Зуров. «Память сердца», можно было бы определить его отношение к России словами поэта, т.е. память самая верная. Вне России, вне русских тем, русской природы, русских исторических несчастий и передраг творчество Зурова нельзя себе представить. Иным воздухом он, как художник, не мог бы, кажется, и дышать.

Зуров пишет уже давно, лет тридцать или немногим меньше. Его знают и ценят. Но, очевидно, не только книги «имеют свою судьбу», — по Горацию, меланхолически процитированному Пушкиным в связи с тем, что «Полтава» «не имела успеха», — а и писатели. Первая повесть Зурова «Кадет» обратила на него общее внимание, — отчасти благодаря Бунину, судье строгому, сразу признавшему в юном авторе выдающееся дарование. Зуров, как говорится, вошел в литературу. Однако малопомалу вокруг него образовался некий холодок, и так как слишком долго было бы объяснять и анализировать, чем холодок этот мог быть вызван, ограничусь лишь «констатированием» факта, досадного и несправедливого, и перейду к только что вышедшему сборнику зуровских рассказов «Марьянка».

Это — книга, которая должна бы вызвать длительный отклик, должна бы возбудить — особенно в эмиграции — внимание и даже волнение. Глубокая, неподдельная ее «русскость», ничего не имеющая общего с дешевым историческим маскарадом или слезливой слащавостью, очевидна с первых же страниц: Что скрывать, мы начинаем здесь забывать Россию. Обосновавшись более или менее прочно на Западе, мы обогатились здесь иными впечатлениями и свыклись с иным бытом. Я вовсе не какую-либо «денационализацию» имею в виду: «дена-

ционализация», если заметна, то преимущественно среди молодежи, притом зеленой. Нет, в разговорах Россия упоминается постоянно, и даже надежды на возвращение в родные места, при изменившихся порядках, едва ли ослабели. Но то, что можно бы назвать «чувством России» и что трудно без усилия в течение долгих лет хранить, — т.е. не только верность особому духу и строю русской культуры, не только нечто бесплотное, отвлеченное, а и чувство русской жизни и природы, русских красок, оттенков, бытовых черт, шорохов, звуков, того, что, по Тютчеву, «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный», наконец, «несравненного благоухания России», как, если не ошибаюсь, сказано где-то у Бориса Зайцева, — это улетучивается, исчезает или искажается.

Книга Зурова восстанавливает и напоминает далекие, начавшие тускнеть и бледнеть картины. То волнение, которое, вероятно, испытает каждый русский ее читатель, возникает благодаря самым темам книги и правдивому авторскому подходу к ним. Рассказы в большинстве случаев совсем короткие, порой даже без всякого внешнего действия. Но это обрывки и осколки огромного исторического действия, всколыхнувшего Россию в наш век, и писатель с чудесной непосредственностью дает эту связь почувствовать.

Природа и история. Обыкновенно они, в качестве творческих мотивов, друг друга исключают. Для Зурова ни глубокая, седая русская старина, ни революция неотделимы от пейзажа, нерасторжимы с ним, — и характерно, между прочим, что он гораздо чаще, и с более заразительным увлечением рисует пейзаж зимний, чем лето или весну. Критик-фрейдист из этого наблюдения сделал бы, пожалуй, выводы неожиданные, касающиеся авторского сознания, его «зимнего» отношения к бытию (у Герцена, самого парадоксального и одного из самых удивительных по словесной находчивости русских стилистов, есть фраза о «зимних глазах» Николая Первого). Предпочитаю предположение более простое: зима, в русском ее великолепном и величественном обличье, — то, чего нет на Западе, кроме, может быть, стран скандинавских, и писатель-эмигрант, безотчетно для самого себя, с особой настойчивостью вспоминает то, чего здесь ему недостает. Думаю, что это именно так. А умение Зурова

найти для *русской* зимы образы и эпитеты, в которых с почти физической реальностью запечатлена январская стужа или синеватый блеск крепкого, улежавшегося снега, принадлежит, конечно, к личным свойствам и достоинствам его дарования.

Остановимся для примера на рассказе «Дозор», рассказе сравнительно длинном: не потому чтобы он был решительно лучше других, а потому что в нем история с природой сплелись особенно тесно. Излагать его фабулу «своими словами» было бы делом пустым и никчемным: этот прием или, вернее, эта операция, к сожалению, прочно утвердившаяся в критически-рецензентском обиходе, не дает ровно ничего. Толстой по этому поводу хорошо сказал: «Если смысл художественного произведения можно передать иными словами, незачем было писать художественное произведение». Постараюсь лишь дать понятие о содержании и общем характере рассказа.

Назимов, молодой офицер, возвращается с развалившегося фронта в родное имение. Знакомых мест он не узнает: все, что казалось близким, приветливым, дорогим, все стало чуждым и враждебным. Крестьяне грабят соседние усадьбы. Один мужик, впрочем, вызволил Назимова из беды, когда по дороге того арестовали. Нужен был поручитель, кто-нибудь, кто заявил бы, что знает Назимова, а собравшийся в школе народ молчал.

«Я за него поручаюсь», — неожиданно сказал маленький мужик в лаптях, которого Назимов никогда в жизни не видел.

Ему тогда выписали пропуск и отпустили. Он ушел, был в сенях, когда его сзади кто-то окликнул:

— Постой-ка, постой!

Он оглянулся, не зная, что думать, но его нагнал тот же мужик, в лаптях, оборах, рваном, плохо чиненном полушубке, криво надетой шапке, радостно всклокоченный, но не пьяный, а счастливый — как теперь понял он — тем, что они сами самостоятельно решали и заседали. Догнав, он протянул ему руку, а потом, улыбнувшись, сказал ему на прощание, при всей своей бедности и худобе:

— Ну, вали, вали, с Господом Богом!

Однако спустя несколько дней тот же мужик в компании с другими явился к Назимовым грабить их. Надо

уезжать. Надо уговорить отца и мать все бросить, спасая самую жизнь. Назимов недоумевает: «За что, за какие грехи? Какое страшное за нами наследство?.. Тяжело и мучительно жить, трудно верить, что нет больше пощады. Ему казалось, что за эти годы он потерял все, и любовь, и радость, изгнанный из детского рая... А что там, на широких, ведущих к Петербургу дорогах? Там скрипят, как в снежных, прокаленных морозом степях, отступая, обозы, голоса солдат, что возвращаются с фронта, будят баб по ночам, кто-то, дойдя до дома в солдатской шинели, стучит в окошко избы, и босая мать испуганно спускает ноги с постели. Там на востоке Бог знает что происходит в эту морозную ночь. Глухо и враждебно живет земля, наполненная страхом и смертью... Там — посты по реке, чужой народ, пришедший издалека, солдаты в белых до пят бараньих шубах с поднятыми воротниками, смотрят в эту сторону, мерзнут, слушая русскую ночь».

Надо уехать, бежать ночью, втайне от всех. «Мать ждала его у завязанных узлов, закутанная по-дорожному в платок и шубу.

— Тихо ли? — спросила она.

— Славу Богу, все тихо.

Он хотел снимать иконы. Мать сказала:

— Погоди, Саша, надо в доме последний раз помолиться.

Он посмотрел на отца. Большой и послушный, одетый матерью, запоясанный, отец был в красном мужицком тулупе. Около узлов лежали ружья.

Мать долго крестилась, а когда кончила молиться и повернулась к мужу, лицо ее было мокро от слез.

— Душа, а душа, — сказала она, — что же это?

И они, схватившись в охапку, как дети, заплакали».

Что же это? За что? — безответные эти вопросы возникают и в сознании автора, а не только в сознании его героев. Ничего гневно-мстительного, звучащего, скажем, у Шмелева, в писаниях Зурова нет. Он, вероятно, скорей сказал бы, что все виноваты во всем, что ничего исторически-беспричинного и ничем не объяснимого в случившемся не было. Но отдельные люди, каждый из которых несет лишь ничтожную, стомиллионную долю общей ответственности, отдельные люди страдают все-таки безвинно, и никакими ссылками на летящие при рубке леса

«щепки» оправдать этого нельзя. За что? Вопрос остается, вопрос повисает в воздухе вечным укором судьбе, и не чувствуют, не понимают этого лишь те, кто заменил живое представление о существовании статистическими его схемами. Впрочем, это вопрос древний, как мир, поистине «проклятый» и неразрешимый. Скажу, кстати, что один из самых зияющих, самых роковых пробелов советской литературы именно в том, что она, вся на крови выросшая, этого вопроса или не видит, или невозможно его обходит.

В книге Зурова далеко не все рассказы так трагичны, как «Дозор». В ней много лиризма, есть в ней и юмор, есть, наконец, то, что трудно было бы одним словом определить, но что заставляет иногда отложить книгу, задуматься, пожалуй замечтаться, унести мыслью далеко-далеко, особенно сидя в парижской квартире, с уличным грохотом и автомобильными гудками внизу, — «Гуси-лебеди», например. Как все в этом коротеньком очерке хорошо, какая в нем свежесть и прелесть! Случайно ли то, что он помещен в сборнике последним? Автор как будто хотел внушить, что бытие и время в своей «всепоглощающей и миротворной бездне» растворяют все, что могло смущать и мучить, и с неустанным постоянством восстанавливают мир в его первоизданной чистоте. «Так было, так будет». Россия была и будет. Кто хотел бы это чувство, эту уверенность в памяти освежить, должен книгу Зурова прочесть.

«Встреча»

Стихи Софии Прегель

Сборник стихов Софии Прегель «Встреча» принадлежит к числу книг внутренне цельных: в ней без всякой назойливости или слезливого самолюбования запечатлена какая-то драма. Книга эта — рассказ о себе, но рассказ сдержанный, позволяющий лишь догадываться по мелькающим в нем образам и картинам внешнего мира о том, что в сознании автора произошло. Я умышленно упоминаю о драме «какой-то», и не собираюсь, конечно, ее объяснять и более или менее произвольно истолковывать. Едва ли это и было бы возможно.

Общее впечатление от сборника: остановка, ликвидация былых обольщений, финальная «муť и пустота», как сказано в первом стихотворении сборника, «одиночество и так далее», как сказано в самом конце его. Была жизнь, и по мере того как шли годы, рассеивались иллюзии, и в итоге оказалось, что жизнь — «не то». Разумеется, можно бы возразить, что это — тема вечная, объединяющая бесчисленных поэтов, в частности почти всех романтиков, и талант каждого из них обнаруживается лишь в способности найти на вечную, тысячу раз использованную тему свои, не похожие на других вариации. Софии Прегель это бесспорно удалось. В ее книге, помимо своего голоса, есть неподдельная вескость, мужество, печаль. Поэт, может быть, и сдается судьбе, но сдается не дешево и во всяком случае отказывается от утешений и тепло-вато-тошнотворных соболезнований. Скорей наоборот, поэт по-блоковски говорит: «товарищ, дай мне руку... как страшно все!» — дай руку, чтобы не только мне, а и тебе самому было легче смотреть правде в глаза.

Прежние, более ранние стихи Прегель были несколько другого тона. В них чувствовалось инстинктивное восхищение миром и жизнью, неукротимая радость, возникавшая от участия в том, что жизнь дает. Пожалуй, и теперь кое-что от этих «мироутверждающих» настроений уцелело, однако личный, практический их оттенок сделался отвлеченным и теоретическим. Иначе говоря, Прегель и теперь склонна допустить, что мир прекрасен, хотя бы личный ее опыт оказался другим: личная, единичная неудача не колеблет для нее общего представления о мире, в котором «все добро зело» и где человек, если и вправе кого-либо обвинять, то лишь самого себя. Когда-то Мережковский насмешливо заметил, что у нас — было это в годы чулковского «мистического анархизма» и прочих досужих измышлений — «каждая блоха, у которой нога подвернется, не приемлет мира». Прегель — на противоположном полюсе: что бы ни случилось, куда бы судьба ни завела, спасибо за то, что счастье в жизни возможно и что если не тебе, то другому оно бывает дано. Спасибо за то, что мир существует.

Сводя к нескольким основным положениям содержание «Встречи», я по мере сил отвечаю на вопрос,

излюбленный критиками прошлого века, но ничуть не потерявший значения и в наши дни: что писатель хотел сказать? Настоящий писатель всегда говорит что-то общее, т.е. передает некий «мессаж», порой безотчетно для самого себя. Сочинять стихи можно и без «мессажа», но поэтом без него быть нельзя, и если это — не единственный признак поэзии, то все же едва ли не самый существенный.

Прегель пишет широким, свободным стилем и ведет свою стихотворную родословную от поэтов антиювелирного, антикамерного склада, в русской литературе ярче всех представленного Некрасовым. Родства внутреннего нет, подражания не заметно никакого, но в расчете на дыхание и напев преимущественно перед игольчатой остротой и точностью слова связь обнаруживается. Кстати, с большим удовольствием прочел я не так давно в нью-йоркском «Новом русском слове» — не помню, за чьей подписью, — что пора бы о Некрасове прекратить споры, и кажется даже, что споры эти «позорны». Позорны они или нет, пора бы, в самом деле, наконец, согласиться, что Некрасов — один из трех-четырех величайших русских поэтов, неровный, но в лучшие свои моменты трагически-неотразимый и мощный. И притом поэт глубочайше-религиозный, вопреки наносному, поверхностному шестидесятичеству — если только признать, что самый верный путь к религии и вере лежит через страдание, слух к нему, понимание его.

На днях, в статье о Маклакове и Толстом, мне пришлось сослаться на поистине смехотворное предсказание Влад. Соловьева насчет того, что «Баллада о камергере Деларю» переживет «Войну и мир». К числу соловьевских промахов не менее безапелляционных и удивительных надо отнести и его рифмованное обличение Некрасова, будто бы заменившего «святыню муз шумящим балаганом» и славу свою основавшего на «расчетливом обмане». Если к тому же вспомнить стихи самого Соловьева, пусть и более возвышенные по дословному содержанию, но все-таки только «стишки» рядом с некрасовским океаном, досада становится особенно нестерпима. Насколько проницательнее оказался Достоевский, отнюдь не единомышленник Некрасова,

сказавший о нем сразу после его смерти столько справедливого, глубокого, нужного и верного!

Но об этом — мимоходом: к слову пришлось. Поэты такого склада, как Прегель, в наше время редки, по крайней мере, в эмиграции. Ей как будто тесно и душно в эмигрантском житье-бытье, ей, как бодлеровскому альбатросу, были бы ближе просторы, бури, поднебесье. Своеобразие книги отчасти и заключается в противоречии между тем, что поэт видит или находит в действительности, и тем, к чему по природе ему свойственно стремиться, что он найти хотел бы. Драма, пожалуй, именно в этом. Поэзия Софии Прегель задумана, зачата в прообразе своем иначе, чем оказалась в реальности выполнена, и мы смутно чувствуем тяжесть падения, паралич крыльев, которые все же были именно крыльями и созданы были для полета.

Непосредственные темы «Встречи» — раздумие над ушедшими годами, иногда Россия, очень часто одиночество. Довольно скупая на признания, Прегель, однако, не скрывает, что «разбилась о равнодушие, одиночество, тишину». Но было бы ошибкой счесть, что сборник, при своей цельности, лишен внутреннего движения с неожиданными переборами, отступлениями, открытиями: будь это так, он был бы значительно беднее, чем есть. Вот, например, одно из тех стихотворений, которые похожи на минуту отдыха, передышки или забвения в трудном и горестном пути. Оно — без названия, но кто из русских парижан не узнает в нем сразу Сент-Женевьев-де-Буа?

Купол церковки синий.
Кладбище на чужбине
В мокрых листьях берез.
Строго и домовито:
Елки чисто повиты
Мелким бисером слез.

На откосе пустынно
Догорает рябина.
День и робок, и прост.
Эти кусты косые,
Это ли не России
Задремавшей погост?

А для того, кто верил,
Жизни иной преддверье,
Встречи миг роковой.
Для неверивших это
Сон в земле несогретой,
Скудный сон без просвета
В тесноте гробовой.

Иногда возникают — тоже как перебои — престелстные, неожиданные, сразу запомнившиеся образы. Например:

И сердце изнемогало,
Счастливых мук не тая,
Пугалось и замирало,
И звезда влюбленных мигала:
«Ты мой, я твой, ты моя».

Последняя строчка действительно «мигает», в самом ритме своем.

Процитировать следовало бы и многое другое. Однако, если главная цель того, кто о сборнике стихов пишет — внушить желание его прочесть, то надо с этой задачей справиться самому, не перекладывая ее на плечи автора. Не знаю, удалась ли она мне. Как водится, одни скажут — да, другие, пожав плечами, возразят — нет, по причинам и побуждениям, которых порой нельзя и предвидеть. Но повторю в заключение, что «Встреча» заслуживает пристального и долгого внимания, а тем, кто хотел бы ее только перелистать, не стоит книги этой и касаться: отдельные стихотворения доставят им, вероятно, мимолетное удовольствие, но истинной человечности поэзии Софии Прегель и непрерывно светящегося в ней огня они не заметят.

Заметки о Тургеневе

Первая мысль, первый, сам собой возникающий вопрос над еще чистым листом бумаги: каково место Тургенева в русской литературе? что осталось? что уцелеет и в будущем? обеспечено ли бессмертие, хотя бы условное, т.е. на несколько веков?

Имя Тургенева — не из тех основных, бесспорных, насчет которых, при любых внутренних счетах с ними, сомнений нет. Тургенев — во втором ряду русской литературы, пусть и на одном из почетнейших в этом ряду мест. Когда-то в него влюблена была чуть ли не вся Россия. По свидетельству современника «Дворянское гнездо» читалось «в пароксизмах наслаждения». Но прошли года, десятилетия, изменились требования, вкусы, оценки, и Тургенев слегка поблек, вернее, оказался заслонен Толстым и Достоевским, а отчасти и Чеховым.

Как это на первый взгляд ни странно, его повести и рассказы «поблекли» меньше его романов, которым он, вероятно, придавал больше значения. Не только такие вещи, как «Вешние воды» или «Первая любовь», но и «Записки охотника», со вступительным «Хором и Калинычем», чудесным рассказом, которым по традиции напрасно докучают всем русским школьникам: оценить его они не могут. В романах, в каждом тургеневском романе есть тоже множество прекрасных страниц, в них виден редкий ум, блестящее изобразительное мастерство, но утомляет и расхолаживает в них стремление уловить некое «последнее слово», намерение показать «новых людей»: от сороковых годов, отраженных в «Рудине», до народничества семидесятых, запечатленных в «Нови».

Новое, подчеркнуто-новое быстро ветшает, и надо сказать правду, эта сторона тургеневских романов имеет сейчас значение преимущественно историческое и, давая ценнейший материал для изучения развития русской интеллигенции в прошлом веке, живого интереса вызвать уже не может. «Что за роскошь!» — сказал Чехов об «Отцах и детях», лучше, мне кажется, романе Тургенева, — и действительно роскошь! Смерть Базарова, отдельные великолепные мелочи, самая фигура Базарова, гораздо более глубокая и оригинальная психологически, чем идейно, наконец остроумнейший, Гоголя достойный, эпизод с «передовой» дурой Кукшиной (хотя бы, например, ее ответ: «Помилуйте, там Бунзен!» на вопрос Базарова, зачем, собственно говоря, она едет в Гейдельберг. Или «в наши дни как же можно без эмбриологии!») — роскошь, роскошь! Но бесконечные пререкания Павла Петровича Кирсанова с мо-

лодыми нигилистами отдают плесенью. Возражения по адресу обоих лагерей давно найдены, — злободневность этих споров, впрочем, как и всякая злободневность, давно выветрилась.

Мне бы не хотелось, особенно в юбилейные дни, говорить что-либо хоть в малейшей степени обидное для памяти большого и благороднейшего писателя, но, несомненно, были у Тургенева черты боборыкинские: во что бы то ни стало уловить последние, наиновейшие веяния! По-видимому, он считал это своей творческой задачей, своим назначением, и при всем уме своем не понял того, что как будто от рождения знал Толстой: того, что «новых» людей нет, не было и не будет, что изменяется в людях только оболочка — или, иначе, та пища, которую эпоха предлагает сознанию, — а не самая их сущность. Как известно, Толстой заснул над «Отцами и детьми», к великой, молчаливо затаенной обиде Тургенева, давшего ему роман в рукописи.

Утверждать рискованно, но крайне вероятно, что сонливость одолела его именно на словопрениях Базарова с Кирсановым, помещенных в начальных главах романа.

* * *

Говоря о писателе, невольно принимаешься сравнивать его с другими.

С Толстым сравнивать Тургенева не к чему, и сам Тургенев, конечно, с этим согласился бы, особенно в последние свои дни, когда дрожащей рукой он умолял «великого писателя русской земли» не оставлять литературы, — кстати, «русской земли», а вовсе не «земли русской», как большей частью ошибочно цитируется, с придачей тургеневской фразе велеречиво-напыщенного склада. Для сравнения с Достоевским мало данных и оснований.

Но есть в русской литературе романист тургеневского ранга, жестоко и болезненно Тургенева ненавидевший, назвать которого уместно — Гончаров. Ему у нас не повезло. Его мало читают, плохо помнят, и даже Чехов, обычно мягкий в суждениях, отозвался о нем пренебрежительно. Гончарова уважают, но не любят, слава его стала, в сущности, музейной, а писатель это замечатель-

ный, хотя и лишенный того дара, который несколько туманно можно назвать поэзией. Гончаров — ничуть не поэт. Тургенев — поэт, и благодаря этому навсегда затмил, оттеснил Гончарова.

Однако рука у Гончарова, пожалуй, тверже тургеневской, рисунок увереннее, только без того «чего-то» неуловимо-волшебного, что Тургенев умеет в свои писания ввести. Как все-таки жаль, что «Обломов» или даже «Обыкновенная история» у нас на деле, а не на словах, почти забыты! Кто захотел бы их перечесть, должен был бы оценить мастерство и стройность повествования. Очароваться нечем, — как до сих пор очаровывают некоторые главы «Дыма» или «Накануне», например, удивительная по грусти и прелести, по какому-то музыкальному дребезжанию сцена в Венеции, где Елена с умирающим Инсаровым слушают новую оперу, «Травиату», — да, очароваться нечем, но есть над чем подумать и каждому писателю нашлось бы чему поучиться.

Толстой, в разные годы относившийся к Гончарову по-разному, писал ему уже в восьмидесятых годах, что «многому научился» у него. Меня всегда это интересовало: чему Толстой мог у Гончарова выучиться? К пустым, лживым любезностям он ведь склонен не был. Вот одна из возможных догадок: в «Обломове», с переездом героя на Выборгскую сторону для окончательной спячки, появляется женщина по имени, — если не изменяет мне память! — Агафья Михайловна, хозяйка квартиры и будущая жена Ильи Ильича. Рассказывая о ней, Гончаров постоянно упоминает о ее локтях. Локти, как-то особенно на кухне мелькающие, особенно Обломову полюбившиеся, — отличительный признак доброй и хлопотливой Агафьи Михайловны... И не эти ли локти внушили Толстому его знаменитый изобразительный прием: посредством одной, характерной мелочи давать целый портрет, вносить в него убедительность и точность? Лучистые глаза княжны Марьи, короткая верхняя губа маленькой княгини, точеная полнота Анны, все эти настойчивые толстовские повторения не от локтей ли Агафьи Михайловны? «Обломов» появился ведь за несколько лет до начала работы над «Войной и миром», а в «Казаках» этого приема еще нет.

Тургеневские образы расплывчатее гончаровских. Но Тургенев лучше Гончарова понял, острее почувствовал сложность человеческой души, и даже своим «типам», показательным для той или иной эпохи, придал черты противоречивые. Рудин, например: в течение долгих лет критика упрекала Тургенева в том, что в изображении этого незадачливо-талантливый болтуна он сам с собой расходится и то смеется над ним, то — устами Лежева — его возвеличивает. Андре Моруа, кажется, первый сказал, и совершенно правильно сказал, что Тургенев смотрит на Рудина с разных сторон, под разными углами, и поэтому видит в нем то, что в установленную схему не уложилось бы. Рудин — «тип», но и живой человек: не он в словах своих и поступках подчиняется автору, а автор идет за ним, не зная заранее, куда.

* * *

Если бы мне удалось когда-нибудь написать о Тургеневе книгу, или хотя бы большую статью, — одно из тех мечтаний, которое, вероятно, мечтанием и останется! — я бы попытался отчетливо и ясно изложить то, о чем сейчас, в нескольких строках, могу сказать только словами самыми общими. Но согласится ли со мной кто-нибудь или нет, по-моему, именно в этом — ключ к Тургеневу.

Он был человеком, который как будто по ошибке судьбы родился в девятнадцатом веке. Век этот был ему душевно чужд, но по уступчивости своей он ему подчинился и идейное его содержание принял, как мудрость бесспорную и окончательную. У него не было сил богорборчески восстать на эпоху, как сделал это Достоевский. Рассеянно, скептически, сомневаясь, мерцая, колеблясь, он брел за своим веком и в главных своих творениях послушно служил ему в его русском преломлении, — от «Рудина» до «Нови». Едва ли это случай единственный в нашей литературе, и в пояснение своей мысли я сошлюсь на Некрасова, которого совсем недавно — в статье о стихах С. Прегель — мимоходом назвал поэтом «глубоко религиозным». В ответ немедленно получил письмо от читателя мне незнакомого: как, что такое, что за вздор. Некрасов, позитивист, рационалист, революционер, чуть ли не большевик, и вдруг, видите ли,

ни с того, ни с сего, поэт «религиозный»! Совершенно верно. Некрасов был позитивистом и рационалистом, другом Чернышевского, поэтическим шестидесятником, знавшим наизусть письмо Белинского к Гоголю. Он был человеком своего времени, выразителем времени, а время было в основных чертах самоуверенно-атеистическое, убежденное во всеисилии разума.

Но та часть души Некрасова, на которую влияния своего время распространить не могло, была совсем иной, и достаточно назвать хотя бы несравненное, незабываемое обращение к матери в «Рыцаре на час», чтобы спросить себя: да есть ли во всей русской литературе что-либо более похожее на молитву, на молитвенно-страдальческий гимн, уходящий в самую глубь вещей? Анна Ахматова говорила когда-то, что не может «Рыцаря на час» читать, особенно вслух, как и надо читать: не выдерживает нервного напряжения. В самом деле, от рационализма, позитивизма или от борьбы с произволом самодержавия осталось тут очень мало.

С Тургеневым, конечно, совсем не то. Никаких молитв у него нет. Он ни во что не верил, да по природе, кажется, и не способен был верить — Базаровский «лопух» казался ему страшным и непреложным символом. Но к концу жизни, после «Нови», в предчувствии близкого «лопуха», он как будто стал в отношении самого себя пронизательнее, смелее, свободнее, и именно по этим последним писаниям, по этим его «лебединым песням» мы можем догадаться, чем он в иных условиях, в иные времена должен был бы стать. Некоторые стихотворения в прозе, «Песнь торжествующей любви», вещь сладковатая, стилистически слишком пышная, но уже похожая на переход в другую тональность, и в особенности «Клара Милич»...

Нет, это не парадокс: настоящий Тургенев, освободившийся от всех воздействий и влияний Тургенев — в «Кларе Милич», где какими-то обходными тропинками он пробрался туда, куда прямой дороги не видел. Странная это повесть, с магическим и, пожалуй, порочным привкусом, но вся трепещущая надеждами, которые век насмешливо и грубо отбрасывал, но Тургенев сберег и под самый конец жизни, как нечто заветное, решился высказать: все — прах, все — суета, да, «лопух», но, как

знать? — наперекор всезнающему веку — где-нибудь, когда-нибудь, что-нибудь, может быть, и свершится, по-смертная встреча, загробное счастье...

«Клара Милич» — удивительное дополнение, красноречивый комментарий к трудолюбиво и разумно прожитой жизни, к всероссийскому успеху и славе, к почтенным «благоухающим» сединам и вере в прогресс.

Только трудно об этом писать в короткой газетной статье. Остается мне только надеяться, что кто захочет, продолжит и разовьет все эти соображения сам. Или отвергнет их.

Зощенко

Никто не считал, никто, кажется, не называл покойного Михаила Зощенко большим писателем. К нему в самом деле не идет такое определение. Написал он сравнительно немного, кроме коротких рассказов в его литературном наследстве нет почти ничего, — какой же это большой писатель? В поэзии можно прослыть «большим», оставив один небольшой сборник, «книжку небольшую томов премногих тяжелей», как сказал Фет о Тютчеве. Но к прозе установились требования иные, и даже Чехову звание «большого» далось не легко и не сразу.

Не будем о титулах, рангах и званиях толковать или спорить. Вполне возможно и даже вероятно, что дарование Зощенко было невелико по размеру, по широте охвата. Но это было дарование редкого качества, это был талант «чистой воды», и едва ли будет ошибкой сказать, что у нас еще далеко не все отдают себе в этом отчет. Зощенко был настоящим, прирожденным писателем, у него был свой стиль и была своя тема.

Два слова прежде всего о теме, о «своей» теме.

«Свою» тему можно выдумать, или, вернее, изобрести, и тогда ей — грош цена. Бывают писатели, по малодушию боящиеся быть похожими на кого-либо другого, оригинальничающие во что бы то ни стало и выдумывающие ряд образов, которых до них не существовало. Это может оказаться любопытно, забавно, интересно, — но и только. Мало ли что можно выдумать? — хочется возразить, читая такую книгу. Какое мне дело до иных выдумок, ни

на чем не основанных и никуда не ведущих? Какой в них смысл? Книга в лучшем случае, даже при изощренном литературном мастерстве, только развлекает и по существу только на умственное развлечение рассчитана.

Но если тема найдена, а не выдумана, если у писателя оказалось достаточно чутья, внимания и слуха, чтобы уловить то, что носится в воздухе, что подсказано временем, если при этом он действительно оказался сыном своего времени, без нарочитой подделки, без комедианства и позы, скорей всего безотчетно для самого себя, тогда дело развлечением не исчерпывается. Об этом есть несколько очень верных замечаний у Достоевского в «Дневнике писателя», по поводу Байрона, который потому и потряс сердца современников, что носившуюся в воздухе тоску и разочарование уловил и облек в образы. Зощенко тоже что-то нашел, пусть это «что-то» и кажется на первый взгляд мелким, смешным и жалким.

Кто его постоянный герой? Чуть ли не через все зощенковские рассказы проходит образ растерявшегося, сбитого с толку человечка, который из одного неловкого положения попадает в другое. Вокруг происходят огромные, грозные, не совсем понятные события, рушатся миры, возникают новые порядки, а этот человек, внучатый племянник Акакия Акакиевича, только, пожалуй, похитрее, чем был его предок, более смысленный, порой даже плутоватый, мечется, суетится и никак не поймет, что к чему и как ему в этом неприветливом и неуютном мире ужиться.

Я говорю, что Зощенко нашел тему. Да, нашел, а не выдумал, и если бы нужны были доказательства, достаточно было бы сослаться на двух-трех других писателей, не русских, а чужеземных, которые сделали приблизительно то же открытие, хотя и в другом преломлении. Франц Кафка, например. Едва ли это был художник гениальный, каким теперь принято его считать, особенно в «передовых» литературных кругах. Но его глубокое влияние на многих новых писателей, конечно, не случайно: оно основано на том, что Кафка уловил тему беспомощности, бессилия, бесправия и растерянности человека в грозных теперешних жизненных условиях, — еще более грозных, по его предчувствию, в недалеком будущем. Но ведь тема Зощенко совпадает с темой Кафки,

правда, при том различии, что трагическую окраску ее он заменил комической или, если лучше взглядеться, трагикомической: иначе он в советских условиях поступить и не мог, а может быть и не хотел. Вполне возможно, что напряженность, эмоциональная и интеллектуальная сосредоточенность Кафки, трагизм Кафки были ему не по силам. Не знаю, не берусь гадать. Но недоумение Зощенко — того же порядка, и за какой-нибудь его смехотворно-растерянной интонацией — «посудите, братишечки, что же это в самом деле за обидная конъюнктура образовалась?» — скрывается то же бессилие и готовность биться головой о стену. Он единственный в советской литературе, и даже, пожалуй, во всей новой русской литературе, эту «стену» разглядел, он один почувствовал и по-своему выразил бесчеловечность наступивших и наступающих времен.

Есть у Зощенко еще родство, правда в духовном смысле менее высокого порядка, менее почетное, чем близость к Кафке, но зато более наглядное по обилию комических черт, — ранний Чарли Чаплин. Разве чаплинский герой, в котелке, в брюках не по росту, с зонтиком в руках, с недоуменно поднятыми бровями, разве это не брат зощенковского братишечки? Перенесите его в первоначальную советскую обстановку, представьте себе его в фойе Мариинского театра угощающим не в меру проголодавшуюся «аристократку» пирожными, — сходство обнаружится несомненное! Должен признаться, я не очень люблю Чаплина, всегда помню жестокую, и в сущности справедливую, строчку Ходасевича о скуке и раздражении «пред идиотствами Шарло», но нельзя же отрицать, что Шарло этот тоже попал в цель и находчиво ответил тому, что ответа ждало. Всемирный успех его иначе было бы трудно объяснить.

А что еще хорошо у Зощенко, помимо безошибочно уловленной основной темы? Было бы уместно и убедительно привести ряд его словесных находок, остроумнейших и неожиданных словосочетаний, — хотя бы вроде такого, например, восклицания: «шумел, шумел, ну и схлопотал себе по морде!» Всякий, вероятно, усмехнется, прочтя такую фразу. Но усмешка усмешке рознь: здесь — ключ к целому бытовому «комплексу», здесь с помощью двух-трех слов будто переносишься в улич-

ную советскую обстановку, видишь и чувствуешь среду, о которой тщетно пытаются нам рассказать наблюдатели, казалось бы, более серьезные и обстоятельные. Полстранички Зощенко дает иногда в этом отношении больше, нежели целый том путевых записок и наблюдений. Предвижу возражение, которое, впрочем, не раз уже и слышал: да, мол, согласен, забавно, но как все это вульгарно, как грубо! Что же делать! О маркизах надо рассказывать одним языком, о братишечках — другим.

По существу, Зощенко груб не бывает никогда. В самом смехе его неизменно и отчетливо звучит гоголевское дребезжание, большинству других русских юмористов, — скажем, аверченковского типа, — чуждое или недоступное. Смех ведь бывает всякий, и нет причин считать обязательным смешение веселости и печали. Но если это и не обязательно, — художественно не обязательно, — то, пожалуй, только для других литератур, для других стран, не для России: после Гоголя от смеха раскатистого, жирного, плотоядного, смеха «во всю глотку», раблезианского склада, становится как-то не по себе! Гоголь отбил у нас охоту и вкус к нему, да и русский язык что-то плохо с ним мирится. «Что французу здорово, то русскому смерть», можно было бы сказать. Вспомните хотя бы российские водевили и фарсы, российские шансонетки и анекдоты, переложенные с парижских образцов. Ужас, сплошной ужас, торжество пошлости, невыносимо, нестерпимо! Зощенко это очень остро почувствовал, гоголевской традиции он не изменил, и отчасти именно в этом его обаяние.

Я смутно помню его в Петербурге, в самом начале двадцатых годов. Он уже и тогда был болен, страдал одышкой и если поднимался по лестнице, то должен был останавливаться на каждой площадке. Под глазами уже и тогда лежали у него какие-то черные тени. Был он застенчив, молчалив и как будто сам удивлен успехом первых своих рассказов. Но как было уже и по этим рассказам не понять и не почувствовать, что это настоящий писатель, более значительный, чем многие его молодые собратья, Серапионовы братья и другие, в те годы спешно готовившие размашистые эпические полотна о революции, гражданской войне или будущем светлом социалистическом царстве?

«Чудотворная»

Антирелигиозный фронт... Довольно давно уже о «фронте» этом ничего не было слышно. В первые революционные десятилетия о нем толковали в России постоянно и чуть ли не в каждом, даже самом захолустном городке устраивались собрания для «борьбы с предрассудками». Борьба велась средствами незамысловатыми: в природе и в мироздании действуют, мол, такие-то законы, значит Бога нет, — приблизительно с той же силой логики, какая торжествует в знаменитой соловьевской шутке о философии шестидесятничества: человек происходит от обезьяны, следовательно люди должны любить друг друга.

Борьба и теперь не совсем оставлена. Просматривая списки выходящих в Москве книг, убеждаешься, что каждый месяц появляются сочинения, подводимые под категорию «научного атеизма». Переиздаются даже объемистые труды Ем. Ярославского, ветерана и специалиста по предрассудкам, когда-то заявившего, что человек, способный сосчитать до десяти, искренне верить в Бога не может: если говорит, что верит, то исключительно для того, чтобы с помощью Церкви эксплуатировать трудящихся.

Однако в литературе художественной, в беллетристике, борьба с религией отошла на второй план, в особенности после войны. Тема эта, по-видимому, была молчаливо признана мало «актуальной», даже, может быть, устарелой. В последнем, десятом выпуске «Звезды» дано и откровенное объяснение этому: по утверждению некоего Ю. Суровцева богоборческие рассказы некогда выделялись массовым производством... но они не очень уменьшили число верующих, зато увеличили число охладевших к произведениям антирелигиозной «краски». Охладили они и самих писателей: эту тему — продолжает Суровцев — «глубже копнуть трудно, да и боязно, вдруг обернется она поклепом на советского человека. Смотри-ка: хороший человек, а в Бога верит!» Признание красноречивое, одно из тех, которые по короткому намеку — «поклеп», «боязно» — позволяют о многом догадываться.

Но находятся в СССР писатели, которым, очевидно, не «боязно», и за смелость свою они вознагражде-

ны. Месяца три или четыре тому назад появилась повесть, — сначала напечатанная в «Знамени» (ном. 5), затем вышедшая отдельным изданием, — о которой уже было множество статей, притом единодушно хвалебных. Критики наперебой одобряют тему, взятую молодым беллетристом, превозносят его за проявление особой «бдительности», отмечают его талант. Насчет таланта спорить не буду: В. Тендряков, автор «Чудотворной», по-видимому, действительно человек даровитый, и чувствовалось это и в прежних его повестях и рассказах («Ухабы», «Ненастье» и др.).

В «Чудотворной» есть живая наблюдательность, есть способность схватить, подметить нужную черту, — впрочем, в тех шаблонно-реалистических, «передвижнических» пределах, которые при наличии стольких образцов для подражания наводят на сомнение: не сказывается ли тут всего только дар переимчивости, механической копировки? Да или нет, — ответит будущее, Тендряков писатель еще молодой. Но во всяком случае написана «Чудотворная» умело, и бытовую картину дает яркую. А содержание ее вкратце таково.

В глухой деревушке двенадцатилетний мальчик Родька Гуляев, собираясь купаться, нашел в земле, на размытом половодьем берегу реки старинную икону. Оказалось, это не простая икона, а особенная, когда-то считавшаяся чудотворной. Кем-то в землю зарытая, когда власти, закрыв церковь, собирались отослать ее в антирелигиозный музей. Сбежались, охая и ахая, все окрестные старики и старухи, издалека приехал священник, пошли перед иконой молебны. Родька сам не рад своей находке. Был он прежде обыкновенным советским подростком, а теперь бабушка и мать величают его Божьим избранником, соседи надоедают просьбами о молитвах, и в довершение всего пришлось ему надеть на себя медный крестик. А вдруг об этом узнают в школе? Ведь Родьку засмеют, проходу ему не будет от товарищей. Будущий комсомолец, а тут, не угодно ли, на шее крестик! Позор, нелепость.

В школе действительно узнают и об иконе, и о молебнах, и о крестике. Учительница Парасковья Петровна, женщина в высшей степени «сознательная», решает, что мальчика надо спасти. Иначе для советского общества

он будет потерян, станет в нем элементом чуждым. Но Родькина мать, в особенности бабка, озлобленная, властная, темная, не сдается, а священник, лукавый, изворотливый о. Дмитрий, — в Христа верующий, но, по собственному признанию, «только с оговорками», козыряющий своей лояльностью к советской власти, носящий портсигар с изображением кремлевских башен, — о. Дмитрий, хоть и крайне осторожно, все-таки напоминает учительнице, что по советской конституции состава преступления в религии нет. «Закон мудро предоставляет семье ребенка решать вопросы веры без его помощи. К кому бы вы не обратились, уважаемая Парасковья Петровна, хоть в суд, хоть в милицию, никто не окажет вам поддержки».

Парасковья Петровна это знает, как знает это и автор повести Тендряков. Но знают они оба и то, что коммунизму с христианством не по пути, и что выбор сделать необходимо. В суд обращаться бессмысленно, но и борьбу с пережитками прошлого оставлять нельзя. А Родька недоумевает: «Тыщи лет люди в Бога верили. Не все же были дураки! В школе про Льва Толстого рассказывали: Бога искал. Раз искал, значит верил. Бабка верит, а Парасковья Петровна нет... Парасковья Петровна умнее бабки. Ну, а Лев Толстой, он книжки писал, он и Парасковьи Петровны умнее был».

Побеждает, конечно, учительница, иначе в советской повести и быть не могло. Несчастливого, сбитого с толку Родьку доводят до того, что он покушается на самоубийство, и это дает повод Парасковье Петровне не только вмешаться в семейные его дела, но и пригрозить о. Дмитрию оглаской происшествия. «А для вас огласка, — любезно говорит она ему на последней странице "Чудотворной", — как солнечный свет кроту».

Повесть эта в пересказе может показаться банальной, ни в каком отношении не примечательной. Ну, что же, одним «богоборческим» рассказом больше, скажет всякий. Однако самый факт ее появления на сорок первом году революции, шум и одобрение, ею вызванные, пререкания учительницы со священником, в нее обильно включенные, а в особенности комментарии критиков — все это внимания заслуживает. Я чуть не написал «внимания и удивления», но нет, удивляться давно пора перестать.

Если бы Тендряков ограничился утверждением, что коммунизм и религия несовместимы, — прежде всего несовместимы морально и даже психологически, — возразить было бы нечего. Это действительно так, в особенности, если речь идет не о каком-либо идеальном, воображаемом коммунизме, а о ленинских формах его. Или-или: никакого компромисса тут быть не может, а выбор ленинско-сталинских птенцов и питомцев ясен заранее. Но Тендряков и его толкователи идут дальше, и с твердокаменной невозмутимостью вбивают в головы своих читателей заведомую ложь, ту же самую, к которой простодушно прибегали «воинствующие безбожники», большей частью малограмотные и нередко искренние, — первых революционных лет. Не изменилось на этом «фронте» ровно ничего.

Парасковья Петровна, а с нею вместе и автор повести, утверждают, что религия держится исключительно на страхе. «Покорность, ленивый ум и страх, — заявляет учительница, — этого вполне достаточно, чтобы сделать человека духовным рабом». Церковь только того и достигла, что создавала «моральных уродов». Если человек энергичен, смел, образован, если у него ум не «рабский», вера отпадает сама собой.

Смущенный, растерянный о. Дмитрий в ответ что-то мямлит, — потому что автору надо внушить читателю, что возражений на изречения Парасковьи Петровны нет и быть не может. Но живой, а не выдуманный священник должен был бы ответить одним словом: ложь! И назвать имена огромного числа всему миру известных людей, которые вовсе не в страхе нашли для своей веры основания.

Но и этого мало. Тендряков со своими комментаторами внедряют в советские головы ложь еще более грубую, еще резче противоречащую истине, будто наука доказала, окончательно доказала несостоятельность веры, будто современное знание веру исключает.

В статье «Оптимистическая трагедия Родьки Гуляева» («Новый мир», ном. 9) И. Виноградов пишет: «Религия всегда была великолепным средством умственного обмана, одурачивания и оглупления народа... Лучшие умы прозревали историческую неизбежность одной из самых грандиозных задач человечества — ос-

вобождения людей от пут религиозного мировоззрения, несовместимого с единственно достойным человека научным взглядом на мир».

Здесь уместно разъяснение.

Было бы с нашей стороны подражанием советским методам, если бы принялись мы утверждать, что ни один из «лучших умов» никогда ничего подобного не «прозревал». Великие умы не однородны, и, конечно, к атеизму склонялись многие из них. Но именно только склонялись, — ибо атеизм так же недоказан, как и вера, и в сущности, как давно уже было замечено, представляет собой один из видов веры. На вечные загадки существования одного, общеобязательного ответа нет. И никогда не будет.

В наше время, даже много раньше — со времен Канта, умы действительно «лучшие» знают, что им открыто и что недоступно, знают, что ни доказать, ни опровергнуть бытие Божье или бессмертие души нельзя, знают, что вера свободна, что наука в путях своих с ней не скрещивается, в борьбу с основанием и сущностью ее не вступает, знают, что утверждающие противоположное — или невежды, или лгуны. Тендряков и его единомышленники, несомненно, слышали о некоторых великих современных ученых, в Бога верующих, и утверждения их, что наука будто бы уничтожает религию, — именно ложь, по принципу о цели, оправдывающей средства, а в конце концов и подлинное мракобесие. Покойный Фадеев охарактеризовал однажды Фихте и Шеллинга как «пошлых попов» — да, Шеллинга, великого философа, которому поставил в пример нашего недоучку Белинского! Мракобесие насаждается и теперь, с еще более слепой, базаровской самоуверенностью, в союзнничестве с «наукой», которая с наукой настоящей, без кавычек, не совсем в ладу.

Обо всем этом сказать можно было бы еще многое, да только говорить это здесь, а не в СССР, все равно что ломиться в открытую дверь.

Жаль, что тендряковский о. Дмитрий не вспомнил о случае, происшедшем когда-то в Пулковской обсерватории, куда с просветительной целью привели молодых красноармейцев.

— Видите, товарищи, — объяснял перед телескопом и различными приборами лектор, — вот так-то движется

луна, так-то движется земля вокруг солнца, а за нашей системой находятся другие солнца, которых мы называем звездами... Понятно? Значит, никакого Бога и нет.

Один из экскурсантов поглядел в телескоп, почесал затылок, покачал головой.

— Простите, товарищ лектор... По-моему, тут скорей получается, что Бог-то есть!

Парасковья Петровна немедленно нашла бы «научное» возражение. Эйнштейн, вероятно, развел бы руками и сказал бы: не знаю.

Памяти Николая Оцуа

Пора бы привыкнуть! — говоришь сам себе. — Пора бы понять, почувствовать, что в известном возрасте все мы, по Тютчеву, «на роковой стоим очереди» — и кто кого должен в ней опередить, неизвестно!

Но привыкнуть нельзя. Каждая новая смерть новому поражает и кажется неожиданной.

Николая Оцуа я знал с далеких, юношеских, петербургских лет и был с ним связан той дружбой, которая только в юности и возможна. Вместе мы начинали жить, вместе мечтали о будущей деятельности, об удачах и успехах, — в России, конечно, — не предвидя, чем это будущее для нас обернется. Потом был Париж. Здесь он возмужал, утратив былую свою порывистость, стал сдержаннее. В последние годы даже замкнутым в себе. По стихам, по некоторым статьям можно было догадываться, что он изменяется, внутренне растет. Но общение было труднее, встречи становились реже, — и, как почти всегда бывает в человеческих отношениях, были с обеих сторон ошибки, которые по-настоящему хочется исправить лишь тогда, когда исправлять поздно.

Он был очень талантливым поэтом. В его стихах был огонь, был «нерв», дававший им своеобразие и силу. Его не интересовало, не трогало в поэзии ничто мелкое, суетное. И, в сущности, следовало бы ему родиться в иное время, когда державинское парение представлялось естественным поэтическим стилем. Кое в чем он был родственен в этом отношении своему учителю Гумилеву, — который, по собственному признанию, был «вежлив

с жизнью современной», только ворчлив, не более, — и в противоположность другим ученикам Гумилева, он с каждым годом ценил его все больше, стремясь быть его литературным преемником и продолжателем.

Но обо всем этом сейчас, «над открытой могилой», по стереотипному выражению, толковать рано. Скажем Николаю Авдеевичу спасибо за то, что он среди нас жил, за многое, что он нам дал, пообещаем ему память добрую и долгую, хотелось бы сказать — «вечную», если бы человек вправе был не только о вечности молиться, но и с уверенностью о ней говорить.

Несколько слов о «Докторе Живаго»

О Пастернаке и его романе говорить беспристрастно сейчас нелегко, потому что критика «Доктора Живаго» может быть истолкована, как косвенное одобрение безобразной и глупой шумихи, поднятой в Москве, т.е. как «вода на советскую мельницу». Но с этим нельзя считаться. У нас здесь, вне России, есть великое, да в сущности и единственное, сокровище — свобода, и приносить это сокровище в жертву соображениям тактическим было бы ошибкой не менее великой. Здесь мы должны говорить правду, — или по крайней мере то, что каждому из нас кажется правдой, — здесь мы можем себе эту роскошь позволить, а усмехнется ли, например, Шолохов, скажет ли он, что «даже они признали!», большого значения не имеет.

Вынесем же «за скобки» Нобелевскую премию и все, что произошло затем, представим себе, что мы ровно ничего обо всем этом не слышали, отнесемся к «Доктору Живаго», как к книге, никакой сенсации не вызвавшей.

Бесспорно, эта вещь замечательная, если и не в целом, то в отрывках, в отдельных главах, особенно к концу романа, до эпилога. Больше того: вещь эта должна была появиться, должна была быть написана, ибо тема ее будто носилась в воздухе и наше время ее ждало, было «беременно» ею. Ф.А. Степун (в «Новом журнале») в связи с пастернаковским романом вспомнил Достоевского, очень верно, на мой взгляд. Перед лицом всего того, что произошло в мире на наших глазах, после небывалых

мучений и мытарств, испытанных в наши дни человеком, нужен был бы именно Достоевский, который один оказался бы в силах найти в ответ верные слова и тон. Достоевскому надо было бы именно в наш век родиться. Надо было бы Ивану Карамазову поговорить с Алешей не о мальчике, разорванном собаками какого-то сумасшедшего генерала, а об ужасах в «планетарном масштабе», будто бы необходимых даже не для финальной гармонии, а всего только для укрепления некоего политического строя. Пастернак — не Достоевский, но тему, от которой у Достоевского камни бы возопияли к небу, он все же уловил. Как это ни удивительно, его больше сравнивали с Толстым, с которым у него решительно ничего общего нет.

В «Докторе Живаго» есть замечательные, надолго запоминающиеся страницы. Но как роман, это произведение далеко не перворазрядное, и не то чтобы с промахами или слабостями, — которые бывают и у гениальных писателей, — а именно в целом. Замечательно в нем лишь то, что относится к области «человеческого документа», к лирическим вздохам и содроганиям в тисках беспощадной эпохи, вообще к мыслям и чувствам, а не к изображению, рассказу или описанию. Позволю себе высказать догадку, что под воздействием горестной и сладостной музыки, которой действительно проникнута книга, многие читатели зажмурили глаза и, убаюканные или взволнованные, оказались не в силах обратить внимание на что-либо другое.

Если бы Пастернак, вместо огромного романа, написал повесть с небольшим количеством лиц и своим несчастным героем в центре, без стремления к широкой, как «Война и мир», панораме, он со своей задачей, надо думать, справился бы. Повесть оказалась бы узкой и глубокой, как и самый его талант. В панораме же, Пастернаком представленной, удивляет — а страниц через двести и перестает удивлять, потому что только этого и ждешь! — механичность построения, наглядность «швов», настойчивое вмешательство автора в сцепление событий. Толстого смущала встреча Наташи с раненым Андреем Болконским после Бородина: ему казалось, что это «немножко как в театре», т.е. что встреча подстроенная в соответствии с желательным для автора развитием

действия. В «Докторе Живаго» персонажи только и делают, что встречаются, расходятся, друг друга теряют и опять встречаются по мановению волшебного авторского жезла: огромная страна, тысячеверстные расстояния, война, революционная разруха — однако в нужный автору момент нужный человек тут как тут, и подмена действительности «театром» очевидна. Случай царит в романе, но случай, переставший быть «его величеством случаем», по формуле Фридриха Второго, уступивший свои прерогативы автору, — и под конец, — я чуть не написал «под занавес», — даже Лара, уехавшая в Сибирь, появляется в Москве на похоронах Живаго совершенно «случайно». Не жизнь управляет действием, сама не зная, куда она его уведет, а действие укладывает жизнь в свои рамки. Мне, вероятно, возразят, — и об этом уже была речь, в частности писал об этом виднейший американский критик Эдмунд Вильсон, — что «Доктор Живаго» — произведение нового склада и жанра, что учился Пастернак будто бы у Пруста и Джойса, а не у русских классиков, и что бывшие мерки и требования к нему не применимы. Статьи Вильсона я не читал, знаю о ней только по выдержкам в газетах, но должен признаться, ума не приложу, на чем его соображения основаны и откуда он их взял.

Пастернак действительно был когда-то «модернистом» в условном смысле этого термина. Но от своих прежних литературных пристрастий он и в стихах и в прозе полностью отказался, и сам об этом говорит. «Доктор Живаго» написан на три четверти «по старинке», с каким-то даже передвижническим реализмом в отдельных эпизодах. Ничего «априори» дурного тут, впрочем, нет, — хотя бы потому, что вопрос о художественном методе был, есть и навсегда останется вопросом второстепенным, обманывающим современников своей мнимой значительностью. Теперь, например, на Западе входит в моду «антироман», категорически отвергающий всякую реалистическую правдоподобность в изображении: что же, может и «антиромантическое» повествование оказаться гениальным, как может оказаться и совершенно пустым! Дело ведь в личности автора, в том, чем пишущий одушевлен, в том, что он в свое писание вкладывает, — и достаточно мы рассмотрелись

школ, течений и всяческих «измов», чтобы больше в этом не сомневаться. Указывают критики и на то, что если пастернаковским персонажам не достает пластичности, — или, говоря проще, если в процессе чтения их забываешь настолько, что встретив то или иное имя, приходится перелистывать уже прочитанные страницы: кто это такой — недостатком романа счесть это нельзя. Нет, это, видите ли, закономерно, это будто бы результат нового художественного метода. Опять хочется спросить: откуда соображения эти взяты, на чем держатся? Многие лица в романе говорят языком сверхреалистическим, ультрабытовым, зощенковским, другие выражаются фразами книжными и по-книжному закругленными. Если Лары, в частности, как подлинно живого человеческого образа в книге почти нет, если ее не знаешь, не видишь, — как знаешь Катюшу Маслову, или княжну Мэри, или Эжени Гранде, — то не потому, чтобы Пастернак не пожелал ее индивидуализировать: вовсе нет, — он, например, подчеркивает, что Лара привыкла говорить «не правда ли» и даже над гробом Живаго это «не правда ли» она повторяет. Однако самое строение лариных речей условно-литературно, и особенно в последних, отвлеченных беседах с доктором она «говорит, как пишет», притом, как пишет сам Пастернак. Несколькими страницами дальше появляется бельевщица Татьяна, изъясняющаяся языком донельзя «народным», и кто из них ближе к стилистической правде, остается неясным.

Несколько слов о слоге романа вообще. Было бы придишкой указывать на такие фразы: «Все то время, что они сидели со Свентицким, Лара все время была в зале», или «Глазам Юрия Андреевича открывались клинические задворки» (вместо «задворки клиники»). Это пустяки, это могло бы попасться и у очень требовательного стилиста. Написал же Бунин в «Темных аллеях» «они сидели возле друг друга», — и какой педант его за это упрекнет? Но вот предложения в духе такового: «Путем самообразования он овладел всеми предметами в университетском объеме» — Бунин или Зайцев органически написать не могли бы, так как их заранее покорило бы от словесного оборота, выдержанного в худших мертвящих журналистских традициях. Ни у Чехова, ни у Толстого такой оборот был бы тоже невозможен, как,

наверное, не упомянул бы ни Толстой, ни Чехов о «плене чувственного кошмара, от которого вставали дыбом волосы при отрезвлении»^{*}. А если я на подобные фразы обращаю внимание, то отчасти потому, что в предисловии к английскому изданию «Доктора Живаго» переводчики утверждают: «Язык Пастернака обладает жизненностью, может быть единственной в русской литературе» (цитирую по «Н. Р. С.»). Вот ведь до чего можно договориться в чаду восторга! Впрочем, Пастернака трудно обвинять: он, должно быть, ежедневно читает московскую печать, и мало-помалу мог поддаться влиянию ужасающего, по-своему даже величавого, монументального в своей бездарности волапюка, который печать эту заполняет. Язык советских газет — явление невиданное и в сущности тревожное: где его корни в прошлом, что он в себе таит, что он несет? Как способен человек, не превратившись окончательно в истукана, писать, например, о необходимости «планово и развернуто бороться за повышение квалификации работниц удоя» (дословно — из «Правды»)? Тема эта интересная и, если вдуматься, тема сложная. Но от Пастернака она увела бы нас далеко и лучше пока ее оставить.

«Доктор Живаго» пестрит картинami природы. Признаков языкового омертвения в них нет, но зато есть другое — безудержная образность, порой такого рода:

«Гладь реки в очень немногих местах была подернута железистой синевой. По остальной поверхности жаркое утро гоняло зеркальные маслянистые блики, как мажет стряпуха перышком, смоченным в масле, корочку горячего пирога».

Или:

«Свет полного месяца стягивал снежную поляну осязательной вязкостью яичного белка или клеевых белил».

Образы существуют, насколько мне известно, для того, чтобы придать картине особую зрительную убедительность. Но ведь эта стряпуха с жирным перышком

^{*} «Пусть будет язык Карамзина, Филарета, попа Аввакума, только не наш газетный. Если в вашем журнале будет газетный язык, то все пропало» (Письмо Л. Толстого П.И. Бирюкову 1884 года).

в руке ничего общего с рекой и солнцем не имеет, ничуть на них не похожа, ничего к описанию не добавляет! Впечатление создается такое, что, силясь во что бы то ни стало сравнение найти и от поисков устав, Пастернак сравнивает реку с чем попало, лишь бы обойтись без образа. Это тем более удивительно, что доктор-поэт, в данном случае несомненно выражающий мысли автора, очень умно и верно анализирует свои собственные литературные приемы, и будто бы всю жизнь «стремился к стилю незаметному, не привлекающему ничьего внимания», к слогу, «при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким образом они его усваивают». Bravo, bravo, Юрий Андреевич, — хочется воскликнуть в ответ, — наконец-то слышим мы речь человека, которому опостытели копеечные словесные блески и метафорические красоты! Но при чем тут тогда стряпуха и яичный белок на снежной поляне? Кстати, поделюсь давно уже одолевающим меня сомнением: после всего, что было о природе сказано, не пора ли оставить ее в покое, не следовало ли бы дать бедняжке отдохнуть, лет пятьдесят, а то и больше, — чтобы потом опять к ней вернуться, с новой свежестью ее ощутить и почувствовать? Беллетристы наши едва ли с этим желанием согласятся, но многим читателям, думаю, оно придется по душе, и вовсе не только таким, которые в романе или повести преимущественно интересуются, кто на ком женился и кто покончил с собой. Довольно природы! А то, пожалуй, писатели дождутся, что, заведя на странице какие-нибудь «косые лучи заходящего солнца» или даже притянутых за волоса «стряпух», мы с нетерпением перевернем страницу, опасаясь, как бы над ней не задремать.

Да, «Доктор Живаго» был бы незабываемой и необыкновенно нужной в наши дни книгой, если бы не все то, чем роман загроможден. Какая сила вдохновения, безнадежности, горечи, сострадания, любви в иные главы его вложена, судить можно потому, что и теперь, в теперешнем виде, он все же в память врезывается прочно и надолго. В памяти остается сияние, которое он излучает. Несчастливого доктора жаль, как давно уже никого не было жаль в нашей литературе, и жалость эта в сознании ширится, растет, крепнет, обнимая наконец

все то, что сделала с людьми наша эпоха, наш «страшный мир», по Блоку. Он человек слабый, этот скиталец и поэт Юрий Андреевич, он сам знает, что рожден не для действия и даже не для сопротивления. Он связан сердцем с теми былыми русскими мечтателями, о которых говорил Достоевский в пушкинской речи, да, пожалуй, и с длинной галереей «лишних людей», только в России и возможных. А что могло сделать с таким человеком «бесчеловечное владычество выдумки», — по чрезвычайно меткому блестящему определению Пастернака, — т.е. выдумки, которая насилует жизнь в угоду схемам, выдумки, поверившей в верховенство статистических принципов, выдумки, оперирующей «классами», будто только «класс» и есть живое существо, — об этом рассказано или, вернее, это показано, в «Докторе Живаго», как нигде прежде. «Обвинение веку» — по формуле Стрельникова перед смертью. Но сам-то Пастернак этим не ограничивается, он идет дальше. Что революция со всей хлынувшей в пробитые ею бреши грубостью и жестокостью! Революция — эпизод, а мир-то вообще скудеет, черствеет, дичает, и не случайно Лара говорит: «Мы с тобой — последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет, и в память этих исчезнувших чудес мы и дышим, и плачем, и любим, и держимся друг за друга, и друг к другу льнем». Это почти как у Фета: «И в ночь идет, и плачет уходя...». Именно в этой боли, кажется мне, в этой тоске, — о чем? в сущности, о любви и о бессмертии — и страхе перед их возможным крушением — тема книги, как и источник ее христиански-страдальческого дребезжания: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя». Да, именно в этом. Но набрел Пастернак на эту тему, или, во всяком случае, по-настоящему ее развил и углубил лишь к концу повествования, а первая его половина, и даже больше половины представляет собою, увы, довольно-таки обычную «литературу», среднезанимательное чтение. Мысли Живаго всегда интересны, но к ним необходима оговорка: это мысли характерно «декадентские», из разряда тех расплывчатых, прихотливых и как будто не совсем твердо проверенных соображений, которые были у нас распространены в некоторых кружках предреволюционной интеллигенции, да и после революции

держались довольно долго, еще в двадцатых годах проникая в печать. Это мысли человека, который мог дружить с Андреем Белым и бывал на «башне» у Вячеслава Иванова, мысли «серебряного» века русской культуры, не «золотого», неизмеримо более сдержанного.

Что-то слишком наивен наш бедный доктор, слишком они оба с Ларой словоохотливы в своих шатких гаданиях или мистико-исторических импровизациях, чтобы действительно оказаться через голову нескольких поколений собеседниками Пушкина и Толстого.

Пора кончать, а сказать хотелось бы еще многое, пожалуй тоже в порядке «словоохотливости», — в частности, о том, что ужасаясь, и совершенно правильно, даже праведно ужасаясь «бесчеловечному владычеству выдумки», Пастернак все же не прав, противопоставляя всякому стремлению организовать и упорядочить жизнь ее первобытное состояние, будто бы райски блаженное. Но это тоже особая и большая тема, о ней и разговор должен быть особый.

Если бы требовались еще доказательства, что мы живем в годы, когда страсти и пристрастия сбивают людей с толку и заставляют их утверждать вздор или ложь, то «Доктор Живаго» явился как раз вовремя. Я не касаюсь значения того факта, что такая книга могла быть написана в советской России, но сравниваю ее с теми плоскими социал-реалистическими изделиями, которыми пытается гордиться Москва, не делаю выводов: говорю я лишь об отзывах и откликах, которые пастернаковский роман вызвал «как таковой», вне соображений политических. С одной стороны — умеренные, чуть ли не коленопреклоненные восторги, не сомневаюсь — искренние, однако наводящие на мысль о каком-то коллективном гипнозе. С другой — брань и заявления вроде того, которое в Лондоне сделал Шолохов, все-таки настоящий же писатель, по-настоящему талантливый человек: «не роман, а чепуха и бестолочь». Для будущих психологов или историков «дело о Пастернаке» окажется предметом долгих размышлений и ценным свидетельством о смутном состоянии умов в наше смутное время.

Младое племя

У меня нет основания, нет и большого желания вмешиваться в спор, поднявшийся вокруг статьи Ю.П. Денике «Племя младое, незнакомое». Спор это слишком эмоциональный, чтобы доводам могла быть отведена решающая роль, да к тому же это и спор типично русский: каждый одушевлен в нем не столько стремлением к выяснению истины, сколько желанием посрамить противника. У французов, может быть, и в самом деле «*du choc des opinions jaillit la vérité*», но у нас, в наших русских столкновениях, это, увы, случается редко.

С советскими молодыми людьми я не встречался, не посредственных впечатлений от них у меня нет. Но по мере сил и свободного времени следя за советской печатью, стараясь понять, что в ней отражено, а что скорей искажено, я хотел бы сказать несколько слов о колебаниях, недоумениях и внутренней раздвоенности этого «младого племени». Не могу, однако, обойтись без короткого отступления.

Что, собственно говоря, сделал Ю.П. Денике? Поделится интереснейшими наблюдениями и соображениями, не предрешая того, согласуются ли они со взглядами, в эмиграции господствующими. Ему возражают — и возражают не потому чтобы наблюдения и соображения его были заведомо ложны, а потому что они противоречат установившимся взглядам: факты при этом не обуславливают выводов, а наоборот, подгоняются к выводам, заранее признанным незыблемыми, и оценка им дается лишь «постольку-поскольку». Крайне любопытна в психологическом отношении, например, заметка г. И. С.-Т., недавно появившаяся в «Русской мысли».

«Для чего же мы устраиваем Дни непримиримости?» — не без запальчивости спрашивает г. И. С.-Т.

Ход мысли ясен, как в классическом силлогизме: устраивать Дни непримиримости необходимо, — если Денике прав, устраивать их было бы ни к чему, — следовательно, Денике не прав.

Еще раз скажу: я не вмешиваюсь в самый спор, противоречивый, требующий внимания, полнейшей «честности с собой» и многих дополнительных данных. Кое-что добавить к статье Денике, отчасти в вопросительной

форме, действительно следовало бы. Но нельзя спорить так, как спорит г. И. С.-Т. Что для нас всего важнее, всего нужнее? Узнать и понять, что происходит в России, куда Россия идет, а вовсе не доказать, что эмиграция была и остается во всем права. Никаких предпосылок, в качестве аксиомы пересмотру не подлежащих, в вопросе этом быть не может, и самое убеждение в нашей правоте (пусть и с немалой долей попутных оплошностей и ошибок) станет тем тверже, чем охотнее и свободнее мы его подвергнем каждому вновь возникающему испытанию.

Об этом без устали, в течение тридцати—сорока лет, писала покойная Е.Д. Кускова, человек с открытым умом. Но за эти тридцать—сорок лет ей и немало крови испортили люди, склонные вслед за Гегелем воскликнуть: «тем хуже для фактов!»

Нет сомнения, что молодежь и ее настроения возбуждают в СССР все больше внимания и беспокойства. До известной степени, впрочем, это явление общее, и считать его исключительно или специфически-советским было бы ошибочно: на Западе тоже многие, очень многие «отцы» силятся понять, отчего «дети» отвергают, то гневно, то с пренебрежительной насмешливостью, почти все, что им, «отцам», представлялось чуть ли не священным. Это — явление общее, за которым две войны, в особенности вторая, небывало страшная война, окончательно поколебавшая в бесчисленных юных сознаниях веру в духовный прогресс и неуклонное совершенствование человека. Война не могла не возбудить в них вопроса «зачем?», «во имя чего?», вопроса, обращенного притом не к отдельным фактам, а ко всему существованию, в тех его социальных и политических формах, которые к катастрофе привели.

Но в советской России молодежь далеко не схожа с молодежью западной, да и, при коренных различиях в бытовых условиях, могло ли это быть иначе? По-видимому, глухой, упорный протест ее обращен преимущественно против того, что можно бы назвать «регламентацией» жизни, а внушен этот протест естественным, прорвавшимся наконец стремлением всякого человека к праву делать с собой и со своей жизнью, что каждо-

му хочется. Социологи и философы большей частью утверждают, что истинная свобода — вовсе не в возможности жить на свой лад и вкус, ни с чем не считаясь, что это обывательское ее понимание. Допустим, что теоретически они правы. Но в каждом человеке дремлет обыватель, а в России он слишком долго принужден был притворяться непробудно уснувшим, чтобы не стремиться наверстать упущенное.

Новые молодые люди — не контрреволюционеры, не убежденные враги режима. Нет, по самому наличию в них некоторой доли «обывательщины», они едва ли думают о борьбе. Каждый из них в отдельности может быть даже и бодр, и энергичен, но в массе, в целом они представляют собой поколение усталое, пресыщенное трудами и лишениями поколений предыдущих, поколение, которому хотелось бы сказать своим непрошеным опекунам и руководителям: оставьте нас наконец в покое! Обывательщина — слово презрительное, почти что бранное. Но ее возрождение в России основано, очевидно, на чувстве того, что жить человеку дано лишь один раз. Работать? Что же, работать советская молодежь согласна. Согласна, пожалуй, и с тем, что «кто не работает, тот не ест». Но работать до изнурения ради проблематического счастья будущих поколений, непрерывно жертвовать собой ради того, что все еще не настает, потворствовать возвеличению всего, к чему направлен труд, и более или менее откровенному пренебрежению тем, чем порой бывает отдых, словом искренне признать личным идеалом тот суровый государственный идеал, который в России господствует, нет, тут молодежь колеблется...

Всякий следящий за советской литературой знает, как много было в ней за последнее время свидетельств о таких настроениях. Правда, рядом по-прежнему попадают и панегирики тем, кто отправился на какую-нибудь целину и там, на целине, обрел смысл жизни, понял, что такое счастье и долг. Правда и то, что обличительные филиппики раздаются преимущественно по адресу всякого рода «ревизионистов», а ирония направлена на «стиляг», которые, щеголяя особенно ярким галстуком или нацепив другую «загранку» (т.е. заграничную вещь), причисляют себя к существам высшего порядка. Но пробивается и тревога общая.

«Коммунизм, коммунизм, коммунизм! А где он, этот коммунизм? Сколько еще ждать его? Какие еще новые жертвы надо принести, чтобы увидеть, наконец, какой он есть, этот коммунизм».

Это говорит один из героев повести А. Эрлиха «Молодые люди», довольно мало замечательной в качестве произведения художественного, но очень интересной по материалу. Благонамеренных московских критиков удивляет и раздражает, что подобные настроения находят иногда поддержку со стороны старших. Родители считают, что если им на долю выпали только лишения и невзгоды, то терпели они их для того, чтобы дети пользовались плодами их трудов.

«Часть старшего поколения воспитывает у молодежи некоммунистическое отношение к труду, стремление к легкой жизни, желание войти в жизнь с черного хода» («Октябрь», № 9, статья «В человеке должно быть все прекрасно»).

Но молодежи не только хочется более легкой жизни и большей независимости от государственного контроля. Она вообще менее пассивна, чем были ее отцы, теперь начинающие ей сочувствовать. У нее обострилось чутье, обострилось нетерпение ко лжи, к условностям, к коммунистической схоластике, к тому, что Пастернак в своем романе так метко назвал «бесчеловечным владычеством выдумки». Особенно к každодневым проявлениям этой выдумки. Совершенно ясно, что «стиляги» с их пестрыми галстуками, с инстинктивным любопытством к «рок'н роллу» или абстрактной живописи, или даже с подражанием дикарскому племени «мюмбо-юмбо», именно этим пресыщением и взращены. Это, может быть, и уродливое явление, но это не явление случайное, — и за ним таится то же чувство: оставьте нас в покое! Есть черта, переступать которую опасно, есть предел требованиям и ответным усилиям: очевидно, в России за сорок лет мера человеческой выносливости оказалась превышена, и теперь это дает себя знать.

В тех же «Молодых людях» один из студентов, человек не глупый, говорит: «Ребятам осточертели всякие благородные, распрекрасные словеса, они сыты по горло, до отвращения и тошноты этой театральной и благонамеренной декламацией».

Кстати, он же, в ответ на выговоры и наставления о том, как должен вести себя «идеологически выдержанный» комсомолец, иронически восклицает:

— Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.

Признаюсь, меня лично эти слова поразили и даже обрадовали. В самом деле, сколько раз, читая в «Правде» и в «Известиях» об этих «аплодисментах, переходящих в овацию», абсолютно обязательных после каждого выступления Сталина, сколько раз приходилось думать: неужели они там не понимают, не чувствуют, как это фальшиво и глупо? Оказывается, понимали и чувствовали. Значит, понимают, чувствуют и многое другое.

Всякое политическое предсказание шатко и по существу опрометчиво. Достаточно вспомнить, что утверждали иные умнейшие люди, — Тютчев, Достоевский и другие, — чтобы отпала к пророчествам охота. Обычно из тысячи почти неуловимых слагаемых и данных избирается одно, на котором предсказание и строится. А история идет каким ей угодно путем и с упрощенными схемами не считается.

Однако наблюдения и размышления о новой советской молодежи сами собой приводят к мысли, что если установившийся в России строй когда-нибудь рухнет, то именно под ее давлением. Лет через десять—пятнадцать это поколение займет «командные» места. Власть, правда, разворачивает, но ее тлетворное воздействие не может распространиться широко. Молодежь в зрелые годы останется в большинстве своем верна тому, что одушевляет ее сейчас, — и крепость развалится, тиранический идеал померкнет, «бесчеловечное владычество выдумки» утратит силу.

Казалось бы, так... Но не будем себя обманывать.

У режима есть защита, есть противоядие от того, что он обзывает «обывательщиной», есть внутренняя поддержка. Настроениями, только что бегло описанными, ни в коем случае не исчерпывается то, чем молодежь в России сейчас живет. С тягой к независимости сталкивается и кое-что другое и из столкновения порой выходит победителем. Несомненно, молодежь сейчас духовно раздвоена, и раздвоение это не только разбивает ее на отталкивающиеся одна от другой группы, но и закрадывается в индивидуальные сознания.

Как убедился Денике, многие советские молодые люди сейчас гордятся успехами, достигнутыми их страной, и — скажу от себя — чувство это, должно быть, не менее заразительно, чем пресыщение. Никогда еще Россия не играла в международных отношениях такой значительной роли, как в наши годы, никогда не была державой столь бесспорно «великой» по своему влиянию: исключение в истории, пожалуй, только одно — эпоха Венского конгресса. Никогда у нее не было такой тяжелой промышленности, не было заводов, успешно соперничающих с западными, не было техники, вызывающей на Западе почтительное изумление. Одни лунники чего стоят, и как могли бы от этих лунников не кружиться юные советские головы! Мы — первые, мы — Колумбы межпланетных пространств, мы — пионеры вселенной! Есть, правда, что-то детское в стремлении «догнать и перегнать» Америку во всех решительно областях, поскольку внушено это стремление не столько практическими возможностями и результатами, сколько чисто спортивным азартом. От того, кто, например, первый сфотографирует невидимую сторону луны, практической пользы не очень много. Но самолюбие польщено, энтузиазм вспыхнул, и головы восторженно кружатся при мысли о безграничных дальнейших победах.

Какой ценой все это куплено? Да, об этом молодежь, вероятно, помнит, но, вероятно, случается ей и думать, что игра стоит свеч. Не может же она не понимать, что не будь вся народная энергия тиранически сплочена в нечто цельное и обращена к успехам и мощи государства, не было бы достигнуто в столь короткий срок и малой доли теперешних результатов! Ренан когда-то писал, что лучшее государство то, существования которого граждане не чувствуют и не замечают, — и западные демократии, в сущности, к такому идеалу и шли. В таком идеале много притягательной силы, много человечности и глубокой духовной правды. Но состязаться с неистовым и неукротимым строем, в котором, наоборот, каждое отдельное действие каждого отдельного человека, хочет он того или не хочет, устремлено к общегосударственным целям, при ренановском идеале трудновато. На Западе жизнь легче и вольнее, советские главари это прекрасно знают и оттого не очень охотно советских граждан на Запад отпускают, оттого же и поддерживают лживую уверенность, буд-

то девять десятых западного населения бьется в тисках ужасающих «социальных противоречий». Они, советские главари, знают, что если бы поставить вопрос откровенно и спросить: чего вы хотите, личного довольства и благополучия или общего торжества при условии, что одно с другим несовместимо, то большинство высказалось бы за блага личные. Иллюзии, ложные сведения о тяжести и трудности западной жизни распространены в СССР чрезвычайно широко, держатся очень прочно и все недавно в России побывавшие это подтверждают.

Власть, по-видимому, боится риска, связанного с правдивым освещением дела, и по-своему, т.е. со своей точки зрения, она права. Ей необходимо внушить убеждение, что если жить одинаково трудно везде, то у нас, в СССР, есть, по крайней мере, великий общегосударственный замысел, есть цель, и в качестве приманки она выставляет свои рекорды до полетов на Луну включительно. Психологически это игра верная, даже, пожалуй, единственно удерживающая от развала и неизбежного в конце концов реванша «обывательщины». Она вносит сомнение, она ослабляет сопротивление, выбивает из-под него почву. Примеров, ссылок можно было бы дать множество. Назову хотя бы Евтушенко, поэта фрондирующего, своевольного, не раз вызывавшего подозрения, который в последних своих стихах пишет:

Гордимся мы всем тем, что вместе выстроили.
Всем государством нашим молодым...

И, наверное, такие строки встречают сочувствие. Именно поэтому теперешняя советская молодежь представляет собой в целом явление сложное и двоящееся. Никаких точных и стройных выводов из наблюдений над ней сделать пока нельзя. А будет ли это когда-нибудь возможно, и если будет, то когда, не знает никто.

Пьесы Чехова

В западной критике, среди западных ценителей литературы и искусства, притом как будто наиболее взыскательных, насчет чеховских пьес разногласий нет: пье-

сы эти причислены к «шедеврам», автор их признан великим драматургом, и если сравнения его с Шекспиром звучат все-таки и на Западе парадоксально, то, например, с Ибсеном сопоставляют его постоянно, порой даже отдавая ему предпочтение. Томас Манн сказал в одной из своих последних книг, что если нужно было бы искать доказательства упадка культуры и одичания современного человечества, он сослался бы на безразличие к Ибсену: «Дикая утка» или «Росмерсхольм» будто бы считаются в наши дни драмами «несколько устарелыми» и не делают полных сборов. Об этом я вспомнил мимоходом, только потому, что замечание Манна представляется мне глубоко справедливым и верным. Чеховские пьесы, однако, делают в западных странах сборы полные и вызывают восторг именно у тех людей, которые одобрение всего передового считают своей обязанностью и даже миссией.

У нас, русских, отношение к пьесам Чехова не вполне таково. Думаю, все мы могли бы сойтись на том, что в нашей драматической литературе есть две бесспорные вершины — «Горе от ума» и «Ревизор». Остальное, не исключая, конечно и Островского, все-таки значительно ниже и в «золотой фонд» нашей литературы включено без колебаний быть не может*.

* Впрочем некоторые расхождения возникают и тут.

Алданов, например, утверждал, что лучшее достояние русской драматической литературы — первые два действия «Плодов просвещения». В печати он этого не высказал, вероятно, просто потому, что не представилось случая, но в частных беседах говорил об этом не раз и с большой настойчивостью. Должен признаться, что «Плоды просвещения» я давно не перечитывал и личного мнения поэтому не имею. По памяти, однако, мне кажется, что с «Ревизором» или «Женитьбой» толстовскую комедию нельзя и сравнивать.

Ходасевич утверждал в статье о Грибоедове, перепечатанной в его посмертном, не так давно вышедшем, сборнике, что в «Горе от ума» — «нет поэзии». Не понимаю, как при своем слухе и чутье к стихам мог он это сказать.

Воспоминания — как острый нож они!

Если бы даже в «Горе от ума» был только один этот, расиновски-величавый, расиновски-горестный стих, то и тогда следовало бы признать автора его подлинным поэтом. А ведь цитат можно было бы сделать много, и они были бы одна другой убедительнее!

Вопрос о Чехове и о том, почему иностранцев пьесы его восхищают сильнее, чем нас, есть, в сущности, вопрос об иностранных и иноязычных суждениях вообще. В истории литературы это случай далеко не единственный. Мопассан, например, у нас был оценен очень высоко, в частности, тем же Чеховым, а во Франции считается писателем второстепенным и плоским. Вспомнить можно и Байрона, которого великим поэтом признал весь мир, за исключением его родины. (За последнее время в Англии намечается нечто вроде пересмотра «дела о Байроне» и протеста против беспощадного приговора, вынесенного сто лет тому назад Суинберном. Но и это возрождающееся внимание к Байрону вызвано скорее его необыкновенной личностью, его необыкновенным умом, сквозящим в каждой строчке его писем, чем самой его поэзией.)

Пьесы Чехова до революции возбуждали восторги и в России. Их любят и в нынешней России, хотя, по-видимому, без того «обожания», которое окружало их когда-то, любят спокойнее и трезвее. А может быть, и холоднее. Однако все чаще приходится встречать людей, которые окончательно пьесы эти разлюбили и с удивлением вспоминают времена, когда со слезами на глазах слушали в Художественном театре то, что теперь представляется им слащавой риторикой.

Если не ошибаюсь, первым во всеуслышание об этом заговорил Бунин. Он Чехова хорошо знал, очень любил его как человека, рассказами и повестями его неизменно восхищался, а о некоторых из них («В овраге», «Архиерей») сказал, что принадлежат они к драгоценнейшим сокровищам не только русской, а мировой литературы вообще. Но чеховских пьес он терпеть не мог и признался даже, что при мысли о них ему за Чехова «неловко» (это сказано в его посмертной книге «О Чехове»). Сначала все удивились, многие даже вознегодовали, — в том числе покойная Кускова, дорожившая прежними своими привязанностями. Бунин был человек прямой, откровенности в суждениях не боялся, и на той памятной многим русским парижанам его лекции, где он на Чехова за его пьесы обрушился, недоумения и огорчения в публике было немало. Но по существу Бунин сказал правду, ту

правду, которая рано или поздно должна стать окончательно очевидной.

В пьесах Чехова есть порок, которого ни затушевать, ни загладить не могут никакие их достоинства: ни мастерство диалога, ни удивительное умение скрыть драматическое напряжение действия за будто бы ничего не значащими словами. Достоинств в этих пьесах много. Но что в них несносно, это их лиризм, их назойливая чувствительность вперемежку с неврастеническими шуточками вроде «многоуважаемого шкапа». У французов есть чудесное, непере译имое слово «sensiblerie». Однако ни в «Дяде Ване» с заключительным монологом о «небе в алмазах», ни в «Вишневом саду» со «шкапом» или обращением Ани к матери — «Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!» — по-видимому, тут они ее не улавливают и не чувствуют.

К Чехову мы вправе предъявлять очень большие требования, — потому что это очень большой писатель. Но в литературе, которая создала Пушкина и Толстого, в литературе, которая приучила нас болезненно отзываться на всякую фальшь или «педаль», нельзя вынести стихотворений в прозе о «небе в алмазах» и невозможно отнестись к ним иначе, как к досадному эпизоду. Будто ножом кто-то водит по стеклу, и ведь кто водит, — Чехов, в рассказах своих правдивейший из правдивых! Слово «эпизод» я употребил умышленно: конечно, все это связано с эпохой, с так называемым «безвременьем», со скукой и тоской устоявшегося провинциального быта, со смутными и страшными предчувствиями, с музыкой Чайковского и полотнами Левитана. Это — кусок России, кусок печальной русской истории, и в конце концов можно понять Кускову, т.е. понять, что ей стало обидно за разрушаемые иллюзии, — тем более в годы, когда бывшие наши «ценности» самой судьбой было велено нам хранить и охранять. Но иллюзии для того ведь и существуют, чтобы рано или поздно с ними расстаться, а в «ценностях» надо отличать настоящие от поддельных.

Как мог Чехов допустить в пьесах своих то, чего нет ни в одном его рассказе? Ведь рассказы эти — чудо сдержанности, душевного целомудрия, эмоциональной

чистоты, скромности, затаенного мужества, пронизательности, — и какая это редчайшая прелесть, чеховские рассказы: не говоря уж об «Архиерее» или «В овраге», но и «Крыжовник», «Ионыч», «Дама с собачкой», наконец несравненная «Душечка», прочитав которую, Лев Толстой сказал, что после нее «поумнел»! Откуда же в пьесах ходули, откуда дешевка чувств и настроений? Ответ, по-видимому, в том, что Чехов поддался влиянию театральной среды или, вернее, сознательно ей уступил, махнув рукой. Л.Л. Сабанеев на днях писал, что Чехов будто бы требовал от актеров насмешливой интерпретации лирических фраз в его пьесах и даже «небо в алмазах» советовал декламировать так, чтобы публика чувствовала преувеличение и шарж. С этим совпадает и то, что Чехов говорил Станиславскому о «Вишневом саде»: это будто бы не драма, а веселая комедия, чуть ли не водевиль.

Но невозможно поверить, что все это он говорил всерьез, с расчетом на то, что указания его будут приняты к исполнению, как соответствующие его замыслу. Гораздо правдоподобнее предположить, что по своей привычке он прятался за шутку, скрывая свои действительные мысли. По всей вероятности, ему — как позднее Бунину — было чуть-чуть «неловко» за самого себя, когда он «Трех сестер» или «Вишневый сад» писал, а в особенности, присутствуя при спектаклях и слушая во взвинченном и приподнятом актерском исполнении (актерам, к сожалению, почти никогда не бывает «неловко»!) вздохи Раневской или Сони. Ему, вероятно, хотелось что-то исправить, подсушить, подчистить, и он на крайность готов был придать оттенок смехотворный тому, что имеет оттенок слезливый. Скажу даже решительнее: судя по чеховским рассказам, нельзя и сомневаться, что именно таковы были его чувства. В рассказах безошибочно угадывается автор, и автор этот — совсем другой человек, чем тот, который предстает в пьесах. И художник другой.

Мне могут возразить, что касаюсь я только одной стороны чеховских пьес, и забываю о том, что в них хорошо. Возражение было бы правильно, если бы общий склад этих пьес не отражался на их бесспорных достоинствах и даже на их новизне. Действительно, способность воспроизвести всю бестолочь и боль существования под

обманчивым покровом банальнейшей обыденщины, способность создать драму «из ничего», — как сказал бы Шестов, — и дать почувствовать, что это драма не выдуманная, а подлинная, у Чехова замечательна и до него о возможности подобного драматического стиля мало кто догадывался. Но как жаль, что, вызвав боль, он тут же счел нужным прибегнуть к хлороформу в виде сладких, «красивых» и нежных слов, от которых человека, в забытьи не впавшего, мало-помалу начинает мутить.

Отчего этого не чувствуют иностранцы? Лично я уверен, что по-настоящему понять, или именно «почувствовать» писателя можно только при одном условии: его язык должен быть твоим родным языком. В речи есть основные тона и есть бесчисленные, тончайшие обертона: первые доступны каждому, они могут уцелеть и в переводе, но уловить вторые можно лишь при немедленном, безошибочном усвоении малейших интонаций и всего того, что таится за словами или осталось не вполне высказанным. Дает себя знать и различие в общем характере культур, в навыках, в притяжениях, в отталкиваниях, — особенно при сравнении русских, по Ницше, «самым неклассическим народом в мире», с французами.

Что же скрывать, нам, при всем нашем «варварстве», хочется иногда усмехнуться над тем, что нравится французам, — и наоборот. Лет двадцать пять тому назад, например, в парижском театре Питоевых шли «Евреи», драма Чирикова. И сама пьеса, и игра, и постановка были с русской точки зрения таковы, что мне казалось, будто я внезапно перенесся в доброе старое время и нахожусь где-нибудь в Рязани или в Чухломе. Между тем зрители-французы, представители нации с блистательными, трехсотлетними театральными традициями, в антрактах глубокомысленно обсуждали спектакль, качали головами, одобряли, словом были, по-видимому, того мнения, что спектакль достоин репутации Питоевых как театральных новаторов. А француз, побывавший прошлым летом в Москве, с изумлением рассказывал мне об идущих там «с аншлагом» представлениях «Сирано де Бержерака»: с изумлением, потому что не мог понять, чем эта трескучая и пустая французская комедия, впрочем <недурно написанная, москвы>чей прельщает и почему она кажется им образцом для подражания! С тем

же изумлением говорил он и о включении в московский репертуар пьес Скриба, которого даже в самой глухой французской провинции больше полувека никто уже не играет. Чириков в Париже. Ростан и Скриб в Москве — по существу явления одного и того же порядка (с той только разницей, скажу мимоходом, что Ростан и Скриб все-таки лучше Чирикова, и московская близорукость, значит, понятнее парижской). Но близорукость, изменяясь в степени, сама по себе неизбежна.

Во всяком случае, иностранцы, как бы ни были они авторитетны, знамениты и влиятельны, нам в наших русских делах — не указ. По патриотической слабости нам может иногда быть приятно, что чеховские пьесы идут в лучших столичных театрах всего мира и вызывают восхищение «элиты». Но усомниться в своем суждении мы из-за этого не можем и остаемся при своем мнении, остаемся при бунинской «неловкости», — за которую Бунин от имени великой и праведной русской литературы, — литературы с «абсолютным слухом», — достоин низкого поклона. Чехов к этой литературе принадлежит, занимает в ней одно из виднейших мест, но произведения, принесшие ему всемирную славу, — далеко не лучшие в его наследстве.

P.S. В январской книжке «Нового мира» помещен короткий рассказ В. Дудинцева «Новогодняя сказка». Обращаю на него внимание тех, кто после «Хлеба единого» утверждал, что роман этот, если и интересен, то исключительно по материалу, т.е. из-за изображения советских административных порядков. Дудинцев — талантливый, а в будущем, вероятно, и настоящий писатель, и, по-моему, это было очевидно и в «Хлебе», несмотря на шероховатости и длинноты. «Новогодняя сказка» не оставляет в его дарованиях сомнений.

По поводу Толстовского съезда в Венеции

В статье своей о чествовании Льва Толстого в Венеции Е. Ананьин-Чарский дал довольно обстоятельное представление об этом многолюдном съезде. Все же мне хочется добавить несколько слов к его отчету.

Прежде всего — о самой Венеции. Пусть, однако, читатель не пугается: я не собираюсь ее в сотый или тысячный раз «описывать», — да разве и можно Венецию описать? Пожалуй, лучшие строки о ней в нашей литературе принадлежат Тургеневу, уловившему «несказанную прелесть этого волшебного города».

«Кто Венеции не видел, тот ее не знает. Ни Каналетто, ни Гварди, не говоря уже о новейших живописцах, не в силах передать этой серебристой нежности воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок...»

Это очень хорошо сказано, с очень верным чувством, — да и вообще, по верности и остроте чувства весь венецианский эпизод в «Накануне» относится к лучшим страницам Тургенева. Роман в целом — далеко не первоклассный, куда слабее позднейших «Отцов и детей», «Дыма» и «Нови», — да, «Нови», к которой твердо установилось у нас глубоко несправедливое отношение как к вещи слабой, будто бы свидетельствующей об «упадке таланта». Очень советую тем, кто плохо «Новь» помнит, перечитать ее, проверить традиционный взгляд на нее: книга замечательная, умная, местами истинно поэтическая, без тех несколько приторных красот, которыми Тургенев иногда грешит, — никакого «упадка» в ней нет! О «Нови» стоило бы написать как-нибудь большую статью, попытавшись объяснить и выяснить, почему ей у нас не повезло, — но сегодня останемся мысленно в Венеции, раз уж благодаря Толстому пришлось опять в ней побывать.

Это, конечно, совсем не «толстовский» город, — в том смысле, что его действительно «несказанная прелесть» не сходится с толстовским представлением о прекрасном и никак ему не соответствует. Венеция ирреальна и феерична, она — сновидение, а не город. Когда из древнего сводчатого зала на островке Сан-Джорджо, после нескольких докладов о Толстом, участники съезда выходили к пристани, — и перед ними, под бледным, будто еще весенним небом, открывалась вдалеке единственная в мире, сказочная панорама, нельзя было сразу же не почувствовать: Толстой, может быть, не против всего этого, но Толстой чужд всему этому. Его ригоризм, его максимализм, его неутолимая требовательность, что «все или

ничего», плохо мирятся с тем, что в духовной плоскости таится за венецианскими миражами.

Надо, значит, выбирать! Или — или? Нет, слаб человек, и куда же всем нам угнаться за Толстым в этой готовности остаться «ни с чем», если «все» окажется недоступно: после двух-трех часов общения с толстовским духом Венеция убаюкивала, навевала «сны золотые» и как будто позволяла, а то и звала, жить, не мучая себя безответными вопросами, не ставя под сомнение всего, что в жизни мы любим.

Е. Ананьин-Чарский прав: общее впечатление от съезда было скорей смутное, временами даже хаотическое. Но к концу впечатление это сменилось другим: создалось единство, возник подъем. «О чем спорить? — как бы спрашивали себя вчерашние оппоненты. — Мы вспоминаем человека, с теми или иными утверждениями которого нам может быть не легко согласиться. Но человек этот искал света, всем людям нужного, и как никто другой знал, что такое жизнь и что такое смерть. Будем же благодарны за часы, проведенные в воспоминаниях и мыслях о нем...»

Разумеется, никто не высказал этого именно в таких выражениях. Но сквозило это в нескольких заключительных речах, — особенно отчетливо в последней речи Сальвадора де Мадариага, когда он неожиданно перешел с английского языка на французский и с передавшимся всему залу волнением обращаясь к «великой, дорогой, святой, таинственной России», говорил о свободе как о драгоценнейшем даре, который Толстым людям завещан. Мадариага был вообще одной из самых ярких фигур на конгрессе, одним из самых красноречивых его участников. Конечно, красноречие его по складу остается русским чуждо, хотя он и настаивал на духовном родстве Испании с Россией: на русский слух оно чуть-чуть слишком блестяще, чересчур декламационно, и Толстой, вероятно, поморщился бы, если бы ему повторили афоризм Мадариага, вызвавший в публике шумные, длительные рукоплескания, а у советских делегатов несколько смущенные улыбки:

— Не надо превращать ученика св. Марка в последователя св. Маркса!

Это, что и говорить, очень эффектно. Но именно Толстой отбил у нас к таким эффектам охоту и вкус.

Надо было видеть, однако, Сальвадора де Мадариага, когда один из ораторов, проф. Поджиоли, заметил, что после ряда мировых поэтов, — как Данте, Шекспир, Гёте, — Толстой был первым прозаиком мирового значения. «А Сервантес?» — вскрикнул Мадариага, будто ужаленный. Поджиоли должен был признаться, что о Сервантесе он действительно забыл.

Жаль, что нет возможности передать содержание иных докладов, — в частности, полного тончайших наблюдений и соображений доклада оксфордского профессора лорда Дэвида Сесилия, или чрезвычайно интересного сообщения Исаяи Берлина, — «сэра Айзайи» для англичан, — или догадок проф. Стремоухова о том, что прототипом Вронского был поэт Алексей К. Толстой, или речи Альберто Моравиа. Доктор Сергей Толстой, внук Льва Николаевича, выступил перед самым закрытием съезда и говорил именно как внук великого писателя, делясь кое-чем из того, что знает, помнит или в семье своей слышал. Вскользь он затронул тему, для потомков Толстого болезненную, до сих пор еще возбуждающую расхождения и споры, — о Софии Андреевне, и именно как медик взял ее под свою защиту. Кстати, на съезде присутствовало несколько внуков Толстого, — в частности, Татьяна Михайловна Альбертини, дочь Татьяны Львовны, — и было отрадно убедиться в их общем благоговейном отношении к памяти деда: они поняли то, чего упорно не хотели понять некоторые из сыновей Толстого, доставившие ему под самую старость много горьких минут, и своим присутствием они как бы искупали их грехи и ошибки: «Яйца, яйца курицу учат», как говорит в «Войне и мире» старый граф Ростов.

Что сказать о советской делегации? Е. Ананьин, по моему, не совсем основательно обрушился на доклад В. Ермилова или, вернее, высмеял его. Это был обычный советский доклад, с неизбежными ссылками на Ленина и прочими фиоритурами, но без той агрессивности, которой можно было ждать, и без стремления убедить слушателей, что только в Москве Толстого правильно понимают и по-настоящему чтут. Доклад этот вызвал, однако, довольно страстную реплику Марка Слонима, — что и привело к единственному «инциденту» на съезде. Ермилов ответил Слониму с не меньшим задором, но на

следующий день другой советский делегат Г. Марков, секретарь Союза писателей, пролил на «бунтующее море» елей, заявив, что мы собрались, мол, сюда не для политической перебранки, что мы чествуем великого гения, что Толстой всех должен бы объединить — и так далее. Слоним не возражал. Ермилов сочувственно и сокрушенно качал головой, на том дело и кончилось.

Самым любопытным советским выступлением был доклад проф. Гудзия, редактора полного, девяностотомного собрания сочинений Толстого: он привел множество примеров тех исправлений, которые в этом издании делаются для восстановления подлинного авторского текста, подвергшегося различным искажениям, — в частности, со стороны Софии Андреевны, вычеркивавшей слова, которые казались ей «непристойными».

В организации съезда был порок: слишком много докладов, следовавших один за другим, слишком мало времени для общей беседы. Беседа возникала в перерывах, или до начала и после конца заседаний, в чудесно-гармоническом по линиям четырехугольном монастырском садике — дворике, обнесенном легкой колоннадой. Кто-то, — если не ошибаюсь, Дос Пассос, знаменитый американский романист, — с усмешкой спросил среди группы делегатов:

— А что сказал бы сам Толстой, если бы послушал все то, что здесь о нем говорится?

Несомненно, — замечу от себя, — Толстой пожал бы плечами и сказал бы, что заниматься следует делом, а не пустяками, — как приблизительно сказал он это Тургеневу, когда тот звал его в Москву на пушкинские торжества. Но что же тешить себя иллюзиями, все мы всю жизнь занимаемся «пустяками», а на тех пустяках, которыми в течение четырех дней заняты мы были в Венеции, по крайней мере играл отблеск толстовского великого и облагораживающего духа.

По поводу одной из глав «Воскресения»

Есть у некоторых, даже самых великих и любимых писателей страницы и строки, которые хочется забыть. Но правде надо смотреть в глаза, и не к чему от нее от-

махиваться, будто то, что нам не по душе, не имеет и значения.

Есть такие строки, например, у Пушкина. Его чудесная легенда о рыцаре бедном, «Жил на свете...», одно из прекраснейших стихотворений когда-либо человеком написанных, по счастью, сохранилось в нашей памяти без тех шуточных, будто Вольтером навеянных строф, которые не могли быть пропущены цензурой. Редкий случай: цензура, сама того не сознавая, была на этот раз в союзе с духом русской поэзии. Но Пушкин-то написал то, что написал, и редакторы новейших изданий бесспорно правы, восстанавливая полный текст его стихотворения.

Не так давно в «Русской мысли» Юрий Терапиано привел в выдержках страницу из «Воскресения», относящуюся к православной обедне, — страницу, давшую Победоносцеву непосредственный повод к отлучению Толстого от Церкви (хотя другим, скрытым поводом было, вероятно, то, что Победоносцев, читая «Воскресение», узнал себя в Топорове: портрет достаточно ярок, не узнать было трудно!) Конечно, я эту страницу помнил. Помню даже свой разговор с Алдановым в одну из последних моих с ним встреч: он возражал на мои отрицательные замечания, касаясь, впрочем, только литературной стороны дела и восхищаясь силой, с какой вся эта глава написана. Об этом спорить было невозможно: Толстой остался Толстым и в семьдесят лет, когда над «Воскресением» работал. А все же глава эта крайне тягостна, — и перечитывая ее, я вновь, чуть ли не в десятый раз, тягость эту испытал, как, не сомневаюсь, испытали ее и многие, многие другие. Зачем Толстой это написал? — спрашиваешь себя. Если даже он был к предмету своих насмешек безразличен, как мог он не подумать о людях, для которых они оскорбительны? Не оттолкнул ли он тех, в особенности тех «малых сих», кто, вероятно, сочувствовал ему в его поисках нравственной правды? Зачем, зачем он эту главу написал, он, сделавший больше кого бы то ни было для религиозного оживления и даже возрождения России?

Надо дать себе на эти недоумения ответ. И в этом смысле, пожалуй, даже хорошо, что цитата из «Воскресения» появилась в газетной статье, притом именно в юбилейные дни, — хотя, признаюсь, первое чувство мое было

иное, т.е. мне показалось, что сделано это было напрасно и не вовремя. Нет, Толстой — не такое явление, чтобы юбилей его можно было свести к благодушной декламации о «великом писателе русской земли» или о незабываемой прелести созданных им поэтических образов, например Наташи Ростовой. Конечно, он действительно был «великим писателем русской земли» (кстати, не «земли русской», как обычно цитируется. У Тургенева было достаточно литературного вкуса, чтобы избежать напыщенно-слащавой перестановки слов: в его знаменитой предсмертной записке сказано «русской земли»). Действительно, Наташа Ростова — образ незабываемый.

Но общее, единственное значение Толстого в эти рамки не укладывается, и надо иметь мужество в него взглянуть, ничего произвольно не отменяя, никаких углов не сглаживая. Надо самим себе объяснить, чем эта глава «Воскресения» внушена, надо почувствовать, какое глубокое, мощное стремление к вере, какая потребность веры за ней таится. Словом, надо понять, почему Толстой был и остается самым дорогим и величайшим русским именем, какие бы кощунства из-под пера его ни вырвались.

«О, если бы ты был холоден или горяч...», — вспоминаются мне слова из Апокалипсиса, восхитившие и потрясшие перед смертью Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах». «О, если бы ты был холоден, или горяч, но поелику ты тепел...». Толстой был страстным, даже не горячим, а огненным человеком, нетерпимым ко всякой лжи и лицемерию. Его сравнивали с библейскими пророками, и сравнение это верно. И притом родился он человеком сложнейшим, у которого рассудок был не менее требователен, чем совесть. Толстой был измучен жадной веры, не легко ему дававшейся, но отказывался верить в то, чего не в силах был понять, — и не в пример всем нам, привычно отделивающимся фразами о тайнах и неисповедимых путях, нам, готовым верить с чужих слов, по чужим свидетельствам, Толстой бился головой о стену, ища мира для своего вечно встревоженного сознания. В «Критике догматического богословия» есть у него удивительная страница, написанная в связи с догматом Троичности, решительно им отвергаемым. С формальной точки зрения это страница тоже кощун-

ственная, но неужели найдется кто-нибудь, кто не согласится, что только человек с душой библейского пророка мог обратиться к Богу слова полные такого отчаяния?

«Вот, тот непостижимый, но существующий, тот, по воле которого я живу. Ты же вложил в меня это стремление познать себя и меня. Я заблуждался, я не там искал истины, где надо было. Я знал, что я заблуждался. Я потворствовал своим дурным страстям и знал, что они дурны, но я никогда не забывал Тебя! Я чувствовал Тебя всегда и в минуты заблуждений моих. Я чуть было не погиб, потеряв Тебя. Но Ты подал мне руку, я схватился за нее, и жизнь осветилась для меня. Ты спас меня, и я ищу теперь одного: приблизиться к Тебе, понять Тебя, насколько это возможно мне. Помогите мне, научите меня!.. Ты, Бог любви и правды, приблизь меня к себе, открой мне все, что я могу понять о себе, и о Тебе».

Тут же Толстой говорит, объясняя свою неспособность верить в то, что ему непонятно: «Не мог Бог велеть мне верить! Ведь я не верю именно потому, что я люблю, чту и боюсь Бога. Я боюсь поверить лжи, окружающей нас, и потерять Бога», — и неужели найдется кто-нибудь, кто не почувствует, что даже восставая на один из основных христианских догматов, Толстой все же имел право это сказать? И что, как пишет где-то Лев Шестов (если не ошибаюсь, ссылаясь на Гегеля) — «Богу иная хула должна быть сладостнее славословия». Да впрочем, здесь и нет хулы на Бога: замечательно и достойно самого пристального внимания, что богохульства у Толстого нет нигде. Есть лишь то, что можно определить как кощунство, относящееся к церковным установлениям, обрядам, догматам. Но никогда Толстой не идет дальше, выше, — как делают это некоторые другие великие писатели, которым это гораздо легче просталось: вероятно, потому просталось и прощается до сих пор, что они менее страстны, менее прямолинейны и меньше мешают нам беспечно жить-поживать. Они для нас союзники, и это нам льстит. А Толстой — обличитель и мы рады поймать его на поступке, позволяющем и нам стать в обличительную позу.

Но за обедней в «Воскресении» есть не только расудочное отталкивание от обрядов и таинств. Есть и другое.

Толстой принял в христианстве мораль, отвергнув его метафизику. Однако мораль он принял полностью, и гнев свой, возмущение свое обратил на тех, кто в истолковании Евангелия, а еще больше в согласовании жизни с евангельской проповедью склонен идти на компромиссы. «Христос сказал то, что сказал», — настойчиво повторял Толстой, отказываясь понять, как могут служители Христа молчаливо потворствовать делам, а то и благословлять дела, явно идущие вразрез с Его учением. Между тем... но тут я принужден поставить много-точие, так как иначе пришлось бы исписать множество страниц. Да кто же и без этого не понимает, что Церковь, бывшая частью государства, не могла соблюсти чистоту евангельского учения? Кто же не знает, что именно этот разлад оказался одной из главных причин возникновения русского сектантства в различных его видах и формах и что были у нас и духовные лица, которых этот разлад смущал, искушал и мучил? Но это — исключения. Обыкновенные, рядовые люди только вздыхали, сознавая свое малодушие и свое бессилие из порочного круга выйти, рядовые люди сокрушались: «да, да, конечно... но что же делать?», а Толстой, человек не рядовой, был потрясен противоречием слов и дел, и чем больше было показной верности Евангелию на словах, тем он яростнее вскрывал отпадение дел от того, чем быть им следовало бы. Именно этим больше всего и была продиктована обедня в «Воскресении»: несговорчивая рассудочность — само собой, но основным, коренным была боль за Истину, боль и ужас при виде пышной, величавой, но механически-привычной обрядности, прикрывавшей — как Толстому представлялось — безразличие к живому смыслу евангельской проповеди и даже отвлекавшей от нее внимание.

Да, вырванная из всего, что Толстой писал, и вообще из того, что он, как духовное явление, собой представлял, глава эта тягостна, — и речь ведь вовсе не о том, чтобы ее возвеличивать или оправдывать. Нет, но надо понять, что такое Толстой в целом, чтобы отнестись к ней как к выпадку человека, которому в долгих и мучительных поисках «божественной правды» случалось и сбиваться с пути. «О, если бы ты был холоден или горяч», — вспоминаю еще раз. Теплые с пути не сбиваются. По счастью,

и в среде служителей русской Церкви все больше теперь людей, которые находят в себе силы Толстого оценить и верят, что если по каноническим мерилам он и погубил свою душу, то по другим, неписанным заповедям, может быть, спас ее. Недаром же именно об этом, о возможности такого спасения таинственно и настойчиво говорит книга, одинаково дорогая и ему, и им.

Восьмидесятилетие Бориса Константиновича Зайцева

Все, вероятно, согласны, что русская литература — лучшее, что Россия дала. Ни в какой другой области великая даровитость нашего народа не обнаружилась с такой полнотой и убедительностью, — ни в какой другой, не исключая и музыки. Хороша русская музыка, но Пушкина, Толстого, Тютчева, Достоевского, Лермонтова в ней все-таки нет! Не тот духовный уровень, не та глубина и сила.

Конечно, произнося эти два слова «русская литература», как нечто достойное стать в один ряд с тем, что было создано людьми наиболее замечательного, имеешь в виду главным образом наш девятнадцатый век. Покойный Алданов настойчиво повторял, что великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате», последней большой повести Толстого, — и помню, сказал он это однажды в присутствии Бунина, который явно с ним был согласен, хотя тут же, притворяясь слегка обиженным, полушутливо, полуворчливо возразил:

— Ну, что вы, Марк Александрович, зачем же преувеличивать?.. Были и после Толстого неплохие писатели!

Спорить было бы смешно. Были и после Толстого писатели в самом деле «неплохие». Но я уверен, что Борис Константинович Зайцев, как в глубине души и Бунин, тоже согласился бы с Алдановым: великая русская литература — это девятнадцатый век, наш «золотой» век, почти непостижимый по внезапности, стремительности и высоте взлета, притом «из ничего», без настоящей подготовки, будто Россия, чувствуя, как она отстала от Запада, решила одним броском наверстать упущенное. Не случайно Поль Валери, человек с очень острым чу-

тьем, безошибочно догадывавшийся о том, чего, в сущности, не знал, заметил, что русский девятнадцатый век — «третье чудо в истории мира», третье после Афин и итальянского Возрождения. А чудеса долго не длятся и не повторяются.

Борис Зайцев дорог русским читателям вовсе не только как олицетворение связи с прошлым и непрерывности литературного развития. Он дорог сам по себе, и живи он в другую эпоху, отношение к нему осталось бы тем же. Он несомненно один из тех писателей, которых вместе с собой имел в виду Бунин, когда возражал Алданову. И хочется добавить — из тех немногих писателей, — потому что сколько за последние годы и десятилетия померкло в нашем сознании звезд, казавшихся когда-то ослепительно-яркими, и какую переоценку волей-неволей пришлось нам мысленно произвести! Но Зайцев уцелел, остался: ни время, ни события, наше время наполнившие и даже его переполнившие, Зайцева не тронули и прелести его писаний не уменьшили.

Слово «звезда» подвернулось мне только что случайно. Но нет писателя, в котором отчетливее и таинственнее чувствовалось бы что-то именно «звездное»: голубое, лучистое, далекое мерцание, не совсем земное, будто коснувшееся на пути к земле каких-то «миров иных». Да, тут же матушка-Москва со своим привольем и раздольем, тут же быт, иногда густой и плотный, как, например, в повести «Анна», но если не присутствие, то отсвет «миров иных», воспоминание о них, у Зайцева везде, — и звезды, как их зримый образ... — Все это своеобразно до крайности, — своеобразно и литературно, и человечески.

Но в юбилейные дни критический анализ, даже самый доброжелательный, не совсем уместен, и хотя о Зайцеве много уже было написано, окажем доверие будущему исследователю, «будущему историку», лицу проблематическому, но который должен бы когда-нибудь явиться и должен бы сказать о Зайцеве то, чего нам до сих пор сказать все-таки не удалось.

Сегодня, к празднику зайцевского восьмидесятилетия, надо поделиться другими соображениями: Борис Константинович среди нас — будто оплот, охрана, залог того, что не все еще «идет к черту», как говорил Чехов, боясь смерти Толстого и некоего «все позволено», ко-

торое после нее могло бы распространиться. Сейчас на Зайцеве — долг. Это, очевидно, передается от одного к другому, из рук в руки — как символ старшинства, я не знаю, к кому перейдет такая роль после Зайцева, — предвидеть трудно! Но сейчас она принадлежит ему, сознает он это или не сознает, хочет он этого или нет: сейчас предводительство, представительство русской литературы — не только его право, но и его обязанность, и вспоминая, что первые, но уже типично зайцевские вещи его появились, когда только что еще было написано «Воскресение», радуешься тому, что он еще по-прежнему бодр и духовно молод.

Все движется, все изменяется, и нелепо было бы стремиться ход жизни задержать. Не об этих безнадежных, юлиановских затеях речь. Но движение не есть разрыв, и присутствие в нашей литературе человека, который прошлое соединяет с настоящим, удерживает ее облик от искажения.

Дай Бог Борису Константиновичу сил на еще долгие годы! О будущем всегда чуть-чуть жутко думать, а в такое время, как наше, тем более. После нас, что будет? Поймут ли наши внуки и правнуки, почему мы с тревогой представляли себе их жизнь, их участь, их книги? Почувствуют ли они, что нам не было «все равно», когда мы пытались перенестись мыслью в далекое, неведомое будущее, и что мы сознавали долю и своей ответственности за него?

Здесь, в нашей оскудевшей литературной семье, Зайцев — тот человек, последний, после которого смутная, все усиливающаяся растерянность может стать всеобщей, и чем дольше он во главе этой семьи простоит, тем легче ей будет остаться своему назначению верной. Оттого его сегодняшний праздник — наш праздник. Едва ли найдется русский писатель, который, кланяясь ему сегодня, этого не понял бы.

«На врачебном посту в земстве»

Первые страницы воспоминаний доктора С.Ф. Вербова менее интересны и содержательны, чем все то, что следует за ними. О дореволюционном студенческом жи-

ть-быть, о юных иллюзиях и разочарованиях, о политических волнениях в университетах рассказано было много раз, и хотя Вербов пишет об этом с живой непосредственностью, а иногда и юмором, самый предмет его рассказа настолько знаком, что внимание мало-помалу рассеивается.

Но читателю, который, поддавшись этому первому впечатлению, ограничится тем, что только перелистает и дальнейшие главы книги, придется потом пенять на самого себя. Едва только Вербов переходит к своей врачебной практике, как в повествовании его появляются верные наблюдения, проницательные догадки и мысли, и не только становится оно увлекательным, но часто заставляет и задуматься. Медицина ведь каждого из нас так или иначе «касается», и едва ли я ошибусь, сказав, что, например, медицинские заметки в газетах и журналах читаются усерднее иных больших статей на темы политические или литературные. А у Вербова его медицинские размышления связаны с картинами темной и бедной среды, в которой ему, только что выпущенному из университета врачу, пришлось работать, и одно с другим складывается в рассказ, полный значения и внутренней правдивости.

Первое, самое острое ощущение молодого врача, который вместо книг и руководств оказался лицом к лицу с «живым больным», — беспомощность и растерянность. Об этом Вербов вспоминает вполне откровенно, и, вероятно, многие его товарищи по профессии испытали то же самое, — особенно в те, уже далекие времена, когда университетское преподавание сводилось преимущественно к чтению лекций. «Ничего не знаю», «никогда этого не видал», «не помню, что в таких случаях рекомендуется делать», — вот первая реакция молодого земского врача на внезапно открывшуюся ему бесконечную разновидность человеческих немощей. Однако Вербов уже и тогда отдавал себе отчет в том, что врач должен внушить больному доверие к своим знаниям и что лечение без этого не даст и половины желаемого результата.

Кто не знает этого по себе, или хотя бы по семейным наблюдениям и воспоминаниям? Больной, в особенности если болен он серьезно, опасно, жаждет доверия к врачу, ищет, требует его, и весь организм больного тя-

нется навстречу этому целительному доверию. А между тем, если взглянуть со стороны, можно ли не понимать, что и самый авторитетный, прославленный профессор, склоняясь над постелью больного, порой недоумевает: что у этого несчастного? как ему помочь? как бы не ошибиться в диагнозе? — и пожалуй даже, чем врач опытнее и прозорливее, тем настойчивее сомнения одолевают его. (Есть у Селина в его замечательном «Путешествии вглубь ночи» — книге, вызвавшей в свое время много шума, а теперь позабытой, вернее, умышленно «замолчанной», к чему, впрочем, личность автора дала немало поводов, — есть у Селина любопытнейшая страница об этом: разговор старика-академика со своим учеником, пришедшим к нему посоветоваться о ребенке, по-видимому, заболевшем скарлатиной. Старик отвечает: «видишь ли, знай я только то, что знаешь ты, случай этот я считал бы совсем простым и ясным! Но с каждым годом я все больше убеждаюсь в загадочной сложности и своеобразии каждого человеческого организма и по совести все меньше чувствую в себе врачебной уверенности». Разумеется, у постели больного он в этом не признался бы и был бы прав.)

Вербов умело скрывал от больных свои сомнения, а количество лекарств, которыми он в качестве земского врача в сельской глуши располагал, было так ничтожно, что точность диагноза все равно большого значения на практике иметь не могла. Приходилось прописывать то, что находилось под рукой. Помогала, да отчасти и укрепляла веру врача в свое дело, близость «всесильной и благодетельной» — как выражается Вербов, — природы: врачевал свет, солнце, воздух, чудесно чистый, «богатый кислородом от изобилия трав, цветов, лесов, пропитанный растительными соками». О природе Вербов пишет много, с увлечением, и хотя в медицине я полнейший профан, однако догадываюсь, чувствую, что пишет он умно и верно, в согласии с тем, что и профанам, и ученым одинаково подсказывает их жизненный опыт. Не менее убедительно и то, что говорит он о целительных силах, существующих в организме, и о том, что задача врача — «по существу лишь облегчать, или в лучшем случае усиливать, а иногда и вызывать к жизни действие этих сил». Каждый человек чувствует эти силы в себе

и знает, к чему приводит при заболевании их упадок или, наоборот, их отказ от сдачи, их бунт и сопротивление.

Но, конечно, огромный, всесторонний опыт, мало-помалу приобретающийся земским врачом, — которому приходилось и бороться с эпидемиями, и быть акушером, и рвать зубы, — заставлял его лучше, полнее понять и усвоить все то, что ускользает от человека городского, и даже от врача городского, к тому же ограничивающего себя одной, узкой специальностью. Бесспорно, в своей области специалист располагает сведениями, которых не могло быть ни у какого земского врача. Но если признать, что медицина — наука широкая (притом все расширяющаяся по сравнению со временами, когда Базарову казалось, что для постижения всех ее тайн достаточно «резать лягушек»), наука в финальных своих очертаниях крайне зыбкая и неясная, надо признать и то, что общее знание жизни, знание человека, а не только процессов, происходящих в его теле, дает в ней очень многое. С того дня, как Вербов растерянно глядел на страдальца-мужика, умолявшего сделать ему «пырацию», и потом, в течение долгих лет земской практики, он выучился тому, чего ни в каких руководствах не нашел бы.

В высшей степени интересно все то, что рассказывает он о недоверии крестьян к медицине, и даже не столько к самой медицине, сколько к врачу, который для них был прежде всего «барином». А раз барин, то надо быть настороже, раз барин, то добра от него не жди! Вспоминаю в связи с этим давние слова Бунина, знавшего русскую деревню, как мало кто другой: «если русскому мужику сказать, что сегодня погода хорошая, а завтра, пожалуй, будет дождь, мужик примется думать: зачем он мне это сказал? не для того ли, чтобы у меня что-нибудь выманить, как-нибудь меня обмануть?»

Да вспомнить можно и многое другое: например, Нехлюдова из «Воскресения», тщетно пытающегося отдать крестьянам свою землю во владение («Даром землю отдам, говорит, только подпишись!.. Подпишись вдвоем с другим мужиком, Тит! Мало они нашего брата околпачивали»). Или того же Базарова и его разговор с мужиком, который бормочет что-то умилительно сладкое, — «вы наши отцы», — а оставшись вдвоем с другим

мужиком, изменившимся, суровым голосом замечает: «барин, вот и захотелось языком почесать!» Это, впрочем, вопрос, который отвлек бы нас очень далеко от книги Вербова, да по существу это и один из «проклятых» вопросов русской истории, с тяжкими и огромными в ней последствиями, — чему мы и оказались невольными свидетелями.

Записки земского врача должны бы найти широкий отклик, вызвать внимание. О том, что Вербов — писатель, наделенный особым даром повествовательной легкости и непринужденности, мы знали еще по его предыдущей книге — о юношеском путешествии через днепровские пороги. Но то было чтение скорей развлекательное, чтение «для отдыха», а теперь, при той же писательской манере, автор делится воспоминаниями, которые чуть ли не на каждой странице вызывают ответные мысли.

Русская литература на Западе (по поводу книги Софи Лаффит)

Есть вопрос, на который трудно ответить без колебания, — настолько противоречивы мысли, им вызываемые: нуждается ли русская литература, и прежняя, и новая, в том, что можно бы назвать пропагандой в ее пользу? Должны ли мы бороться с некоторым безразличием, окружающим на Западе русское творчество, — безразличием несомненным, если только не поддаваться приятным иллюзиям? Нет ли чего-то досадного и даже слегка унижительного в стремлении ознакомить Запад с тем, к чему, в сущности, он подлинного интереса не имеет?

Мне возразят, вероятно, сразу же: что вы, что вы, интерес есть, он велик, он все растет! Нет, это впечатление обманчивое, и уж во всяком случае мнимый, поверхностный «интерес» этот мало имеет общего с тем страстным, нетерпеливым, тревожным вниманием, с которым мы в России относились ко всему западному, вниманием, которое по всем признакам настойчиво пробивается теперь и у молодежи советской. Мы в России не ждали, чтобы французы или англичане осведомили нас о своих

поэтах, об основных западных книгах, о тех суждениях и оценках, которые устанавливаются в Париже или Лондоне: мы сами торопились все это узнать, все это понять, и свои оценки мы сталкивали с иноземными, то уступая, то оставаясь при своем. Препятствия в языке? Нет, язык тут почти ни при чем. Причины гораздо глубже, коренятся они в самом различии культур, — откуда, конечно, было бы крайне опрометчиво, и даже просто глупо, делать вывод, что наша культура была лучше. Не лучше, нет, а отзывчивее и как будто пористее. Дело, по-видимому, в том, что Запад в своих духовных очертаниях округлен, замкнут, сам себе «довлеет», представляет собой исторический мир, способный еще долго жить, питаясь своим собственным содержанием. Но факт остается фактом. Да, кое-что — помимо классиков — о русской литературе французам или англичанам, немцам или итальянцам действительно известно: Маяковский, например, — имя его знают все. Как же, помилуйте, «великий революционный поэт», — и скажу мимоходом, я менее всего склонен отрицать, что Маяковский был поэтом подлинным, исключительно даровитым, хотя и променявшим творчество свободное на работу по заказу, по мерке и постороннему внушению... Но вот Тютчев был поэтом гениальным, а еще недавно можно было найти в одной английской книжке указание, — очевидно, в качестве рекомендации или диплома, — что Тютчева, видите ли, ценил Маяковский! Кто на Западе знает Тютчева, кроме специалистов, кроме ученых исследователей? Кто слышал имя Иннокентия Анненского, которого, кстати, Маяковский тоже «ценил» («Анненский, Тютчев, Фет» — в одном из стихотворений 1917 года)? А ведь если собрать всех русских поэтов, в том числе и советских, и предложить им честно, чистосердечно ответить, кто для них дороже, Тютчев или Маяковский, то вызовет это у огромного большинства лишь изумленную усмешку: как можно имена эти ставить рядом? И даже сопоставление с Анненским оказалось бы для Маяковского катастрофическим.

Примеров, впрочем, не оберешься, и вот еще один из них: глубокое расхождение в оценке чеховских пьес, которые западной «элитой» приравниваются чуть ли не к Шекспиру, а взыскательным русским читателям

и зрителям давно уж представляются испорченными неврастенической сентиментальностью и приторным лиризмом в духе «неба в алмазах». И что особенно показательно — полное отсутствие любопытства к этому русскому ощущению непрерывной фальши и слащавости, ощущению, которое в качестве реакции соотечественной имеет все шансы оказаться реакцией верной! Или случай с «Доктором Живаго», в котором за шумом политическим, и политически оправданным, повсюду на Западе обнаружилась наивность в отношении русских литературных перспектив, приведшая к тому, что роман этот — более значительный как «человеческий документ», как «глас вопиющего в пустыне», как явление духовное, чем как явление художественное, — был провозглашен новой «Войной и миром».

Что же, надо на самих себя и пенять? Значит, мы плохо осведомляем Запад о жизни, о развитии, о судьбах русской литературы? Вот тут-то и запятая, — как говорит Иван Карамазов. Уверенность в русском литературном равноправии с любой из великих западных литератур заставляет воздерживаться ото всего сколько-нибудь похожего на искательство, на навязывание, да и вызывает сомнение в результатах этой настойчивости. Иногда хочется сказать: поинтересуйтесь, полюбопытствуйте сами, спросите, справьтесь, прочтите, сравните, подумайте, но не ждите от нас, что мы будем просить о внимании! Если его маловато, то, очевидно, не очень велика и потребность в нем.

Эти свои соображения я высказываю «в дискуссионном порядке». Предвижу, что многим они покажутся односторонними, а то и вовсе ошибочными. Не думаю, чтобы ошибся я «стопроцентно», но начал-то я с указания на колебания не случайно, — допуская, значит, возможную основательность и другого взгляда. Если чувство, о котором я упомянул, и возникает, то ведь преимущественно потому, что слишком уж живуча оказалась «клюква» во всех ее разновидностях, облициях, оттенках и степенях: нечто вроде репейника из предисловия к «Хаджи-Мурату».

Но отбросим крайности. Нечего поздравлять друг друга, нечего умиляться и гордиться, когда какая-нибудь действительно замечательная русская книга обра-

тит наконец на себя внимание, но нельзя и не воздать должного тем, кто в этом смысле России и русской культуре достойно и со знанием дела служит.

София Григорьевна Лаффит служит России и русской культуре уже довольно много лет, усердно, трудолюбиво, с большой проникательностью и чутьем. Еще совсем недавно русские парижане могли в этом убедиться на интересной и богатой толстовской выставке, которую именно она, в качестве заведующей русским отделом Национальной библиотеки, и устроила. Первая литературная работа Софи Лаффит появилась вскоре после войны — большая монография о Блоке. За этим последовали книги о других русских поэтах, — о Есенине, с обстоятельной вступительной статьей, об Анне Ахматовой, составленная главным образом из переводов. Последняя работа Софи Лаффит — «Лев Толстой и его современники», бесспорно самая ценная из всех, не говоря уже о том, что она и наиболее увлекательна.

Не только тема этому причиной, но и подход к теме, то личное, живое, непосредственное, прихотливое, порой даже своевольное, что автором внесено. Монография о Блоке была исследованием академическим. Здесь, в книге о Толстом, если от какого-либо академизма след и остался, то лишь в виде библиографических данных, в обилии ссылок на года и даты, в тщательности примечаний к именам и названиям. Но самый характер изложения настолько необычен, или даже фантастичен, что вначале читатель невольно спрашивает себя: что это, сплошной вымысел? Прочитав главу-другую, он с повествовательной манерой Софи Лаффит свыкается, а закрывая книгу, о недоумениях своих и забывает, — подчинившись закону, согласно которому «победителей не судят».

В прологе действие происходит — именно «действие происходит», ибо книга, как драма, разделена на «акты», — в редакции «Нового времени», в достопамятном Эртелевом переулке. В кабинете старика-Суворина сидят Чехов и Розанов и беседуют с хозяином о Толстом. Была ли когда-нибудь такая беседа? Вопрос этот в данном случае праздный, так как на историческую точность действия автор не претендует. Остается он по мере воз-

возможности верен лишь точности высказываемых мыслей, и читая этот обмен мнений, то и дело припоминаешь: вот это из писем Чехова, другое сказано Розановым в «Уединенном» или в «Опавших листьях», третье — из бунинских воспоминаний о Чехове, — и так далее.

Глава о Толстом и Тургеневе составлена иначе, в соответствии с образцами более традиционными, и по богатству собранного в ней материала, да отчасти и благодаря сложности толстовско-тургеневских взаимоотношений, от страниц этих подлинно «нельзя оторваться». Дальше глава... нет, не глава, «акт второй»: Толстой и Достоевский. Как известно, два наших величайших писателя не были лично знакомы, — по вине Толстого, который отказался от предложения Страхова познакомить его с Достоевским, когда оба они были в Соляном Городке на лекции Владимира Соловьева (теперь это кажется чем-то невероятным, почти что сказочным: на эстраде — Соловьев, в публике — Толстой и Достоевский!)

Софи Лаффит не доходит в своей вольности до того, чтобы «вообразить» встречу Достоевского с Толстым, она поступает иначе: Достоевский у нее незадолго до смерти беседует с любимой «бабушкой» Толстого, долголетним его другом, Александрой Андреевной Толстой, и высказывает ряд мыслей о «Войне и мире» и «Анне Карениной», а попутно и об общем характере толстовского творчества. Картина убедительна и правдоподобна, лихорадочный стиль Достоевского с непрерывными отступлениями в сторону воспроизведен очень удачно, и это тоже глава захватывающая. Однако здесь Софи Лаффит делает то, от чего по отношению к Тургеневу воздержалась: она как бы продолжает мысли Достоевского, развивает, дополняет их, приписывая Достоевскому суждения, которые тот мог бы высказать, но на самом деле не высказывал. Крайне интересно все, что Достоевский у нее говорит о Наполеоне, иногда с дословной точностью повторяя Раскольникова. По-видимому, сама Софи Лаффит принадлежит к людям, которых образ Наполеона неотразимо пленяет и волнует, — это чувствуется в книге между строками, а что Достоевский, вслед за Пушкиным и Лермонтовым, мог бы быть при-

числен к посмертной наполеоновской литературной свите, сомнений нет*.

Одна мелочь меня озадачила: опровергая в беседе с Александрой Андреевной толстовский взгляд на Наполеона как на «ничтожное орудие истории», Достоевский ищет поддержки у нескольких великих и проницательных людей и называет Гёте, Байрона, Пушкина, Лермонтова и Ницше. Насколько помню, нигде, ни в одном из писем Достоевского, не говоря уже о «Дневнике писателя», имя Ницше не упоминается. Если даже допустить, что Достоевский, этот много читавший, за всем следивший, обо всем новом и необычном беспокоившийся человек (заинтересовался же он Лобачевским, судя по трактирному разговору Ивана с Алешей!) — если даже допустить, что Достоевский о Ницше слышал, то указывать на преклонение его перед Наполеоном не мог никак. Ко времени смерти Достоевского едва кончился вагнеро-шопенгауэровский период в умственном развитии Ницше, а все «сверхчеловеческое» нашло выражение свое позднее, в восьмидесятых годах. И во всяком случае при жизни Достоевского Ницше ни для кого еще авторитетом не был, так что ссылка на него не могла бы иметь значения.

Конечно, это мелочь, и путаница произошла тут только в хронологии, а не в самом существе дела. Но мелочь это характерная для своего рода сотрудничества автора с представленными им лицами и для его вторжения в их разногласия.

* Удивительное явление, этот культ Наполеона! Объяснение его, вероятно, в тусклом, прозаическом однообразии современного быта, в безотчетном отталкивании от того «всемства», которое ужасало К. Леонтьева. Достаточно взглянуть в притихшую, но явно взволнованную толпу над наполеоновской гробницей, чтобы убедиться в какой-то иррациональности этого культа. Не «самая головокружительная в мировой истории карьера», по формуле Алданова, не просто выдающийся полководец или государственный человек, как, скажем, Веллингтон или Бисмарк, а последний западноевропейский миф, последняя легендарная личность, легендарная судьба. Отклики возникают до сих пор, и нельзя предвидеть, где и у кого. В недавно вышедшей шестой книжке «Мостов» напечатаны отрывки из писем Марины Цветаевой к А.В. Бахраху. Оказывается, Цветаева, приезжая в Париж, останавливалась не где придется, а на рю Бонапарт — «из любви к Императору».

На полях «Толстого и его современников» можно бы написать почти столько же, сколько написано в книге самой Софи Лаффит, и говорю я это отнюдь не как упрек, а наоборот, как доказательство идейного богатства и своеобразия ее работы. Восклицательными, а то и вопросительными знаками хотелось бы испещрить каждую страницу! Не все верно, но зато все интересно. Неверным кажется мне, например, утверждение, — в том же «акте» о Достоевском, — что Раскольников раскаивается в преступлении. Глубокая оригинальность романа Достоевского тем и обусловлена, что Раскольников раскаивается вовсе не в убийстве, а только в том, что в убийстве сознался. Даже на каторге он еще признает, что его «совесть спокойна», даже на каторге он еще недоумевает, есть ли какой-нибудь смысл в слове «злодеяние», а самые последние, противоречащие всему замыслу, строки приделаны Достоевским явно под занавес, для спокойствия читателей, для «счастливого конца» (об этой «благочестивой лжи» правильно и пронизательно писал покойный Мочульский в своей книге о Достоевском). В эпилоге, посвященном «анти-толстовцам» Ленину и Горькому, преувеличенной представляется мне панегирическая оценка Горького, в особенности его воспоминаний о Толстом, как «лучшего, что о Толстом было написано». Спору нет, воспоминания талантливы и ярки. Но одна заключительная страница бунинских воспоминаний о «горестном» Толстом глубже всего, что удалось рассказать Горькому. Кстати, Бунин утверждал, что записи Горького насквозь лживы. Не берусь судить, насколько это верно в целом, но действительно попадают в них свидетельства неправдоподобные. Кто Толстого читал, кто хоть сколько-нибудь его почувствовал, тот голову даст на отсечение, что многого, приписанного ему Горьким, он сказать не мог.

В Крыму, например, на дороге стояли великие князья. Толстой ехал верхом и должен был остановиться. Великокняжеский конь отошел в сторону и Толстого пропустил. Тот в укор недогадливым высочествам будто бы сказал:

— Лошадь, и та поняла, что надо Толстому дать дорогу!

Невозможно! Если бы Горький даже нотариально заверил подлинность своей записи, то и тогда невозможно было бы сомневаться, что она им выдумана — или, по крайней мере, что слова Толстого в ней извращены до неузнаваемости.

Да, жаль, что потребность и стремление кое-где дополнить мысли Софи Лаффит соображениями собственными, а кое-где с ней и поспорить, поневоле должны в газетной статье остаться неосуществленными. Ее писательский задор, ее авторский темперамент к спору располагает сам собой, а иногда располагает и к улыбке. Не то удивляясь, не то любуясь автором, говоришь себе: какая живость и непосредственность, какая свежесть и смелость! Кто, в самом деле, из писателей уже довольно солидных, составивших себе имя, решится употребить в отношении толстовских мыслей эпитет «возмутительный», «возмутительно»? (возмутительны, по мнению Софи Лаффит, выводы из «Так что же нам делать?»). Общее мое впечатление сводится к тому, что автор «Толстого и его современников» — человек скорей «достоевский», чем «толстовский»: психологически эта разница огромная, говоря языком Пушкина — «дьявольская». Но в книге, даже и с выпадами насчет «возмутительности», много искреннего, неподдельного восхищения Толстым и есть в ней редкая способность понять то, что по природе должно бы автору остаться чуждо. В этом ее и ценность.

Начал я свою статью как будто «за упокой», кончаю — «за здравие». Тем лучше, и надеюсь, никто на меня за это не посетует.

Николай Оцуп

С Николаем Оцупом связаны у меня воспоминания, восходящие к ранней молодости. Воспоминания почти бесчисленные, хотя и разрозненные.

Оцуп появился в Петербурге года за два до революции. Приехал он из Парижа, где учился в Сорбонне, и вызван был, если не ошибаюсь, по делам, связанным с воинской повинностью. Помню статного, крепкого розовощекого молодого человека с чем-то спортивным

в выправке, подчеркнуто вежливого и корректного, даже несколько «подтянутого». Помню и свой первый рассеянно-небрежный вопрос, к нему обращенный:

— Вы, кажется, тоже поэт?

И его ответ, в суховатой сдержанности которого чувствовалось не столько смущение или даже обида на мое «кажется», сколько неловкость от слишком легкого употребления слова «поэт», да еще с прибавкой «тоже»:

— Да, я пишу стихи.

Не могу сказать, чтобы мы сразу подружились. Николай Оцуп был не из тех людей, с которыми можно в первый же вечер перейти на «ты» и, выпив две-три рюмки водки, приняться цитировать Пушкина и Блока с восторженно-хмельными комментариями вперемежку, как водится, с цитатами из самих себя. Он казался застенчив, замкнут, холодноват, хотя, по-видимому, его очень тянуло к тому беспечному и трагическому жизненному укладу, который в последние благополучные русские годы сложился в наших поэтических и богемно-театральных кружках, с ночными сборищами в «Бродячей собаке» и беседами обо всем и ни о чем. Его тянуло к тому жизненному стилю, который теперь на почти уже полувековом расстоянии, представляется чем-то вроде «последних дней Помпеи», но он не мог себя к нему подладить, не мог стать в нем вполне «своим». Сошелся он ближе других с юным, робким, при каждом слове красневшим Всеволодом Рождественским, своим литературным сверстником, но остался чуть-чуть в стороне от группы тех поэтов, которые с благословения Гумилева официально или полуофициально величали себя «акмеистами». Лишь позднее, уже после октябрьского переворота, разделение исчезло, перегородки оказались уничтожены, и Оцуп, сблизившись с Гумилевым, нашим общим мэтром, занял в его окружении одно из виднейших мест.

Все это было давно. Однако первые впечатления почти никогда не обманывают, и вспоминая свои дореволюционные встречи с Оцупом, я убеждаюсь, что, в сущности, он был и тогда таким же, каким остался в зрелости. Конечно, многое изменилось в его повадках и привычках, в манере держаться и разговаривать, в том вообще, что скорей есть маска, которую носит человек, чем подлинное лицо его. Маска изнашивается, одной и той же

пользоваться всю жизнь нельзя. Но человек «дан» уже в младенчестве, как нечто неизменное, и если порой мы удивляемся тем или иным душевным метаморфозам, то лишь потому, что в нужное время были недостаточно внимательны.

Ясно было сразу, что Оцуп — очень даровитый поэт, даровитый по-настоящему, без той импровизационной беззаботности, которая нередко выдается и большей частью с успехом сходит за «Божью милость», за «крылья», за «моцартианство». Но сразу же можно было почувствовать и то, что его сдержанность, его напряженность в общении с людьми, произвольная его величавость — черты, которые, углубившись и разившись, должны наложить особый отпечаток на его поэзию. Оцуп не был легким человеком, не стал он и поэтом легким. При несомненном наличии сильного и звонкого поэтического голоса он не соблазнился дешевой певучестью стиха, и если в его поэзии музыка и осталась, то музыка суровая и жестокая, как бы прошедшая через многие воздвигнутые ей препятствия. Но препятствия он воздвигал себе и в жизни, и чем пристальнее я вглядывался в Оцупа как человека, тем очевиднее мне становилась органичность его творчества.

Он рвался навстречу людям, стремился в отношениях с людьми к чему-то гораздо большему, чем простое приятельство, но о других судил по самому себе — и был очень требователен. Они, эти другие, уставали, недоумевали, мало-помалу от него отходили, как и он сам с удивлением и огорчением отходил от них, — и, право, не стоило бы обо всем этом вспоминать, если бы и поэзия Оцупа не оказалась у нас плохо понятой, не совсем дошедшей до ума и сердца читателей, словом, если бы не оказалась и она чуть-чуть «в стороне». Оцуп искал выхода или награды в любви, — единственной большой любви, которую в жизни знал, — и светом этой любви поэзия его проникнута. Но любовь лишь сильнее обострила его влечение к остальному миру, лежащему за пределами «одиначества вдвоем», как обострила она и глубоко скрытую, затаенную боль от отсутствия немедленного и дружного отклика.

Немедленного... Рано или поздно отклик, вероятно, возникнет. Стихи Николая Оцупа, собранные вместе,

должны бы этот отклик вызвать. Случается ведь в истории литературы, что одиноких и несговорчивых мечтателей любят больше, и притом любят прочнее, вернее, чем тех, у кого демонстративная «душа нараспашку» была основным творческим побуждением. В стихах Николая Оцупа, где запечатлена редкая личная любовная удача, запечатлена и внутренняя драма, — правда, скорей между строк, чем в дословном тексте, скорей в мелодии слов, чем в их непосредственном логическом содержании. В этих стихах есть тревожная мысль, обращенная к судьбам нашего мира, есть пафос, есть готовность броситься в бой с неведомыми, темными силами ради спасения «добра и света», по Блоку, в них есть какое-то высокое, благородное и облагораживающее донкихотство. И еще: есть пренебрежение к пустякам и к мелочам во всех их разновидностях, хотя бы самых блестящих, передовых и усовершенствованных.

А люди как будто начинают быть пресыщены пустяками и мелочами. Вскоре должно бы настать время, когда поэзия Оцупа будет наконец оценена по достоинству, — когда читатели исправят оплошность современников поэта и своим ответным порывом, своим волнением и признанием искупят ее. Это — больше, чем надежда, это — уверенность. Кончу словами старца Зосимы, образ которого Николай Оцуп так любил и о котором было у меня с ним и в далекие, и в недавние годы столько споров.

— Сие буди, буди!

Анна Присманова **(вступительное слово на собрании 16 декабря)**

«Иных уж нет, а те далече».

При мысли о наших теперешних литературных вечерах естественно вспоминается эта пушкинская строка. В самом деле, все больше у нас собраний «памяти» такого-то поэта, все меньше вечеров, где поэт лично присутствовал бы. Незачем делать себе иллюзии: тот период, тот отрезок эмигрантской поэзии, или даже шире — поэзии русской, — который принято называть «парижским», близок к концу, а оставит ли он по себе след, и если оставит, то надолго ли, решит будущее.

Можно все-таки надеяться, что оставит, т.к. теперь, мысленно подводя итоги, убеждаешься, что кое-что в этот период найдено и уловлено было такое, чего прежде не было и что никакой другой «нотой», — как повелось у нас теперь выражаться, — заглушено и сведено на нет быть не может.

Не было однообразия, но было единство, как в хоре с разными голосами, не было подражания, но было предчувствие общего стиля, скорей внутреннего, чем внешнего, а почему это удалось, об этом говорить было бы долго. В двух словах, конечно, потому, что и такого жизненного опыта, тех «впечатлений бытия», которые выпали на долю поколения, тоже прежде не было и, вероятно, не будет и позднее.

Сегодня мы вспоминаем Анну Присманову, поэта резко индивидуального, обособленного, и все-таки, перечитывая к сегодняшнему вечеру ее сборники, я ошибочно почувствовал ее связь с парижской группой, связь, которая прежде представлялась мне не столь ясной. Почувствовал я и досаду, что группа эта распалась, не успев договорить всего, что договорить надо было бы, — а в особенности сравнивая, сопоставляя стихи Присмановой со многими, многими из тех «цветов поэзии», которые все обильнее украшают в последние годы нашу печать.

У Присмановой было сознание, определявшее все ее творчество: она знала, что поэзия возникает из слов, а не из эмоций. Но указывая на это, я боюсь быть не совсем верно понятым.

Поэзия, конечно, не исключает эмоций, она требует их, ведет и приводит к ним. Однако человек, который, залюбовавшись, например, лунным пейзажем или вспомнив что-либо давно его взволновавшее, принимается перекладывать свое чувство в рифмованные строчки, — без другого первоначального побуждения к этому, кроме данного пейзажа или воспоминания, — такой человек едва ли поэт. Нет и не может быть сомнения: стихотворение, по крайней мере настоящее стихотворение, начинается с двух-трех слов или даже с целой строки, неизвестно как и откуда пришедшей, и в зародыше, в источнике настоящего стихотворения неизменно кроется совсем особое волнение, вызванное именно сочетанием

слов, а не каким-либо фактом или явлением, которые потом словам поручается иллюстрировать.

Да, конечно, этим стихотворение не довольствуется, не ограничивается, оно идет дальше, идет выше или глубже, оно по пути захватывает все, что безотчетно дремало в сознании, оно в конце концов несет какой-то «message», — но по самой природе своей оно в силах сделать этот «мессаж» подлинно действенным только тогда, когда слова оказались с мыслию или чувством органически сплетены и когда нельзя точно установить, где кончается форма и начинается содержание, или наоборот, где кончается содержание и начинается форма.

Не стоило бы об этом сейчас говорить, не будь поэзия Присмановой ярко показательна для понимания этого непреложного закона и для отказа, вернее даже неспособности удовольствоваться стихами, где слово было бы лишено своего основного, животворящего, волшебного значения.

Не раз в статьях о Присмановой бывало указано, что поэзия ее трудна, и что же, пожалуй, это верно.

Внешне трудна, потому что Присманова пренебрегала словами условно поэтическими и в этом смысле шла, как говорится, по линии наибольшего сопротивления. Когда поэт произносит, например, слово нимфа или слово ландыш, звезда, ангел, радуга, — называю слова неудачу, первые пришедшие мне в голову, — он какой-то поэтический отклик, пусть и совершенно ничтожный, себе обеспечивает в силу самой картинности таких слов, их привлекательности, их нарочитой антипрозаичности. Когда поэт говорит рыба, кость или соль, — слова, постоянно попадающиеся у Присмановой, — ему надеяться не на что, кроме как на свой дар связать эти речения так, чтобы отклик возник. Присманова была мучеником, героем, порой даже маниаком этих ничего заранее не обеспечивающих словосочетаний, иногда срывалась, иногда поднималась очень высоко, — и к концу жизни все выше, — но никогда не изменяла себе, тому, что было ее творческим принципом. Для нее поэзия не была отбором приятного от неприятного, красивого от уродливого, привлекательного от отталкивающего, нет, поэзия была для нее как бы оправданием всего существующего и защитой того, что в мнимо привилегированный, ка-

призно-аристократический поэтический мир доступа будто бы иметь не должно.

А внутренне трудным творчество Присмановой было по всему ее духовному складу, — и тут мы подходим к вопросу столь излюбленному былой русской критикой: что поэт хотел сказать? Вопрос естественный, если признать, что ответ на него должен быть сведен к общей теме поэта. Вопрос вполне бессмысленный, если в качестве ответа требовать короткой и ясной формулировки, логически отчетливого утверждения. Есть у Льва Толстого фраза, — насколько помню, в предисловии к роману Поленца «Крестьянин», — которую всем критикам следовало бы заучить наизусть:

«Если смысл художественного произведения можно передать своими словами, незачем было писать художественное произведение».

Совершенно верно, в таком случае правильнее было бы написать статью, ученый трактат или исследование. Стихи Присмановой оттого и представляют собой в большинстве случаев произведение художественное, что передать их истинный смысл своими словами нельзя. Остается лишь что-то общее, неуловимое, как свет.

Есть в литературе стихи, выражающие или включающие в себе счастье жизни, и есть другие — о препятствиях к счастью. Есть стихи, несущие благодарность по отношению к жизни, благословение ее, и есть другие, тающие в себе упрек и как бы ищущие выхода. Какие стихи лучше, какие хуже, какие правильнее, какие ошибочнее, решить нельзя, хотя бы потому, что никто не знает, что такое жизнь, куда и откуда она идет.

Поэзия Присмановой — поэзия упрека, притом упрека невольного, сплетенного с гордостью, с желанием себя отстоять, с уверенностью в возможности этого: что-то сложное, прихотливое, но в конце концов вознаграждающее и самого поэта, и тех, к кому он обращается, за обиды судьбы и за преходящие неудачи.

Перечитывая стихи Присмановой, я не раз вспоминал другого поэта, одного из самых замечательных, какие в России когда-либо были, и великого мастера, великого специалиста по части этих поисков выхода, этих счетов с судьбой, этих затаенных обид и надежд — Баратынского. Интонация у Присмановой совсем иная,

да и была она слишком талантлива, чтобы чужую интонацию — т.е. ритм, т.е. индивидуальную сущность — перенять. Но темы часто совпадают.

Баратынский пишет:

Мой дар убог и голос мой не громок,
Но я живу и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие...

Не продолжаю дальше, т.к. надеюсь, что если сегодня здесь собрались любители русской поэзии, то они мысленно сами dokonчат это восьмистишие, чудо скромности и чистоты, совершенно естественной человечности, образец преодоления того, что Поль Валери остроумно назвал «диезами» в литературе. «Ecrire en moi naturel. Tels écrivent en moi dièse».

Присманова такой простоты не достигает, да, вероятно, по некоторой патетичности, «диезности» своей натуры она ее и не искала. Недаром она дружила с Цветаевой, бесспорно самым «диезным» из всех русских поэтов нашего века и, кажется, высоко ее ценила. Но надежды ее родственны надеждам Баратынского, и когда она, например, говорит, что есть у нее

...уверенность большая
в непогрешимости моей судьбы

это — та же уверенность, что кому-то нужна и я, что до кого-то стихи мои дойдут, будто послание, будто подарок, ему одному предназначенный и новым светом освещающий его жизнь.

В чем назначение поэзии? Именно в этом. Не в доставлении нескольких приятных минут, так, между делом, для отдыха от более серьезных занятий, не в том, чтобы помочь «забыться», а, наоборот, в движении к свету, — Блок сказал о себе в третьем лице, явно стесняясь собственной своей характеристики: «он весь — дитя добра и света», — в преодолении всего, что косно и что мешает человеку быть тем, чем ему быть следовало бы.

Поэт физически умер, его нет. Если бы не бояться трюизмов и банальщины, можно было бы «под занавес» воскликнуть, что в стихах своих он продолжает жить.

Но важно другое: то, что и после своего физического исчезновения он творит жизнь, усиливает, утверждает, очищает, преображает ее в поколениях, идущих ему на смену.

Вечер, посвященный памяти истинного поэта Анны Присмановой, не имеет иного назначения, и зная покойную Анну Семеновну, я уверен, что иного отклика она и не ждала бы.

Пушкин

Слова Достоевского о тайне, которую Пушкин унес с собой в гроб, не утратили смысла своего до сих пор.

До крайности спорна та разгадка тайны, которую Достоевский в своей знаменитой речи предложил: о шаткости его «приятных для русского самолюбия» заключений, о славянофильской «гордыне под личиной смирения» метко и пронизательно писал в свое время Тургенев. Но тайна остается. И пока существует Россия, вряд ли найдется образованный русский человек, который, раскрыв томик стихов Пушкина или «Евгения Онегина», не спросил бы себя: что же в конце концов скрыто в этих строчках такого, чего нет в других книгах, даже самых замечательных, отчего они как-то особенно дороги, несравненно близки, почему кажется, что русская культура потеряла бы душу, если бы Пушкина из нее исключить?

Объяснения чисто литературные мало что объясняют. Само по себе, конечно, верно, что пушкинские стихи совершеннее других стихов, написанных по-русски, что Пушкин привел в окончательный порядок наш язык, нашел нужные черты и краски для картин русской природы или, например, в «Станционном смотрителе» впервые наметил один из тех новых человеческих образов, которые позднее вошли в русскую литературу, как ее отличительное достояние. Литературная и литературно-историческая роль Пушкина огромна и разногласий о ней быть не может. Но все же не только в этой роли дело, и принадлежит Пушкин не только литературе, а России вообще, как ее острие и как имя, в ее истории центральное.

Нельзя хоть сколько-нибудь Россию и русскую историю понять, не понимая места Пушкина в ней, и оттого из поколения в поколение русские люди о Пушкине думают, мысленно к нему возвращаются, по-разному его толкуют и ищут на его «тайну» ответа. Были, казалось бы, в России писатели гораздо более сложные — Гоголь, Толстой, Достоевский, гении, измученные собственными своими противоречиями и притом способные измучить и тех, кто их власти поддается. Пушкин обманчиво ясен, призрачно спокоен, Пушкин не мучает никого. Однако ясность его бездонна, неисчерпаема и что-то в ней ускользает именно в тот момент, когда все в ней как будто усвоено и разложено. Пушкин не ставит великих, «проклятых» вопросов, не бросает грозных упреков, не заставляет людей отречься от того, что в долгих трудах, в борьбе и в сомнениях они создали, Пушкин не предлагает «рискнуть миром», как сказал Бердяев о Толстом, он снисходителен к человеку и в снисходительности этой был и остается самым чистым, во всяком случае самым законченным воплощением понятия «человек» в нашей культуре.

На той же духовной высоте, на которую поднялись, до которой взвились Гоголь, Толстой и Достоевский, он нашел в себе силы оставить и в качестве насущного дела разрешить человеку заботы о государстве, о социальном развитии, о просвещении, о цивилизации, о науке, об искусстве, обо всем том, что у нашей великой после-пушкинской триады, да, пожалуй, уже и у Лермонтова, горело и сгорело дотла, — у Достоевского, кстати сказать, не менее бесследно, чем у других, как бы оплотом традиционной русской государственности и общественного благочесия сделаться он ни старался.

Но Россия недостаточно дорожила Пушкиным и от гибели его не уберегла. Нет в нашей литературе ничего более драматического, чем постепенная, неуклонная убыль естественной жизненной радости в творчестве Пушкина, чем вторжение в это творчество дребезжащих, щемящих звуков, сначала едва уловимых, позднее сменившихся глухой, мужественной печалью в предчувствии того, что произойти должно... А произошло на первый взгляд нечто случайное. Ничтожный офицер-француз, забредший в Россию «на ловлю счастья и чинов»,

приволокнулся за женой поэта, и, сам не понимая, что делает, убил его на дуэли. Не будь Наталья Николаевна столь легкомысленна, не будь Пушкин столь ревнив и вспыльчив, могло как будто не произойти ничего. Как знать, в самом деле?

Но если Пушкин и искал смерти под воздействием тягостных обстоятельств личной жизни, запутавшись не только в отношениях с женой, но еще больше в отношениях с двором, то все же сейчас, через сто с четвертью лет со дня его смерти, эти личные, житейские причины бледнеют, как малозначительные. Наоборот, выступают и кажутся главенствующими черты иные: они приводят к мысли, или, вернее, к чувству, что смерть Пушкина в русской истории не случайна. Договориться до того, что она была необходима, было бы опрометчиво и метафизически-произвольно, но смысл и содержание русской истории этой смертью возвеличены и углублены, — так же, как смерть Сократа теперь, на расстоянии тысячелетий, возвеличивает и углубляет историю и культуру Греции (отчасти, правда, потому, что до нас дошел в качестве свидетельства о ней рассказ Платона, одна из прекраснейших в мировой литературе страниц, а Пушкин своего Платона едва ли дождет). Зачем нужна была жертва? Есть ли основание именно это слово произнести? Где здесь кончаются иллюзии, где начинается нечто хоть сколько-нибудь реальное? Ответить на это трудно, это полностью относится к области «тайн» и с той же легкостью может стать предметом плохих насмешек, как и досужего, псевдомистического умствования. Не знаем мы твердо ничего. Но совсем особое, не сравнимое ни с каким другим, не слабеющее с годами, обаяние Пушкина, даже самого имени его, особые нити, нас всех с ним связывающие, особое волнение, порой возникающее при мимолетном воспоминании о нем, все это со смутным представлением о жертве сходится и ее как бы подтверждает. Еще раз скажу, что объяснения узколитературные для Пушкина недостаточны.

Он нам оттого и дорог, что как бы ни были мы слабы, как бы ни были ничтожны, он частицей своего светлого и несчастного гения в нашем сознании присутствует, и что мы — или наши предки, все равно, ибо дело касается России в целом, — за гибель его безотчетно несем от-

ветственность. «От судеб защиты нет», сказал он будто о самом себе в удивительном по силе энергии заключительном стихе «Цыган». А незадолго до конца, уже подводя итоги и одну за другой растеряв былые надежды, он ставил себе в заслугу лишь то, что «пробуждал чувства добрые», что в свой «жестокий век восславил свободу» и «милость к падшим призывал».

Это — завещание Пушкина и это — голос России в лучшем, самом простом, самом бесспорном, отчего ни под каким предлогом и ни при каких исторических метаморфозах недопустимо отречение. Наша страна должна бы хоть в этом, хотя бы в действенном, а не только показном внимании к этим предсмертным пушкинским словам, подняться до подлинной верности поэту, к которому оказалась безучастна при его жизни.

Литература и жизнь [Советская молодежь]

Всякий, кто сколько-нибудь внимательно следит за советской литературой, знает, что в последние годы основной ее темой, притом темой тревожной, вызывающей споры, а порой и недоумение, стала молодежь. Что-то происходит в умах и сердцах новой русской молодежи, что-то непредвиденное, для власти нежелательное, ускользающее от ее контроля, заставляющее иных «отцов» вздыхать и разводить руками. Это факт бесспорный, его никто не отрицает, а если он и принимает различные формы, то может ли быть иначе? Речь идет ведь о самой жизни, о тысячах, о сотнях тысяч живых людей, каждый из которых остался индивидуален, несмотря на скрытое, но настойчивое правительственное стремление сделать всех граждан духовно схожими и Боже упаси! ничего не ищущими.

Чем это вызвано? Чем объяснить, что молодежь в России перестала довольствоваться образцами, прописями и схемами, которыми довольствовалось, — или по крайней мере, с которыми мирилось — поколение предшествовавшее? Вопрос это далеко не простой, и пытаясь найти на него ответ, убеждаешься, что разветвлений в нем множество, — хотя в конце концов все они

сводятся к реакции на то, что Пастернак в своем романе метко и верно назвал «бесчеловечным владычеством выдумки». Разумеется, реакция у каждого своя. От так называемых «стиляг», мечтающих о ярком заграничном галстуке «как в Нью-Йорке», от молодых людей, причисляющих себя к племени «нюмбо-юмбо», говорящих в своих кружках на особом, условном языке (например, «сон в руку» вместо «здравствуй» или «прощай»), а на языке общепринятом отделивающихся фразами вроде «к черту! надоело!» — ибо надоело им все решительно, — до юношей, страстно заинтересованных абстрактной живописью или «додекафонической» музыкой Шёнберга и его школы, дистанция огромная. Сказывается различие в культурном уровне, в личных склонностях, в семейном окружении и прочем. Но дает себя знать и одно, единое, общее стремление: не хотим жить по чужой указке, хотим жить по-своему.

Жить и думать по-своему... Если ограничиться той частью молодежи, которую без натяжки можно назвать «мыслящей», в частности молодежью университетской, по-видимому доставляющей сейчас немало хлопот добровольным опекунам и блюстителям коммунистической нравственности, то надо в ее духовном перерождении, — или возрождении, — выделить причину, двигатель, имеющий, несомненно, значение первостепенное. Это — великая русская литература прошлого века: ни Ленин, ни его последователи не учли ее взрывчатой силы и не предвидели того неумолимого, неизбежного «или-или», которое рано или поздно должно было в сознаниях возникнуть.

В начале революции было довольно широко распространено убеждение в срочной необходимости создания новой, чисто пролетарской культуры взамен прежней, дворянской или буржуазной. Ленин, занятый гражданской войной, смотрел на эту презируемую им «богдановщину» сквозь пальцы, и привело это к тому, что по всей стране расплодились «пролеткульты» с доморощенными, самоуверенными, однако не всегда грамотными гениями. Но достаточно было ленинского окрика в 1920 году, чтобы эти рассадники заносчивого невежества захирели и постепенно исчезли. В двух словах Ленин говорил: мы не для того сделали революцию, чтобы наспех сочинять

своего «Евгения Онегина» и свою «Войну и мир», мы именно для того и сделали революцию, чтобы «Онегин» и «Война и мир» стали достоянием миллионов людей, прежде к ним доступа не имевших.

Возражать на мысль по существу здравую было трудно, да и кто в те годы решился бы Ленину возражать? Пушкин и Толстой вместе с другими классиками стали издаваться в бесчисленном количестве экземпляров, а власть, все сильнее претендовавшая на то, чтобы прослыть защитницей культуры и наследницей всего лучшего, человечеством созданного, всячески превозносила литературу прошлого столетия и требовала знакомства с ней. Было, правда, одно исключение — Достоевский, под предлогом реакционности одобрения свыше не удостоившийся. Но в последние годы и с Достоевского опала оказалась снята. Вместе с тем в миллионах экземпляров распространялись сочинения Ильича, провозглашенные высшей, финальной человеческой мудростью, и даже труды Сталина, гениальность которых теперь взята под сомнение, но в течение четверти века считалась непреложным догматом.

Как могло это не привести к растерянности, к смущению умов, к необходимости выбора, к тому «или-или», о котором я упомянул? Представим себе молодого человека, читающего «Воскресение» и узнающего на последних страницах, по указанию Толстого самых важных, что прощать врагов надо всегда, до бесконечности, без единого исключения, а затем вспоминающего, что Горький, вероятно по малодушию, но в отречение от духа и сущности всей русской литературы, провозгласил совсем другой принцип, не без каннибальского привкуса: «если враг не сдается, его уничтожают». Согласится ли юноша с Толстым — неизвестно, но поколеблен будет наверно. Представим себе, что он после Пушкина переходит к Ленину, теперь чуть ли не обожествленному, и из мира широкой, высокой, свободной человечности попадает в какое-то удушливое подземелье, где его учат эгоизму, нетерпимости, ненависти и тому, что никакой морали, кроме классовой, на свете не существует, что способны болтать о ней только лицемеры, дегенераты и «хлюпики», — может ли он быть не озадачен, не потрясен? Противоречие слишком чудовищно, примирить

одно с другим невозможно, и приходится решать, кто же прав и кому надо верить.

Удивительно не то, что все это наконец обнаружилось, а то, что произошло это только теперь. По-видимому, предыдущее поколение было оглушено всем, что на его долю выпало, и дар критики утратило. Бури стихают, люди опять стали думать, взвешивать, проверять, сомневаться, искать, — и едва ли они от этого своего права откажутся.

Литература и жизнь [«При свете дня» Э. Казакевича]

Читать советские газеты, советские журналы и необходимо, и вместе с тем тягостно. Почему необходимо, должно быть ясно каждому, и растолковывать это не к чему. А тягостно потому, что более фальшивого общего тона, более плоского, слепого, квасного самоупоения и самовосхваления не было никогда на свете. Не было, по крайней мере, в России.

Теперь в Москве повелось все прошлые и настоящие грехи объяснять «культом личности» и его последствиями, и, кстати, достойно внимания, что с особой настойчивостью говорят о вреде этого «культа» именно те, кто еще недавно были самыми ревностными его служителями. Но в печати мало что изменилось. Каждое публичное выступление новой, теперешней «личности», как и в годы «личности» старой, сопровождается «бурными, продолжительными аплодисментами», неизменно «переходящими в овацию», а когда, например, Хрущев перед последними выборами произнес речь по радио, то в газетах с лирическим волнением сообщалось, что вот, внезапно, будто каким-то чудом «заснеженным мартовским вечером Никита Сергеевич вошел в каждый наш дом, побеседовал с каждым из нас просто, сердечно, почеловечески» («Лит. газета», № 34). Как, в самом деле, не смахнуть слезу, читая такие строки! Но и как не сказать себе: и это пишется в России, это пишется по-русски, на том языке, который, казалось бы, не терпит никакой декламации, никакой слащавости! И эта лживая, льстивая болтовня внедряется в умы миллионов читателей! Чем

же в конце концов отзовется она в их сознаниях, к чему приведет?

В литературе «художественной», не газетной, дело обстоит несколько лучше, но и в ней коробит многое, притом независимо от ее идейного содержания или направления. Объясняется это, думаю, отчасти тем, что верховным авторитетом и образцом в советской литературе был Максим Горький и что на Горьком воспитывались целые литературные поколения. Отрицать живое, подлинное дарование Горького нелепо. К сожалению, у нас в эмиграции склонность к этой нелепости распространена, так же как в СССР распространена склонность считать Горького великим гением и ставить его имя рядом с именем Толстого. Горький гением отнюдь не был, но талантливым писателем, чрезвычайно талантливым натурой был бесспорно. Однако если в чем-либо можно его упрекнуть, то именно в отсутствии слуха к фальши, в постоянном стремлении к звонкой фразе, вроде знаменитого «человек — это звучит гордо» и прочей дребедени. С годами Горький стал сдержаннее, но еще и в старости способен был, например, приветствие Станиславскому окончить словами: «кланяюсь вам, красавец-человек!» Достаточно представить себе такое приветствие за подписью Толстого, или хотя бы Чехова, чтобы уловить всю разницу, притом даже не в размерах дарования, а в качестве и в природе его. Учение Горького не прошло для большинства советских писателей даром, и сказывается оно до сих пор.

Начав за упокой, хочу, однако, кончить во здравие.

Бывает, перелистываешь какой-нибудь московский ежемесячник, и книга чуть ли не валится из рук. Но бывает и другое, правда не часто, — и так было со мной, когда прочел я в одной из последних книжек «Нового мира» рассказ или небольшую повесть Эм. Казакевича «При свете дня».

Удивительная вещь. Удивительная именно безошибочной правдивостью тона, психологической верностью замысла, верностью всего склада, всего подхода к сущности повествования. Кто это — Эм. Казакевич? Имя встречалось не раз, но, насколько помню, в ряду имен второстепенных. А между тем, дай Бог самым что ни на есть «ведущим» советским беллетристам написать что-либо подобное, т.е. рассказать о жизни и людях не-

что столь же глубокое при обманчивой бесхитростности рассказа.

Однорукий, искалеченный на войне солдат приезжает из сибирской глуши в Москву, ко вдове своего командира, по его предсмертному поручению. Капитан Нечаев, умирая, все думал о жене и сыне, просил своего друга-солдата побывать у них, поклониться, передать оставшиеся после него вещи. Прошло уже больше двух лет. Андрей Слепцов все не мог исполнить поручение, наконец, собрался, поехал в далекую столицу.

Он — простой крестьянин и все чувства у него простые. Он уверен, что вдова живет только памятью о муже, любит, помнит, тоскует. Как же может быть иначе? А Ольга Петровна успела выйти вторично замуж, у нее, кроме школьника-сына, маленький, грудной ребенок, ей не хочется беречь старые раны, да и были ли, в сущности, раны?

Разговор возникает тяжелый, неловкий. Доходит до того, что вдова предлагает солдату деньги:

— Ведь вы ехали в такую даль — из Сибири, кажется? Наверно, вам поездка стоила недешево. Один билет в такую даль обходится в копеечку... Нет, серьезно, может вам нужны деньги? Вы скажите без околичностей, без всяких церемоний...

Андрей Слепцов уходит молча, не взяв денег, не столько потрясенный, сколько озадаченный, не понимающий того, что нашел. От себя можно бы добавить, что не понимает он главного, основного: не понимает, что такое жизнь, — потому что живет слишком чистым представлением о ней.

Надо запомнить имя Казакевича. Если он еще молод, от него можно многого ждать. И будем все-таки внимательно читать московские журналы: в ворохах мусора попадают там и крупички золота.

Литература и жизнь

[150 лет со дня рождения Герцена]

Литературные юбилеи следуют один за другим почти беспрерывно. Некоторые из них отмечаются и празднуются всем миром, другие остаются события-

ми национальными, да и в этих рамках не всегда вызывают достаточно откликов, — по причинам различным, среди которых не последнее место принадлежит простой забывчивости. Во французской литературе в этом году — два «всемирных» юбилея: 250 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо и 300 лет со дня смерти Паскаля. Надо думать и надеяться, что особенно торжественно и достойно будет почтена память Паскаля, одного из самых гениальных людей, каких знало человечество за всю свою историю. Правда, и Руссо — явление чрезвычайно значительное. Но Руссо — путаник, пусть и вдохновенный, а все-таки путаник, очень многое предчувствовавший, — в частности, весь романтизм, — однако ничего не додумавший до конца. Относительно же Паскаля двух мнений быть не может: его «Мысли», с некоторыми подлинно невероятными в них страницами, несравненными по силе, прозорливости и остроте, — «патент на благородство» не только культуры французской, но и шире, культуры общей, мировой.

У нас, в нашей эмиграции прошел на днях почти совсем не отмеченным юбилей писателя, который заслуживает отношения другого: полтора века со дня рождения Александра Ивановича Герцена. Едва ли возможны сомнения, что этот пропуск, это упущение объясняется хотя бы отчасти мотивами политическими: о них я скажу несколько слов дальше. Но, по-видимому, и у людей, связанных больше с литературой, чем с политикой, внимания и интереса к Герцену мало, а между тем писатель это был необыкновенный, и трудно представить себе человека, к слову и мастерству слова сколько-нибудь чуткого, который, раскрыв «Былое и думы», не оказался бы сразу увлечен и захвачен: деятели, о которых рассказывает Герцен, давно со сцены сошли, события на три четверти забыты, а от книги нельзя оторваться, настолько все в ней умно, живо, глубоко и блестяще. В особенности удивительно именно это редкое, редчайшее сочетание глубины и блеска, при полном пренебрежении к грамматике и при царственной свободе речи, ни с чем не считающейся, кроме органического стремления к своеобразию и яркости. Лев Толстой, по свидетельству Гольденвейзера, как-то говоря о крупнейших русских писателях, первыми назвал пять имен — Пушкина,

Лермонтова, Гоголя, Достоевского и Герцена. Конечно, это список спорный, и многие спросят: а Тургенев? Толстой нередко сам себе противоречил, и вполне возможно, что в другой раз, под другими впечатлениями он назвал бы именно Тургенева в качестве «пятого». Но Герценом он неизменно восхищался, и в самом деле, если, например, «Отцов и детей» у Герцена все-таки нет, то стиль Тургенева, мелодически-размеренный, плавный, чуть-чуть слишком «красивый», кажется, по сравнению с герценовским водопадом, и вялым, и бледноватым. Есть, кстати, большой, очень большой французский писатель, который Герцена напоминает: Сен-Симон, старый, первый Сен-Симон, конечно, не социолог, а царедворец и герцог, современник Людовика Четырнадцатого. По части презрения к благозвучию и правилам синтаксиса он, пожалуй, даже даст Герцену сто очков вперед, и из-за этого добрая половина его мемуаров почти неудобочитаема. Но когда Сен-Симон взвизгивает, загорается, когда он вспыхивает, записки его становятся шедевром картинности, чудом изобретательности, и поучиться у него могли бы многие так называемые «живописцы слова», вплоть до самых прославленных и новых.

Отчего же, однако, образовался у нас вокруг Герцена холодок? Если догадка моя насчет глухого, затаенного недоброжелательства, вызванного соображениями политическими, правильна, то это — лишнее свидетельство, что наша оскудевшая силами эмиграция близка сейчас в духовном и умственном смысле к тупику. Перетолковывать, затушевывать факты было бы, конечно, нелепо: да, Герцен был суровым, страстным обличителем царского строя, да, он ждал его крушения или, по крайней мере, его преобразования. Но он ли один среди замечательных русских людей прошлого века был так настроен, были ли эти настроения близорукой причудой, пустой барской прихотью, и можно ли, не обворовывая самих себя, отречься от наследия лучшей, самой благородной и бескорыстной части русской интеллигенции, — начиная хотя бы с декабристов, — на том основании, что в конце концов их стремления привели к большевизму? В истории нет движения по прямой линии, как нет в ней и логики: скорей наоборот, вся

она соткана из трагических неожиданностей и скачков, которые нельзя предугадать. Самые высокие порывы и начинания, — как с сердечным сокрушением писал после французской революции Карамзин, — втаптываются порой в кровь и в грязь, а если кто-нибудь за это и ответственен, то прежде всего мы сами, мы, не сумевшие, не нашедшие в себе сил эти метаморфозы предотвратить. Герцен, как мыслитель и писатель, — воплощение свободы и света: именно это важно, именно это делает его имя одним из самых дорогих в нашем прошлом. Не будем же уподобляться самозванным прокурорам, сторонникам торопливой и легкомысленной «переоценки ценностей», тем, кто свободу и свет принимает лишь «постольку-поскольку», в зависимости от удачного или неудачного хода событий: тем, в сущности, кто в тщетных поисках всего пережитого, всех свалившихся на русский народ несчастий, да и наших личных невзгод или обид, утратил дар беспристрастия и понимания.

Литература и жизнь **[О культе личности Хрущева]**

Не так давно, с месяц назад, я писал о лести, окружающей Хрущева, о дифирамбическом стиле отчетов, посвященных его выступлениям, и о прочем, всем читателям советских газет известном. В ответ получил письмо от человека, по-видимому, осведомленного и вдумчивого: вы не правы, бессмысленно говорить, что в России ничего не изменилось, изменений множество и обнаруживается это чуть ли не каждый день.

Произошло недоразумение. Мне ведь и в голову не приходило утверждать, что со смерти Сталина в России ничего не изменилось, и я вполне согласен, что такое утверждать было бы «бессмысленно». Но недоразумение это затрагивает вопрос, для всей эмигрантской печати важный, и побуждает его коснуться, или, вернее — к нему вернуться, т.к. толки о нем уже были.

Надо бы всем пишущим о советской России принять в качестве руководящего принципа ту клятву, которую дают в суде свидетели: говорить «всю правду и только правду». Многие возразят, что это невозможно, что не

вся правда нам известна. Правильно, не вся. Но в пределах того, что нам известно, не следует одно подчеркивать, другое перетолковывать с целью доказать, что в своих «прогнозах» мы были и остаемся правы. Если что-нибудь наконец хорошо, надо признать: хорошо. Если что-нибудь плохо: плохо, мы осведомляем, мы взвешиваем, по мере сил оцениваем, стараемся понять то, что в России происходит, а вовсе не занимаемся стереотипной эмигрантской пропагандой. Казалось бы, об этом не может быть и споров, но, к сожалению, на деле это далеко не всегда так, и нередко своей предвзятостью, — столь же слепой, как и предвзятость противоположная, все советское без разбора восхваляющая, — мы сами себе вредим и своему назначению изменяем. Доверие к печати основывается на ее беспристрастии. Доверия к печати московской нет, надо полагать, ни у кого на свете, не исключая и москвичей. Оставим ей ее жалкие, лживые методы. Эмигрантское издание, которое хоть об одном, самом маленьком, советском начинании решилось бы сказать «это удачно, это надо приветствовать», не только укрепило бы этим свою общую антикоммунистическую позицию, но и увеличило бы свой общественный вес, т.к. усилило бы доверие к осуждению всего того, что полностью осуждения заслуживает.

Возвращаясь, однако, к полученному мною письму. Корреспондент мой утверждает, что Хрущев в России «популярен». По многим, доходящим до нас сведениям, это в самом деле так, и удивляться этому нечего. По сравнению со сталинскими годами жизнь в России стала легче, и люди, «обыватели», давно уже отвыкшие от существования сколько-нибудь спокойного, пусть еще и скудного, облегчению своей участи радуются. Однако если Хрущев популярен, то, вероятно, и по другим причинам. В Сталине были черты, глубоко чуждые России и всему русскому: что-то страшное, темное, молчаливое, гнетущее, чингисхановское. Как бы это ни затушевывалось, как бы газеты ни славословили «величайшего мужа человечества», — формула Шолохова, — о подлинной популярности Сталина не могло быть и речи. Хрущев — личность другого склада. Актер он или не актер, а если актер, то с какой долей искренности в игре, решать не стану, но нет сомнения, что всем своим обликом, своей

болтливостью и хвастливостью, своим «знай наших», своей демонстративной «душой нараспашку» заодно с не менее показной хитрецей в глазах и в улыбке, Хрущев чему-то в корне русскому, российскому, «рассейскому» соответствует. Это — не лучшее, что было в России, это чуть-чуть сродни былому охотнорядскому душку, это — именно то, в чем враждебную себе силу остро ощущала старая русская интеллигенция и что, наперекор всем политическим метаморфозам, по-видимому, в России сейчас возрождается. К чему приведет возрождение, окажется ли судьба новой интеллигенции сколько-нибудь похожа на судьбу интеллигенции прежней, — как знать? Но Хрущев — явление не случайное, как едва ли случайно и то, что именно он оказался на гребне волны.

А что льстецы, его окружающие, все-таки еще не дошли до бесстыдства, с которым кадили «отцу народов», что же, это, пожалуй, верно! Но при ежедневной тренировке, может быть, и дойдут.

Один из былых рекордов лести врезался мне в память. Не помню точно название романа, украшенного поразившей мое воображение сценой. Не вспомнит ли кто-нибудь из читателей? Кто это произведение читал, едва ли в состоянии забыть его.

Речь шла о несчастной любви одинокой комсомолки в далекой сибирской глуши. Девушка решила покончить с собой и пишет предсмертное письмо. Следующая глава — в Москве. Ночь. Кремль. Москва давно спит. Но Сталин не спит. Сталин работает в своем кабинете. Внезапно что-то смущает его. Он чувствует, что за тысячи верст происходит что-то тяжелое. Кто-то страдает, кто-то близок к смерти. Надо помочь, надо спасти неведомое юное существо. Сталин встревожен. Он задумчиво берет телефонную трубку, хочет куда-то позвонить, предупредить: не теряйте ни минуты, товарищи, бегите, поговорите с ней, образумьте, объясните, в какое время она живет... Но куда звонить, по какому номеру? Даже он, великий Сталин, этого не знает и беспомощно кладет трубку на место.

Нет, в самом деле, такими волшебными антеннами не наделил до сих пор Хрущева еще ни один советский беллетрист. Но кто поручится, что рекорд не будет побит?

Литература и жизнь [«Мы — май» А. Вознесенского]

Один из великих древних поэтов, — если не ошибаюсь, Еврипид — сказал, что среди всех даров, которыми боги наградили людей, самый ценный тот, который дан был последним — «дар забвения». Мысль глубокая и верная. Нельзя было бы жить, если бы в памяти мало-помалу не стиралось все, что на первых порах казалось незабываемым. Доказательств этому в наши дни не требуется: достаточно сослаться на то, что после неслыханных ужасов, бедствий и катастроф, происшедших в последние полвека, все мы, уцелевшие, живем более или менее «как ни в чем не бывало», хлопочем о повседневных пустяках, смеемся, рассказываем анекдоты или обсуждаем новейшие фильмы. Незаметно для нас самих дар забвения делает свое дело вполне успешно.

А жаль все-таки, что нет человека, который во всеуслышание изумился и содрогнулся бы при виде этого! Жаль, что Достоевский, например, жил и умер слишком рано. Как никто другой, он оказался бы тут в своей, «мучительной» области, нашел бы нужные слова, и порой представляешь себе, в качестве дополнительной главы к «Карамазовым», какой-нибудь разговор Ивана с Алешей, который мог бы, как кость в горле, застрять в сознании будущих поколений со всеми их достижениями, преуспеваниями и благоденствием. Нелепо и даже бессовестно было бы себя Достоевским возомнить, и слава Богу, никто у нас к этому, кажется, не склонен, — то ли по скромности, то ли по равнодушию. Но место, которое он мог бы занять, остается пустым.

В газетной передовой статье философствовать, однако, не принято. Надо в ней говорить о явлениях текущих, злободневных, а не о прошлом, хотя бы и великом, — и таково мое намерение и было. А вспомнились мне Еврипид с Достоевским при чтении в «Литературной газете» статьи Андрея Вознесенского, написанной к празднованию Первого мая.

Советская печать вот уже много лет силится внушить читателям радость, бодрость и гордость. У нас, мол, и сейчас уже рай на земле, а что будет дальше, при окончательном торжестве коммунизма, и вообразить

невозможно! Счастливы те, кто до этих лет доживут. Молодежи по природе свойственен оптимизм, и, вероятно, в России сейчас действительно много юношей и девушек, настроенных жизнерадостно, — тем более, что им для этого и «дар забвения» почти не нужен: в самом деле, о цене, в которую обошлись революция, о сумме страданий, которою заплачено было переустройство общества, знают они только понаслышке. Да их и учат тому, что об этом толковать не стоит.

Но нет сомнения, что разлад между печатью и читателями сейчас в России очень силен, и чуть ли не в каждой сколько-нибудь правдивой повести, в каждом рассказе, посвященном молодежи, это сквозит. Нет сомнения, что иное газетное ликование, — или, правильнее было бы сказать, гоготание, — встречает отклик, автором не предвиденный: что, почему, из-за чего? Ну хорошо, ты доволен, тебе что-нибудь удалось, но откуда это головокружение, что это за новый Александр Македонский с новыми стульями?

Вознесенский — молодой поэт из группы, возглавляемой Евтушенко: «la nouvelle vague», сказали бы французы. В статейке своей он сразу заявляет, что люди ошиблись, начав счет года с января: год начинается с мая, ибо «все новое начинается с весны». Дальше именно о своем головокружении и говорит:

«Моя голова кружится. Она кружится от встречи с Будущим. В ней, как в магнитофоне, раскручиваются голоса друзей. Спасибо им. Вот рычит мой друг экскаватор. Он мигает мне лиловой лампой одноглазо, как циклоп. Спасибо ему».

Неожиданно Вознесенскому вспомнился Пикассо, «человек, который творит и буйствует, имя которого так сочно рифмуется с Пегасом... Я не знаком с вами, я люблю вас, Пабло Пикассо, спасибо вам!»

«Спасибо тебе, Дворец Съездов... Борись, Дворец! Сияй! Ты работаешь на новое. Спасибо тебе! Помню, замерли в зале делегаты. Они наклонились вперед, как спринтеры на старте. Счастливого бега, товарищи! Коммунизм — прежде всего расцвет личности. Уверен, что при Коммунизме все будут талантливы. А за бездарность будут давать по пятнадцати суток, как за мелкое хулиганство.

Я вышел на балкон... Внизу плыла Москва. Она дышала и растворялась в тумане, самый вечный, самый вешний город мира. «Все дороги ведут в Рим». В Рим ли?»

Цитаты можно бы продолжить. Но достаточно и этих.

По случайности вслед за лирико-хмельными излияниями Вознесенского я стал читать воспоминания Эренбурга в последней книжке «Нового мира». Эренбург рассказывает, что однажды в Париже журналисты с упреком показали ему советскую газету, где Мольер назван слабым драматургом, в особенности по сравнению с Островским. Эренбург ответил:

— Мы говорим, что уничтожили в нашей стране эксплуататоров... Но мы никогда не утверждали, что уничтожили дураков.

Связи как будто нет. Но иногда связь возникает сама собой, — именно там, где ее не ждешь. Во всяком случае, мне захотелось в подражание Вознесенскому сказать Эренбургу: спасибо вам.

Литература и жизнь

[«Власть тьмы» в постановке Малого театра]

«Власть тьмы» в исполнении труппы московского Малого театра произвела впечатление смутное, хотя и сильное, во всяком случае не из разряда тех, от которых через день-два не остается и следа. Относится это двоящееся замечание не к актерам, — о них, как и вообще о постановке, уже была в нашей газете речь, — а к самому Толстому.

Давно уже установилось мнение, что Толстой длинным драматургом не был и что его эпический гений, в противоположность Достоевскому с его «романами-трагедиями», был чужд тем требованиям, которые предъявляет писателю театр. В частности, «Власть тьмы» возбуждала некоторое отталкивание даже у самых убежденных поклонников Толстого: им казалось, что в этой пьесе, с ее слишком эффектным концом, «под занавес», Толстому изменило его природное, непогрешимое чутье, его несравненный слух к словесной правде или фальши. Покойный М.А. Алданов рассказывал как-

то о своей встрече с Метерлинком, признававшимся ему, что считает «Власть тьмы» самой замечательной драмой из всех написанных после Шекспира. Большого «толстовца», чем Алданов, не было, вероятно, на свете, и если бы Метерлинк сказал, что считает «Войну и мир» или «Анну Каренину» величайшим литературным шедевром не только за три или четыре столетия, а даже со времен Гомера, он несомненно с радостью согласился бы. Но оценка «Власти тьмы» Алданова озадачила и передавал он о ней не без недоумения.

Обо всем этом я вспоминал, глядя на игру московских гостей, а в особенности следя за речами Никиты и за постепенным его «воскресением», — если сблизить то, что происходит в его темном сознании, с духовным перерождением утонченно-воспитанного, умного, образованного Нехлюдова. Должен признаться, что «Власти тьмы» я очень давно не перечитывал, а видел ее на сцене еще в России, лет сорок тому назад. Да, это одно из немногих спорных созданий Толстого, и оговорки порядка чисто литературного возникают сами собой. Но все-таки это вещь замечательная, захватывающая, — потому что по существу она автобиографична и отчетливо отражает нечто очень значительное, происходившее в душе автора. Правда, Толстой никого не отравлял, никаких младенцев не убивал, и сходства между ним и Никитой на первый взгляд нет. Но сходство, отсутствующее в фабуле драмы, обнаруживается в ее внутреннем содержании.

Так жить нельзя, случайность превращает одного из нас в подлеца или даже в преступника, другому позволяет достичь высот общественного уважения и умереть, не подозревая, на что он при менее благоприятных обстоятельствах оказался бы способен, все отвечают за всех, все ежечасно, ежедневно вступают в сделки с совестью, все лицемерят и убаюкивают самих себя лживыми ссылками на общепринятые правила, приличья, обычаи, законы, — кто же не знает основных мотивов толстовского творчества и надо ли их перечислять? Еще раз скажу: того, что сделал Никита, Толстой не делал. Но он чувствует за Никиту ответственность, он разделяет его судьбу, и покаяние Никиты есть не что иное, как его личная исповедь, проникнутая той же мукой, той же беспомощной искренностью, как и все вообще поздние его писания.

Если об этом забыть, если этого не почувствовать или не придавать этому значения, мелодраматизм последней сцены «Власти тьмы» действительно может покоробить. После матовых чеховских тонов, после чеховских приглушенных вздохов и жалоб, после иронических двусмысленностей и приперченного остроумия большинства современных западных пьес этот вопль может показаться нелепым, неуместным, досадным. Оставьте нас в покое с нашими слабостями и мечтами, — склонен мысленно сказать автору зритель, добавив, пожалуй, в качестве самооправдания брюсовскую строку: «сами все знаем, молчи!». Но Толстой молчать не мог, он один из всех нас не был на это способен, и во «Власти тьмы» есть та же разрядка мощного электрического тока, от которого должен бы вздрогнуть всякий живой организм.

Помимо Метерлинка можно вспомнить Ибсена, вообще-то до крайности скупого на одобрительные отзывы о современниках. В 1892 году он прочел «Власть тьмы» в немецком переводе и писал, если не ошибаюсь, Георгу Брандесу:

— Автор, по-видимому, не вполне владеет драматической техникой, но дух гениального поэта живет и дает себя знать на каждой странице.

Цитирую по памяти, может быть, не совсем точно в выражениях, однако с ручательством за общий смысл отзыва и за упоминание о «гениальном поэте».

В лаконической форме это едва ли не самое верное, что о «Власти тьмы» было когда-либо сказано. Для Ибсена, великого специалиста по части драматического построения, великого мастера, в сравнении с которым все Скрибы и Сарду — сущие дети и дилетанты, были, конечно, сразу ясны недочеты толстовской народной драмы. Но то главное, что ее облагораживает, возвеличивает и выделяет, он уловил безошибочно.

Литература и жизнь

['Товарищ время и товарищ искусство» В. Турбина]

Как с тючевских времен известно, у России «стать» особенная и измерить ее «аршином общим» невозможно. Россия была и остается страной всяческих крайно-

стей. В течение тридцати—тридцати пяти лет пробиться им, этим крайностям, в печать бывало трудновато: при малейшей такой попытке раздавался окрик, притом даже не с кремлевских высот, а большей частью из кремлевских лакейских, где зорко следили за выполнением общих предначертаний и указаний угрюмого, грозного хозяина.

С тех пор в литературе многое изменилось, и, казалось бы, надо этому радоваться. Но, как это ни удивительно, случается, — по принципу выбора «из двух зол», — с некоторым сочувствием вспомнить болтовню о благодетельном значении социалистического реализма, стереотипно-дубовые рассуждения о срочной необходимости «отображения» (нет, Боже упаси, не отражения, а именно «отображения»!), поставленных очередным партийным съездом задач или о небывалых горизонтах, открывшихся в период перехода от социализма к коммунизму и прочее, в том же роде и духе. Казенщина, мертвечина? Да, бесспорно. Однако, когда в советской печати нет-нет, да и взовьется теперь некая идейная импровизация, внезапно освободившаяся от прежних уз и пут, испытываешь смущение: что лучше, что хуже? В качестве знамени времени импровизация, конечно, лучше: нет, значит, бывшего строжайшего надзора, появились какие-то трещинки, куда может проникнуть свежий воздух. Но что это бывает иногда за вздор и как же не считать нашу матушку-Россию страной крайностей, если чуть ли не сразу после соцреализма, или даже в непосредственном с ним соседстве, находит себе место столь игривая, нео-футуристическая чепуха!

Сошлюсь, например, на вышедшую в прошлом году книгу В. Турбина «Товарищ время и товарищ искусство»: одно название ведь чего стоит! Откликов на эту книгу было множество и далеко не все они оказались отрицательны. Редактор выпустившего ее издательства сказал в свое оправдание, что идеи, в ней отраженные, будто бы «носятся в воздухе» («Октябрь», № 5). Маститый критик В. Ермилов, очевидно, старающийся уловить все то, что теперь «носятся в воздухе», признал книгу «талантливой» («Вопросы литературы», № 2). Книга несомненно вызвала интерес и внимание.

А между тем вот что можно в ней прочесть:

«Я хочу наметить прогноз развития искусства. Начать вычисление нового отрезка орбиты художественной мысли», с первых же страниц заявляет автор, указывая, что необходимо это ввиду «наступления эры планирования эстетических революций».

Планирование не исключает, однако, использования классических образцов, в частности Пушкина и Толстого. Но кто ближе всех к Толстому, кто его вернейший последователь? Не Чехов, не Бунин, даже не Шолохов с Фединым: нет, вернейший последователь Толстого — «ранний, никому не покоровившийся Пикассо с его людьми, показанными словно ищущими и задумчивыми глазами Наташи Ростовской».

От Пикассо сам собой намечается переход к другому властителю современных дум — Эйнштейну. Но Эйнштейна предвидел не Толстой, нет, путь ему подготовил тот гениальный грек, который изваял Венеру Милосскую.

«Небесная механика Ньютона обладала законченностью шедевра. Опираясь на нее, физика развивалась сотни лет. И все-таки никому не известное, погребенное под обломками изваяние обладало по отношению к ней таинственной гносеологической первичностью, ибо кажущаяся завершенность науки не могла превзойти излучаемого мрамором совершенства. Мраморное пророчество сбылось — век классической физики кончился».

Не забыт и Рафаэль. Этот «добрый католик» в простоте душевной не подозревал, когда писал Сикстинскую Мадонну, что «каждый взмах его кисти — удар по догме о конечности и изначальности мира». Понятно это стало только теперь, когда Турбин понял, что искусство — «неизбежное в форме невозможного».

В чем назначение искусства, в чем его дело? «Дело искусства — сигнализировать, что уже нельзя называть зелеными траву и купорос, красными заходящее солнце и кровь, желтыми одуванчик и самовар. Я создам идеальный вариант познания цвета».

И так далее... Бог с ним, однако, с самим автором «Товарища времени и товарища искусства»! Кто помнит предреволюционные годы, когда чуть ли не каждый месяц появлялись у нас новые литературные манифесты, возникали новые «измы» и свергались очередные куми-

ры, сразу уловит в приведенных цитатах что-то очень знакомое. Книга для вящего эффекта могла бы быть отпечатана на клочках обоев, автор мог бы вместо перетолковывания Пушкина и Толстого пренебрежительно «сбросить их с парохода современности»: все это было бы в порядке вещей.

Замечательно, однако, то, что этот доморощенный, квази-модернистический бред появляется в России советской. Замечательно, что критика с важностью обсуждает его, а среди молодежи он, вероятно по контрасту, сходит за нечто смелое, пожалуй, даже вдохновенное. Нельзя, конечно, сомневаться, что находятся и в Москве молодые люди, отдающие себе отчет в нелепости подобных домыслов, как бы ни опостытели им казенные прописи. Но много ли их?

В «Октябре» недавно приведен был разговор, подслушанный в очереди. Молодая женщина с гордостью сообщала подруге, что ей удалось устроить свою комнату, как «настоящую модерняшку»: «у меня облегченная мебель, торшеры и абстрактные занавесочки», и что «все наши» от ее обстановки в восторге.

Кто эти «наши»? По-видимому, та сбитая с толку молодежь, которая готова с жадностью наброситься на все необычное, нетрафаретное, не набившее оскомину. Именно эта жадность, эта тоска о новом и «носится в воздухе», а в ответ ей вместе с абстрактными занавесочками и появляются книги подобные турбинской.

Начав с Тютчева, им и кончу: иностранцам объяснить все это было бы не легко, «гордый взор иноплеменный» ничего в этой российской неразберихе не уловит и не поймет.

Литература и жизнь

«Литература для детей старшего возраста»

Если попытаться свести к одному те разнообразные впечатления, которые остаются от чтения советских повестей и романов, формула возможна такая:

— Литература для детей старшего возраста.

Как бы ни упорствовали московские критики в утверждении, что, наоборот, советская литература — са-

мая передовая в мире, ее умственная скудость, или, вернее — ее элементарность, ее примитивность очевидны. Есть несколько всем известных исключений. Но общее снижение обнаруживается с одинаковой бесспорностью и при сопоставлении советских книг с книгами западными, и при сравнении их с творчеством русских писателей до революции.

На это у нас, в эмиграции, часто жалуются, нередко над этим и посмеиваются. Надо бы нам, однако, оторешиться во многих наших суждениях от привычного высокомерия и вдуматься в сущность дела. Надо бы понять, что культура, все больше растекаясь в ширину, не могла не утратить тех своих свойств, того блеска, той изощренности, которыми она отличалась, когда была узкой и глубокой, — и что явление это не только неизбежно, но по-своему и оправдано, хотя бы как исполнение почти столетних мечтаний наших «кающихся дворян». Надо бы отдать себе отчет и в другом: сейчас в России впервые начинают жить сознательной жизнью миллионы и миллионы людей, отцы и деды которых доступа ни к какой культуре не имели. Они действительно «строят жизнь», — говорю это без малейшей иронии, — гораздо меньше считаясь с правительственными и партийными указаниями, чем мы здесь предполагаем. То, что нам надоело, их еще волнует. То, на что мы махнули рукой в уверенности, что ответа все равно не получишь, им еще кажется неотложно важным. Именно такие, нами оставленные или нами забытые вопросы настойчиво обсуждаются героями новых советских повестей и романов, как в других формах обсуждались они и литературой первых революционных лет, литературой более нервной, более порывистой и умственно-отзывчивой, представленной еще писателями и интеллигентами, которые оглушены были только что происшедшим переворотом. За пересмотром положений моральных скрывалась тогда тревога почти метафизическая. Теперь она исчезла — или еще не появилась.

Цитаты в подтверждение сказанного:

«— Семен Иванович не скрывает того, что с ним было...

— Да, не скрывает... Человек и должен говорить о своей жизни все, всю правду. А вот другие должны ка-

саться чужой жизни очень осторожно, очень бережно. Иначе можно причинить человеку боль. Можно просто навредить человеку... Я поступила очень нехорошо» (Л. Карелин. «Микрорайон»).

«Как ты думаешь, Федор, как бы ты сам сделал... если я любил эту девушку, должен был я ее на первое место поставить, а? Она считала, что так, а отец говорит нет, если не мешает работе, то пусть какое хочет место, а если мешает, то нет... Для нее работа — вроде как фикция, а отец считает, что только работа определяет отношения... Он ведь у меня старых взглядов, даром что беспартийный» (Я. Прибытков. «На окраине»).

Это — выдержки из двух повестей, похожих по теме одна на другую. Герои ведут долгие разговоры, спорят, взвешивают, сомневаются. Вероятно, в ответ им сомневаются, взвешивают и читатели: кто прав, кто ошибается, кого отвергнуть, кого принять за образец? Перед ними — целый ряд «проблем», имеющих до крайности мало общего с теми, которые занимают людей иного культурного возраста или другого социального круга. Однако скажем себе: если нам порой и скучновато подобные нравоучительные произведения читать, если они и кажутся нам прописями, то нет причин над ними усмеяться. «Перемелется, мука будет», и как знать, из всех этих недоумений и переоценок, из всего этого духовного чернозема может быть и вырастет в конце концов мир справедливый, здоровый и человеческий.

Да, это будет уже не совсем тот мир, с которым мы свыклись — и который любили. Некоторое опрощение его неизбежно, как неизбежно и общее его эстетическое оскудение. Острота сменится пресностью, пестрота — серостью, и то, что было цельным достоянием «элиты», с более или менее беспечным вдохновением предававшейся творчеству, окажется раздробленным в порошок. Ужасаться ли этому, признать ли, наоборот, этот исторический процесс законным и даже праведным? Голоса в нашей среде наверно разделятся. Бунин с тоской писал, что ему «не принять грядущей нови в ее отвратной наготе». Умный и трагический человек, Конст. Леонтьев содрогался при одной мысли о будущем «всемстве», однако под самый конец жизни сказал «что же делать!» (в письме к Розанову) и как будто увидел свет, к кото-

рому оставался слеп раньше. Нелепо было бы решать в двух словах один из самых «проклятых» вопросов, стоящих в наше время перед сознанием человечества, — и в частности, в особенности перед Россией.

Но понять, что это именно великий и «проклятый» вопрос, а не предмет для легковесного издевательства — надо.

Литература и жизнь

[Дискуссия о Маяковском в журнале «Октябрь»]

Нет сомнения, что в ближайшие десятилетия произойдет в русской литературе некая «переоценка ценностей» и что время, как водится, сделает свое дело: одних, недооцененных при жизни, возвеличит, других, наоборот, низведет с их призрачного пьедестала. Так бывает всегда и везде, а в нашу эпоху, и при до сих пор длящемся советском обязательном единообразии взглядов, должно бы произойти с особенной резкостью. Должно бы произойти нечто вроде взрыва, да первые, глухие раскаты его уже и слышатся, — вероятно, благодаря тому, что характера подлинно политического они все-таки не имеют.

Наверно произойдет, например, переоценка Маяковского, и утверждая это, я имею в виду не только советское, слепое преклонение перед ним, но и эмигрантское, не менее слепое, безоговорочное его отрицание. Должна, наконец, быть сказана правда о нем, должно быть найдено верное отношение к нему. Маяковский — большое и сложное явление, одно из самых больших дарований в поэзии двадцатого века, человек, которому суждено было сыграть в этой поэзии огромную, хотя и едва ли благотворную роль. Отталкивание от него понятно, скажу даже больше — оно законно, поскольку Маяковский нередко стремился к тому, чтобы придать своему творчеству черты, обычно связываемые с именем одного из сыновей библейского Ноя. Поза Маяковского нелепа, актерская приподнятость его стиля несносна, как несносны и его развязность, его демонстративное панибратство с вечностью или вселенной, его мрачный хохот. Но в этом трагикомическом Несчастливцеве русской

поэзии было что-то и от Мочалова, и, не говоря уж о его исключительной словесной находчивости, такого «металла», который порой явственно и неотразимо звучит в его стихах, не было из его современников ни у кого. Все это должно быть уловлено, понято, взвешено, расслышано, оценено. Отрицание может и удержаться. Но отрицание проверенное, а не внушенное склонностью к поверхностной, приторной «поэтичности», без которой будто бы нет и не может быть поэзии.

Но это — дела эмигрантские. А что происходит среди молодых советских поэтов и критиков в их робких, пока еще очень робких, попытках разобраться в наследии Маяковского? Интересна в этом отношении дискуссия, отчет о которой помещен в июльской книжке «Октября». Однако, прежде чем коснуться ее, напомним особенности посмертной судьбы Маяковского в СССР.

При жизни поэта врагов у него было множество. Без преувеличения можно сказать, что его травили. Всем известны были отрицательные отзывы Ленина, оценившего как «полезное» одно только стихотворение Маяковского («Прозаседавшиеся»), но пренебрежительно посмеивавшегося над претензиями этого неисправимого футуриста прослыть глашатаем пролетарской революции («Это ИХ марш, а не наш!» — в воспоминаниях Бонч-Бруевича по поводу стихотворения «Наш марш»). Маяковский умер, споры о нем продолжались. Но не прошло и года, как в них вмешался Сталин: Маяковский, заявил он, был «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», — и разумеется, в тот же день, в тот же час едкие издевательства сменились сплошным славословием. Критики, особенно скомпрометировавшие себя нападениями на Маяковского, били себя в грудь и объясняли, что ныне, «в свете» гениальной формулы, отчеканенной Иосифом Виссарионовичем, они полностью уразумели свои ошибки.

С тех пор прошло много лет. Пресловутый «культ личности» — по крайней мере «личности» сталинской, — ликвидирован. Но на культе Маяковского это до последнего времени не отражалось. «Нет ничего ошибочнее мысли, — сказал один из выступавших на московской дискуссии, — будто слава Маяковского рождена известным отзывом Сталина». А что такая мысль теперь начи-

нает распространяться, можно убедиться по заявлению другого оратора:

«Некоторые товарищи полагают, что величие Маяковского связано с той формулой, которой он удостоился в годы культа. Не будь этой формулы, он якобы не был бы ни лучшим, ни талантливейшим. И они полагают, что критику культа следует распространить и на эту известную формулу».

Значит стремление к переоценке есть. И вероятно стремление это коснется той общей регламентации вкусов и взглядов, о которой я упомянул в начале статьи, — коснется, а может быть и восстанет против нее.

В самом деле, есть в СССР литературные имена, о которых не допускается до сих пор отзывов скольконибудь скептических: Горький, Маяковский, пожалуй и Шолохов. Нельзя представить себе, чтобы какой-либо московский журнал поместил статью, где было бы высказано мнение, что «Клим Самгин» — плохой роман, или что в стихах Маяковского довольно много хлама. Имена эти — «табу», и по отношению к ним в печати разрешены только поклоны и восторги. Нет, однако, ни малейшего сомнения, что положение это искусственное, не отвечающее действительности: должны среди миллионов читателей найтись люди, должны найтись и критики, которым Горький скучен, Маяковский не по душе, Шолохов кажется плоским. Не может быть иначе, не бывает иначе, и в условиях нормальных ни один самый великий писатель единодушия не встречал и не встречает: Гёте, по Клоделю, — «осел», а в «Войне и мире», по знаменитому утверждению Ткачева, «бездарно все, начиная с названия». Мы смеемся над подобными отзывами, но никому не приходит в голову требовать критической цензуры.

В СССР отрицается наличие какой-либо «уравниловки». Не доказывается ли, однако, стремление к ней именно этим насильственным единообразием суждений? Когда-то В. Шкловский попробовал сказать, что Горький, как художник, — «под сомнением», но понял, к чему это может привести, и умолк. Теперь еретические литературные оценки, по-видимому, близки к тому, чтобы проникнуть в печать, и, как признак общих изменений, это — явление значительное.

«Встречи» Федора Степуна

Это очень интересная книга — и очень талантливая. Впрочем, о талантливости можно было бы и не упоминать: она сама собой разумеется, т.к. с первых же страниц, Ф.А. Степуном написанных, было ясно, что человек это на редкость даровитый. Название книги не имеет значения дословного, точного, да с Достоевским, например, Степун встречаться по-настоящему и не мог бы. Встречи в данном случае — встречи духовные, нечто вроде бесед, а иногда и споров с писателями, на автора оказавших воздействие или по крайней мере задержавших его внимание. Среди них на первом месте — Достоевский и Толстой, «великие тени прошлого», как говорит Степун, а за ними Бунин и Борис Зайцев, Вяч. Иванов и Андрей Белый.

Должен сказать с самого начала: согласиться с мыслями и оценками Степуна мне большей частью трудно, в особенности когда речь идет о Толстом. Но согласие ведь и не обязательно, пожалуй даже и не очень желательно. Больше пользы от книги, на полях которой то и дело хочется поставить «вопросительный крючок», — как ставил его Онегин, — или знак восклицательный: получается тоже нечто вроде «встречи», а если встреча превращается в спор, если иногда возникает и недоумение, то жалеть об этом нечего. Из «столкновения мнений» вовсе не всегда, вопреки французской поговорке, «брызжет» истина, но по крайней мере свое личное мнение при этом проверяется, и нередко и укрепляется.

Степун как писатель, как мыслитель, по всему своему складу, — человек, конечно, «достоевский», а не «толстовский». Это можно бы счесть чертой отрицательной или положительной, как угодно, — но по теперешним временам есть в этом свойстве его духовного облика нечто очень ценное. Именно — по теперешним временам. В самом деле, Степун — один из последних русских декадентов, символистов, модернистов: употребляю эти условные термины только в смысле принадлежности к эпохе с ее особыми веяниями, настроениями, надеждами, гаданиями и предчувствиями. С ее особой музыкой, хотелось бы добавить. Этот русский предреволюци-

онный Ренессанс, этот «серебряный век» был все-таки временем замечательным, сколько бы ни примешалось к нему баловства, беззастенчивого литературного карьеризма и комедианства. Было в тогдашнем русском воздухе «что-то» неповторимое, теперь исчезнувшее, и Степун об этом помнит и до известной степени это хранит.

Мне иногда представляется, что хорошо было бы устроить какое-нибудь последнее дружеское чаепитие, — вроде тех, о которых вспоминает Степун в статье об Андрее Белом, — и, собрав на него последних могикан русского модернизма (имена их теперь наперечет), в последний раз поговорить обо всем, что нам снилось и что бесследно рассеялось: председателем на таком «симпозионе» следовало бы избрать Степуна и именно он мог бы произнести в заключение достойное слово в память дорогого, рассеявшегося былого. Об этих годах Степун очень хорошо пишет, как «свой», как о «своем». Удивительно, однако, что Бунин он возвеличивает и приписывает ему «царственную свободу» именно на том основании, что тот прошел мимо модернизма, не коснувшись его и как бы его не заметив. Что благодаря этому у Бунина «нет ни одной внутренне лживой и пустой страницы», верно. Но человек должен быть сыном своего времени, и не оттого ли отсутствует в бунинских писаниях внутренняя борьба, не оттого ли, при всем высоком, необыкновенном бунинском мастерстве, есть в его книгах что-то чуть-чуть слишком гладкое, я едва не сказал чуть-чуть пресное? Бунин считал себя учеником Толстого и формально имел право себя им считать. Но в плане отвлеченно-духовном, не узколитературном, гораздо ближе к Толстому был Блок, соблазненный модернизмом и измученный им, требовавший невозможных ответов, искавший несуществующих выходов, как и тот, кого он в малоизвестной статье, написанной к восьмидесятилетию Толстого, справедливо назвал «солнцем над Россией».

Степун наряду с Буниным пишет о Зайцеве. Именно у Зайцева по сравнению с Буниным заметно было с первых же лет творчества, с «Отца Кронида» и других ранних его вещей, какое-то дребезжание, будто в ответ или в отзвук духовной сущности эпохи, и хотя писания его

позднее раздвоились, пошли по двум линиям, бытовой и модернистической, их первоначальная особенность осталась заметна до сих пор.

О Достоевском во «Встречах» сказано много чрезвычайно пронизательного — и даже больше: окончательного. Замечательна статья о «Бесах» и замечательны некоторые утверждения в этой статье, — например, что «в сущности, Ставрогина в романе нет» и что «он присутствует в нем, как только что опустившееся за горизонтом солнце». С этим соглашаешься сразу, тут же удивляясь, что это тебе самому до сих пор не пришло в голову! По-видимому, отсутствие, в качестве живого человеческого образа, именно того лица, которое умственно преобладает в романе, следует признать одной из творческих особенностей Достоевского, скорей всего невольной, безотчетной: разве не то же самое можно сказать и об Иване Карамазове? Все мысли в «Карамазовых» — от Ивана, но насколько же Дмитрий или даже старик Федор Павлович живее, убедительнее, реальнее его! Иван — говорящая машина, напетая автором пластинка, и, не говоря уж о людях Толстого, он схематичен по сравнению с любым из второстепенных героев Достоевского.

Очень верно у Степуна и указание, что по тем мыслям, которые принадлежат философствующим героям Достоевского, нельзя судить о мирозерцании автора. В самом деле, Достоевский непрерывно высказывает идейные предположения, Достоевский как бы говорит: «вот что может человеку прийти в голову», не принимая за высказанное никакой ответственности. Основные мысли Ивана в знаменитом разговоре с Алешей, предшествующем «Великому Инквизитору», он, вероятно, склонен был бы разделить, хотя и без вывода о «возвращении билета на вход в мир». Но Кириллов — именно предположение: «я этого не думаю, но допускаю, что другой человек может это думать». И Свидригайлов — предположение, и конечно, Раскольников с его суровым, непоколебимым до-ницшевским нищепанством, которое сменяется слезливым раскаянием лишь под самый конец, «под занавес», в явную уступку среднечитательским требованиям, как правильно подметил это покойный Мочульский.

С Толстым у Степуна счеты давние и трудные, и, несмотря на общий почтительный тон, которым проникнуты страницы о Толстом, он Степуну явно не по душе. Не раз автор «Встреч» дает понять, что, по его мнению, Толстой того-то «не понял», того-то «не почувствовал». Попадают фразы и поистине удивительные: утверждая, например, что «слишком разработанное мирозерцание и слишком убежденное его исповедание мешают искусству», Степун для доказательства ссылается на «Воскресение» и на горьковского «Клима Самгина». Невольно протираешь глаза: не померещилось ли? Да, в «Воскресении» многое продиктовано наставнической нетерпимостью, да, есть в нем глава ужасающе-тягостная, — та, конечно, где высмеяна православная обедня, — но все-таки книга эта гениальная, исключительно значительная, в замысле своем исключительно чистая и глубокая, с необыкновенными по художественной силе страницами, и как мог Степун назвать ее рядом с тягучим и плоским романом Горького, едва ли не самым неудачным из больших его произведений, я понять не в силах! И не только этого понять не могу, но и замечаний вроде того что, хотя философски-религиозные рассуждения Толстого совсем слабы, они восхищают многих потому, что исходят из-под пера автора «Анны Карениной» и «Войны и мира». «И многое по той же причине пришлось ему серьезными мыслителями и философами».

Удивителен здесь этот эпитет «серьезный». Удивителен этот стилистический срыв под пером человека, к слову и внимательного, и взыскательного: «серьезные мыслители»! Может быть, Степун и не хотел этого сказать, но получается так, что серьезны лишь те мыслители, которые усердно следят за развитием новейшей философии, комментируют Гуссерля или Хайдеггера, работают над диссертациями об экзистенциализме, а те, кто бьется над вопросом «так что же нам делать?», те, видите ли, не серьезны. Был в высшей степени «серьезный» и чрезвычайно тонкий французский мыслитель Ален, не так давно скончавшийся: говоря об «Анне Карениной», он охарактеризовал толстовские размышления как «мысли каменного века», однако вовсе не с тем, чтобы отрицать их насущную важность, а наоборот, чтобы подчеркнуть,

что «мысли каменного века» полностью останутся живы и в сверхатомные века и что именно их простота предохраняет их от увядания. Если позволить себе применить к автору «Встреч» те выражения, которые он употребляет по отношению к Толстому, то можно бы сказать, что Степун «не заметил», «не почувствовал» у Толстого того, что тот бьется головой о стену, — т.е. не заметил, не почувствовал его отчаяния, его отказа удовлетвориться полуправдой, во всех ее видах и разновидностях, на которой благополучно успокаивается огромное большинство людей, в том числе и мыслителей. Говорит ли он об эпизоде с причастием, — о котором рассказано в «Исповеди», — красноречиво ли указывает, что Толстой не использовал «дарованной ему благодатной возможности обрести и принять созданные Церковью формы выражения непостижимой глубины христианства», это сквозит всюду.

Но оставим Толстого. Начнешь толковать о нем, так никогда и не кончишь, а отстаивание его непреходящего значения может привести к никчемной запальчивости в критике книги, которая сама по себе и ценна, и своеобразна, и блестяща. В мире достаточно места для всякого рода идейных построений, для умственного творчества, принадлежащего к любому психическому складу и типу. Степун, конечно, — в линии Достоевского, от которого через Мережковского, в данном случае основоположника, пошел весь русский модернизм, пошло русское «декадентство», с его тяготением к «тайновидцу духа» за счет «тайновидца плоти». Один Блок усомнился в окончательной правоте предпочтения, и надо по справедливости сказать, что Блока, с его двоящейся прелестью и его разорванностью между моралью и эстетикой, Степун «чувствует» как мало кто другой и не случайно называет его «несравненным». Несравненный Блок: слова эти хочется повторить в особенности после всех нападок на чудесного поэта, после недавних, довольно-таки нелепых попыток уличить его в малограмотности. Несравненный Блок! Творчество надо судить по взлетам, никак не по срывам, а подниматься так высоко, как Блок, не удавалось в наш век никому.

Можно ли приблизительно так же отнестись и к Андрею Белому? Тут возникают сомнения. Замечание

Степуна, что Блок по сравнению с Белым был «менее богат, но метафизически более правдив», представляется мне чрезвычайно верным. В Андрее Белом действительно были искры гениальности, он был именно «богаче» Блока, слишком честного, чтобы блистать и сиять, он был ослепительнее, расточительнее, чем Блок, но все же Белый — это катастрофа, пусть и гениальная, это гениальная растрата даров, какой-то фейерверк, не оставивший и следа. Степун восхищается «Петербургом», который и мне по старой памяти казался вещью совершенно необыкновенной. Но увы! я недавно перечел его. Нет, это «воняет литературой», как сказал бы Тургенев, и почти все в этом романе выдуманно, надумано, искусственно, нарочито и грандиозно-мертво. Таланта в «Петербурге» во всяком случае меньше, чем показной гениальности. Роман, разумеется, не ничтожен, а по сравнению хотя бы с тем же «Климом Самгиным» может сойти за подлинно великое произведение. Но это именно — катастрофа, заставляющая лишь гадать о том, как было бы это повествование необыкновенно хорошо, если бы несчастный, вечно мятущийся автор оказался в силах вдохнуть в него жизнь.

Надо в заключение настойчиво повторить, что «Встречи» в высшей степени увлекательная книга. Оттого-то со Степуном и полемизируешь, что он задевает и увлекает: автор «Встреч» не «пописывает», читатель в ответ не «почитывает», а читает, не отрываясь. Какая меткость, какая острота в иных определениях!

«Леонида Андреева постоянно мучила какая-то мирозерцательная изжога от жадно поглощаемых им метафизических проблем»...

«Владимир Соловьев всю жизнь промолчал о самом главном за тюремной решеткой своих рационалистических построений»...

Как это верно, о Соловьеве в особенности! Сколько бы ни оказалось поставлено на полях «Встреч» вопросительных и восклицательных знаков, книгу такого умственного уровня надо по теперешним нашим серым и скудным литературным временам ценить на вес золота.

Литература и жизнь [300 лет со дня смерти Паскаля]

Триста лет тому назад скончался один из величайших гениев, которых знало человечество за всю свою историю — Блез Паскаль. Франция его вспоминает и чествует. Но для явлений такого порядка, такого калибра, как Паскаль, национальных границ не существует, и принадлежат они всем людям. Надо бы вспомнить, надо бы перечитать Паскаля и нам, русским, и притом перечитать с горестным сознанием, что там, в России, в Москве, уость и заносчивая нетерпимость официально господствующего мировоззрения давно уже исключили автора «Мыслей» из списка так называемых «светочей культуры». Чернышевский с Добролюбовым в Москве — светочи, гении, а Паскаль — юродивый, пусть и необычайно одаренный, но все-таки юродивый. Во всяком случае, Паскаль для Москвы — «устарел», не мог не «устареть», раз толковал он о таких суеверных пустяках, как Бог или душа. Да, стыдно признаться, но сейчас Россия наша, несмотря на сеть своих новых университетов, на блестящие успехи в отдельных отраслях науки, на огромные, бесспорные достижения в деле общенародного образования, несмотря на полеты в космос и прочие чудеса, сейчас, или, вернее, со времени октябрьского переворота, Россия в самом острие духовной культуры, по отношению ко многим творческим ее вершинам, находится в состоянии мракобесия.

«Страшный гений», «un génie effrayant», сказал о Паскале Шатобриан, и перечислив главнейшие его открытия в физике и математике, — открытия, изумлявшие Лейбница, — подчеркнул, что не может вспомнить человека, великие и разнообразные дарования которого развились бы с такой стремительностью. Однако, если бы Паскаль до последних дней своей короткой жизни остался только ученым, имя его отошло бы в историю в числе других славных имен прошлого, и то, например, что он впервые взвесил воздух, опровергнув этим былые представления о «пустоте», или наметил основные линии теории вероятности, было бы в наши дни отнесено к заслугам историческим. Удивительно в духовном облике Паскаля другое: его внезапное охлаждение, даже

больше — его презрение к науке, как к чему-то суетному и второстепенному, его растерянное бегство за пределы точного знания, его метафизическая тревога, с беспримерной силой отраженная в «Мыслях». Удивительно то, что будучи одним из величайших французских ученых, Паскаль был... нет, не «одним из», а наверно величайшим французским писателем, самым высоким явлением всей французской литературы, — ибо что ни вспомнишь в этой литературе рядом с «Мыслями», все кажется розовой водичкой или напыщенной, более или менее удачной, искусной, талантливой болтовней. Случается, перелистываешь эти бессмертные «Мысли» — и отказываешься от согласия с ними. Жаль становится мира, который в них осужден, хочется остаться жить в мире с этим миром. Слишком это аскетически-суровые мысли, действительно слишком «страшные»! Но поражает огонь, которым они проникнуты, поражает их неизменная устремленность к самому важному, к самым последним загадкам бытия. Под пером Паскаля не раз мелькает пренебрежительное слово «развлечение»: развлечением было для него все то, что от этих загадок уводит, отвлекает, — в том числе и наука, бессилие которой найти нужные ему ответы он понимал, как никто другой.

Именно это определяет значение Паскаля для наших дней. Отвергнут может он быть только в своих догадках, никак не в вопросах. По самой исключительности своей натуры он может остаться в одиночестве: даже и сочувствуя ему, следовать за ним трудно. Каждому из нас случалось, вероятно, недоумевать: кто мы, откуда пришли, куда уйдем? Что такое жизнь, зачем мы живем? — но никого не охватывал такой ужас перед неизвестностью, перед «вечным безмолвием беспредельных пространств», как тот, который охватил Паскаля. Оставив науку, он помощи и поддержки искал все же у своего мощного, гибкого разума и пытался математически доказать существование Бога и истинность христианской веры с главнейшими ее догматами, — пытался так же настойчиво, так же тщетно, как за две тысячи лет до него Платон доказывал бессмертие души: тщетно потому, что доказать в этих областях ничего нельзя (нельзя, конечно, и опровергнуть). Возникли противоречия, срывы, провалы, умолчания, удивительные, внезапные прозре-

ния, и все вместе сложилось в книгу в своем роде единственную, памятник необыкновенного словесного дара, необыкновенной искренности и неумолимой духовной требовательности.

Есть в европейской культуре одно великое явление, полноправно противостоящее Паскалю, выдерживающее его натиск и даже как будто его не замечающее — Гёте: царственное спокойствие, отсутствие чувства греха и, значит, возможного воздаяния, отказ от превращения жизни в мистиерию или драму, братское доверие к стихиям. А наш Толстой — это Гёте, духовный родственник Гёте, в котором проснулся Паскаль, проснулся и испепелил его. Все это, едва коснешься таких людей, уводит мысль очень далеко: на чьей же стороне правда? одна ли есть правда для всех, — как, несомненно, думал Паскаль, — или у каждого она своя? Но юбилеи были бы до смешного никчемны, если бы не побуждали передумать то, что с ними связано, и о трехсотлетии Паскаля не стоило бы и вспоминать, если бы «среди лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы» не перенестись душой и умом, — хотя бы и со своими сомнениями, — к его великому, огненному творчеству.

Литература и жизнь [Стихи Е. Евтушенко]

Имя Евгения Евтушенко известно теперь всем, даже и людям, которые поэзией не интересуются и значения ей не придают.

Шум, вокруг его имени поднятый, превратился в шумиху. Писали и толковали о нем у нас главным образом в связи с теми его стихотворениями, где можно было уловить мысли и чувства, не совсем обычные для советского литератора, или же в связи с его недавней заграничной поездкой. Кто-то охарактеризовал даже эту поездку, как «гастроли». Евтушенке задавали глупые и бестактные вопросы, — «довольны ли вы своим правительством?», «есть ли по-вашему в СССР свобода?», — вопросы эти, по-видимому, его раздражали, да и не могли не раздражать, и отчеты в газетах оказались в большинстве случаев выдержаны в тонах насмешливых. Евтушенко

сейчас — литературная сенсация, нечто вроде «ведет-ты». Должен признаться, лично мне это внушало к нему недоверие и отбивало охоту ближе познакомиться с его творчеством, внимательнее вчитаться в то, что он пишет. Казалось, есть много более достойного, менее крикливого: стоит ли тратить время на очередную, и, вероятно, эфемерную, знаменитость?

Бывают, однако, литературные впечатления, похожие на разряд электрического тока: такой внезапной встряской, таким «шоком» были для меня шесть стихотворений Евтушенко, помещенных в июльской книжке «Нового мира». Невозможно сомневаться: это настоящее дарование, сильное, свежее и легкое, это «Божьей милостью» дарование! Сборник Евтушенко «Взмах руки», вышедший этим летом в Москве и только что полученный в Париже, пожалуй, не совсем на уровне стихов, помещенных в «Новом мире», он как-то рассеянное, поверхностнее, пестрее, но уверенности, что в русской литературе появился новый, большой поэт, он все же не колеблет ничуть. Есть и в нем немало строк и строф, которые запоминаются сразу — и запоминаются надолго.

Заметно влияние Маяковского. Но это влияние внешнее, а по существу Евтушенко от Маяковского очень далек: он гораздо лиричнее его, гораздо мягче, — и, думаю, глубже. Многое из того, что дремало в русских сознаниях или, вернее, что в последние десятилетия поневоле молчало, что было подавлено и не могло пробиться сквозь толщу суровых социально-политических условий, отчетливо у Евтушенко звучит. Отклик, который стихи его находят, вероятно, этим и вызван. Правда, он иногда бывает по-маяковски размашист, бывает даже развязен в стиле «знай наших!», но тут же спохватывается и обрывает себя. От поэта-оратора, от поэта-трибуна в нем по природе нет ничего, и если искать великих литературных предков и признать, что Маяковский с его трагическим говорком восходит к Некрасову, то при чтении Евтушенко вспоминается Лермонтов. «Я никогда с тобой не встречусь и никогда не разлучусь», — говорит он в конце одного из своих любовных стихотворений: это — лермонтовская интонация, лермонтовский прием сочетания двух понятий, друг друга будто бы включающих. А в способности построить стихотворение

на тончайшем, между явью и сном двоящемся ощущении жизни, в мучительном сознании разлада между тем, что есть, и тем, чего никогда не будет, он приближается к Анненскому, — и поистине удивительно читать в советской перефразировке, то и дело украшенной бойкими бытовыми словечками, эти безотчетные вариации на темы едва ли не самого горестного, самого одинокого из русских поэтов.

Удивительно, например, стихотворение, написанное в поезде. «В вагоне шаркают и шамкают, а я тихонечко пишу...»

Я уезжаю от бездонности,
Как будто есть чему-то дно,
Я уезжаю от бездонности,
Хотя мне это суждено.

А ты в другом каком-то поезде
В другие движешься края...

Поэту вспоминается картина: протянутые «над всей вселенною, над вечностью» тянущиеся к другим рукам руки, — кстати, не старая ли картина Чурляниса, живописно, может быть, и слабая, но поэтически необычайно выразительная, та, о которой писал когда-то Вячеслав Иванов? Руки тянутся к рукам, — конечно, к «ее» рукам:

И, вытянутые над бездною,
Где та же, та же немота,
Не смогут руки наши бедные
Соединиться никогда.

Следовало бы сделать другие цитаты, привести другие примеры, — в частности, стихи из «Нового мира» — в подтверждение испытанного мною «шока». Но оставим это до другого раза, может быть, до другой, более обстоятельной статьи.

Дай Бог, чтобы внезапный, огромный успех не вскружил поэту головы! Хочется верить, что этого не случится, и есть основания в это верить. По всем данным Евтушенко — человек дальновидный, цену жизненным обольщениям знающий и внутренне более скромный, более требовательный к себе, чем кажется. Он еще очень

молод и может, прикидываясь «парнем в доску своим», начать стихотворение так: «Какие девочки в Париже, черт возьми!» Но ум и душа его — совсем другого состава, другого качества, не говоря уж о таланте.

Талант во всяком случае первостепенный, и надо иметь «пробку вместо уха», — как выражался Ремизов, — чтобы этого не расслышать.

Стихи Л. Ганского

Тоненькая книжка стихов Леонида Ганского «На весу» — один из сравнительно редких стихотворных сборников, где есть содержание. А содержание есть в нем потому, что есть человек. О книжке этой никак не скажешь «слова, слова, слова», пусть и искусно подобранные, но ничего в себе не таящие и ничего не открывающие. Наоборот, пользуясь выражением Блока из предисловия к «Земле в снегу», сборник этот можно было бы охарактеризовать как «мало словесный». В нем нет стихотворений, которые задерживали бы внимание остротой иного стилистического оборота, блеском или яркостью какого-нибудь неожиданного эпитета, — короче, всем тем, что прельщает нас, и законно прельщает, у других поэтов. Зато у Ганского есть свое, особое отношение к миру и жизни, и есть свой голос, не громкий, не звонкий, но подлинно свой.

Стихи его исключительно печальны. Будь в них больше творческой силы, больше страсти, больше сопротивления судьбе, следовало бы даже сказать иначе: не печальны, а трагичны. Во всяком случае, любителям поэтической бодрости и хмельного поэтического восторга, многочисленным приверженцам литературного задора, энтузиазма и оптимизма рекомендовать книжку Ганского никак нельзя. Заранее знаешь, как они на нее отзовутся: «помилуйте, в нашу динамическую эпоху... подумайте, в наши дни, когда мир раскололся на два лагеря...», — и так далее, и так далее. Утверждения эти сами по себе, может быть, и правильны: эпоха наша в самом деле «динамична», мир действительно раскалывается на два лагеря. Беда лишь в том, что при обращении к поэтам в качестве категорического требования утвержде-

ния эти становятся постылым, плоским вздором и противоречат не только понятию творческой свободы, но и глубже: самой сущности поэзии, которая гораздо реже возникает из восхищения миром или даже из сознания своей ответственности за его участь, чем из чувства его непоправимого несовершенства, его «ущербности», как выражались символисты. «Sois belle et sois triste», — сказал Бодлер, обращаясь к женщине, но думая как будто именно о поэзии... Долго было бы, впрочем, обо всем этом толковать: к слову пришлось, оттого этих общих тем я в связи с книжкой Ганского и коснулся. А уж если зашла речь о нашей эпохе, надо было бы добавить, что она не только «динамична», но в отношении ко многим русским, принадлежащим к поколению Ганского, оказалась и сурова, как худшая из мачех. Самый ее «динамизм» отчасти на ее бесчеловечности и основан.

При чтении Ганского вспоминается писатель, о котором он, может быть, и не думал, — Кафка. Бессмыслица мира, притом бессмыслица какая-то окончательная, безвыходная, слепая, тюремная, этот основной в творчестве Кафки мотив, тот, которым он заворожил добрую половину новой западной литературы, — бессмыслица мира отражена и в стихах Ганского. Но отражена без протеста, как некое непреложное данное, постоянно варьируемое и осложненное личными, слегка неврастеническими откликами. «Ну, так радуйся, мучась, все равно ничего не поймешь!» «Но мы-то здесь причем — причем здесь мы-то?»... «Господи, мир великолепен, но может быть лучше в аду?» А порой тема проясняется, будто все другое было только случайным комментарием к ней:

Скажут пойти — ответят «пойдем».
И двинут вперед, напролом.

И все — как один, каждый за всех,
А все остальное — грех.

Вперед без оглядки: паек иль тюрьма
Не вашего дела ума...

Стихи Ганского — монолог, приглушенный, ультракамерный разговор с самим собой. Было бы, однако, ошибкой счесть, что он не способен отвлечься от сво-

их вздохов и упреков, не способен написать несколько строчек, в ответ которым сама собой возникает улыбка:

Что мне с того, что вы меня любили.
Что любит вас теперь уже другой.
Мы жизнь от чувств беспечно разгрузили.
Любовь теперь — молчанье и покой.

И больше нет уж той огромной силы.
Такой любви, жестокости такой,
Когда меня вы, кажется, любили,
Когда любил вас, кажется, другой.

Здесь, конечно, вспоминается не Кафка, а Пушкин: «как дай вам Бог любимой быть другим!» Уверен, что всякий, кто мало-мальски чувствителен к стихам, к прелести стихотворной ткани, оценит это повторное «кажется». На нем ведь все восьмистишие и держится, и это двойное «кажется» — пример того, как неизвестно почему, неизвестно в какой момент, ряд слов, казалось бы, самых заурядных, внезапно становится магическим, нерасторжимым их сцеплением: становится тем, что мы и называем поэзией.

Литература и жизнь **[«Война и мир» и 1812 год]**

Стопятидесятилетие со времени Отечественной войны — юбилей не только государственный, а отчасти и литературный. Думаю, незачем объяснять, почему: в самом деле, трудно вспомнить 1812-й год, не вспомнив и «Войны и мира».

Перечитывая критические отзывы, появлявшиеся в журналах и газетах по мере того, как роман печатался, знакомясь с суждениями, высказывавшимися в частных письмах, удивляешься слепоте современников: почти никто из них не понял, что такое «Война и мир», какое исключительное место займет этот роман в русской и даже мировой литературе. Правда, оценки скольконибудь справедливые возможны лишь на расстоянии, и современникам крайне редко удастся отдать себе отчет в истинном значении того, что предложено их вниманию:

преувеличенные восторги — явление столь же обычное, как и брань, или усмешки, впоследствии вызывающие недоумение. Но достаточно вспомнить, что Тургенев — к концу жизни «Войной и миром» восхищавшийся, — на первых порах отозвался о романе, как о «несчастном продукте», чтобы убедиться, что на этот раз была именно слепота. Суворин оказался благосклоннее Тургенева и признал, что «граф Толстой — несомненно талантливый писатель»: фраза, достойная стать украшением любого юмористического альманаха. Верную оценку дал Н.Н. Страхов, критик очень тонкий, очень вдумчивый, к сожалению теперь полузабытый, да и при жизни оттесненный на задний план своими крикливыми и нетерпимыми собратями из добролюбово-писаревского лагеря. Вот что он о толстовском романе писал:

«Какая громада и какая стройность! Ничего подобного не представит нам ни одна литература. Тысячи лиц, тысячи сцен, всевозможные сферы государственной и частной жизни, история войн, все ужасы, какие есть на земле, все страсти, все моменты человеческой жизни, от крика новорожденного ребенка до последней вспышки чувства умирающего старика, все радости и горести, доступные человеку, всевозможные душевные настроения, от ощущения вора, укравшего червонцы у своего товарища, до высочайших движений героизма и дум внутреннего просветления, — все есть в этой картине».

Правильно, верно! — хочется сказать от себя, особенно подчеркнув слова о том, что «ничего подобного не представит нам ни одна литература». Мне вспоминается, как Альбер Камю на литературно-политическом собрании в зале Плейель, вскоре после войны, мимоходом коснулся в речи «Войны и мира», и, будто еще не совладав со своим читательским изумлением, развел руками и сказал:

— «Война и мир» — величайшая из всех когда-либо написанных книг...

Не знаю, может быть, он хотел сказать «величайший из романов». Но сказал именно — из всех книг, *«de tous les livres que ont jamais été écrits»*.

А если ограничиться романами, то Сомерсет Моэм пошел еще дальше: в книге, посвященной десяти лучшим романам мировой литературы, он не только «Войну

и мир» выделил, но и выразил уверенность, что такого романа никогда больше написано не будет. Предсказание, имеющее много шансов оправдаться: дело тут не в возможности появления писателя, столь же гениального, как Толстой, а в условиях, которые созданию «Войны и мира» способствовали, в сравнительном благополучии тогдашнего мира, в прочности устоявшегося быта, в отсутствии судорожности, ставшей уделом времен позднейших.

На солнце, однако, есть пятна, есть и пятно на «Войне и мире» — Наполеон. Как бы ни относиться к этому человеку, как бы ни оценивать его историческую роль, минимум беспристрастности требует признать, что глуп он ни в коем случае не был. А у Толстого Наполеон не только тупица, но и пошляк. Об этом писал еще Чехов, и правда, если что-либо и мешает «Войне и миру» быть новой Илиадой, то именно это неожиданное вторжение карикатуры, притом карикатуры злобной, в эпопею, которая в других своих частях развивается так же широко и свободно, как бытие, управляемое одними только стихиями.

Любопытны некоторые мелочи, оттеняющие пристрастное отношение Толстого к Наполеону. Все помнят, конечно, главы о приезде генерала Балашева во французскую ставку, когда есть еще надежда остановить войну. В конце беседы Наполеон берет Балашева за ухо, что при французском дворе считалось знаком особой императорской милости. Но Толстой возмущен: как посмел корсиканский выскочка взять за ухо пожилого русского генерала!

Эпизод этот полностью заимствован из «Истории империи» Тьера, но не только заимствован, а и искажен, — как установил это лет тридцать тому назад один из советских исследователей, если не ошибаюсь — Б. Эйхенбаум: в действительности Наполеон взял за ухо не Балашева, а своего посла Коленкура, что, конечно, и привело того в восторг. Не думаю, чтобы искажение было умышленно: в недобросовестности заподозрить Толстого нельзя. Более вероятно, что он ошибся при чтении Тьера, спутал Балашева с Коленкуром, — но едва ли ошибся бы он, не будь заранее готов приписать Наполеону все, что угодно.

Другая мелочь, насколько мне известно, никем еще не отмеченная.

Утром перед Бородинским сражением Наполеон в палатке совершает свой туалет: один камердинер опрыскивает его одеколоном, другой растирает щеткой. Император ежится, пофыркивает, ворчит: «валяй! крепче!»

Это взято из знаменитого ласказовского «Мемориала». Но у Лас-Каза Наполеон добавляет — «как осла!»

Почему Толстой этого «осла» выпустил? Трудно предположить, чтобы он им пренебрег, как подробностью пустой, ничего не дающей. Восклицание ярко, забавно, сцену оно могло бы украсить. Не оттого ли именно Толстой «осла» и выбросил, что он ему понравился, что словечко это хоть на одну секунду очеловечило бы образ Наполеона? Предположение мое произвольно, но представляется мне правдоподобным.

Литература и жизнь **[«Живой как жизнь» К. Чуковского]**

Больше полстолетия тому назад в Государственной думе Столыпин, отвечая политическому противнику, сделал в пылу речи какую-то грамматическую ошибку. Его прервали:

— Так по-русски сказать нельзя!

Столыпин усмехнулся, пожал плечами.

— Нельзя? Мой язык. Как хочу, так и говорю.

Каждый раз, когда возникает в нашей печати спор о правильности того или иного словесного оборота, вспоминается мне этот эпизод. Конечно, принять в качестве «руководящего принципа» остроумную полемическую реплику Столыпина было бы опасно: в самом деле, мало ли какую безграмотную галиматью можно ею оправдать! Но доля правды в ней есть, и даже большая доля правды, — потому что при знании языка, при чувстве особенностей и свойств языка, усвоенного с младенчества, природно-своего, некоторая свобода в обращении с ним не только допустима, но и естественна. Подлинными учителями в этой области надо признать Пушкина и Толстого, Гоголя и Крылова с Грибоедовым,

а никак не составителей условных правил и блюстителей непреложной грамматической законности. В эмиграции, боясь мало-помалу утратить связь с живой, вечно обновляющейся языковой стихией, мы стали к стилистическим шероховатостям придирчивы и даже нетерпимы. Но если русскому языку среди нас что-нибудь и угрожает, то не столько ошибки, мнимые или подлинные, сколько схоластическое, канцелярское омертвление речи, преимущественно речи печатной, газетной, — как, по другим причинам и в еще больших размерах, угрожает это русскому языку и в СССР. Даже при безупречном знании языка, даже при живом, именно природном его чувствовании можно и «купаться в ванне», и «мыться в ванне», и «взять ее», и «принять ее», — а если, подумав, и соглашаешься, что одно выражение предпочтительнее другого, то не грех порой и позволить себе вольность. Покойный кн. С. Волконский, убежденнейший «пурист», чуть ли не в обморок падал, когда при нем кто-нибудь «открывал» двери или ставни, а не «отворял» их, и по-своему он был прав. Но в «Онегине» сказано: «закрыты ставни, окна мелом забелены», — и если логика остается в данном случае на стороне Волконского, то едва ли он все-таки писал и говорил по-русски лучше Пушкина.

Одно из прекраснейших стихотворений в нашей литературе, «Внимая ужасам войны», начинается с ошибки, за которую всякий школьник получил бы двойку, и все-таки это стихотворение прекрасно. Лермонтов написал «из пламя и света», и хотя ему еще в рукописи указали, что надо бы сказать «пламени», он это «пламя» оставил, — правда, не без колебания, но оставил.

Зачем я об этих вольностях напоминаю? Вовсе не с тем, конечно, чтобы призвать всех пишущих делать то же самое. При сомнениях, при неуверенности в себе лучше справиться со словарем или грамматикой, которые составлены были все же людьми вдумчивыми и свое дело знавшими. Но еще раз скажу, что главная опасность — в стремлении заменить живую речь оборотами может быть и правильными, но надуманными, книжными, мертвыми, теми, которые в СССР, по-видимому, считаются свидетельством особой «культурности» пишущего.

В Москве вышла книжка Корнея Чуковского о русском языке «Живой как жизнь», книжка, где много верного, но немало и спорного. Чуковский приводит примеры этого омертвления, проникающего уже и в повседневную речь.

Некий литератор упомянул в статье о «мокрой земле и глубоком снеге». Редактор возмутился: «Вы не уважаете читателя! Надо писать — глубокий снежный покров и избыточно увлажненная почва». Рыболов обращается к товарищам: «Какие мероприятия предпринимаете вы для активизации клева?» Молодая женщина расхваливает свою деревню: «выйдешь за калитку, сразу зеленый массив!» Для цитат из советских газет нет места, да и кто не приходил в недоумение или в отчаяние над заполняющей эти газеты высоко-«культурной» тарабарщиной!

Чуковский скорбит о распространяющейся среди советской молодежи привычке говорить на языке полублатном. Например, «мы вчера с одним чуваком железно нарубались», что в переводе значит «мы вчера с одним приятелем наелись досыта». Но ведь этот «блат» — неизбежная, естественная, пусть и уродливая реакция против «лесных массивов» вместо леса и «избыточно увлажненной почвы» вместо мокрой земли. Пока жив народ, жива и его неукротимая потребность в языковом творчестве, что отчасти сказывается и во французском «арго», и в английском «сленге», где наряду с уродствами попадаются чудесно-выразительные словесные находки. Но у нашей России, как известно, «особенная статья», и без крайностей у нас не обходится ничего.

Вернусь, однако, к явлению, которое Чуковский метко называет «канцеляритом». Недавно в «Новом мире» была помещена короткая заметка, подписанная четырьмя именами, в том числе Анной Ахматовой. В заметке этой, касающейся новых сведений о гибели Пушкина, указано, что «светская чернь целеустремленно преследовала поэта». Целеустремленно! Более чем вероятно, что не сама Ахматова заметку писала, но неужели не поморщилась она, ее подписывая? Не знаю, все ли со мной согласятся, но лучше, по-моему, десять раз «выкупаться в ванне», чем один раз «целеустремленно» к чему-нибудь направиться, — хотя никакой ошибки в этом выражении и нет.

Литература и жизнь [Льежский процесс и Ватикан]

Литература и жизнь: к сегодняшней моей статье обычное название это не подходило бы, если бы поводом, толчком к ней не были некоторые мысли Достоевского. Значит, можно название оставить. Не я один, вероятно, вспомнил Достоевского в связи с недавним льежским процессом и неожиданным вмешательством Ватикана в это взволновавшее весь мир дело.

Достоевский о католицизме много писал. Писал пристрастно, с полемической славянофильской запальчивостью, далеко не всегда справедливо, прощая все отступления от евангельской морали Церкви православной и ничего не прощая Церкви римской. «Легенда о Великом Инквизиторе» есть обвинительный акт, возражения на который напрашиваются сами собой, и надо сказать правду, дошел в ней наш гениальный, но утративший всякое чувство меры прокурор до утверждений чудовищных. Сколько раз вспоминалась эта легенда во время войны и немецкой оккупации, при виде того, как держались тогда скромные, рядовые католические священники, с какой смелостью, часто рискуя жизнью, отстаивали, прятали и спасали они людей в опасности! Правда, это были священники именно рядовые, а на верхах, в Риме, было не совсем то. Но там и положение было исключительно трудное, да и дипломатия сохраняла там свои обычные привилегии.

О том, что римская Церковь есть прежде всего наследница и преемница древнего Рима, «исправившая» евангельские заветы, заменившая расплывчатое понятие любви твердыми государственными принципами права и дисциплины, написаны тысячи книг, «за» и «против». Ренану принадлежит знаменитая формула: «История Церкви есть история измены», а с тех пор было на эти темы множество споров, — в частности, тот необыкновенно содержательный и значительный спор, в котором столкнулись два выдающихся теолога, протестант Гарнак и католик Луази. Казалось, однако, все это — прошлое, а в наши дни достаточно других событий и слишком много других волнений и интересов, чтобы оставалось время о подобных вопросах думать.

Но вот, еще до окончания процесса в Льеже, раздался голос из Рима, и как было не сказать себе: в самом деле, не древний ли это Рим, сквозь века пронесший понятия права и законности как высшие, незыблемые, непреложные ценности? Думаю, что многие были поражены, и что же скрывать, поражены тягостно. Ватикан не колеблясь требовал осуждения виновных, — или, вернее, «будто бы виновных», — а один из его французских авторитетных представителей, известный проповедник о. Рике, позднее даже сказал, что оправдательный приговор свидетельствует об упадке христианской цивилизации. Что такое христианская цивилизация? — хотелось вновь поставить себе один из самых «проклятых» вопросов истории. Достойна ли она своего имени? Существует ли она? Оставим, однако, эти недоумения и остановимся на льежском процессе.

Разумеется, организованное общество не может существовать без определенных законов и, разумеется, ни в какой свод законов не может быть включена статья, оправдывающая убийство, хотя бы речь шла об уроденце. Но жизнь бесконечно гибче, сложнее, прихотливее, разнообразнее, чем самый усовершенствованный кодекс, и ведь для того-то и установлены суды, чтобы каждый жизненный случай был рассмотрен индивидуально, в соответствии с обстоятельствами, его вызвавшими и приведшими человека к несчастию и преступлению. «Не убий», ссылаясь Ватикан на библейскую заповедь. Да, «не убий», и конечно, если бы убийство из жалости было разрешено законом, это могло бы привести к бесчисленным преступлениям, лживо и обманчиво жалостью прикрытым, в действительности же вызванным корыстью или ненавистью. Но в льежском-то деле разве не ясно было, что именно жалость, истинная, неподдельная жалость и внушила то, что сделала мать? Ее обвиняли в эгоизме, обвиняли в том, что думала и заботилась она лишь о самой себе, а не о ребенке, ей ставили в пример других матерей, которые примирились с судьбой и воспитывают, лелеют детей, родившихся без рук или без ног. Конечно, это — подвиг, и теоретически невозможно решить, как в таких случаях, в таких драмах поступить было бы правильно. Но и усыпить, без боли, без малейшего страдания крошечное, еще ничего не со-

знающее существо ради того, чтобы оно, — если бы осталось жить, — не было всю жизнь глубоко и непоправимо несчастно, для матери тоже могло быть подвигом, и, во всяком случае, о наказании для такой матери не должно было бы возникнуть и речи. Тут можно бы вспомнить другую заповедь: «не судите, да не судимы будете». Не осуждайте, — потому что в таком деле все слишком неповторимо-лично и болезненно, чтобы позволено было вынести другое решение, кроме того, которое было совестью и сердцем продиктовано бельгийцам-присяжным. К чему было увеличивать несчастье, — для примера другим, для «острастки»? Милосердие, сочувствие, снисхождение, а не отвлеченные понятия права или законности были тут единственно уместны.

Но Рим судил иначе.

Римская Церковь — одно из величайших установлений истории, с великими своими традициями, задачами, расчетами, надеждами. Трудно отделаться от сознания своего ничтожества при попытке вступить с ней в спор. Но, читая текст ватиканского радио, нелегко было отделаться и от удивления.

Литература и жизнь

[«О философской аргументации современного православия» Н. Гордиенко]

В Москве выходит ежемесячный журнал — «Вопросы философии».

Думаю, что в эмиграции издание это редко кому попадает в руки. Откликов оно возбуждает мало и до читателя, которого принято называть «широким», не доходит. Самое название журнала вызывает представление об учености, уравновешенности, о профессорской солидарности, а тот факт, что издается он Академией наук, за основательность такого представления как будто ручается. Во всяком случае, должен бы ручаться.

Но иллюзии рассеиваются, едва примешься некоторые квази-философские статьи читать. Подчеркиваю слово «некоторые». Порядки в Москве, как всем известно, особые, и несмотря на отмену «культы личности»,

на который положено теперь все без исключения сваливать, многое в этих порядках остается еще неясным. Похоже в данном случае на то, что почтенная редакция «Вопросов философии» должна волей-неволей, подчиняясь чувству самосохранения, быть гостеприимной ко всякого рода «юрким ничтожествам», — как обозвал когда-то Троцкий эфемерного литературного диктатора Авербаха, — труды которых являются для журнала гарантией политической благонадежности. Разумеется, это только предположение. Но предположение правдоподобное.

В предпоследнем, октябрьском номере «Вопросов философии» меня заинтересовала статья некоего Н. Гордиенко — «О философской аргументации современного православия». Заинтересовало заглавие, и так как вопрос это острый, вопрос не в злободневном, а в подлинно глубоком смысле слова «актуальный», то по давней привычке я отложил книжку на ночь, чтобы прочесть статью сосредоточенным вниманием, без телефонных или других звонков. Но Боже мой, что это оказалось за глупый, малограмотный, ребяческий, развязный, лживый вздор! При чтении мне вспомнилась история, о которой слышал я еще в России. Красноармейцев привели в Пулковскую обсерваторию, и, показав им всякие небесные чудеса, руководитель экскурсии сказал: «вот видите, товарищи, значит никакого Бога и нет», — на что один из солдат, почесав затылок, ответил: «а по-моему тут скорее получается иначе... пожалуй, Бог-то и есть!» Реакция читателей «Вопросов философии» может оказаться такой же: «если ничего другого противопоставить идеологии православия вы не способны, то, пожалуй, истина на его стороне, а не на вашей».

Не знаю, действительно ли Гордиенко не понимает, о чем говорит, или только притворяется, что не понимает. Однако значения это и не имеет: судить мы должны лишь о том, что напечатано. В статье приведены многочисленные выдержки из «Журнала Московской патриархии», и скажу откровенно, далеко не все в этих цитатах убедительно и содержательно. Но ответы Гордиенко настолько беспомощны, что невольно разводишь руками.

Сначала он с жаром говорит о превосходстве марксизма-ленинизма над всеми другими философскими

теориями и о том, что «советские люди беззаветно преданы делу коммунизма». Это фиоритуры обычные и задерживаться на них не стоит. Критика православия начинается с возражения на то, что мир будто бы непознаваем и что существуют тайны, разгадать которые разум человека не в силах. Тут Гордиенко охватывает полемический азарт: мир непознаваем? — негодует он. Нет, существует научное предвидение, «на основе которого Коммунистическая партия Советского Союза разработала четкий, научно обоснованный план построения коммунистического общества в нашей стране». Мы знаем прошлое и можем предвидеть будущее: для коммуниста тайн нет.

Вот тут-то и спрашиваешь себя: что, этот сотрудник ученого журнала, полный неуч и тупица? Или он обманщик, умышленно внушающий читателям, что вековый вопрос о познаваемости или непознаваемости мира связан с программой Коммунистической партии и решен резолюцией двадцать второго съезда Советов?

Дальше: Церковь учит, что человеческая душа бессмертна и обвиняет коммунистов-материалистов в том, что они бессмертия отрицают. Позвольте, позвольте, волнуется Гордиенко, — никогда мы бессмертия не отрицали! Но наше бессмертие глубже, лучше вашего и состоит оно «в эстафете труда, передаваемой от родителей к детям, от дедов к внукам и оставляющей след в памяти потомства». Бессмертие, правильно понятое — догмат вовсе не церковный, а коммунистический, и в иллюстрацию или доказательство этого Гордиенко составляет список людей, бессмертия добившихся. Список настолько любопытен, что надо его привести: Спартак и Пугачев, Леонардо да Винчи и Пушкин, Демокрит и Ломоносов, Дзержинский и Тельман, Зоя Космодемьянская и Патрис Лумумба.

Избавляю читателей от более обстоятельного ознакомления с раздумьями московского философа. Самое замечательное, самое удивительное в них именно то, о чем я уже упомянул: Гордиенко все время бьет мимо, отвечает не на то, против чего спорит, и принимает победоносную позу, не видя, что противника не только не поверг во прах, а даже и не задел. Статью его следовало бы охарактеризовать, как произведение комическое,

если бы «все это не было так грустно» и если бы наряду с бесспорным, широчайшим распространением прописей и первоначальных основ культуры в нижних народных слоях, наверху, в самом ее острие, не насаждалось все то же мракобесие.

Литература и жизнь

[«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына]

Появление повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — факт большого значения, пожалуй, даже событие. Но событие не столько литературное, сколько общественное и политическое. Не могу согласиться с теми, кто находит у автора необыкновенный художественный талант и, как сказано в предисловии Твардовского, «зрелое мастерство». В повести попадаются меткие словечки, яркие страницы, но она фотографична и тысячи отдельных черточек, ее составляющих, остаются до конца разрозненными. Нет общей картины, есть сутолока, толчея. Стил и тон напоминают раннего Селина, переиначенного на советский лад, однако без той взрывчатой силы, которая одушевляла «Путешествие вглубь ночи».

Все же впечатление остается от повести сильное, а вопросов при чтении возникает множество, и вопросы эти разного порядка. Основной, главнейший из них, относится, конечно, к реакции бесчисленных советских читателей на этот короткий, страшный и несомненно правдивый рассказ: ограничатся ли читатели простым любопытством или содрогнутся, ужаснутся, а затем и задумаются над возможностью оправдать то, что с Иваном Денисовичем и его товарищами по несчастью случилось? И больше, дальше: расширят ли они возникшее сомнение до включения в него всей той цены, в которую обошлась революция? Не предугадываю ответа и вовсе не предпрещаю, что ответ полностью совпадет с нашими здешними надеждами и требованиями. Нет, уверенности в этом нет, и один Бог решит, что в истории должно быть оправдано, а что навсегда останется укором нашей совести и общечеловеческим стыдом. Однако поводом к некоей «переоценке ценностей» повесть Солженицына оказаться может.

Вот уже лет тридцать—тридцать пять как в советской литературе трубными звуками или колокольным звоном раздается восторженное, хмельное ликование, заглушая в ней чуть ли не все другое: как мы, товарищи, счастливы, как все прекрасно вокруг, в какое чудное время мы живем, какие чудные у нас люди, какие волшебные горизонты открываются впереди — и так далее, и так далее! Еще недавно это принято было выражать в формуле «спасибо Сталину за счастливую жизнь», теперь выражается иначе, но с тем же демонстративным самоупоеанием и тем же содержанием. Омрачать чужое счастье не хотелось бы, но иногда спрашиваешь себя: неужели русские люди забыли, могли забыть то море крови, те страдания, которыми оплачено было их счастье, если даже допустить, что счастья они действительно добились? Неужели они не понимают, неужели настолько очерствели, оглохли, ослепли, чтобы не понимать и не видеть, что облик революции грозен, беспощадно мстителен, и что, даже признавая ее историческую закономерность, нет оснований в приторно-лживых тонах славословить революцию, как торжество добра, мира и любви? Неужели это ликование, это гоготание доносится к нам из России, той России, где в прошлом самые ответственные, самые высокие голоса говорили совсем о другом и совсем другому нас учили?

Оставим Ивана Денисовича в его обледенелом ка-торжном лагере с двумястами граммов хлеба и пустой баландой. Не в нем все дело, и было бы до крайности печально, если бы московские читатели по инерции свалили подобные бедствия на «культ личности», нынче отмененный. Бывало и худшее, притом в те годы, когда развенчанная ныне «личность» еще не душегубствовала во всероссийском масштабе, не имея на то достаточно власти. При Ленине было худшее, и дождемся ли мы, что безудержная его идеализация, именно приторно-лживая, тоже подвергнется пересмотру? Никто не спорит, это был крупнейший политический деятель, но постепенное превращение его в добряка, с этакой чуткой, славной русской душой, с открытым всему миру сердцем, нестерпима. Ленин установил террор, требовал, поощрял его, отлично зная, какие он при разнуздавшихся страстях примет размеры и формы, и до-

статочно перечесть его письмо к Зиновьеву после убийства Володарского, чтобы в этой полузабытой истине вновь убедиться.

Нисходящий класс, восходящий класс? Схемы, схемы, схемы, статистика вместо жизни, цифры вместо живых людей, волчья этика, «бесчеловечное владычество выдумки», если воспользоваться удачным выражением из «Доктора Живаго»! Было именно море крови, были жесточайшие страдания людей, лично ни в чем не повинных, кроме того, что принадлежали они к классу «нисходящему», пролетариатом низвергнутому, и поэтому подлежали уничтожению. Неужели это так-таки никогда и не войдет острым, режущим диссонансом в блаженные коммунистические песнопения?

Есть у славянофила Хомякова, одного из замечательных русских людей, большое, замечательное стихотворение о темных сторонах нашей истории. Написано оно за много лет до революции, но значения своего не утратило. Наоборот, слова эти значительнее, глубже, неотложнее в своем смысле, чем когда бы то ни было:

Не говорите: «то — былое,
То старина, то грех отцов,
А наше племя молодое
Не знает старых тех грехов».

Нет, этот грех — он вечно с нами...

История все стирает, будто губкой, время все перемалывает, — разведя в недоумении руками, скажут некоторые и, может быть, сошлутся на западные примеры. Нет, это не возражение, и со всеми новейшими достижениями и завоеваниями, Россия перестала бы быть Россией, если бы на этом бесповоротно и безмятежно успокоилась.

На такие мысли наводит чтение «Одного дня Ивана Денисовича». Как знать, не шелохнется ли что-нибудь им родственное и в сознании советских читателей?

Литература и жизнь

[Речь Ильичева в «Литературной газете»]

У кого хватит сил и терпения прочесть длинную, скучную, в каждом слове стереотипно-казенную речь Ильичева на недавней московской «встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства», тот вправе был бы решить, что от надежд на прекращение надзора и опеки над творчеством почти ничего не осталось. Ильичев — человек ответственный, один из секретарей ЦК, председатель «идеологической комиссии», говорил он в присутствии Хрущева и, значит, знал и взвесил, что говорит.

Счесть его суждения личными, спорными, допускающими любые возражения, никак нельзя. А смысл его речи полностью укладывается в заявление, что вы, мол, товарищи писатели и художники, — люди свободные, однако лишь «постольку поскольку»: т.е. при условии, что творчество ваше способствует делу построения коммунизма. Знаем же, что для дела этого полезно, а что вредно, только мы, главари партии, вам же надлежит нас слушаться и нам подчиняться. «Великое счастье, — сказал Ильичев, — что наша партия, вся деятельность которой основана на самом прогрессивном мировоззрении, определяет задачи и направление художественного творчества». «Партия записала в своей программе, что она будет неизменно заботиться о правильном направлении в развитии литературы и искусства и неукоснительно проводить ленинские заветы о руководстве искусством». Само собой напрашивается сравнение: «вы свободны, товарищи писатели и художники, как были бы вы свободны в огромной, просторной, благоустроенной тюрьме с парками, павильонами, спортивными площадками, бассейнами и прочим... гуляйте, сколько вам вздумается, но помните, что выход за стены строго воспрещен!»

Впечатление, что теперь, после недолгих колебаний, восстановлены в литературе и искусстве прежние порядки, прежние нравы, усиливающиеся еще и печатными откликами на «встречу». Участники ее, как и полагается, говорят о ней, захлебываясь от восторга, умиления и благодарности.

«Это был удивительный день, — зимний день семнадцатого декабря...»

«Проходит время и я отчетливее и яснее вижу глубокий исторический смысл этой незабываемой, волнующей встречи. Она еще раз подтвердила неустанную, отеческую заботу партии о нашем творчестве...»

«Незабываемые часы...»

Это все — цитаты из одного номера «Литературной газеты» (номер 152), а если бы собрать все отклики, составилась бы увесистый том славословий и сердечных излияний, — совершенно так же, без малейших, хотя бы только стилистических, изменений так же, как бывало прежде, когда писателей и художников удостаивали встречи не Никита Сергеевич и Ильичев, а Иосиф Виссарионович и Молотов.

И все-таки впечатление, о котором я говорю, едва ли правильно.

Правда, положение на «фронте литературы и искусства» сейчас бесспорно опасное. Натиск тех сил, которые хотели бы упразднить всякое инакомыслие во всех областях творчества, очень ожесточен. Но едва ли им удастся справиться с движением, все очевиднее приобретающим характер стихийный и которому они же сами дали толчок отменой пресловутого «культа личности», отменой, чреватой неисчислимыми последствиями. Прежде всего, какое возможно доверие к непогрешимой мудрости «нашей партии», когда теперь всякому известно, что в течение тридцати лет та же самая «наша партия» не только прикрывала, но и всячески возвеличивала чудовищные злоупотребления и ошибки? Кто поручится — должны себя спрашивать миллионы людей, — что через десять—двадцать лет теперешние властители дум не окажутся разоблачены и развенчаны, как тот, перед которым они раболепствовали? Какой возможен авторитет у идеологов, которые с усердием и рвением оплевывают теперь то, что еще недавно с таким же самозабвением превозносили?

Поколения, выросшие при Сталине, к безмолвию привыкли, на безмолвии воспитаны. Но поколение новое настроено, по-видимому, иначе, да и не может оно не быть настроено иначе. Справиться с его требованиями, с его стремлениями, — лишь частично, хотя и необычайно ярко выразившимися в спорах о литературе

и искусстве, — будет трудно, и тем труднее, что мало-помалу поколение это займет так называемые «командные посты». Хрущев, кажется, это чувствует и лично предпочитает линию извилистую, допускающую маневрирование. Прямую атаку ведут его подручные. Ильичев избрал своей мишенью абстрактную живопись, будто бы насмерть коммунизму враждебную. Бог с ней, с абстрактной живописью, вопрос не в ней, и, пожалуй, было бы в самом деле смешно, если бы московские художники сразу от самого убогого, самого захолустного передвижнического эпигонства перешли к «ташизму» или иным западным выдумкам. Кто знает матушку-Россию, со всеми ее крайностями, знает, что это вполне возможно, даже вероятно, и что завтра-послезавтра могут в Москве появиться полотна, которые приведут в недоумение самого Пикассо. Но еще раз, дело не в этом, а в том, что новые поколения, совсем недавно начавшие жить сознательной жизнью, склонны сказать старшим, в их глазах обанкротившимся: оставьте нас в покое!

Это вовсе не значит, что они готовятся к коренным политическим изменениям. Это значит только то, что даже принимая коммунизм, они отказываются принять его в виде казармы, где при начальственном возгласе «равнение направо!» или «налево!», все головы оказываются обращены в одну сторону и руки вытянуты по швам.

Газета «Труд» поместила статью бывшего официального портретиста Сталина, художника Герасимова, с резкой критикой формализма и модернизма. Представителями этих течений Герасимов считает писателя Паустовского и поэта Вознесенского. Автор статьи настаивает на необходимости борьбы со всеми течениями, противными соцреализму.

Литература и жизнь

[«О культуре поведения молодого человека»]

Маленькая книжка, лежащая предо мной, издана в Москве и называется «О культуре поведения молодого человека»: это — нечто вроде сборника правил «хорошего тона» для советской молодежи.

«Барышням вашего круга надо приличия знать», наставительно поет в «Пиковой даме» старая гувернантка, встревоженная смехом и шутками Лизы и ее подруг. Очевидно, настало время ознакомиться с «приличиями» и тем, кто прежде по своему социальному положению потребности в этом не ощущал.

Книжка, наверно, вызовет улыбку и даже ироническую усмешку у читателя здешнего, эмигрантского, попадись она ему на глаза, — и надо признать, что в ней действительно немало смешного. Но самая мысль такую книжку издать не смешна ничуть: наоборот, она естественна, она отвечает именно естественной и, вероятно, очень сильной, очень настойчивой тяге новых поколений к культуре во всех ее формах, даже и чисто внешних. Беда лишь в том, что составлен этот советский «кодекс хорошего тона» людьми явно недалекими, не отличающими пристойности, в каждом обществе необходимой и везде более или менее одинаковой, от светских условностей, в разные времена и в разных странах понимаемых различно. Если и полезно, например, напомнить советскому молодому человеку, что в театре или на концерте, проходя к своему креслу, не следует наступать на ноги лицам уже сидящим, то едва ли столь же полезно указывать, что на семейном празднике, по окончании обеда, танцевать надо сначала со своей соседкой по столу и только после этого с хозяйкой дома. Книжка нередко учит манерности под видом приличий или отделяется пустыми, ровно ничего не значащими советами, вроде того, что «танцевать надо изящно, с грацией». Добавлю, что советы эти сопровождаются обычной, даже и москвичам уже набившей оскомину болтовней о каких-то особых «требованиях коммунистической морали» и о создании «социалистического этикета». Прежде существовали будто бы правила, «прикрывающие бесчеловечное отношение к трудящимся». А теперь, видите ли, «наши правила культурного поведения основываются на самых справедливых и благородных отношениях между людьми». Не обходится и без цитат из Никиты Сергеевича, который, очевидно, и в этой области — авторитет, или, как принято было выражаться во времена сталинские, «корифей».

В книжке, повторяю, немало смешного. Например, в главе «Культура поведения за столом», обстоятельно

указав, куда следует класть вилку и нож, как складывать салфетку, в какую сторону наклонять тарелку с супом, авторы руководства с уверенностью утверждают:

— Мелкую дичь принято есть руками, так как ножом и вилкой здесь ничего не удастся сделать.

Когда именно это стало «принято», в чем тут совпадение с «коммунистической моралью», остается неизвестным. Немало советов и таких, над которыми усмехнется в самой захолустной глуши самый что ни на есть «в доску свой парень», усмехнется и спросит: неужели я сам этого не понимаю?

— Находясь в гостях, неудобно пристально рассматривать нового гостя, шептаться и обмениваться при его появлении взглядами и жестами.

— При получении подарка надо развернуть сверток и посмотреть, что там. Если подарок вам не нравится, не следует выдавать свое недовольство словом или выражением лица.

И так далее... Многие, наверно, и в России пожалеют, что книжка нужная, касающаяся вопросов, которые, — как указано в послесловии, «волнуют миллионы юношей и девушек», — составлена настолько вздорно.

Кстати, о «хорошем тоне». У Пушкина, не то в дневнике, не то в одном из писем, есть такая фраза: «Х. дурно воспитан. Я уронил платок, он его поднял». Когда-то, очень давно, я об этом беседовал с Ходасевичем, великим специалистом по части всяких пушкинских мелочей: в чем тут дело, в том ли, что мужчина не должен оказывать подобную услугу другому мужчине, или именно в чужом носовом платке, которого не следует касаться своими руками? Ходасевич колебался, допуская оба толкования. Но и он, и я, мы оба в то время забыли, что Онегин, в восьмой главе романа, поднимает платок Татьяне:

...Или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей,
Или платок поднимет ей.

Значит, сомнений нет: по Пушкину, дурное воспитание обнаружилось в том, что Х. наклонился и поднял принадлежащую ему, Пушкину, вещь.

Никак не могу с этим согласиться, и так как это не литература, не поэзия, то тут спор с Пушкиным не вызовет, надеюсь, обвинений в самомнении. Конечно, жест, обязательный по отношению к женщине, вовсе не обязателен по отношению к мужчине. Но он возможен, допустим, приемлем. Едва ли непринужденность и непосредственность следует отождествить с маловоспитанностью. Поднять платок, ключи, бумажник, карандаш можно кому угодно, даже человеку молодому, без того, чтобы заслужить упрек. Наоборот, в боязни, как бы не уронить при этом свое достоинство, есть что-то претенциозное, вымученное и жеманное.

Литература и жизнь **[«Исторический опыт России» Н.И. Ульянова]**

«Исторический опыт России»: так названа брошюра Н.И. Ульянова с текстом доклада, сделанного им прошлой весной в Нью-Йорке, а затем и в Париже. На докладе мне быть не удалось. Но читая брошюру, я вновь убедился в одном неотъемлемом достоинстве писаний Ульянова: они заставляют думать и неизменно касаются вопросов важных. К ним никак нельзя отнести пресловутую формулу «писатель пописывает, читатель почитывает». В них есть страсть, задор, напор, есть полемическая нетерпимость, и хотя ее, эту нетерпимость, трудно причислить именно к достоинствам, все же можно ее приветствовать, как нечто мешающее впасть в умственную спячку. Даже если пожимаешь плечами, даже если порой сердишься, читая Ульянова, то возникает и признательность за испытанное волнение. В нашей усталой, дремлющей эмигрантской литературе писания Ульянова — элемент взрывчатый, и это следует в них ценить. Всегда ли приемлемы его мысли, вопрос, конечно, совсем другой.

«Исторический опыт России» — работа ученого, который не может, да и не хочет преодолеть в себе публициста. Ульянов не столько рассказывает о прошлом, сколько судит его, и суд это, так сказать, кассационный: бывшие решения пересматриваются, а энергичный, не склонный к сомнениям и колебаниям судия выносит

приговоры быстрые и смелые. За соображениями историческими чувствуется стремление выяснить: как могло случиться то, что с Россией произошло? Кто в происшедшем виновен?

Нет, вероятно, ни одного русского, сколько-нибудь способного размышлять и анализировать, сколько-нибудь озабоченного судьбами родной страны, кому не случалось об этом думать. Даже больше: есть среди нас люди, которыми это недоумение владеет, как навязчивая идея, — и таков был, например, покойный Маклаков, на протяжении десятилетий искавший ответа на мучивший его вопрос. У Маклакова было сознание вины, сознание общей, общерусской ответственности за происшедшее, и это возвышает, облагораживает его размышления о дореволюционном прошлом, — пусть и многого он недоговорил, многое перетолковал произвольно по сравнению, например, с Милюковым, который наставительно ему возражал, как многоопытный, многознающий профессор стал бы возражать талантливому дилетанту-мечтателю. У Милюкова сознание вины, однако, отсутствовало: виноваты другие, он и друзья его были будто бы всегда правы. Чуждо, по-видимому, сознание вины и Ульянову, и ни общественное положение, ни возраст тут ни при чем, ибо встречаются и совсем молодые люди, которые чувством круговой поруки с предками объединены. Если Россия есть некое целое, то все мы — части этого целого, молоды мы или стары.

Ульянов возвеличивает былую русскую государственную власть, отбрасывая чуть ли не все упреки, которые ей делались. Кто эту власть критиковал? «Невежественные журналисты», злобные и насмешливые. Великий русский девятнадцатый век был бы, по его утверждению, немыслим вне русской государственности, и это, пожалуй, верно. Но... впрочем, нет возможности в короткой заметке сказать то, что сказать тут надо бы. Нельзя в нескольких словах доказать, что если наш девятнадцатый век действительно несравненно велик, то именно в силу своего праведного, вдохновенного, никаким пересмотром не подлежащего противостояния русской государственности, — противостояния, куда входит и Пушкин, на которого Ульянов особенно охотно ссылается. Достаточно вспомнить «Медный всадник», про-

изведение истинно великое именно потому, что оно трагически двоятся и этим бесконечно возвышается над замыслом более ранней «Полтавы»! Но Ульянов, — воздадим должное его беспристрастию, — называет в числе величайших русских людей и Льва Толстого. Упоминание этого имени рядом с высокомерной усмешкой по адресу «невежественных журналистов» — одно из тех внутренних противоречий, которыми «Исторический опыт России» полон.

Нельзя отрицать, однако, что некоторые наблюдения Ульянова сами по себе очень проникательны. Беда лишь в том, что, подводя их под свою общую схему, он дает им окраску по меньшей мере причудливую.

Хороши, например, слова о вековом терпении русского народа, терпении, в котором «русская поэзия почувствовала возвышенное начало». Да, об этом говорил Тютчев, об этом написаны им чудесные строки: «Эти бедные селенья...» Но, оказывается, повторное «вздвигание России на дыбы» — вовсе не бедственная особенность, а символ нашей истории, символ законный, полностью оправданный и лишь все теми же невеждами принимаемый за «аллегория насилия и рабства». Читаешь и невольно спрашиваешь себя: а теперь? На что же, в таком случае, жаловаться, на что негодовать теперь?

Помнит ли Ульянов в тургеневских «Отцах и детях» разговор Павла Петровича Кирсанова с юными нигилистами? Помнит ли, как на развязное заявление племянника, что сила не обязана давать отчет в своих действиях, этот демократ и поклонник британских порядков, выйдя из себя, вскрикивает:

— Несчастный! Да понимаешь ли ты, *что* ты своей сентенцией в России оправдываешь?

Нет ни малейших оснований подозревать Ульянова в симпатии к большевизму, но сам того не замечая, он оправдывает то, что ненавидит. В самом деле, если «железная узда», о которой он говорит с красноречием и жаром, есть наш национальный исторический символ, то почему же не озарить его сиянием и то, например, что претерпели русские крестьяне в тридцатых годах нашего века? Ссылка на внешние обстоятельства оказалась бы уместна и здесь.

Но все это — лишь разрозненные, беглые возражения на мысли Ульянова. Общее же свелось бы к тому, что надо бы стараться очеловечить русское будущее, что это, конечно, самая насущная, неотложная задача ближайших русских поколений и что путь к этому так же далек от оплевания прошлого, как и от предвзятой, запальчивой его идеализации.

Литература и жизнь **[Хрущев и конец «оттепели»]**

Конец московской «оттепели» в области литературы и искусства многих поразил своей неожиданностью. Ничто, как будто, не предвещало возвращения к нравам и веяниям сталинским и ждановским. Но именно только «как будто». По существу, перемена была вероятна, и даже более чем вероятна: в силу общей политической обстановки была она почти неизбежна. В самом деле, Евтушенко с Вознесенским могли в Париже сколько угодно болтать о свободе творчества и о неотъемлемом праве художника считаться лишь с самим собой, Эренбург мог защищать передовое западное искусство, в частности живопись, абстрактную или другую, — дело было не в этом и придавать этому большое значение не было оснований. Бесконечно важнее, бесконечно существеннее было то, что Москва начала терять ореол твердыни, святилища и центра мировой революции, постепенно уступая его Пекину. Хрущев это почувствовал, должен был почувствовать, — тем острее, что даже маленькая, ничтожная Албания, с обидной для него дерзостью, стала учить его революционной ортодоксальности и упрекать в ревизионизме, самом страшном из всех грехов. Мирное «сосуществование» в сфере военной и дипломатической было необходимостью, и Хрущев не без остроумия напомнил китайцам, что у «тигра», по их утверждению «картонного», зубы все-таки атомные. Но еретические разговоры о желательности «сосуществования» идеологического надо было прекратить в корне, оборвать, объявить преступным вздором, — или же более или менее откровенно признать, что наступает Термидор.

Не знаю, да и никто у нас здесь не знает, насколько Хрущев лично, в глубине своего сознания, по-видимому двоящегося, к термидорианству склонен. Не чувствуя к нему расположения ни малейшего, он, пожалуй, не произнес бы своей речи о Сталине и во всяком случае иначе за «десталинизацию» взялся бы. Но положение его не легкое, окружен он людьми едва ли ему вполне верными и преданными, каждая сколько-нибудь смелая инициатива его связана с риском, и Хрущев предпочел сделать то, что сделал. К тому же, — и это тоже надо учесть, — поход на литературу и искусство, конвульсивно стремящиеся освободиться от шестидесятнических и передвижнических схем, несомненно соответствует личным его вкусам. Достаточно прочесть поистине смехотворные рассуждения Хрущева о музыке, чтобы в этом убедиться.

Удастся ли кремлевской партийной верхушке полностью остановить движение, в котором есть нечто стихийное? Думаю, что и сама она в этом не уверена. В наиболее благоприятном для нее случае ей удастся лишь снова установить в области творчества то «администрирование», которое еще недавно считалось окончательно отмененным. С печатью, с театром, с искусством власть, конечно, справится, наведя в них жесткой и умелой рукой порядок, высшая форма которого — по Тациту — «царит в пустыне». Без преувеличения можно сказать, что это уже и произошло. Последние номера московских газет полны такого единодушного и восторженного преклонения перед мудростью «нашего Никиты Сергеевича», такого негодования по адресу, — теперь в Москве повелось говорить «в адрес», — недорослей, слепцов и отщепенцев, осмеливающихся думать по-своему, а не повторять казенные прописи, что был бы доволен и Жданов. Все живое, не совсем сговорчивое уйдет в привычное подполье. Но целое поколение загнать в подполье нельзя, — и, в частности, Евтушенко обязан ведь своим успехом не только своему большому и свежему дарованию, а преимущественно тем, что он первый в советской литературе нашел тон и слова, отвечающие смутным надеждам, порывам и мечтам послевоенных поколений. Евтушенко уловил мелодию времени, тему среды и эпохи. Ближайшие месяцы или годы, вероятно,

совпадут с расцветом сверхблагонамеренных романов и поэм, «отображающих» (не отражающих, Боже упаси, а именно «отображающих»!) трудовой подвиг какой-нибудь доярки, добившейся от коровы ста литров молока в день, или полотен с умильными чертами Ильича в младенчестве, юности и старости. В этом сомневаться трудно. Реакция началась и будет продолжаться. Но по мере того, как новые слои населения станут оттеснять старших, по мере того, как «командные посты» окажутся один за другим заняты теперешней молодежью, положение начнет изменяться, — с перебоями, судорогами, с очередными отхлыниваниями, но все же в направлении, вызвавшем недавний сердитый и встревоженный правительственный окрик. Еще раз замечу, что дело не в абстрактной живописи и не в стихах с диковинными метафорами, а в том, что молодые люди склонны сказать: оставьте нас жить по-своему, любить то, что мы любим, и верить в то, что представляется нам правдой.

В сущности, Хрущеву или его преемникам придется пенять на самих себя. Не надо было развенчивать всеведущего, непогрешимого Сталина, «величайшего мужа человечества» по формуле Шолохова, если намерены они были управлять так же божески-беспрекословно, как управлял он. Встряска оказалась слишком сильной, умы оказались слишком озадачены, души слишком поражены и авторитет тех, кто перед грозным отцом народов раболепствовал, упал слишком низко.

Последние московские события именно это и доказывают, пусть и «от противного».

Книга о Брюсове

Вышедшая этой осенью книга покойного К.В. Мочульского о Валерии Брюсове — последняя из серии его работ, посвященных русскому символизму и поэтам так называемого Серебряного века. Книга нужная и ценная. Насколько мне известно, это единственное исследование, дающее более или менее полное представление о человеке, сыгравшем в развитии русской поэзии большую роль. Очень содержательно, очень вдумчиво и предисловие, написанное В.В. Вейдле.

Несколько слов сначала о самом Мочульском.

Познакомился я с ним давно, еще в Петербургском университете, в том романо-германском семинарии, откуда вышли многие известные историки или теоретики литературы и который был тогда чем-то вроде штаб-квартиры нового поэтического течения, акмеизма. Мочульский дружил с Жирмунским и Эйхенбаумом, бывал на всех литературных собраниях, участвовал во всех спорах и слыл убежденным «формалистом», т.е. приверженцем критической школы, в те годы тоже только что появившейся. Но и в молодости, и во второй половине жизни, протекшей в эмиграции, не было у него ничего общего с обычным типом суховатого начетчика-«литературоведа». Он был порывист, отзывчив, впечатлителен, ко всему живому доброжелателен, он весь светился внутренним светом, но вместе с тем был и исключительно усидчив в работе, вечно что-то изучал и над чем-то трудился. Большие знания сочетались у него с редким чутьем, был у него быстрый, талантливый ум и какая-то естественная, постоянная приветливость, обаянию которой трудно было не поддаваться. В эмиграции его знал весь русский литературный Париж, и без преувеличения можно сказать, что все, знавшие Мочульского, любили его: и старшие, как Бунин или Ремизов, как Зинаида Гиппиус или Борис Зайцев, и младшие, в частности молодые поэты, прислушивавшиеся к его суждениям и отзывам.

Книга о Брюсове — не только последняя его работа, но и одна из самых удачных. Объясняется это вовсе не каким-либо особым вниманием автора к Брюсову, а наоборот, именно тем, что Брюсов и его поэзия Мочульскому не совсем по душе. Достоевский или Блок были Мочульскому в высшей степени по душе, и как ни обстоятельны, как ни добросовестны его большие работы о них, они, эти книги, грешат безоговорочным голословным, непрерывным восхищением. Рассказывая о Брюсове и разбирая его стихи, Мочульский гораздо сдержаннее. Мысль его выигрывает в остроте и пронительности, оттого что не затуманена чувством.

Нельзя сказать, чтобы Мочульский отрицал дарование Брюсова. Но он колеблется в оценке его, настойчивее подчеркивает срывы, чем удачи. На мой взгляд, он

к Брюсову не вполне справедлив, — пусть о вкусах и «не спорят».

Брюсов был поэтом истинным, и обнаружилось это сразу, с первых же его юношеских опытов, много лучше выдержавших испытание временем, чем поэзия его соратника и соперника Бальмонта. У Бальмонта была поверхностная и довольно-таки легковесная музыкальность, которая ошеломляла читателей, едва только вышедших из-под власти Надсона, была у него несколько слащавая, условная «поэтичность»: понятие скорей враждебное поэзии, чем с ней согласное. Брюсову стихи давались труднее, да и относился он к творчеству, как к упорной работе и над собой, и над словом. «Я сам тружусь, и ты работай!», сказал он в одном из стихотворений, обращенных к «мечте». Оттого наряду с поклонниками находились у него всегда и критики-обличители, обзывавшие его даже, как обозвал Айхенвальд, «преодоленной бездарностью»: слова глубоко ошибочные, к сожалению много раз цитировавшиеся.

Надо, однако, признать правду: поэтом великим, или хотя бы только очень крупным, способным говорить будто в рупор, от лица эпохи, от имени целого поколения, — как, например, Александр Блок, — Брюсов действительно не был. Он сам себе вредил демонстративной претензией на величие, стремлением стать в позу властителя дум, мага или пророка. Брюсову повредили ходули, повредила напыщенная и тяжеловатая риторика, которой наполнено большинство его стихов, — а написал он их без счета. Разумеется, когда в «Памятнике», написанном в подражание Горацию, Державину и Пушкину, Брюсов выражает уверенность, что когда-нибудь

И станов всех бойцы, и люди разных вкусов.
В каморке бедняка и во дворце царя,
Ликуя назовут меня — Валерий Брюсов...

— разумеется, тут он и смешон, и жалок. Но если бы из нескольких тысяч его стихов выбрать пятьдесят—шестьдесят, — не больше, — вырисовался бы облик поэта чрезвычайно своеобразного в сочетании душевной своей сухости с какой-то безбрежной мечтательностью. Облик поэта печального, замкнутого в себе, безысходно одино-

кого и тщетно пытающегося убаюкать себя иллюзиями. В книге Мочульского есть меткая фраза:

— Сухость и педантизм не мешали Брюсову быть подлинным поэтом.

Да, это именно так, и именно это дает творчеству Брюсова его оригинальность. Он не был большим поэтом, но был поэтом, ни на какого другого не похожим, — менее всего, пожалуй, на Пушкина, которого боготворил и без конца перечитывал, подражая ему всегда неудачно. Да и могло ли быть иначе при глубоком различии натур, не говоря уж о пропасти, отделяющей дарования?

Исключительно интересен у Мочульского рассказ о последних годах Брюсова, человека еще не старого, но чувствовавшего, что жизнь кончается и что от горделивых надежд и упорных волевых расчетов на «памятник нерукотворный» мало что уцелело. Это было время, когда Брюсов, лет за пятнадцать до того пренебрежительно полемизировавший с марксистами ленинского типа, ничего, по его мнению, в искусстве не понимавшими, пожелал стать официальным поэтом коммунистической революции и соперничал в стремлении занять этот пост с Маяковским. Но у Маяковского был, по крайней мере, буйный молодой задор, а у Брюсова не было уже ничего, кроме усталости и самообольщения.

Странная, обособленная, печальная фигура в русской поэзии. Вокруг него даже в годы признания и преклонения было мало любви. В наши дни осталось ее еще меньше. Но и без любви возможно беспристрастие: надо бы согласиться, что некоторые брюсовские стихотворения в строгой, несколько чопорной своей прелести по-настоящему хороши и что о какой-либо их «бездарности» не может быть речи. Добавлю, кстати, что «преодолеть» бездарность с тех пор, как стоит свет, кажется, никому еще не удавалось.

Литература и жизнь

[Отказ от «мирного сосуществования» в идеологии]

Отказ от «мирного сосуществования» в идеологии, пресечение попыток как-либо оправдать его: к этому, или приблизительно к этому, можно свести то, что не-

давно произошло в Москве и что повсюду вызвало взволнованные отклики. Как в московских условиях обычно, людей, не согласных с правительством, никто не старался переубедить: их просто-напросто одернули, выругали, припугнули. Свыше, будто с синайских вершин, раздался голос, вещающий истину, вслед за тем слышались славословия и панегирики непогрешимому мудрецу-учителю, кое-кто покаялся, обещая работать над собой, другие благоразумно умолкли, и восстановлена была прежняя, невозмутимая идеологическая тишь да гладь.

Не стоило бы к этому в десятый раз возвращаться и об этом толковать. Как ни уродливы формы этого очередного московского инцидента, как он сам по себе ни печален, нового о нем ничего не скажешь. «Так было, так будет?» Нет, хочется надеяться, что так все-таки будет не всегда. Но формула «так было, так есть!» остается, к сожалению, подходящей.

Да, это очередной, печальный, прискорбный московский инцидент... Однако, думая о нем, вдумываясь в его сущность, спрашиваешь себя: а что, если бы отсутствовал начальственный окрик, если бы никто не страшал художников, расположенных к искусству абстрактному или музыкантов, увлеченных додекафонизмом, — слово, по мнению Хрущева, для «нормального человека» непонятное! — что, если бы в Москве мог возникнуть свободный спор о развитии творчества и если бы новизна во что бы то ни стало оказалась отвергнута; что тогда, было бы это явлением тоже прискорбным? Следовало бы говорить об отсталости, о косности, вправе ли были бы мы иронизировать над людьми, предпочитающими Репина, — хотя бы только Репина, а не Рембрандта или Веласкеса, — полотну, на которое кто-то будто плеснул чернилом или где на зеленом фоне проведены две желтые черточки с красным кружочком в отдалении?

Это — большая тема, которой в короткой статье можно лишь поверхностно коснуться. Тема эта тревожная, поскольку для Запада, для западного искусства, она связана с вопросом: что же дальше? может ли быть продолжено то, что видим мы сейчас? не зашло ли передовое западное творчество в тупик? У Алданова, кажется в «Ульмской ночи», есть запомнившаяся мне фраза:

«Двадцать первый век... да будет ли двадцать первый век?» Когда смотришь на полотно из рода тех, о которых я только что упомянул, невольно спрашиваешь себя; будет ли в искусстве двадцать первый век, и если будет, как разовьются, к чему приведут стремления, преобладающие сейчас? Не знаю, может быть, я человек в этой области малосведущий, но ни продолжения, ни развития представить себе я не в силах.

Было бы, конечно, до крайности близоруко все объяснять глупой модой, кривлянием и беззастенчивым мошенничеством в расчете на коммерческий успех. Если это и есть, то лишь как пена, как накипь, не более того. В глубине дает себя знать нечто органическое, неразрывно связанное с общей растерянностью нашего мира, с крушением понятий, еще недавно незыблемых, отчасти даже с ошеломляющими научными открытиями, уничтожившими прежнее представление о вселенной. Играет роль и быстрота, внезапность технического прогресса: едва ли не под его воздействием искусство в последние пятьдесят—сто лет сменило больше форм, чем за два предшествовавших тысячелетия. Поводов к разрыву с традициями много, и каждый из них существен. Перефразируя Гегеля, можно бы сказать, что если не все действительное разумно, то ничто действительное не случайно, — и, конечно, не случаен тупик, мнимый или подлинный, после которого остается одно из двух: или биться головой об стену или искать выхода в прошлом. С музыкой дело, пожалуй, менее очевидно, чем с живописью, но относится это и к ней, как относится и к литературе с ее последними выдумками, вроде «нового романа». Не в этом вопрос, удачны по-своему иные художественные создания или нет, талантливы или бездарны, а именно в возможности развития и преемственности.

Будет ли двадцать первый век? Иногда слышишь возражение, полушутливое, полусерьезное: да что вы забываетесь о двадцать первом веке! У людей сейчас в руках слишком опасные игрушки, чудовищные новейшие бомбы, — не говоря уже о бомбах будущих, — и кончится все тем, что по чьей-нибудь роковой ошибке в математических расчетах и выкладках мы все внезапно взлетим на воздух, не успев даже ничего заметить.

Но с этим нельзя считаться, даже если это в самом деле возможность. Нельзя жить будто в обреченной на близкую гибель Помпее, и во всяком случае, раз будущее от нас скрыто, лучше предвидеть и готовить его, чем с безразличием от него отмахиваться.

Само собой, мысль тут переходит к России. Конечно, тех молодых художников и поэтов, на которых обрушились кремлевские громы, можно понять. Им нельзя не сочувствовать. Они такие же люди, как мы, они в московской атмосфере задыхаются, им набили оскомину тупые, пустые прописи вроде социалистического реализма и прочего. Им нужен свежий воздух, и они с жадностью ловят каждую его струйку... Все это бесспорно, очевидно, ясно с полуслова. Но еще раз, еще раз: а если бы не было окрика, если бы в Москве художники и поэты собрались, чтобы поговорить о своем деле, ничего заранее не предрешая, ничего не опасаясь, ни на кого не оглядываясь? Остались бы у наиболее чутких, проницательных и ответственных среди них те же стремления, которые одушевляют их сейчас?

Худо ли, хорошо ли, в России ведь все-таки строится новый мир в надежде, — вероятно, общенародной, — на развитие, на переустройство, очищение, короче — на постепенное очеловечение его, на приемлемость его для человека, не склонного удовольствоваться ролью бессловесного колесика или винтика в единой, огромной общественной машине. В России все безотчетно направлено к преодолению страшного вопроса о двадцать первом веке, может быть, даже к его игнорированию. Двадцать первый век будет, должен быть, как и двадцать второй, как и двадцать третий! Крушения основных ценностей не будет: добро останется добром, красота красотой, движение движением, — даже если сейчас они временно искажены, если в теперешнем партийном преломлении они до неузнаваемости сужены и перетолкованы. В России поднялись к сознательному, а порой и творческому, существованию миллионы людей, прежде доступ к нему не имевших, людей как будто впервые, широко открытыми глазами, глядящих на Божий мир и на все, что в этом мире требует труда и отбора. «Надо дело делать», могли бы они вспомнить Чехова. Что им абстрактная живопись, что им то отчаяние, которое без-

отчетно для самого художника скрыто за ней? Должна ли культура повсюду идти одинаковыми темпами, нет ли слабости в боязни отстать, куда бы ни зашли другие, оказавшиеся далеко впереди?

Пишу все это в порядке «дискуссионном» и именно потому ограничиваюсь предположениями и даже вопросами вместо утверждений. Бесчисленные «за» и «против» сталкиваются в сознании и каждое из них по-своему убедительно. Ясно сейчас только одно: единодушие в области литературы и искусства нельзя установить насильственно и административно. Результат окажется противоположным тому, которого власть добивается, как бы ни была идиллична картина, представленная казенной печатью. Дух исканий, несогласия и протеста уйдет в подполье, обостряясь и готовясь к новым схваткам. Только в свободном столкновении суждений он мог бы найти силы для уверенного отказа от соблазнов, смущающих его теперь.

Памяти ушедших: А.М. Элькан

Прошел год со дня смерти Анны Морисовны Элькан... и, само собой, дальше напрашиваются слова вроде того, что «без нее русский Париж опустел». Все мы, сами не отдавая себе в этом отчета, привыкаем к стереотипным выражениям, а в заметках траурного характера больше, чем где бы то ни было. «Да будет земля легка», «дорогой друг, светлая память о тебе сохранится навсегда», и так далее.

Покойная Анна Морисовна играла в русском литературном Париже заметную роль, всех в нем знала, многих принимала у себя, бывала на большинстве вечеров и собраний. Но жизнь этого Парижа продолжается и без нее, да и может ли быть иначе? Она неизменно оставалась в тени, а если о чем-то хлопотала, что-то организовывала, за кого-то просила, то не придавая самой себе значения. У нее чуть ли не с детства, — а знал я ее очень давно, — была страстная преданность литературе, страстное влечение к ней, и, в сущности, кроме литературы, ничто ее не интересовало. К ней приходили читать новые стихи, и слушать их она могла часами, а если потом и при-

знавалась, что стихи были сероватые, скучноватые, то не жалела о потерянном времени: раз все-таки это были стихи, для них можно было временем и пожертвовать! Она занималась делами, уставала, волновалась, кому-то телефонировала, нервничала, но для стихов и литературы готова была все оставить, и без преувеличения можно сказать, что в суетливом ее существовании литература была единственным отдыхом и отрадой.

Что писала она сама, написала ли что-нибудь законченное? Не знаю. В оставшихся после нее рукописях, вероятно, много набросков, разрозненных заметок, черновиков. Немало должно быть и стихов. Дороже всего для нее были воспоминания о Петербурге, где прошла ее ранняя молодость, притом в те годы, когда одна эпоха сменялась другой и перед лицом неведомого будущего остатки, обломки литературного мирка были объединены какой-то особой, тревожной, трудно теперь объяснимой дружбой. О чем бы она ни говорила, беседа с ней рано или поздно переходила к Петербургу, и сразу она оживлялась, как оживляется человек, коснувшись воспоминаний, в которых все общее неразрывно сплетено с личным и все историческое с настоящим, длящимся до сих пор.

Ну, что же, «да будет ей земля легка»! Все знавшие Анну Морисовну, милую, радушную, всегда приветливую «Нету», искренне повторят эти слова и в годовщину ее смерти с признательностью и печалью вспомнят о встречах с ней.

Памяти В.В. Вырубова

Редко встречал я на своем веку людей, у которых столько же было бы жизненной энергии, бодрости и какого-то неистощимо-страстного, порывистого интереса ко всему на свете, как у Василия Васильевича Вырубова. Скончался он в возрасте, который по справедливости следует признать «преклонным». Однако смерть его поразила людей к нему близких именно тем, что образовалась пустота, казавшаяся невероятной, немислимой: как, — хочется сказать себе, — Василия Васильевича больше нет? И значит, если раздастся теле-

фонный звонок, то это наверное звонит не он, — он, внезапно увлекшийся каким-нибудь проектом или замыслом, он, возмущенный или, наоборот, обрадованный той или иной газетной статьей, он, беспокойный, умный, исключительно впечатлительный, на все откликавшийся, всему русскому Парижу знакомый Вырубов? Да, «люди смертны, Кай человек, Кай смертен». Ум твердо знает эту беспощадную истину, но воображение о ней порой забывает или, по крайней мере, отказывается с ней примириться. От того-то, вероятно, не всякая смерть, — независимо от возраста скончавшегося, — представляется одинаково естественной, неотвратимой и законной.

Покойный Василий Васильевич был большим человеком, с большим и богатым прошлым. Узнал я его и дружески с ним сошелся сравнительно недавно, и по личным воспоминаниям ничего о его прежней деятельности рассказать не могу. Надеюсь, это сделают другие, сделают его сверстники и товарищи по всякого рода работе. Правда, их остается не много и с каждым годом ряды их редеют. Последние представители русской дореволюционной общественности должны бы озаботиться тем, чтобы оставить друг о друге надлежащую память: иначе удержатся только имена и разрозненные, скудные сведения о каждом из них. А время было ведь для России и для нашей истории важнейшее, «судбоносное», как теперь иногда выражаются, и все с этим связанное заслуживает того, чтобы в будущую русскую летопись войти.

Василий Васильевич воспоминаний своих написать не успел, хотя в последние годы постоянно думал о них и все собирался засесть за работу. Кого только он не знал, кого не помнил! И как увлекательны бывали его рассказы о прошлом, всегда торопливые, всегда перебрасывавшиеся от одного к другому, — рассказы, в которых любопытнейшие мелочи из жизни петербургского высшего света или из привольного помещичьего быта внезапно уступали место политическим характеристикам или штрихам, относящимся к работе на фронте.

Вырубов был типичным русским барином-либералом, если и не из рода тех, кого можно бы причислить к «кающимся дворянам», то с широтой взглядов, с подлинно демократической терпимостью в суждениях, которая по традиции перешла к нему от предков

и в частности от родного дяди, князя Львова, первого председателя Временного правительства. Князя Львова он глубоко чтил, неизменно отзывался о нем с любовью и преданностью, хотя и признавал, что по свойствам своего характера этот «праведник» должен был бы остаться в стороне от политической деятельности, особенно во времена революционные. Князь Львов, генерал Алексеев, Столыпин, Витте, Шипов, Стахович, Милюков, Маклаков, ставший в эмиграции его другом, и тут же Ллойд Джордж или Клемансо, которых он в качестве управляющего делами русского Особого совещания наблюдал во время мирной конференции в Париже, и тут же государь Николай II, которого в последний раз он видел за несколько недель до отречения, или графиня Клейнмихель с ее знаменитым политическим салоном, или, например, Сара Бернар, или Алексей Толстой, автор «Петра Первого», с которым он был на ты: всего не перечислить, да и нельзя было в рассказах Вырубова предвидеть, на чем остановится его память! Строгой последовательности и стройности в этих рассказах не было, но слушать их хотелось без конца, настолько в этом калейдоскопе давних впечатлений все бывало ярко, метко и живо.

Если бы книгу, им задуманную, Вырубов написал, — или хотя бы только продиктовал, к чему, по-видимому, склонялся, — то поистине это был бы драгоценный вклад в историю русского общества последней половины или трех четвертей века. Пожалуй, даже больше, чем трех четвертей, — потому что о многом он знал по воспоминаниям отца или деда, и, в частности, рассказывал о встречах своей бабушки, — или прабабушки — княгини Марии Андреевны Львовой с Грибоедовым и Пушкиным, читавшим в ее доме «Полтаву».

Большой и обаятельный был человек, душевно-щедрый, независимый, прямой. Трудно в нескольких словах подвести итог тому, что удержалось в сознании от общения с ним. Несомненно, однако: был это один из тех людей, которые украшают и облагораживают нашу жизнь, — «нашу маленькую жизнь», как не без иронической горечи сказал эмигрантский бытописатель-юморист, — и оттого-то память о нем должна бы оставаться действительно светлой. Печаль о смерти Василия

Васильевича неотделима от благодарности за встречи и беседы с ним. Можно ли сказать об ушедшем человеке что-нибудь лучше этого, и не каждому ли из нас хотелось бы, чтобы когда-нибудь было это сказано и о нем?

Литература и жизнь

[«Для пользы дела» А. Солженицына]

Новая повесть А. Солженицына «Для пользы дела», помещенная в седьмом номере «Нового мира», вероятно, разочарует большинство его поклонников и всех вообще, кого этот автор в короткое время успел заинтересовать. Разочарует скорей идейно, чем в качестве произведения художественного. Написана повесть так же — или почти так же — талантливо и умело, как «День Ивана Денисовича» и другие рассказы Солженицына. Однако с именем автора многие у нас, да, по-видимому, и в советской России, связали надежды на появление нового, очень большого писателя, чуть ли не такого, какого не было в нашей литературе со времен Толстого: мне передавали, что именно это, — «со времен Толстого», — сказал о Солженицыне на одном из собраний в Париже недавно гостивший здесь московский литератор Виктор Некрасов. Со времен Толстого! Имей в виду Некрасов не Льва, а Алексея Толстого, и то заявление его было бы опрометчиво. Однако, когда упоминается Толстой без имени, речь может идти только об авторе «Войны и мира», — совершенно так же, как когда говорят Петр или Наполеон, без цифры все знают, что подразумеваются Петр или Наполеон первый, а не третий. А если вспомнить все, что было в русской литературе написано со дня смерти Толстого, то как же утверждать, находясь в здравом уме и твердой памяти, что все это бледнеет и меркнет в сравнении с «Днем Ивана Денисовича»? Дарование и мастерство Солженицына — вне споров, но зачем же ломать стулья, в особенности ознакомившись всего только с одной или двумя вещами нового автора?

«Для пользы дела» сомнений в писательском призвании Солженицына не вызывает, по крайней мере с узколитературной, формальной точки зрения. По-прежнему многое очень метко, многое остроумно и находчиво, пусть

в целом словесная ткань рассказа все-таки чуть-чуть суше, «казеннее», чем была, например, в «Матренином дворе». Но перебои в творчестве неизбежны и основания для общих выводов они не дают. Досаду при чтении «Для пользы дела» возбуждает скорей выбор темы, тон и склад рассказа, фабула его, ничем не отличающаяся от содержания других грамотных и формально-удачных рассказов, появляющихся в московских журналах. От Солженицына ждешь, что он удивит, озадачит, «приподнимет завесу», даже взволнует, и притом взволнует во все не только политически, а порой и глубоким, неподдельным лиризмом замысла, как в «Матренином дворе». Но на этот раз обезличивающий советский камертон чувствуется с первых же страниц. Не будем гадать, чем это вызвано, что за этим кроется: уступка ли это, простая ли случайность? Все подобные наши догадки произвольны: перед нами факты, только факты, и хотя естественно каждый из нас ищет этим фактам объяснения, теперешняя российская действительность в несомненно переходном своем состоянии слишком сложна, темна, изменчива и текуча, чтобы можно было не колеблясь выносить заранее совпадающие с нашим образом мыслей сентенции и претендовать на ясновидение. Бесспорно, одно: Солженицын в «Для пользы дела» — не совсем тот, каким еще недавно казался.

Небольшой провинциальный город. Студенты технического института своими силами выстроили себе новое помещение. Старое донельзя убого и тесно. Молодежь радуется, с нетерпением ждет переезда, радуются и преподаватели.

Но не тут-то было! На областных верхах решено передать новое помещение другому учреждению, будто бы имеющему «государственное значение». Студенты огорчены, возмущены. Директор института пытается отстоять свое детище, но тщетно. С несправедливостью примириться он не может, и в сознании его возникает подозрение, что решение принято не столько «для пользы дела», сколько в угоду местному ловкачу-карьеристу, имеющему связи в Москве и готовому на все ради личного служебного успеха.

Как не сказать себе: да ведь такого рода истории мы читали уже сотни раз! Все знакомо, все сразу ясно: и этот

директор, энтузиаст своего дела, обманчиво хмурый и неуживчивый, и эта энтузиастка Лидия Георгиевна, с самозабвением руководящая комсомольцами, в нужный момент ссылающаяся на Ильича, уверенная, что вне коммунизма нет ни добра, ни правды, — и многое другое. Еще раз отмечу: обрисованы эти образы опытной рукой, но самый замысел скуден и ординарен.

Исходное положение Солженицына можно свести к нескольким словам: труд это радость, коллектив это жизнь, коммунизм — единственно светлое человеческое будущее... Даже если воздержаться от возражений «по существу», хочется спросить: раз это истины самоочевидные, зачем вбивать их в головы изо дня в день, иллюстрировать на разные лады, вот уже несколько десятков лет, как при «культе личности», так и после исчезновения и развенчания «личности»? Не подрывает ли настойчивость доверия? Так ли элементарно прост вопрос о труде, коллективе и человеке, так ли достоверно известно, что в будущем обществе всякие трения, столкновения и противоречия упразднятся сами собой? Что мир станет похож на райские видения Верочки из романа Чернышевского? Самая искусная лубочная картинка остается в конце концов только лубком, и на этот раз именно лубком Солженицын и удовольствовался.

Или, может быть, он сам над собой смеялся и новый рассказ его — не что иное, как пародия?

Литература и жизнь

[«Наместник» Рольфа Хохгута]

У театра «идейного», у драматургов, которые в пьесах своих ставят какой-нибудь общий вопрос и к концу действия предлагают его решение, в наше время много противников. Доводы их не лишены убедительности: в самом деле, сцена — не трибуна, и искусство вовсе не обязано что-либо доказывать или опровергать. Но случается иногда, что в драме затронут вопрос слишком жгучий, чтобы не возникло в ответ страстных и разнообразных откликов. Удачна ли пьеса как произведение художественное, преобладают ли в ней, наоборот, промахи, преувеличения и условности, большого значения

не имеет: важно то, что автор набрел на тему, которая никого оставить равнодушными не может. Волнение объясняется именно выбранной темой, ее остротой и значительностью, ничем иным.

Так произошло в наши дни с драмой Рольфа Хохгута «Наместник», впервые поставленной в Германии, теперь идущей в Англии и Швейцарии, странах, где католичество нельзя считать религией основной, «господствующей». Едва ли драма будет поставлена во Франции, не говоря уж об Италии и тем более Испании, где она вызвала бы протесты слишком ожесточенные. В Лондоне, судя по газетам, пьеса была встречена гробовым молчанием: в своем роде это тоже протест. Но англичане, по видимому, усмотрели в смелости замысла некоторую «бестактность» и были ею шокированы, не вдаваясь в рассмотрение того, есть ли в этом замысле клевета.

В драме Хохгута представлен папа Пий XII и затронут отказ «наместника Христа» во всеуслышание осудить гитлеровские смертные лагеря, газовые печи и детально разработанное намерение полностью уничтожить еврейский народ. Кому из наших современников не случилось об этом тягостном и, казалось бы, непонятном, непостижимом молчании Рима в военные годы думать? Многие рядовые католические священники вели себя в то время безупречно, исполняя достойно и самоотверженно свой христианский долг, но как было не ждать, как было не надеяться, что наконец раздастся верховный, слышный на весь мир, голос оттуда, с высоты престола? В частности, кто из русских не помнил пророчества Достоевского, что когда-нибудь римский первосвященник выйдет из своего раззолоченного дворца и, босой, нищий, отправится проповедовать забытую благую весть? Были ли в истории годы, когда пророчество это казалось богаче смыслом, когда оно представлялось нужнее и неотложнее, — чем бы в непосредственной близости оно католицизму и его высшим представителям ни грозило? Какой свет озарил бы Церковь, какое содрогание прошло бы по миру, даже и в тех его слоях, которые к вере и христианской морали давно уже охладели! Но Рим молчал или отделялся дипломатическими нотами, в которых оставалось неясным, чему же он сочувствует и что осуждает.

По всем имеющимся теперь сведениям, в Берлине с крайней тревогой предвидели возможность папского выступления и не без растерянности думали о мерах, которые пришлось бы принять. Тридцать пять миллионов немцев были католиками. Гневный, бескомпромиссный окрик с угрозой отлучения от Церкви вольных и невольных сообщников «планетарного» злодеяния мог бы иметь последствия неисчислимые, и Гитлер хорошо это понимал. Понимал он, конечно, и то, какую бурю вызвал бы, например, арест папы и превращение его в мученика. Оттого и вел он в отношении Ватикана игру тонкую и двоящуюся, рассчитанную на предотвращение открытого разрыва.

В драме своей Хохгут старается соблюсти беспристрастие. Он отнюдь не изображает Пия XII человеком малодушным, думающим лишь о своем личном благополучии. В его трактовке папа по-своему озабочен судьбами Церкви, но убежден, что назначение ее — сохранить равновесие между враждующими силами и в нужный момент выступить с посредничеством. Пий XII боится, что гибель Гитлера приведет к владычеству Сталина над Европой и поэтому его окончательной, полной гибели он не хочет. Папа прежде всего — дипломат, хотя и готов признать, что «наместник Христов» должен всегда быть на стороне слабых и угнетенных. Но мысль о решительном выступлении «экс катэдра» его ужасает. Он утверждает, что приверженцами ее могут быть люди только малоопытные, не способные согласовать чувство с рассудком.

С одним из таких малоопытных, не способных к дипломатии людей ему приходится в драме Хохгута столкнуться, и притом со священником, работающим в римской курии. Столкновение это составляет центральный эпизод драмы, и надо признать, что даже в чтении он производит впечатление сильное.

Риккардо Фонтана, молодой аббат, вернувшийся из поездки по Европе, своими глазами видел убийства детей, отправку беззащитных людей на верную смерть в лагеря и все прочее. Он потрясен, он не сомневается, что папа молчать больше не будет, — а когда в ответ слышит успокоительные, слегка иронические речи, выхватывает в присутствии папы из кармана пятиконечную желтую звезду и прикалывает ее к своей сутане.

— Я буду эту звезду носить, пока Ваше Святейшество перед лицом всего мира не проклянет человека, организовавшего бойню для евреев...

И затем добавляет:

— Господь не оставит своей Церкви только потому, что Папа забыл свой долг!

Пий XII потрясен почти так же сильно, как его посетитель. Он не сердится на дерзкого юношу, он пытается его образумить. Запачкав дрожащие руки чернилами, он в конце сцены «умывает» их, как когда-то Пилат: жест по ходу действия случайный, но по мысли автора, несомненно, символический.

В оправдание Пия XII раздадутся, да уже и раздались, авторитетные голоса, — начиная с его ученика и друга, теперешнего папы Павла VI. В деле этом все зависит от личного склада судящих, и, несомненно, многие скажут, что римская Церковь строит свои планы и ведет свою политику в расчете на тысячелетия. Это в самом деле так, и нелепо было бы в драме молодого немецкого писателя видеть безапелляционный приговор. Но не менее нелепо было бы и счесть, что в поставленном им вопросе нет ничего трагически-важного и для всей новой культуры существенного.

Литература и жизнь

[Жан Кокто]

Жан Кокто, на днях скончавшийся, занимал во французской литературной жизни место особое, пожалуй даже исключительное: исключительное не в смысле величины или значительности, а в том смысле, что после него место это надолго останется пустым. Преемник, столь же щедро и разнообразно одаренный, найдется не скоро. Кокто во всех отраслях искусства оставил след, на все откликнулся и в течение многих лет играл роль нового Петрония, законодателя мод и вкусов. Он воплощал и представлял собой Париж, парижскую художественную культуру в самой утонченной, изысканной и легкой ее сущности, он был, — пользуясь гоголевским выражением, — самой столичной из «столичных штучек», вобравших в себя то, что дает Парижу его внутренний

аристократизм, его неподражаемое и недоступное для других городов изящество. Вместе с тем, Кокто, бесспорно, был прирожденным поэтом, был талантливым и своеобразным романистом: достаточно прочесть хотя бы только его маленький сборник стихов «Plain chant» или ранний роман «Фома-обманщик», чтобы в этом убедиться. Дал ли он, однако, в области подлинного творчества все, что дать мог бы? Насчет этого допустим сомнения, и едва ли было бы ошибкой сказать, что поэт развешал свои дарования в настойчивом и чуть-чуть суетном стремлении быть всегда в авангарде, всегда удивлять, озадачивать, обольщать, пленять, смущать, казаться каким-то сфинксом или арлекином, в одной улыбке или в случайной причуде которого больше глубокомыслия, чем в ином многотомном академическом трактате.

Не раз Кокто давал понять, — а в последние десять—двадцать лет напоминал об этом постоянно, — что ему не по душе положение парижской литературной и светской «ведетты». Уединение, работа, несколько любимых книг, несколько верных, редких друзей: ничего другого он будто бы не искал, ничто, кроме этого, не было ему дорого. Оснований приписывать Кокто недостаток искренности нет. Но «тон делает музыку», и в самом тоне его слов чувствовалось противоречие с их содержанием: трудно было отделаться от мысли, что демонстративная приверженность к уединению и тишине представляет собой всего только последнюю, наиболее эффектную позу, может быть и безотчетно принятую. Изменить себе, изменить себя Кокто не мог и под любым обликом оставался все тем же, каким был в далекой юности, в пору первых своих шумных успехов.

Судить человека никто не вправе, а человека по своему замечательного, необыкновенного — тем более. То, что я сейчас о Жане Кокто пишу — не суд, и уж, конечно, ни в коем случае не осуждение, а попытка разобратся в долголетних впечатлениях от его личности и деятельности. «Aux morts on ne doit que la vérité», сказал Вольтер, и сказал очень мудро, очень верно, поскольку в правде больше уважения к покойному, и даже к самому факту смерти, всех нас объединяющему, чем в привычных и нередко лицемерных панегириках, воспринимаемых, как простая формальность. Много в на-

следии Кокто восхищает, многое, что же скрывать, вызывает и досаду. Он был центром и вдохновителем избалованной жизнью среды, был средоточием блестящей и беспечной эпохи. Но именно потому, что Кокто всего себя без остатка отдал современности, нет уверенности, что в писаниях его что-нибудь уцелеет и для будущего, для «вечности», — хотя бы лишь в том условном, ограниченном значении, которое понятию литературной «вечности» мы придаем. На единственно важный вопрос, который человек должен бы к писателю обратиться: что ты можешь мне дать, чем можешь меня обогатить? чем можешь мне помочь в понимании жизни? — Кокто отделался бы словесным фейерверком, гаснущим без следа. Правда, фейерверком ослепительным: на секунду—две нельзя было бы не зажмурить глаз.

В начале эмиграции я встречался с Кокто, раз или два был у него на дому. Помню встречу после того, как он познакомился с Маяковским, в те годы довольно часто в Париже гостившим. Кокто все спрашивал, действительно ли это большой поэт, большая «фигура», как ему о Маяковском сказали, — и с недоумением повторял: «mais, c'est un nourrisson, un nourrisson, младенец».

Понять эту реакцию было нетрудно. Маяковский был умный человек, но со своим российским высокомерием, со своей тогдашней «комфутской» запальчивостью и доморощенными, ребяческими литературными теориями, господствовавшими у нас в ранние революционные годы, ничего, кроме недоумения, у сверхстоличной «штучки» вызвать не мог. Кажется, впоследствии Кокто изменил свое отношение к нему. Но первое впечатление было, по-видимому, тягостным.

Помню разговор о новой французской литературе, с довольно язвительными выпадами по адресу Андре Жида. Помню, наконец, фразу для Кокто крайне характерную. Он говорил о поэзии, о необходимости ее обновления, о заблуждениях сюрреалистов, и вскользь, будто задумавшись, с подчеркнутой простотой заметил:

— Je crois qu'il serait temps de lancer Victor Hugo!

К сожалению, я не записал всего, что от Кокто слышал. А записать надо было бы, — потому что для хроники нашего времени это был бы документ и красноречивый, и ценный.

Литература и жизнь

[10 лет со дня смерти И.А. Бунина]

Прошло десять лет со дня смерти Ивана Алексеевича Бунина.

Срок это такой, что невольно спрашиваешь себя: каково будет место Бунина в русской литературе, вырос ли он за эти годы в нашей памяти, в наших читательских впечатлениях или, наоборот, слегка померк, осталось ли для нас его творчество так же значительно, как было при жизни? Хочется, словом, подвести «итоги».

Относительно места, которое отведет Бунину будущее, едва ли возможны сомнения. Есть в русской прозе только три бесспорно великих имени: Гоголь, Достоевский, Толстой, — впрочем, с оговоркой, что не оборвись жизнь Лермонтова так рано, он, наверно, вошел бы в тот же ряд. В сущности, Лермонтов даже и теперь, при том немногом, что успел он написать, имеет на первый ряд право, и только размер такой драгоценности нашей литературы, как «Княжна Мэри», мешает уверенному признанию этого. Дальше — Тургенев и вместе с ним те превосходные, даровитые, замечательные писатели, которые, однако, не в силах были спуститься к самым корням жизни и дать свое, неповторимое, — пусть и мучительно искаженное, как у Гоголя, — представление о ней. Здесь — Чехов, а за ним Бунин. Речь, конечно, не о какой-либо «табели о рангах», а о том, что без определения каждому из творцов русской литературы своего места и своей роли в ней, невозможно было бы понять ее общее значение. Большой заслугой Белинского навсегда останется то, что он первый эту расстановку наметил, и хоть и не без отдельных оплошностей, дал в целом верную картину.

Но к Бунину отношение двоятся. Без малейшей натяжки, без склонности к юбилейным преувеличениям можно сказать, что так, как он, никто еще по-русски не писал. Бунин — не величайший русский писатель, но отдельная бунинская страница — непревзойденный в нашей литературе образец мастерства, словесного блеска, точности, находчивости и меткости. Да ведь и сам Толстой признал это, — Толстой, который лучших вещей Бунина не знал, который хмурился, не находя у него

достаточно «содержания», но прочитав один из его рассказов, заметил:

— Ни Тургеневу, ни мне так не написать бы...

Силы у Толстого было, конечно, больше. Поэтому можно бы возразить, что и Бунину никогда не написать бы, например, главы, предшествующей самоубийству Анны Карениной или той, поистине волшебной, страницы, где ночью, на занесенной снегом станции, Вронский неожиданно подходит к Анне и впервые говорит о своей любви. Но это — гениальная вспышка, мастерство почти что безотчетное, вдохновение, царственно пренебрегающее заботой о тщательной отделке каждого штриха, каждого образа. У Бунина — совсем не то. Но кто хотел бы убедиться, чего можно достичь в словесной живописи проверкой, отбором и волевым напряжением, при безошибочном чутье к языку, при врожденном отталкивании от казенщины, от дешевых стилистических эффектов, пусть перечтет хотя бы «Несрочную весну», или в «Жизни Арсеньева» главу о доме купца Ростовцева, где маленький герой повествования оказывается жильцом, или страницу о приезде Арсеньева ясным морозным вечером в Витебск. Никто по-русски так не писал: нельзя этого не повторить.

Есть у Бунина другая удивительная черта: его чувство правды и лжи. Этим он, пожалуй, наиболее крепко связан с лучшим, что в нашей литературе было, — ибо как же не видеть, что если у ней, у нашей литературы, есть какой-то особый, свой «патент на благородство», то именно этот ее обостренный, абсолютный слух к фальши, к цветистой декламации и напыщенному самолюбованию. В прошлом были, может быть, литературы богаче, разнообразнее, ярче, блестящее, но по части внутреннего слуха она каждую из них могла бы научить чему-то очень важному. Бунин остался в стороне от русского модернизма из-за грубой декадентской мишуры, которая к нему прилипла, и которую он в своем праведном раздражении смешал с глубокой, даже загадочной сущностью этого движения. Его упрекали в запальчивости, в отсутствии беспристрастия, и упрекали не без основания. Но за отвращение к фальши, за фанатическую ненависть к ней можно бы все Бунину простить, даже слепое его отрицание Блока, поэта, в котором русский модернизм нашел свое оправдание.

Вспоминаю, говоря обо всем этом, книгу Бунина о Чехове, последнюю его большую работу, оставшуюся незаконченной. Во второй части книги собраны разрозненные замечания, заметки на полях, записи «для себя» и прочее. Некоторые записи очень резки и, вероятно, для многих читателей неприемлемы, тем более что обращены бунинские сарказмы на авторов большей частью популярных, даже прославленных, в частности, на имена театральные. Но до чего верны иные из этих беспощадных оценок. Они заслуживают того, чтобы в них вдуматься, их усвоить и запомнить, как освежающее противоядие от литературных условностей, по привычке или по инерции принимаемых за твердо установленные истины. Bravo, bravo, — говоришь себе, читая, — наконец-то нашелся человек, который открыто называет глупость глупостью, позу позой и ложь ложью!

Это — вовсе не мелочь. Этим и в этом Бунин остался преемственно верен своим великим учителям и предшественникам. Это, конечно, и то, чем присутствие Бунина среди нас, личное общение с ним было важно и дорого, и что побуждает сегодня, десять лет после его смерти, низко склониться перед его памятью.

Литература и жизнь **[Софи Лаффит о Чехове]**

Книга Софи Лаффит о Чехове написана по-французски и для французов. Но она в высшей степени интересна и для русского читателя: это своего рода чеховская энциклопедия, притом очень сжатая, дающая все важнейшие сведения и умело обходящая второстепенные мелочи. Закрывая книгу, вспоминаешь формулу, обязательную для свидетелей на суде: «вся истина и только истина». Добавлю, что с серьезностью, с научной добросовестностью молодого сорбоннского профессора Софи Лаффит сочетает живой ум и талантливую увлекательность изложения, далеко не всем профессорам свойственные.

Но каким двоящимся, уклончивым, скрытым, почти загадочным человеком был тот большой писатель, которому книга посвящена! До чего зыбки очертания его ду-

ховного облика! Теперь, слава Богу, никто уже не повторяет былых фраз о «нежном певце сумеречных настроений» или о «поэте безвременья», и, в частности, Бунин потратил немало сил и энергии, чтобы эту болтовню высмеять. Однако своей, отчетливой и ясной психологической обрисовки Чехова Бунин не дал, не в состоянии был дать, — как не дала ее и Софи Лаффит. От всякой портретной отчетливости Чехов ускользает. Не думаю, чтобы объяснение тут было в беспримерной сложности характера: нет, были в нашей литературе люди не менее сложные. Объяснение, по-видимому, в том, что Чехов жил и умер в беспримерном духовном одиночестве, замкнутым, как никто. Жизнь он любил, но жизни он и боялся, зная, как бывает она беспощадна, и ушел от нее вглубь самого себя, отшучиваясь по скромности своей от всякого вызова на откровенность.

Бунин считал Чехова писателем суровым, чуть ли не жестоким, в согласии со Львом Шестовым, автором замечательной статьи «Творчество из ничего». Чехов был будто бы способен убить лучшие человеческие надежды, развеять все самые дорогие иллюзии. Допустим! Но ведь при этом он, несомненно, верил в прогресс, придавая этому понятию черты традиционные, унаследованные от двух прошлых веков, в духе того, что «царство науки не знает предела» и всего прочего. В книге Софи Лаффит приведены его слова из письма к Суворину, не раз уже цитировавшиеся, о том, что «в паре и электричестве больше любви к человечеству, чем в воздержании и вегетарианстве». В наше время выяснилось, что пар с электричеством в конце концов привели к успешному изготовлению водородных бомб, и уверенность в человеколюбивой природе научного прогресса несколько поколебалась. Чехов этого, правда, не предвидел. Полковник Вершинин из «Трех сестер», его «порт-пароль», настроен был оптимистически. Как этот благодушный оптимизм связать с отчаянием, сквозящим, например, в «Скучной истории», остается неясным.

Неясно и другое. Впечатление возникает такое, как если надо было бы восстановить рисунок по линиям и чертам, одна с другой не сходящимся. Софи Лаффит обстоятельно рассказывает, например, о поездке Чехова на Сахалин, и эта глава ее книги тем более важна, что

подробности чеховского путешествия забыты, да никогда и не привлекали большого внимания. Забыты и побуждения, Чеховым руководившие. А между тем невозможно отрицать, что писателя, будто бы ко всему безразличного, одушевляло стремление по мере сил «послужить страждущему человечеству», и что только это стремление удержало его от того, чтобы не свернуть с полдороги домой. Холодная, пустынная Сибирь, тряская кибитка, тысячи и тысячи верст со всяческими лишениями, вдвойне тяжкими для человека уже больного: нет, простое любопытство, которое Чехову иногда приписывалось, этого не выдержало бы.

Не могу даже и коротко остановиться на всем том, что в книге Лаффит заслуживает внимания и заставляет задуматься. Скажу, однако, мимоходом, что возражения Бунину насчет Лидии Авиловой, которую тот, — выходясь больше на чутье и догадках, чем на фактах, — считал единственной женщиной, внушившей Чехову глубокое любовное чувство, по-моему, убедительны. Вернее всего было бы, по-видимому, предположить, что Чехов только промечтал всю жизнь о глубоком любовном чувстве, ни разу по-настоящему не испытав его.

Не о том ли говорят, в сущности, и его пьесы, если в них вдуматься и вслушаться? Не в этом ли объяснение их колеблющейся, внутренне неуверенной тональности? Кстати, жаль все-таки, что Софи Лаффит ничего не сказала о расхождении иностранцев и русских в оценке этих пьес. Расхождение ведь вовсе не в том, что мы, русские, начиная с Толстого, будто бы не понимаем новизны чеховских приемов, магического чеховского умения строить действие на кажущемся отсутствии его. Об этом споров больше нет, это в самом деле замечательно! Не по душе нам только неврастеническая сентиментальность «Дяди Вани» или «Вишневого сада» со стихотворениями в прозе вроде «неба в алмазах» в придачу. В своих повестях и рассказах Чехов безупречно верен всему лучшему, что русская литература дала, в драмах он оказался с ее драгоценным наследием не совсем в ладу. Как могло это случиться, в чем разгадка этого?

Ответа нет. Но почувствовать, что есть вопрос, надо бы всем, кто хотел бы русскую литературу понять. Если не в книге, то когда-нибудь в будущем, объясняя своим

слушателям Пушкина и Толстого, Софи Лаффит должна бы этой теме коснуться. Не сомневаюсь, что она сумеет растолковать, в чем именно тут дело.

«Избранные стихи» Юрия Терапиано

Юрий Терапиано — один из тех поэтов, которые в нашей и парижской литературной жизни играли наиболее заметную роль. Говорю «играли», а не «играют», исключительно потому, что теперь от этой жизни мало что осталось. В предвоенные, тридцатые годы, когда почти ежедневно устраивались собрания, когда велись страстные отвлеченные споры и за воскресным чайным столом у Мережковских речь возникала то о несомненной близости Второго Пришествия, то о необходимости вскрыть вреднейшие заблуждения Святополк-Мирского или Слонима, в эти по-своему бурные, задорные, может быть чуть-чуть бестолковые, но не пустые и не ничтожные русские годы, Терапиано всюду бывал и во всем участвовал. Всюду во всех главнейших эмигрантских журналах появлялись и его стихи. Но теперь настало время итогов. Пора, наконец, спросить себя: что было сделано, что сделать или сказать не удалось? Не знаю, думал ли об этом Терапиано, составляя сборник своих «Избранных стихов», но впечатление от книги именно на такие мысли наводит: кажется, что поэт вспоминал, проверял и отбирал стихи не только с точки зрения их формальной, внешней законченности, но и как литературное завещание или письмо к потомкам.

Это — стихи спокойные и величавые, без малейшего «подмигивания» читателю, без склонности к переходу на говорок, в котором читатель уловил бы жалобу или нечто вроде приглашения к интимности и панибратству. Можно бы даже сказать, что это стихи антиневрастенические, — хотя преодоление чувствительности, по видимому, далось Терапиано ценой некоторого усилия, оставившего в его стихах след. Нет-нет, да и послышится перебой:

Идти сквозь одиночество и тьму
Домой, — ты знаешь, что это такое?

Не могу сейчас точно вспомнить строчку Случевского, до странного совпадающую в своей дребезжащей интонации с этим терапиановским «что это такое». Но совпадение — вероятно, безотчетное — само по себе замечательно. Под сдержанностью поэта, под его ритмически-размеренным пафосом скрыто, значит, многое, чему выхода в стихи он не дал. «Служенье муз не терпит суеты»: эти пушкинские слова можно было бы поставить эпиграфом к «Избранным стихам», это их духовный лозунг, — и есть ли на свете поэт, который, именно подводя итоги, не согласился бы, что это действительно так, что суетливость во всех ее видах и разновидностях с поэзией несовместима? Исключения были и будут, но правило остается вечным.

Участь человека в мире, одиночество, любовь, дающая победу над ним, сны и реальность, наконец смерть и жизнь: Терапиано не ищет тем подчеркнуто новых, избегает их, чувствуя, что новизну свою они могут быстро утратить. Но у него есть дар по-новому говорить о постоянном, о неизменном — и вызывать отклик. Есть у него и редкий дар сближать стихи с молитвой, как делает он это в небольшом цикле «В день Покрова». Опыт опасный, рискованный из-за недопустимости самого слабого срыва, т.е. вторжения литературщины в область, где ей решительно нечего было бы делать. Однако поэт нашел в себе силы остаться простым, — или, вернее, вернуться к простоте, — там, где всякая подделка под непосредственность и искренность оказались бы оскорбительны.

Иногда он вспоминает Россию. Вспоминая, касается мыслей, многим из нас знакомых и многих тревоживших: оправдана ли эмиграция, была ли она ошибкой, есть ли нам в чем раскаиваться? Тема, затронутая Ахматовой в самом начале революции, — «Оставь свой край родной и грешный, оставь Россию навсегда...», — и еще недавно, в патетическом вступительном четверостишии «Реквиема». У Ахматовой — отталкивание, пожалуй, даже осуждение.

У Терапиано ответ другой. У всех нас ответ другой. Надо надеяться и верить, что если когда-нибудь, много позже, после исчезновения исторических раздоров и распрей, возникнет среди русских людей попытка осмыс-

лить дело и значение эмиграции, осуждение покажется односторонним и наши внуки и правнуки поймут доводы, одушевлявшие нас.

Не о том же и говорит Терапиано, даже и тогда, когда будущего он как будто не касается?

Снова ночь, бессонница пустая,
Час воспоминаний и суда.
Мысли, как разрозненная стая,
В вечность отлетают навсегда.

Полночь бьет. Часы стучат, как прежде,
В комнате таинственная мгла:
Если в сердце места нет надежде,
Все-таки и тень ее светла.

Это — одно из коротких, лаконических, богатых смыслом и содержанием стихотворений, каких в «Избранных стихах» немало. Иные книги достаточно перелистать: все сразу исчерпано. Эту надо прочесть — и над ней трудно не задуматься.

Литература и жизнь

[Лермонтовские дни в эмиграции]

Лермонтовские дни были этой осенью отмечены эмиграцией в соответствии с ее силами и возможностями. На собраниях присутствовать мне не удалось, но в печати появились статьи, если кое в чем и спорные, то все же содержательные, лишенные обычного юбилейного пустословия. Повода к упрекам в косности или в недостатке любви и уважения к одному из светочей русской литературы, значит, нет. Однако впечатление от «лермонтовской осени» осталось, по-видимому, у всех бледноватое, — и не только в Париже, но и повсюду. Не лучше прошли эти дни и в советской России, несмотря на исключительное обилие вышедших там книг и материалов о Лермонтове. Некоторые кропотливые биографические изыскания интересны и ценны, — в частности те, которые принадлежат Ираклию Андроникову. Но о многословных размышлениях авторов, старавшихся представить Лермонтова как предтечу социалистиче-

ского реализма и сделать из него нечто вроде «глубоко своего парня» не стоит и упоминать.

У меня нет ни малейшей претензии заполнить образовавшийся пробел, нет ни стремления, ни надежды сказать о Лермонтове что-то такое, о чем забыли сказать другие. В нескольких строках мне хотелось бы только напомнить, что Лермонтову в русской критике вообще не везло и что перед этим великим и нелепым явлением она останавливалась в недоумении, едва только пробовала выйти за пределы стереотипных, школьных указаний на картинную и патриотическую прелесть «Бородин» или на байронизм Печорина. Были, правда, попытки иного, более самостоятельного и вдумчивого отношения к лермонтовскому наследию: например, в знаменитой статье Ключевского «Грусть». Но умный, дальновидный историк оказался в данном случае критиком довольно мало проницательным.

Никто, вероятно, не скажет, что Лермонтов — величайшее имя русской литературы. Но, несомненно, он был самым большим ее обещанием, величайшей ее надеждой. И оттого ранняя смерть его — величайшее несчастье нашей литературы, несчастьями и бедствиями, надо признаться, вообще обильно отмеченной. Возникнет, пожалуй, возражение: а Пушкин? Да, со смертью Пушкина нельзя и по сей день примириться, нельзя до сих пор забыть ее. Но Пушкин умер в расцвете сил, в пору полной творческой зрелости, сказав, по-видимому, самое существенное из того, что вообще суждено ему было сказать. Пушкин, проживи он дольше, написал бы, конечно еще много гениальных и великолепных вещей, но едва ли обогатил бы свой духовный облик новыми чертами. Лермонтов — совсем не то. Он искал себя, непрерывно рос, развивался, и убит был именно в годы, когда, казалось, близился к тому, чтобы принести какое-то новое, никем прежде не уловленное, неслыханное, «из пламя и света» рожденное слово. Белинский после беседы с Лермонтовым высказал убеждение, что «это будет поэт с Ивана Великого», и можно быть уверенным, что предвидение его исполнилось бы. Но нам трудно составить себе представление о творчестве зрелого Лермонтова, настолько противоречивы элементы его творчества первоначального, единственно нам известного.

«Бородино», «Песня о купце Калашникове» и прочее в том же духе, в той же плоскости? Нет, это хочется отбросить, хотя в «Калашникове» есть строчки замечательные, истинно поэтические. Это, может быть, и прекрасные произведения, но не из ряда тех «чудес», которые от Лермонтова мы вправе были бы ждать. Несравненная лермонтовская проза, та, о которой Гоголь правильно сказал, — и притом сказал уже после смерти Пушкина, — что «никто у нас так не писал»? Да, она — из разряда «чудес», и во всей русской литературе поставить рядом с ней можно только лучшие страницы Толстого. Но все же загадочность Лермонтова, единственность лермонтовского явления — главным образом в его стихах, в глубоко метафизической сущности этих стихов, в их непостижимости, в их какой-то небесной тональности. Конечно, огромное большинство этих стихов далеко не совершенно, конечно, взыскательный, многоопытный мастер Жуковский был по-своему прав, морщась над ними, конечно, в них немало мелодраматической риторики, сгущения красок и технических оплошностей. Но десять—двадцать волшебных лермонтовских строчек, разбросанных по разным стихотворениям, идут дальше и выше, обещают больше, касаются чего-то более значительного, нежели все, что в русской поэзии вообще существует, «Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских...», — говорит у Пушкина Сальери о Моцарте, и это можно было бы повторить о Лермонтове. Но о чем эти песни? Что таится за ними? Тут само собой начинаются гадания, и невольно опускаешь руки, чувствуя свое бессилие понять и объяснить, что же было в душе и уме этого двадцатилетнего мальчика, не успевшего в жизненной сутолоке почти ничего договорить и бессмысленно погибшего в годы, когда от этой одури, его тяготившей, он готов был освободиться.

Бессилие понять, бессилие объяснить... Оттого и нечего удивляться, что лермонтовские дни прошли скорей в разговорах вокруг да около творчества поэта, чем в подлинном истолковании его.

Поклон былому

Со всяким пишущим случается, что сквозь «магический кристалл» он не совсем ясно различает, куда мысль или воображение заведет его. В творчестве художественном, особенно в романе, это естественно и даже закономерно. В статьях, бесспорно, лучше обходиться без «кристалла», но бывает, что и сядя за статью и твердо зная предмет ее, неожиданно отвлекаешься в сторону, — и вовсе не в угоду пустой прихоти, а потому что новая, другая тема, будто вынырнув из-под первой, побуждает ее оставить.

Для пасхального номера нашей газеты мне хотелось написать статью о театре, главным образом о театре Мариинском. Не только воспоминания, нет, — хотя не обошлось бы и без воспоминаний: в частности, без воспоминаний о Ершове, незабываемом Гришке Кутерьме в «Китеже», незабываемом и несравненном Тристане, единственном из всех виденных мной артистов, который в этой роли, — не в пример иным байрейтским, может быть, и более голосистым знаменитостям, — был на уровне вагнеровского замысла и вагнеровской музыки. Не обошлось бы, конечно, и без воспоминаний балетных. Мне хотелось сравнить наш былой балет с новейшим западным балетом, который при наличии первоклассных сил и блестящих дарований полностью утратил то, что можно бы назвать «праздничностью». Очевидно, утрата эта не случайна. Очевидно, сказывается дух эпохи, стремление внести ученость, — впрочем, нередко мнимую, — внести серьезность, — впрочем, нередко напускную, — в область, где им делать нечего. Сказывается и комическая, или вернее трагикомическая, уверенность, что иллюстрировать танцами можно решительно все: сегодня «Девятую симфонию» Бетховена, завтра, например, «Опыты» Монтеня... Уместны ли, в самом деле, колебания? Не искалечит Бетховена с Монтенем, скажем, Икс, так возьмется за них Игрек, а в театральном мире царит, знаете ли, жестокая конкуренция, надо быть начеку, держать ухо востро и следить, чтобы никто тебя не обогнал и не прослыл более передовым и смелым.

Отложим, однако, разговор об этом до другого раза. Я вспомнил Мариинский театр, вспомнил далекие предреволюционные годы, тогдашний быт, общие черты тог-

дашней жизни, остановился, задумался... и не мог больше ни к опере, ни к балету вернуться.

Прошу простить, что говорю о себе: это всегда досадно, даже и в самых малых дозах. Но в данном случае иначе трудно было бы объяснить, а тем более оправдать, скачок от одной темы к другой, более широкой и, по моему, более значительной.

Тема эта — наше прошлое.

Не должны ли люди моего поколения ценить, не должны ли они радоваться, что им посчастливилось застать Россию хотя бы только в последние годы, предшествовавшие потрясениям и катастрофам, перед теми «неслыханными переменами, невиданными мятежами», о которых говорил Блок? Я не собираюсь ничего идеализировать, не хочу поддаваться близорукой сентиментальности, часто охватывающей человека, когда он вспоминает свою юность. Много было плохого, несправедливого, темного, незаконного в нашей былой России. Закрывали себе на это глаза, да и посейчас закрывают, главным образом те, кто находился на социальных верхах, со всеми преимуществами, из такого положения вытекающими, или чей социальный ранг был хоть и не очень высок, однако все-таки много выше средней черты, разделявшей многомиллионное население. Но сколько теперь клеветы на прежнюю Россию, сколько злобы и лжи, притом не только лжи по обязанности, как у советских болтунов и чиновников от литературы, а на Западе, по неведению, по твердо укоренившейся «клюквенной» традиции! Да, бесспорно, много было темного в прошлом, и, припоминая его, только диву даешься, как же было этого не понять, не заметить, не исправить. Мы приезжали, например, из театра, из того же милого, голубого Мариинского театра, порой взволнованные виденным, даже как будто внутренне облагороженные: «Маша, готов самовар?» В голову не приходило, что Маше или Дуне хочется в первом часу ночи спать и что чай легко было бы приготовить самому, — да, я нисколько не преувеличиваю, в голову не приходило! В голову не приходило, что можно бы завести ключ от входной двери и не будить швейцара, обыкновенно выходившего в накинутой на плечи ливрее вместо халата, позевывая и ежась от холода. Ничего не приходило в голову, и теперь об этом

странно, грустно и как-то неловко вспоминать. «Мелочи, мелочи, — возразят, пожалуй, некоторые, — нашел о чем говорить! Маша или Дуня были довольны своей жизнью и ни на что не жаловались». Может быть. Не жаловались потому, что таков был издавна заведенный порядок, казавшийся нерушимым. Но дела это не изменяет и мелочи, мне вспомнившиеся, предопределили будущее.

Идеализировать прошлое, значит, не к чему. Но мы застали все-таки конец русского золотого века, его закат, последние его дни, не догадываясь, что в духовной истории России это был именно золотой век и что он больше не повторится. Еще раз я процитирую Блока, пророческие, удивительные его строчки: «О, если б знали дети, вы, холод и мрак грядущих дней...» Нам при всей нашей беспечности еще посчастливилось подышать удивительным единственным русским воздухом, теперь исчезнувшим, смесью добродушия, душевной щедрости, беспокойства, порывистости, непоседливости, не знаю, чего еще, всего того, словом, что разлито в лучших русских книгах и чего нет на Западе, при всех его великих, подлинно великих «святых чудесах», — уже не по Блоку, а по Хомякову. Нам еще довелось быть членами бывшего русского общества, огульно оклеветанной русской «буржуазии», в целом мало похожей на ту, какой теперь ее изображают. Конечно, не доставало общественного благоустройства, порядка, даже воли к порядку. Но вот теперь эта воля стала в России государственным принципом, теперь каждый принужден трудиться на общую пользу, каждый знает, что труд есть долг, что отдых есть неотъемлемое право трудящегося — и так далее. Что же, само по себе все это верно! Дай только Бог, чтобы когда-нибудь в этих неоспоримых нормах обнаружилась трещинка, то есть чтобы явилось чувство их недостаточности и невозможности для человека найти в них удовлетворение. У нас, — обобщая и расширяя слово «мы» на несколько поколений, — этого чувства было, пожалуй, больше, чем нужно, и когда думаешь о судьбах России, то приходишь к мысли, что главным, непоправимым ее несчастьем была гибель бывшего русского общества с различными его разветвлениями: прежде всего — гибель бывлой русской интеллигенции. Сейчас, в наши дни, доживают свой век последние ее представители, и оттого

сейчас хочется договорить все то, чего не успели мы сказать вовремя. Я знаю, конечно, что для этого потребовалась бы большая, тщательно продуманная книга, а не короткая, торопливая газетная статья. Но разве не ясно и в нескольких словах, о чем была бы речь? Не сомневаюсь, кстати, что упоминание о золотом веке вызовет ироническое недоумение. «Какой это, скажите, золотой век? Тот ли самый, о котором Герцен писал, что “есть с чего с ума сойти”, а Тургенев, что единственной его отрадой, единственной драгоценностью остается великий русский язык?» Да, именно тот самый, и именно потому, что в нем были Герцен и Тургенев, если уж не называть других, всем известных имен. Именно потому, что люди тогда способны были «сходить с ума», а теперь глядят на постепенное, безмятежное водворение упорядоченного бездушия как на нечто соответствующее прогрессу.

В 1917 году все оборвалось и полетело неизвестно куда. Даже, в сущности, не в 1917, а в 1914 году, — потому что, конечно, девятнадцатый век как духовное целое вольно или невольно покончил с собой именно в 1914 году. Нам довелось еще его застать, но по молодости лет мы недостаточно в него вгляделись, почти ничего в нем не поняли, увлекаясь преимущественно поверхностными его чертами, беспечно балуясь тем, что было к нашим услугам. Но теперь, на далеком, полустолетнем расстоянии, и гораздо меньше сокрушаясь об исчезновении житейских благ, чем нас в этом подозревают, хочется низко поклониться былому и сказать ему спасибо. Хочется сохранить благодарную о нем память и по мере сил передать ее тем, кто придет после нас.

«Толстой» Анри Труайя

Нельзя оторваться... Это привычное выражение порой употребляется читателями и даже критиками слишком легко, и мало-помалу оно теряет всякий смысл. Но к книге Анри Труайя о Толстом его можно применить без малейшей натяжки. Действительно, от этой огромной книги нельзя оторваться, — не только потому, что увлекателен и значителен самый ее предмет, но и потому, что Труайя сумел соединить разрозненные данные

в одно живое целое и представить биографию как роман, как художественное произведение, с неожиданно возникающим и к концу все усиливающимся трагизмом в фабуле. О Толстом написано великое множество книг. Не могу, однако, вспомнить ни одной, где преобладало бы именно это свойство: внутреннее единство рассказа, способность подняться над темой и охватить взглядом все ее разветвления, все ее отдельные элементы. Сам Толстой биографий не писал, но давно уже было указано, что Труайя, как романист, принадлежит к его последователям, и в работе над биографией он остался своему творческому складу верен.

Толстого, как человека, все мы, казалось бы, знаем. Но есть в этой нашей уверенности и большая доля самообмана, подтверждаемая известными словами Софии Андреевны, что полвека прожила она со Львом Николаевичем и так и не узнала, что он был за человек. Труайя говорит, что Толстой был одним из самых сложных, самых противоречивых людей, когда-либо существовавших, и, конечно, он прав. Но читая его книгу, вновь и с особой силой чувствуешь, что причина нашего обольщения не только в этом, а и в том, что в памяти у нас утвердился преимущественно образ Толстого-старика, яснополянского «великого старца», окруженного всесветной славой: образ, который невольно украшается чертами, «великому старцу» соответствующими. Полезно освежить в памяти, — не говорю узнать, а именно освежить в памяти, — все, что было заложено в природе этого сложнейшего человека и что к старости, может быть, и оказалось подавлено, однако вполне исчезнуть не могло. Полезно вспомнить его юность, его заносчивость, порывистость, непоседливость, первые литературные надежды и успехи, первые столкновения, например, с Тургеневым, — любовные страсти и разочарования, все вообще, о чем Труайя вдумчиво, обстоятельно и с редким повествовательным мастерством рассказывает. Полезно, — чтобы еще раз убедиться, что ключ к Толстому — в понимании неустрашимости противоречий, составлявших ткань и самую сущность его могучей, почти беспримерно-мощной жизненности, а никак не в попытках эти противоречия разобрать, разъяснить и сгладить, по примеру иных русских критиков (оправ-

дывающих, по-моему, язвительную, хоть и довольно близкую к истине шутку Толстого, что «критика, это когда глупые пишут об умных»).

Труайя, по-видимому, Толстого не любит или во всяком случае недолюбливает. Большей частью такое отношение к Толстому сочетается со стремлением обелить, оправдать Софию Андреевну и, значит, полностью возложить вину за драму, окончившуюся в Астапове, на одного Льва Николаевича. Признаюсь, читая книгу и замечая, что далеко не всегда автор ее к Толстому справедлив, я опасался именно такого финала, на мой взгляд, совершенно неприемлемого, какими бы рыцарскими соображениями продиктован он ни был. Но опасения оказались напрасны. Труайя не хочет быть ни адвокатом, ни прокурором. Он избрал единственно верный путь: изложить обстоятельства этого долгого, безысходно-мучительного семейного дела и отойти в сторону, отказавшись от приговора. В самом деле, какой тут возможен приговор! Толстой, наверно, возмутился бы, если бы узнал, как много чужих, чуждых ему по духу людей вмешиваются в его семейные несчастья, решают, рубят с плеча, судят, обвиняют, оправдывают. «Мне отмщение и Аз воздам», вероятно, повторил бы он библейские слова, отнесенные им к несчастьям Анны Карениной.

Ни его самого, человека, который вовсе не «блажил», как думали сыновья, а искал согласия с совестью, ни больную, измученную, хотя и несносную Софию Андреевну обвинить нельзя. Один только упрек по отношению к Софии Андреевне был бы, мне кажется, основателен: если уж вела она дневник, то отчего перед смертью не уничтожила его, хотя бы частично? Не могла же вдова Толстого не предвидеть, что дневники ее будут напечатаны, изучены, прокомментированы? Неужели и в последние свои дни, когда по всем свидетельствам она раскаивалась, что довела мужа до бегства из дому, неужели и тогда не поняла она, что самозащита обернется, в сущности, против нее и что образ ее остался бы в истории чище, привлекательнее, благороднее, если бы с меньшей настойчивостью старалась она предстать в ней жертвой и мученицей? София Андреевна была женщиной не заурядной, не глупой. А вот того, что если уж выпало ей на долю великое счастье и великое несчастье быть женой

Льва Толстого, то единственный настоящий ее долг заключался в верности и безоговорочной духовной помощи человеку, который был славой и светочем России, — вот этого понять оказалась она не в силах.

Не знаю, чем вызвано отталкивание Труайя от Толстого. Не хочу высказывать об этом никаких догадок, а в тексте книги не нахожу этому отталкиванию объяснения. Зато в книге довольно часто встречаются произвольные, спорные психологические предположения и подозрения, внушенные какой-то смутной, однако, по-видимому, неодолимой неприязнью. Сама по себе такая неприязнь — явление распространенное, в особенности у многих наших соотечественников, в частности, у эмигрантов, у которых она принимает вид политического и религиозного недоразумения. Над тем, чтобы недоразумение рассеять, усердно трудился покойный Маклаков, усердно, умно, красноречиво, талантливо, но увы! тщетно. Однако в большинстве случаев убеждаешься, что неприязнь к Толстому основана на чем-то, ни политики, ни религии не касающемся, и скорее всего напоминающем знаменитый вопрос леонидо-андреевской проститутки: «как ты смеешь быть хорошим, когда я плохая?» Толстой не был «хорошим» и вовсе не все, от него отталкивающиеся, — люди «плохие». Но Толстой мешал жить-поживать, мешал беспечно наслаждаться или хотя бы только удовлетворяться житейскими благами. Толстой мешал дремать, забыться, считать, что все «образуется», что о смерти не стоит думать, раз все равно мысли эти ни к чему привести не могут. Толстой берет человека за плечи, встряхивает, спрашивает: как вы не видите того, что вижу я, а если видите, то как же вы не ужасаетесь, не сходите с ума?

Нам, людям средним, тягостно соседство Толстого, в противоположность, например, соседству с Тургеневым или даже с Достоевским, который, взвываясь под облака в своих романах, предстает все же в своих дневниках, письмах и повседневной деятельности человеком обычного склада, обычного духовного масштаба, поддававшимся мелочным интересам и склонным к житейской и литературной суете сует. Толстой — единственное в нашей литературе опровержение пушкинской мысли о том, что «пока не требует поэта...» Он ни в чем никогда

не был «ничтожен», вопреки снисходительному утверждению Пушкина, и даже срываясь, падая, он свой срыв признавал, от него страдал и искал выхода. Это-то и отличает его от всех нас, без единого исключения, и это-то и побуждает многих, многих из нас легкомысленно толковать о его лицемерии, даже иногда о его комедианстве: толковать для самоуспокоения, для оправдания нашей житейской беззаботности перед лицом человека, который — как правильно сказал Пастернак, — спокойствия не знал никогда.

Об этом совсем недавно в статье, посвященной книге Труайя, писал Франсуа Мориак, писал верно и пронительно. Однако с высот своего благополучного, просвещенного, просветленного католицизма Мориак тут же сделал открытие поистине поразительное: Толстой, — утверждает он, — великий, величайший из всех когда-либо существовавших романистов, но толстовство — пустая, фальшивая выдумка, толстовство принадлежит прошлому, «самому прошлому среди прошлого и самому мертвому». Что это значит, что на это ответить? Только то, по крайнему моему разумению, что если толстовство окончательно умерло, то, следовательно, при смерти находится и христианство, — и неужели Мориак решился бы это отрицать? Я знаю, конечно, что между толстовством и христианством есть разница, что толстовское опрощение для христианина вовсе не обязательно, что к началам евангельским в толстовстве примешался Руссо с его обостренным чувством природы и недоверием к культуре, — да, да, все это так! Нельзя забывать в особенности того, что Толстой отверг всю христианскую метафизику, все важнейшие догматы и таинства, все, что обеспечило христианству его историческую судьбу и что восходит не столько к Евангелию, сколько к посланиям апостола Павла.

Учение Толстого, — утверждает Труайя, — целиком исчерпывается Нагорной Проповедью: это, замечу, не совсем точно, потому что, например, любимое изречение Толстого — «Царствие Божие — внутри вас» — находится в третьем Евангелии, а не в первом, — однако в целом утверждение Труайя приемлемо, существенного искажения в нем нет. Но эту-то Нагорную Проповедь, основание и краеугольный камень христианства, эту-то

Нагорную Проповедь, в простоте своей все же бесконечно возвышающуюся над всеми гениальными метафизическими мудрствованиями апостола Павла, ее-то Толстой принял полностью, ничего в ней не перетолковывая, не позволяя себе утверждать, что это следует понимать так-то, а другое — иначе! «Христос сказал то, что сказал»: эти слова принадлежат Толстому, и только он один в наш век решился их произнести и принять, не отступая перед выводами, колеблющими все наше устоявшееся жизненное устройство и превращающими в нечто весьма растяжимое понятие о так называемой христианской цивилизации.

Непротивление злу вызывает наиболее ожесточенные возражения и перетолковывается с особым рвением. Невозможно, однако, отрицать, что Толстой его не выдумал, а нашел в Евангелии. Безумно ли это учение или разумно, можно ли на нем построить организованное общество, а тем более государство, вопрос, о котором споры неизбежны, но всякий должен признать, что это учение евангельское. Тут само собой вспоминается Владимир Соловьев и его «Три разговора», где это учение высмеяно. Соловьев был человек очень большого ума, хотя и отягченного не меньшим высокомерием. При чтении «Трех разговоров», однако, то и дело останавливаешься в недоумении: неужели же набожный, религиозно настроенный автор не замечает, что через голову Толстого он грациозно и пренебрежительно спорит с Христом? Впрочем, в книге этой, самим Соловьевым высоко ценимой, и действительно блестящей, на редкость остроумной и находчивой в доводах, наталкиваешься на многое, ничего кроме недоумения вызвать не могущее, — вплоть до предсказания, что шутливая баллада Ал. Толстого о камергере Деларю, забавный пустячок, где именно о непротивлении и говорится, останется живым литературным созданием и тогда, когда «Война и мир» и «Анна Каренина» будут безвозвратно забыты.

Вспоминается Соловьев, вспоминается и Бердяев, который в этой области оказался гораздо дальновиднее, смелее и добросовестнее. Бердяев отдавал себе отчет, к чему непротивление злу может привести, но признавал правоту Толстого по отношению к евангельскому тексту: Толстой, согласно его формулировке, предложил

«рискнуть миром», т.е. исполнить заповедь Христа, каково бы ни оказалось будущее. Это метко и верно, и это совпадает со старинной французской поговоркой «*Fais ce que dois, advienne que pourra*», — поговоркой, которую Толстой постоянно повторял и считал своим жизненным принципом.

Трудно не уклониться далеко в сторону, едва коснешься вопросов такого значения и такой неотвязности. Не могу не отдать должного Труайя и даже не позавидовать ему в том, что он в своем изложении от отступлений воздержался. Но, по-видимому, сердцу и уму Труайя гораздо ближе темы чисто литературные, чем те, которые связаны с религией и моралью. Его короткий, сжатый, превосходный анализ толстовских романов, его чувство и понимание атмосферы, в них разлитой, разбор взаимоотношений героев, характеристика каждого из них — образец такого рода работ, достойный войти в любую антологию. На этих страницах виден художник, знающий свое дело лучше самого ученого «литературоведа» (ставлю кавычки, ибо никак не могу привыкнуть к этому отвратительному слову, — отвратительному не столько по психологическому привкусу <так!>, приемлемому, раз приемлем сделался «правовед», сколько по окраске, по психологическому привкусу и тону, каким оно неизменно произносится). Над другими писаниями Толстого, в том числе и над удивительной «Исповедью», Труайя как будто скучает. Случается ему, будто в рассеянности, обронить даже словечко «нигилизм», свидетельствующее, что, как и у Мориака, интереса у него к ним мало.

Надо, однако, сказать в оправдание Труайя, что духовный облик Толстого почти с той же полнотой отразился в художественных произведениях, как и в писаниях, где он высказывает свои мысли непосредственно, от первого лица. Перелом, о котором столько было толков, произошел действительно, но он не был кризисом неожиданным, внезапным, и достаточно перечисть хотя бы раннюю, чудесную повесть «Три смерти», чтобы это почувствовать. Кризис был почти неизбежен, хотя и не был неизбежно связан с окончательным отказом от художественного творчества, как в предсмертных своих опасениях за судьбу Толстого-художника думал Тургенев.

Отчетливее, чем где бы то ни было, отражен, пожалуй, Толстой в «Анне Карениной», т.е. в образе Левина. Всем известно, что Левин — автопортрет. Удивительно, однако, что за долгие десятилетия, прошедшие с опубликования романа, к Левину, к левинским главам, именно как к дневнику и саморазоблачению Толстого, было все-таки меньше внимания, чем они того заслуживают. Отчасти автопортрет, конечно, и Пьер Безухов. Но Левин в этом смысле несравненно ценнее, да и писалась «Анна Каренина» в годы, когда Толстой с большей настойчивостью пытался в самом себе разобраться, чем в пору гомеровски-безбрежного вдохновения, охватившего его при создании «Войны и мира». Надо вчитаться в главы, посвященные Левину, чтобы понять, например, двоящееся отношение Толстого к политическому либерализму, его упорное отталкивание от всяких общественных выступлений и протестов, с неминуемой при них шумихой, его скептический взгляд на науку и на значение научного прогресса, его сомнения в свойствах русского крестьянства, доходившие иногда до сочувствия сторонникам крепостного права, его страстное желание верить в то, во что верит народ, и тщетное, но неодолимое стремление согласовать веру с разумом. В одной из этих глав Толстой говорит, что у Левина было много недостатков, не было только одного: притворства. Он не мог сказать этого о себе прямо, не скрывшись под вымышленным именем. Но, несомненно, это сказано именно о себе, после углубленной, типично «толстовской» самопроверки. К толкам о лицемерии это необходимая поправка.

Книгу Труайя можно было бы сплошь испещрить на полях дополнительными замечаниями, разного рода соображениями, иногда возражениями, а то и онегинским «вопросительным крючком». Порой автор сам явно колеблется, сам себе противоречит, да и какой живой, умственно отзывчивый человек мог бы без колебаний обойтись, имея дело с Толстым? Повторяю, однако, что Труайя бывает к Толстому и несправедлив, в частности, почти всюду, где мелькает имя Достоевского. Едва ли основательно, например, предположение, что растущая слава Достоевского Толстого раздражала. Толстой будто бы не поехал в Москву на пушкинские торжества преимущественно потому, что опасался соперничества

с автором «Карамазовых». Нет, с этим объяснением согласиться решительно невозможно! Толстой не поехал в Москву потому же, почему не поехал бы туда ораторствовать и пожинать эстрадные лавры Левин: потому что он знал, что за чествованием великого национального поэта скрывается борьба личных самолюбий, литературных школ, политических направлений и что эта борьба гораздо сильнее занимает участников чествования, чем Пушкин и его творчество. Да ведь и о равенстве Толстого и Достоевского, как двух вершин русского романа, речь зашла лишь в нашем столетии, и положила начало этому известная книга Мережковского о «тайновидце плоти и тайновидце духа». Труайя об этой книге упоминает. Любопытно сопоставить его указание, что книга эта была Толстому неприятна, с тем, что рассказывал Лев Шестов, вспоминая свою поездку в Ясную Поляну.

Шестов спросил Толстого:

— Какого вы мнения о книге Мережковского?

— О какой книге Мережковского?

— Как, вы не читали его «Толстого и Достоевского»?

Об этой книге сейчас все говорят.

— Не знаю, не помню... Многое пишут, всего не прочтешь.

Я слышал от Шестова этот рассказ уже здесь, в Париже. В том, что Толстой был искренен, у него не было ни малейших сомнений. «Если и читал, то забыл, — говорил Шестов. — Не все ли было ему равно, что о нем думает Мережковский?»

Еще одно замечание, мимоходом, чуть ли не наудачу из тысячи других, возникающих в сознании при чтении книги, — тут же, впрочем, исчезая под воздействием увлекательности изложения. Касается оно Н.Н. Страхова, которого Труайя характеризует как писателя «завистливого, мелкого и болтливого».

Не могу не возразить, что Страхов был одним из многих проницательных, тонких и своеобразных русских критиков. В силу особых политических условий нашего прошлого у нас составляли себе крупные имена лишь критики с «честным направлением», в духе Чернышевского и Добролюбова. У Страхова «честного направления» не было. Но у него было острое художе-

ственное чутье, и к чести его надо вспомнить, что он первый по-настоящему оценил «Войну и мир», и в хоре умеренных похвал, а то и шестидесятнической брани, признал ее явлением в своем роде единственным.

Пора кончать, а хотелось бы еще сказать о многом, — например, о воспоминаниях Горького, на которые Труайя ссылается. Спору нет, воспоминания яркие и талантливы. Но помню, как Бунин бледнел от ярости, едва в беседе о Толстом кто-нибудь их касался, и будто отшвыривая горьковскую книжку рукой, повторял: «ложь, сплошная, бесстыдная ложь... ни одного правдивого слова!»

Может показаться, что я с Труайя усердно полемизирую. Нет, мои замечания — не столько полемика, сколько отклик на книгу, которая, думаю, никого не может оставить равнодушным. То-то в ней и хорошо, что писал ее не начетчик-«литературовед», а человек, полный личной творческой энергии и увлеченный своим повествованием. Ответное читательское увлечение вызывает мысли, не всегда совпадающие с мыслями автора. Иначе и быть не может. Но закрываешь книгу с сожалением: жаль с ней расстаться.

Литература и жизнь [Тейяр де Шарден]

Десять лет тому назад в Нью-Йорке скончался один из самых замечательных, самых вдохновенных людей нашего времени, мыслитель и ученый Тейяр де Шарден.

Французское радио посвятило Тейяру двухнедельный цикл бесед, в которых творчество его было подвергнуто всестороннему обсуждению. Книги и статьи о Тейяре появились на всех языках, во всех странах, кроме... но надо ли указывать, кроме какой страны? Кроме той, конечно, которая, претендуя на руководящую роль в духовном развитии человечества, замалчивает или пренебрежительно отбрасывает все, что не совпадает с партийной мудростью: кроме России с ее казенной печатью и казенными умственными интересами, в этой печати отраженными. Нет ведь сомнения, что тысячи и тысячи русских читателей с жадностью набросились

бы на книги Тейяра, будь они им доступны, набросились бы, зачитали бы их «до дыр», принялись бы вести о его взглядах бесконечные споры, — да, нет сомнения, что Россия осталась в этом смысле такой же, как была всегда! Но эта вечная, неизменная Россия поневоле молчит и принуждена довольствоваться прописями, которые преподносятся ей свыше в качестве непреложной научной и философской истины.

Тейяр был монахом-иезуитом, был глубоко верующим человеком и в то же время великим ученым. А в России ведь считается окончательно и официально установленным, что наука с религией несовместимы: будто не было Канта и его критики, которая должна бы на веки веков отбить у разума охоту что-либо в этих областях доказывать или опровергать, будто не было и нет в наши дни крупнейших физиков, математиков, медиков, биологов, астрономов, настроенных религиозно. Конечно, — и это, по-моему, следует всегда подчеркивать во избежание упреков в передержке, — конечно, было, есть и будет среди крупнейших ученых немало непоколебимых атеистов. Иначе быть не может. В том-то ведь и дело, что человек духовно свободен: верь, не верь, — ни убедить, не переубедить наука тебя тут ни в чем не может, и ни Паскаль, один из гениальнейших в истории человечества людей, пытавшийся логически доказать существование Бога, ни «божественный Платон», действительно божественный, вполне достойный этого эпитета, по-видимому считавший, что ему удалось в «Федоне» доказать бессмертие души, на самом деле ничего не доказали. Но на пути к доказательствам еще дальше, совсем в хвосте, плетутся советские теоретики «воинствующего безбожия», выдающие заведомый ребяческий вздор за единственную основу подлинно научного мировоззрения.

Тейяр, повторяю, был верующим католиком, вдохнувшим в католичество новую жизнь, новую духовную энергию, что теперь склонны отрицать только крайние церковные консерваторы. Замечательно, что его грандиозная и стройная система привлекает сейчас внимание даже тех, которым он должен бы остаться чужд, — например, внимание марксиста Гароди, притом не только марксиста, а и члена ЦК Французской коммунистиче-

ской партии. Гароди с ним полемизирует, оспаривает его выводы, но признает его значение в развитии современной культуры. Полемизирует с Тейяром и авторитетный биолог Жан Ростан, считающий ошибочными его взгляды на эволюцию. Многие утверждают, что Тейяр, при своей огромной эрудиции, все-таки прежде всего — поэт, мечтатель, предложивший новое, метафизическое толкование бытия, и, пожалуй, это в самом деле так. Тейяр неотразимо обаятелен, искренен, красноречив, но над книгами его даже у самого страстного его поклонника может возникнуть сомнение: а что если это только игра воображения, и ничего о судьбах мироздания мы не знаем и никогда не узнаем? а что если, вопреки Тейяру, материя навсегда останется материей, смерть останется смертью, и его обещание, что все нас окружающее, земля, люди, планеты, далекие миры, все решительно, через миллиарды лет сольется в единый свет, в единой, бесплотной, бессмертной сияющей точке, что если это — иллюзия, «последняя лесть», горше всех ей предшествовавших? Случается, читаешь — и разводишь руками. Но трудно не поддаться силе убеждения Тейяра и мощи его духовного взлета.

В наши дни слава Тейяра де Шардена — слава всемирная. Однако пришла к нему эта слава лишь после его смерти, когда были опубликованы его главные труды. Едва ли будет ошибкой сказать, что внезапное и широкое увлечение Тейяром частично объясняется той духовной атмосферой, которая установилась на Западе в последние десятилетия. Нас слишком настойчиво, а порой и слишком легковерно уверяли, что жизнь абсурдна, иллюстрируя и развивая это положение в бесчисленных романах и трактатах. Идея, собственно говоря, не новая, знакомая еще по Шекспиру. Но бессмысленность бытия, ставшая ходкой темой, разменной литературной монетой, успешно разрабатываемая модными писателями, без внутренней проверки, без побуждения и опыта, эта бессмысленность стала абсурдна сама по себе. И когда один из величайших умов современности, один из знатоков сложнейшего вопроса о зарождении и развитии жизни пришел к вере в финальное торжество духа и к оправданию всего существующего, в ответ ему не могло не возникнуть внимания, признания и любви. Есть не-

сколько устарелое слово «миросозерцание». В применении к Тейяру оно вновь обретает весь свой смысл.

Кстати, о любви. Эпиграфом к книгам Тейяра можно было бы поставить последнюю, знаменитую строчку дантовской поэмы: «Любовь, что движет солнце и другие звезды». Трудно лучше и короче выразить самую их сущность. А в нашей бедной, темной России без устали толкуют вместо этого о проблемах социалистического реализма или о том, что на таком-то «участке» коммунистического строительства «отображать» следует то-то и то-то...

Литература и жизнь **[«Далекое» Б.К. Зайцева]**

Новая книга Бориса Константиновича Зайцева не прошла бы, конечно, незамеченной даже и в обычные времена, и в обычной литературной обстановке. Было бы много откликов, благожелательных или, наоборот, критических. Возникли бы, вероятно, споры. Но живем мы, — надо ли, впрочем, об этом напоминать? — живем мы во времена необычные, и оттого к голосу едва ли не последнего русского писателя, еще связанного с нашим великим и дорогим прошлым, хочется прислушаться с чувством и вниманием не совсем такими, как прежде. Идут за днями дни, и с каждым из них наша связь с прошлым становится все слабее, все призрачнее. Кажется, вот-вот она оборвется, и придется новым поколениям ощупью, с чужих слов, чуть ли не вслепую налаживать, восстанавливать то, что еще недавно держалось само собой. Придется им вольно или невольно принять на себя ответственность за путь, за дух, за направление, за преемственность, за верность... Но скажу еще раз: надо ли все это разъяснять? Кто же не поймет и без комментариев, отчего теперь, в нашем литературном оскудении, именно над книгой Бориса Зайцева возникают такого рода мысли?

Название книги — «Далекое». Собраны в ней воспоминания о литературных современниках и сверстниках автора, о его покойных «собратях по перу», а в конце книги — об Италии. Тон воспоминаний иногда двойт-

ся, и замечательно, что этот разлад, это раздвоение, по-видимому, ощущаются Зайцевым тем острее и болезненнее, чем больше оставил по себе следа тот человек, о котором он рассказывает. Автору «Далекого», вероятно, хотелось бы в книге, задуманной как прощание, окинуть все виденное и пережитое благодарным, любовным взглядом. Не случайно и заключает он книгу словами Апостола «За все благодарите». При воспоминании об Италии это дается ему легко. Зайцев принадлежит к тем северянам, для которых Италия — не то что вторая родина, нет, но страна неодолимо и почти загадочно притягательная, подобие рая на земле. Или, может быть, даже больше: залог того, что рай где-то действительно существует. В нашей литературе, начиная с Гоголя, итальянская тема звучала в такой тональности не раз. Продолжая ее, усиливая благодарное восхищение и как бы сводя воедино то, что было сказано его предшественниками, Зайцев пишет: «Да будет благословенна Италия, страна доброго и ласкового народа, простая и очаровательная. Да будет благословен вечный свет ее, милый говор народа, плеск ее морей, синеющая даль Тосканы, вечный вид на Флоренцию с Сан-Миниато, катакомбы Рима и Аппиева дорога, все обаяние, все чудеса Италии».

В этих строках ничего двоящегося, конечно, нет. В них нет смущения, недоумения, нет страха перед неизвестными, темными силами, которые представляются Зайцеву угрозой стройности, прелести, человечности бытия. С той же признательностью вспоминает он и людей, которые прошли в жизни перед ним, никого и ничего не задевая, никого не рая, никаких общепризнанных истин не ставя под вопрос, — например, К. Мочульского в прекрасном очерке, озаглавленном «Дух голубиный». Действительно, был в этом даровитом, скромном и добрейшем человеке «голубиный дух», и все, кто его помнит, прочтут главу о нем с отрадой. Много таких же чувств в главах, посвященных Бальмонту, Муратову, Вячеславу Иванову, Бенуа, даже в рассказе об одной из встреч с Буниным, писателем и человеком Зайцеву, в сущности, чуждым, но о котором он явно хотел бы удерживать в памяти только хорошее и сближающее. Много интересного о Пастернаке, с выдержками из его частных писем, о Бердяеве с несколько суровой, но, на

мой взгляд, вполне правильной характеристикой его «повелительного и однообразного» стиля.

Тяжелее читать то, что Зайцев пишет о Блоке.

Спорить с автором «Далекого» я не буду: спор был бы слишком долгий. Кое в чем Зайцев полностью прав. Цитаты из блоковских писаний времен «Двенадцати» удивляют и отталкивают своей наивной, плоской запальчивостью. Но можно ли утверждать, что для понимания Блока они имеют «величайшую важность»? Приходит на ум сравнение: одно из самых прекрасных в мировой поэзии стихотворений, пушкинский «Рыцарь бедный», было, к счастью, подчищено цензурой, выбросившей из него игриво-непристойные, вольтероподобные строки, — будто в виде редчайшего исключения руководила тут ею не только официальная придирчивость, а и какая-то таинственная, высшая, воля. К сожалению, теперь «Рыцарь бедный» печатается, — и, конечно, должен печататься, — полностью. Кто же решится, однако, сказать, что для понимания Пушкина выброшенные строки — предмет «величайшей важности»?

Блок — явление трагическое, вероятно, самое чистое, душевно самое честное, какое Россия в последние десятилетия знала. От срывов, и срывов ужасных, застрахован он не был. Но едва ли Блок — только «побежденный», как определяет его Зайцев, едва ли он вместе с тем и не «победитель», если оглянуться на его творчество в целом. Кого же тогда в новой русской литературе и назвать «победителем», если не его? Зайцев признает, — хотя и в другой главе, — что никто никого учить не смеет. Но тут же он пишет, что «сказать, где правда и где неправда, мы можем». Да, можем, да, могли бы... если бы только сами не брели впотьмах, если бы твердо были уверены, что правда — одна для всех и что нам она открыта.

Эти мои сбивчивые, поневоле сжатые замечания ничуть не направлены, конечно, на то, чтобы сколько-нибудь умалить достоинства прекрасной, просветленно-печальной книги Зайцева. Согласие нередко возникает от безразличия: при чтении «Далекого» безразличия нет и быть не может.

«Паруса» Стихи Юрия Терапиано

Все сборники стихов можно бы разделить на два разряда: первый — это как бы альманахи, т.е. собрания разных стихотворений, внутренне ничем между собой не связанных, второй — книги, объединенные темой и стилем.

Бессмысленно было бы заниматься вопросом, какого рода сборники ценнее, лучше, «выше». Поэтов вообще никогда не следует сравнивать, и каждый из них вправе остаться таким, каким был создан. Левкой ничем не лучше и не хуже ромашки, ласточка ничем не лучше и не хуже воробья: это — дважды два четыре, прописи, и не стоит о прописях долго толковать. Однако мы вправе сказать, что такой-то поэт вернее других уловил веяния времени, ближе подошел к их особенностям, к таинственному, неповторимому и неисчерпаемому их содержанию.

Именно это надо бы, по-моему, сказать о последней, маленькой книге Юрия Терапиано «Паруса». В ней всего тридцать стихотворений, или немногим больше. Прочтя их, перечитав их затем раз-другой, задержавшись на той или иной странице, невольно спрашиваешь себя: о чем эти стихи? Ответить нелегко, хотя и нет сомнения, что ответ существует. Но потому-то стихи эти и представляют собой истинную, своеобразную, несколько приглушенную мужественно-сдержанную поэзию, что содержание ее неотделимо от нее самой. Оно везде и нигде, т.е. оно во всем сборнике, если взять его, как нечто целое, но его не найти ни в одной отдельной строчке или строфе. Поэт оглядывается на свою жизнь. Как все его друзья и сверстники, как, в сущности, все мы, он — «дитя страшных лет России», войны, революции, эмиграции, русского скитальческого житья-бытья в Париже, — и, конечно, он чувствует, знает, что, вопреки видимости, было в этих «страшных годах» немало и такого, о чем нельзя вспомнить без благодарности и прощального, почти счастливого волнения.

Да, стихи Терапиано — именно об этом, и замечательно, что в стихи его теперь нет-нет, да и вплетается что-то легкое, можно бы сказать крылатое, чего прежде

у него не было. Улыбка? Пожалуй. Поэт улыбается, восстанавливая в памяти все, что пришлось ему на своем веку видеть, всех, кого довелось ему встретить — и как бы протягивает жизни руку.

Летом душно, летом жарко,
Летом пуст Париж, а я
Осчастливлен как подарком
Продолженьем бытия.

С мертвыми веду беседу,
Говорю о жизни им.
А весной опять уеду
В милый довоенный Крым.

И опять лучи, сияя,
Утром в окна льются к нам,
Море Черное гуляет,
Припадает к берегам.

И как будто время стало
Занавесочкой такой,
Что легко ее устало
Отвести одной рукой.

Эта мечта о Крыме, о Черном море — не тоскливый бред, а видение, которое можно было бы расширить до бесконечности: границ нет, бытие беспредельно. За этой «занавесочкой», — кстати, как она в этом стихотворении неожиданна и прелестна! — открывается то, что в изнуряющей повседневной суете оставалось утаено. А вместе с автором многое в «Парусах» открывается и читателю, и тоже ему хочется с благодарностью протянуть поэту руку, как он протягивает ее всей жизни.

Литература и жизнь [Сто лет со дня рождения Льва Шестова]

Недавно исполнилось сто лет со дня рождения Льва Шестова, замечательного русского мыслителя.

Трудно в нескольких словах передать впечатление, которое производили его книги на людей, начавших жить сознательной жизнью ко времени первой мировой вой-

ны, — в частности, его «Апофеоз беспочвенности». Мы, может быть, не все понимали в шестовских недоумениях, догадках, намеках, блужданиях. Но мы были увлечены бесстрашием его мысли, неизменным его стремлением дойти до самой сущности иных вопросов, — в особенности, если это был вопрос «проклятый», — его отказом от всякой лжи и привычных условностей. У меня нет сейчас под рукой «Апофеоза», а читал я его очень давно. Помню, однако, что эпиграфом к одному из отделов стояло короткое предостережение, взятое автором из немецкого путеводителя по Альпам: «только для тех, кто не страдает головокружением». Головокружение иногда возникало. Но сладостно было в ранней юности бродить по этим высотам, дышать леденящим воздухом близкой, хоть и ускользающей философской истины, улавливать вместе с Шестовым в творениях Платона или Ницше, Ибсена или Толстого то, чего мы не находили в учебниках и благонамеренных школьных руководствах.

В эмиграции я встречался с Шестовым довольно редко. Но с первой же встречи меня поразила его уравновешенность, какая-то умудренность, сквозившая в его облике и плохо вязавшаяся с давними моими, еще полудетскими впечатлениями от его писаний. Ум его, несомненно, остался по-прежнему пытлив. Но работа этого ума как будто ушла вглубь, утратила былой вызывающий и несколько высокомерный характер. Он уже не отстранял тех, кто подвержен головокружениям. Казалось, ему нет до них дела. Он тихо сидел в кресле и думал, думал, думал... в то время как вокруг шла обычная житейская и литературная суета, со всем ее вздором, мелочностью, борьбой самолюбия и прочим. Думал потому, что не думать не мог, как сердце в пушкинском стихотворении не может не любить.

К чему устремлены были его мысли? Существуют, и всегда будут существовать, мыслители, предлагающие объяснение бытия и позволяющие своим последователям избавиться от метафизической тревоги. Сохранился рассказ, — не помню точно, в чьих записках, — об одном русском барине-помещике, которому в сороковых годах, по приезде его в Москву, в полчаса растолковали новую, сводившую тогда наших предков с ума философию Гегеля, — в ответ на что он восторженно воскликнул:

— Так, так... значит, вот оно что! Ну, теперь мне все ясно.

Это, конечно, юмористика, но крайне показательная. В наш век то же самое могло бы случиться с человеком, которому вкратце (и, разумеется, с неизбежными искажениями) растолковали бы Бергсона или последнего по времени «властителя дум», Тейяр де Шардена. Вера слилась бы со знанием, ключ к вечным загадкам казался бы найден.

Недопустимо и нелепо было бы заниматься в области мышления установлением табели о рангах, в особенности по признаку цельности и законченности высказанных суждений. Каждый выражает свое, то, что заложено в его сознании. Но, бесспорно, Шестов был мыслителем совсем иного склада. Он почти маниакально был обращен к разоблачению мнимых достоверностей, он был одушевлен, и до известной степени даже измучен, ощущением трещинок в великих философских системах. Гегеля, например, он высоко чтит. Но не было для него большего удовлетворения, как поймать того же Гегеля на какой-нибудь «неувязке», обнаружить противоречие, угадать за этим противоречием нечто более таинственное, нежели то, что уложилось в стройные и красноречивые размышления. Эта же черта заметна и при обращении Шестова к литературной критике. Он мог бы стать подлинным украшением нашей критики, — этой бедной, скудной области русской литературы, — если бы усерднее и чаще критикой занимался. Но и то, что он в ней оставил, в высшей степени своеобразно и ценно. Напомню, кстати, что Бунин неизменно отзывался о его статье о Чехове «Творчество из ничего», как о самом проницательном, что о Чехове вообще написано. Замечательны и размышления Шестова о Толстом, о Достоевском. Надо только заранее примириться с тем, что величие «Войны и мира» или «Карамазовых» для него подразумевается само собой, что разбором их он заниматься не склонен, а, наоборот, всю страсть своего ума обращает у Толстого, скажем, на «Записки сумасшедшего», этот удивительный автобиографический рассказ, ставящий под сомнение все человеческое творчество, а у Достоевского на «Записки из подполья». Перед художественным гением этих писателей Шестов преклонялся,

но нужны они ему были главным образом как союзники в утверждении, что мир не совсем таков, каким мы его считаем, что истина не совсем там, где мы ее ищем, словом, что все в жизни сложнее, страшнее и загадочнее, чем нам хотелось бы.

Недавно по французскому радио было несколько передач о Бергсоне, в связи с двадцатипятилетием со дня его смерти. Один из участников этих интереснейших собеседований несколько раз с глубоким уважением упомянул о Шестове, охарактеризовав его философию как «трагическую». Да, такой она действительно была, потому что была безысходна. Но никто не вправе обходить ее из-за этого молчанием, и мысль невольно обращается туда, в Россию, где никто о Шестове не вспомнил, где молодежь едва ли знает самое имя его, где в виде умственной пищи ей предлагают сухие, выхолощенные прописи, где культура отождествляется с партийностью.

Настанет когда-нибудь день, и под напором тех сил, которые бродят в новых поколениях, все это рухнет, — но когда? И как тягостен, как долгод будет процесс оздоровления, освобождения от схем, в течение полувека внедрившихся в русские сознания!

Памяти Анны Ахматовой

Известие о смерти Анны Андреевны Ахматовой тяжело и горестно отозвалось в сердцах ее друзей. Друзьями же ее были не только те, кто знал ее лично, но и все, кому дорога русская поэзия. Значит, им нет числа и рассеяны они по всему свету.

В последние десятилетия Ахматова была как бы символом русской поэзии, одним из самых высоких ее олицетворений. Нередко ее называли первым современным русским поэтом, и особенно настойчиво стали говорить об этом после смерти Пастернака. Но нет и никогда не было первого, второго или третьего поэта, — потому что нет мерила, которым можно было бы подобные оценки обосновать. Анна Ахматова была прекрасным поэтом, многие ее стихи незабываемы: это бесспорно, а лучше ли они некоторых других стихов, которые тоже надо бы назвать прекрасными и незабываемыми, вопрос никчем-

ный и даже вздорный. Нельзя забыть, нечем и нечем заменить: это единственное, что об Ахматовой как о поэте вправе мы сказать. И этого достаточно, чтобы облик ее оказался окружен особым сиянием.

У Ахматовой была своя, неповторимая интонация: была в первых ее стихах, удержалась и до последних. Изменились темы, любовные невзгоды и радости мало-помалу уступили место другим мотивам, расширился кругозор. Но неизменно слышался звонкий и вместе с тем патетический голос, и по-прежнему удавалось Ахматовой в двух словах передать то, что у другого поэта вылилось бы в длинное стихотворение. Будто иголки, некоторые ее строчки входили в сознание, ранили его, оставляли болезненный след. Так было полвека тому назад, когда она писала:

Я очень спокойная... только не надо
Со мною о нем говорить.

Осталось это и в недавнем «Реквиеме», например — в четверостишии, озаглавленном «Распятие»:

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

Этим летом, в июне, я с восхищением, — и, не скрою, с волнением, — повторил эти строчки Анне Андреевне в Париже, где она провела три дня. Ахматова улыбнулась и сказала: «Кажется, это в самом деле неплохие стихи». А затем добавила: «Помните, об этом есть и у Тютчева. Но у него иначе».

До этой последней встречи я видел Ахматову больше сорока лет тому назад и не надеялся когда-нибудь встретиться с ней снова. В беседе она вспомнила далекое прошлое, Анненского, Блока, Гумилева, Осипа Мандельштама, о котором сказала, — передаю ее замечание дословно: «после Блока другого такого поэта у нас не было». Она была уже тяжело больна, ходить ей было трудно, но с радостью она приняла предложение проехаться по Парижу, в особенности по тем его кварталам, где когда-то бродила со своим юным другом Модильяни,

не предвидя, что этот никому тогда не ведомый нищий художник станет мировой знаменитостью. Я чувствовал, что жить ей остается недолго, чувствовал, что и в духовном смысле в ней что-то надломлено, но минутами она становилась прежней, очаровательной, веселой, слегка насмешливой Анной Андреевной, какой я знал ее еще до революции.

Теперь Анны Андреевны нет. Теперь для Ахматовой настает вторая, посмертная жизнь: жизнь в сознании читателей, очищенная от всяческих несчастий, мучений и обид, свободная и, наверно, очень долгая. В Париже, глядя в сторону, вполголоса, будто нехотя, Анна Андреевна однажды сказала:

— Судьба ничем не обошла меня. Все, что может испытать человек, все это выпало на мою долю.

Теперь испытания кончены. Но след их остался в ее поэзии, и когда-нибудь Россия, — нельзя в этом сомневаться! — с горечью вспомнит, как была она сурова к одному из больших и чистейших своих поэтов. Кланяясь до земли памяти Ахматовой, благодаря ее за все, что она нам дала, хочется верить, что уже и сегодня тысячи и тысячи людей, — лично ни в чем, конечно, не виновных, — сознают и чувствуют наш общий русский неоплатный долг перед ней.

Литература и жизнь

[«Война и мир» Сергея Бондарчука]

В Париже идет сейчас первая из четырех частей большого советского фильма по «Войне и миру».

Постановка эта заранее внушала доверие. Признаюсь, у меня лично доверие было тем сильнее, что после московского просмотра, с полгода тому назад, некоторые из передовых западных кинопрофессионалов горько сетовали на слишком кропотливое воспроизведение фабулы романа и ставили режиссеру Сергею Бондарчуку в вину недостаток находчивости и смелости в переложении толстовского текста на экран. При чтении этих отзывов вспоминался американский фильм по «Войне и миру», где обращение с толстовским текстом было более чем вольное, и естественно возникала надежда, что

наконец-то мы увидим на полотне князя Андрея или Каратаева такими, какими живут они в нашем воображении. А если бы это было достигнуто, не все ли было бы равно, что особыми экранными эффектами или находками постановка не блещет? Велика ли, в самом деле, подобным эффектам цена, когда речь идет о правдивом восстановлении толстовской эпопеи в живых, наглядных образах?

Разочарование очень глубоко. Нельзя отрицать, что в большой мере вызвано оно тем, как фильм разворачивается и как он сыгран. Но невольно спрашиваешь себя: можно ли вообще переложить «Войну и мир» в театральное или экранное зрелище, не безнадежна ли была бы эта затея даже при иных, первоклассных силах, при иных талантах? У Толстого едва ли не главное в его романе — неуклонное течение времени, неумолимо-безразличный ход его, жизнь, исчезающая в одних его героях, возникающая в других, словом, ощущение стихийности и вечности существования, то, чего ни у какого другого романиста нет. Отдельные эпизоды «Войны и мира» оттого и наполнены единственным в своей жизненной неповторимости содержанием, что происходят они именно на этом фоне. Но передать на экране время и течение времени нельзя. Передаются только разрозненные сцены, лишенные той связи, которая превращает их в нечто таинственно-цельное. «Войны и мира» на экране нет, а есть только более или менее удачные иллюстрации к роману, вроде тех, которыми украшены бывали иные «роскошные» издания.

Но и удачны эти иллюстрации далеко не всегда. Толстому абсолютно чужд какой бы то ни было мелодраматизм, и обойтись без декламаторского пафоса было не только возможно, а и необходимо. Голос, читающий между отдельными картинками строки текста, нестерпим: читайте попроще, — хочется сказать, — без тремоло в интонациях, без демонстративной чувствительности, в которой произносимые вами слова не нуждаются. Князь Андрей внешне хорош, но напыщен и ходулен, будто персонаж из плохой романтической драмы. Пьер, которого играет сам Бондарчук, лучше, но не слишком ли много по сравнению с Андреем отведено ему в этой части фильма места? Да и не только

с Андреем. Полностью пропущен, например, эпизод, который мог бы оказаться одним из самых живописных и выигрышных: приезд Анатоля с отцом к старому князю Болконскому в Лысые Горы для сватовства. Зато обстоятельно изображена ссора Пьера с Долоховым, их дуэль и столкновение Пьера с женой. Трудно перечислить все то, что вызывает недоумение или возражение. Андрей, падая на Аустерлицком поле, судорожно выхватывает из-под мундира образок, данный ему княжной Марьей. Этого не только нет в романе, это резко противоречит мыслям раненого, как их изложил Толстой. «Хорошо бы это было, ежели все было бы так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье... Ничего, ничего нет верно-го, кроме ничтожества того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного».

Кстати, Аустерлиц вообще сжат и скомкан за счет предшествующего ему Шенграбенского дела, для русской армии более удачного. Что это, соображения наивно-патриотические, стремление польстить отечественному самолюбию? Наполеон появляется лишь на две секунды, да и то какой-то одутловатый, угрюмый, тяжелый, не похожий на человека еще молодого, «свежего, веселого», «сияющего счастьем», каким показан он у Толстого. Надо, однако, признать, что в батальных сценах заметно стремление передать их в соответствии с толстовской манерой изображения войны, — манерой сложившейся, как известно, под воздействием Стендаля и его Ватерлоо. Нет единой картины, нет отчетливого плана, все смешано, спутано, видны лишь отдельные, мелкие группы. Но то, что в романе убедительно, то на полотне сливается в довольно утомительную, слишком длительную неразбериху.

Конечно, не все плохо. Капитан Тушин, например, безупречен: подлинно толстовский образ. Наташа не только безупречна; она очаровательна, и если Людмила Савельева, ее играющая, будет так же хороша и в дальнейших частях фильма, многое в этой тягостной постановке может оказаться искуплено.

С каким чувством выходишь из зала? Правду сказать, ни с каким. Кое-что было досадно, другое скорей понравилось. Но «Войны и мира» на экране не было. Глаза утомлены недостаточным отдалением экрана, на

котором мелькают фигуры в два или три метра. Хочется вернуться домой и в тишине, в одиночестве раскрыть ту книгу, которую фильм будто бы воспроизвел, и, перечитывая, еще раз убедиться, как верно определил ее сущность умный, тончайший французский критик Шарль дю Бос:

— Если бы жизнь могла писать, она писала бы именно так.

«Архимандрит»

Название только что вышедшего романа Габриэля Мацнева «Архимандрит» имеет мало общего с его содержанием. Или, точнее: оно относится только к сатирическим, насмешливым страницам книги, которая по существу печальна и внутренне растеряна. Книга лучше названия, в целом глубже, умнее и как-то серьезнее, человечнее тех немногих глав, где дан карикатурный портрет некоего довольно видного духовного лица, на все готового ради достижения архиерейского сана.

Эпитет «странный» расплывчат, и смысл можно в него вложить какой угодно. Думаю, однако, что большинство русских читателей именно им определит впечатление, которое произведет на них этот французский роман. Автор — молодой журналист, парижанин, один из представителей тех общественных и литературно-политических групп, которые во Франции носят трафаретную кличку «левой интеллигенции». На его запальчивые и почти всегда «эгоцентрические» статьи, мелькавшие в печати, нельзя было не обратить внимания, — так же, как и на небольшую его книгу «Вызов», где некоторые из этих статей собраны. Если бы даже Мацнев не написал ничего, кроме пяти страничек о «Смерти полковника», — т.е. о расстреле Бастьена-Тири, человека идейно ему враждебного, — то и тогда не было бы сомнений, что в этом молодом литераторе «что-то» есть.

«Что-то» есть: смесь буйной привязанности к жизни, во всех ее видах и формах, задора, беспечности, неговорчивости, демонстративной веры в себя, да, смесь всего этого с глубокой, неподдельной преданностью православию. Откуда эта преданность, чем она внуше-

на? Почему православию дано предпочтение перед католицизмом, господствующим в стране, где Мацнев вырос, и теперь стремящимся к обновлению? Искать разгадки этого в «Архимандрите» было бы тщетно. Неизвестно, как и когда автор этого романа оказался православием «ранен», по розановскому выражению, и рассказывает он о своей преданности ему с очевидной искренностью.

Нет сомнений, что роман духовно-автобиографичен, это чувствуется на каждой странице, а если я упомянул о растерянности, то имея в виду бессилие его героя примирить непримиримое, совместить несовместимое. Не случайно герой этот, Кирилл Разврачев, кончает самоубийством. «Да и что за жизнь без клобука?» — склонен был бы повторить он в минуту одиночества блоковскую строчку. Но тут же рядом, в повседневной близости — Париж, столичный блеск, столичные соблазны, бесчисленные любовные дела и делишки, неожиданное и горестное любовное разочарование: как, в самом деле, сочетать все это со смутной мечтой о клобуке? «Смерть — всех загадок разрешение»: ответ дает уже не Блок, а Боратынский.

Не знаю, заключена ли в фамилии героя его характеристика, как нередко делали наши писатели в старину. Это возможно и даже вероятно, поскольку роман Мацнева вообще написан в подчеркнуто-старинной манере, с короткими отступлениями в сторону, со схематическим извещением на самой последней странице о дальнейшей участи второстепенных персонажей повествования. Кирилл Разврачев разврату действительно не чужд, вплоть до глухих, не без труда замятых неприятностей с полицией из-за растления малолетней. Любовь для него — понятие чисто физическое, по крайней мере любовь была для него таким понятием до встречи с девушкой, внушившей ему чувство иного, высшего порядка. Но прекрасная Беатриса не в состоянии быть его другом, она не хочет его понять, не хочет отрешиться от условностей и предрассудков, и самоубийство Кирилла может на беглый взгляд показаться драмой, вызванной именно вынужденным отказом от счастья.

В действительности драма сложнее. Конец книги должен бы возбудить сочувственный отклик даже у читателя, которому до Беатрисы ни малейшего дела нет:

как жить, стоит ли жить, что такое жизнь? — это недоумение, и другие, им родственные, старые, как мир, вечные и неустранимые, явно подталкивают Кирилла к смерти с не меньшей силой, чем разочарование в Беатрисе.

Между тем Кирилл — человек глубоко верующий. Отчего же Церковь не спасла его, Церковь, последнее прибежище всех тех, кто в ней обрел утешение и истину? Ведь даже в предсмертном своем разговоре со случайно встреченным приятелем Кирилл заявляет, что нет, по его мнению, ничего более бессмысленного, чем попытки отделить Христа от Церкви и что именно на такой попытке «Руссо и Толстой сломали себе зубы». Церковь, однако, молчит, будто отчаяние Кирилла ее не трогает и ее не касается.

Тут мы подходим к той особенности «Архимандрита», которая может вызвать в иных церковных кругах оттаивание от книги Мацнева и даже негодование. Кирилл Разврачев — верный сын Церкви, он страстно озабочен духовным назначением православия, притом представляя его себе как назначение всемирное, а вовсе не только русское или греческое, но он не закрывает себе глаз на ничтожество иных церковнослужителей. Допустим, в своих нападках и насмешках он может быть чересчур резок. Может быть, — и даже наверно, — карикатура на архимандрита Спиридона издевательски беспощадна. Но хорошо было бы все-таки, если бы те, кто этими насмешками оказался задет и оскорблен, сделали усилие, вчитались, вдумались в сущность книги, и, преодолев личные обиды и огорчения, уловили в ней то, что должно бы их взволновать и обрадовать. Откуда, — спрошу еще раз, — у этого молодого парижанина, казалось бы, захваченного круговоротом политической и журнальной суеты сует, «среди лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы», да еще среди непрерывных, легких любовных приключений и развлечений, откуда у него этот тревожный интерес к судьбам православия, эта твердая уверенность в величии православного дела в мире? Пусть Кирилл, а вместе с ним, вероятно, и Мацнев, кое-что забывает и перетолковывает, пусть он не совсем справедлив к эмиграции, пусть — вопреки его категорическому утверждению — кое-какие «зубы» во рту Руссо и Толстого все-таки уцелели, все это мелочи

по сравнению с его порывом к истине, той истине, которую я только по привычной газетной сдержанности пишу с маленькой, а не с прописной буквы. Все это мелочи по сравнению с тем фактом, что в его представлении даже обладание истиной, — для него непреложной, абсолютной, — не предохраняет человека от сдачи и гибели в столкновении с жизнью.

Два слова в заключение на совсем другую тему. Как жаль, что русская литература, в наши дни столь бедная силами, теряет людей, которые по рождению должны бы принадлежать именно ей. Мацнев — французский писатель, а сколько вместе с ним и других наших соотечественников, даже академиков с крупными именами, которые для русской литературы потеряны. Протестовать бессмысленно, обвинять некого, виновата тут прежде всего наша мачеха-история, и приходится только надеяться, что Россия и ее культура это испытание выдержат, как выдерживают они и другие, много худшие.

Литература и жизнь

[«Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова]

В одиннадцатой книжке журнала «Москва» помещена первая часть романа покойного Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Представлен роман, как событие в советской литературе. О том, что это — лучшее произведение Булгакова, о том, что это вообще — вещь «удивительная», говорит в предисловии Конст. Симонов. Вторит ему в послесловии некий «литературовед» А. Вулис, дающий кропотливый анализ романа с точки зрения критика-формалиста.

Вещь действительно удивительная, спору об этом быть не может. Удивительна она и сама по себе, и как явление, резко расходящееся с общим складом всего, что в пореволюционной России пишется и печатается. Булгаков работал над ней двенадцать лет, в самый разгар сталинских неистовств, не надеясь, конечно, что роман выйдет в свет еще при его жизни. Дописывал, отделял он его, по утверждению Симонова, уже смертельно больной.

Роман начинается с эпизода как будто вполне заурядного. Редактор большого московского журнала Берлиоз, сидя в жаркий летний день на скамейке одного из столичных бульваров со своим приятелем, поэтом Иваном Бездомным, журит его за неудачное исполнение данного ему заказа: написать поэму о Иисусе Христе. Поэма, разумеется, должна быть антирелигиозной. Редактор твердо убежден, что Христа никогда не существовало и разъясняет поэту, что главным агитационным доводом в его поэме должно бы стать утверждение полнейшей мифичности евангельского рассказа. А поэт, «по незнакомству с вопросом», до этого, видите ли, не додумался*.

В беседу вмешивается сосед по скамейке, по видимому иностранец, и с любопытством спрашивает, верят ли Берлиоз с Бездомным в Бога, а узнав, что не верят, небрежно замечает, что однажды ему довелось беседовать на эту тему с Кантом и что тот держался другого мнения. «Взять бы этого Канта, да года на три за это в Соловки!» — восклицает простодушный поэт. Но более образованный редактор смотрит на незнакомца с недоумением, и к недоумению его примешивается испуг, когда тот намекает на его близкую смерть, упоминает о какой-то никому не ведомой Аннушке, «уже разлившей подсолнечное масло», и шепчет:

— Имейте в виду, что Иисус существовал.

Дальше он, как очевидец, со множеством мелких подробностей, рассказывает о допросе Иисуса Христа

* «По незнакомству с вопросом»... У Булгакова это сказано с ясной иронией. Однако взгляд на Христа как на лицо мифическое, никогда не существовавшее, поддерживается в СССР до сих пор. О «мифе» говорит Вулис в послесловии. «Мифическая личность», беспрекословно утверждает Академический словарь русского языка издания 1961 года. Взгляд этот, довольно распространенный еще в начале нашего века, преимущественно под влиянием немецкого историка Дрекса, теперь отвергнут наиболее авторитетными исследователями. Советским мифологам полезно было бы ознакомиться хотя бы с монументальным трудом Шарля Гиньебера «Иисус», окончательно рассеивающим сомнения в историческом существовании Христа. Глава этой книги, посвященная разбору и опровержению «дилетантских», — как выражается автор, — теорий о мифичности евангельского свидетельства, тем более убедительна, что трезвому, ученойшему рационалисту Гиньеберу никто не припишет стремления затушевать историческую истину в уступку требованиям Церкви.

Пилатом. Ничего общего его кошунственный рассказ с евангельским текстом не имеет, но слушатели заворожены, загипнотизированы и как будто сами присутствуют при том, что происходило почти два тысячелетия тому назад. Очнувшись, Берлиоз, в качестве сознательного гражданина, бежит «звякнуть по телефону» в бюро иностранцев: сумасшедшего незнакомца необходимо задержать. Но, не добежав до телефонной будки, он спотыкается, поскользывается на рельсах, попадает под мчащийся трамвай и гибнет. В собравшейся толпе слышатся толки об Аннушке. «Это ее работа! Взяла она в бакалее подсолнечного масла, да литровку и разбила. А он-то, бедный, стало быть, поскользнулся».

Понять, в чем тут дело, сразу нелегко, — в особенности, если не обратить достаточного внимания на эпиграф из гётевского «Фауста». Лишь по мере чтения становится ясно, что в Москву, неизвестно зачем, неизвестно откуда, забрел дьявол, причем не какой-нибудь мелкий бесенок, а великий, всеильный, всезнающий сатана, Дьявол с большой буквы. Это он, князь тьмы, беседовал с Кантом, он был невидимым гостем у Понтия Пилата, он дает свою, особую версию предательства Иуды.

Поэт Бездомный, свидетель первых невероятных происшествий, попадает в больницу для душевнобольных. Но с ума сходит чуть ли не вся Москва, когда по городу распространяются слухи о необычайном представлении в театре «Варьете», где приезжий, рекомендуя себя профессором черной магии, дал соответствующий сеанс. Чудеса сменяются чудесами, никто ничего не понимает, директор театра, находящийся в Москве, внезапно оказывается в Ялте, всеобщая растерянность быстро растет, разум беспомощен, мировой порядок нарушен, а мнимый профессор держится так, будто во всей этой неразберихе он решительно ни при чем. Заболевают даже психиатры, пытающиеся разобраться в происходящем, так как проказник-дьявол не щадит и их. На одной из подобных сцен, в кабинете доктора Кузьмина, первая часть романа и обрывается.

По-видимому, это произведение большое, объемистое. Название его, «Мастер и Маргарита», иначе было бы необъяснимо, так как глубокой романтической любви этих двух персонажей в первой части романа посвя-

щена лишь одна глава. Судя по некоторым указаниям, роль Пилата в повествовании не кончена. Пилат, искренне желавший освободить Христа, не мог этого сделать из-за того, что Иисус по наущению Иуды обвинен в оскорблении величества, т.е. Тиберия. Но Пилат мстит Иуде, убивая его.

Большое ли это произведение в значении общем, отвлеченном? Несомненно, очень талантливое, до крайности своеобразное. Окончательный суд отложим все же до того, как прочтем роман полностью. Безудержная фантазия Булгакова дает себе иногда слишком много воли, не знает меры. Нагромождение происшествий вносит сбивчивость в построении рассказа. Но отдельные страницы, и даже целые главы блестящи, и помимо дьявольщины, замечательны в романе остросатирические картины московских нравов, московского быта.

Воспоминания **[М.А. Алданов]**

Сегодня вечером, через десять лет после смерти Марка Александровича Алданова, мне хотелось бы сказать несколько слов, в которых были бы слиты мои впечатления и воспоминания о нем и как о писателе, и как о человеке. Покойного Марка Александровича я хорошо знал, часто с ним встречался, много и подолгу с ним разговаривал, — особенно в последние годы его жизни, в Ницце, где он после войны обосновался и где я по давней привычке проводил летние месяцы. Мы встречались два раза в неделю, в кафе «Мозар», где к нам почти всегда присоединялся Леонид Леонидович Сабанеев. Прочел я, кажется, все книги Алданова, все его статьи. В памяти моей остался единый, цельный образ, ни на какой другой не похожий, — образ, в котором впечатления читательские неотделимы от впечатлений личных, житейских.

Конечно, можно было бы заняться сегодня и литературной критикой в чистом ее виде, и это, пожалуй, было бы не менее уместно. Можно было бы коснуться, например, редкого композиционного дарования Алданова, т.е. его умения вести длинное, стройное повествование, с пе-

реходом от одного поколения к другому, — умения, которым он выделялся среди всех русских романистов послетолстовской эпохи. Можно было бы упомянуть о «скульптурности» отдельных его персонажей, — именно «скульптурности», как метко выразился один из старых русских критиков, говоря о Гончарове по сравнению с Тургеневым и тургеневской «акварельной портретностью»: необычайно отчетливо вылеплен, например, Семен Исидорович Кременецкий, адвокат из «Ключа» и следующих романов той же серии, тип, который нужен был нашей литературе, будто ждавшей, чтобы наконец в ней мелькнул в новом, русском облиции незабываемый флоберовский аптекарь из «Мадам Бовари», этот, в сущности, вечный образ. Можно было бы сказать и о многом другом. Но прошло десять лет, времени у меня сегодня мало, и я предпочитаю свести в одно целое те обрывки мыслей и впечатлений, которые до встреч с Марком Александровичем и от чтения его книг в памяти моей остались.

В романе «Начало конца» есть страница, представляющая мне одной из самых характерных для Алданова и одной из самых у него замечательных.

Старый французский писатель Вермандуа на ночь, лежа в постели, берет книгу Гёте. Читает, перелистывает, перечитывает, и наконец, отложив книгу, обращается к Гёте с вопросом, — но тут я, конечно, принужден цитировать по памяти:

— Ты, — мысленно говорит Вермандуа, — ты, человек долго живший, так много думавший, чему ты можешь меня научить, без парадоксов, без условного блеска, без красивых слов и звонких фраз, без стихов? В чем твоя настоящая, последняя, не книжная мудрость?

И Вермандуа отвечает за Гёте: «Делать в жизни свое дело и вложить в него хоть самый маленький разумный смысл. Не сражаться с ветряными мельницами, не донкихотствовать, не потакать улице с ее вечно сменяющимися требованиями, хотя и не бороться с ней, — потому что борьба безнадежна. Нет, забыть об улице, не думать о ней. И по мере сил способствовать осуществлению простейших, бесспорных положений добра. Их немного. Беречь их, как сокровище».

Вермандуа снова раскрывает книгу и с удивлением убеждается, что ничего подобного в ней нет. Но он слыш-

ком опытен, — и Алданов был слишком опытен и проныцателен, — чтобы не знать, что важнейшее в книгах большей частью — то, чем внушен текст и что далеко не всегда заключено в нем дословно. А читателю не может не быть ясно, что глава о Вермандуа автобиографична и что, как Вермандуа, Алданов был одержим неосуществимой мечтой: написать наконец одну, как бы окончательную книгу, где было бы сказано все важнейшее, среди того более или менее удачного, более или менее увлекательного, что пишется по инерции и по профессии. Нет у него другой страницы, где он с большей откровенностью себя, как человека, обрисовал, — не знаю, умышленно или нет, — и больше о себе рассказал бы.

Это был редкий человек, в своем роде даже единственный, и слова его о «простейших, бесспорных положениях добра», а заодно и о людях, этими положениями пренебрегающих, совпадают с его духовным обликом. Алданов был человеком, в котором ни разу, — по крайней мере, мне ни разу, — не пришлось ощутить или уловить ничего, что исказило бы представление о человеческой личности и ее достоинстве. Ни разу, за все мои встречи с ним, он не сказал ничего злобного, ничего мелкого или мелочного, никого не высмеял, ничем не похвастался, — ни разу, ни о ком, никогда! Ни разу он не передал ничьего дурного отзыва, как это в нашем быту, — да и не только в нашем, — сплошь и рядом делается, под лицемерным предлогом дружбы. Например:

— Вы, надеюсь, знаете, как я к вам отношусь, как я вас ценю... Так вот я считаю своим долгом передать вам, что говорит о вас Иван Иванович.

Кто таких фраз не слышал, кто не знает подобной «дружбе» цены? Алданов пресекал злословие, не давал ему дальнейшего хода и распространения. Многие утверждали, что если он так благожелателен, внимателен, предусмотрителен, вежлив, то главным образом потому, что сам себя оберегает и по своей болезненной чувствительности ко всякой критике хочет и вокруг себя создать атмосферу невозмутимого благодушия. Но на чем основаны эти догадки? Исключительно на том, что люди судят о других по себе, а Алданов не дал ни малейшего повода счесть эти подозрения верными. Да если бы доля истины в них и была, то выдержать в течение долгих лет,

оставить после долгого общения с ним впечатление совершенного душевного джентльменства, можно было бы только при наличии таких черт в действительности, Алданов не осуждал людей, но с досадой и недоумением посматривал на человеческую комедию, часто неприглядную и во многом оставшуюся ему чуждой.

В связи с этим, а особенно со складом и общим характером его писаний, мне хотелось бы произнести слово, которое в применении к Алданову может удивить: слово «смелость».

В наше время не нужно в литературе и в искусстве никакой, ни малейшей смелости, чтобы примкнуть к лагерю демонстративных новаторов, принципиальных разрушителей и нео-нигилистов. Наоборот, это — линия наименьшего сопротивления. Крайностям обеспечен успех, обеспечено внимание и даже признание, какова бы ни была их идейная, этическая или эстетическая сущность. Нужна смелость, нужна душевная твердость, чтобы выработать в себе безгловое отталкивание от легковесного отрицания от лжебезумия, лжепророчества, лженицшанства и всего прочего в том же роде. Нужна смелость и твердость, чтобы сказать себе, что долгий, кропотливый труд предшествовавших поколений был, может быть, не совсем напрасен, не совсем лишен смысла и содержания, что не всегда бунтарство оправдано и плодотворно, и что во всяком случае стыдно и глупо делать его мелкой разменной монетой, перекладывая его в нарочито бессвязные повестушки или даже, как теперь повелось, в эстрадные песенки с бранью по адресу публики, тут же млеющей от восторга и от сознания своей утонченной культуры...

Но я увлекся, и надо бы немедленно сделать оговорку, надо уверенно, без колебаний признать, что, конечно, бесспорно, для отчаяния, для отрицания, для бунта есть в наш век и глубокие, глубочайшие основания — после всего, чему мы были свидетелями, иногда участниками, а в самых печальных случаях и жертвами. Да еще и до нас, много раньше, как в прорвавшуюся плотину, отчаяние и отрицание хлынули в мир... Но ведь на одного Ницше, — мученика Ницше, истерзанного своими мыслями, — на одного Франца Кафку, даже, скажем, на одного Сартра приходится сейчас тысячи молодых людей,

которые на культе отчаяния и на утверждении мировой бессмыслицы делают бойкую литературную карьеру, в то время как надлежало бы им по существу в лучшем случае сочинять солидные бытовые романы, а в худшем писать о ручейках и женских головках.

Алданову по свойствам его натуры было, пожалуй, легче, нежели другим, противостоять плохо понятным веяниям века. Но в его отказе от соблазна, сулящего практические выгоды, — а в нашем эмигрантском положении и рассеянное любопытство иностранцев, многим представляющееся необычайно лестным, — была и большая твердость. В его трезвых и умных книгах есть чувство ответственности за человека, за жизнь вообще, с которой ведется слишком много опасных и жестоких игр. Если читать эти книги именно так, как Вермандуа на ночь читает Гёте, то убеждаешься, что ничего другого в них и не сказано. Да, мир беден, но разве от ваших мимолетных обольщений и забав станет он богаче? Да, в мире много темного, даже ужасного, но разве от ваших «неприятий» что-нибудь изменится? Над всеми нами, над бытием вообще, во всем его необозримом объеме, царит всевластный, слепой случай. Есть ли что-нибудь «там», — кто знает? Но «здесь», здесь-то наверно, несомненно есть человек, есть жизнь, а в ней и без нашего добровольного сотрудничества достаточно бедствий, боли и горя. Не будем же ее еще ухудшать. Будьте осторожны, не доиграйтесь до того, что и предвидеть невозможно!

Повторяю, я близко знал Марка Александровича, подолгу с ним беседовал. Но в беседе мне трудно было бы сказать ему то, что говорю сейчас и что через десять лет после его смерти стало мне яснее.

У одного из тех глубокомысленных французских остряков восемнадцатого столетия, к которым он чувствовал особенное пристрастие, у Шамфора, есть изречение, блестящее чисто галльской словесной отточенностью:

— En vivant et en voyant les hommes, il faut que le coeur se brise ou se bronze.

Что приблизительно можно перевести так: «У того, кто долго жил и всматривался в людей, сердце должно разбиться или окаменеть».

У огромного большинства из нас, в результате долгого жизненного опыта, по мере того, как идут года, сердца скорей окаменевают, обрастают корой, а разбиваются, пусть и в переносном смысле, в редчайших случаях, у одного на миллионы. Но хочется низко поклониться памяти писателя, длительное общение с которым не только не привело ни к тому, ни к другому, но наоборот заставило сказать себе, что жизнь могла бы оказаться лучше, а человек бескорыстнее, духовно щедрее и духовно свободнее, чем порой думаешь.

«Хранитель древностей»

Имя Юрия Домбровского было мне смутно знакомо. Но очень смутно. Помню, что изредка оно мелькало в статьях советских критиков, помню короткие, отрывочные отзывы о нем, только и всего. Что причиной этого? Дурная моя память, недостаток внимания, или же то, что Домбровский, человек, по-видимому, уже не молодой, во всяком случае не «дебютант», оставался до сих пор в тени? Ответить точно не берусь, однако наиболее правдоподобным представляется мне предположение последнее.

Если это действительно так, то надо надеяться, что в тени Домбровский останется недолго. Это — замечательный писатель, умный, зоркий, душевно-отзывчивый и живой, правдивый, очень много знающий и с большим жизненным опытом. Кто прочтет его книгу «Хранитель древностей», у того не может возникнуть сомнений в его даровитости, притом не только литературной, но и общей, не поддающейся узкому, отдельному определению.

Домбровскому, — или, по крайней мере, тому лицу, от имени которого ведется в «Хранителе древностей» рассказ, — пришлось работать в качестве археолога в Алма-Ате, т.е. городе Верном по прежнему его названию. Было это в середине и конце тридцатых годов, незадолго до войны, в самые темные сталинские времена, — те времена, о которых Ахматова во вступлении к «Реквиему» сказала, что «я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был». В Алма-Ате существует музей. Ученому археологу поручено было

привести музей в порядок, пополняя его различными древностями, то ценными, то сомнительными, добываемыми при раскопках. Работа, казалось бы, спокойная, тихая, и должна бы она прийтись по сердцу такому человеку, как этот археолог, очарованный девственной, могучей природой Казахстана, да, впрочем, и самим городом. Судя по его описаниям, Алма-Ата — действительно город удивительный, с удивительными главнейшими зданиями, построенными в начале века местным архитектором-фантастом Зенковым, ныне незаслуженно забытым. Домбровский обстоятельно рассказывает о Зенкове, рассказывает и о некоем Кастанье, французе, неутомимом исследователе и знатоке тогда еще полудикого края. Он заранее увлечен той деятельностью, которая ему предстоит.

Все было бы превосходно, если бы обосновался он в Алма-Ате и начал там работать в другие годы. Читая «Хранителя древностей», невольно, и чуть ли не в сотый раз, задаешь себе все тот же вопрос: как люди могли вынести этот гнет, этот страх за каждое слово, даже случайно произнесенное, эту маниакальную, эпидемическую подозрительность, эти бесчисленные доносы под лицемерным предлогом «партийной бдительности»? Как могли люди это вынести и неужели вина падает исключительно на того человека, который сидел в Кремле, и трагикомическое изречение которого — «жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее» — в те же годы красовалось под его портретами в государственных учреждениях? Вопрос далеко не ясен, есть в нем что-то ускользающее от анализа, и лично я не думаю, чтобы один, единственный человек мог быть полностью ответственен за все происходившее. Очевидно, единичная и властная злая воля встретила множество соответствующих откликов, много рвения, податливости, готовности, и в этом смысле сталинская эпоха останется предметом долгих, горестных раздумий будущих психологов и социологов, да и вообще мыслителей, занятых судьбами человеческого общества и самого человека. А «Хранитель древностей» — одна из тех книг, которые дадут для подобных раздумий обильный и красноречивый материал.

Наш археолог уцелел. Ничего страшного с ним, по видимому, не случилось, хотя он и бывал под подозре-

нием. Директор музея, человек бравый, военный, в археологии круглый невежда, не раз предупреждал своего молодого сотрудника: будь осторожен, не болтай лишнего, сам знаешь, какие теперь времена! Но хранителю не всегда удавалось сдерживаться. В особенности тогда, когда в расстроенном воображении людей, находившихся под гипнозом «бдительности», самый пустячный пустяк превращался в предлог к аресту, ссылке, а то и казни. Распространился, например, слух, что в Алма-Ату забрел из Индии огромный удав. Видел удава десятилетний мальчик, видел и колхозный бригадир Потапов, будто бы даже стрелявший в чудовище, однако неудачно. Об удаве пишут в местных газетах, и сведениями о невероятном тропическом госте заинтересовались германские ученые. В результате всей этой путаницы Потапов был объявлен диверсантом, шпионом, врагом народа и, конечно, быстро исчез бы с лица земли, если бы удав, наконец пойманный, не оказался просто-напросто большим ужом. Этот нелепый случай — один из многих других. Археолог искренне предан своему делу, но работать ему до крайности трудно. То вмешивается какая-нибудь дура — «массовичка», категорично требующая, чтобы в музее «экспонат воспитывал посетителя» и поэтому срывающая со стен портреты «царских чиновников», хотя бы эти чиновники и были первыми просвещенными исследователями Семиречья. То вмешивается некая Алимова, может быть и не дура, но неистовая партийная карьеристка, при каждом удобном случае ссылающаяся на слова «вождя» и готовая перегрызть горло всякому, кто станет ей поперек дороги. Милейший, добродушнейший Михаил Степанович оказывается чекистом, по долгу службы следящим за каждым словом своего нового знакомого, — и так далее, и так далее.

Словом, «есть с чего с ума сойти», как писал когда-то Герцен. Археолог, молодой «хранитель древностей», с ума не сходит, но молчаливо недоумевает: кому все это нужно, куда мы идем? Мир мог бы быть так хорош, природа так богата и чудесна, в человеке столько потребности в покое, тишине, счастье, — а что люди со своей жизнью делают? Книга кончается восклицанием: «хорошо бы сегодня выбраться в горы!» Да, выбраться в горы, т.е. уйти хотя бы на несколько часов от подозрений, обид,

злости, интриг, мстительности, будто бы необходимых ради возведения какого-то нового общественного строя и им всецело оправданных. Уйти — и очнуться от наваждения, быть самим собой, таким, как ты был создан и каким должен бы остаться.

В ином, менее обостренном виде противопоставление того, чем жизнь быть могла бы и чем она стала, лежит в основе многих книг, даже тех, которые мы причисляем к разряду «великих», «вечных». Набрел ли бы на эту тему Домбровский, доведись ему родиться в другую эпоху и провести молодость при иных обстоятельствах? Он, вероятно, сам этого не знает. Но как бы в награду за трудную и тяжелую жизнь судьба позволила ему полностью сохранить живую душу и дала прозорливую мудрость, не часто встречающуюся у русских людей его поколения и одинаковой с ним участи.

Стихи автора «Колымских рассказов»

Едва ли кто-нибудь из читавших «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, — не так давно помещенные без ведома автора в двух книжках «Нового журнала», — в состоянии их забыть. На мой взгляд, они страшнее и ужаснее, чем прогремевший на весь свет «Один день Ивана Денисовича», и появившись эти короткие наброски не в эмигрантском, а в советском издании, они вызвали бы, вероятно, не меньше шума и толков. Правда, за Солженицыным остается преимущество новизны и открытия: он первый рассказал о том, что многие на Западе отрицали, и что до последних лет, не без насмешливого высокомерия, относили к клеветническим выдумкам. После появления его свидетельства в московской печати говорить о клевете стало невозможно. Однако по существу свидетельство Шаламова, — несомненно, основанное на том, что ему лично пришлось испытать, — хуже, безотраднее, безнадежнее солженицынского. Иван Денисович, при всем своем рабском бесправии и мучениях, был еще живым человеком, — как были еще живыми людьми и его товарищи по несчастью. В Колымских же рассказах бродят какие-то тени, почти мертвецы, когда-то бывшие живыми: они обмениваются отрывоч-

ными замечаниями, ссорятся, бранятся, ненавидят один другого, как будто даже иногда цепляются за жизнь, — но это подлинно «мертвые души», мертвые, убитые непрестанным страхом и все растущим отчаянием. Каторга в этих рассказах не только сделала, но и окончательно доделала свое дело, — чего нет в повести Солженицына.

Маленький сборник стихов Варлама Шаламова, вышедший этой весной в Москве, заранее, еще до чтения, вызывает тревожное любопытство: каковы могут быть, какими могли остаться стихи человека, прошедшего долгие годы на Колыме? Книга не совсем обычно, но, по-моему, хорошо и выразительно названа — «Дорога и судьба». Приложен портрет автора: хмурое, усталое лицо, тяжелый, пристальный взгляд. От имени издательства сообщается, что «поэзия В. Шаламова привлекает глубоко заложенным в ней философским началом, достоверностью наблюдений, взвешенностью слова» и что «круг интересов поэта разнообразен». О его участии, о его сравнительно недавнем прошлом — ни слова. А читатель, само собой, ищет в шаламовском сборнике отражения того, что поэт пережил.

Стихи умные, суховатые. Судя по их общему складу, Шаламов не столько склонен забыть или простить былое, сколько готов махнуть на него рукой. Одно только стихотворение выделяется среди других своим ожесточением, открытым своим стремлением свести счеты с «подлецами, подхалимами и лицемерами» — и, кстати сказать, это далеко не лучшее стихотворение в книге. Поэтическое мастерство Шаламова несравненно убедительнее там, где он вглядывается в природу, — «равнодушную природу», по Пушкину, — где беседует с самим собой или упоминает со сдержанным волнением о возвращении после ссылки в Москву, «велением эпохи сплетенную с моей судьбой».

Его учитель и, по-видимому, любимый его поэт — Баратынский, от которого он перенял стремление по мере возможности сочетать чувство с мыслью. Не в «философском начале» тут, конечно, дело, как несколько простодушно указывается в издательской заметке, а в пренебрежении к легковесному лиризму, к очарованию во что бы то ни стало, какой бы то ни было ценой, по примеру иных последователей Фета. Есть в «Дороге и судь-

бе» стихотворение, так и озаглавленное «Баратынский», текст которого почти анекдотичен, несмотря на серьезность тона: на каторге три узника случайно, в чьем-то заброшенном доме нашли томик Баратынского и тут же разделили его на три части. Первый взял предисловие — «на сигарки». Второй взял послесловие с целью выкроить себе из него колоду игральных карт (о самодельных картах упоминается и в «Колымских рассказах»). Шаламову достались «вдохновенные стихи полузабытого поэта» и он признает это «счастьем».

Чтение поэта, может быть и «полузабытого», но в высшей степени замечательного, навсегда оставило след в сознании заключенного, — если только читал он его тогда впервые. Баратынский научил его конкретности, антизыбкости поэтических приемов, причудливой точности образов. Вот один из образцов этого, выбранный почти наудачу:

СОСНА В БОЛОТЕ

Бог наказал сосну за что-то
И сбросил со скалы.
Она обрушилась в болото
Среди холодной мглы.

Она, живая вполовину,
Едва сдержала вздох,
Ее затыгивала тина,
Сырой багровый мох.

Она не смела распрямиться,
Вцепиться в щели скал,
А ветер, — тот, что был убийцей, —
Ей руку тихо жал.

Еще живую жал ей руку,
Хотел, чтобы она
Благодарила за науку,
Пока была видна.

Сборник стихов Шаламова, — духовно своеобразных и по-своему значительных, не похожих на большинство теперешних стихов, в особенности стихов советских, — стоило и следовало бы разобрать с чисто литературной

точки зрения, не касаясь биографии автора. Стихи вполне заслуживали бы такого разбора, и, вероятно, для самого Шаламова подобное отношение к его творчеству было бы единственно приемлемо. Но, досадно это автору или безразлично, нам здесь трудно отделаться от «колымского» подхода к его поэзии. Невольно задаешь себе вопрос: может быть, хотя бы в главнейшем, сухость и суровость этих стихов есть неизбежное последствие лагерного одиночества, одиноких, ночных раздумий о той «дороге и судьбе», которая порой выпадает на долю человека? Может быть, именно в результате этих раздумий бесследно развеялись в сознании Шаламова иллюзии, столь часто оказывающиеся сущностью и стержнем лирики, может быть, при иной участи Шаламов был бы и поэтом иным? Но догадки остаются догадками, и достоверного ответа на них у нас нет.

Воспоминания С.М. Алянского о Блоке Сергей Городецкий

В шестой, июньской книжке «Нового мира» помещены воспоминания С.М. Алянского об Александре Блоке.

Имя Алянского теперь мало кому известно, но в первые революционные годы его знали все, кто имел какое-либо отношение к литературе. Алянский был основателем маленького издательства «Алконост», дружил с поэтами, покупал и продавал книги. Он же был первым издателем блоковской поэмы «Двенадцать» с иллюстрациями Юрия Анненкова.

Воспоминания интересны, хотя не всегда безупречно точны. В целом, однако, эти записки верны духу эпохи и правдиво передают ее смутный, тревожный, растерянный характер. Не к чему напоминать, что октябрьская революция застала интеллигенцию врасплох. Никто не предвидел ее будущего размаха, почти никто не верил, что большевики удержатся у власти. Блоковская поэма, появившаяся в левоэсеровской газете, ошеломила читателей и оттолкнула от поэта большинство его прежних друзей, в особенности старших.

У Алянского ценно его свидетельство о настроениях Блока после опубликования «Двенадцати». Молодой из-

датель носился с фантастической и несколько запоздалой мыслью: наладить «объединение символистов», — во многом разошедшихся еще до революции, — и при первой же встрече с Блоком принялся многословно и лихорадочно развивать свою идею. Блок с досадой и горечью ответил, что «разрыв произошел не случайно», сослался на свою тягостную переписку с Зинаидой Гippiус и выразил убеждение, что «все это гораздо сложнее и глубже, чем кажется». Однако ни против переговоров с Андреем Белым и Вячеславом Ивановым, ни против сотрудничества в одном с ним издательстве возражать он не стал. Алянский отправился в Москву окрыленный надеждами и иллюзиями.

Белый произвел на него впечатление сумбурное. «Бегаая из угла в угол, с воспаленными, сверкающими глазами», он без умолку говорил о докторе Штейнере, о близких, небывалых катастрофах и о кризисе мировой культуры. Алянский вышел от него «с распухшей головой». Совсем иным оказалось свидание с Вячеславом Ивановым. Узнав, что петербургский гость привез ему привет и маленькую книжку Блока с дружественной надписью автора, Иванов холодно, подозрительно взглянул на него, а заодно, — и не без основания, — заметил, что название издательства следует писать без мягкого знака, т.е. Алконост, а не Альконост. На предложение же издать сборник его новых стихов ответил вопросом:

— Вы что же, приехали окрашивать меня в красный цвет?

Впоследствии отношение Вячеслава Иванова к Алянскому изменилось. Он будто бы даже стал его «другом», и хотя употребление этого слова всегда рискованно и требует обоюдного согласия, в данном случае ничего неправдоподобного в нем нет. Во-первых, Вячеслав Иванов, которого Алянский справедливо характеризует как «одного из самых просвещенных русских людей нашего времени» (и можно бы добавить: одного из самых умных), вероятно, оценил искренность и убедился в некотором простодушии своего молодого собеседника. Во-вторых, его собственная идейно-политическая позиция мало-помалу сделалась если и не «соглашательской», то все же менее резкой, отчетливой и гневной, чем была в первые дни и недели после переворота.

Все это — «дела давно минувших дней». Алянский обстоятельно рассказывает о публичных выступлениях Блока в Петербурге и в Москве, — выступлениях, вынужденных недостатком средств, — последнее из которых, московское, закончилось скандалом. Имажинисты подняли в зале неистовый шум, а один из них громко крикнул, что Блок — мертвец и стихи читает мертвые. Есть об этом скандале рассказ и в воспоминаниях Пастернака, который вместе с Маяковским был глубоко возмущен случившимся. Имени «автора недостойной выходки» Алянский не называет. Если не изменяет мне память, «автором» был Вадим Шершеневич, поэт из есенинского окружения. Ради справедливости следует добавить, что сам Есенин, относившийся к Блоку с неизменным преклонением, был, вероятно, возмущен не меньше Пастернака и Маяковского.

Сведения Алянского о последней болезни Блока отрывочны. Не знаю, умышленно ли он обошел молчанием то, что было бы наиболее значительно и о чем в свое время было столько толков: о предсмертном отречении Блока от «Двенадцати», об ужасе и отчаянии, которые охватывали его при одном упоминании об этой поэме. Может быть, записки помещены с пропусками? Это тем более вероятно, что Конст. Федин называет «Двенадцать» в коротком предисловии «блоковским чудом».

(Два слова, кстати, о предисловии Конст. Фебина. Он пишет, что Алянский «с настоящим психологическим раскрытием создал рассказ об Александре Блоке». Что это за язык, что за стиль! Вправе ли человек, пользующийся литературным авторитетом, стоящий во главе Союза писателей, автор нескольких романов, вправе ли он искажать, калечить живую русскую речь, снижая ее до худших газетных штампов?).

* * *

Скончался Сергей Городецкий, поэт когда-то очень популярный, автор знаменитого стихотворения «Звоны, стоны, перезвоны», положенного на музыку Игорем Стравинским. Было время, когда говорили «Блок и Городецкий», будто это имена приблизительно равно-

ценные. Гумилев привлек Городецкого к двойному, вместе с собой, возглавлению «Цеха поэтов», — не потому чтобы высоко ценил его дарование и в особенности мастерство, а скорей из-за широкой его известности, исключавшей подозрения в какой-либо кружковщине. Все это — тоже «дела минувших дней».

Городецкий был веселым, общительным, не лишенным обаяния человеком, со склонностью ко всему подчеркнуто «русскому», «рассейскому». Он — единственный из петербургских поэтов — радушно и даже восторженно встретил Есенина при его появлении в столице. Блок молчал, присматривался к притворно-скромному, обманчиво-застенчивому пареньку с чем-то неясным, беспокойным в глазах и повадках. Остальные — Сологуб, Гиппиус, Ахматова, Гумилев, Кузмин — отвергли его без колебаний. Маяковский заметил, что когда он впервые услышал голос Есенина, ему показалось, что «заговорило ожившее лампадное масло». Один Городецкий — да еще Клюев — восхищался Есениным, отбрасывая упреки в лицемерии и маскараде. Сказалось ли его чутье? Дало ли себя знать пристрастие к некольцовскому жанру в поэзии? Ответить теперь трудно.

В последние десятилетия имя Сергея Городецкого мелькало в печати крайне редко. Анна Ахматова, в недавнее свое пребывание в Париже, отозвалась о нем пренебрежительно и враждебно. По двум-трем ее фразам мне почудилось, что вражда вызвана поведением Городецкого в годы «культа личности». Но это — страницы из темной советской летописи, их немало, и только наши сыновья или внуки получают возможность беспристрастно в них разобраться.

Облик и дух советской литературы

Историю советской литературы за полвека ее существования можно было бы разделить на три периода. Первый, сравнительно свободный, длившийся всего несколько лет, когда власть была занята гражданской войной, хозяйственной «разрухой», да, вероятно, еще и не решалась ввести в область творчества казарменные порядки. Второй, сталинский, самый темный и безотрад-

ный. Наконец тот, который начался после упразднения так называемого «культа личности», период еще неясный, внутренне противоречивый, но таящий в себе зародыши будущего обновления, может быть освобождения, и заслуживающий с нашей стороны пристального, беспристрастного внимания.

В Москве издавна принято говорить о советской литературе в выражениях восторженных, полных самодовольства и похвалы: «самая передовая», «ведущая» — и так далее. У нас, в эмиграции, наоборот, установлено к ней отношение пренебрежительно-скептическое. Обе оценки требуют оговорок, поправок, разъяснений, одно из которых свелось бы, пожалуй, к тому, что — как утверждал Алданов — «великая русская литература кончилась на “Хаджи-Мурате”, последнем большом произведении Толстого». Несомненно, политический, партийный гнет роль свою сыграл, роль огромную и ужасающую. Но едва ли могут быть сомнения и в том, что при любых условиях, не будь ни революции, ни Сталина, наша литература не в состоянии была бы дать в двадцатом веке чего-либо равного тому, что дала она в прошлом столетии. Не было прежних сил. Россия как будто надорвалась, слишком щедро истратила свое вдохновение, отважившись на необычайный, необычайно-стремительный духовный взлет, и нет в литературе нашего века ни одного имени, которое при сопоставлении с пятью-шестью бессмертными именами прошлого столетия не потускнело бы и не показалось сравнительно мелким. Это надо помнить, и относится это в той же мере к литературе эмигрантской, как и к советской.

Первые годы существования советской литературы были по-своему замечательны, и особенно сильно чувствуешь это теперь, перечитывая книги тогдашней писательской молодежи. Правда, ничего действительно выдающегося написано не было. Но в основании этих уже полузабытых повестей и романов лежал тревожный вопрос: как будем жить, что сохраним из старого, чем заменим то, что придется отбросить? Самый факт революции принят был безоговорочно, именно как факт, не подлежащий пересмотру. Однако молодым писателям, «попутчикам» представлялось естественным и необходимым свободное, личное истолкование этого историче-

ского факта, а власть в те далекие годы, повторяю, еще не додумалась до установления единомыслия во всех видах и формах. Нельзя забывать и того, что, в сущности, начался этот период с «Двенадцати». Как бы к блоковской поэме ни относиться, сколько бы ни было в ней двоящегося и даже тягостного, едва ли кто-нибудь решится отрицать, что она была попыткой облагородить, одухотворить начавшуюся русскую смуту и что отсветы ее удержались во многих сознаниях надолго.

То, что произошло с литературой при владычестве Сталина, достаточно всем известно, чтобы надо было об этом рассказывать и напоминать. Есть, однако, нечто чрезвычайно существенное для характеристики этого двадцатипятилетнего литературного рабства, — чрезвычайно существенное, но большей частью упускаемое из виду. Обыкновенно говорят о цензуре, о ее тиранической придирчивости и жестокости. Цензура свирепствовала и в другие времена, при других режимах, но нигде и никогда ей не удавалось довести литературу до того омертвления, до которого довели ее рьяные сталинские приспешники, эти «юркие ничтожества», как обозвал одного из них Троцкий.

Цензуры, даже строжайшей, при Сталине оказалось недостаточно, и запрещение было заменено внушением. В былые, самые темные времена писатели знали, что того-то или того-то касаться нельзя. При Сталине возникло иное: писатели превратились в исполнителей правительственных заданий. Писать они должны были о том, что в данный момент соответствует видам партии, и в том духе, который партии угоден. Разница огромна, она заключалась в исчезновении всякого подобия самостоятельной мысли и увеличивалась бесстыдно-полицейским рвением всяческих «юрких ничтожеств», т.н. добровольцев-надсмотрщиков, а иногда и простодушными требованиями каких-нибудь водопроводчиков или столяров, которые на очередном съезде жаловались, что вот, мол, о слесарях написано уже четыре романа, а о них, об их «достижениях» нет ни одного. Таланты были, талантов было много, да и как же могло бы случиться, чтобы в России они иссякли? Иногда каким-нибудь чудом проскальзывала книга, что-то обещающая, о чем-то свидетельствующая. Но

общая картина была настолько удручительна, что казалось, литературе угрожает смерть.

В последнее десятилетие, — или немногим больше, — положение изменилось, и с каждым годом изменяется все очевиднее. Нет ни малейших оснований утверждать, что происходит это с благословения партии. Нет, речь скорей должна бы идти о бессильном попустительстве партии, которая, несмотря на окрики, показательные суды и грозные предостережения уже не в состоянии сдерживать движение стихийное, возникшее из глубин целого поколения. Движение дает себя знать всюду, обнаруживается в самом складе многих новейших советских писаний, а если бы попытаться в двух словах определить его сущность, то следовало бы сказать, что в основе его таится стремление вернуть человека из состояния бездушно-статистического в состояние подлинно живое, с живыми страстями, горестями, радостями, надеждами и сомнениями, не укладывающимися в казенные прописи. «Не хотим больше быть безличными социальными единицами и ничем другим, не можем больше выносить всего с этим связанного, рвемся на вольный, свежий воздух!» — иносказательно говорит новая советская литература, заодно с отдельными, редкими старшими писателями, нашедшими в себе силы сохранить и при Сталине свое творческое достоинство. Именно ведь на этом основана поздняя, но исключительная популярность Паустовского.

В поэзии есть два течения, может быть и враждующие, но по существу не столь друг от друга далекие, как порой кажется, и каждое по-своему законное, каждое по-своему необходимое. Одно с особой остротой чувствует глубину и размах происшедшего в России социально-го потрясения, полностью с ним считается и ищет тона и языка, внешне и внутренне нужного сейчас тем миллионам людей, которые непосредственного касательства к былой русской культуре не имели. Другое как бы игнорирует переворот и социальную перетасовку, ищет прямой преемственности и даже стилистически отказывается от признания разрыва связей. Думаю, что имена Евтушенко с одной стороны и Бродского с другой были бы наиболее показательны в качестве представителей того и другого течения.

Что все это сулит? Отчего стоит, отчего даже надо в новую, молодую советскую литературу вчитываться, — если только нам не безразлично будущее России? Пророком быть трудно, но едва ли будет ошибкой сказать, что с этим новым духом советской словесности связаны все наши надежды, — притом, конечно, не эмигрантски-эгоистические, как насмешливо возразили бы нам из Москвы. Литература отражает теперь брожение, происходящее в бесчисленных сознаниях.

Когда новые русские поколения придут по закону природы к управлению страной, на разных постах, больших и малых, они принесут с собой то, что одушевляет их сейчас. Их важнейшее для России дело восторжествует, не может не восторжествовать, и есть все основания верить, что «сие буди, буди», как сказано у Достоевского.

«Необыкновенные москвичи»

Валерий Брюсов утверждал, что ему достаточно взять в руки книгу незнакомого поэта, поддержать ее, взглянуть на обложку, перелистать, наудачу остановиться на двух-трех строчках: после этого он знает, стоит ли книгу читать. Как бы ни был рискован и даже опрометчив подобный критический метод, думаю, что наличие некоторого литературного опыта, пусть и не такого, как у Брюсова, побуждает с его утверждением согласиться, и не только по отношению к сборникам стихов. Перелистываешь, например, советские журналы: читать все подряд слишком тягостно, да если на это и отважиться, то неизменно убеждаешься, что читать было и не к чему. Но вот попадется на глаза одна фраза, какой-нибудь короткий диалог, необычно-меткий эпитет, и сомнения рассеиваются: прочесть надо, время напрасно потрачено не будет. Иногда заинтересовывает название повести или романа. Так заинтересовало или, точнее, заинтриговало, меня заглавие романа «Необыкновенные москвичи», помещенного в двух недавних выпусках журнала «Москва». Автор — Георгий Березко: имя, должен признаться, мне неведомое, и если где-либо и мелькавшее, то, по-видимому, редко.

Первые строки:

«Белозеров знал, что гибнет. И точно так же, как не мог он ничего изменить в своем прошлом, ничего нельзя было изменить в том, что на него надвинулось...»

Ничего особенного в этих строках нет. Но с какой-то брысиковской, инстинктивной уверенностью, что читать «Необыкновенных москвичей» стоит, я отложил журнал и в тот же вечер прочел роман, как говорится, «в один присест», не отрываясь.

Березко, бесспорно, талантливый писатель, с живым умом, с живой душой и сердцем. Вероятно, он еще молод, кое-где это чувствуется. Своих героев он чуть-чуть «лакирует», — пользуюсь ходким советским термином, — в особенности старших, бывших фронтовиков, сохранивших беззаветную преданность долгу и предпочитающих смерть бесчестию. Именно таков Белозеров, человек, занимающий в Москве видное положение, но решающий покончить с собой после обнаружения растраты казенных денег, — растраты, за которую он не колеблясь принимает ответственность, хотя в ней и не повинен. Будь эта темная уголовная история основной фабулой романа, большого внимания «Необыкновенные москвичи», пожалуй, не заслуживали бы. Молодцеватый, бравый Белозеров обрисован, правда, недурно, его злоключения, с трагической развязкой при встрече с подлинными растратчиками-бандитами, не лишены занятности, — однако есть во всем этом уступка литературным условностям и установленному трафарету.

Гораздо значительнее, гораздо содержательнее страницы, посвященные московской молодежи: здесь автор — в своей области, ему близкой и в которой он не наблюдатель, а участник. Белозеров сталкивается с молодежью случайно, в ту самую ночь, когда, оставив на столе прощальные письма и твердо приняв роковое решение, он с револьвером в руке спускается в подвал. Молодежь это совсем зеленая. В центре ее — непризнанный поэт — модернист Глеб Голованов. Живет он впроголодь, одевается крайне неряшливо и у соседей по квартире слывет тунеядцем. Ему грозит суд, высылка из Москвы. Нельзя же, помилуйте, признать полноправным членом трудового советского общества юношу, который ничем, кроме писания стихов не занят и заявляет, что занятие это

есть тоже работа! Если ты поэт, то отчего не состоишь в Союзе писателей? Отчего твоего имени не видно в печати? Особенно неистовствует некто Ногтев, старик, которому, в сущности, до Глеба не должно бы и дела никакого быть. Но он озлоблен на весь свет своими личными житейскими неудачами, молодежь он терпеть не может и твердит, что теперешних безобразий «до 53-го года и быть не могло»! Что такое «до 53-го года» — ясно всякому. Глеб беззащитен.

Но у него есть друзья, сверстники, которые тут же ночью, сойдясь в подвале для пирушки с чтением стихов и со спорами о Маяковском или Шекспире, умоляют неожиданно встреченного «товарища депутата» заступиться за поэта. О намерении Белозерова покончить с собой они, конечно, и не подозревают. Белозеров нервничает, не сразу понимает, чего от него хотят, но поняв, оживляется и решает, что с самоубийством можно и повременить, а до этого надо бы выручить попавшего в беду мальчика. Связи у него еще уцелели, растрата еще не стала общеизвестной.

Суд, однако, назначен. Ногтев своего добился, подговорил мнимых свидетелей и уверен в торжестве. Кто помнит стенограмму процесса Иосифа Бродского, сразу убеждается, что в основных чертах глава о суде над Головановым навеяна именно этим делом. Ногтев в роли общественного обвинителя говорит как будто по шпаргалке. Но у одного из податливых свидетелей пробуждается совесть, друзья Голованова громко протестуют против несправедливости, заставляют поэта прочесть собравшимся стихи, вызывающие общее волнение, и в конце концов клевета и злоба терпят поражение. Глеб свободен.

В короткой статье нет возможности передать богатство, свежесть и убедительность представленной Георгием Березко картины. Нельзя в отдельности и охарактеризовать каждого из приятелей Глеба, их сплоченность, а иногда, как водится, и уклончивость, слабость. Здесь «лакировки» нет, это живые люди, а если названы они «необыкновенными», то, вероятно, лишь в противовес тому стереотипному, выхолощенному представлению о человеке, которое господствовало в течение долгих лет, и главным образом именно «до 53-го года».

Оканчивая чтение, говоришь себе: да, это та же Россия, которую знали и мы, как бы ни изменились порядки и условия существования. Вздорные прописи о «перевоспитании личности», о «новом коммунистическом психическом укладе» разлетаются в прах. «Необыкновенная» молодежь Георгия Березко об этом не упоминает, но каждым своим словом, каждым движением естественно, без усилия сбрасывает наваждение и возвращается к состоянию, которое в будущем, едва ли очень далеко, должно бы стать состоянием общим.

P.S. В предыдущей своей статье о советской литературе я писал о двух течениях поэзии, представленных именами Евтушенко и Бродского. Первое, кажется мне, считается с социальным потрясением, происшедшим в России, и с неизбежным обмельчанием культуры, растекшейся вширь, второе стремится к строгой культурной преемственности, отмечая исторические выводы. Обоснование можно найти обоим течениям.

Но на днях я прочел в одном из последних стихотворений Евтушенко замечательную строчку:

А культура и есть доброта...

Да, верно: «культура и есть доброта». Конечно, настоящая, высокая культура — *не только* доброта, а и многое, многое другое. Но все это другое теряет смысл и даже теряет оправдание, если не ведет к доброте, т.е. к человечности в лучшем смысле слова. Это не сентиментальность, а зоркость, зрелость, единственно допустимое отношение к жизни. И хорошо, что в России, после всего, что суждено было ей испытать, раздаются голоса, о таких простых и вечных истинах напоминающие.

Памяти Аминадо [2]

В заглавии этой короткой статьи я умышленно пишу Аминадо, а не Дон-Аминадо, хотя знаю, что до сих пор его большей частью называют именно так. Пишу потому, что в последние годы жизни Аминадо приставку «Дон» отбросил и не раз говорил, что терпеть ее не мо-

жет и чуть ли не стыдится ее банально-эстрадного оттенка. «Как мог я в юности взять себе такой псевдоним?» — с горечью недоумевал он.

Это было замечательное явление в нашей здешней литературной жизни. Аминадо был исключительно популярен благодаря своему подлинно неистощимому остроумию и почти ежедневным юмористическим фельетонам в «Последних новостях», эмигрантском издании, о котором следует, наконец, сказать, что это была одна из лучших газет за все время существования русской печати. Но утверждая, что Аминадо был замечательным явлением, я не его юмористическую популярность имею в виду, а скорей нечто другое. Помню, когда я впервые прочел его стихи, — одно, затем другое, третье, — то сказал себе: какой талант, какое редкое словесное и ритмическое дарование скрыто, и притом умышленно, нарочито скрыто под этими остротами и каламбурами! Аминадо был на редкость даровитым и искусным стихотворцем, но как будто сам себе ставил препятствия, мешавшие тому, чтобы стихотворец полностью превратился в поэта. Крепость, какая-то органическая ладность, пригожесть его строк и строф не могли не прельщать и даже не удивлять каждого, кто чувствителен к ткани, к тому, что называется «фактурой» стиха. Но иногда возникала и досада, — оттого что дарование свое он растрачивал по пустякам, не давая ему отстояться и как бы проясниться.

Покойный Аминадо был очень проницательным и умным человеком и, конечно, он отдавал себе отчет в двойственности своей литературной позиции. Но понимал он и то, что в самой этой двойственности есть нечто неповторимое, ему одному принадлежащее, т.е. нечто такое, чем выделяется его литературная индивидуальность среди всех других. К восхищению его остроумием он привык, слышал это чуть ли не каждый день, знал, что некоторые его строчки немедленно превращаются в эмигрантские пословицы. Совсем по-иному он оживлялся, когда ему говорили о его стихах, о том, что это стихи настоящие по самой плоти их, по составу их, а вовсе не потому что — как это часто бывает — в рифмованных строчках выражены приятные, условно-поэтические чувства и упоминается о цветах и ангелах.

Оттого я был очень удивлен, когда незадолго до войны Аминадо дал мне прочесть письмо Марины Цветаевой, с которой лично знаком, если не ошибаюсь, он не был. Должен признаться, совпадения в оценках и суждениях бывали у меня с Цветаевой крайне редко. Тут, однако, она писала почти то же самое, что давно уже думал я. По моей просьбе Аминадо дал мне копию цветаяевского письма, довольно длинного. Вот отрывки из него:

«Милый Дон-Аминадо, мне совершенно необходимо Вам сказать, что Вы совершенно замечательный поэт... Да, совершенно замечательный поэт. Я на Вас непрерывно радуюсь и Вам непрерывно рукоплещу, как акробату, который в тысячу первый раз удачно протанцевал на проволоке. Сравнение не обидное. Акробат, это ведь одно из тех редких ремесел, где все не на жизнь, а на смерть, и я сама такой акробат... Но помимо акробатизма, т.е. непрерывной и неизменной удачи, у Вас просто поэтическая сущность, сущность поэта, которой Вы пренебрегли... Ваши некоторые шуточные стихотворения совсем на краю настоящих. Ну, одну строку переменить, раз не подшутить, — но Вы этого не хотите, и ей Богу в этом нехотении, небрежении, в этом растрачивании дара на дрянь (дядей и дам), больше «грандэццы», чем во всех хотениях, тщениях и служениях!».

Цветаева дальше сравнивает Аминадо с чеховскими героями, не объясняя этого сравнения, и, по-моему, не совсем убедительно. Не совсем убедительно и ее замечание о высших и низших ценностях: если полностью отнести юмор к ценностям низшим, пришлось бы многое вычеркнуть из мировой литературы. Но главное в даровании Аминадо, какой-то внутренний разлад этого большого дарования, — разлад, который его облагораживал и возвышал над всяческой бытовой суетой, над повседневной мишенью его насмешек, — это она уловила очень верно.

Не сомневаюсь, покойному Аминадо отрадно было бы знать, что это искреннее и порывистое письмо поэта, которому в новой русской литературе, бесспорно, принадлежит видное место, стало, хоть и с большим опозданием, достоянием гласности. Да, с большим опозданием. Но ведь в девяти случаях из десяти вся-

кое настоящее признание приходит с опозданием. Оно может быть менее шумно, чем популярность и успех, возникающие мгновенно. Но зато оно и более прочно, более долговечно.

Книга А. Бабореко о Бунине

Недавно вышедшая в Москве книга А. Бабореко «И.А. Бунин. Материалы для биографии» составлена чрезвычайно добросовестно и проникнута большой, очевидной любовью к бунинскому творчеству и к Бунину-человеку, каким он в своих писаниях отразился. Андрей Седых в своей статье об этой книге («Новое русское слово») два или три раза употребил эпитет «честный», «честная», — очень верно, очень уместно: книга именно честная, беспристрастная, выгодно выделяющаяся среди большинства советских писаний о Бунине, с неизменными указаниями на то, что он в эмиграции «ослабел», «выдохся» и с другими измышлениями.

Однако, читая эту книгу, лишний раз убеждаешься, какое трудное дело — биография вообще, а в особенности биография писателя, которого еще многие помнят, с которыми постоянно встречались. Все, или почти все, о чем рассказано в книге Бабореко, точно. Некоторые сведения, относящиеся к годам дореволюционным, оставались до сих пор неизвестными и представляют собой вклад в историю русской литературы. Но едва мы переходим к последнему периоду жизни Бунина, как положение резко изменяется, и добавить к рассказу Бабореко можно было бы столько, что все сообщаемое получило бы совсем иную окраску и даже самый облик Бунина предстал бы иным.

Правда, Бабореко подчеркивает, что дает только «материалы» для биографии. Он скромненький, он на полноту не претендует и даже, несколько противореча себе, ставит на титульном листе своей работы две цифры: 1870—1917. Он, по-видимому, рассчитывает преимущественно на то, что собранные им «материалы» окажутся использованы исследователями, которые придут после него. Упрекнуть Бабореко ни в чем нельзя. Но думая об этих будущих исследователях, невольно спрашиваешь себя:

а они-то справятся ли со своей задачей, уловят ли сквозь имена, названия или даты то, что существеннее имен, названий и дат, восстановят ли духовный склад, атмосферу, особенности бунинского существования в последние его годы? И еще спрашиваешь себя: он сам, Бунин, при великой своей нетерпимости и какой-то страстной скрытности, несговорчивости, не пришел ли бы он в ярость от одной мысли, что кто-то комментирует его частные письма, пытается выяснить его отношения с теми или другими людьми, и прочее, и прочее, и прочее?

В ответе я не сомневаюсь: да, Бунин именно пришел бы в ярость. Утверждая это, я, однако, вовсе не хочу намекнуть, что в его жизни было что-то такое, что он хотел бы утаить. Нет, ничего тайного не было, но все было сложнее, противоречивее, двойственное, случайнее, причудливее, — как почти всегда бывает в жизни по сравнению с биографиями, даже самыми обстоятельными. Бунин вознегодовал бы на праздное любопытство людей, не имевших к его существованию никакого отношения, кроме читательского. Книги? Пожалуйста, они в вашем распоряжении. Читайте, критикуйте, восхищайтесь, браните: книги для того и написаны. В книги вложено все, что я, Бунин, хотел сказать и передать людям. Остальное никого не касается.

Вероятно, Бунин пошел бы на компромисс, махнув рукой, зная, что все равно биографы им и его жизнью займутся, все равно будут рыться в архивах, изучать дневники и записные книжки: такова посмертная участь всех крупных писателей. Он и сам в последние свои годы работал над книгой о Чехове, книгой не только критической, но и биографической. Правда, со смерти Чехова прошло больше полвека. Людей, лично его знавших, осталось мало. Была еще жива О.Л. Книппер, и я убежден, что из бунинских любопытнейших, но довольно язвительных рассказов о ней в книгу о Чехове не вошло бы почти ничего. Значит волей-неволей биография оказалась бы не полной, значит это были бы только «материалы», — как и у Бабореко. Нужен очень долгий срок, чтобы при уме, чутье и таланте биографа жизнь писателя, — как, впрочем, и жизнь всякого не совсем заурядного человека, — могла быть восстановлена во всей своей полноте.

В материалах Бабореко много ценного и, как я уже отметил, немало нового. Было для меня ново большое письмо Бунина Льву Толстому, будто бы не отправленное. Читая его и вспоминая, с каким, чуть ли не суеверным, страхом Бунин в старости говорил о своих встречах с Толстым, думаю, что действительно это юношески-многословное и несколько «панибратское» письмо он отправить не решился. Кстати, Бабореко приводит замечание Бунина, что Толстой даже о переписи ухитрялся писать интересно и «самую мелкую черту превращал в незабываемый образ». Добавлю, что однажды он сказал: «Если бы Толстой записал счет от прачки, то поверьте, и это было бы у него необыкновенно». Крайне интересно все, что Бабореко по неизвестным до сих пор данным сообщает о Варваре Владимировне Пашенко, первой большой любви Бунина. Девушку эту многие отождествляли с Ликой из «Жизни Арсеньева», что Бунина раздражало, как раздражали его вообще всякие намеки на автобиографичность его романа. Нет сомнения, что многое в «Жизни Арсеньева» соответствует фактам бунинского существования, нет сомнения, что в Лике есть действительно кое-что от Пашенко, — но нелепо думать, что это — портрет. Подлинный художник никогда фотографического сходства не ищет и им не дорожит, и даже если давняя любовь к Пашенко навела Бунина на мысль о создании образа Лики, то, конечно, в создании этом роль творческого воображения была не меньше, чем роль памяти. То же следует сказать и о «Жизни Арсеньева» в целом.

Наибольшее впечатление из всех собранных в книге Бабореко материалов, бесспорно, производит письмо Веры Николаевны Буниной, написанное Андрею Седых через несколько дней после смерти мужа: подробный рассказ о его последних часах, кончине и похоронах. Письмо это в свое время было опубликовано в «Новом русском слове», но все, что появляется в газете, обречено на существование эфемерное и быстро забывается. А советские читатели ознакомятся с ним впервые, и можно быть уверенным, что при теперешней популярности Бунина в России многие из них, перелистывая книгу Бабореко, помянут добрым словом и ту, которая писала эти горестные, искренние и непринуж-

денные строки, адресуя их близкому другу, а вместе с ним, сама о том не думая, и друзьям русской литературы вообще.

За и против Маяковского

Мне довольно часто приходилось писать о Маяковском, — и еще в России, в первые революционные годы, и здесь, в эмиграции. Но никогда я не предполагал, что возникнет у меня желание выступить в роли его защитника и даже апологета. Правда, брани по адресу Маяковского за все это время слышал я немало, в частности от Бунина. Но Бунин неизменно отделялся восклицаниями, побуждавшими к таким же восклицаниям в ответ, и спор с ним, — даже если к спору были основания, — большей частью этим и ограничивался. Ходасевич бывал убедительнее, последовательнее, и в некоторых своих резко отрицательных отзывах о Маяковском был, на мой взгляд, прав. Думаю, однако, что если бы он прочел недавно вышедшую небольшую книгу проф. Сергея Космана, озаглавленную «Маяковский. Миф и действительность», то, вероятно, и ему захотелось бы сказать несколько слов в защиту поэта, как бы чужд он ему ни был.

Книге предпослан эпиграф: «И жил он, по-моему, неплохо, и умер, как дурак». Это строки самого Маяковского, иронически отнесенные, может быть, к самому себе. Не все то, однако, что случается человеку о самом себе сказать, вправе с одобрением повторять другие. Оканчивается же исследование словами, подводящими суждениям автора итог:

«На книжной полке русской литературы Маяковскому приготовлено место там, в дальнем углу, между стишками Саши Черного и бездарнейшими романами Чернышевского».

О Маяковском-человеке С. Косман говорит обстоятельнее и охотнее, чем о его творчестве. Приводит он и бесчисленные свидетельства, обрисовывающие человека крайне неприглядно. В характеристике, даваемой Косманом, есть доля истины, смешно было бы это отрицать, и все с Маяковским встречавшиеся знают, как тягостно бывало общение с ним, в особенности мимолет-

ное, при отсутствии дружбы. Но вот что по поводу подбора свидетельств и отзывов необходимо сказать: можно было бы привести не меньшее количество противоположных свидетельств, опровергающих первые и дающих совсем иной портрет человека. Порочен самый метод, так как в подборе подразумевается и отбор. Несколько лет тому назад вышла в Париже, например, французская книжка о Льве Толстом, написанная русским автором. Ничего вымышленного, лживого в ней не было, фактически все было верно, но книжка была лжива по умолчанию, по отказу считаться с другими источниками. Недостаток беспристрастия и вдумчивости привел к искажению духовного облика Толстого. Маяковский, конечно, Толстому не чета, искажение, допущенное Косманом, не столь чудовищно. Но если бы он сослался хотя бы только на недавно появившуюся «Траву забвения» Вал. Катаева, подлинного художника и во всяком случае человека более проникательного, нежели многие из привлеченных им к суду над Маяковским свидетелей обвинения, в его обманчиво-исчерпывающем психологическом построении обнаружили бы большие трещины. Поза, литературная игра и стратегия, все то, к чему Маяковский был склонен, — одно, сущность человека — нечто другое. Обнаружилось бы, что и Пушкина он знал и читал, и Блока любил настолько, что без колебаний ставил выше себя.

Характеристика и оценка творчества Маяковского — дело не легкое, прежде всего потому, что творчество это внутренне противоречиво и что дословное его содержание находится в непримиримом разладе с ритмом, с напевом стиха, с мощным дыханием, которым напев внушен и который нередко заставляет его взвиваться далеко ввысь. По мнению Космана, «вся скандальная, дутая слава Маяковского рано или поздно должна лопнуть, как мыльный пузырь». Нет, прошло со времени его смерти почти сорок лет, и скорей происходит обратное: при всей своей крикливости, демагогичности, хвастливости и прочем, прочем, прочем, бесспорно отрицательном и даже несносном, Маяковский вырастает как явление, в котором наперекор этим внешним чертам все яснее видны черты трагические. Косман совершенно правильно, — отдадим ему справедливость, — указывает на связь

Маяковского с творчеством Некрасова, творчеством, в котором по знаменитому приговору поэзия будто бы «и не ночевала». У Некрасова тот же разлад сравнительно скудного, прозаически-непритязательного текста с трагическим складом стиха. «Страстный к страданию человек», сказал о нем Достоевский, и хорошо сказал: стихи Некрасова по внутренней природе своей — почти молитвы, нечто вроде «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя», не в пример гладеньким, дословно религиозным и мистическим стихам Владимира Соловьева, ничего в Некрасове не уловившего и высокомерно, как на лже-поэта, на него обрушившегося. «Расчетливый обман, шумящий балаган», по Соловьеву. Рассчитать, подделывать можно смысл стихотворной фразы, словесный состав стихов, но не музыку, которой стихи проникнуты.

Маяковский, к великому и даже вечному сожалению друзей русской поэзии, сам свое творчество снизил, умышленно наполнив его довольно плоским логическим содержанием. В этом он, конечно, не к своей выгоде отличается от Некрасова, искренне и, как сам писал, «смирненно преклонившим колени» перед авторитетом Белинского и его последышей-шестидесятников. Маяковский пытался соединить свое раннее, просто-душное бунтарство с «преклонением» перед партийными директивами, и умер, по-видимому, поняв, что одно с другим несовместимо. Чуть ли не каждый день о невозможности такого сочетания ему напоминали враги и завистники, те пролазы-критики, которых Троцкий обозвал «юркими ничтожествами». Травля мгновенно сменилась славословиями после смерти поэта, когда Сталин неожиданно провозгласил его «лучшим и талантливейшим».

Все это достаточно известно, все это мешает создать себе о Маяковском единое, цельное представление. Советские безудержные панегирики так же мало убедительны, как и обвинительный акт, составленный проф. Косманом. Кстати, должен признаться, я не знал слов Марины Цветаевой, приведенных в его книге: «Двенадцать лет подряд человек-Маяковский убивал в себе поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил». Это верно, это приблизительно то же, что писал и говорил Пастернак. Но оба они знали, что поэтом Маяковский был, поэтом родил-

ся, и оттого-то и были удручены его отношением к своему редкостному дарованию.

Книгу Космана хотелось бы сплошь испещрить замечаниями на полях: и по поводу «неталантливости» Маяковского в придумывании неологизмов, и в связи с его отношением к Ахматовой, которая, — могу это засвидетельствовать по сравнительно недавним, парижским беседам с ней, — была о Маяковском приблизительно того же мнения, что Цветаева и Пастернак, и в связи с Есениным. Проф. Косман упрекает Маяковского в том, что он над Есениным «глумился». Действительно, иногда глумился, и жаль, что Косман не привел одного замечания его, блестяще остроумного и меткого: когда он впервые услышал голос Есенина, ему показалось, что «заговорило ожившее лампадное масло». Но глумились оба, поочередно: такое было время, такая была среда. Помню частушку Есенина, не вошедшую, вероятно, ни в одно собрание его сочинений. На какой-то пирушке, в годы нэпа, он сидел на полу, захмелевший, растрепанный, с гармошкой в руках, и тут же что-то сочинял, напевал и внезапно выкрикнул прямо в лицо Маяковскому, не обращавшему на него ни малейшего внимания:

Эх, сыпь, эх, жарь,
Маяковский — бездарь,
Рожь краской питана,
Обокрал Уитмена.

Частушки частушками, ссоры и соперничество во влиянии на молодежь — тоже в порядке вещей. Но трудно было предполагать, что «бездарью» будет объявлен Маяковский и в годы, когда, казалось бы, пора пересмотреть былые увлечения и заблуждения, былые пристрастия и ошибки.

«Раковый корпус» Повесть А. Солженицына

Это — замечательная, необыкновенная книга. В одной из парижских газет не так давно промелькнуло сообщение, что в Москве повесть Солженицына при-

равнивают к произведениям Толстого и Достоевского, и замечка эта, вероятно, у многих вызвала скептическую улыбку. Многие, вероятно, сказали себе: нет, Толстые и Достоевские рождаются раз в сто лет, и не к чему попусту тревожить их тени. Однако эти великие имена действительно вспоминаются при чтении «Ракового корпуса», и во всяком случае повесть Солженицына — одна из редчайших, может быть, даже единственная из написанных в нашу эпоху книг, которая Толстого и Достоевского как бы продолжает и в некоторых главах поднимается к их духовному уровню. С узколитературной, формальной точки зрения в ней можно бы, пожалуй, кое к чему придраться: построение несколько сбивчиво, автор иногда разменивается на мелочи и удовлетворяется реалистическими картинками, едва ли чем-либо обогащающими его замысел. Огромную эту повесть — Солженицын назвал «Раковый корпус» именно повестью, а не романом, — огромную эту повесть можно было бы сократить, и ущерба от этого для нее не было бы. При чтении подобные мысли приходят не раз, особенно в начале. Но мало-помалу книга захватывает, подчиняет себе читателя, к концу чтения она властно, всецело овладевает его вниманием, и тогда-то и отдаешь себе отчет, что такая повесть должна была быть написана, притом именно в наше время, перед лицом всего нового, неслыханного, ужасающего, чему привелось нам быть свидетелями.

Именно в этом ее значение, которое заранее хотелось бы определить как непреходящее. Нечего вспомнить в параллель ей: все кажется бледноватым, поверхностным. А «Доктор Живаго»? — спросят, может быть, некоторые. Нет, повесть Солженицына гораздо глубже, сильнее, и в основном своем устремлении, даже при сбивчивости действия, гораздо отчетливее пастернаковского романа, прошумевшего на весь свет. Хотелось бы пожелать «Раковому корпусу» такого же всесветного успеха, но при тех настроениях, которые все шире распространяются теперь в западной литературной критике, надежды, что пожелание исполнится, мало. А между тем, закрывая солженицынскую книгу, само собой говоришь себе: как суетны, как пусты и даже ничтожны в сравнении с ней все теперешние споры о новом и старом романе, об одряхлении или о метаморфозах реализма, о раз-

новидности «структур» творчества или о самодовлеющей сущности слова. Есть человек, есть мир, в котором человек обречен жить: вечная, вечно обновляющаяся, неисчерпаемая тема, «все прочее — литература», в дурном, верленовском смысле. Если мы об этом забываем, то потому, что волей-неволей, «среди лицемерных наших дел», поддаемся воздействию всяческой суеты сует и уступаем ей. По счастью, иногда появляются книги, заставляющие очнуться.

Первые страницы «Ракового корпуса» могут навести на мысль, что вся повесть — не что иное, как длинная современная вариация на тему «Смерти Ивана Ильича». Крупный советский чиновник, человек солидный, всем довольный, во всех отношениях благополучный, заболевает раком, попадает в больницу — и впервые в жизни сталкивается с чем-то для него непостижимым: с возможностью и даже вероятной близостью конца. Однако этот Русанов, подлец и пошляк, — вовсе не главный герой книги: герой скорее — некто Костоглотов, ссыльный, притом «навечно ссыльный», проведенный перед этим несколько лет в тюрьме, а теперь оказавшийся соседом Русанова по койке. В раковой палате много и других больных, у каждого из которых своя судьба, свои опасения, свои надежды. Тема «Смерти Ивана Ильича» то доминирует в повествовании, то заслоняется другой, по существу, может быть, и менее важной, но в наше время еще более неотвязно волнующей умы: вопросом о том, за что, как, почему, по чьему попустительству бесчисленные русские люди пережили все, что выпало на их долю в пору недавнего сталинского владычества.

Идейное содержание повести тесно переплетено с содержанием бытовым. По некоторым обмолвкам врачей или сиделок можно догадаться о том же, о чем рассказывают, рассуждают и спорят больные, — и хотя иногда, скажу еще раз, повесть перегружена больничными бытовыми зарисовками, в ней то и дело мелькают эпизоды, которые надолго врезаются в память. Например, разговор о толстовском рассказе «Чем люди живы», дающий возможность Русанову полностью выказать свое умственное и моральное убожество, впрочем очевидное без того. Или визит его дочери, весьма бойкой девицы, начинающей писательницы, успокаивающей отца, что

отвечать за прежние доносы ему ни в коем случае не придется, и возмущающейся «мерзким, длинным словом «ре-а-би-ли-тирован». Что это значит, реабилитирован? Зачем пускают в Москву этих преступников? Пусть бы и сидели там, куда их сослали: раз сослали, то за дело. А Русанов со страхом, чуть ли не шепотом, просит дочь объяснить ему странное новое выражение «культ личности»: неужели это ...это о нем, о том... нет, он даже не в силах произнести имя человека, которого привык чтить, как бога. «Кощунство», только и может он сказать, хотя дочь и поучает его, что «каждому новому периоду надо быть созвучным».

Костоглотов по первому впечатлению грубоват. Русанова он раздражает своей безотчетно-враждебной фамильярностью, отсутствием почтительности к человеку, который при других обстоятельствах и разговаривать с ним не стал бы. Но Костоглотов умнее Русанова и душевно сложнее, противоречивее. Он еще сравнительно молод. Ему страстно хочется жить, хочется счастья и женской любви. Воображение его волнуют две женщины: веселая, простодушная «медсестра» Зоя и врач Вера Гангарт. Глава о Вере Гангарт, о «Веге», как звал ее жених, убитый на войне, и как мысленно зовет ее Костоглотов — одна из лучших в повести. Вера дала себе слово остаться верной памяти жениха, но жизнь и природа берут свое, и смутное влечение к Костоглотову она побороть не в силах, хотя и знает, что тот безнадежно болен. На этих страницах у Солженицына неожиданно пробивается лиризм, хотя пробивается скупое, сдержанное, так же, как и в душе Веры-Веги, не то чтобы вполне несчастной, но неудачливой, растерянной, не знающей, что с собой делать.

Есть в «Раковом корпусе» диалог, длинный, страстно-взволнованный разговор между ссыльным Костоглотовым и стариком, которому не сегодня-завтра предстоит операция, вероятно последняя и, в сущности, уже бесполезная. Этот Шулубин — человек ученый, бывший профессор или лектор в высших учебных заведениях. В палате, среди других больных, он больше молчал, а с Костоглотовым встретился в саду и разговорился с ним случайно, узнав, что тот ссыльный, и обратив внимание на некоторые его замечания в больничных спорах.

Разговор этот находится в одной из заключительных глав повести, но по содержанию своему он централен и бросает на солженицынский замысел яркий свет. В начале своей статьи я назвал имя Достоевского. По своим писательским приемам Солженицын ближе к Толстому, но этот диалог напоминает «Бесы» или «Карамазовых», в особенности «Карамазовых». Это именно карамазовский диалог, перенесенный в нашу эпоху, и без преувеличения можно сказать, что он достоин такого сопоставления, что Иван с Алешей могли бы в наше время поговорить именно так, именно об этом. И даже не только могли, а должны были бы, с той же горечью, которой проникнуто каждое слово Солженицына.

Шулубин ни в тюрьме, ни в ссылке не был. Он уцелел, потому что малодушничал и приспособлялся. Но теперь, накануне смерти, он завидует участи Костоглотов: тому все-таки было легче. Он с содроганием вспоминает, как голосовал за арест и расстрел своих товарищей по работе, как с кафедры утверждал, что теории Эйнштейна — контрреволюционное мракобесие, вспоминает и многое другое, не менее постыдное. Костоглотов удивляется его признанию. Шулубин отвечает: «А что же, мукой своей и предательством я не заслужил хоть немножечко мысли?» Но ведь были люди, которые верили в то, что им внушали, — говорит Костоглотов.

Шулубин: «А сколько это — верили? Сколько это — не понимали? Да кем же это нужно быть, чтобы верить! То все профессора, все инженеры стали вредителями, — а он верит? То лучшие комдивы гражданской войны — немецко-японские шпионы, — а он верит? То вся ленинская гвардия — лютые перерожденцы, — а он верит? То все его друзья и знакомые — враги народа, а он верит? То целые народы от стариков до младенцев подрезываются под корень, — а он верит? Так сам-то он кто, простите, — дурак? Да неужели же весь народ из дураков состоит? Нет, народ умен, да жить хочет... Так вот такая жизнь, думаете, легче вашей, да?»

Шулубин опасается, что собеседник неверно поймет его. Он не против социализма, наоборот, он сам в юности был революционным энтузиастом. Но, по его убеждению, нужен социализм «нравственный», т.е. такой, который был бы согласован с требованиями совести. Ни

один государственный строй счастья человечеству все равно не даст: надо, значит, стремиться не к всемирному счастью, а скромнее — к «взаимному расположению людей», и это — лучшее, высшее, что человечеству доступно.

В речах Шулубина попадает несколько слов, на которые неудержимо хотелось бы ответить: ответить, написать туда, в Россию, и не лично Солженицыну, а его читателям, если в конце концов удивительная его книга окажется им доступна. В какой мере автор разделяет суждения своего героя, ведь неизвестно. Однако герой этот, Шулубин, с тоской и упреком вспоминает, что Крупская, «Надежда Константиновна», молчала, зная о неистовствах Сталина, молчал и Орджоникидзе, будто бы «орел». Если Крупская возвысила бы голос, она, конечно, заплатила бы за это жизнью, но какое благотворное действие произвело бы ее выступление!

Да, может быть. Допускаю, вполне возможно, что Крупская лично была доброй, отзывчивой женщиной. Однако имя ее неразрывно связано с той же бесчеловечностью, которая охватила Россию еще до сталинского владычества и которая теперь, лицемерно или искренне, окрашивается в приторно-розовые тона. Рано или поздно Россия должна будет это понять и вспомнить, а если не поймет и не вспомнит никогда, то что же, на мечтах о духовном возрождении нашей страны и нашего народа придется, значит, поставить крест. Шулубин, по видимому, не очень далек от подобных мыслей, и не случайно он, умирая, говорит, что умрет не полностью, что какой-то маленький «осколочек» Мирового Духа в нем бессмертен. Какой же «осколочек», какой же Мировой Дух, если без колебаний принять и даже благословить тот страшный взрыв мести и ненависти, те бесчисленные страдания, в которые революция обошлась? На это Шулубину, — или Солженицыну, — мог бы кое-что сказать Карамзин, а вслед за ним Герцен, которые после французской революции, совершившейся, казалось бы, во имя начал, бесспорно, благих и справедливых, были оба этим таким вопросом озадачены — и не нашли ему разрешения.

Но статья моя разрослась. Скажу в заключение только одно: прочтите «Раковый корпус».

Памяти Тургенева К 150-летию со дня его рождения

Тургенева в наши дни мало читают, редко вспоминают. О нем больше нет споров. Он — «классик», это признано всеми, но он заслонен двумя своими современниками, Толстым и Достоевским, страстные споры о которых возникли еще в начале нашего столетия и длятся до сих пор. Тургенев в общем представлении — наше прошлое: прекрасное, достойное благодарности, уважения и любви, но все-таки прошлое. В судорожной и трудной нашей современности участия он не принимает.

Если это и так, то отчасти виноваты в этом мы сами. Наследие Тургенева устарело лишь частично и заслуживало бы того, чтобы по-новому в него вдуматься, по-другому оценить его. Пожалуй, именно в наш век это становится яснее, чем прежде.

Устарели преимущественно тургеневские романы, — не повести или рассказы, а именно романы: не потому чтобы они были в художественном отношении слабее, вовсе нет, а из-за господствующего в них стремления отразить новейшие идейные и общественные настроения передовой русской интеллигенции. Рудин, например, обрисован очень искусно, с когда-то удивившим Андре Моруа умением показать человека «под разными углами», как бывает доступно это фотографу, но недоступно живописцу. Еще искусней, пожалуй, очерчен Базаров, умный и вместе с тем наивный шестидесятник Базаров, допускающий, в качестве убежденного материалиста, лишь здоровое, чисто физическое влечение к женщине и смущенный тем, что в Одинцову он влюбился иначе, по-настоящему, не как шестидесятник, а как живой человек. Это — страницы замечательные. Однако выпренинная болтовня Рудина, характерная для людей сороковых годов, или бесконечные словопрения пришедших им на смену нигилистов, в частности споры молодого Кирсанова с дядей, благовоспитанным эстетом и англоманом, утратили всякое значение, всякий интерес. Ответы, возражения представителям обоих поколений давно найдены, заблуждения давно и бесповоротно рассеяны. В романах Тургенева до сих пор свежи и живы лишь те их части, где он забывает о взятой им

на себя задаче запечатлеть последние общественные веяния и дает волю своему художественному инстинкту: такова, например, смерть Базарова или в «Накануне», романе в целом много более слабom, чем «Отцы и дети», чудесные венецианские главы, с коротким, но незабываемым описанием города и с эпизодом в театре, когда Елена с умирающим Инсаровым слушают новую, впервые поставленную оперу «Травиата».

Особое место в творчестве Тургенева должна бы занять «Новь».

Как всем известно, роман этот не имел успеха и мнение о нем, как о произведении неудачном, удержалось до сих пор. Тургенев будто бы к старости ослабел, утратил бывшее мастерство и поэтическое чутье. Так ли это? Вражда и даже насмешки, которыми встречена была «Новь» в семидесятых годах, по-своему понятны: в самом деле, критики и читатели левонастроенные были раздражены скептицизмом по отношению к недавно возникшему народничеству, критики и читатели правые или к политике безразличные, были разочарованы отсутствием лиризма, которым Тургенев пленял их раньше. Однако «Новь» требует переоценки, пожалуй более решительной, чем другие романы Тургенева. Это едва ли не самое зрелое из его больших созданий и — вместе с «Отцами и детьми» — лучший его роман. Да и лиризм в «Нови» есть, только это лиризм более сдержанный, приглушенный, затушеванный, чем тот, несколько приторный, которым проникнуто, скажем, «Дворянское гнездо». Имею я в виду образ революционерки и, вероятно, нигилистки, Машуриной, безнадежно и безмолвно влюбленной в несчастного, слабовольного Нежданова. Образ этот на первый взгляд малопривлекателен, он едва-едва намечен и не имеет ничего общего с большинством «тургеновских девушек», очаровывавших бесчисленных читателей. Но немногие страницы, Машуриной посвященные, в начале и в конце романа, — может быть, самое глубокое, правдивое и проникновенное, что Тургенев когда-либо о любви писал.

Помимо того, «Новь» — как бы завещание Тургенева, если, конечно, не считать самых последних его вещей, некоторых стихотворений в прозе и в особенности «Клары Милич», повести, в которой чувствуется жажда наркоти-

ческого забвения перед лицом всесветной, неугомонной суеты сует. У нас в памяти — другие завещания. Наши учителя, наши духовные друзья, наши «вечные спутники», скажу еще раз, — Толстой и Достоевский, и сколько бы каждый из нас ни убеждал себя, что сравнивать писателей бессмысленно, мы с Тургеневым их сопоставляем: сопоставляем и, случается, после пронесшихся в сознании огненных бурь чуть-чуть скупаем в прохладном общении с ним. Но Толстой и Достоевский неумолимо требовательны к человеку, в своей несговорчивости они нередко даже беспощадны к нему, а Тургенев снисходителен, милосерден, и этого нельзя забыть.

Что, в сущности, хотел он всем своим творчеством сказать, между романами и рассказами, между страницами и главами, — что говорит он и своим современникам, и потомкам! — Не увлекайтесь никаким безумием, хотя бы самым высоким, священным, раз все равно финальный «лопух на могиле» неизбежен и в этом смысле Базаров прав. Оставьте, отбросьте опыты над человеческим обществом, опыты, при которых может оказаться, что игра не стоила свеч. Ищите развития, «постепенностины», — слово, Тургеневым придуманное, — а не переворотов и скачков в неизвестность, живите благожелательно к другим, ко всем другим, помня, что в нашем мимолетном существовании и без того достаточно горя, тьмы и невзгод. В «Нови», кстати, есть фраза пророческая, непосредственно относящаяся к тому, что пришлось видеть и испытать нам. Народник Нежданов незадолго до самоубийства говорит:

— Наш народ спит. Но сдастся мне, если что его разбудит, это будет не то, что мы думаем («мы» подчеркнуто Тургеневым).

Не будем же придирчиво и пристрастно судить, каково место автора «Отцов и детей» и «Нови» в истории русской литературы. Творческих сил у него было, конечно, меньше, нежели у Гоголя, у Толстого, у Достоевского, великой русской прозаической триады. Но поклонимся его памяти, признав, что в сравнительной скромности своей, в горечи и грусти своих предвидений и видений он еще и теперь нам нужен — и во всяком случае дорог.

Петербургский университет

Петербургский университет сыграл в истории русской культуры очень большую роль, и к 150-летию со дня его основания следовало бы напомнить именно об этом.

Какие имена с ним связаны, сколько замечательных людей прошло в рядах его профессоров или студентов! Надеюсь, в юбилейные дни кто-нибудь из питомцев нашего университета даст в печати обстоятельный обзор его прошлого.

Моя задача, однако, гораздо скромнее, да и не могла бы быть иной — потому что, находясь вдалеке от Парижа, без нужных книг и справочников, я не в силах был бы вспомнить все то, или, вернее, всех тех, кого обойти молчанием было бы недопустимо. Мои воспоминания — личные, отрывочные, и относятся к последним предреволюционным годам.

Первое, радостное, почти ошеломляющее впечатление после окончания гимназии — свобода, воля, отсутствие всякого надзора и, например, боязни опоздать к утренней молитве с понижением отметки за поведение как неизбежным следствием. Никаких обязательств. Делай, что хочешь, ходи на какие хочешь лекции или даже не ходи совсем: никому до тебя нет дела. Бесконечный, чуть ли не в версту длиной, коридор, где сосредоточена вся университетская жизнь, бесчисленные доски с объявлениями по стенам, встречи, расспросы, споры, недоумение: где записываться, какое отделение факультета выбрать, каких профессоров слушать? Должен признаться, что теперь это отсутствие опеки и наблюдения представляется мне даже преувеличенным, как бы отрадно ни казалось оно тогда. Я поступил на историко-филологический факультет и в импровизационном порядке сразу записался на лекции, пусть и интересные, однако практически, для сдачи экзаменов, бесполезные, — например, на курс приват-доцента Каля о музыке Шумана. Никто не помешал бы мне слушать порывистого, восторженно-го «Флорестана» Каля, как он сам себя величал, и без записи. Но никто не объяснил мне истинного смысла значения записей.

В мое время деканом факультета был Ф. Браун, секретарем М. Ростовцев, будущая всесветная знаменитость. Но приема у них приходилось ждать долго, всегда была длинная очередь, и в молодом увлечении вольностью и возможностью все решать самостоятельно декан и его секретарь представлялись не столько доброжелательными советниками, сколько начальством, вроде директора только что оконченной, постылой гимназии.

В первый мой университетский год наиболее усердно посещал я лекции историка Платонова, хотя на историческом отделении не числился. Платонов вел свой курс в сравнительно небольшой аудитории, неизменно переполненной. Актовым залом, где читали другие университетские «властители дум», мнимые или подлинные, Овсянико-Куликовский или Петражицкий, он, очевидно, пренебрегал. Да и голос у него был не громкий, манера чтения скорей камерная. Однако нельзя было его не заслушаться. Помимо редкостной чистоты языка, у него был дар воспроизводить, воскрешать эпоху и какой-нибудь случайной мелочью, случайным бытовым штрихом создавать впечатление, что он был очевидцем того, о чем рассказывал. За каждым его словом угадывались огромные, в данной области исчерпывающие знания. Мне посчастливилось: впервые я услышал его, когда он говорил о Борисе Годунове, и только позднее я узнал, что это — его «конек». Платонов очень спокойно, но со скрытой, будто гневной страстностью защищал Годунова от обвинений в убийстве царевича Дмитрия. Один за другим он перебирал доводы, приведшие к клевете, — и доказывал их несостоятельность. В дальнейших лекциях, о начале Смутного времени, он снова вернулся к Годунову. Помню, при выходе из аудитории один из студентов спросил его: «Значит Пушкин ошибся?» Платонов, в противоположность другим профессорам избегавший внелекционных разговоров, сухо и хмуро ответил: «Пушкин был поэтом, а не историком».

Вторым моим университетским увлечением были лекции Ф.Ф. Зелинского по древнегреческой культуре. Зелинский был окружен поэтическим ореолом и даже внешне выделялся среди остальных профессоров: крылатка, седые кудри, вдохновенный взор и вдохновенная речь. Как это ни парадоксально, Ростовцева, крупнейше-

го специалиста по Древнему Риму, мы считали «сухарем» и популярностью он не пользовался. О Зелинском же было известно, что он дружит с Вячеславом Ивановым, был близок к Иннокентию Анненскому, и когда однажды, говоря об Эсхиле, он вскользь, будто невзначай, заметил: «Помню, Ницше мне как-то возразил...», слушатели почтительно переглянулись, оценив, кто перед ними стоит. Не знаю, часто ли он встречался с Ницше, но упоминал о его взглядах на греческих трагиков не раз.

Ал. И. Введенский, профессор философии, оригинальным, крупным мыслителем не был, но преподавателем был несравненным, в своем роде единственным. Курс свой по «Введению в философию», представлявший собой упрощенное изложение основ кантианства, он читал с такой убедительностью, с такой отчетливостью в передаче тончайших извилин кантовской мысли, что волей-неволей кантианцами становились и его ученики. Казалось, границы установлены разуму на веки веков, без всякой возможности преодоления, и, несомненно, сам Введенский был в этом убежден. Однако рядом, в другой аудитории, читал лекции приват-доцент Лосский, приверженец «интуитивизма», читал сбивчиво, то и дело останавливаясь, будто тут же обдумывая то, что говорил, — и при этом противоречил Введенскому. Насколько помню, личные отношения Введенского с Лосским были безоблачны, но профессор любил подтрунивать над своим младшим сотрудником и в экзаменационную программу ежегодно вводил два-три пункта, озаглавленные «Заблуждения приват-доцента Лосского». А среди экзаменуемых бывал и Лосский, и если билет попадался неудачный, студенту приходилось разъяснять экзаменатору, в чем тот заблуждается. Лосский, однако, слушал невозмутимо, поддакивал, «да, да, Александр Иванович утверждает именно это», и как будто с особым удовольствием ставил в матрикул желанное «весьма».

Лингвистическое отделение, во главе с Шахматовым и тогда еще молодым Щербой, было на большой научной высоте, чего, к сожалению, нельзя сказать об отделе по истории русской литературы. Не думаю, чтобы сказывалась на такой оценке рознь двух поколений, модернистический задор, с одной стороны, верность традици-

ям — с другой. Нет, лекции Венгерова или Бороздина, например, были обстоятельны, порой заняты, но по интеллектуальному своему уровню довольно-таки примитивны.

Проф. Шляпкина, стоявшего, если не ошибаюсь, во главе отдела, я знал мало, но помню насмешливый рассказ Гумилева о том, как он, в качестве вольнослушателя, сдавал у него экзамен.

Гумилев, бывший уже известным поэтом, собирался блеснуть утонченной оригинальностью своих суждений и с особой тщательностью подготовил вопрос о стилистическом влиянии Баратынского на некоторых позднейших стихотворцев. Шляпкин, тучный, грузный старик, долго молчал, перебирая лежавшие перед ним бумаги, и наконец, устало взглянув на экзаменующегося, промолвил:

— Так, так... Значит вы специализируетесь по русской литературе? Скажите, как вы считаете, права ли была Татьяна, отказавшись бросить мужа и уйти с Онегиным?

Гумилев был озадачен и потом не без основания говорил: «Он меня принял за гимназиста». О Баратынском ему так и не удалось сказать ни слова.

Рассадником и центром иных литературных взглядов, иного, более требовательного отношения к литературе был отдел романо-германский, где к тому же господствовал дух обновления и модернизма. Само собой возник интерес к романо-германским семинариям и среди студентов других отделений. Здесь иногда можно было услышать доклад о Рихарде Вагнере как поэте, — правда, к некоторому удивлению проф. Брауна, — или, под руководством проф. Петрова, анализ новейших течений французской прозы. Здесь устраивались литературные выступления, на одном из которых я впервые увидел Анну Ахматову, здесь была штаб-квартира недавно возникшего акмеизма, здесь же постоянно бывали первые русские формалисты, впоследствии люди с крупными именами, тогда еще только намечавшие путь и склад своих изысканий.

Всего не вспомнишь и, вероятно, я забываю о многом, о чем рассказать стоило бы. Не могу, однако, забыть главного: сразу возникшей любви к нашему уни-

верситету, благодарного сознания, что это наш общий, свободный, всем нам нужный дом. Кстати, людям моего поколения, бывшим питомцам русских университетов, нелегко, вероятно, понять, почему теперь на Западе считается, что бывшие университетские установления безнадежно устарели и требуют коренной ломки. Во Франции принято подчеркивать, что это установления «наполеоновские» и что за полтора-два с лишним лет не устареть они не могли. Чем, однако, были дурны наши университеты, чего им не доставало? Правда, профессора читали лекции при обязательном, полном молчании слушателей. Но в семинариях все бывало по-другому, и те же профессора превращались там в старших руководителей, допускавших любые возражения. Даже иногда побуждавших к возражениям и к общему обсуждению.

Плодотворнее ли окажутся новые порядки? Здесь я ограничусь огромным вопросительным знаком, относящимся, впрочем, далеко не к одной только ломке университетских установлений.

Солженицын

Покойный М.А. Алданов когда-то сказал в присутствии Бунина:

— Великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате».

Бунин, помню, взглянул на него с удивлением, нахмурился и недовольно покачал головой. Но возражать не стал и, по-видимому, был с Алдановым втайне согласен, хотя цену себе хорошо знал. Да и какие возможны были бы возражения? Действительно, великая русская литература началась с первых стихотворений Пушкина и кончилась на последних произведениях Толстого. Существовала она, значит, приблизительно девяносто лет. Были очень большие дарования, были очень большие явления и до, и после, но чуду русской литературы, пронесшемуся над миром метеору русской литературы срок был назначен недолгий.

Книги Солженицына, впервые за последние десятилетия, заставляют задуматься: а не ошиблись ли мы? Впервые над ними возникает впечатление, что великая

русская литература продолжается. И судя по откликам на оба солженицынских романа в иностранной печати, да и на такие рассказы, как «Матренин двор», не только мы, русские, впечатление это испытываем. Дело вовсе не в том, как эти романы написаны, безукоризненно ли их построение, безупречен ли в них язык, не следовало ли бы кое-что в них сократить или изменить, — нет, дело исключительно в том, что книги Солженицына захватывают глубиной мысли, острой пронизательностью и правдивостью в восстановлении, в истолковании жизни, а главное, в забытом в наши дни неподдельном, неотразимом сочувствии к человеку перед лицом судьбы, тех «судеб», от которых, по Пушкину, «защиты нет».

Нередко слышишь вопрос: а какой роман по-вашему лучше, «Раковый корпус» или «В круге первом»? Не знаю, какой лучше, так же, как не знаю, лучше ли «Бесы», чем «Карамазовы», лучше ли «Война и мир», чем «Анна Каренина». Кстати, при чтении «Войны и мира» тоже ведь не раз говоришь себе, что некоторые страницы можно было бы выбросить, на крайность сократить, особенно к концу. Но подумав, понимаешь, что во вселенной, в окружающем нас мире тоже есть многое, представляющееся нам лишним, и что книга Толстого есть в большей мере отражение мира, в котором мы обречены жить, чем удачно построенное литературное повествование. К Солженицыну трудно отнестись иначе. Стилистически «Раковый корпус» чище «Первого круга», похожего на удивительный, ценнейший черновик, но отдать предпочтение первому или второму роману невозможно.

На беглый, поверхностный взгляд содержание обоих исчерпывается нашей эпохой и, следовательно, может в будущем утратить свое значение. Пройдут года, изменятся в России порядки, изменятся нравы, и все в солженицынских книгах станет достоянием истории. Нет, едва ли. Касаясь ужасающих лет русской жизни, будто бы только в них и всматриваясь, Солженицын говорит о жизни вообще и о человеке вообще: о том, что люди со своей жизнью делают, во что они способны ее превратить. Это не может устареть, потому что этого нельзя забыть. Это останется в нашей литературе вечным напоминанием, вечным свидетельством наличия зла и наси-

лия в мире. Если же говорят, — а говорят это часто, — что книги Солженицына слишком тяжело читать, то разве литература существует для развлечения и безмятежного удовольствия, для приятного времяпрепровождения в часы отдыха, в кресле, у огня? Да ведь и неверно это, вовсе не тяжело Солженицына читать, если только дать себе труд вчитаться в него, если понять, о чем именно он говорит. Его люди живут в страшных, ледяющих душу условиях, но за редчайшими исключениями они остаются людьми в полном и прекрасном значении этого слова. Один из них, в «Круге первом», утверждает даже, что наконец вполне свободен, — потому что у него все отнято и ему нечего больше бояться. Другие в несчастии находят в себе силы возвыситься к подлинной, прекрасной дружбе и на самом дне бесправия образуют общество, которое могли бы взять за образец люди вполне благополучные и не имеющие основания на что-либо жаловаться. Тяжело читать! Да, веселенького в книгах Солженицына действительно мало. Но радостно и отменно читать и перечитывать книгу, в которой отсутствует досужая выдумка, а есть только правда — и притом правда, излучающая свет.

Наконец последнее, о России. В прошлом столетии некоторые из самых глубоких и прозорливых русских умов были убеждены, и настойчиво об этом говорили, что стране нашей предстоит великое будущее, что есть у нее особое призвание. Пророчества эти позднее ничего кроме горькой усмешки вызвать не могли. Но то, о чем рассказал Солженицын, и сам он, со своей верностью лучшему, что Россия дала, лучшему, чем Россия была, не воскрешает ли он былые надежды? Шулубинский «осколок мирового духа» и его предсмертные, страстные призывы к нравственному социализму в «Раковом корпусе», таинственный, как видение, Грааль в «Круге первом», не обещает ли близкого, светлого воскресения, после всего Россией перенесенного? По многим доходящим оттуда сведениям именно к таким надеждам обращена сейчас наиболее живая часть русской молодежи. Читая Солженицына, и даже мысленно отдаляя неведомые сроки свершения, говоришь себе словами Достоевского, что «сие буди, буди», что этого не может не быть.

Стихи Беллы Ахмадулиной

В предисловии Н. Тарасовой к недавно выпущенному издательством «Посев» сборнику стихов Беллы Ахмадулиной сказано, что она, Ахмадулина, «после смерти Пастернака и Ахматовой — один из первых кандидатов на их место». Не знаю, согласились ли бы с этим московские любители поэзии. Надо бы вообще раз навсегда оставить табель о рангах в литературе и перестать решать, какому поэту принадлежит первое место, какому второе или третье. К тому же Ахмадулина молода, а Пастернак с Ахматовой прожили долгую жизнь и для сравнения с ними время для Ахмадулиной еще не настало. Однако обаяние ее, особое ее воздействие на советских читателей и слушателей несомненно. Мне не раз случалось беседовать с приезжающими в Париж москвичами о тех или иных поэтах, в частности о поэтессах: оценки бывали разные. Но достаточно было назвать имя Ахмадулиной, чтобы самый тон ответа изменился, лицо говорившего посветлело, — будто она сама среди других стихотворцев что-то вроде луча света.

До сих пор мне приходилось читать стихи Ахмадулиной довольно редко, отрывочно, и более или менее цельного представления о них составить себе я не мог. Положительное отношение к ним складывалось скорее с чужих слов, по доверию к проницательности тех людей, которые отзывались о ней восторженно. Зарубежный сборник стихов Ахмадулиной довольно объемист, в нем больше двухсот страниц. Каково же общее от него впечатление?

Прежде всего, надо сказать, что даровитость и щедрость натуры автора чувствуется в нем повсюду. Ахмадулина, бесспорно, из разряда людей, которые рождаются поэтами, а не становятся ими ценой усилий, настойчивости и труда. Если воспользоваться не совсем складным, но выразительным и незаменимым словом «мироощущение», то оно, это мироощущение, проникнуто у нее сознанием загадочности и пестроты жизни, стремлением разобраться в путанице существования, найти ответы, которых, однако, нет и быть не может. Искренность, неподдельная порывистость Ахмадулиной очевидны, так же как очевиден у нее дар восхищения

и любви. Даже не будучи в силах полностью разделить чувства, которые внушают ей личность и творчество Пастернака или Марины Цветаевой, нельзя не уловить в посвященных им строках благородной и, к сожалению, редкой у наших современников способности преклонения и какого-то самозабвенного трепета. Это подкупает у Ахмадулиной сразу, — не говоря уж о том, что стихи ее отличаются и своеобразными стилистическими находками, и органичностью ритма.

Однако расхолаживает многословие, — которое, по-видимому, ничуть не расхолаживает и не смущает читателей советских, давно, и вовсе не в стихах одной только Ахмадулиной, с ним свыкшихся. Здесь само собой возникает вопрос о разрыве между двумя восприятиями понятия «поэзия»: с одной стороны, тем, которое намечалось в предреволюционные годы, с другой — новым, теперешним, как бы растекшимся вширь и утратившим былую узкую заостренность. Вопрос довольно сложен и осветить его следовало бы когда-нибудь в плане не только литературном, а и историческом или социологическом. Нельзя ведь забыть, что теперь в России стихи пишут тысячи людей, а читают их миллионы, в то время как прежде все ограничено было тесными, замкнутыми группами. Добавлю, что в слово «расхолаживает» я не вкладываю общего упрека, а говорю только о личном своем впечатлении. Но, может быть, и в новой России найдутся люди, склонные это впечатление разделить и безотчетно, сами того не зная, вспомнить прошлое, не столь еще и далекое.

В последние предреволюционные года среди поэтов, в частности поэтов петербургских, настойчиво пробивалось сознание необходимости писать как можно более сжато, в каждом отдельном случае как бы «окончательно», ничем при этом не жертвуя. Сказывалось наследие Анненского, мечтавшего о том, чтобы «стать огнем или сгореть в огне». Правда, Гумилев таким мечтаниям сопротивлялся, как и вообще сопротивлялся влиянию Анненского, несмотря на демонстративно-почтительное к нему отношение, сменившееся у Гумилева резким отрицанием лишь в самые последние дни жизни. Но тяга к тому, чтобы дописаться до коротких, все исчерпывающих строк была характерна для Мандельштама, отчасти и для Ахматовой, — однако главным образом для

Мандельштама и ближайшего его окружения. Ахматова часто писала стихи, представляющие собой маленькие рассказы, но и она сгущала содержание своих рассказов до двух-трех врезывающихся в память слов, вроде знаменитого «не стой на ветру!», этой иронической развязки любовной драмы. Возникали сомнения, возможно ли создание больших стихотворных поэм, и почти все были согласны, что даже Блок в «Возмездии» потерпел неудачу: не потому, конечно, чтобы не хватило таланта, а потому что омертвел самый жанр. Позднее «Двенадцать» многим вскружило головы, но «Двенадцать» — как бы произведение это не оценивать — не столько поэма, сколько собрание стихотворных отрывков, объединенных одной темой. Конечно, были споры, бывало недоумение, иногда раздавалось слово «тупик», и действительно опасность тупика вдалеке мерещилась. Но многословие во всяком случае отвергалось, будто отбрасывал его самый дух эпохи и связанное с тогдашними смутными, тревожными русскими предчувствиями представление о том, чем должна быть поэзия.

Ахмадулина — дитя другой среды, другого времени. Не удивительно, что подобные веяния ей чужды. То, о чем она пишет, представляет собой подлинно поэтический материал, но в увлечении им она то и дело сбивается, повторяется, возвращается к вскользь брошенному намеку или мысли. Такова она даже в лучших своих стихах, как в прекрасном, неподдельно-взволнованном отрывке о встрече с Пастернаком. Да, остается музыка стиха, и в музыке этой у Ахмадулиной есть большая прелесть. Но случается, что и музыка безмятежно соседствует с рифмованной беллетристикой, — например, в юмористическом повествовании о некоем ученом и хлебосольном литературоведе. Повествование остроумно, но при чтении его трудно отделаться от досады за поэта, который не к такого рода словесным изделиям был судьбой предназначен. Что же это, естественный, непроизвольный отклик на требования иных, новых поколений, далеких от прежних раздумий, а иногда и от мук, если воспользоваться излюбленным словом Анненского? Вероятно, так. Но рано или поздно раздумья могут воскреснуть, а каково будет их разрешение, об этом можно только гадать.

Два слова о мелкой технической особенности стихов Ахмадулиной, впрочем, встречающейся и у других молодых советских поэтов: о склонности вводить ямбические слова, с ударением на втором слоге, в хореические строчки, и наоборот, смешивать хорей с ямбом. Постоянно делает это и Евтушенко.

Ахмадулина пишет, например:

Но тело мое опустело...
Врач объяснил: ваша болезнь проста...

Едва ли допустимо было бы предположить здесь простую небрежность, неряшливость. Нет, это, очевидно, прием, и в иных, довольно редких случаях прием этот бывал использован большими мастерами*. Но что он дает при вошедшем в привычку его употреблении и в чем тогда его оправдание, остается для меня неясно. Думаю, что не для меня одного.

Роман Бориса Шлёцера

«Мое имя — никто», «Mon nom est personne», роман Бориса Шлёцера — одна из редких книг, закрывая которую, говоришь себе: да, это стоило прочесть. Стоило в том смысле, что книга обогащает сознание, заставляя читателя вдуматься в вопросы, о которых в повседневной суете сует он, может быть, и думал, но бегло, рассеянно и поверхностно.

Первая фраза книги — ключ к ее содержанию, к ее особому складу: «Сегодня день моего рождения — мне восемьдесят четыре года» — пишет повествователь. Восемьдесят четыре года: значит, глубокая старость, усталое безразличие, убыль внимания к жизни, эгоистическая, неодолимая, хотя большей частью и безотчетная, обида на поколения, пришедшие тебе на смену, сло-

* Чудесная строчка Мандельштама:

«Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить».

Звуковое насилие, — умышленное или наполовину безотчетное, — над первым «чтобы» лучше всяких разъяснений передает состояние рабов и как бы таит в себе угрозу восстания.

вом, — все то, что старости почти всегда сопутствует. Но человек, от имени которого ведется рассказ, — и которого не следует, конечно, отождествлять с самим Борисом Шлёцером, — возрастом своим ничуть не удручен; он им умудрен.

Обнаруживается это с начальных страниц книги, с отрывочных, просветленно-горестных размышлений, как бы «обо всем и ни о чем», каждое из которых побуждает прервать чтение и попытаться по-своему проверить их, в стремлении к согласию или к возражению. А, пожалуй, еще очевиднее обнаруживается это в сомнениях насчет предпринятой автором затеи: написать роман. Много ли на свете романов, оправдывающих свое возникновение, свое существование и чем-либо отличающихся от тысячи других, пусть и занимательных, но позволяющих лишь «убить время», не более того? Было бы ошибкой решить, что автор — а за ним в данном случае и Борис Шлёцер, — преимущественно озабочен поисками новых повествовательных форм и, так сказать, заигрывает с французским «новым романом», надеясь, что очередная литературная мода обеспечит ему прилив подлинно творческой энергии.

Нет, насчет мод, манер, причуд, школ и манифестов он иллюзий себе не делает. Он отлично знает, что через двадцать—тридцать лет, а может быть и раньше, новые, ближайшие литературные пришельцы объявят, как водится, сегодняшних, самых передовых властителей дум тупицами или несмышленищами. Он уже и теперь иронизирует над их самоуверенностью, над их претензиями на роль каких-то литературных Колумбов и, не боясь упрека в отсталости, называет в качестве любимых своих романистов Бальзака, Толстого и Флобера.

Но зачем писать роман? Как надо бы написать его, что надо бы сказать в нем, чтобы написанное не оказалось пустой игрой воображения? Да, Бальзак, Толстой и, может быть, вместе с ними Флобер (добавляю «может быть» лично от себя, не будучи вполне уверен, что Флобер, даже по-новому теперь истолкованный, по-новому возвеличенный, выдержит без ущерба для себя столь значительное соседство), да, они при выдуманной фабуле сказали о жизни, о человеке, о каждом из нас что-то такое, чего нельзя забыть. А другие, огромное боль-

шинство других, даже блестящих, искуснейших, знаменитых? Эти другие нас развлекают, нередко отвлекают от житейской скуки, но оставляют такими же нищими, какими были мы до знакомства с ними.

Автор, имя которого «никто», недоумевают, останавливается, сам себя критикует, с бесстрашной проницательностью признается, что как бы обманчива ни была дневниковая сущность изложения, всякий писатель рассчитывает на читателя и ждет его отклика. Однако мало-помалу он увлекается своим вымыслом и строит нечто действительно похожее на роман. Неожиданно для себя, он отдает себе отчет в том, что герои его начинают жить независимой от автора жизнью и перестают быть подчиненными его замыслу автоматами.

Их трое, этих героев, остальные — лишь эпизодические лица, хотя в стремлении к внутренней правдивости за счет внешней стройности рассказа автор вводит в свое повествование и самого себя, пусть и под вымышленным именем и в вымышленной обстановке. Это дает ему возможность включить в роман интереснейший разговор со священником, пришедшим навестить больного старика, — разговор «о самом важном», как вероятно, сказала бы Зинаида Гиппиус. Однако героев три: Анна, прелестная юная девушка, Жан, писатель средних лет, в Анну влюбившийся, и Жак, его приятель.

Жан — человек женатый, и любовная его идиллия с Анной прерывается тем, что ревнивая супруга обливает свою соперницу серной кислотой. Жан искренне клянется, что даже если Анна изуродована, он останется ей верен до гроба. Анна после долгого лечения выходит из больницы не изуродованной, однако все же слегка изменившейся, особенно в изгибе губ, которым Жан восхищался, — и этого достаточно, чтобы верность до гроба оказалась под сомнением. Тут в действие вступает Жак, человек иного, более крепкого, твердого душевного склада, чем его друг, к тому же давно и тайно Анну любящий...

Чем кончается эта история, сама по себе заурядная? Автор этого не знает, не хочет знать. Он любит Анну, свое создание, выбившееся из-под его власти, любит не меньше чем Жан или Жак, и, по-видимому, не склонен уступить ее ни тому, ни другому. Рукопись, оставшаяся

незаконченной, становится по таинственной случайности достоянием другого писателя, тоже носящего имя Жана, который читает ее жене, — или любимой женщине, тоже Анне, — и улавливает в ней отклики, его одному понятные. Позволит ли автор новому Жану дописать роман, неизвестно. Едва ли позволит. Автор «никто», несомненно, чувствует, что главное в его книге, — и, конечно, самое своеобразное, самое глубокое, — то, что вокруг фабулы, то, что заставляет его постоянно обрывать рассказ и обращаться мыслью к загадкам и к сущности творчества, а заодно к загадкам и к сущности нашей жизни. Этого ни новый Жан, никто другой не разовьет и не допишет.

Два слова в заключение. Борис Шлёцер давно уже перестал быть русским писателем и составил себе, как эссеист и критик, крупное имя в литературе французской. Но что-то почти неуловимо русское в его книге нет-нет, да и слышится, и нельзя не пожалеть, что наша словесность, и без того достаточно бедная, его потеряла.

Кстати, помнит ли Борис Федорович, что под псевдонимом «никто» выпустил первый свой сборник стихов Иннокентий Анненский, правда, в слегка завуалированном виде — «Ник. Т-о»?

Памяти Корнея Чуковского

28 октября, на 88-м году жизни, скончался Корней Иванович Чуковский.

Он начал свою литературную деятельность больше шестидесяти лет тому назад и почти сразу обратил на себя внимание. Его живые, остроумные критические статьи, его юмор и проницательность не могли не выделиться среди сероватых газетных литературных обзоров начала века. Чуковского упрекали в отсутствии вдумчивости, в склонности к какому-то веселому легкомыслию, и, пожалуй, на первых порах в упреках этих была доля правды. Но чутья у него было во всяком случае больше, чем у его обличителей, и недостатки его это чутье искупало.

С годами недостатки исчезли, а чутье осталось. Едва ли не основной заслугой Чуковского надо признать дол-

гое, страстное, убежденное отстаивание Некрасова как одного из великих русских поэтов, — вопреки упорно державшемуся мнению, что поэзия в некрасовских стихах будто бы «и не ночевала», вопреки пренебрежительному утверждению Влад. Соловьева, что ничего, кроме «расчетливого обмана» и «шумящего балагана», в творчестве Некрасова нет и никогда не было. Некрасову Чуковский остался верен до конца жизни и посвятил ему большое, обстоятельное исследование.

Особую популярность создали Чуковскому его стихи и сказки для детей, а также его защита неисчерпаемых богатств нашего языка от стилистической канцелящины и мертвенной книжности, все чаще принимаемых теперь за признак культурности. В одной из своих недавних книжек он рассказал, например, о беседе с деревенской женщиной. Та призналась, что недолюбливает города и сказала: «У нас приволье, выйдешь за ворота, тут же — зеленый массив», вместо того чтобы сказать «тут же — лес». Эти «зеленые массивы» и все прочее в том же духе приводили его в справедливый ужас.

Есть замечательный репинский портрет Чуковского. Не берусь судить о его художественных достоинствах, но все, что светилось в глазах и в улыбке этого одареннейшего человека, смешливого, добродушно-лукавого, своеобразно-обаятельного, уловлено и передано Репиным необыкновенно верно. Тем, кому приходилось с Корнеем Ивановичем встречаться и с ним разговаривать, грустно и трудно представить себе, что его больше нет.

Православный язычник **(О книге Габриэля Мацнева «Comme le feu mêlé d'aromates»)**

Название моей статьи может показаться рассчитанным на дешевый эффект: сочетание двух противоречащих одно другому слов. Но, несмотря на противоречивость, оно довольно точно отвечает внутреннему складу книги Габриэля Мацнева, да и сам автор определяет в предисловии свой «рассказ» («*récit*»), — как исповедь

грешника. А для заглавия книги он выбрал цитату из Гераклита. Не имея под рукой греческого текста, не знаю, как лучше перевести с французского: пожалуй, «Пламя, смешанное с ароматами», как бы ни было такое заглавие тяжело и неуклюже.

Эта исповедь, этот рассказ о самом себе, сразу, с первых страниц подкупает искренностью, прямоотой, неподдельной душевной свежестью. Вероятно, найдутся читатели, которые склонны будут упрекнуть Мацнева в излишнем внимании к себе, в так называемом «эгоцентризме». О том, обоснованы эти упреки или нет, я скажу несколько слов дальше, после того, как попробую передать общее впечатление от содержания «Пламения».

Сделать это вкратце нелегко, хотя Мацнев затрагивает, в сущности, лишь один вопрос: можно ли быть истинным христианином и при этом не только страстно любить жизнь, а и более или менее безмятежно срывать всякого рода «цветы наслаждения»? Но вопрос вызывает в памяти столько примеров из прошлого, столько доводов «за» и «против», Мацневу так хочется убедить и себя, и других в бесспорности, в необходимости положительного, утвердительного решения, что ответ ему мог бы в свою очередь превратиться в целую книгу. Надо, во всяком случае, быть автору «Пламения» благодарным за то, что подобный насущнейший вопрос он ставит, предлагая не научно-историческое его исследование, а именно исповедь, живую и открытую, и как бы ставя на карту, кладя на весы свою собственную судьбу. Научных исследований на свете много и ценность их отрицать, конечно, нельзя. Но отрадно в наши дни читать книгу, в которой автор, не переставая быть литератором, предстает, как человек, как личность, взволнованный своими надеждами, опасениями и колебаниями.

Мацнев два или три раза упоминает в «Пламении» имя Розанова. Вероятно, Розанов с интересом и даже увлечением прочел бы эту книгу и оценил бы ее. А согласился ли бы он с ее лейтмотивом, с тем, что Христос, и «только Христос», унаследовал «сияние Аполлона» и мудрость древнего мира? Едва ли, едва ли! Достаточно вспомнить «Темный Лик», главы о «Христе, судии мира» и об «Иисусе сладчайшем», а в особенности удивительные примечания к помещенному в той же книге рассказу

Сикорского о сектантах-самосожженцах, чтобы сказать даже не «едва ли», а с уверенностью «нет».

Шаткость, зыбкость своей позиции Мацнев, несомненно, сознает или по крайней мере чувствует. Повидимому, он не может с собой совладать, не в силах оторваться от влечения к прелестям и сладостям бытия, к солнечной средиземноморской культуре, к воспоминаниям об Элладе и о ее богах. Но на то, что христианство с подобными влечениями не совсем в ладу, он глаз себе не закрывает, а то и дело вступает сам с собой в спор. Вспомнив, например, что, согласно Библии, Бог после сотворения мира признал, что «все добро зело», он утверждает, что Христос этих слов не повторил бы и повторить бы не мог. Правда, тут автор «Пламени» подчеркивает только то, что Ветхий Завет ему чужд. Однако несколькими страницами до этого он сочувственно вспоминает и апостола Павла, который в Афинах — как сказано в «Деяниях апостолов» — «возмутился духом при виде города, полного идолов». Образцов спора с самим собой в книге много, и особенно показательно в этом смысле то, что при всей своей любви к природе, к земле, ко всему земному, Мацнев называет себя последователем Маркиона.

Об этом христианском гностике второго века известно нам далеко не все, что знать хотелось бы. Писания его были уничтожены, и только по гневным возражениям Тертуллиана, Оригена и других мы знаем главнейшее: Маркион учил, что мир, в котором мы обречены жить, создан злым, дурным божеством. Истинный, праведный, высший Бог, к мирозданию не причастный, зовет нас с земли к себе, и именно для того, чтобы люди зов слышали, послал на землю своего сына, Иисуса Христа. Мне не хотелось бы в газетной статье приводить цитаты из Евангелия, где им не место, но не поразительно ли то, что учение, подобное маркионовскому, могло возникнуть всего только через несколько десятилетий после появления Евангелий, под первым, ничем еще не затуманенным впечатлением от них, вероятно и под впечатлением посланий апостола Павла, написанных до Евангелий, — и что остатки, отголоски этого учения слышатся еще у блаженного Августина, и дальше, много, много позже у альбигойцев с их трагической участью, не-

далекой от участи розановских самосожженцев! Никто другой ведь, как Августин, дошел в своем возвеличении аскетизма до утверждения, что Царство Божие настало бы много быстрее, если бы люди отказались от деторождения и вообще от всяких плотских половых сношений. Мацнев блаженного Августина читал и его ненавидит, — ненавидит настолько, что даже позволил себе не вполне пристойную, будто в минуту забытья выскользнувшую из-под его пера, формулу: «августиновский сталинизм».

Ставлю здесь точку, но ставлю ее только потому, что задетая в «Пламени» тема огромна и, повторяю, вызывает слишком много соображений и возражений. Прав ли Мацнев в том, что свел эту тему лично к себе, к своему личному восприятию жизни? На мой взгляд, упрекать его не в чем, и если действительно «стиль это человек», то нельзя не почувствовать, что самолюбования в его книге нет. Да помимо того, в вопросах, которых он касается, почти невозможно размышлять и думать иначе как «через себя», и затушевывать это было бы бесцельно. Впрочем, всякое нарочитое самозатусhevывание вызывает скорее досаду, чем удовлетворение, и не только в рассуждениях о христианстве и язычестве. У нас, например, повелось теперь употреблять в печати выражение «пишущий эти строки» вместо «я», и надеюсь, если бы даже Мацнев писал по-русски, он этого никчемного, постыдного «пишущего» отбросил бы. «Пишущий эти строки» значит «я», не значит и не может значить ничего другого, следовательно и надо, там где это естественно и необходимо, писать «я», и, право, в этом «я» больше достоинства, простоты и даже скромности, чем в жеманных словесных уловках.

Вернусь, однако, еще раз к сущности мацневской книги. Прекрасная глава о покойном о. Петре Струве, в особенности заключение ее, и некоторые другие страницы «Пламени» наводят на сомнения: не окажутся ли рано или поздно для Мацнева те призывы, к которым теперь он старается остаться глухим, сильнее, неотразимее других, противоположных, наполняющих его сознание беспечным, молодым счастьем?

Не потускнеют ли когда-нибудь перед его духовным взором синева и блеск Средиземного моря, со всеми прибрежными радостями и наслаждениями, к которым

он так ненасытно жаден? По возрасту моему мне не придется прочесть книгу, которую он напишет лет, скажем, через тридцать—сорок. Но если на тот свет доходят вести с земли, я не был бы там удивлен, узнав, что над последней своей книгой Мацнев трудится в монастырской келье. Константин Леонтьев любил и небо, и море, и все средиземные красоты не меньше его, а умер оптинским иноком.

Памяти ушедших Р.Н. Гринберг

С покойным Романом Николаевичем Гринбергом связывала меня долгая дружба, начавшаяся давно, еще в «монпарнасский» период нашей эмигрантской литературы. Да и не я один тогда с ним дружил и рад был с ним и с Софией Михайловной, его женой, встречаться. Были бесконечные ночные разговоры, за чашкой «кафе-крема» или за стаканом вина; были споры, литературные пререкания, проекты, планы, и хотя тогда время это вряд ли кому-нибудь из нас казалось прекрасным, хотя трудно было бы тогда поверить, что о встречах этих мы будем вспоминать, как о дорогом прошлом, теперь чувство возникает именно такое. «Иных уж нет, а те далече» хочется повторить, и с каждым годом, чуть ли не с каждым днем круг наш суживается.

Однако о Романа Николаевиче должны бы с печалью и благодарностью вспомнить не только его друзья. После войны, переехав в Нью-Йорк, он занялся издательской и редакторской деятельностью, и заслуги его в этой области значительны, именно в его детище и создании, в альманахах «Воздушные пути» была помещена «Поэма без героя» Анны Ахматовой, а затем ряд нигде еще не появлявшихся стихотворений Осипа Мандельштама. Было и многое другое, достойное внимания, в пяти выпусках этих альманахов, как немало было ценного и в первых номерах журнала «Опыты», вышедших под его редакцией. Чутье и вкус Романа Николаевича давали себя знать повсюду.

Он умер не старым, долго и тяжело болел, но друзья его не теряли надежды, что с недугом он справится

и опять станет тем же бодрым, оживленным деятелем, верным товарищем, умным собеседником, каким был в далекие дни.

Теперь надежда исчезла, но память должна бы удержаться надолго.

Пушкин

Каждый год 29 января мы вспоминаем Пушкина. Это наша русская традиция, нечто вроде общего нашего русского долга и не требуется никакой юбилейной даты, чтобы о Пушкине в день его смерти вспомнить. Положение его в истории русской культуры единственное, даже если согласиться, — после обычных в таком деле споров и расхождений, — что Толстой, Гоголь или Достоевский писатели не менее великие, чем он. Англичане без колебаний отводят первое место Шекспиру, немцы — Гёте, итальянцы — Данте. У нас, как и во Франции, первенство не совсем ясно, и писать одно имя, безраздельно в нашей литературе царящее над всеми другими, трудно.

Однако есть в Пушкине что-то особое — особое и неуловимое. Нередко приходится слышать, что о нем и о его поэзии все сказано. Да, сказано действительно очень многое, от несколько простодушных суждений Белинского до патетических домыслов Достоевского, положивших начало новому, углубленному, но далеко не всегда убедительному истолкованию Пушкина (истолкованию, которое для него самого едва ли оказалось бы приемлемым). Но бывают явления, смысл и сущность которых нельзя исчерпать: указание на «все», о них будто бы сказанное, к ним не применимо. Помнишь наизусть чуть ли не каждую пушкинскую строку, помнишь каждое слово, и все-таки в бездонной ясности его творчества что-то ускользает и хочется каждый раз что-то понять по-иному, чем прежде. Такие явления есть и в музыке, и, пожалуй, в музыке эта черта отчетливее и вместе с тем таинственнее, чем в поэзии. Моцарт, например. Величайший ли это из всех композиторов? Ответить с уверенностью не решится, думаю, никто: больше того, ответ невозможен. Но когда окончательно вслушаешься в какую-нибудь грандиозную, «роскошную», — как вы-

разился Тургенев о Шуберте, — сонату или симфонию одного из его великих соперников, то порой говоришь себе: в этой вещи я знаю все, открыться мне в ней больше ничего не может, пусть наслаждение звуками и останется полностью прежним.

У Моцарта не совсем то, и прелесть иной обманчиво-простенькой его мелодии смущает и волнует своей неуловимостью, неразложимостью, каким-то вторым скрытым течением. Сказано, как будто, мало, но сказано и настолько много, что не удастся вместить, понять. Концы спрятаны в воду, и не знаешь, действительно ли это концы.

Вспомним какое-нибудь из наиболее «моцартовских» восьмистиший Пушкина, «На холмах Грузии» или еще лучше «Я вас любил, любовь еще быть может», — лучше потому, что способность вложить в два-три слова содержание, которого хватило бы на целую поэму, здесь еще очевиднее. Именно это восьмистишие представлялось Флоберу «плоским», и по-своему Флобер был прав, ибо во французском прозаическом переводе, при исчезновении магического сцепления звуков и ритмической интонации, текст превращается в сентиментальный мадригал. Первые семь строк умышленно бледноваты, как Пушкин нередко делал, подготавливая развитие и заключение. Но восьмая, последняя

Как дай вам Бог любимой быть другим

в неожиданности своей, в еле заметном изменении темы, чудесно хороша и отбрасывает сияние на все предшествующие. «Как некий херувим», сказал Пушкин именно о Моцарте, и не напиши он даже ничего, кроме этой короткой «райской песни», мог бы сказать то же о самом себе. Какая простота, какая сдержанность, какая грусть, какая человечность, да, именно человечность в истинном, еще не искаженном, еще не опустошенном смысле этого понятия!

До чего нелепы рядом с такими строками, которые без конца повторяешь себе, без конца в них вслушиваясь, до чего нелепы и ничтожны рядом с ними все позднейшие наши «измы», символизмы, акмеизмы, имажинизмы, сюрреализмы, какая это суэта сует, — даже,

если, скажем, Блоку и удавалось в редкие, лучшие его минуты договариваться до почти (но только — почти) такой же чистоты и глубины! Правда, без суеты сует, без литературной игры и, значит, в наше время без «измов», без торопливого обновления форм и течений, мало кому под силу жить, но надо бы по крайней мере быть скромнее и оставить иллюзию насчет прогресса в искусстве.

Откуда и как возник Пушкин? При попытке ответить на этот, казалось бы, историко-литературный вопрос что-то тоже ускользает от понимания. Его «заметил и в гроб сходя благословил» Державин. Гениальный варвар и, конечно, единственный настоящий его предшественник, как бы Жуковский и Батюшков ни казались ему близки. Но хаотическая мощь Державина, прорезанная будто молниями отдельными ослепительными проблесками, отстоит от Пушкина всего на несколько десятилетий, — когда же успел Пушкин вырасти, возмужать, дотянуться до своего хрупкого, несравненного совершенства, научиться всему, что он с собой принес, дать в своей поэзии какой-то идеальный облик и отражение России, независимо от исторических условий?

Это, т.е. отражение России, пожалуй, самое важное в его творчестве, и оттого 29 января 1837 года надолго, может быть навсегда, останется одним из самых знаменательных и драматических дней нашей истории. Пушкин был умом и сердцем России, был с нею неразрывно слит, а после его исчезновения она начала порывисто и нестройно развиваться, и расти, и катиться под гору, и обогащаться, и тускнеть, вплоть до нашего века, до ее «страшных лет», если еще раз сослаться на Блока. Нельзя всего этого забыть. Оттого, вероятно, каждый мыслящий русский человек, рано или поздно, после каких угодно духовных блужданий, возвращается к Пушкину.

— Пушкин — мой отец, — сказал Толстой, — и, раскрыв его книгу, перелистывая, перечитывая дорогие страницы, испытываешь успокоение и отраду, будто вернулся домой.

Солженицын — Нобелевский лауреат

Четверг, 8 октября, полдень. Телефонный звонок, взволнованный голос:

— Солженицын получил Нобелевскую премию!

Первое чувство — не просто радость, нет, а скорее глубокое, неожиданное удовлетворение: значит есть еще в мире справедливость, есть некий духовный порядок, значит остались люди, делающие то, что им подсказывают чутье и совесть. Не хочется думать о неизбежных протестах, о глупых административных дразгах, вроде исключения Солженицына из Союза писателей. Наоборот, мысль обращается к тем, наверно бесчисленным, людям, которые и там, в России, удовлетворены так же глубоко, как и мы.

А затем мысль переходит к самому Солженицыну, к его книгам. Года два тому назад Евгений Евтушенко в нашумевшей телеграмме, воспроизведенной в большинстве западных газет, назвал себя скромным преемником — или продолжателем — великой русской литературы: Пушкина, Толстого, Достоевского, Солженицына. Помню, я прочел и подумал: нет, это слишком смело. Сопоставление трех имен, составляющих славу и честь России, с именем Солженицына слишком торопливо и рискованно. Надо бы подождать, надо бы дать времени вынести свой окончательный суд.

Но, в сущности, Евтушенко был прав. Солженицын — огромное явление, единственное за последние полвека. Казалось, великая русская литература оборвалась, — в согласии с суждением Алданова, сказавшего однажды, притом в присутствии Бунина, что началом ее были юношеские стихи Пушкина, а завершением толстовский «Хаджи-Мурат». Но в лице Солженицына она продолжается, на прежней своей высоте, с прежней тревожной обращенностью к самым важным для человека вопросам. Заблуждением было бы усмотреть в его писаниях преимущественно злободневность, пусть кое-что в «Круге первом», например, может дать к такому заблуждению повод. Достаточно, однако, в оба его больших романа вчитаться, чтобы стало ясно слияние двух планов, одного — современного, даже злободневного, другого — вечного,

неизменного. Начало «Ракового корпуса» может сойти за вариацию на тему «Смерти Ивана Ильича»: человек еще вчера благополучный, преуспевающий, сталкивается с вероятностью близкого исчезновения, и человек этот растерян, то сопротивляясь судьбе, то беспомощно ей сдаваясь. Впечатление не совсем ошибочно, и «Смерть Ивана Ильича» как бы витает над всем солженицынским романом. Но по мере чтения улавливаешь в нем и другое: свидетельство о том, как эпоха и установленные ею условия измучили людей, хотя все же не могли окончательно их искалечить, превратить в безличные статистические единицы. Достаточно вспомнить разговор умирающего Шулубина с Костоготовым в конце романа, — разговор, вполне достойный сравнения с незабываемыми карамазовскими беседами, — чтобы убедиться, с каким проникновением Солженицыну удалось сплести в одно вечную, загадочную тему смерти и жизни с тем, что оказалось ужасающим содержанием нашего века.

В «Круге первом» наоборот: как будто только современность, только тьма и бедствия сталинских лет. Но Солженицын постепенно углубляет повествование, и, рассказывая о своих несчастных героях, говорит о неистребимости человеческого духа, о невозможности искажить образ и подобие Божьи, даже если отнято у человека все, что составляет прелесть жизни. На самом дне бесправия люди образуют общество, которое могло бы стать примером для многих других, свободных и счастливых. Это — и литература в узком смысле слова, но это не только литература, как не только литературой было все наиболее дорогое и значительное, что Россия дала в прошлом. «Первый круг», пожалуй, небрежнее, шероховатее, чем «Раковый корпус», но, во-первых, Солженицын предупредил, что это — черновая рукопись, сданная в печать вопреки его желанию, а во-вторых... во-вторых, какой мелочью, какими пустяками представляются в этом мощном потоке та или иная не совсем складная фраза, не вполне доработанная страница! Есть ведь в «Круге первом» целые главы, которыми вправе был бы гордиться самый прославленный новый художник, увенчанный любыми лаврами.

Эти два романа Солженицына, да и такие рассказы, как чудесный «Матренин двор», — вызвавший слезы у Анны Ахматовой, — хочется счесть обещанием духовного возрождения России. Какие оно примет внешние, политические формы, вопрос второстепенный. Все изменяется, возврат к исчезнувшим формам едва ли возможен, и, по-видимому, Солженицын, как и его сверстники-единомышленники, это сознает. Но не случайно он говорит об «осколочке Мирового Духа», живущем в каждом из нас, не случайно мечтает о строе, при котором совесть, очнувшись от идейных наркозов, пересмотрит и отвергнет волчьи общественные и государственные принципы. Как знать, может быть, наши внуки и правнуки доживут до времен, когда Россия, выйдя из своих затянувшихся испытаний, умудренная и обогащенная своим страшным социальным опытом, поднимется до высот, которых страстно ждали и в которые верили некоторые вдохновенные русские мыслители далекого прошлого. Если бы это произошло, наши внуки и правнуки должны будут с благодарностью вспомнить первого из новых провозвестников возрождения — Александра Исаевича Солженицына.

Бунин — обличитель

Встречи и близкое знакомство с Иваном Алексеевичем Буниным, долгие, частые беседы с ним, — особенно в последние его годы, — были одним из счастливых эпизодов или даже событий в моей жизни. Счастливых отчасти в том смысле, что могло бы ведь их и не быть. Вспоминая прошлое, вглядываясь него, убеждаешься каждый раз с новой силой во всемогуществе случая: все могло бы сложиться иначе, притом из-за одной, как будто совсем незначительной причины, механически сцепляющейся с другими такими же и бросающей отдельные существования куда вздумается, не считаясь ни с чем.

Все мы могли бы знать людей, самые имена которых остались нам неизвестными, и наоборот, все мы называем друзьями или приятелями тех, которые скорей подвер-

нулись нам на пути, чем были нам предназначены. Даже в любви, даже в самой страстной, самозабвенной любви это так: царит иллюзия «единственности», выбор, ограниченный сравнительно ничтожным числом возможных на человеческом веку встреч. Мне скажут, пожалуй, что это общеизвестно, что не к чему ломиться в открытую дверь... Да, верно. Но бывают встречи настолько обогащающие сознание, что отсутствие их представляется немислимым, и такой для меня была встреча с Буниным. Конечно, я знал бы его, как писателя, вероятно, был бы с ним знаком, но и знакомство могло бы оказаться только «шапочным».

А именно разговоры с Буниным, особый, неизменно гневный характер его суждений, едва только речь заходила о новой литературе, именно это врезалось мне в память, — и теперь, к столетию со дня его рождения, все настойчивее заставляет задуматься: не был ли он прав в своей вражде к духу эпохи, к тому «все позволено», которое в последние десятилетия стало ее основным творческим принципом?

Время он еще в молодости застал бурное: так называемый «серебряный век», с Достоевским, впервые утвержденным в своем равенстве Толстому и в противостоянии ему, с тревожными русскими предчувствиями, оправдавшимися скорей, чем кто-либо предполагал, и в более грозном облике, чем кто-либо предвидел. Была игра с огнем, — игра не только русская, и было ее отражение в литературе. Бунин это чувствовал с редкой остротой. Чувствовал и ненавидел.

Был ли он прав? Признаюсь, я всегда склонен был ответить отрицательно, и теперь еще колеблюсь, в особенности вспоминая, что презрительная ненависть его распространялась и на Александра Блока. От всего можно отказаться, — говорил я себе, — всем можно пожертвовать, кроме Блока. Наш пресловутый, на все лады превознесенный и расхваленный «серебряный век» был бы, в сущности, трагикомичен без Блока. Один Блок самым недоумением своим при виде этого «пира во время чумы», — или во всяком случае перед «чумой», — своими взлетами и срывами, своими прозрениями и невольными промахами, один он был как бы заложником прежней великой русской литературы

среди утративших чувство ответственности, захмелевших своих собратьев*.

Бунин, так сказать, все валил в одну кучу и не отличал Блока от болтунов и притворщиков, успешно выдававших себя за поэтов. Полностью проглядел он и Анненского (впрочем, как и чуть ли не все его сверстники, за исключением Вячеслава Иванова). Вероятно, некая природная трезвость его натуры, малая его впечатлительность, а в его собственной поэзии преобладание зрения над слухом обусловили его отталкивание от неясных мотивов, носившихся в воздухе. В частности, поэзия Блока представлялась ему искажением великих русских традиций, а не тем горестным растерянным послесловием, каким она безотчетно была. Тут следовать за Буниным нельзя.

Но в этом ли суть, сущность дела? Даже видя ошибки Бунина в его оценках, не следует ли отдать должное его стойкости в сопротивлении надвигавшемуся помрачению литературы и искусства? Когда-то Чехов сказал Бунину: «Вот умрет Толстой и все пойдет к черту». — «Что, литература?» — спросил Бунин. «И литература», — был чеховский ответ. В те далекие годы это могло показаться замечанием более чем спорным, чуть ли не шуткой, но это не кажется шуткой теперь, даже если не придавать рокового значения исчезновению Толстого. Толстой ничего удержать не мог бы, как еще много бессильнее оказался Бунин. Но не был ли он прав в своем гневном, непреклонно-твердом сопротивлении растущему литературному распаду.

Здесь надо бы поставить многоточие или же исписать десятки страниц в пояснение сказанного. Приходится,

* В недавно вышедшей книге покойного Н. Валентинова «Два года с символистами», книге интересной и живой, хотя и написанной человеком органически чуждым тому, о чем он рассказывает и рассуждает, страницы о Блоке почти кошунственны. Пока читаешь о выходках и выдумках Андрея Белого, которого Валентинов знал лучше, чем Блока, говоришь себе: да, какая-то доля правоты в этих зарисовках есть, да, в Белом действительно было сочетание чего-то близкого к гениальности с уступкой витиеватой модернистической литературщине и с постоянным «ячеством». Блок был, может быть, менее оригинален, не столь блистательно и разносторонне даровит. Но во внутренней чистоте его творчества Валентинов не уловил и не понял ничего.

значит, надеяться на понимание «с полуслова». В самом деле, читая иные новые книги, русские и в особенности западные, глядя на иные картины, слушая новейшую музыку, невольно спрашиваешь себя: куда все идет, не «к черту» ли, по предсказанию Чехова? Дальнейшее развитие невозможно, впереди, — и не так далеко впереди, — стена или пропасть. Возражение, согласно которому человек стареющий или состарившийся неизменно брюзжит и отстраняет все новое, в данном случае ничего не объясняет, да и вообще неприменимо, поскольку никогда еще в истории не было такой спешки, такой беспечности в смене форм, такого разрыва с прошлым, такого восторга — не «телячьего» ли? — перед мнимым освобождением от мнимых оков.

Другое возражение основательнее: другое, т.е. ссылка на головокружительный научный и технический прогресс и связанную с ним коренную ломку бытовых устоев. Пушкин ближе к Горацию, отстоящему от него на два тысячелетия, чем к футуристам или сюрреалистам, — и, конечно, это не случайно, конечно, это частично объясняется неслыханными открытиями, внесенными в нашу жизнь, в наши сознания те или иные изменения. Несомненно, сыграли известную роль и военные или социальные потрясения нашего века, с миллионами жертв, с возмущением новых поколений при виде того, что сделали с жизнью их отцы.

Но так ли нерасторжима связь одного с другим, так ли глубоки психологически метаморфозы? Эйнштейн и Фрейд — если назвать два наиболее показательных имени, — ответственны ли за ребяческую вульгаризацию их догадок, за торопливое, слепое разбазаривание их наследия? Не обречены ли мы все-таки жить в мире, где теоретические открытия, порой укладываемые лишь в математические формулы, практически ничего для нас изменить не могут? В мире, где время, например, навсегда останется для нас временем, будильником или карманными часами, — хотя бы мы и узнали с величайшим изумлением, что время в действительности растяжимо?

Не окажемся ли мы в конце концов у разбитого корыта, с той же плотно над нами завинченной крышкой, и не усмехнется ли будущее «усмешкой горькою обманутого сына» над теперешним призрачным расцветом

литературы и искусства, с полубезумными, а то и просто глупыми новыми романами, со стихами, в которых финальное, желанное преодоление и преображение прозы беззаботно заменено бегством от нее и грошовой «поэтичностью», пусть и на самый изысканный, самый приперченный лад? А заодно не усмехнется ли будущее и над нетерпеливыми несмысленными, готовыми восхищаться всем новым только потому, что оно, видите ли, «ново» и открывает «новые горизонты»?

Да, бесспорно, не вся теперешняя «передовая» литература, не все «передовое» искусство таковы. Но основная линия передового творчества, — в кавычках или без кавычек, — теперь именно такова. Надо надеяться, что у наиболее прозорливых апологетов, приверженцев, а в особенности у истинных творцов новизны сознание тупика и трагизма начинает преобладать над чувством освобождения. Но сколько вокруг шумихи, модничания, самоупоения, самообольщения, слепоты! Сколько претенциозных пустячков, выдаваемых — и почтительно принимаемых! — за нечто значительное, вдохновенное, заслуживающее кропотливого академического исследования и изучения!

Возвращаюсь, однако, к Бунину. Он не был прав, отвергая все то, что было ему не по душе, а споры с ним бывали трудны отчасти потому, что в спорах он большей частью ограничивался восклицаниями. Но тверже кого-либо другого из больших художников нашего века он остался непреклонен в сопротивлении господствующим течениям, ничем в них не соблазнившись. Была не только стойкость, было и благородство в этом по существу безнадежном сопротивлении. Иллюзий Бунин себе ведь не делал, он знал, он понимал, — скорей интуитивно, чем рассудочно, — что начавшийся процесс остановить не удастся. Я не уверен даже, что он задумывался над вопросом: а что впереди? Но те, кто на вопрос этот пытается найти ответ, должны бы принять его отказ от сделок со своей художнической совестью как урок, как пример, как предостережение, — и во всяком случае как нечто такое, что входит важным свидетельством в «дело» о нашем времени.

Нобелевская премия

Когда в конце прошлого века Альфред Нобель завещал чуть ли не все свое огромное состояние на ежегодное присуждение премий самым выдающимся представителям науки и литературы, едва ли кто-нибудь предвидел, что идея его вызовет раздоры и даже ожесточение. Не такое тогда было время. Нобель указал, что премия по литературе должна быть выдана писателю, творчество которого одушевлено «возвышенным идеалом» и способствует духовному прогрессу человечества. Казалось, указание достаточно ясно, чтобы для разногласий не было оснований. Обманчиво или нет, мир еще был внешне благополучен и спокоен, содержание слова «идеал» представлялось само собой понятным, вера в прогресс поколеблена еще не была. Правда, мир стоял на пороге всяческих потрясений, крушений и пересмотров, но догадывались об этом лишь редкие, одинокие умы, мало кого своими догадками смущавшие.

Однако первое же присуждение премии по литературе, в 1901 году, вызвало недоумение и недовольство. Лауреатом оказался Сюлли-Прюдом, французский поэт-мыслитель, теперь полузабытый, но почтенный, достойный уважения и по-своему имевший право на звание служителя «возвышенных идеалов». Недовольство решением шведских академиков возникло только потому, что еще жив был Лев Толстой и что всесветный престиж и слава его, казалось, исключали возможность иного выбора, в особенности первоначального, вступительного. Ряд писателей, в числе их и французы, протестовали против того, что Толстой был обойден, хотя и объясняли большей частью этот факт соображениями дипломатическими. Вспоминая, однако, былые, давние нравы, общественные и политические, общую сравнительную терпимость, тогда царившую, приходишь к убеждению, что едва ли русское правительство было бы оскорблено увенчанием его противника. Еще раз скажу: не такое тогда было время. Существой в те годы в России союз писателей, никакой черносотенец, ни после «Воскресения», ни после «Не могу молчать», не решился бы предложить исключение Толстого из его рядов.

Сколько с тех пор воды утекло! Какие произошли метаморфозы, и не тянет ли порой повторить герценовские слова, с еще большей горечью, чем та, которую вложил в них Герцен: «Есть с чего с ума сойти!» Были мелочи, о которых не стоит долго говорить, вроде демонстративного отказа от премии со стороны известнейшего французского писателя, по-настоящему умного, по-настоящему даровитого, но будто не способного отделаться от пристрастия к репетиловскому принципу «шумим, братец, шумим!». Дожили мы и до драмы с Пастернаком. А теперь дожили до случая, который, по справедливости, надо бы охарактеризовать как трагикомический: до вздорного негодования и обвинений, поднявшихся вокруг присуждения Нобелевской премии Солженицыну. Случай комичен из-за смехотворных усилий казенной московской печати, вкупе с высокопоставленными, высокопартийными братьями-писателями, доказать, что Солженицын — величина совсем ничтожная. А трагичен случай глубже, трагичен по существу, из-за лжи, из-за мракобесия, до которого докатилась наша Россия после всего великого и бессмертно-светлого, что в своей литературе она миру дала.

Да, Нобель требовал «возвышенного идеала». Перечтите в ответ на это требование, например, в «Круге первом» главу о замке Святого Грааля, замке, за которым брезжит сияние, исходящее «то ли от Солнца, то ли от чего еще чище Солнца, скрытого от нас». Не касаюсь вопроса, как это написано, с какой правдивой силой, с каким пренебрежением ко всякой литературной манерности: нет, вспоминаю эту страницу, да и многие другие в том же удивительном «Круге первом», лишь с уверенностью, что можно, значит, еще говорить об «идеале» даже и в наше духовно-растерянное, во всем усомнившееся, как будто выветрившееся время.

А поехал ли Солженицын в Стокгольм, предпочел ли остаться в Москве — в сущности, все равно. Во всяком случае — не имеет большого значения. Премию получил тот, кто должен был ее получить. Шведская академия, допустившая в 1901 оплошность, теперь исправила, купила ее, увенчав писателя, которого можно без колебаний признать достойным наследником и преемником Толстого. В этот день мы низко ему кланяемся, с благо-

дарным сознанием, что в наш трудный век, вдалеке, на чужой земле, судьба дала нам все-таки радость быть его современниками.

Памяти М.Л. Кантора

Обычное, примелькавшееся, стереотипное начало многих статей: «Трудно писать о том-то...», «трудно говорить о таком-то...». Большой частью это всего только литературный прием, впрочем отчасти оправданный тем, что первые написанные фразы почти всегда кажутся пустыми и лишними. Но бывают случаи, когда «трудно» в самом деле. Так сегодня мне трудно написать несколько слов о только что скончавшемся Михаиле Львовиче Канторе: трудно объяснить людям, его не знавшим, что это был за человек и почему те, кто его знал, едва ли когда-нибудь его забудут.

Познакомился я с Михаилом Львовичем очень давно, в начале двадцатых годов. Он был секретарем журнала «Звено», редактировавшегося М.М. Винавером. Редакционные собрания происходили еженедельно. С первых же встреч меня поразила какая-то особая сдержанность Михаила Львовича, его благожелательность, вежливость и вместе с тем непроницаемость, его приветливость и замкнутость. Позднее я близко с ним сошелся, подружился, работал вместе с ним над различными изданиями, подолгу с ним беседовал. Однако при всем этом первоначальное впечатление от его личности не изменилось, пожалуй, даже усилилось. А к прежним чертам прибавилась другая, которую я не сразу уловил: непреодолимая, редчайшая скромность.

Он был умен, проницателен, всесторонне образован. При его данных другой человек быстро пробился бы к известности гораздо более широкой, чем та, которой удовлетворялся он. Михаил Львович вовсе не пренебрегал известностью, не отвергал ее сколько-нибудь принципиально. Нет, но было в его духовном облике что-то побуждавшее или даже заставлявшее его остаться как бы «на полях» литературы и может быть самой жизни, без стремления к деятельному, всем заметному вторжению в нее. Он был прежде всего созерцателем, а деятелем был

лишь «постольку, поскольку», т.е. поскольку в условиях нашего существования это необходимо и неизбежно. Разговаривая с ним, удивляясь безошибочной меткости иных его суждений, я не раз говорил себе, что позавидовать ему или поучиться у него могли бы многие наши властители или полувластители дум. Он, вероятно, сам это сознавал, но не мог, да, пожалуй, и не хотел что-либо в своем положении и в своей участи изменить.

Еще одна черта была в нем и украшала его: совершенная, так сказать абсолютная, порядочность, не допускавшая даже мысли о сделках с совестью. По университетскому образованию он был юристом. Когда-то я сказал ему, что в юриспруденции он, может быть, и знаток, и авторитет, но хорошим адвокатом, по-моему, быть не способен. Михаил Львович улыбнулся: «Разве? А ведь я вел и провел немало довольно сложных дел!» В ответ я сослался на замечательную страницу в статье Маклакова «Толстой и суд», где автор-адвокат открыто признает, что у него «выработалось умение найти в фактах то, что найти нужно», что «принимая дело, адвокат принимает и обязанность глядеть на него предвзято», и что «в адвокате развивается способность убеждения». Михаил Львович, — в этом я уверен, — не мог бы вести и выиграть дело, в котором аргументация была бы не совсем в ладу с его чувством правдивости и справедливости. Об этом я и сказал ему. Он задумался, помолчал и, как водится, перевел разговор на другую тему.

Он писал и стихи, но только под конец жизни, уступая настояниям друзей, согласился выпустить сборник их. Стихи чистые и тихие, восходящие к одинокому мудрецу Баратынскому, без обычного лирического самолюбования, без малейшей позы. В одном из стихотворений, будто решившись наконец рассказать кое-что о самом себе, он тут же спрашивает:

...Поймете ль вы, друзья,
С каким трудом все это говорится,
Как счастлив был бы в ваших играх я?

В наших общих здешних «играх», то скучноватых, то оживленных и помогающих забыться, он действительно не участвовал. Или, если и участвовал, то почти нехотя,

почти призрачно. «Друзья», к которым он в стихотворении обращался, знали это. Тем вернее они сохраняют память об этом редком и в своем затаенном, приглушенном своеобразии даже единственном человеке: о человеке, оценить которого полностью не дано было тем, кто к друзьям его не принадлежал.

К 90-летию Б.К. Зайцева

В наши дни, после пятидесяти лет существования эмиграции, на закате ее, Борис Константинович Зайцев — единственная оставшаяся у нас связь с былой, великой русской литературой. Последний голос ее, последний отблеск исчезающего сияния, последний писатель, имя которого появилось в печати еще в те годы, когда украшали русскую печать имена Толстого и Чехова. Одно это должно бы внушить особое внимание и даже любовь к творчеству Зайцева. Но ведь и само по себе, независимо от соображений о преемственности и традициях, творчество это — явление, о котором трудно вспомнить без благодарности.

В наши дни... начать можно было бы эти несколько строк и иначе: например, «в наше тяжелое время», «в наш грозный век». Но ведь и без всяких эпитетов ясно, что «наши дни» не похожи ни на какие другие, по крайней мере не похожи лично для нас. Отчего мы уехали из России? Для чего живем и умрем на чужой земле, пусть и гостеприимной, а все-таки чужой?

Из Москвы нам с усмешкой ответят: шкуру свою спасали, только и всего! Но ведь мы твердо знаем, что это не так, и вся эмигрантская литература — свидетельство того, что это не так. Уехали и остались здесь потому, что чувствовали потребность жить, думать, писать по-своему, потому, что Россия в течение десятилетий принуждена была молчать, а если и говорила, то шепотом, какими-то двоящимися намеками, уехали потому, что в эти «наши дни» слишком многое хотелось по мере сил сказать именно от лица России.

Можно было и остаться дома. Ахматова, например, осталась и с гордостью подчеркивала это, начиная со стихов раннереволюционных лет до вступительного

четверостишия к позднему «Реквиему». Бог ей судия за гордость! Но ведь и Бунину или Зайцеву нашлось бы чем гордиться, будь они к гордости склонны. То, что они писали, то, о чем и как писали, не могло бы появиться в СССР, и, вероятно, даже не было бы там написано, в одиночестве, в смутной, грустной надежде на понимание и признание со стороны потомков.

Имею я в виду вовсе не политическую полемику, да, бесспорно нужную, но по-другому и в другой плоскости нужную. Имею я в виду образ России, образ русского человека, каким он был и останется, русский вклад в общечеловеческую сокровищницу, начатый очень давно и здесь продолженный, порою в бедственных условиях и, что же скрывать, большей частью при рассеянном-вежливом, равнодушно-уклончивом отношении иностранцев.

Невольно повторяю то, что уже не раз приходилось говорить: когда-нибудь все это будет взвешено, пересмотрено, признано, не нашими детьми, так внуками или правнуками, когда-нибудь истина будет восстановлена, а ее пустые и злобные искажения отброшены.

Перечтите книги Бориса Зайцева, — например, «Анну», пожалуй, лучшую, самую законченную из его повестей, или «Путешествие Глеба», или «Дом в Пасси», или «Валаам» и отдельные короткие рассказы. Это не могло быть написано в советских условиях и, значит, это оправдывает долголетний отрыв от родной земли.

Был отрыв материальный, не было отрыва духовного. Если искать в русской литературе предков Зайцева, одно имя вспоминается прежде всех остальных: Жуковский. Отчасти, пожалуй, и Тургенев, поскольку Зайцев — прозаик, романист и стихов не пишет. Но во внутреннем своем складе он к Жуковскому ближе, и на прозе его всегда лежит оттенок тихой, меланхолической задумчивости и даже той «пленительной сладости», которую у Жуковского нашел Пушкин.

Зайцев — реалист, однако с какой-то трещинкой в восприятии реальности, с постоянным, затаенным томлением о чем-то нездешнем; и не случайно, в той же «Анне», он вскользь упоминает, например, об «отрешенном благоухании» зимнего воздуха или о «бессмертном отсвете» снега.

Не случайно он посвятил прекрасную книгу монастырю на о. Валааме, уловив, как в наше время едва ли кто-нибудь другой, непреходящую красоту и значение иночества, легковесно высмеянного Белинским, да и не им одним. Можно спорить, возражать, можно противопоставить зайцевскому восприятию жизни другие принципы, мысли и настроения.

Но это — Россия, это — живая русская культура, продолжающая развиваться и здесь, за рубежом; отказывающаяся принять в качестве нового идеала грубые прописи, или, — как метко сказал в «Докторе Живаго» Пастернак, — «бесчеловечное владычество выдумки», высокомерно предлагаемые оттуда, из-за рубежа.

Скажем же Борису Константиновичу спасибо за то, что он остался России верен.

Печальное имя Блока

Прежде всего объясню название моей короткой статьи. Название это — ответ на тоже короткую, но интересную, живую, похожую на страничку из дневника статью Зинаиды Шаховской «Веселое имя Пушкина». Принадлежат же эти слова Блоку.

«Пушкин — наше все», начинает свою статью Зинаида Шаховская, цитируя, — если не изменяет мне память, — Аполлона Григорьева и утверждая, что это «почти бесспорно». Однако все, что говорит она дальше, опровергает это будто бы «бесспорное» утверждение. Да и могло ли быть иначе? Пушкин в нашей литературе — явление единственное, на веки веков незабываемое, но сразу же, у Лермонтова и Гоголя, при всем их преклонении перед ним, вызвавшее сопротивление. «От страшной жажды песнопенья, пускай, Творец, освобожусь», вздыхал Лермонтов, и никогда этого не сказал бы Пушкин, как, впрочем, не причислил бы всю мировую поэзию к «скучным песням земли». Гоголь, в особенности поздний, даже стилистически отталкивается от Пушкина. «Монастырь ваш — Россия», например: эта скорбная, иночески-отрешенная интонация, в «Переписке с друзьями», у Пушкина была бы невозможна. Признаюсь, даже переданное самим Гоголем замечание Пушкина,

после того как он прослушал первые главы «Мертвых душ», — «Боже, как грустна наша Россия!» — представляется мне перестроенным, может быть, безотчетно, на гоголевский лад. Пушкин мог по смыслу сказать то же самое, но сказал бы, вероятно, иначе. Надо было бы коснуться Толстого, Достоевского, пушкинская речь которого — важнейший документ для понимания автора «Карамазовых», однако почти ничего не дающий для понимания Пушкина. Но перейду к Блоку, которого противопоставляет Пушкину Зинаида Шаховская, и противопоставляет в ущерб, в упрек Блоку.

Что Блок, как бы замечателен, даровит и обаятелен он ни был, все-таки — не Пушкин, с этим спорить трудно. Но в нашем трудном и темном двадцатом веке он занимает место Пушкина, он, «дитя страшных лет России» — его наследник и преемник. Не знаю, величайший ли он русский поэт нашего столетия, но уверен, что никто другой кроме него не имеет духовного права представлять собой Россию в той же мере, как представлял ее Пушкин. Кто помнит впечатление, произведенное его смертью, согласится с этим. Да, Россию, со всеми ее срывами, с ее несчастьями, которые он предчувствовал и предвидел. «Наше солнце в муках погасшее», — писала в эти дни Ахматова. Зинаида Шаховская со скрытым укором утверждает, что у Блока «не было чувства великодержавности, присущего Пушкину». Невольно я вспомнил некоторых советских краснобаев, беспрепятственно проникнувшихся этим «чувством великодержавности», переименовав его, конечно, на новейший лад, вспомнил и подумал — «слава Богу, что у Блока его не было!» Все в его годы катилось под гору, все уже было призрачно, а у него было слишком много чутя, чтобы этого не уловить.

Обрываю эти свои замечания потому, что продолжать их можно было бы без конца. «О Пушкине все сказано», по всем известному, стереотипному утверждению. Нет, никогда о Пушкине все сказано не будет, пока жив хоть один человек, способный его читать и по-своему понять. И о Блоке никогда все сказано не будет. Даже об этой его формуле, которую переняла Зинаида Шаховская — «Веселое имя Пушкина» — можно было бы исписать десятки и сотни страниц. Ограничиваюсь поэтому другой формулой — «Печальное имя Блока».

«Август четырнадцатого»

Роман Солженицына

Мало есть сейчас на свете писателей, чье новое произведение возбудило бы столько интереса и внимания. Солженицын — один из этих немногих, «избранных». И вовсе не потому, — во всяком случае, не только потому, что у себя на родине он находится в особом, парадоксальном и тягостном положении, вовсе не в силу обстоятельств, о которых он говорит в послесловии к своему новому роману «Август четырнадцатого». Конечно, эти печальные и постыдные обстоятельства некоторую роль в известности Солженицына играют. Но даже не будь их, внимание к каждому новому его произведению было бы обеспечено. «Великая русская литература кончилась на “Хаджи-Мурате”», — сказал однажды покойный Алданов. Казалось, это действительно так, несмотря на то, что были у нас и после Толстого даровитейшие писатели. Что-то со смертью Толстого как будто оборвалось, исчез былой неповторимый склад и тон русской литературы, ее духовная несговорчивость, ее тревожность, требовательность, ее, как говорится, «горение». Но нет, великая русская литература продолжается: теперь, с появлением, — или лучше бы сказать, с явлением, — Солженицына, сомнений в этом быть не может. Солженицын — очень большой писатель, и притом в каждом своем слове писатель глубоко и характерно русский.

Роман его «Август четырнадцатого» только что вышел, пятьсот семьдесят страниц этого романа я только что прочел. Надо бы, значит, с отзывом подождать, надо бы дать отстояться впечатлению, — да, именно отстояться, чтобы во впечатлении этом выделилось основное и ослабело, отступило на второй план все случайное. Кое-что, однако, сказать можно, и — надеюсь — сказать без риска ошибиться.

Бесспорно, это произведение замечательно, с отдельными незабываемыми страницами и главами. Начало не совсем на том уровне, какого от Солженицына ждешь. Вероятно, в следующих, обещанных автором, томах этой огромной эпопеи, построенной по принципу чередования «мира» и «войны», одно с другим теснее свяжется,

неразрывнее сольется в единую картину. В первом томе это еще не так, и хотя жизнь богатой, прочно осевшей на юге России семьи обрисована мастерскими штрихами, книгу перелистываешь без того волнения, которое, например, при чтении «Ракового корпуса» возникает сразу. Эпизод в парке Ясной Поляны, куда забрел студент-толстовец для беседы с Толстым, упрощенно-схематичен, тянет даже сказать — никчемен. Но мало-помалу повествование крепнет, возвышается и неотразимо овладевает сознанием читателя, сначала довольно рассеянным. Происходит это тогда, когда Солженицын переходит к рассказу о военных событиях в августе 1914 года: о несчастном, плохо продуманном, еще хуже подготовленном наступлении русских войск в восточной Пруссии, — наступлении, которое на первых порах представлялось триумфальным шествием на Берлин, но вскоре превратилось в катастрофу и привело к самоубийству генерала Самсонова. Все, что относится к этому самоубийству, внешний и в особенности душевный облик генерала, его растерянность и смятение, его превращение из традиционного, пусть и незадачливого вояки в человека, который сознает, что ответственен не столько перед высшим начальством и даже государством, сколько перед вверенными ему, гибнущими, сбитыми с толку людьми, его просветление, наконец, его смерть, все это превосходно и, скажу еще раз, незабываемо. Солженицын тут в своей сфере, наедине с измученной человеческой душой. Признаюсь, я раньше мало что знал о Самсонове, кроме того, что он проиграл большое сражение и покончил с собой. Но теперь возникает желание ближе в него взглянуться, больше о нем узнать, а предположение, что солженицынский рассказ произволен, представляется неправдоподобным.

Почти так же хорош образ полковника Воротынцева, поведением своим и манерой держаться смутно напоминающий толстовского князя Андрея, — правда, только сначала. Воротынцев послан из ставки Верховного главнокомандующего к генералу Самсонову осведомиться о его успехах и о положении на фронте. Вместе со всей самсоновской армией он попадает в немецкое окружение и каким-то чудом, с двумя-тремя солдатами и младшими офицерами, выбирается из него. Воротынцев,

по-видимому, выражает суждения автора о причинах катастрофы и о преступном легкомыслии ее виновников, хотя суждения эти и не исчерпываются одним, общо-собленно-трагическим эпизодом. Насколько можно решить по первому тому романа, замысел Солженицына обращен ко всему случившемуся в России, — или, вернее, случившемуся с Россией, — начиная с не менее несчастной и ненужной японской войны и до революции включительно. Прав ли он в своих выводах и догадках, судить трудно, да судить еще и рано. Прав ли он и в некоторых психологических обрисовках, например, в характеристике великого князя Николая Николаевича, который представлен в романе человеком выдающимся, вдумчивым и сдержанным, судить тоже не буду, — хотя и допускаю заблуждение, объяснимое скудостью сведений, оказавшихся Солженицыну доступными. Можно бы ради беспристрастия добавить, что в романе слишком много второстепенных, мелких военных сценок, сбивающихся на толчею, в которой разобраться нелегко. Но чудесно-проницательные вставные страницы, картины, лица, черточки, а главное, тяготеющий над всем повествованием рок — Рок с большой буквы, — искупают то, что кажется недостатком, и побуждают отложить окончательную оценку до второго, более медленного чтения. Или, еще лучше, до выхода романа полностью.

Одно несомненно — книга замечательна, пусть и не безупречна с формальной точки зрения. Да и не только с формальной: Солженицыну сейчас немногим больше пятидесяти лет, эпохи, которая воспроизведена в его романе, он не знал и, пожалуй, не все в ней уловил. Однако уловил он то, что в человеческом существовании важней склада, стиля и веяний каждой эпохи. Один из его эпизодических персонажей, некто Варсонофьев, умный, ученый старик, в торопливой беседе с двумя студентами, недоумевающими, что же в жизни самое главное, в чем главный ее вопрос, говорит:

— На главный вопрос никто никогда не ответит.

Оттого-то, вероятно, с Солженицыным и продолжается великая русская литература, что помимо таланта он сейчас среди писателей редкий человек, который это знает, понимает, чувствует и о чем бы ни рассказывал, всегда об этом помнит.

Памяти Блока

Александр Блок скончался полвека тому назад и за это время отношение к его творчеству не могло не измениться. У большинства блоковских современников отношение это было проникнуто чувством, сущность которого объяснить новым поколениям нелегко. Было нечто вроде влюбленности, была уверенность, что Блок, как никто другой, отражает свою эпоху и в стихах своих с несравненной чуткостью передает все то смутное и тревожное, чем эпоха наполнена. Для современников он был прежде всего поэтом России и ее судьбы, и утверждая это, я имею в виду вовсе не только революцию и послереволюционное блоковское творчество. Нет, историческими фактами утверждение это не исчерпывается. Если поэтом прошлого века, Поэтом с большой буквы, был Пушкин, то, казалось, приблизительно такое же место в двадцатом столетии принадлежит Блоку. «Вседержитель моей души», — писала Цветаева. «Наше солнце», — сказала Ахматова в день погребения поэта. Блок, человек скромный, замкнутый, малообщительный, на власть над душами не претендовал и ее не искал. Власть эта распространилась само собой и была признана почти всеми, кто так или иначе с русской поэзией был связан или, по крайней мере, ею интересовался.

Прошло пятьдесят лет. Теперь Блок — классик, один из крупнейших поэтов за все время существования нашей литературы, но таинственное, магическое обаяние, сложившееся вокруг его имени, развеялось, да едва ли иначе и быть могло. Мало осталось людей, которые помнят, с каким волнением случалось им прочесть новые блоковские строки, — например, обращение к современникам:

Будьте ж довольны жизнью своей.
Тише воды, ниже травы...

Мало осталось и тех, кто в январе 1921 года, в ледяном зале петербургского Дома литераторов слышал, как Блок, уже больной, бледный, весь какой-то окаменелый и померкший, с трудом разжимая челюсти, читал свою пушкинскую речь: «Пушкина убила не пуля Дантеса,

Пушкина убило отсутствие воздуха». Помню, Ахматова в последнюю свою бытность в Париже, лет шесть тому назад, в разговоре о поэзии и поэтах, коснулась Блока и как-то нехотя, вскользь сказала: «Да, люблю я его по-прежнему, но сейчас, в данное время, он мне не нужен».

Слова Ахматовой я запомнил и передаю их точно. Если у нее, когда-то перед Блоком благоговевшей, они могли вырваться, то очевидно не случайно. Исчезла эпоха, утратил притягательную силу и ореол певца, корифея эпохи, «трагического ее тенора», по выражению той же Ахматовой. Остались книги, остались — навсегда останутся — стихи, к которым надо отнестись без прежней восторженной предвзятости, постаравшись отделаться от всего похожего на былой гипноз.

Думаю, что сейчас, в наши дни, царственное место Блока среди русских поэтов двадцатого века не для всех бесспорно. Если бы произвести опрос, вероятно, возникли бы колебания. Были бы выдвинуты имена Маяковского или Пастернака, Мандельштама или Ахматовой, может быть Цветаевой и некоторых других, пожалуй даже Есенина, в зависимости от вкусов и настроений сложившихся под различными новейшими веяниями. Прежние светила, такие как Брюсов и Бальмонт, померкли, но появились новые властители дум, в иных сознаниях оттеснившие Блока на второй план.

Перечтем же его стихи. Формальный их разбор был бы делом долгим, да ему и не место в короткой статье, приуроченной к юбилейной дате. Надо, однако, сказать самое существенное: Блок не был мастером в школьном смысле слова, и если бы школу свою он создал, это была бы школа не безупречная. Учиться у Блока в формальной, особенно в стилистической области почти нечему, а приблизиться к нему без притворства и подделки в силах только тот, кто душевно сколько-нибудь с ним схож. В тех случаях, когда Блока оставляло вдохновение, или когда он требовал от своего вдохновения того, к чему оно было мало склонно, получалось нечто далеко не перво-разрядное. Получалась риторика, декламация, с отдельными редкими вспышками, — и достаточно сравнить, например, «Скифы», стихотворение не в меру прославленное, с пушкинским «Клеветникам России», вещь тоже риторической, но блестящей, чтобы в этом убе-

даться. Однако когда Блок попадает в свой тон, в свою линию, его нельзя не заслушаться. Бунин как-то заметил о Чехове, — если не ошибаюсь, о рассказе «Архиерей», — что он писал «небесно». Так и у Блока есть стихи, о которых хочется сказать то же самое. Да, иногда, не всегда, как не всегда таковы же стихи и его предшественника, его далекого вдохновителя, Лермонтова. Но поэта и надо судить по «иногда»: десяти—двенадцати таких небесных «иногда» достаточно для бессмертия.

Основное, самое существенное у Блока не стиль, а ритм. Вряд ли можно назвать другого русского поэта, для которого интонация имела бы большее значение. В способности найти напев, верно отвечающий смыслу слов, в завораживающем звучании стиха у него нет соперников, во всяком случае нет их в нашем столетии. Благодаря своему чудесному ритмическому дару Блок достигает исключительной выразительности в стихах, где отражено состояние его души: темный ужас, ею владевший, вместе с солидарностью со всеми людьми, с каждым человеком перед слепыми и беспощадными судьбами. Перечтем, например, короткое стихотворение «Поздней осенью из гавани...», с заключительным обращением к матросу «на борт непринятому». Не знаю, подходит ли к нему обычное определение «шедевр», но уверен, что это одно из самых удивительных стихотворений в нашей литературе, пожалуй даже и в мировой. Уверен и в том, что если бы Ахматова вспомнила такие строки, когда сказала, что Блок ей теперь «не нужен», она что-нибудь к словам своим добавила бы, может даже осеклась, умолкла бы. Не в том, конечно, дело, что она от Блока перешла к Анненскому: Анненский — поэт замечательный, споров о нем быть не может. У Анненского немало стихов более острых, как бы более «густых», насыщенных, чем стихи Блока, немало таких стихов и у поэтов уже названных, у Пастернака и в особенности у Мандельштама. Но блоковского голоса, «песен дивного дара», чего-то вроде страдивариусовской скрипки в руке не было ни у кого, и в этом смысле царственное место среди поэтов нашего столетия должно бы за ним сохраниться.

Есть в творчестве Блока еще черта, о которой нельзя не упомянуть. Случается, читая стихи другого автора,

даже из тех, кто достиг большой известности, отмечая мастерство, остроумие, словесную находчивость, вдруг откладываясь книгу и спрашиваешь себя: а что за стихами, какой человек? что может он мне дать? можно ли ему верить или он обманывает меня миражами, как и сам ими забавляется? — спрашиваешь и ответа не видишь. Случается и хуже: сквозь внешний блеск улавливаешь манерничество и фокусничество. У Буало в «Art poétique» есть замечательная строчка, с лихвой искупающая все то довольно-таки плоское или, вернее, духовно ограниченное, к чему его поучения и наставления сводятся:

Le vers se sent toujours des bassesses du coeur.

«Душевная низость всегда скажется в стихе». Вот именно! Сквозь формальные удаchi нередко чувствуетcя самолюбование, литературный карьеризм, стремление поразить, ошеломить читателя, а заодно и затмить очередного соперника. У Блока все это отсутствует абсолютно. Заподозрить Блока в чем-либо подобном мог бы только человек с «пробкой вместо уха», как только сумасшедший мог бы в чем-либо подобном заподозрить Льва Толстого. Духовно Блок безупречно честен, всегда ответcтвенен и серьезен, может быть и плататься за это некоторой внешней тусклостью своего творческого облика, по сравнению, например, с творчеством Андрея Белого, ослепительным, но и более суетливым, как бы ветреным, уклончиво-соблазнительным. Блок — действительно — «дитя добра и света», хочет им быть и им остаться. Нельзя в этом усомниться, нельзя насчет этого ошибиться, — нельзя потому, что не столько «стиль это человек», не самый выбор слов — это человек: нет, человек — в интонации и в ритме. А интонация безотчетна, она возникает произвольно, вне авторского контроля. Именно вслушиваясь в нее, убеждаешься в одиноком, единственном значении Блока в новой русской поэзии. Он не застрахован от срывов и заблуждений, но и не способен ни на какие сделки с творческой совестью. Если бывают годы, когда он оказывается нам «не нужен», то причина скорее всего в нас самих, в нашем непостоянстве, в нашей рассеянности и забывчивости.

Достоевский 1821—1971

Нет в литературе последнего столетия имени, которое вызывало бы столько противоречивых мыслей и откликов, как имя Достоевского. Если к юбилейным дням перечитать его, полностью перечитать, т.е. не только великие его романы, а и «Дневник писателя», и письма, с новой силой убеждаешься в невозможности установить единое к нему отношение. Гениальность не подлежит сомнению, взлет и глубина мысли очевидны, но очевидны и некоторые психологические натяжки, даже иногда и в романах, а в статьях и в письмах — смесь славянофильской заносчивости с проповедью смирения, стремление к верности христианству и православной Церкви, сочетающееся с восхищением «драгоценной деятельностью Победоносцева». Сложнейший, необыкновенный, измученный жизнью был это человек, и, пожалуй, нужны были неслыханные потрясения нашего века, чтобы люди узнали и почувствовали в этой сложности и противоречивости нечто себе близкое. Отразилось это, конечно, и в литературе: многое в новой западной литературе отмечено воздействием Достоевского, и не будь его, склад и характер ее был бы иным. Не случайно Ницше, один из властителей дум нашей эпохи, утверждал, что у Достоевского он научился большему, чем у кого-либо другого.

Есть факт, всем русским давно и хорошо знакомый: чуть ли не всякий литературный разговор, в котором упомянуто имя Достоевского, вызывает и упоминание имени Толстого. Беседа становится страстной, часто нетерпимой: кто, в самом деле, выше, кто глубже? Спор неразрешим, а длиться может без конца. Бунин, например, даже не допускал сравнения, сердился, негодовал: Толстой был для него верховным литературным божеством. Ремизов, наоборот, склонялся скорее к Достоевскому, утверждая, что в «Карамазовых» или «Бесах» рассказано о человеческой душе больше, чем в романах Толстого. Это, пожалуй, верно, если под душой подразумевать чувства, настроения, мысли, безотчетные порывы, поступки. Но если иметь в виду смерть человека, — душу перед лицом смерти, то, что противо-

стоит жизни в ее целом, — если вспомнить смерть князя Андрея, смерть Николая Левина, Ивана Ильича, даже страшную и жалкую смерть Анны, приходится признать, что ничего подобного у Достоевского нет. Каждый довод убедителен лишь по-своему и убедителен не окончательно.

Можно было бы подумать, что спорим о Толстом и Достоевском преимущественно мы, русские. Но нет, это далеко не так. Значение обоих — значение мировое, и каждый из них продолжил в мировой литературе свое русло. Недавно представился случай лишний раз в этом убедиться: вышла в свет переписка двух больших писателей первой половины нашего века, Андре Жида и Роже Мартен дю Гара. Имена Толстого и Достоевского мелькают в этой обширной переписке через каждые десять—двадцать страниц, и многое в этой полемике настолько интересно и значительно, что стоило бы когда-нибудь рассказать о ней обстоятельно. Кстати, надо бы вспомнить и слова Альбера Камю, приведенные философом Жаном Гренье, его старшим другом и наставником, в предисловии к собранию сочинений в издании «Плеяды». Камю будто бы сказал: «Стремление большинства писателей сводится к тому, чтобы усвоив все, что заключено в “Бесах”, написать когда-нибудь новую “Войну и мир”» — и дальше, как будто о себе лично, добавил: «подняться к высотам всечеловеческого искусства». Довольно близкую мысль высказал и Андре Мальро в сопоставлении Великого Инквизитора с умирающим Иваном Ильичом.

Оставим, однако, сравнения, сопоставления и споры. Есть в творчестве Достоевского нечто абсолютно бесспорное, абсолютно единственное. О несчастьи и одиночестве человека, о том его состоянии, когда человеку «пойти некуда», о бесправии, о беспомощности никто с такой силой, с таким сочувственным ясновидением, как Достоевский, никогда не писал. В этой области у него нет соперников. Рассказ Мармеладова, например, кончающего свою исповедь восклицанием «Господи, да придет царствие Твое», вещь единственная, и сколько бы бездарных актеров ни изощрялось в том, чтобы фальшивой театральной читкой опошлить его, он навсегда вещью единственной останется. Или в «Подростке»

глава о полунищей, испуганной матери, пришедшей во французский пансион, с пряниками и двугривенным в узелке, навестить своего разважничавшегося сына. Или старый пьяница, который каждую ночь молится об упокоении души графини Дюбарри, последней фаворитки Людовика Пятнадцатого, узнав, что та, после блеска и лести, которыми была когда-то окружена, кричала на эшафоте, среди гогочущей толпы: «Еще минутку, господин палач... еще минутку!» Можно бы вспомнить и многое другое, поистине незабываемое.

В книгах, посвященных Достоевскому, в критических исследованиях его творчества внимание обращено главным образом на его идеи, на «проблемы». Это естественно, это по-своему законно, удивляться тут нечему. Однако идеи и проблемы, даже и глубокие, поддаются опровержению, могут быть исчерпаны и отброшены. Могут оказаться обманчиво-значительными, и как знать, не ослабеет ли в будущем именно такого рода интерес к Достоевскому? Ничего невозможного в этом нет. Но то, что Достоевский сказал о страдании во всех его видах, устареть, выветриться не может, и теперь, чуть ли не через сто лет после его смерти, сознаешь это яснее, чем когда-либо прежде. В нашем двадцатом веке, со всем тем неслыханным, что век этот принес, голос Достоевского был бы нужнее всякого другого. Никто в мире не нашел в себе силы сказать то, — и сказать так, — что сказал бы он: о слепом безразличии среды к насилию над личностью, о торжестве статистики над моралью, о стремительной переоценке надежд, казавшихся лучшим достоинством человечества, о тупике, в который зашла история. Невольно представляешь себе Ивана Карамазова, который говорил бы на эти темы с Алешей и раз навсегда растолковал, разоблачил бы все случившееся в назидание будущему. Речь шла бы уже не о «слезинках» одного ребенка, а о море, об океане слез, о том, что человек всегда человек, всегда, везде, какова бы ни была его классовая или национальная принадлежность, о невозможности оправдать чем-либо общим миллионы лично ни в чем не повинных жертв.

Есть в новой русской литературе, кажется, один только разговор к этому приближающийся: замечательная предсмертная беседа старика Шулубина

с Костогловым в солженицынском «Раковом корпусе». Правда, в этой беседе нет того обобщения, которое, вероятно, возникло бы под пером Достоевского. В исповеди своей Шулубин занят преимущественно собой, кается в своем малодушии, в своих личных сделках с совестью. Все же нельзя отрицать, что Солженицын затронул те же темы и как бы уловил насущное задание: подхватить, продолжить то, что в иных, менее жестких исторических условиях говорил Достоевский.

К сожалению, родился Достоевский слишком рано. Но как он сам в речи о Пушкине утверждал, что «мы разгадываем его тайну», так нам теперь приходится мысленно воспроизводить его суждения о нас и о нашей эпохе. В этих суждениях — честь и достоинство России, а если они находят в России понимание, развитие и отклик, то это и обещание ее долгожданного духовного обновления.

«Арабский дневник» На полях книги Гавриила Мацнева

Перелистывая, перечитывая книгу Гавриила Мацнева*, вторично задерживаясь на отдельных его утверждениях, отмеченных на полях черточкой или каким-нибудь знаком, нередко даже и вопросительным, я вспомнил слова Зинаиды Гиппиус: «Надо интересоваться интересным». Она повторяла это довольно часто и, в сущности, только тех людей и ценила, у которых чувствовала прирожденное внимание к «интересному», к «самому важному», по другому ее выражению.

Книга Мацнева — именно об «интересном», в гиппиусовском смысле слова. В ней как будто несколько слов, которые при чтении мало-помалу отделяются один от другого, и последний слóй настолько «интересен», насущен, что в газетной статье приходится лишь вскользь его коснуться, да и то не без чувства некоторой неуместности. Правду сказать, больше хочется написать автору частное письмо или побеседовать с ним с глаза на глаз.

* «Le carnet arabe». Gabriel Matzneff. Edit. La Table Ronde. Paris, 1971.

Книга запальчивая, с внутренними перебоями, до крайности «эгоцентрическая». Из-за этого она может вызвать раздражение, даже отталкивание. Но нельзя не почувствовать, что книга эта глубоко искренняя и что даже в тех случаях, когда автор чуть-чуть рисуется, он тут же готов в этом сознаться и что вообще от какого-либо самообмана он далек. Габриэль, или скажем лучше Гавриил Мацнев, — человек русский, писатель же французский. Но душевный склад его остался русским. Не будь всем известных, несчастных политических условий, остался бы он и писателем русским, в розаново-лентьевской литературной линии, впрочем, с примесью «дорогого Байрона» и «дорогого Ницше», как он сам пишет, — примесью, которая в этой литературной линии довольно причудлива.

* * *

Книга, повторяю, запальчивая, может вызвать раздражение. Было бы, однако, в высшей степени досадно и несправедливо, если бы раздражение это совпало с тем, которое, помнится, было вызвано некоторыми статьями того же автора в парижских газетах. Мацнев дружит с арабами, он крайний антисионист. Но какой-либо антисемитизм чужд ему абсолютно, а политическая распря Израиля с арабскими государствами представляется ему великим историческим бедствием и для тех, и для других. Об этом он в «Арабском дневнике» много пишет, и это именно верхний, сравнительно поверхностный слой его размышлений. Следовало бы привести цитаты для иллюстрации его филосемитских настроений в сочетании с антисионизмом, но статья моя и без того разрастется, чувствую это заранее, и значит надо обойтись без цитат.

К воинственной нетерпимости арабских государств Мацнев относится не менее отрицательно, чем к сионизму. Евреи, по его убеждению, достигли высшего своего духовного расцвета в рассеянии — суждение, кстати сказать, не раз уже высказывавшееся. Рассеяние — высшая форма существования, и образовав государство, сионисты изменили призванию еврейского народа. Иерусалим — вовсе не такой же город, как все другие го-

рода, Иерусалим — светлая точка на земном шаре, и точка эта настолько выше, значительнее, дороже каких-либо государственных прав и претензий, что нелепо о них и говорить. Конечно, евреи в Палестине — у себя дома, но и арабы в Палестине — дома, и если бы не американское и сионистское вмешательство в чужие дела, все в этом многострадальном, чудесном краю давно было бы улажено.

Надеюсь, этих коротких выдержек или указаний достаточно. Возможны, разумеется, практические и политические возражения, и, наверно, Мацневу они будут сделаны. Однако преданность его еврейскому народу, еврейской культуре, восторженное его восхищение вкладом евреев в духовную сокровищницу человечества сомнению не подлежит, как не подлежит сомнению и его леонтьевское тяготение к арабской цивилизации, к арабскому быту, ко всему средиземноморью вообще. Красота мира возникла на берегах этого моря. На смену ей пришла серость, мелочность, взаимное недоверие, корыстолюбие, пришли бомбы вместо храмов и дворцов, и все это при благосклонном попустительстве великих держав. Кстати, Мацнев приводит любопытную арабскую пословицу, которую слышал от одного из сирийских чиновников, оправдывавшего союз с Москвой: «Когда человек тонет, хватается он за что попало, даже за змею».

* * *

Перехожу, однако, к сущности Мацневских раздумий, заслуживающих больше внимания, чем «актуальные» его суждения, связанные с неурядицами на Среднем Востоке. О неурядицах этих он откровенно говорит: «Сформулировать какую-либо политическую идею я не в силах, не в силах и предложить какое-либо реальное решение».

Иначе чувствует он себя в тех областях, где возникает вопрос о религии и о жизни, об их связи — или о том, что связь эта может и оборваться. Вне православия Мацнев жизни себе не представляет. Церковным службам и обрядам, глубине и неотразимому благолепию православного богословия автор «Арабского дневника» посвящает страницы, в которых чувствуется

неподдельный трепет, чувствуется даже и вдохновение. Сирийские христианские памятники волнуют его гораздо сильнее, чем обмен мнений с местными политическими руководителями: такой обмен — даром потраченное время, а созерцание древнейшей иконы, по преданию написанной апостолом Лукой, освежает ум и питает душу. Но Мацнев, тот же Мацнев мучительно, упоительно, неодолимо, в согласии с «дорогим Байроном», любит жизнь, все, что есть в жизни незаменимого, чудного, греховного, обольстительного, все, чего ни в каком небесном раю не будет и быть не может, Мацневу во что бы то ни стало надо убедить себя, что противоречия между его ненасытным жизнелюбием и его христианской религиозностью нет, быть не должно. Христос и Аполлон неразделимы, утверждал он в одной из предыдущих своих книг. То же склонен повторить он и в «Арабском дневнике».

Автор «Дневника» еще молод. Читая его книгу, не раз думаешь: а что будет с ним лет через тридцать—сорок? Что в его сознании уцелеет, что поблекнет? Чужая душа, как известно, потемки, ничего предвидеть нельзя. Но нельзя и не обратить внимания на одну особенность Мацневской религиозности: он острее, глубже, как-то самозабвеннее чувствует все церковное, чем самый источник церковности — Евангелие. Он удивляет огромной начитанностью в писаниях святых отцов, он ссылается даже на малоизвестных учителей Церкви, но настойчиво обходит молчанием тексты, которые должны бы лечь в основу всей церковной мудрости.

Случайно ли это?

* * *

От вопроса — переход, который может показаться скачком. Но едва ли это — скачок.

В жизни апостола Павла есть факт, представляющийся непостижимым, почти невероятным: после своего видения на пути в Дамаск, апостол, еще накануне преследовавший учеников Иисуса, присутствовавший при том, как был побит камнями первый христианский мученик Стефан, прожил целых три года, по-видимому, не чувствуя ни желания, ни потребности сейчас же вер-

нуться в Иудею, расспросить Петра, Иоанна, кто же был Иисус, что они о нем помнят. Евангелия в те годы написаны еще не были. Прочесть об Иисусе апостол Павел ничего не мог. Непостижимо, невероятно, хотя и совпадает с проповедью Павла, в центре которой не умерший Учитель, а воскресший Спаситель!

Апостол Павел, великий ум, великий дух, в послании к Коринфянам сказал, что если Христос не воскрес, то «тщетна проповедь наша, тщетна и вера наша». Каждый христианин, от коринфян до недавнего «космического» христианина Тейяра, должен принять эти слова за непреложный закон. Мацнев задумчиво ставит многоточие, повторяя их. «Да, — как будто размышляет он, — да, если не было Воскресения, то нет ничего, что мне дорого, чему учит Церковь, все исчезает, проваливается в небытие, все».

Но разве действительно все, даже если... разве не должна остаться вечная верность... даже если...? Отрадно вспомнить, что едва ли не первым высказал это чувство — не мысль, а именно чувство, — на самом склоне лет Гёте, не думавший, конечно, об апостоле Павле, не веривший в Воскресение. Гёте сказал о Евангелии: «Это не может быть превзойдено» (т.е. должно бы остаться навсегда, как духовная вершина, как духовное чудо, — в разговорах с канцлером Мюллером, много более замечательных, чем записки Эккермана). Ставлю, однако, тут не Мацневское многоточие, а точку, чтобы в газетной статейке не касаться предметов не совсем подходящих, могущих при несогласии вызвать болезненный отклик. Завидую, должен признаться, Розанову, у которого подобных опасений, по-видимому, не возникало. На этом держится его слава, но этим же и объясняется и некоторая неловкость, а то и почти брезгливость, от которой при чтении его трудновато бывает отделаться. Розанова спасает непосредственность, порывистость, способность сократить до минимума расстояние между мыслью и словом, редчайшее отсутствие литературного самолюбования. Все же, когда Мацнев уделяет ему место рядом с Паскалем, хочется на полях поставить несколько восклицательных и вопросительных знаков.

В «Арабском дневнике» лишь один раз, мимоходом, упоминается имя Маркиона, великого ересиарха второго века. Как знать, когда-нибудь Мацнев, может быть, и задумается над тем, что Маркион утверждал.

Книги его уничтожены по требованию Церкви, очевидно отдававшей себе отчет в опасном соблазне, который в них заключен. Знаем мы о Маркионе только по полемическим возражениям Тертуллиана, Оригена и других. Учил он, что мир, в котором мы живем, создан темными силами. Истинный, высший Бог к сотворению мира непричастен, витает над ним и Христос был послан именно высшим Богом, чтобы звать нас к себе.

Церковь не могла Маркиона не отлучить, не отвергнуть хотя бы потому, что учение его непримиримо с Ветхим Заветом и с благословением чадородия. Однако учение это нашло немало последователей, произвело длительное впечатление, свидетельством чего может служить то, что еще в десятом веке существовали его приверженцы. Им проникнут христианский аскетизм, пусть и давно забывший имя Маркиона. Да и могло ли быть иначе? Не хочу цитировать Евангелие. Перечтем лучше послание апостола Иоанна, один из драгоценнейших памятников христианства, даже если нет оснований, — как утверждают многие авторитетные исследователи, — приписывать его авторство «любимому ученику» Иисуса, писавшему эти строки в глубокой старости.

«Не любите мира, ни того что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. ...Мир лежит во зле».

Яснее сказать нельзя. Тверже оборвать связь с Аполлоном трудно. Аполлон и все, что его именем символизируется, меркнет, исчезает в сумерках. Остается лишь неизбежность выбора: или-или.

Книга Мацнева, как я уже заметил, подкупает тем, что тревожит и волнует мысль. Меня, пожалуй, упрекнул в том, что от путевого дневника молодого французского писателя я беспрепятственно перешел к христиан-

ству, к Евангелию, к апостольским посланиям. Не знаю, может быть, в самом деле не следовало всего этого касаться, но в Мацневском дневнике задето столько вопросов, что углубление возникло само собой. Книга дышит жизненной радостью, счастьем существования и вместе с тем отмечена устремлением к постижению скрытого на веки веков от всех нас смысла, значения и содержания ее. Кое-что в книге смущает, и если возбудит она несправедливые нападки, то немало и в ней самой несправедливого. Осуждение католицизма, в частности теперешнего римского первосвященника, фигуры трагической, торопливо и легковесно. В иной плоскости также торопливо и едва ли достаточно продумано пренебрежительное осуждение новой западной цивилизации, главным образом Америки, с чисто леонтьевской, эстетико-исторической точки зрения. Будто можно в этих делах не чувствовать общей ответственности, перекладывая вину с себя на других! Отдельные, мимолетные замечания: почему Мацнев возводит себя в ранг «поэта», подражая в этом Бальмонту или Жану Кокто, любившим на каждом шагу «поэтичностью» своей козырять? Как может человек сам себя называть «поэтом», будто отстраняя от себя обыкновенных смертных? И так далее. Умышленно останавливаюсь на возможных возражениях Мацневу или на срывах в его книге, чтобы не создалось впечатления, что пишу я панегирик.

Но «Дневник» — книга на редкость живая, чрезвычайно талантливая. Еще раз хочется высказать сожаление, что для нашей скудеющей, бедной русской литературы, в особенности здешней, автор ее потерян.

Памяти Газданова

Покойный Гайто Газданов, — или Георгий Иванович Газданов, как он чаще называл себя в последнее время, — принадлежал к небольшому числу подлинно даровитых русских писателей, сложившихся и выросших в эмиграции. Болен он был давно, тяжело и, в сущности, безнадежно. Но этим летом в его состоянии произошло неожиданное, стремительное улучшение, и хотя опытные врачи иллюзий себе не делали, друзья покойного

склонны были толковать о чуде. Не то чтобы в чудо они верили действительно, нет, но казалось, в организме Газданова столько жизненной энергии, в его сознании столько желания жить и работать, что справиться он может с любым недугом. Болезнь, однако, мало-помалу подтачивала его силы, и близкий конец был неизбежен.

Газданов начал писать в двадцатых годах и сразу выдвинулся. Известность принесла ему повесть «Вечер у Клэр». Клэр — французская форма имени Клара, и пристрастие русского писателя к иностранщине многих удивило. Но пристрастие это сохранилось у Газданова навсегда и ничуть не было капризом или причудой. По-видимому, оно соответствовало его убеждению, что люди везде одинаковы, а изменяется быт и только быт. Воспроизвести же быт ему казалось легче и даже естественнее тот, который он видел вокруг себя, а живя во Франции, значит, быт французский. Не случайно и в последнем, большом романе Газданова, печатающемся в «Новом журнале», стоит на первом месте имя иностранное: «Эвелина и ее друзья».

«Вечер у Клэр» был одобрен строгим судьей, Буниным, особенно оценившим стилистическое мастерство автора, легкую текучесть его слога, умение найти неожиданный, хотя и незаменимо-меткий эпитет. Книгу свою Газданов послал и Максиму Горькому, чего писатели-эмигранты почти никогда не делали. С Горьким была еще до революции хорошо знакома его мать, если не ошибаюсь и посоветовавшая ему сделать этот жест. Горький Газданову быстро ответил, признал без колебаний его талант, сделав только какие-то оговорки насчет досадного, по его мнению, отрыва молодых писателей от родины. Вероятно, письмо это в бумагах Газданова сохранилось, во всяком случае рассказывал он мне о нем не раз.

Надеюсь, читатели не ждут от меня сколько-нибудь обстоятельной критической статьи о писателе только что скончавшемся. Сегодня мне представляется уместнее сказать несколько слов не о литераторе, а о человеке. Сблизился и подружился я с Газдановым сравнительно недавно, а в последние годы телефонировал он мне чуть ли не ежедневно, беседовали мы подолгу, по крайней мере до тех пор, пока он жил, как и я, в Париже. Именно

в эти годы я оценил его быстрый, своеобразный ум, его острое чутье и даже его природную доброжелательность, ускользавшую от моего понимания, — или от моего внимания, — прежде. В довоенный период эмиграции что-то меня от Георгия Ивановича отдаляло, сближению мешало. Держался он вызывающе, в особенности на публичных собраниях, в то время в Париже очень многочисленных. Никаких авторитетов не признавал. Ни с чьими суждениями, кроме своих собственных, не считался. Вспоминаю некоторые его выступления, в частности из числа тех, которые не всегда кончались к его пользе и успеху.

На одном из собраний общества «Зеленая лампа», например, — речь шла, как водится, о Боге и о дьяволе, о судьбе человека и западной цивилизации, о большевизме, о близком конце мира и о прочем, прочем, — с особым блеском ораторствовал Мережковский, еще почти не утративший тогда своей славы и престижа. В прениях выступил Газданов, возражавший Мережковскому крайне запальчиво и даже пренебрежительно. Мережковский встал, помолчал и, наконец, тихо, скорбно, с той подчеркнутой, показной проникновенностью, на которую он был неподражаемым мастером, промолвил:

— В Евангелии сказано: любите своих врагов. Газданов мне не враг. Я его не люблю.

В качестве полемического хода это было, бесспорно, удачно — и в зале раздался смех. Не мог удержать улыбки и сам Газданов.

Помню другой случай, уже не в «Зеленой лампе», а в другом собрании. Кто-то, говоря о поэзии, назвал имя Валерия Брюсова. Газданов поморщился и заметил, что кажется, действительно был такой стихотворец, но ведь совершенно бездарный, и кому же теперь охота его перечитывать? С места вскочила, вернее, сорвалась, Марина Цветаева и принялась кричать: «Газданов, замолчите! Газданов, замолчите!» — и, подбежав к нему вплотную, продолжала кричать и махать руками, Газданов стоял невозмутимо и повторял: «Да, да, помню... помню это имя... что-то помню!»

Все это могло забавлять, но не способствовало дружбе и сближению. Повторяю, дружба и сближение возникли много позже, и только тогда, много позже,

я понял, сколько было в Газданове хорошего, верного именно в дружественности, сколько в нем было истинно человеческого, прикрытого склонностью ко всякого рода шалостям. Мы говорили о литературе, постоянно касались Льва Толстого, перед которым он глубоко преклонялся, что — должен признаться — всегда располагает меня к собеседнику, чувствующему духовную единственность Толстого. Почти так же высоко ставил он Достоевского, однако все же с оговорками, с частичными возражениями и даже недоумениями, что тоже располагало меня к согласию. Остроумны и метки бывали его суждения о Марселе Прусте, одном из его любимцев, которого, — скажу мимоходом, — далеко не все русские, о Прусте судящие, дали себе труд прочесть.

Главным образом вспоминаю, однако, самый тон наших разговоров, так сказать — обо всем и ни о чем, о повседневных мелочах жизни, о том, из чего на протяжении лет складывается общее наше существование, — вспоминаю и хочу в заключение низко поклониться его памяти, как друга и человека, который унес с собой много дорогого, ценного, чем не успел поделиться.

И о чем сегодня, над его могилой, приходится только догадываться.

Вл. Варшавский. «Ожидание»

Повествование Владимира Варшавского «Ожидание»^{*} ценно, значительно, интересно и как документ психологический и как свидетельство о нашей эпохе, о том, что пришлось видеть и испытать одному из «детей страшных лет России». Тема личная в этом повествовании неразрывно сплетается с темой общественной, а некое изумление, проходящее через все, о чем Варшавский рассказывает, одинаково относится и к повседневным мелочам существования, и к судьбе мира, взятого в целом.

Нельзя отрицать, что повествование это, как говорится, «эгоцентрично», и в первой его части, где автор вспоминает свое детство, это особенно заметно. Но едва

^{*} YMCA-Press 11, rue de la Montagne Ste Geneviève, — Paris 5°.

детство сменяется отрочеством и юностью, становится ясно, что сознание автора занято самим собой преимущественно потому, что ищет в себе — или сквозь себя — ответа на вечные неразрешимые вопросы: что такое жизнь? для чего мы живем, откуда мы вышли и куда идем? Варшавский знает, что единого, для всех приемлемого, для всех убедительного ответа нет. Загадочность жизни есть коренное, неустранимое ее свойство. Но метафизическая тревога автора «Ожидания» не умаляет, а скорее усиливает в нем чувство моральной ответственности: необходимость жить так, чтобы добро было добром, правда была правдой, независимо от веры в потустороннее воздаяние.

В этом смысле «Ожидание» представляет собой рассказ о долгом самонаблюдении и самоанализе. Но так как автор не только психолог, а и художник, то рассказ его о самом себе, о своих надеждах и недоумениях, превращается в широкую бытовую повесть, расцвеченную картинками, которые врезаются в памяти без прямой связи с их моральной подоплекой. Привольное, безмятежное существование в дореволюционной Москве, затем эмиграция с ее литературно-политическими кружками, с ее разногласиями и суетой сует, наконец война 1939 года.

Если действительно «стиль это человек», то не возникает ни малейшего сомнения, что Варшавский рассказывает о героизме, проявленном им на фронте, без всякой рисовки и самолюбования. Он правдив, он пишет о том, что было, потому что это было именно так, а не иначе. Бесстрашие его перед лицом ежеминутно-возможной смерти оттенено страхом, охватившим его к концу войны, когда с приходом советской армии положение эмигранта во французской военной форме сделалось неясным и двусмысленным. Это едва ли не лучшие страницы в книге, страницы, в которых «мировая чепуха» — по выражению Блока — достигает предела. Если даже забыть личные опасения и обиды автора, картина общей неразберихи, с разноязычными пленными, с ошеломленными одиночками-власовцами, с патриотически настроенными русскими, враждебно встреченными соотечественниками-освободителями, картина эта поистине трагична и должна бы в нашей литературе остаться

как одно из самых беспристрастных свидетельств беспомощности человека, попавшего в тиски слепой истории.

Дальше — отъезд в Америку, отчасти внушенный тем же страхом, который охватил Варшавского к концу войны. Он ничего не скрывает: смерти он смотрел в глаза открыто и смело, но возможности новых допросов, подозрений, лагерей и застенков боится, и, чтобы жить, ему нужно знать, что они его не настигнут.

Если автор и отличается от большинства других людей, то преимущественно тем, что обычное «житье-бытие» не заслоняет для него жизнь во всем ее величии и — скажу еще раз — ее загадочности.

ПРИМЕЧАНИЯ

В том вошли статьи Георгия Адамовича, публиковавшиеся в газете «Русская мысль» с 1956 по 1972 год.

В «Русскую мысль» Адамович пришел в качестве обычного автора, а не ближайшего сотрудника, каким он был в «Звене», «Последних новостях» и «Русских новостях», и печатался в газете время от времени, публикуя пять—десять статей в год.

Рубрику «Литература и жизнь» он вел в газете лишь в 1962—1967 гг., опубликовав под этим названием в общей сложности 32 статьи. Подзаголовки к этим статьям даны составителями в квадратных скобках для удобства пользования текстом.

Тексты печатаются по первым (и по преимуществу единственным) публикациям. К сожалению, сверить опубликованные тексты с рукописными оригиналами невозможно, поскольку рукописи Адамовича «как-то распылились, словно исчезли в небытии, и это, пожалуй, огромный для зарубежной русской литературы урон» (*Бахрах А. Памяти Адамовича* (К 10-летию со дня смерти) // Новое русское слово. 1982. 28 февраля. № 25757. С. 5).

Специфические особенности, свойственные индивидуальной творческой манере Адамовича, сохранены. Без изменений оставлены и неточные цитаты, очень частые у Адамовича, поскольку он все цитировал по памяти, не утруждая себя проверкой, порой, возможно, изменяя текст намеренно, как до него В.В. Розанов (уточнения даются в примечаниях). Без оговорок исправлены заведомые опечатки, ошибки набора и огрехи верстки, как всегда довольно многочисленные в эмигрантской периодике.

Примечания Адамовича к собственным текстам даются в подстраничных сносках, примечания составителей вынесены в отдельный раздел и носят преимущественно библиографический характер: приводятся в первую очередь сведения об

изданиях и публикациях, упоминаемых Адамовичем, а также полемические отклики на его статьи в эмигрантской печати.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех, кто в разные периоды помогал советами, справками и предоставленными материалами: Ричарда Дэвиса (Leeds), Е.Д. Гальцову (Москва), Е.В. Глухову (Москва), А.В. Протопопову (Москва), А.Б. Шишкина (Roma).

Не ко двору: Достоевский в СССР

Впервые: Русская мысль. 1956. 15 марта. № 873. С. 4—5.

С. 19. *Советские критики сделали замечательно-ценное и смелое открытие: обнаружили, что был в России великий писатель — Федор Михайлович Достоевский.* — В 1956 г. к 75-летию со дня смерти Ф.М. Достоевского началась кампания по его возвращению к широкому читателю: ему были посвящены полосы центральных советских изданий, начат выпуск десяти томного собрания сочинений, установлена мемориальная доска на доме, в котором он жил последние годы (Кузнечный пер., 10), выпущены памятные почтовые марки, и т.д.

...распространеннейшего советского школьного руководства по истории литературы... — Имеется в виду учебник: Зерчанинов А.А., Райхин Д.Я., Стражев В.И. Русская литература. Учебник для IX класса средней школы / Под ред. проф. Н.Л. Бродского. М.: Гос. уч.-пед. изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940. В советской России он входил в программу до 1967 года и перепечатывался почти ежегодно, выдержав 25 изданий.

С. 20. *Достоевский, видите ли, был обличителем капитализма.* — Вероятно, имеется в виду следующий пассаж В. Кирпотина: «Ненависть к капиталистическим хищникам и страстно жалостливая любовь к их жертвам, отвращение к эксплуатации и страх перед открытой борьбой против носителей социальной несправедливости образуют главные мотивы творчества писателя. Сонечка Мармеладова, вышедшая на улицу, чтобы спасти от голодной смерти семью, ее пьяненький отец, студент Раскольников, подросток с княжеской фамилией Долгорукий — это все жертвы капиталистического города. Мало того: история людей, которых губил капитализм, рассказанная Достоевским, убеждает в том, что человеческая совесть не приемлет безжалостной морали эксплуататоров» (Кирпотин В. Великий русский писатель: К 75-летию со дня смерти Ф.М. Достоевского // Известия. 1956. 9 февраля. № 34 (12032). С. 3).

...«адские силы царизма»... — Из неподписанного редакционного вреза к полосе со статьями Б. Мейлаха и В. Кирпотина под общей шапкой «К 75-летию со дня смер-

ти Ф.М. Достоевского»: «Серьезные изъяны в мировоззрении молодого писателя, сказавшиеся в ряде произведений, может быть, потом сгладились бы под влиянием революционной идеологии, если бы не адские силы царизма, подстерегавшие все светлое и чистое, чтобы сломить и растоптать» (Великий писатель // Литературная газета. 1956. 9 февраля. № 17 (3518). С. 3).

...недостаток великого писателя в том, что он не представил ни одного положительного типа ~ издевался над революционной молодежью ~ «Бесы», например: слабая, ничтожная вещь... — Адамович имеет в виду пассажи из того же редакционного вреза: «Среди его героев нет сильных и цельных характеров, ясных в своих устремлениях благородных борцов за народное дело. Писатель прошел мимо этих людей, а в одном из слабейших своих произведений — романе “Бесы” — злостно исказил образы подлинных революционеров» (Великий писатель // Литературная газета. 1956. 9 февраля. № 17 (3518). С. 3).

С. 21. *...оставив, пожалуй, лишь то, что написано до казни, т.е. тогда, когда, в сущности, Достоевский еще не был Достоевским.* — Речь идет о произведениях, написанных с 1844 по 1849 год.

С. 22. *...«дважды два пять — тоже премиленькая вещичка»...* — Не совсем точно цитируются «Записки из подполья» (I. IX). У Достоевского: «Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь; но если уже все хвалить, то и дважды два пять — премилая иногда вещичка» (Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 119).

Вдруг он видит в статье Раскольников, что людей следует делить на стадо и на собственно людей, которые вправе делать со стадом все, что им вздумается... — В романе «Преступление и наказание» (Ч. 3. V) Раскольников говорит Порфирию Петровичу и Разумихину по поводу своей статьи «О преступлении»: «Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей *новое слово*» (Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 6. С. 200).

Вдруг он узнает от Кириллова, что если Бога нет, то единственно достойный и верный вывод из такого открытия — самоубийство... — Отсылка к исповеди Кириллова из романа Ф.М. Достоевского «Бесы» (Часть третья. Глава шестая. II): «Для меня нет выше идеи, что бога нет. За меня человеческая история. Человек только и делал, что выдумывал бога, чтобы

жить, не убивая себя; в этом вся всемирная история до сих пор. Я один во всемирной истории не захотел первый раз выдумывать бога» (*Достоевский Ф.М.* ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1974. Т. 10. С. 471).

Перечестъ «Азбуку коммунизма»? — Имеется в виду книга, написанная Н.И. Бухариным и Е.А. Преображенским в 1919 г. и задумывавшаяся «первоначальным учебником коммунистической грамоты» (*Бухарин Н.И., Преображенский Е.А.* Азбука коммунизма: популярное объяснение программы Российской коммунистической партии большевиков. Пб.: Гос. изд-во, 1920).

...как к синайским заповедям. — Т.е. к тем десяти заповедям, которые, согласно Библии, Господь дал через пророка Моисея на Синайской горе.

С. 23. *«Выходите, пьяненькие, выходите, соромники! ~ Господи, да придет царствие Твое!» —* Из монолога Мармеладова (Преступление и наказание. Часть первая. II), который Адамович приводит по памяти с большими сокращениями. У Достоевского: ««Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! образа звериного и печати его; но придите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих приемлещи?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...» И прострет к нам руце свои, и мы припадем... и заплачем... и всё поймем! Тогда всё поймем!.. и все поймут... и Катерина Ивановна... и она поймет... Господи, да придет царствие твое!» (*Достоевский Ф.М.* ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 6. С. 19).

«русские мальчики» — выражение из романа «Братья Карамазовы» (1880. Ч. II. Кн. V. III. «Братья знакомятся»), ставшее нарицательным.

По странной случайности юбилей Достоевского совпал с другим юбилеем: столетием со дня смерти Лобачевского. — Создатель неевклидовой геометрии Николай Иванович Лобачевский скончался 12 (24) февраля 1856 г.

...не упомянул бы о параллельных линиях, которые «где-нибудь в бесконечности, может быть, и сойдутся». — Неточная цитата из романа «Братья Карамазовы» (Часть вторая. Книга пятая. III). У Достоевского: «Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная, или еще обширнее, — все бытие было создано лишь по эвклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бес-

конечности» (Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 214).

Но это не дает все же права говорить о воздействии Лобачевского, которого к тому же большинство русских считало в те времена еще человеком полупомешанным. — Об идеях Н.И. Лобачевского Достоевский мог узнать из пасквиля некоего С.С. «О началах Геометрии, соч. Г. Лобачевского» (Сын Отечества и Северный Архив. Т. XLV. СПб., 1834. С. 407—416), где, впрочем, теория параллельных только упомянута, но содержание ее не раскрыто. Об аксиоматике Ивана Карамазова в геометрии и нравственной области см.: Губайловский В. Геометрия Достоевского // Новый мир. 2006. № 5. С. 141—159.

После войны

Впервые: Русская мысль. 1956. 5 апреля. № 882. С. 4—5; 12 апреля. № 885. С. 4—5.

С. 24—25. *Общий уровень «опровинциализируется», будто духовная гегемония в литературе от Петербурга и Москвы малопомалу переходит к Рязани и Царевококшайску.* — Ср. в письме Г.В. Адамовича Р.Н. Гринбергу 5 декабря 1953 г.: «В России критика всегда была второсортная, а теперь докатилась до окончательной Чухломы и Царевококшайска» («...Поговорить с Вами долго и длинно и даже посплетничать...»: Переписка Г.В. Адамовича с Р.Н. Гринбергом (1953—1967) // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 384).

С. 27. ...«пописывать», оставив читателя, к тому же усталого и достаточно потрепанного жизнью, «почитывать»... — Отсылка к «Пестрым письмам» (1884) М.Е. Салтыкова-Щедрина (1826—1889), где в первом письме было сказано: «Русский читатель, очевидно, еще полагает, что он сам по себе, а литература — сама по себе. Что литератор пописывает, а он, читатель, почитывает. Только и всего. Попробуйте сказать ему, что между ним и литературной профессией существует известная солидарность, — он взглянет на вас удивленными глазами» (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. М.: Художественная литература, 1974. Т. 16. Кн. 1. С. 235).

...а не продолжателями Мамина-Сибиряка, Шеллера-Михайлова, Надсона, Фруга или Потапенко. — Адамович намеренно называет столь различных прозаиков и поэтов второй половины XIX в., чтобы подчеркнуть, что «провинциальность» не зависит от направления.

С. 28. *Об этом писал Н. Ульянов...* — Имеется в виду статья Николая Ульянова «После Бунина», где он писал: «На эмиграцию ползет тот самый ящер, что погубил литературу в советской России. <...> Это были, по преимуществу, так называемые новые эмигранты, Писарева, может быть, в руках не державшие, ругающие, вероятно, его как предтечу большевизма, но воспринявшие его учение через советскую школу, через советское искусствование, через самую советскую литературу. Большинство из них не только не знают дореволюционной литературной среды, но и нэповский период, с его значительными остатками прежней российской культуры, им неизвестен. Они взошли на статьях Лелевича, Зонина, Ермилова, Киришона, Кирпотина, на искусствоведческих трудах Маца и Зивельчинской. Иной взгляд на искусство, кроме сугубо утилитарного, им не известен. Они воспитаны на расписывании “цац”» (*Ульянов Н. После Бунина // Новый журнал. 1954. № 36. С. 142—143*).

С. 29. *...из числа так называемых «ди-пи»...* — от англ. DP, Displaced Persons, «перемещенные лица», жители СССР и стран Восточной Европы, оказавшиеся после Второй мировой войны в Западной Европе, преимущественно в Германии (принудительно увезенные немцами или ушедшие добровольно), эмигранты второй волны.

...в том же «Новом журнале» его воспоминания о советском студенческом житье-бытье... — См.: *Марков В. Et ego in Arcadia // Новый журнал. 1955. № 42. С. 164—188*.

...прелестных и своеобразных «Гурилевских романсов»... — К тому времени был опубликован только журнальный вариант: *Марков В. Гурилевские романсы // Новый журнал. 1951. № 25. С. 88—120*. Позже вышло и отдельное издание: *Марков В. Гурилевские романсы. Париж: Рифма, 1960*.

Есть где-то у Ремизова запомнившееся мне выражение «пробка вместо уха»... — Неточно процитированное выражение из книги «Подстриженными глазами» (глава «Карлик Монашек»). У Ремизова: «Еще тогда по своим ошибкам я стал догадываться, что стихи следует читать про себя: если человек одарен внутренним слухом, перед ним раскроется вся “магия слова”, ну, а если вместо слуха пробка, то ничего уж, и “живая мука” Лермонтова не взволнует» (*Ремизов А. Подстриженными глазами. Париж: YMCA-Press, 1951. С. 242*).

С. 31. *...к духовному владычеству нео-Скабичевских...* — Критик-позитивист Александр Михайлович Скабичевский (1838—1910) был ярким противником «чистого искусства», к которому он относил творчество А.К. Толстого, А.Н. Майкова, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева.

С. 32. *Одаренные русские молодые писатели становятся писателями французскими, и со времен Анри Труайя им уже*

почти что потерял счет. — Французскими писателями, кроме Анри Труайя (Льва Тарасова) стали Ален Боске (Анатолий Биск), Ромен Гари (Роман Кацев), Серж Голон (Всеволод Голубинов), Натали Саррот (Наталья Черняк), Габриэль Мацнев, Жак Круазе (Зинаида Шаховская) и многие другие.

Розанов

Впервые: Русская мысль. 1956. 3 мая. № 894. С. 4—5.

С. 33. *Чеховское издательство выпустило сборник...* — Речь о книге: Розанов В.В. Избранное / Вступ. ст. и ред. Ю.П. Иваска. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956.

Ю.П. Иваск утверждает в предисловии, что Розанов «русскому читателю почти неизвестен». — Вступительная статья Ю.П. Иваска начиналась словами: «Розанов — писатель замечательный, но русскому читателю почти неизвестный. Между тем, он вовсе не литератор для литераторов: он понятен, вообще доступен и увлекателен...» (Розанов В.В. Избранное. С. 7).

...на Розанова возникла у нас мода, внимание к нему растет, и дошло чуть ли не до того, что его ставят в один ряд с Паскалем... — По-видимому, первым такое сравнение сделал А.В. Руманов в написанной в 1910-е гг. и оставшейся неопубликованной статье «О Розанове»: «В нем слышится голос, голос Киркегарда и в минуту подъема — голос Паскаля» (РГАЛИ. Ф. 1694. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 9); цит. по: Черниченко Л.Л. Руманов Аркадий Вениаминович // Розановская энциклопедия / Сост. и гл. ред. А.Н. Николюкин. М.: РОССПЭН, 2008. С. 838).

В эмиграции об этом сопоставлении писал сам Адамович. В частности, двумя годами ранее в журнальном варианте «Комментариев» был опубликован абзац, который позже, готовя книжное издание, Адамович снял: «Да, вспомнил Розанова: в сущности, жалкий писатель, непомерно сейчас раздуваемый, гений для разбитых душ, для растерянных, сбитых с толку людей, для всех тех, кто болен несварением духовного желудка, отказывающегося принимать твердую пищу, болтун, которого наши литературные неврастеники чуть ли не сравнивают с Паскалем, — и все-таки единственный русский подлинно христианский писатель по тону и интонации, т. е. по тому, что нельзя подделать. “И да сияют образа эти вечно!” Ведь как сказано, с какой болью, с какими отзвуками! Да и все это предисловие, как оно написано! А примечания к статье Сикорского в “Темном лике”! Если бы хоть раз, у одного из наших нео-христиан, попалась хоть одна такая фраза, все значение их писаний было бы иное...» (Адамович Г. Комментарии // Опыты. 1954. № 3. С. 109).

Правда, еще до публикации этого пассажа Адамович написал М.А. Алданову 17 марта 1954 г.: «Кто, какой “авторитетный человек” сравнил Розанова с Паскалем? Я оттого об этом спрашиваю, что месяца три назад, в статье для № 4 “Опытов” (которые на днях выходят) написал: “...наши литературные неврастеники сравнивают Розанова чуть ли не с Паскалем”. Помню, что такие сравнения делали, но теперь хочу знать, кого именно я обидел» («...Не скрывайте от меня Вашего настоящего мнения...»: Переписка Г.В. Адамовича с М.А. Алдановым (1944—1957) / Предисл., подгот. текста и коммент. О.А. Коростелева // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2011. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2011. С. 407).

В книгу в результате вошел все же похожий пассаж: «Конечно, болтуном он был. Нельзя сравнивать его с Паскалем, как делают это некоторые неумеренные его поклонники. Не говоря уж о мощи разума, у Паскаля был дар молчания, остановки, оставшийся Розанову неведомым. Паскаль обрывает фразу, наполняя образовавшуюся пустоту таинственным смыслом. Розанов говорит, говорит, пришепetyвает, подмигивает, ухмыляется, намекает, сам себе возражает — и случается, иногда недоумеваешь: только-то и всего, Василий Васильевич? Нельзя ли было бы покороче? Ничего и отдаленно схожего не может случиться над книгой Паскаля» (*Адамович Г.В.* Комментарии. Washington: Русское книжное дело в США. V. Kamkin, 1967. С. 82).

С. 34. *Сборник составлен Иваском довольно причудливо. Из целого ряда розановских книг взято по несколько глав...* — В сборник включены отрывки из книг: «Религия и культура» (1899), «В мире неясного и нерешенного» (2-е изд. — 1904), «Семейный вопрос в России» (1903), «Темный лик» (1911), «Люди лунного света» (1911), «Итальянские впечатления» (1909), «Среди художников», «Когда начальство ушло» (1910), «Война 1914 года и русское возрождение» (2-е изд. — 1915), «Литературные изгнанники» (1913), «Уединенное» (1912), «Опавшие листья» (1913 и 1915), «Апокалипсис нашего времени» (1917—1918). Также в книгу вошла статья «Одна из русских поэтико-философских концепций» (1906) и письма Розанова Максиму Горькому и Э.Ф. Голлербаху.

Жаль, что сравнительно мало взято из «Темного лика»... — Из «Темного лика» в книгу вошли несколько очерков — «По тихим обителям», «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира», «Тревожная ночь».

«Я не хочу истины, я хочу покоя». — Фраза из книги В.В. Розанова «Опавшие листья» (СПб.: Тип. Т-ва «А.С. Суворин — Новое время». 1913. С. 381).

С. 35. ...Федотов был очень даровитый, очень умный человек, но как писателя его невозможно с Розановым и сравнивать... — Иваск в предисловии, завершая длинное сопоставление отдельных высказываний Розанова и Федотова, сказал и об их стиле: «...оба они, и русейший Розанов и русский западник латинской культуры — Федотов, были замечательными мастерами слова» (Розанов В.В. Избранное. С. 57—58).

Насчет его писательской непосредственности были высказаны, как известно, сомнения, в частности Зинаидой Гиппиус. — Вероятно, Адамович имеет в виду воспоминания Гиппиус о Розанове, которые начинаются так: «Он был до такой степени не в ряд других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать “явлением”, нежели “человеком”. И уж никак не “писателем” — что он за писатель! Писанье, или, по его слову, “выговариванье”, было у него просто функцией. Организм дышит, и делает это дело необыкновенно хорошо, точно и постоянно. Так Розанов писал, — “выговаривал” — все, что ощущал, и все, что в себе видел, а глядел он в себя постоянно, пристально. Писанье у писателя — сложный процесс. Самое удачное писанье все-таки *приблизительно*. То есть между ощущением (или мыслью) самими по себе и потом этим же ощущением, переданным в слове, — всегда есть расстояние; у Розанова нет; хорошо, плохо — но то самое, оно; само движение души» (Гиппиус З.Н. Живые лица. Прага: Пламя, 1925. Вып. 2. С. 9).

С. 36. ...*двоящееся его отношение к христианству, «душе-раздирающее», по его собственному определению.* — В книгах В.В. Розанова не удалось найти такое определение.

...слово «учитель», по Гоголю, от писательского звания не отделимое. — Имеется в виду общий пафос статей из «Выбранных мест переписки с друзьями» (1847), посвященных литературе, а так же «Авторской исповеди» (1847).

...или какой-нибудь Фердыщенко или Лебядкин... — персонажи Ф.М. Достоевского из романов «Идиот» и «Бесы», склонные к скандальным, иной раз непристойным поступкам и не обремененные угрызениями совести.

...тяжбу свою с «Судьей мира»... — Имеется в виду статья «Христос — Судия мира».

С. 37. «Апокалипсис нашего времени» — книга В.В. Розанова, выходившая отдельными выпусками в Сергиевом Посаде в 1917—1918 гг.

«Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти»... — Из книги В.В. Розанова «Уединенное» (СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1912. С. 181).

«Мне всегда холодно». — Неточная цитата из первого короба «Опавших листьев». У Розанова: «Больше любви; боль-

ше любви, дайте любви. Я задыхаюсь в холоде. У, как везде холодно» (Розанов В.В. Опавшие листья. СПб.: Тип. Т-ва «А.С. Суворин — Новое время», 1913. С. 181.)

...каждый человек достоин жалости... — Неточно процитирован заключительный фрагмент книги «Уединенное» (1912): «Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только жалости» (Розанов В.В. Уединенное. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1912. С. 298).

К сборнику «Избранное» Юрий Иваск дал большое предисловие... — Вступительная статья Ю.П. Иваска к книге статей В.В. Розанова занимает пятьдесят шесть страниц.

Задача России

Впервые: Русская мысль. 1956. 24 мая. № 903. С. 4—5.

Об этом своем отклике на книгу В.В. Вейдле «Задача России» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956) Адамович писал А.В. Бахраху 16 мая 1956 г.: «Я написал на 2/3 одобрительно, даже на 9/10, но книга тягучая, нудная, выпретенная, притом со странной примесью какой-то élévation [приподнятость. — *фр.*], несколько не поддельной. Самоуверенность в каждом слове» (Письма Г.В. Адамовича А.В. Бахраху. 1954—1956 / Публ. В. Крейд // Новый журнал. 2001. № 224. С. 88—89).

С. 38. *...хотя более полустолетия тому назад Влад. Соловьев, подводя ему итоги, считал, по-видимому, что все недо-разумения выяснены и толковать больше не о чем.* — Вероятно, Адамович имеет в виду статью В. Соловьева «Западники, западничество», написанную для словаря Брокгауза и Ефрона: «Вопросы об отношении веры и разума, авторитета и свободы, о связи религии с философией и обеих с положительной наукой, далее вопросы о границах между личным и собирательным началом, а также о взаимоотношении разнородных собирательных целых между собою, вопросы об отношении народа к человечеству, церкви к государству, государства к экономическому обществу — все эти и другие подобные вопросы одинаково значительны и настоятельны как для Запада, так и для Востока. Удовлетворительного их решения еще не дано ни там, ни здесь, и, следовательно, работать над ними должны вместе и солидарно друг с другом все деятельные силы человечества, без различия стран света; а затем уже в результатах работы, в применении общечеловеческих принципов к частным условиям местной среды, сами собою сказались бы все положительные особенности племенных и народных характеров. Такая “западническая” точка зрения не только не исключает национальную самобытность, но, напротив, требует, чтобы эта самобытность как можно полнее проявлялась на

деле. От обязанности совместного культурного труда с прочими народами противники “западничества” отделялись произвольным утверждением о “гниении Запада” и бессодержательными прорицаниями об исключительно великих судьбах России. Желать своему народу величия и истинного превосходства (для блага всех) свойственно каждому человеку, и в этом отношении не было различия между славянофилами и западниками» (*Соловьев В.С. Западники, западничество // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 12. Кн. 23. СПб., 1894. С. 243–244*).

*...Тургенев, — когда писал он в «Дыме» знаменитую, приводившую в ярость и содрогание Достоевского, страницу о том, что «наша матушка, Русь православная» ровно ничего не создала... — Речь идет о словах Потугина, героя романа «Дым» (1867, гл. XIV). О болезненной реакции Достоевского на этот монолог тургеневского героя см. исследование Ю. Никольского: «Для Достоевского любовь к России была чем-то болезненно острым. Если в отношении другого ему чувствуется недостаточно, он готов считать его своим врагом. В 1873 году он рассказывал В.С. Соловьеву о четырех последних годах своей жизни за границей, о русских людях, превратившихся в европейцев и возненавидевших Россию, и, главным образом, об одном из них, хорошо всем известном человеке. Значит, опять достаётся Тургеневу. Взгляды Потугина, которые так раздражали Достоевского, хорошо известны» (*Никольский Ю. Тургенев и Достоевский. История одной вражды. София: Российско-болгарское книгоиздательство, 1921. С. 37*).*

С. 39. *...«капитальной», по определению Достоевского... — Определение принадлежит Н.Н. Страхову, который сообщал в письме Достоевскому 25 ноября 1868 г.: «Самое капитальное произведение, намеченное для журнала, — это ряд статей Ник<олая> Яковл<евича> Данилевского <...> «Россия и Европа». Это целое учение славянофильства в более определенных и ясных чертах, всего листов 40 печатных» (*Достоевский Ф.М. Письма: В 4 т. / Под ред. А.С. Долинина. Л.; М.: ГИЗ—«Academia»—Гослитиздат, 1930. С. 441*). Достоевский упоминает это определение в письме к А.Н. Майкову от 11(23) декабря 1868 г.: «Я от Страхова письмо тоже получил; много литературных новостей. Порадовало меня, между прочим, известие о статье Данилевского “Европа и Россия”, о которой Ник<олай> Ник<олаевич> пишет как о капитальной статье» (*Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1985. Т. 28. Кн. 2. С. 328*). После выхода книги Н.Я. Данилевского Ф.М. Достоевский очень высоко отозвался о нем в письме А.Н. Майкову от 15 (27) мая 1869 г. «Как Вам нравится “Россия и Европа” Данилевского? По-моему, это про-*

изведение — важное в последней степени» (*Достоевский Ф.М.* ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 46).

Данилевский к концу жизни пришел к убеждению, что «Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное»... — У Данилевского: «Европа признает Россию и Славянство чем-то для себя чуждым, и не только чуждым, но и враждебным. Для беспристрастного наблюдателя это — неотвержимый факт» (*Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. Изд. пятое. СПб.: Тип. брат. Пантелеевых, 1895. С. 53).

...верно ли, что Шпенглер теорию свою о существовании обособленных культур, ограниченных и смертных подобно всякому организму, заимствовал у Данилевского, как утверждают многие его русские критики? — Документальных свидетельств о воздействии идей Н.Я. Данилевского на О. Шпенглера не обнаружено. Близости идей обоих мыслителей была посвящена специальная работа, известная Адамовичу: Шварц М. Шпенглер и Данилевский // Современные записки. 1926. № 28. С. 436—456.

*Влад. Соловьев в своем разборе «России и Европы» указывал, что основные идеи этой книги совпадают с мыслями Генриха Рюккерта... — Об этих совпадениях с мыслями немецкого историка Генриха Рюккерта (Rükkert; 1823—1875) В.С. Соловьев сказал в статье «Данилевский», написанной для словаря Брокгауза и Ефрона: «Данилевский, так же как и немецкий историк Генрих Рюккерт, выставляет в качестве действительных носителей исторической жизни несколько обособленных “естественных групп”, которые он, как и названный иностранный автор, обозначает термином: “культурно-исторические типы”. <...> Данилевский, как и Рюккерт (хотя в несколько ином распределении), признает четыре общих разряда культурно-исторической деятельности: деятельность религиозная, собственно культурная (наука, искусство, промышленность), политическая и социально-экономическая» (*Соловьев В.С.* Данилевский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 10. Кн. 21. СПб., 1893. С. 77).*

С. 41. *...«полон чистою любовью, верен сладостной мечте»... — Из стихотворения А.С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный» (1829).*

*...слова Герцена о петровском «вызове» России, на который она «ответила Пушкиным»... — Впервые мысль эта была сформулирована Герценом в статье «Россия» (1849): «Русский крестьянин сохранил, несмотря на унижительную дисциплину рабства, открытое и красивое лицо и живой ум и который, на императорский приказ образоваться, ответил через сто лет громадным явлением Пушкина» (*Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 6. С. 200). В схожей редакции*

эти слова вошли в книгу «С того берега» (1850): «Народ <...> сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться — ответил через сто лет громадным явлением Пушкина» (*Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 6. С. 18).

...у Вейдле Толстой прежде всего — эпический поэт, русский Гомер, «соблазненный хитростями отрицающего и доказывающего разума». — Имеется в виду следующий пассаж Вейдле: «Условия, сделавшие возможными появление Шекспира и Паскаля, наступили раньше в Англии и во Франции, чем сходные условия в России, где Достоевский — столько же современник Шекспира, как и Диккенс, и Паскаля, и Бодлера, а Толстой — поздно рожденный эпический поэт, зрячий Гомер, соблазненный хитростями отрицающего и доказывающего разума» (*Вейдле В.В.* Задача России. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 65—67).

Никогда Толстой косовороток не носил... — Вейдле имел в виду «толстовку», которая от косоворотки сильно отличается.

С. 42. ...он ни единым словом не упоминает о декабристах... — О декабристах Вейдле все-таки упоминает, но вскользь: «Дворянство и создало культуру петербургской России <...> трагедия тут заключалась не в кровной и стихийной розни — в этой области как раз была общность, а не рознь; она заключалась в непримиренности культурных традиций, во все той же несогласованности культуры горизонтальной с вертикальной, несогласованности, которую Петр не исправил, а только углубил, в неизменной безучастности народа и к тому, как живут верхи, и, что куда важней, к тому, что они творят. До тех пор, однако, пока все это так грозно не обернулось тем безмолвием народа в день четырнадцатого декабря, что было страшной всех выстрелов на Сенатской площади» (*Вейдле В.В.* Задача России. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 88).

...«державцем полумира»... — Из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» (1833).

Ницше не случайно же сказал о русских, что это — «самый неклассический народ в мире»... — Фраза принадлежит не Ницше, а Отто Вейнингеру (Weininger; 1880—1903): «Русские — самый негреческий (не классический) народ из всех народов» (*Вейнингер О.* Последние слова. М.: Сфинкс, 1909. С. 25).

Против России

Впервые: Русская мысль. 1956. 14 июня. № 912. С. 4—5.

С. 43. Ходасевич когда-то саркастически писал о «многострадальном зале Лас-Каз»... — Зал Социального музея (Musée

Social) в Париже по адресу: 5, rue Las-Cases (5, rue Las-Cases, 7^e) — одно из мест, где чаще всего проводились мероприятия русскими эмигрантами. Ходасевич написал эти слова в своей статье, посвященной книге Георгия Иванова: «Месяца два тому назад, на одном многолюдном собрании в многострадальной зале Лас-Каз, Д. С. Мережковский объявил с эстрады, что вскоре появится книга Георгия Иванова “Распад атома”, что он, Д.С. Мережковский, читал ее в корректуре и что она — *гениальна*» (*Ходасевич В.Ф.* Книги и люди: «Распад атома» // Возрождение. 1938. 28 января. № 4116. С. 8).

...*«иных уж нет, а те далече»...* — из романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (1823—1831; Гл. 8. LI).

С. 45. «Толстой и большевизм» — речь В.А. Маклакова, произнесенная на вечере памяти Л.Н. Толстого 5 января 1921 г. в Salle Gaveau и опубликованная отдельной брошюрой: *Маклаков В.А.* Толстой и большевизм. Париж: Русская земля, 1921.

С. 46. «Проповедник кнута, поборник мракобесия, что вы делаете?» — Прочитав книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», В.Г. Белинский писал Н.В. Гоголю 15 июля 1847 г.: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что Вы делаете?» (*Белинский В.Г.* ПСС: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 10. С. 214).

С. 47. ...*«умное, странное и большое существо»...* — Слова И.С. Тургенева о Н.В. Гоголе из «Литературных и житейских воспоминаний», впервые опубликованных в первом томе его «Сочинений» (М., 1880). См. последнее издание: Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников: В 3 т. / Изд. подгот. И.А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2013. Т. 3. С. 825.

Некрасовские рыдающие стихи, имеющие будто бы исключительно «общественное содержание», — гораздо ближе к молитве, чем любая поэма на религиозные темы... — Одним из первых об этом написал С.А. Аскольдов в своей, к сожалению, оставшейся неопубликованной статье «Религиозные мотивы в жизни и творчестве Н.А. Некрасова» (РГАЛИ. Ф. 338. Оп. 2. Ед. хр. 15). См. также: *Кусков В.В.* Православные мотивы в поэзии Н.А. Некрасова // Русская литература XIX века и христианство. М.: МГУ, 1997. С. 134—140; *Жулякова Э.М.* Христианские мотивы и образы в творчестве Н.А. Некрасова (1830—1850-е годы) // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков. Сборник научных трудов. Вып. 2. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского университета, 1998. С. 277—278.

...*«прошу немедленно оставить зал, здесь не чайная союза русского народа!»* — Об этом случае писала в своих воспоминаниях Е.Ю. Рапп: «В Париже Н.А. (не помню точно год) снова

выступил в защиту евреев. Зал был переполнен. По окончании его доклада какой-то молодой человек начал в грубой и резкой форме возражать Н.А., нападая на евреев и высказывая прилизительно мысли “Протоколов Сионских мудрецов”. Его речь прерывалась бешеными аплодисментами группы его единомышленников. Когда Н.А. начал отвечать ему, его прерывали шиканьем, свистом и криками. Я сидела в первом ряду и видела, как Н.А. вдруг побледнел. Я почувствовала, что его охватил страшный припадок гнева и негодования, при котором я несколько раз присутствовала и в котором была такая сила, что сопротивляться было невозможно. “Немедленно прошу покинуть зал, — раздался его громовый голос, — здесь не чайная русского народа»» (*Ранн Е.Ю.* Мои воспоминания // Бердяев Н.А. Самопознание. М.: Книга, 1991. С. 380). Возможно, этот инцидент произошел на докладе Н.А. Бердяева «Христианство и антисемитизм (Религиозная судьба еврейства)», который был устроен Объединением русско-еврейской интеллигенции в Café Dumesnil 23 мая 1938 г.

«Я не хочу истины, я хочу покоя»... — см. примеч. к статье «Розанов».

«Новый журнал» [№ 44]

Впервые: Русская мысль. 1956. 5 июля. № 921. С. 4—5.

С. 48. *Небольшой рассказ Мих. Иванникова «Правила игры», которым открывается тридцать четвертая книжка «Нового журнала»...* — Номер указан ошибочно, точная ссылка: *Иванников М.* Правила игры // Новый журнал. 1956. № 44. С. 5—21.

Незадолго до публикации статьи Адамович спрашивал у Ю.П. Иваска в письме от 5 июня 1956 г.: «Читали Вы Иванникова в “Но<вом> журнале”? Смесь Сирина с Белым, но очень талантливо, хотя “воняет литературой” за сто верст. <...> Кто этот Иванников? Если он не стар, это настоящий писатель» (Сто писем Георгия Адамовича к Юрию Иваску (1935—1961) / Предисл., публ. и коммент. Н.А. Богомолова // Диаспора: Новые материалы. Вып. 5. СПб., 2003. С. 485—486). Видимо, Адамович к тому времени успел забыть, что до войны несколько раз печатно откликнулся на публикации Иванникова: Адамович Г. 1) «Современные записки», кн. 57-я. Часть литературная // Последние новости. 1935. 21 февраля. № 5082. С. 3; 2) «Современные записки». Кн. 61. Часть литературная // Последние новости. 1936. 30 июля. № 5606. С. 3; 3) «Современные записки», кн. 65. Часть литературная // Последние новости. 1938. 20 января. № 6144. С. 3; 4) «Современные записки», № 66. Часть литературная // Последние новости. 1938. 2 июня. № 6276. С. 3.

...вызвал суждения до крайности разноречивые. Говорю, конечно, о прессе «устной»: отзывов печатных было до сих пор немного... — 19 июля 1956 г. Адамович писал Ю.П. Иваску: «Алданов тоже в восторге от Иванникова, а Зайцев, наоборот, вздыхает очи к небу» (Сто писем Георгия Адамовича к Юрию Иваску (1935—1961) / Предисл., публ. и коммент. Н.А. Богомолова // Диаспора: Новые материалы. Вып. 5. СПб., 2003. С. 487—488). И.В. Одоевцевой, выразившей сомнения по поводу повести Иванникова, Адамович ответил 25 июля 1956 г.: «Также не согласен насчет Иванникова, кстати, возмущившего до истерики Зайцева. Как бы это ни было старомодно и *demode*, Зайцеву никогда так не написать, и наш друг Яновский рядом — сладкая водичка» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г.В. Адамовича И.В. Одоевцевой и Г.В. Иванову (1955—1958) // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 488).

...ценить самую ткань повествования, а не только то, что именно в нем сообщено, ~ в связи с литературными методами и приемами Иванникова... — Современный исследователь писал об интерпретации Адамовичем «Правил игры»: «Суждения авторитетнейшего критика эмиграции, посвященные трем внешне различным проблемам (художественный метод Иванникова, “У кого Мих. Иванников учился?” и характер главного героя), на деле актуализируют одну, главную, на которой, как правило, и сосредоточивалось основное внимание всех когда-либо писавших об иванниковском творчестве, в том числе (в предвоенные годы) и самого Адамовича. Это — проблема отношения Иванникова к различным отечественным повествовательным традициям. В случае с “Правилами игры” рассмотрение данной проблемы оказывается тем более актуальным, что рассказ этот, как совершенно справедливо подметил тот же Адамович, — “сделанный”: отображение в нем несемииотизированной действительности явно отступает на второй план, уступая место решению сугубо литературных задач» (Данилевский А.А. Как сделаны «Правила игры» Михаила Иванникова // Диаспора: Новые материалы. Вып. IX. СПб.; Париж: Athenaeum; Феникс, 2007. С. 259—260).

С. 49. *...«словечка в простоте не скажет»...* — Отзыв Фамусова о московских девицах из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (Действ. II. Явл. 5).

...«воняет литературой». — И.С. Тургенев писал М.Е. Салтыкову-Щедрину 25 ноября (7 декабря) 1875 г. о романах Золя и Эдмона де Гонкура: «Идут они не по настоящей дороге — и уж очень сильно сочиняют. Литературой воняет от их литературы:

вот что худо» (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 2003. Т. 14: Письма. С. 188).

Мне пришлось слышать предположение о влиянии Набокова на автора «Правил игры». — Об этом влиянии говорил еще до войны В.Ф. Ходасевич, откликаясь на повесть Иванникова «Дорога»: «В манере письма на этот раз у Иванникова чувствуется некоторое влияние Сирина» (*Ходасевич В.* Книги и люди: «Современные записки», кн. 65-я // Возрождение. 1938. 25 февраля. № 4120. С. 9).

С. 50. ...*страницы Белого, посвященные московским профессорам, приятелям его отца, известного математика Бугаева.* — См. главы «Математик» и «Среда» первой книги мемуарной трилогии: *Белый А.* На рубеже двух столетий / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. А.В. Лаврова. М.: Художественная литература, 1989. С. 49—175.

Герой рассказа — некто Радкевич, ведущий двойное существование: с одной стороны, он — новейшая разновидность Акакия Акакиевича Башмачкина — с другой — он видный член «общества»... — По мнению А.А. Данилевского, «для моделирования образа Радкевича очевидна, с одной стороны, актуальность восходящей к Пушкину, Гоголю и к “вышедшим из “Шинели” писателям традиции изображения “маленького человека”, “бедного чиновника”. <...> Но, с другой стороны, в качестве релевантной для “Правил игры” одновременно заявлена и иная — нацеленная на преодоление Гоголя и “натуральной школы” — традиция раннего Достоевского» (*Данилевский А.А.* Как сделаны «Правила игры» Михаила Иванникова // Диаспора: Новые материалы. Вып. IX. СПб.; Париж: Athenaeum; Феникс, 2007. С. 263).

«Общество» обрисовано восхитительно-метко, с перво-классной силой изобразительности, в частности — госпожа Цык... — По мнению А.А. Данилевского, «Страницы “Правил игры”, изображающие вечера в “Обществе”, разительно напоминают оставленные мемуаристами описания заседаний “Зеленой лампы”, а госпожа Цык имеет, как минимум двух прототипов: «Уже сама ее фамилия, явно “аббревиатурного” свойства (ср.: ЦИК и ЦК), отсылает к “Ге-пе-ус”, — аналогичного происхождения парижскому прозвищу З.Н. Гиппиус и, соответственно, к ее личности», в то время как «наличие у нее потомства, равно как и некоторые детали внешнего облика, темперамент — видимо, взяты от Н.А. Тэффи» (*Данилевский А.А.* Как сделаны «Правила игры» Михаила Иванникова // Диаспора: Новые материалы. Вып. IX. СПб.; Париж: Athenaeum; Феникс, 2007. С. 281—282).

С. 51. *«Болезнь»* — рассказ В.С. Яновского, впервые опубликованный в рецензируемом номере (Новый журнал. 1956. № 44. С. 51—60) и неперездававшийся потом почти полвека.

...«мировой чепухой»... — из стихотворения А.А. Блока «Не спят, не помнят, не торгуют...» (1909).

«Дело Тверитинова» Г. Альтшуллера — отрывок из книги об известном московском чудаке-вольнодумце начала восемнадцатого века. Будет ли книга издана? — В номере был напечатан второй отрывок из исторического романа Григория Исааковича Альтшуллера (1895—1983) «Дело Тверитинова» (Новый журнал. 1956. № 44. С. 22—50), тремя годами раньше публиковался отрывок под названием «Дело Тверитинова. Аптека в Немецкой Слободе» (Новый журнал. 1953. № 34. С. 52—82). Отдельное двухтомное издание было выпущено через несколько лет: Альтшуллер Г.И. Дело Тверитинова. Нью-Йорк: Viktor Kamkin, 1963.

...«существами метафизическими», как выразился Карамзин о космополитах... — В предисловии к «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин писал: «Истинный Космополит есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем» (Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т. СПб.: Тип. Н. Греча, 1818. Т. 1. С. X—XI).

Четырнадцать стихотворений Георгия Иванова объединены общим названием «Дневник». — Отослав Р.Б. Гулю эту подборку, Г.В. Иванов интересовался у него 13 апреля 1956 г.: «Вы писали мне Ваше уважаемое мнение о первой порции Дневника, хвалили Кукушечку и осуждали Корону. Но меня вторая порция интересует. Там — представьте — одно кажется мне чрезвычайно удачным. А именно “На юге Франции”» (Георгий Иванов — Ирина Одоевцева — Роман Гуль: Тройственный союз: Переписка 1953—1958 годов / Публ., сост., коммент. А.Ю. Арьева и С. Гуаньелли. СПб.: Изд. дом «Петрополис», 2010. С. 370).

С. 52. ...психологически, жизненно ивановская тема близка есенинской... — Г.В. Иванову это сравнение категорически не понравилось, 23 июля 1956 г. он написал Р.Б. Гулю об Адамовиче: «Читали, какую чушь он нагородил насчет моей близости с Есениным по <поводу?> последнего Дневника» (Там же. С. 406).

...«обманувших надежд»... — из стихотворения В.А. Жуковского «Уединение» (1813): «И сердце обманувших / Разрушенных надежд».

...«облетевших цветов, догоревших огней»... — Строка-рефрен «Облетели цветы, догорели огни» из стихотворения С.Я. Надсона «Умерла моя муза!.. Недолго она...» (1885) в конце XIX в. была воспринята как наиболее яркое выражение глубоко безнадежных настроений эпохи. Эта строка, в частности, стала названием рассказа Василия Васильевича Брусянина

(1867—1951), включенного в его сборник «Ни живые — ни мертвые» (СПб.: Типо-литография «Герольд», 1904).

В. Корвин-Пиотровский, по-видимому, находится на переломе, и, оставаясь верным излюбленному своему размеру, четырехстопному ямбу, изменяет прежней «прекрасной ясности» ради туманов, намеков и умолчаний. — В.Л. Корвин-Пиотровский в этом номере опубликовал под общим названием «Заклинания» стихотворения «Над Росью, над моей рекой...» и «В заносы, в бунт простоволосый...» (Новый журнал. 1956. № 44. С. 66—70).

Каждая из них скреплена, — как сказал Теофиль Готье о Бодлере, — его личной печатью. — В статье «Шарль Бодлер» (1868) Теофиль Готье писал: «Когда говорят о поэте, то внешняя форма его стихов — вещь важная и стоит изучения, ибо она составляет значительную часть их внутренней ценности. Это — та проба, которую он вычеканивает на своем золоте, серебре и меди. Стих Бодлера, принимая все важнейшие усовершенствования романтизма, каковы: богатая рифма, произвольная подвижность цезуры, *gejet*, *enjambement*, употребление технических терминов, строгий и полный ритм, непрерывный поток великого александрийского стиха, весь мудрый механизм просодии и строения станса и строфы — имеет тем не менее свою особенную архитектонику, свои индивидуальные формулы, структуру, по которой его можно узнать, свои тайны ремесла, свою печать, так сказать, и свою собственную марку “СВ”, которая всегда приложена к рифме или полустушию» (Бодлер III. Цветы зла / Перевод Эллиса с вступ. ст. Теофиля Готье и предисловием Валерия Брюсова. М.: Заратустра, 1908. С. 35—36).

...я недостаточно внимательно за Алексеевой следил, не помню даже того, есть ли у нее отдельные сборники... — К тому времени Лидия Алексеевна Алексеева (наст. фам. Девель; 1909—1989) выпустила только один сборник «Лесное солнце» (Франкфурт-на-Майне: Посев, 1954).

С. 53. *Несколько интересных — или, по крайней мере, любопытных статей ~ Н. Лосский о Бердяеве ~ Е. Каннак...* — Речь о статьях Н.О. Лосского «Мысли Н.А. Бердяева о назначении человека» (Новый журнал. 1956. № 44. С. 208—218) и Е. Каннак «Неизвестная пьеса Чехова» (Новый журнал. 1956. № 44. С. 114—123).

Особняком стоит «Моцарт» В. Маркова ~ Три-четыре оригинальных замечания тонут у Маркова в море суждений опрометчивых, скороспелых... — Почти одновременно со статьей В.Ф. Маркова «Моцарт» (Новый журнал. 1956. № 44. С. 88—113) была опубликована статья Адамовича с тем же названием (Адамович Г. Моцарт // Новое русское слово. 1956. 20 мая. № 15667. С. 3). В.Ф. Марков объяснял отрицательный

отзыв Адамовича соперничеством и 8 июня 1956 г. написал Г.П. Струве: «Все-таки мой “Моцарт” сильнее (думаю, что могут быть объективным) его очень слабой статейки о Моцарте в “Н<овом> Р<усском> С<лове>” (может быть, тут “соперничество”, и он на моего “Моцарта” реагирует, как Сальери?)» (Hoover. Gleb Struve Papers). Но Адамович в своем отзыве был искренен и написал И.В. Одоевцевой 17 июня 1956 г.: «Кстати, и о “Моцарте” в “Нов<ом> жур<нале>” — тоже вздор, и как все это написано!» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г.В. Адамовича И.В. Одоевцевой и Г.В. Иванову (1955—1958) // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 486), а на ее возражения ответил 25 июля 1956 г.: «Относительно Маркова извиняюсь, сударыня! Но я не верю, чтобы Вам эта выпренная чепуха могла нравиться. Нравится по дружбе, по хорошим отношениям — и только» (Там же. С. 488).

...«*словам просторно, мыслям тесно*». — Перефразировка строк Н.А. Некрасова из стихотворения «Форма. Подражание Шиллеру» (1877): «Чтобы словам было тесно, / Мыслям — просторно».

«*Давно минувшее*» — воспоминания Е.Д. Кусковой, печатавшиеся в «Новом журнале» на протяжении трех лет (1955. № 43. С. 96—119; 1956. № 44. С. 124—142; № 45. С. 149—180; № 47. С. 154—176; 1957. № 48. С. 139—162; № 49. С. 145—170; № 50. С. 173—197; № 51. С. 147—172; 1958. № 54. С. 117—147).

«Новый журнал», книга 45-я

Впервые: Русская мысль. 1956. 13 сентября. № 951. С. 2—3.

В газетном заголовке ошибочно было указано: «книга 44-я».

С. 53. «*Охота на гусей*» — рассказ Евгения Андреевича Гагарина (1905—1948), его единственная (посмертная) публикация в «Новом журнале» (1956. № 45. С. 5—14).

С. 54. «*Когда бушевала буря*»... — Отрывок из романа И.В. Одоевцевой (Новый журнал. 1956. № 45. С. 15—52), как и печатавшиеся в «Новом журнале» (1953. № 35. С. 72—112) и в «Возрождении» (1957. № 63—68) отрывки из романа под названием «Год жизни», не выходили отдельным изданием.

Браво, мадемуазель! Продолжайте! — Адамович цитирует статью Л.Д. Троцкого о «внеоктябрьской литературе» (Правда. 1922. 17 сентября. № 209; 19 сентября. № 210), где тот отозвался о книге Одоевцевой «Двор чудес»: «Тут баллада

об извозчике, которого насмерть загнал вместе с его лошастью комиссар Зон, рассказ о солдате, который продавал соль с толченым стеклом, и, наконец, баллада о том, почему испортился в Петрограде водопровод. Узор комнатный, такой, который должен очень нравиться кузену Жоржу и тете Ане, но все же хоть махонькое отражение жизни, а не просто запоздалый отголосок давно пропетых перепевов, занесенных во все энциклопедические словари. И мы готовы на минуту присоединиться к кузену Жоржу: Очень, очень милые стихи. Продолжайте, mademoiselle!» (Троцкий Л. Литература и революция. М.: Госиздат, 1924. С. 25).

Бунин, очень ее любивший, как-то пошутил: «читаю и будто сижу в лифте... вверх-вниз, вверх-вниз!» — Об этом есть воспоминание самой Одоевцевой в книге «На берегах Сены», где Бунин дает следующую характеристику ее прозе: «— Слишком интересно. Слишком динамично, будто одним дыханием. Да, представьте себе! Вы изумлены, вам кажется, что это ваше главное достоинство, а выходит наоборот. Вы как вцепитесь в читателя, так и катаете его в лифте вверх и вниз, не давая ему отдохнуть, прийти в себя, отложить книгу, пойти по своим делам. Где уж там! Если начнешь читать вечером, так и будешь читать до вторых петухов. Вам кажется, что так и надо, что это хорошо? Вы этого и добиваетесь?

Он смотрит на меня насмешливо.

— Напрасно, сударыня! Пушкин говорил: поэзия, прости Господи, должна быть глуповата. А я говорю — проза, прости Господи, должна быть скучновата. Настоящая, великая проза. Сколько в «Анне Карениной» скучных страниц, а в «Войне и мире»! Но они необходимы, они прекрасны. Вот у вашего Достоевского скучных страниц нет. Нет их и в бульварных, и в детективных романах. Я не читал, но был такой роман — я видел объявление в газете «Сегодня»: «Только факты, сэр!» Лучшего названия не найти» (Одоевцева И. На берегах Сены. Paris: La Presse Libre, 1983. С. 327—328).

С. 55. ...ее роман «Изольда» и известная повесть Жана Кокто «Les Enfants terribles» вышли почти одновременно... — Роман Ирины Одоевцевой «Изольда» и повесть Жана Кокто «Les Enfants terribles» («Ужасные дети») вышли в 1929 г.

resignation — смирение (фр.).

«Ангел смерти» — первый роман И. Одоевцевой, печатался в газете «Дни», затем вышел отдельным изданием (Париж: Montparnasse, 1928).

«Скучно жить на свете, господа!» — Неточно процитированная последняя фраза «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834). У Гоголя: «Скучно на этом свете, господа!»

С. 56. *«Человек, которому все равно»...* — Повесть Леонида Денисовича Ржевского (наст. фам. Суражевский; 1905—1986) была его первой публикацией в «Новом журнале» (1956. № 45. С. 53—98), редактором которого ему позже доведется стать.

«Сложный ход» (М.: Советский писатель, 1935) — сборник повестей и рассказов Якова Семеновича Рыкачева (наст. фам. Шихман; 1893—1976).

...любопытнейшая повесть «Величие и падение Андрея Полозова», напечатанная в «Красной нови»... — Повесть Рыкачева «Величие и падение Андрея Полозова» впервые была опубликована в пятом номере «Нового мира» за 1931 год. В свое время Адамович откликнулся на это произведение (см.: Последние новости. 1931. 23 июля. № 3774. С. 3).

...дважды два, может быть, вовсе не четыре, а пять... — См. примеч. к статье «Не ко двору: Достоевский в СССР».

С. 57. *...Лермонтова, который будто бы «выше Пушкина»...* — Над самой постановкой этой темы подтрунивали уже в эмиграции: «В свое время в русской провинции, как только замечалось, что беседа за столом становится бессодержательной и грозит совершенно иссякнуть, выдвигалась боевая тема: “кто выше — Пушкин или Лермонтов?”» (*Савельев А. [Шерман С.Г.] «Числа»*. № 2—3 // Руль. 1930. 5 ноября. № 3024. С. 3). Тем не менее литераторов младшего поколения эта тема волновала, и они продолжали о ней говорить и писать, особенно усердно в журнале «Числа», с легкой руки самого Адамовича. На эти споры отзывались даже в СССР. В.В. Ермилов писал: «Центральной литературной проблемой, занимающей “сливки” эмиграции, является сейчас проблема: Пушкин или Лермонтов? Тут, впрочем, нет дискуссии: в один голос белогвардейские критики и писатели доказывают, что Пушкин, собственно, просто пошляк, не понимающий “трагедийности” жизни, вульгарный “краснощекий” оптимист, — а Лермонтов — это настоящий художник, понимающий “трагедийность”» (*Ермилов В.* За работу по-новому // Красная новь. 1932. № 5. С. 161—162). Подробно об этом см.: *Мокроусов А.Б.* Лермонтов, а не Пушкин: Споры о «национальном поэте» и журнал «Числа» // Пушкин и культура русского зарубежья: Международная научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения, 1—3 июля 1999 г. / Сост. М.А. Васильева. М.: Русский путь, 2000. С. 153—166; *Летавева Н.В.* Оппозиция «Пушкин Лермонтов» на страницах журнала русского зарубежья «Числа» // Вестник Новгородского государственного университета. 2015. № 1 (84). С. 42—45.

...«небом полуночи»... — из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ангел» (1831).

...на стихи А. Величковского. Имя его, сравнительно новое, в последние годы довольно часто мелькает в нашей печати. — Анатолий Евгеньевич Величковский (1901—1981) начал печататься после Второй мировой войны, с 1947 г., вскоре выпустил первый сборник стихов «Лицом к лицу» (Париж: Рифма, 1952). Больше всего публиковался в «Новом журнале» (с 1952), а также в «Русской мысли», «Возрождении», «Современнике».

С. 58. Злобин ~ с каждым годом развивается и заслуживает того, чтобы поговорить о нем обстоятельно. — В разбираемом номере были опубликованы стихотворения Владимира Ананьевича Злобина (1894—1967) «Только в немоте оцепененья...», «Шаги» («Я сам себя заколдовал...») и «О, если б спать, не видя снов!..» (Новый журнал. 1956. № 45. С. 100—101). Специально о стихах Злобина Адамович так никогда и не написал.

«Я крепко сплю, не достигая ~ Отчаянья»... — из стихотворения И. Одоевцевой «Ты видишь, как я весело живу...» (Новый журнал. 1956. № 45. С. 104).

...«объядение», как писал кому-то Чехов... — Возможно, имеется в виду фраза из письма А.П. Чехова Н.А. Лейкину от 25 февраля 1887 г.: «Вчера послал Вам рассказ, а сегодня строю письмо, хотя и чувствую, что ничего полезного не напишу для Вашего “чревообъедения”, к<ото>рое, судя по Вашим письмам, не поддается массажу...» (Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1975. Т. 2: Письма. С. 34).

О разговорах со Львом Шестовым, по записи Б. Фондана... — «Разговоры с Львом Шестовым» Бенжамена Фондана (Fondane; наст. имя Бенъямин Векслер; 1898—1944) в переводе П. Калинина были опубликованы Эрге <Р.Н. Гринбергом> с его же предисловием (Новый журнал. 1956. № 45. С. 195—206).

...о «Комментариях» М. Карповича... — В номере была напечатана очередная порция заметок М.М. Карповича: «Комментарии: 1) О русском мессианстве, 2) Достоевский, Белинский, Шиллер» (Новый журнал. 1956. № 45. С. 274—284). М.М. Карпович стал использовать это название после войны, и 7 марта 1953 г. Адамович писал В.С. Яновскому: «Вы мне сообщаете, что “Комментарии” — теперь название Карповича. Я это знаю и этим смущен. Но с другой стороны, оно было моим раньше, чем стало его, и мне оно по душе. Конечно, многие решат, что я название у него украл, а другие скажут, что это ему и его журналу в пику. Очень все это получается глупо» (Адамович Г. Письма Василию Яновскому. Письма Роману Гринбергу / Публ. и примеч. В. Крейда и В. Крейд // Новый журнал. 2000. № 218. С. 130. Письмо опубликовано с неверной датировкой: 7 февраля 1953 г.).

Впервые: Русская мысль. 1956. 18 октября. № 966. С. 4—5.

С. 58. *«История русской литературы. Древний период»* — книга Юлии Леонидовны Сазоновой (урожд. Слонимская; 1884—1957), выпущенная в двух томах (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955) и предполагавшая продолжение, посвященное новой русской литературе. Продолжение Ю.Л. Сазонова активно готовила, но не успела завершить. Подробнее см.: *«Драгоценная скупость слов»*: Переписка И.А. и В.Н. Буниных с Ю.Л. Сазоновой (Слонимской) (1952—1954) / Вступ. ст. Кита Триббла; Публ. Кита Триббла, Олега Коростелева и Ричарда Дэвиса // И.А. Бунин: Новые материалы. Вып. II. / Сост., ред. О. Коростелев и Р. Дэвис. М.: Русский путь, 2010. С. 267—397.

С. 59. *Среди появившихся в печати отзывов о книге Сазоновой...* — Помимо рецензии Адамовича, на книгу появились отзывы Р.В. Плетнева (Новый журнал. 1956. № 33. С. 289—293), В.А. Рудинского (Возрождение. 1955. № 47. С. 142—143), Д.И. Чижевского (American Slavic and East European Review. 1955. Vol. XIV. P. 564—566).

Ключевский говорил о некоторых своих учениках: «мало знать, надо понимать». — Вероятно, Адамович слышал афоризм В.О. Ключевского «В истории мы узнаем больше фактов и меньше понимаем смысл явлений» (*Ключевский В.О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории.* М.: Наука, 1968. С. 329). Ср. афоризм И.В. Гёте: «Мало знать, надо и применять. Мало хотеть, надо и делать».

С. 61. *«Турецкая земля очень обильна. ~ Боже, Боже!»* — Адамович цитирует Афанасия Никитина по книге Ю.Л. Сазоновой, что немного разнится с оригиналом.

...позднейший, французский классицизм — у нас называвшийся ложноклассицизмом... — В русском литературоведении термин ложноклассицизм употребляли с 1840-х гг., обозначая направление в литературе и искусстве XVII — начала XIX вв., подражавшее античным формам.

С. 62. *...татарское иго было страшной катастрофой, надолго отбросившей Россию назад. ~ Тема исторически сложна, в двух словах о ней, разумеется, ничего не скажешь.* — Суждения об этом в русской исторической науке очень разноречивы. Крайние точки зрения выразили, с одной стороны, историк С.Ф. Платонов, считавший татаро-монгольское нашествие случайным историческим эпизодом, воздействие которого на нравы и обычаи русских людей сильно преувеличено, с другой — евразийцы, полагавшие, что татаро-монгольское иго оказало влияние на все сферы русской жизни.

«*Le moyen Age énorme et délicat*» — «Средневековые величественное и утонченное» (фр.), из стихотворения П. Верлена «Non. Il fut gallican, ce siècle, et janséniste!» (1880), входящем в книгу «Мудрость» («Sagesse», 1880). В русских переводах этого стихотворения от цитируемого Адамовичем выражения не осталось и следа.

...«все добро зело»... — Быт. 1:31.

С. 63. ...у Буркхардта в знаменитой его книги о Возрождении, — одной из любимых книг Ницше, — есть рассказ о находке чисто материальной, физической, и о том волнении, которое она в Италии возбудила. — Речь о книге швейцарского историка Якоба Буркхардта (Burckhardt; 1818—1897) «Die Kultur der Renaissance in Italien: Ein Versuch» (1860), в России несколько раз издававшейся в разных переводах под названием «Культура Италии в эпоху Возрождения». Ницше считал Буркхардта своим учителем и, по его собственным словам, почитал как родного отца (они оба были профессорами Базельского университета). Упомянутый Адамовичем эпизод в книге Буркхардта выглядит так: «18 апреля 1485 года по городу распространился слух о том, что найдено дивно прекрасное, хорошо сохранившееся тело молодой античной римлянки. Ломбардские каменщики, раскопавшие античный склеп на участке монастыря Санта Мария Нуова на Аппиевой дороге, за пределами гробницы Цецилии Метеллы, нашли мраморный саркофаг, на котором якобы значилось: “Юлия, дочь Клавдия”. Все же остальное — чистые порождения фантазии: сами ломбардцы якобы в то же мгновение исчезли вместе с сокровищами и драгоценными камнями, лежавшими в саркофаге для украшения тела; само же тело оказалось покрыто консервирующей жидкостью и выглядело таким свежим и упругим, словно принадлежало только что умершей девочке пятнадцати лет; говорили даже, что кожа девочки еще хранит цвета жизни, а глаза ее и губы полуоткрыты. Тело перенесли во дворец Консерватории и сюда началось сущее паломничество желавших его увидеть. <...> Трогательным в этой истории является не сам по себе факт находки, но глубокая убежденность в том, что дошедшее от античности тело, которое, как были убеждены эти люди, они видели перед собой, должно было неизбежно оказаться прекраснее всего существующего ныне» (Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М.: Юрист, 1996. С. 119—120). Тридцатью годами ранее Адамович уже рассказывал об этом в одной из своих статей: Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1926. 15 августа. № 185. С. 1—2.

...«поэтическая язва на теле Европы»... — Неточно цитируется запись Л.Н. Толстого в дневнике 4 апреля 1857 г.: «Драма Расина и т. п. поэтическая рана Европы, слава богу, что ее нет

и не будет у нас» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1937. Т. 47. С. 121).

Пушкин считал, что в «Федре», кроме прекрасных стихов, ровно ничего нет! — А.С. Пушкин в начале 1824 г. в письме брату, Л.С. Пушкину раскритиковал перевод «Федры» Расина, сделанный в 1823 г. М.Е. Лобановым, добавив: «А чем же и держится Иван Иванович Расин, как не стихами, полными смысла, точности и гармонии! План и характеры “Федры” верх глупости и ничтожества в изобретении» (Пушкин А.С. ПСС: В 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. X. С. 80–81).

«Весть» — стихи поэта

Впервые: Русская мысль. 1957. 31 января. № 1011. С. 4–5.

Перед тем, как получить книгу «Весть», Адамович писал А.С. Гингеру 17 ноября 1956 г.: «Книгу жду, заранее предвкушая наслаждение. Я ваш большой почитатель, как выражается Алданов. Где вы предпочитаете иметь панегирик — в “Русской мысли” или в “Н.Р. Слове”? Я иногда пишу то же самое в обеих газетах, но, по условию с ними, — не об отдельных книгах, а взгляд и нечто. Решите сами, куда написать, и сообщите» (Письма Георгия Адамовича / Публ. и примеч. В. Крейда // Новый журнал. 1994. № 194. С. 285). Статьей поэт остался доволен, о чем и сообщил Адамовичу, на что тот откликнулся в письме от 12 февраля 1957 г.: «Очень рад, если моя статейка Вас удовлетворила — и так, и сяк. Но я не подозревал, что сочиняю нечто гениальное. По-моему, она — как обычно из-под моего пера, а Вас восхитила, ибо Вы человек суетный и любите комплименты» (Письма Георгия Адамовича / Публ. и примеч. В. Крейда // Новый журнал. 1994. № 194. С. 286).

С. 63. ...*а помечен он годами 1939–1955*. — Даты указаны на обложке сборника: Гингер А. Весть: четвертая книга стихов 1939–1955. Париж: Рифма, 1957.

С. 64. ...*«томов премногих тяжелей»*. — Из стихотворения А.А. Фета «На книжке стихотворений Тютчева» (1885).

«Дьявольская разница», можно было бы в данном случае процитировать Пушкина. — 4 ноября 1823 г. А.С. Пушкин писал П.А. Вяземскому о романе «Евгений Онегин»: «Я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница».

С. 65. *«Бедный друг мой, дело в том, что для стихов нужны не идеи, а слова»*. — Это выражение Малларме приводит Поль Валери в статье «Поэзия и абстрактная мысль». См. в переводе В.М. Козового: «Стихи, дорогой Дега, создаются не из идей. Их создают из слов» (Валери П. Об искусстве / Пер. с франц. Изд. подгот. В.М. Козовой. Предисл. А.А. Вишневского. М.: Искусство, 1976. С. 413).

*Пушкин непереволим и в переводах действительно делается «плоским», как говорил Флобер Тургеневу. — Фраза Флобера «Il est plat, votre poète!» [«Он плоский, ваш поэт!» (фр.)] приведена в книге Эмиля Омана «Пушкин»: *Haumant Emile. Pouchkine. Paris, 1911. P. 9. См. также: Histoire des traductions en langue française, XIX siècle 1815–1914 / Sous la direction de Y. Chevrel, L. D’hulst et C. Lombez. Paris: Editions Verdier, 2012. P. 800–801.**

...«сказаться без слов». — Из стихотворения А.А. Фета «Как мошки зарею...» (1844).

...«аттитюд»... — от фр. attitude, манера, поза.

С. 66. ...«ковыряние в самом себе», говоря словами Конст. Леонтьева (считавшего это занятие «досаднейшей русской особенностью»)... — У К.Н. Леонтьева: «До смерти надоело это наше всероссийское “ковыряние” какое-то! Чувствую, что и мое это слово “ковыряние” гадко и грубо; но ни хуже, ни лучше не могу уже найти выражения! И я ведь — воспитанник той же школы, но только протестующий, а не благоговейный безусловно» (Леонтьев К. О романах гр. Л.Н. Толстого: Анализ, стиль и веяние: (Критический этюд). М., 1911. С. 105).

Когда-то он, вместе с покойным Поплавским увлекался течениями футуристическими... — В 1921–1922 г. Борис Поплавский и Александр Гингер входили в кружок левого искусства «Гатарапак». Некоторые участники этого кружка (как и объединений «Палата поэтов» (1921–1922), «Через» (1923–1924)) ориентировались на опыт русского и европейского авангарда. Подробно см.: *Ливак Л. «Героические времена молодой зарубежной поэзии»: Литературный авангард русского Парижа (1920–1926) // Диаспора: Новые материалы. Вып. VII. СПб.; Париж: Athenaeum; Феникс, 2005. С. 131–242.*

С. 67. ...*другое стихотворение, «пьесу», как любил говорить Ходасевич...* — Старомодная форма называть стихотворение «пьесой» была характерна для Ходасевича еще в доэмигрантскую пору. См., напр., его отзывы на Брюсовскую мистификацию «Стихи Нелли» (М., 1913), книги Бориса Садовского «Самовар» (М., 1914) и Федора Сологуба «Очарования земли. Стихи 1913 г.» (СПб., 1914) и т.д. (*Ходасевич В.Ф. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. Критика и публицистика (1905–1927) / Сост., подгот. текста, коммент. Дж. Малмстада и Р. Хьюза; Вступ. ст. Р. Хьюза. М.: Русский путь, 2010. С. 118, 124, 182).* См. также название стихотворения самого Ходасевича «Пролог неоконченной пьесы» (1907).

С. 68. ...*было в нашей печати довольно много толков о «парижской школе» русской поэзии...* — Адамович имеет в виду тенденцию в довоенной эмигрантской поэзии, получившую название «парижская нота», вдохновителем которой сам и высту-

пал. Подробнее об этом см.: *Коростелев О.А.* «Парижская нота» и противостояние молодежных поэтических школ русской литературной эмиграции // Литературоведческий журнал. 2008. № 22. С. 3—50. Споры, начатые еще до войны, возобновились после выхода в свет первых номеров журнала «Опыты», составленной Ю.П. Иваском антологии эмигрантской поэзии «На Западе» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953), а также книг Адамовича «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955) и Г.П. Струве «Русская литература в изгнании» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956): *Терапиано Ю.* Антология русской зарубежной поэзии // Русская мысль. 1954. 10 февраля. № 631. С. 4; *Андреев Ник.* Заметки читателя: Русская поэзия за рубежом // Возрождение. 1954. [Март—апрель]. № 32. С. 131—135; *Андреев Ник.* Заметки о журналах: «Опыты» III и IV // Русская мысль. 1955. 29 июля. № 784. С. 4; *Терапиано Ю.* Школа Гумилева // Новое русское слово. 1955. 2 октября. № 15436. С. 8; *Офросимов Ю.* Паки и паки // Новое русское слово. 1956. 25 марта. № 15611. С. 8; *Терапиано Ю.* Русская литература в изгнании // Русская мысль. 1956. 9 июня. № 910. С. 4—5; *Оцун Н.* Персонализм как явление литературы // Грани. 1956. Октябрь—декабрь. № 32. С. 187—198. Одним из самых заметных выступлений была статья самого Адамовича «Поэзия в эмиграции» («Опыты». 1955. № 4. С. 45—61); см. также отзыв: *Аронсон Г.* «Опыты». Книга 4 // Новое русское слово. 1955. 1 мая. № 15709. С. 8.

«Не хлебом единым»

Впервые: Русская мысль. 1957. 7 марта. № 1026. С. 4—5.

С. 68. *Сейчас об этом молодом советском писателе говорят повсюду, и статей о его романе «Не хлебом единым» появилось в иностранной печати множество.* — Владимир Дмитриевич Дудинцев (1918—1998) был в то время уже человеком не юным, автором нескольких книг, но ни одна из них не вызывала такого резонанса, как роман «Не хлебом единым». Подробнее см.: *Дудинцев В.Д.* Между двумя романами: Повесть / Публ. Н.Ф. Гордеевой (Дудинцевой) и М.В. Дудинцевой; Вступ. ст. Б.Н. Никольского. СПб.: Нева, 2000.

Роман еще не переведен ~ этой осенью был помещен в трех выпусках «Нового мира» ~ если не ошибаюсь, даже в России не вышел еще отдельной книжкой. — Роман Дудинцева был опубликован в «Новом мире» в №№ 8, 9, 10 (1956), готовился к выходу массовыми тиражами в издательстве «Молодая гвардия», а также в «Роман-газете», но в начале декабря 1956 г. секретари ЦК КПСС Е.А. Фурцева и П.Н. Поспелов потребовали разобраться в этом вопросе. 22 января 1957 г. появи-

лась «Записка Отдела культуры ЦК КПСС об издании романа В. Дудинцева “Не хлебом единым” издательством “Молодая гвардия”», констатирующая: «Гослитиздату было рекомендовано отказаться от издания романа В. Дудинцева в связи с идейными недостатками этого произведения. Издательству “Молодая гвардия” было разрешено выпустить этот роман тиражом 30—50 тыс. экз. с тем, чтобы лишить демагогических элементов поводов для утверждений о том, что роман В. Дудинцева “запрещен”. Как известно, лживые утверждения об административных мерах, принятых к этому роману, распространяются сейчас реакционной печатью за рубежом» (Аппарат ЦК КПСС и культура: 1953—1957: Документы. М.: РОССПЭН, 2001. С. 613). В результате книга была выпущена в СССР небольшим по тем временам тиражом 30 000 экземпляров (М.: Советский писатель, 1957) с поправками и послесловием автора. Вскоре вышли сразу два эмигрантских издания: Мюнхен: ЦОПЭ, 1957; Нью-Йорк: Новое русское слово, 1957. В том же году роман вышел и в переводе на английский: *Dudintsev V. Not by Bread Alone* (London: Hutchinson, 1957).

Обсуждение «Хлеба единого» будто бы проходит при тысячных толпах. — Обсуждение романа действительно проходило при широкой аудитории. Об этом писал сам В. Дудинцев: «1956 год. Двадцать пятое октября. Перед Домом литераторов — толпы народа. Вся улица Воровского, насколько охватывает глаз, — головы, головы, головы... Сегодня должно состояться обсуждение моего романа “Не хлебом единым”. Окна, двери, крыша Дома литераторов забиты людьми. Чуть не на проводах висят. Тут и там шуточные плакаты вроде: “Пропустите меня, я Симонов!” Все так и было. Ничего в этом рисунке, ни капли, не утрировано. Даже не хватает конной милиции, которую кто-то вызвал». Подобная картина была и в зале: «...Люди сидели везде, где только можно, даже на полу, плотно стояли в проходах; в форточках окон торчали по несколько голов. Это, знаете, надо уметь пробраться каким-то образом на второй этаж, по трубам, что ли, и оккупировать все окна» (*Дудинцев В.Д. Между двумя романами: Повесть / Публ. Н.Ф. Гордеевой (Дудинцевой) и М.В. Дудинцевой; Вступ. ст. Б.Н. Никольского. СПб.: Нева, 2000. С. 7).*

...Эдуарда Кранкшоу, обозревателя из «Обсервера»... — Английский писатель, журналист Эдуард Кранкшоу (Crankshaw; 1909—1984), специалист по советским проблемам, корреспондент британской воскресной газеты «The Observer» в 1947—1968 гг.

С. 70. *...короленьковские «огоньки впереди»...* — Имеется в виду популярное в начале века стихотворение в прозе Короленко «Огоньки» (1900): «Свойство этих ночных огней —

приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своей близостью... Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, и они еще далеко. И опять приходится налегать на весла... Но все-таки... все-таки впереди — огни!» (Короленко В.Г. Собр. соч.: В 10 т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 1. С. 379).

Именно тут-то у Дудинцева главная «запятая», если воспользоваться выражением Ивана Карамазова... — В главе «Бунт» романа «Братья Карамазовы» (Часть вторая. Книга пятая. IV) Иван говорит Алеше: «Но вот тут-то и запятая, этого-то я и не могу принять!» (Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 223).

С. 71. ...полу-подлец, однако, как Воронцов у Пушкина, имеющий все данные, чтобы сделаться подлецом «полным, наконец». — Отсылка к эпиграмме А.С. Пушкина на новороссийского генерал-губернатора гр. М.С. Воронцова «Полу-милорд, полу-купец...» (1824): «Полу-милорд, полу-купец, / Полу-мудрец, полу-невежда, / Полу-подлец, но есть надежда, / Что будет полным наконец».

...против самой идеи коммунизма, и, в частности, мнение такое высказал уже упомянутый мною Кранкшоу... — Crankshaw E. A Russian Novelist's Time-Bomb // Observer. 1957. 17 February. 13.

С. 73. Отзывы до сих пор было сравнительно немного, и это само по себе показательно. Критики, по-видимому, несколько озадачены и растеряны... — До вмешательства Отдела культуры ЦК КПСС отзывы на роман были по преимуществу одобрительные. К примеру, рецензент газеты «Труд» писал: «В. Дудинцев изображает, в частности, в своем произведении силы, противостоящие главному герою, смелому и честному патриоту нашей страны, показывает ржавые рычаги бюрократической машины... Роман выделяется тем, что глубоко раскрывает правду жизни <...> Боевой, сильный роман Дудинцева сослужит хорошую службу нашему обществу» (Труд. 1956. 31 октября).

...было определенно указано, что Дудинцевым допущены «важнейшие ошибки»... — Эта тема поднималась в центральных газетах, в выступлениях Н.С. Хрущева по радио, на собраниях. В «Литературной газете» был опубликован отчет о партсобраниях писателей, на которых многие ораторы отмечали «неверные тенденции» в литературе, называя одним из первых роман «Не хлебом единым» В. Дудинцева (Создавать произведения, достойные нашего народа: На партийных собраниях Москвы и Ленинграда // Литературная газета. 1957. 26 января. № 12 (3668). С. 3).

...статья о «Хлебе» была лишь в «Октябре»... — Еремин Д. Чем жив человек? // Октябрь. 1956. № 12. С. 166—173.

С. 74. *«Пафос огульного отрицания увлек автора на ложный путь»*, в результате чего может возникнуть впечатление, что в советской стране «создаются условия для бесконтрольной диктатуры зла». — Адамович цитирует статью Д. Еремина: «Пафос огульного отрицания увлек автора на ложный путь. В сущности, автор не отделяет “дроздовщину” от руководящих кругов нашего общества. В самом деле: ведь при таких минусах, как Афанасий Терентьевич Дядгора, при таких людях, как Авдиев и ему подобные вершители судеб честных людей, именно для дроздовых, шутиковых и капитанов абросимовых открываются все возможности, создаются условия для бесконтрольной диктатуры зла!» (Еремин Д. Чем жив человек? // Октябрь. 1956. № 12. С. 173).

Писатель для юношества

Впервые: Русская мысль. 1957. 21 марта. № 1032. С. 4—5.

С. 74. *«Миф Владимира Маяковского»* — статья Н.А. Оцупа, опубликованная в «Русской мысли», а позже включенная в его книгу «Литературные очерки» (Париж, 1961. С. 150—176).

...он с досадой говорит о некоем «эмигрантском писателе, который с непонятной настойчивостью утверждает, что Достоевский — писатель для юношества». — Под неназванным в статье по имени «эмигрантским писателем» Н.А. Оцуп подразумевал Адамовича: «Один из писателей эмиграции несколько раз с непонятной настойчивостью утверждал, что Достоевский — писатель для юношей. Было бы не трудно, если бы это не угрожало отвлечь нас от темы, показать, как это утверждение разоблачает не Достоевского, а его критика. Ограничимся здесь лишь беглым намеком. Только сознание тайно враждебное религиозной сути христианства, сути, воплощенной в уроке подвижничества старца Зосимы и отчасти в мирской жизни Алеши, может решиться умалить значение художественной проповеди Достоевского, отрицая ее действительность для умов искушенных, взрослых. В основе этой критики — недоверие к евангельскому максимализму» (Оцуп Н. Литературные очерки. Париж, 1961. С. 164). На упреки и оправдания Г. Адамовича Н. Оцуп отозвался статьей «Писатель для взрослых» (Русская мысль. 1957. 9 апреля. № 1040. С. 4—5), где писал о своем литературном направлении, названном «персонализмом», а также коснулся вопроса о «розовом» христианстве Достоевского.

О полемике с Н.А. Оцупом Адамович упомянул И.В. Одо-евцевой 12 апреля 1957 г.: «Сейчас получил от Кантора “Р<усскую> мысль” с Оцупом о Достоевском и обо мне. Какие высоты, какой пророческий тон. “Мое водительство...” — чита-

ли Вы это? Между прочим, я написал о том, что его статья написана с “синайских высот”, а он сказал Водову, что это намек на его еврейское происхождение. Даже Водов изумился такой догадливости!» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г.В. Адамовича И.В. Одоевцевой и Г.В. Иванову (1955—1958) // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 502).

Две недели спустя, 27 апреля 1957 г., Адамович написал о том же И.В. Чиннову: «Мне кажется (насколько я в себе самом понимаю), что я родился с душой Достоевски-лермонтовской, но разумом перетянулся к линии пушкино-толстовской. Мне смешны упреки, что я “недооцениваю” Достоевского, п<отому> что я от него был без ума, до мозга костей, до неспособности другое читать. Но на то человек и живет, чтобы, как говорится, “над собой работать”. Вот я и доработался до Толстого, с которым никакие сюрпризы невозможны. А по поводу Достоевского: есть у Буало удивительная строчка, за которую простятся ему все его плоские наставления: “Le vers se sent toujours des bassesses du coeur...” [В стихе всегда чувствуются низости души (*фр.*)] Вот именно! У Д<остоевского> были ужасные bassesses du coeur [низости души (*фр.*)], и это “se sent” [“чувствуется” (*фр.*)] у него везде. Кстати, я прекрасно понимаю, что Вы в моем “споре” с Оцупом против меня. Но как Вы можете быть за Оцупа — не понимаю (отчасти потому, что не мог дочитать его статьи, где он Лосского ставит выше Леонтьева и пишет о новом лит<ературном> направлении “под моим водительством”: тут я и бросил газету)» («Жаль, что Вы далеко...»: Письма Г.В. Адамовича И.В. Чиннову (1952—1972) // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 40—41).

Определение Достоевского как «писателя для юношества» принадлежит мне. — В статье «Литературные заметки. Памяти Достоевского» Адамович писал: «Понять все, что сказал и рассказал Достоевский, может только человек зрелый. Но чтобы почувствовать, что такое писатель, чтобы по-настоящему оценить его, чтобы на всю жизнь сохранить с ним какие-то особые, сложные счета, надо прочесть Достоевского в юности, до двадцати лет» (Адамович Г. Литературные заметки // Русские новости. 1946. 20 декабря. № 84. С. 4).

С. 76. ...и не случайно одинокие размышления Раскольникова о разнице между Наполеоном и вошью оказали столь сильное влияние на Ницше... — Ницше познакомился с творчеством

Достоевского довольно поздно, в 1887 г., когда был уже сложившимся философом. В частности, нет свидетельств, что Ницше читал именно «Преступление и наказание». Тем не менее в работе «Сумерки идолов» (1888) Ницше, говоря о Наполеоне, упоминает «Достоевского — единственного, кста-ти говоря, психолога, у которого я смог кое-чему научиться: он относится к числу самых счастливых случаев моей жизни, даже еще более, чем открытие Стендаля» (*Ницше Ф. ПСС: В 13 т. М.: Культурная революция, 2009. Т. 6. С. 93*).

...догадки Кириллова, например, о праве человека «заявить своеволие» вызвали целую философскую литературу... — См. работы Л.И. Шестова, Н.А. Бердяева, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартра, А. Камю и др.

...рассказе Мармеладова ~ главу из «Подростка» о матери в пансионе Тушара, или «Кроткую». — См. в произведениях Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (Ч. 1. Гл. 2), «Подросток» (Гл. 9. II), «Дневник писателя» (1876. Ноябрь).

С. 77. *...простоять несколько минут на Семеновском плацу в ожидании неминуемой смерти...* — Об инсценировке казни петрашевцев Ф.М. Достоевский рассказал в «Дневнике писателя» (1873. XVI. «Одна из современных фальшей»). 22 декабря 1849 г. (3 января 1850 г.) осужденных привезли из Петропавловской крепости на Семеновский плац, возвели на эшафот и зачитали смертный приговор. «Приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти» (*Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1980. Т. 21. С. 133*). Лишь после этого был объявлен настоящий приговор: Петрашевскому назначили каторгу без срока, Достоевскому — четыре года каторги с последующей отдачей в рядовые.

...провести четыре страшных года на каторге в Сибири... — 23 января 1850 г. Достоевский прибыл в Омскую крепость, где отбывал каторгу «чернорабочим» до 23 января 1854 г.

...помню, Анна Ахматова говорила когда-то, что не может Достоевского читать... — Высказывание Ахматовой позже было воспроизведено Адамовичем: «Знаете, читать его мне ужасно трудно. В молодости я не прочла ни одного его романа до конца. Не могла. Начинала читать, не сплю, ночь провожу над книгой... и чувствую, что надо бросить, иначе заболēju. И действительно, я когда-то едва не заболела, читая “Бесы”. Не могу выдержать всех этих мучений, этого горя, этих обид. Нечего делать, значит у меня слабые нервы» (*Адамович Г. Мои встречи с Анной Ахматовой // Воздушные пути. 1967. № 5. С. 111*).

...Константин Леонтьев, хорошо Аверосия знавший, по-долгу с ним беседовавший... — Св. преп. Амвросий Оптинский

(в миру Александр Михайлович Гренков; 1812—1891), старец Оптиной пустыни, был духовником К.Н. Леонтьева с 1874 г.

...утверждал, что это — не портрет, а карикатура... — В статье «Оптинский старец Амвросий (Из письма к редактору “Гражданина”)» (1891) К.Н. Леонтьев писал: «Многие думают, будто отец Зосима в “Братьях Карамазовых” Достоевского более или менее точно списан с отца Амвросия. Это ошибка. От<ец> Зосима только наружным, физическим видом несколько напоминает от<ца> Амвросия; но ни по общим взглядам своим (наприм<ер>, на *перерождение государства в Церковь!*), ни по методу руководства, ни даже по манере говорить — мечтательный старец Достоевского на действительного Оптинского подвижника не похож. Да и вообще от<ец> Зосима ни на какого из живших прежде и ныне существующих русских старцев не похож. *Прежде всего все эти старцы наши вовсе не так слащавы и сентиментальны, как от<ец> Зосима.* От<ец> Зосима — это воплощение идеалов и требований самого романиста, а не художественное воспроизведение живого образа из православно-русской действительности» (Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2003. Т. 6. С. 816).

Леонтьев утверждал и другое: а именно, что оптинские старцы, познакомившись с поучениями Зосимы, без колебания их отвергли. — 8 мая 1891 г. К.Н. Леонтьев писал В.В. Розанову: «В Оптиной “Братьев Карамазовых” “правильным православным сочинением” не признают, и старец Зосима ничуть ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож» (В.В. Розанов и К.Н. Леонтьев. Материалы неизданной книги «Литературные изгнанники». СПб.: Росток, 2014. С. 83).

С. 77–78. «Розовое» христианство, — с пеной у рта говорил Леонтьев... — Свои мысли о «розовом» христианстве К.Н. Леонтьев высказал в брошюре «Наши новые христиане. Ф.М. Достоевский и гр. Лев Толстой» (М.: Тип. Е.И. Погодиной, 1882). В частности, в статье «О всемирной любви. Речь Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике» (1880) К.Н. Леонтьев писал: «Слишком розовый оттенок, вносимый в христианство *этою* речью г. Достоевского, есть новшество по отношению к Церкви» (Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2014. Т. 9. С. 210).

С. 78. ...огня, который, по евангельскому тексту, был когда-то «низведен на землю». — Откр. 13:13.

Записные книжки Фадеева

Впервые: Русская мысль. 1957. 16 мая. № 1056. С. 4–5.

С. 79. ...кто тридцать лет тому назад прочел его юношескую повесть «Разгром»... — Главы из романа А.А. Фадеева

«Разгром» публиковались (за исключением последней) в периодической печати в 1925—1926 гг.: в газете «Советский Юг» (1925. 19 июля; 1926. 24 января), в журналах «Октябрь» (1925. № 7, 12), «Молодая гвардия» (1926, № 7, 12), «Лава» (1925. № 2—4; 1926. № 2), затем вышло отдельное издание (Л.: Прибой, 1927).

Фадееву повредило положение сановника, которое он занимал все последнее время. — В 1926—1932 гг. Фадеев был одним из организаторов и идеологов РАПП, после ликвидации этой организации входил в Оргкомитет по созданию Союза писателей СССР и затем занимал ответственные посты в его руководстве: заместитель председателя оргкомитета СП СССР (1934—1939); секретарь (1939—1944); генеральный секретарь и председатель правления (1946—1954); секретарь правления (1954—1956). Кроме того, был главным редактором «Литературной газеты» (1942—1944), членом ЦК КПСС (1939—1956), депутатом Верховного Совета СССР (с 1946 года) и т.д.

Но внезапно он покончил с собой... — Фадеев застрелился из револьвера на собственной даче 13 мая 1956 г., оставив предсмертное письмо, адресованное ЦК КПСС: «Не вижу возможности дальше жить, т.к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии, и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы — в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли, благодаря преступному попустительству власть имущих...» (Александр Фадеев. Письма и документы (Из фондов Российского государственного архива литературы и искусства) / Сост., вступ. ст. и коммент. Н.И. Дикушина. М.: Изд-во Литературного института им. А.М. Горького, 2001. С. 215).

...в нашу мевшей статье Симонова ~ пришлось переделывать свой последний роман... — Имеется в виду статья Константина Симонова «Памяти А.А. Фадеева», в которой он, в частности, писал об истории романа «Молодая гвардия»: «...сейчас, когда литературный и жизненный путь Фадеева закончен, признавая всю ценность прекрасных новых страниц второго издания романа “Молодая гвардия”, мне хочется сказать, что первое издание его никак не заслуживало той критики, которую оно получило. Фадеева упрекали за то, что в первом издании его романа недостаточно была показана воспитательная роль партии, что молодежь в нем оказалась оторванной от партийного подполья, предоставленной самой себе. Не стоит сейчас спорить о документальности истории Краснодона хотя бы потому, что роман Фадеева — роман, а не историческая хроника. Но непременно надо сказать другое и более важное: такие трагические обстоятельства, при которых горсточки советских людей в первые тяжкие годы войны оказывались и без связи и без помощи,

оказывались отрезанными и на какое-то время предоставленные самим себе, — такие обстоятельства не только бывали, но их и не могло не быть в реально сложившейся тогда обстановке войны» (Симонов К. Памяти А.А. Фадеева // Новый мир. 1956. № 6. С. 4).

...выдержки из записных книжек... — Фадеев А.А. Субъективные заметки (Из записных книжек) // Новый мир. 1957. № 2. С. 207—241.

С. 80. *...несколько строк из письма архитектора Стасова... —* Имеется в виду заметка А.А. Фадеева «Из письма архитектора В.П. Стасова (1769—1848) к жене»: «"По свойству моему или лучше сказать по моей натуре, мне нужно для исправления моей должности по моей профессии совершенное спокойствие духа, без которого я не только с честью, но и с успехом упражняться не могу, а потому прошу, так как от должности моей зависит все благополучие наше и наших детей, оставлять меня, когда я в кабинете, в совершенном покое". Старик был прав, — о, как он был прав!» (Фадеев А.А. Субъективные заметки (Из записных книжек) // Новый мир. 1957. № 2. С. 236).

Дальше, правда, идут стереотипные рассуждения о пролетариате... — «Если "бунт" Ибсена не имел определенной цели, то и его "бунтующие" почитатели не сознавали истинного содержания своего "бунта", и Ибсен их удовлетворял. Современники же наши, не ставшие подлинными господами своих идей, не в состоянии удовлетворить пролетариат, особенно авангард его, ясно сознающий цели и содержание своего "бунта"» (Фадеев А.А. Субъективные заметки (Из записных книжек) // Новый мир. 1957. № 2. С. 232—233).

Фадеев составляет длинный список повестей и романов, включая в него произведения заведомо ничтожные и фальшивые... — В списке Фадеев наряду с романами А.Н. Толстого, М.А. Шолохова, М.А. Булгакова упомянул «Буйные травы» Егорова, «Бессмертие» Югова, Избранные рассказы Козина, «Хирург» Емельяновой, «Большой рейс» Клосс, «1916 год» Льва Успенского, «Из Гощи гость» Давыдова и с гордостью заявил: «Ни на Западе, ни в Америке такой прозы, как наша, уже давным-давно нет, а поэзии у них нет уже более четверти века, так же как и музыки. <...> Пусть-ка хоть одна из стран Западной Европы или Соединенные Штаты попробуют составить за этот же срок подобную библиотеку!» (Фадеев А.А. Субъективные заметки (Из записных книжек) // Новый мир. 1957. № 2. С. 235—236).

С. 81. *...«Живым мощам», рассказу, написанному Тургеневым уже в старости и включавшемся лишь в позднейшие издания... —* Рассказ «Живые мощи» Тургенев относил к своим ранним произведениям (см. его письмо Я.П. Полонскому от

18(30) декабря 1873 г.), хотя впервые опубликовал его лишь в 1874 г.: Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. СПб., 1874. С. 65—79.

«Девушка никуда не годится. У нее были длинные ресницы. Ах, как я тебя люблю...» — Не совсем точная цитата из письма Л.Н. Толстого А.А. Фету от 23 февраля 1860 г. У Толстого: «Девушка — из рук вон плоха — ах, как я тебя люблю... у ней ресницы были длинные...» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1949. Т. 60. С. 325).

С. 82. ...его словах о Кольцове, в связи с разбором «Литературных мечтаний» Белинского. Кольцова он сравнивает с советским поэтом Исаковским... — Фадев писал: «Белинский близок нашему пониманию реализма. Подымает Кольцова и справедливо ставит на место Бенедиктова <...> Многое, сказанное Белинским о Кольцове, применимо к нашему Исаковскому, исключительно народному таланту, также все еще недооцененному. Но справедливость требует сказать, что Исаковский по мысли и по форме выше Кольцова» (Фадеев А.А. Субъективные заметки (Из записных книжек) // Новый мир. 1957. № 2. С. 209).

С. 83. Об Эртеле ~ отзыв Толстого... — Кроману Александра Ивановича Эртеля (1855—1908) «Гарденины» Л.Н. Толстой написал очень одобрительное предисловие: «Для того, кто любит народ, чтение Эртеля большое удовольствие. Для того же, кто хочет узнать народ, не живя с ним, чтение это самое лучшее средство» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 37. С. 244).

...несмотря на очень высокую оценку, которую в своих «Воспоминаниях» дал Эртелю Бунин... — В своей мемуарной книге Бунин посвятил Эртелю целую главу, причем отозвался о нем очень высоко: «Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительна была его жизнь; удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников — Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь, в общем, он был не меньше их, за исключением, конечно, Чехова, а в некоторых отношениях даже больше.

Двадцать лет тому назад, в Москве, в чудесный морозный день, я сидел в его кабинете, в залитой солнцем квартире на Воздвиженке, и, как всегда при встречах с ним, думал: «Какая умница, какой талант в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности и мягкости, твердости и деликатности, породистого англичанина и воронежского прасола!»» (Бунин И.А. Воспоминания. Париж: Возрождение, 1950. С. 171).

С. 84. Виктор Шкловский ~ решил высказать сомнение в праве Горького на место в первом ряду русской литературы. — В предисловии к своей книге «Гамбургский счет»

В.Б. Шкловский писал: «По гамбургскому счету — Серафимовича и Вересаева нет.

Они не доезжают до города.

В Гамбурге — Булгаков у ковра.

Бабель — легковес.

Горький — сомнителен (часто не в форме).

Хлебников был чемпион» (*Шкловский В. Гамбургский счет*. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1928. С. 5).

«Новый журнал». Кн. 47 и 48

Впервые: Русская мысль. 1957. 30 мая. № 1062. С. 4—5.

С. 84. *По привычке или по инерции многие повторяют: но «Современные записки»...* — Сравнение «Нового журнала» (Нью-Йорк, 1942—) с довоенными «Современными записками» (Париж, 1920—1940) в эмигрантской среде в то время впрямь было общим местом. Георгий Иванов писал М.М. Карповичу 19 апреля 1951 г.: «То, что в эмиграции возможны были “Современные записки”, и высота уровня, и количество выпущенных томов, — я считаю поразительным явлением. Теперь считаю “а как живо было дитяtko”». Для “Нового журнала” — физически невозможен этот настоящему “великодержавный” уровень, но сами знаете — что по сравнению с “Нов<ым> журналом” все решительно остальное» (Переписка Георгия Иванова / Публ. Веры Крейд и Вадима Крейда // Новый журнал. 1996. № 203—204. С. 174—175).

...старуха-графиня в «Пиковой Даме» вздыхает «кто пел! кто танцевал!» — Адамович не совсем точно цитирует монолог графини из оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама» (1890, по мотивам повести А.С. Пушкина): «Кто дансерки? Кто поет? Девчонки! / А бывало: кто танцевал? кто пел?».

...«иных уж нет, а те далече»... — из романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (1823—1831; Гл. 8. LI).

...книжка «Нового журнала» открывается «Трудными дорогами» Г. Андреева, переведенными, наконец, из отдела воспоминаний и документов в отдел художественной прозы. — Первые части автобиографической повести Г. Андреева (наст. имя Геннадий Андреевич Хомяков; 1904—1984) печатались в «Новом журнале» в разделе «Воспоминания и документы» (1955. № 42. С. 138—163; 1956. № 44. С. 144—168). Критики и читатели оценили повесть очень высоко, и следующая часть открывала уже раздел прозы: *Андреев Г. Трудные дороги* // Новый журнал. 1956. № 47. С. 5—34.

С. 85. *«Горькие воды»* (Франкфурт-на-Майне: Посев, 1954) — книга очерков и рассказов Г. Андреева.

...пишет В. Александрова ~ об авторе как о человеке с «не очень громким писательским голосом»... — Вера Александровна Александрова (урожд. Мордвинова, в замужестве Шварц; 1895—1966) в рецензии на «Горькие годы» Г. Андреева писала: «У автора книги м.б. не очень громкий писательский голос, но он как-то сразу запоминается. Больше того: Андреев умеет завоевывать читательское доверие» (Новый журнал. 1957. № 48. С. 264).

...к недоумениям Ивана Карамазова насчет цены, в которую должна обойтись «финальная гармония»... — В романе «Братья Карамазовы» (Часть вторая. Книга пятая. IV) Иван говорит Алеше: «Слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю» (Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 223).

С. 85–86. ...он задолго до Достоевского был с совершенной ясностью поставлен Белинским, и ~ тут же в двух словах, с лихорадочной поспешностью разрешен... — 1 марта 1841 г. В.Г. Белинский писал В.П. Боткину: «Если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братии по крови, — костей от костей моих и плоти от плоти моей. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии; может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить свою участью идею дисгармонии» (Белинский В.Г. ПСС: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 12. С. 23).

С. 86. ...из «Ди-Пи». — См. примеч. к статье «После войны. II».

Евангулов, наоборот, — писатель, давно эмиграции знакомый... — Георгий Сергеевич (Саркисович) Евангулов (1894—1967) эмигрировал из Грузии во Францию в 1921 г., уже будучи автором нескольких книг стихов, изданных в Тифлисе и Владикавказе. В Париже и в Ницце был членом многих литературных кружков и объединений: «Палата поэтов», «Гатарapak», «Через», «Литературное содружество», Объединение писателей и поэтов и др., печатался во многих эмигрантских изданиях. В обзоре Адамовича речь идет о публикации: Евангулов Г. Игра // Новый журнал. 1956. № 47. С. 34—69.

...давний рассказ его — если не ошибаюсь, называвшийся «Четыре дня»... — Евангулов Г.С. Четыре дня // Современные

записки. 1928. Кн. 37. С. 147—195. Адамович в свое время отозвался о нем одобрительно: «Рассказ Евангулова “Четыре дня” впервые заставляет обратить внимание на этого молодого писателя, до сих пор помещавшего в разных газетах и журналах вещи гладкие, но легкие. <...> Очень хороший рассказ, чисто и умно написанный. Чутье и талант помогли Евангулову удержаться как раз на той грани, где кончается искусство и начинаются просто “документы”» (Адамович Г. «Современные записки». Кн. XXXVII. Часть литературная // Последние новости. 1929. 10 января. № 2850. С. 2).

...*Николай Ростов, проигрывающий Долохову сорок тысяч...* — Эпизод из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (Т. 2. Ч. 1. Гл. 13—16).

...*у Достоевского ~ отчаянные его письма к жене из всяких Гамбургов и Баден-Баденов...* — Эти письма изданы в серии «Литературные памятники»: Ф.М. Достоевский. А.Г. Достоевская. Переписка / Изд. подгот. С.В. Белов и В.А. Туниманов. Л.: Наука, 1976.

«*Бред Шелля*» покойного М. Алданова, отрывок из романа уже известного. — Роман М.А. Алданова «Бред» печатался в «Новом журнале» еще при жизни автора: 1954. № 38. С. 5—71; № 39. С. 5—50. 1955. № 40. С. 5—49; № 41. С. 5—52; № 42. С. 5—55. Посмертно были опубликованы другие главы: Алданов М. Бред Шелля // Новый журнал. 1957. № 48. С. 5—49.

С. 87. ...«*потоп*» настанет «*после*». — Парафраз выражения «Après moi le déluge» («После меня хоть потоп!»), приписываемого Людовику XV (иногда его фавориткам маркизе Помпадур или виконтессе Дюбарри).

...*кроме замечания, что «написан роман по старинке»: что это значит?* — В своей рецензии Р.Б. Гуль писал: «И в своем построении, и в подаче некоторых действующих лиц, роман Дудинцева страдает схематичностью. Он написан по старинке. Язык тяжел (хотя легкость языка вовсе не обязательное достоинство настоящей литературы; в неуклюжести языка Достоевского больше прелести и искусства, чем в изысканной, но безземной прозе многих символистов)» (Гуль Р. В. Дудинцев. Не хлебом единым // Новый журнал. 1957. № 48. С. 151).

М. Слоним недавно поместил в «Новом русском слове» статью о новаторстве... — Имеется в виду статья М.Л. Слонима «Консерваторы и новаторы» (Новое русское слово. 1957. 28 апреля. С. 5).

С. 88. Об этом писал в дневнике своем еще Александр Блок, и притом именно по поводу Ремизова: но в качестве «антиремизовца» он назвал драматурга Гнедича... — А.А. Блок в своих записных книжках использовал имя Петра Петровича

Гнедича (1855—1925) скорее как нарицательное, даже заключив его в кавычки, см. запись 30 ноября—1 декабря 1909 г.: «У “Гнедича” все идет как по маслу — творчества нет, он сам о нем не помышляет и нас не заставляет. У Ремизова только и дума, что о цельном творчестве, постоянное спотыкание, один рассказ от злости и бессилия сотворить цельное — прямо переходит в белиберду. Все — неравномерно, отрывисто, беспокойно, — хотя гораздо уже плавнее, чем в прежних книгах. Да еще бы, откуда этой плавности взяться? Ее и у Достоевского не было. Ремизов — не Толстой, чтобы, сидя в деревне, спокойно и важно нарисовать блистательные, вальжные главы, за главами части, и таких частей — восемь (!). И всё —цельно. Но Ремизов зато и не Гнедич. Простой, удивительно простой ключ ко всему “творчеству” фотографа Гнедича — весь ключ в том, что творчества вовсе нет, оно устранено. Откуда почерпнул г. Гнедич такое спокойствие душевное, такую “эпичность” — остается неизвестным. Ясно — не у Гомера. Не у героя ли своего — чиновника особых поручений “Выдыбаева”? Как бы то ни было, Ремизов и Гнедич — небо и земля, антиподы, обоим друг на друга, вероятно, без смеху взглянуть невозможно. Один — писатель, в “муке творчества”, ищущий... Другой — литератор, без творчества, чиновник особых поручений при литературе» (Блок А.А. Записные книжки: 1901—1920. М.; Л.: ГИХЛ, 1965. С. 161—162).

Вскоре А.А. Блок развил эти мысли в статье «Противоречия» (1910), говоря о книгах П.П. Гнедича «Песнь мухи (Из записок моего соседа Скалопендрова)» (СПб.: Изд. А.Ф. Маркса, 1909) и А.М. Ремизова «Рассказы» (СПб.: Прогресс, 1910): «Тихое безумие. Оно еще усиливается тем, что два писателя в один и тот же год и в одной и той же стране пишут на разных языках. Для Ремизова — каждая былинка, каждая человеческая мразь — “Текуба”; только бы ему оправдать человека и бога в нем, он спотыкается от злости и бессилия. Все в душе у него — беспокойно, отрывисто; достоевщина в кубе.

А что Гнедичу “Текуба”? Он не помышляет ни о людях, ни о боге, ни о мире, ни о творчестве. Откуда почерпнул г. Гнедич свою мерность и плавность, свой “эпос” наизнанку? Разве у героя своего — “чиновника особых поручений Выдыбаева”.

Один — писатель, мученик, творец. Другой — “литератор”, чиновник особых поручений при литературе. Им друг на друга без смеху и взглянуть невозможно. Для кого пишет Ремизов, если *кто-либо* читает Гнедича? Или — для кого пишет Гнедич, если у каждого человека, хоть в самых бессознательных тайниках души, есть влечение к Ремизову? Однако оба пишут и обо их читают. Гнедича — больше.

Тихое, непоправимое сумасшествие» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1962. Т. 5. С. 410).

Отрывок из романа «Плачужная канава» написан давно, более сорока лет тому назад. — Главы под названием «Плачужная канава: Нога в пуховом чулке», напечатанные в «Новом журнале» (1957. № 48. С. 48—98), ранее уже публиковались под названием «Канава» в журнале П.Б. Струве: Русская мысль. 1923. № 1/2. С. 60—89; № 3/5. С. 52—75.

Было бы крайне желательно прочесть весь роман полностью. — Целиком четыре части романа были опубликованы лишь 35 лет спустя в издании: Ремизов А.М. Избранное / Сост., примеч., послесл. А.А. Данилевского. Л.: Лениздат, 1991. С. 389—546. Научное издание по наборной рукописи осуществлено еще позже: Ремизов А.М. Собр. соч. Т. 4: Плачужная канава / Подгот. текста, коммент. А.М. Грачевой. М.: Русская книга, 2001. С. 283—452.

...«Господи, воззвах к Тебе, услыши мя»... — псалом 140.

...вовсе не «скучно и грустно»... — Отсылка к стихотворению М.Ю. Лермонтова «И скучно и грустно» (1840).

Нельзя не обратить внимания на А. Величковского. — Несколькими месяцами раньше Адамович на страницах «Русской мысли» уже «обращал внимание» на стихотворения А. Величковского. См. статью «“Новый журнал”, книга 45-я» и примечания к ней в наст. изд.

...как в коротеньком стихотворении о свече перед иконой... — Имеется в виду стихотворение А.Е. Величковского «Глядит луна / Через дорогу» (Новый журнал. 1956. № 47. С. 72).

С. 88—89. *Олег Ильинский ~ Есть какое-то разительное, мучительное несоответствие между событиями, вроде будапештской драмы, и торопливыми, квази-поэтическими иллюстрациями к ним.* — О стихотворении Олега Павловича Ильинского (1932—2003) «Это сражается Будапешт...» (Новый журнал. 1957. № 48. С. 121) в частном письме Адамович выразил гораздо резче, написав И.В. Одоевцевой 24 мая 1957 г.: «Какая страшная дрянь Олег Ильинский (?) о Будапеште! Я все меньше выношу эти поэтические актуальности» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г.В. Адамовича И.В. Одоевцевой и Г.В. Иванову (1955—1958) // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 503).

С. 89. *...изречение Андре Жида насчет того, что «хорошие чувства идут на изготовление плохой литературы»...* — Этот афоризм Андре Жид (Gide; 1869—1951) произнес на одной из своих лекций о Достоевском, прочитанных в зале Vieux Colombie и включенных в книгу: Gide A. Dostoïevsky (articles et causeries). Paris: Librairie Plon, 1923. В переводе А.В. Федорова:

«Плохая литература делается при помощи прекрасных чувств» (Жид А. Достоевский. Эссе. Томск: Водолей, 1994. С. 111).

...цикле о «Памяти». — Этот цикл стихов был опубликован в следующем номере: *Ильинский О.* Память // Новый журнал. 1957. № 48. С. 107—108.

О Иване Елагине и Ольге Анстей ~ по поводу случайно попавшихся стихов. — В номере были опубликованы стихи И. Елагина «Хлопочет сердце где-то в глубине...», «Нежность, видно, родилась заикой...», «Пробегают такси по соседнему парку...», «Всю ночь мигает вывеской отель...» и О. Анстей «Суровым синим ветром от воды...», «Родной язык», «За край осенней ночи, на весу...» (Новый журнал. 1957. № 48. С. 100—104).

...два стихотворения *Георгия Иванова*... — Речь идет о стихотворениях «Иду — и думаю о разном...» и «Свободен путь под Фермопилами...» (Новый журнал. 1957. № 48. С. 99—100).

...«любит оттого, что не любить оно не может»... — из стихотворения А.С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла» (1829).

Воспоминания Е.Д. Кусковой о «Давно минувшем»... — *Кускова Е.* Давно минувшее // Новый журнал. 1957. № 48. С. 139—163.

С. 90. ...«Волга, Волга, весной многоводной...» — из стихотворения Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858).

Юрий Анненков ~ рассказал о своих встречах с Блоком. — *Анненков Ю.* Об Александре Блоке // Новый журнал. 1956. № 47. С. 108—133.

Н. Валентинов — о встречах с Андреем Белым... — *Валентинов Н.* Встречи с Андреем Белым // Новый журнал. 1956. № 47. С. 133—154.

«Мысли о музыке» *Н. Метнера.* — *Метнер Н.К.* Мысли о музыке // Новый журнал. 1956. № 47. С. 177—194.

...о мнимых новаторах, ~ что «показывают язык своим бывшим учителям» и наперебой стараются изумить мир «жалким школьничеством». — «Когда я читаю современную музыку, то я все время из каждой ноты ее вижу нарочитое желание автора показать язык своим прежним учителям и воспринимаю это лишь как жалкое школьничество. Смотри 5-ую сонату Прокофьева. Глупая жалкая тема (жалыче любой инструктивной сонатины) хочет стать интересной благодаря нарочитым параллелизмам октав и квинт в крайних голосах. Вообще стыдно делается. Чувствуешь себя так, как если бы в обществе, где люди собрались для непритворного общения друг с другом, кто-нибудь пытался нарочно обратить на себя внимание рыганьем, сморканьем в руку и плеваньем на пол» (*Метнер Н.К.* Мысли о музыке // Новый журнал. 1956. № 47. С. 188).

У Хиндемита, в одной из ранних его опер, притом в самый комический ее момент, дважды звучит мелодия из «Тристана». — Речь идет об одноактной комической опере Пауля Хиндемита «Нуш-Нуши» (1920), в которой пародировались оперные банальности.

Алданов — человек и писатель

Впервые: Русская мысль. 1957. 1 августа. № 1089. С. 4—5.

С. 90. *Смерть Алданова...* — М.А. Алданов умер 25 февраля 1957 г. в Ницце. Адамович откликнулся на его смерть заметкой без заглавия, которая была напечатана в газете рядом с другими сообщениями: «Только что я узнал о внезапной кончине дорогого Марка Александровича Алданова.

Иногда говоришь по привычке: “нет слов, чтобы выразить...” Но теперь и в самом деле не нахожу слов, чтобы сказать все, что сказать надо бы. Не могу представить себе, что Алданова больше нет. Это был человек в своем роде единственный, человек с единственными умственными и душевными достоинствами, единственный в своем абсолютно-естественном благородстве, простоте, дружественности, обаянии, скромности, благожелательности ко всему и ко всем. Невозможно объяснить это тем, кто Марка Александровича не знал, а кто его знал, поймет и без объяснений, о чем речь. Другого Алданова встретить в жизни нельзя, и пустота, которая образовалась, ничем заполнена быть не может.

Нет, это не обычные, казенные фразы «над свежей могилой», это действительно так. На пути к тому, что всех нас ожидает, исчезло как будто еще что-то, удерживавшее *здесь*, и возникло другое, настойчивее приглашающее *туда*... Но это не утешение. Утешений нет.

Кто был другом Марка Александровича, будет еще жить, сколько ему жить положено, но никогда о потере этой забыть будет не в силах» (Русская мысль. 1957. 5 марта. № 1025. С. 5).

С. 91. ...с *«аппетитом»*, как выражался Тургенев. — Афоризм из повести И.С. Тургенева «Переписка» (1856): «Обо всем на свете можно говорить с жаром, с восторгом, с увлечением, но с аппетитом говоришь только о самом себе» (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1980. Т. 5: Сочинения. С. 25).

С. 95. ...*«самой головокружительной в мировой истории карьеры»*... — М.А. Алданов написал это не в «Ульмской ночи», а в очерке «Зигетт в дни террора», рассуждая о французских пьесах 1794 г. «Взятие Тулона» и «Взятие Тулона французами»: «Никто в публике не имел понятия о молодом офицере, как раз начинавшем в этом тулонском деле самую головокру-

жительную карьеру в истории: в пьесах были какие угодно действующие лица, за исключением Бонапарта» (Алданов М.А. Зиггетт в дни террора // Последние новости. 1939. 30 июля. № 6698. С. 3).

...«великолепной могилой», по Пушкину... — из стихотворения А.С. Пушкина «Наполеон» (1821).

...мсье Омэ... — персонаж романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари» (1857).

С. 96. ...Пушкин отметил в знаменитых словах о «едином плане Дантова Ада». — В заметке «Возражение на статьи Кюхельбекера в “Мнемозине”» А.С. Пушкин писал: «Единый план “Ада” есть уже плод высокого гения» (Пушкин А.С. ПСС: В 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. VII. С. 41).

...«пустой и глупой шуткой». — Из стихотворения М.Ю. Лермонтова «И скучно и грустно» (1840).

Лев Шестов утверждал, например, что из нее вышел весь Чехов. — Об этом Лев Шестов писал в статье «Творчество из ничего»: «Замечу кстати — и это я считаю чрезвычайно важным — что в творчестве своем Чехов находился под влиянием Толстого и в особенности под влиянием его последних произведений. Это важно ввиду того, что таким образом часть “вины” Чехова падает на великого писателя земли русской. Мне представляется, что если бы не было “Смерти Ивана Ильича” — не было бы ни “Скучной истории”, ни “Иванова”, ни многих других замечательных произведений Чехова. Это менее всего, однако, значит, что Чехов заимствовал хоть одно слово у своего великого предшественника. У Чехова было достаточно собственного материала, и в этом смысле он в помощи не нуждался. Но едва ли молодой писатель решился бы предстать за свой собственный страх пред людьми с теми мыслями, которые составляют содержание “Скучной истории”. Толстой, когда писал “Смерть Ивана Ильича”, имел за собой “Войну и мир”, “Анну Каренину” и прочно установившуюся репутацию первоклассного художника. Ему все было позволено. Чехов же был молодым человеком, весь литературный багаж которого сводился к нескольким десяткам мелких рассказов, приютившихся на страницах малоизвестных и не пользовавшихся влиянием периодических изданий. Если бы Толстой не проложил пути, если бы Толстой своим примером не показал, что в литературе разрешается говорить правду, говорить что угодно, Чехову пришлось бы, может быть, долго бороться с собой, прежде чем он решился бы на публичную исповедь, хотя бы в форме рассказов» (Шестов Л. Творчество из ничего (А.П. Чехов) // Начала и концы. Сборник статей. СПб., 1908. С. 10—11).

С. 97. «мессаж» — от фр. «message», сообщение, послание.

«Это все девятнадцатый век!» — Персонаж романа В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым» Дроздов вскоре после женитьбы говорит жене: «Милая, вот в чем дело: все, что ты говоришь, — это девятнадцатый век. Изящная словесность. Должен тебе сказать, что я ничего этого не понимаю и не жалею об этом» (*Дудинцев В. Не хлебом единым*. Мюнхен: ЦОПЭ, 1957. С. 16).

...«нет в творении Творца и смысла нет в мольбе». — Из стихотворения Ф.И. Тютчева «И чувства нет в твоих очах...» (1836).

С. 98. ...«вера без дел мертва». — Иак. 2:17.

«Если Бога нет, все позволено», — утверждал Смердяков. — Такой фразы в романе «Братья Карамазовы» нет. Эти мысли Ивана Карамазова были высказаны в споре, который в романе пересказывает Петр Андреевич Миусов (Ч. 1. Кн. 2. VII): «Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия» (*Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 65*). Затем более кратко формулирует это Ракитин в разговоре с Алешей, говоря об Иване Карамазове (Ч. 1. Кн. 2. VII): «Слышал давеча его глупую теорию: “Нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит, всё позволено”. (А братец-то Митенька, кстати, помнишь, как крикнул: “Запомню!”) Соблазнительная теория подлецам...» (Там же. С. 76). В афоризм это сложилось позже, при обсуждении романа критиками, журналистами и философами.

С. 99. ...«образе и подобии»... — Быт. 1:26.

С. 100. «Трудна работа Господня»... — Сказанные на смертном одре слова Владимира Соловьева привел его друг С.Н. Трубецкой в некрологе: *Трубецкой С.Н. Смерть В.С. Соловьева* // Вестник Европы. 1900. № 9. С. 420.

«Современные записки». Воспоминания М.В. Вишняка

Впервые: Русская мысль. 1957. 15 августа. № 1095. С. 4—5.

С. 100. За двадцать лет существования «Современных записок» не было, вероятно, ни одного человека, который ~ не добавил бы к похвалам какого-либо «но». — См. об этом, в частности: Коростелев О.А. «Современные записки» в отзывах критики // Вокруг редакционного архива «Современных записок» (Париж, 1920—1940): Сборник статей и материалов / Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 11—19.

С. 101. *Былые обиды забыты*, — в частности, думаю, со стороны тех «молодых», — «незамеченного поколения», по терминологии В. Варшавского, — которые горько жаловались на отсутствие внимания к ним. — Poleмика, вызванная появлением в печати первых же частей книги В.С. Варшавского «Незамеченное поколение» (1956), показала, что «былые обиды» были забыты далеко не всеми из молодых. Материалы полемики см.: *Варшавский В.С. Незамеченное поколение* / Предисл. О.А. Коростелева; сост., коммент. О.А. Коростелева, М.А. Васильевой; подгот. текста Т.Г. Варшавской, О.А. Коростелева, М.А. Васильевой; подгот. текста приложения, послесл. М.А. Васильевой. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына; Русский путь, 2010. С. 315—404.

...последний оставшийся в живых из редакторов «Современных записок»... — Из пятерых редакторов «Современных записок» Александр Исаевич Гуковский покончил жизнь самоубийством в 1925 г., Вадим Викторович Руднев умер в 1940 г., Илья Исидорович Фондаминский погиб в Освенциме в 1942 г., а Николай Дмитриевич Авксентьев скончался в 1943 г.

С. 102. ...«ценнейший вклад в литературу о русской интеллигенции». — Из предисловия к книге, которое написал председатель Отделения славяноведения университета Индианы М.С. Гинзбург: *Вишняк М.В. «Современные записки». Воспоминания редактора*. Bloomington: Indiana University publ., 1957. С. 3—4.

«Дождались!» — иронически воскликнул в октябре 1917 года один из немногих умных русских реакционеров по адресу русской интеллигенции. — Имеется в виду депутат Государственной думы В.М. Пуришкевич, который на вопрос, что он думает о свершившейся революции, ответил: «Я одно могу сказать: дождались, ... мать».

...«симпатическим карандашом», — сказал бы Добролюбов... — Н.А. Добролюбов употреблял слово «симпатический» в значении «симпатичный» и «симпатизирующий», см., например, в статье «Благонамеренность и деятельность» суждение о героях рассказов А.Н. Плещеева: «Ведь ничего не умеют, никуда сунуть носа не могут... А тоже на борьбу лезут, за счастье человечества вступаются, хотят быть общественными деятелями... Да спрашивается, — что они могут делать-то, тщедушные и кабинетные люди? Мечтатели они все <...> За что же будем мы им сочувствовать? Зачем же писать симпатические рассказы об их мечтах и внутренних страданиях, не приводящих ни к чему путному?» (*Добролюбов Н.А. Собр. соч.*: В 9 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1963. Т. 6. С. 196). Или в дневниковой записи 11 ноября 1852 г.: «Я рожден с чрезвычайно симпатическим

сердцем» (Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1964. Т. 8. С. 440).

...«так было, так будет»... — Выражение получило в России широкую известность после того, как министр внутренних дел и шеф жандармов Александр Александрович Макаров (1857—1919), докладывая 11 апреля 1912 г. в Государственной думе о причинах расстрела рабочих на Ленских золотых приисках, заявил, что виноваты сами рабочие: «Когда потерявшая рассудок под влиянием злостных агитаторов толпа набрасывается на войско, тогда войску ничего другого не остается делать, как стрелять. Так было и так будет впредь» (Государственная дума. Стенографические отчеты. Созыв III. Сессия V. СПб., 1912. Ч. 3. Стлб. 1953).

С. 102–103. Алданов чрезвычайно высоко ценил Фондаминского ~ сетовал на Варшавского за то, что тот в своем «Незамеченном поколении» отнесся к нему скорее скептически. — Алданов писал об этом Адамовичу 17 апреля 1956 г.: «Я люблю Варшавского, он очень милый человек и хороший писатель, рад успеху его книги, однако меня <...> раздражило то, что он написал о Фондаминском. О Милюкове что уж говорить — тут Варшавский просто пошел по давно проложенному пути. Но и Фондаминский, о котором написано вообще очень мало, был гораздо умнее и значительнее большинства людей, о которых В<аршавский> счел нужным так подробно писать. И если принять во внимание и всю его жизнь и смерть, если подумать, что знают Фондаминского так мало, то это якобы благожелательное или даже «дружественное» воспоминание о нем, с явным намеком, будто он был глуп, — очень нехорошо» («...Не скрывайте от меня Вашего настоящего мнения...»: Переписка Г.В. Адамовича с М.А. Алдановым (1944–1957) / Предисл., подгот. текста и коммент. О.А. Коростелева // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2011. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2011. С. 457).

С. 103. Мне он всегда представлялся человеком приятным, — даже, если угодно, «во всех отношениях»... — Отсылка к образу «дамы приятной во всех отношениях» у Н.В. Гоголя в «Мертвых душах» (Гл. IX).

...Федотов, его единомышленник и соратник в попытках создать живую «пореволюционную идеологию». — И.И. Фондаминский и Г.П. Федотов познакомились в 1927 г. на клермонском съезде и три года спустя совместно с Ф.А. Степуном основали журнал «Новый град» (Париж, 1931–1939, № 1–14) для выражения особого «пореволюционного сознания».

...он на эстраде всегда напоминал мне открытый кран: <...> Да и самые мысли Фондаминского были «без сучка, без задорин-

ки», и ни глубины, ни оригинальности в них было не найти. — М.В. Вишняк возмущен этот пассаж о Фондаминском, о чем он и написал Адамовичу, так что тот вынужден был оправдываться в письме от 7 октября 1957 г.: «По-видимому, я не совсем удачно сказал то, что хотел сказать, о Фондаминском. Многие поняли мои слова как отзыв вполне отрицательный. У меня и в мыслях этого не было. Но зато, правда, не было и в мыслях представить его как человека не только обаятельного, а и замечательного. Я его знал не очень близко, хотя встречал часто. Должен сознаться, что впечатление у меня осталось как о человеке скорей поверхностном, легковесно-восторженном, без какого-то костяка внутри. Федотов мне всегда представлялся глубже и даровитее, хотя и с крупницей фальши, которой в Илье Исид<оровиче> не было. <...> Недоразумение, вызванное моей статьей, объясняется, вероятно, тем, что я подошел к Ф<ондаминскому> с точки зрения литературной. Политические его друзья оценивали его гораздо выше, чем литераторы, и потому-то и были удивлены» («Не будьте на меня в претензии...»: Письма Г.В. Адамовича М.В. Вишняку 1938—1968 гг. / Публ. О.А. Коростелева // *Vademecum*. К 65-летию Лазаря Флейшмана. М.: Водолей, 2010. С. 420—421).

Свидетельство друзей, тех, для кого он, как для Вишняка, был «милым и дорогим Илюшей»... — Воспоминания М.В. Вишняка об И.И. Фондаминском начинаются со слов: «Илюша, Илья, Илья Исидорович Фондаминский был моим долголетним и многие годы самым близким и дорогим для меня другом» (*Вишняк М.В. «Современные записки»*. Воспоминания редактора. Bloomington: Indiana University publ., 1957. С. 36).

Довольно много говорит Вишняк о журнале, который был «Современным запискам» открыто враждебен, — о «Верстах». — Противостоянию «Верст» и «Современных записок» в книге Вишняка отведено несколько страниц: *Вишняк М.В. «Современные записки»*. Воспоминания редактора. Bloomington: Indiana University publ., 1957. С. 140—144. Подробнее всего М.В. Вишняк останавливается на статье о первых 26 номерах «Современных записок», которую опубликовал в «Верстах» (1926. № 1. С. 206—210) Д.П. Святополк-Мирский, вызвав шквал отзывов. Краткий обзор этих отзывов см. в примечаниях к книге: *Мирский Д.* О литературе и искусстве: Статьи и рецензии. 1922—1937 / Сост., подгот. текстов, коммент., материалы к библиографии О.А. Коростелева и М.В. Ефимова; вступ. ст. Дж. Смита. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 439—442.

С. 104. ...в связи с появлением в «Числах» статьи Франка... — Речь идет о статье С.Л. Франка «По ту сторону правого и левого» (Числа. 1930/1931. № 4. С. 128—143).

...«Современные записки» хотели, главным образом, охранить русскую культуру, «Числа» же хотели ее развить и продолжить. — О взаимоотношениях двух журналов в эмиграции много говорили и писали. 16 февраля 1933 г. в Париже (54, rue de Seine) состоялся вечер, посвященный толстым журналам в эмиграции, вступительное слово о «Современных записках» и «Числах» произнес Ю.В. Мандельштам, на вечере выступили Г.В. Адамович, З.Н. Гиппиус, М.Л. Слоним, Л.Д. Червинская, В.С. Варшавский и др. Некоторые из речей были опубликованы в виде статей, см., в частности: *Гиппиус З.Н.* «Современные записки» и «Числа» // Молва. 1933. 12 марта. № 59 (282). С. 3.

Молодежь, те, которых З. Гиппиус, впрочем, и тогда уже называла «подстарками»... — После войны Адамович писал: «Особую часть эмигрантской литературы составляет творчество писателей, которых до сих пор иногда называют “молодыми”. В сущности, это теперь — лишь условный термин: “молодые” — те, которые лишь в эмиграции стали писать или по крайней мере печататься. Зинаида Гиппиус, однако, еще до войны пользовалась в разговоре о них иным, придуманным ею и чуть насмешливым словом — “подстарки”. “Подстарки” мало хорошего видели в жизни, да и литература принесла им очень немного радостей» (*Адамович Г.* Одиночество и свобода. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова. 1955. С. 30).

«Няня из Москвы» — роман И.С. Шмелева, напечатанный в журнале «Современные записки» (1934. № 55. С. 5—69; № 56. С. 71—137; 1936. № 57. С. 5—79), а затем вышедший отдельной книгой (Париж: Возрождение, 1936) и дважды переиздававшийся тем же издательством — в 1937 и 1949 годах.

С. 105. *...если не ошибаюсь, эта «Няня из Москвы» была Петром Струве высоко оценена.* — Вероятно, Адамович ошибается. В редактируемой П.Б. Струве газете печатался отзывок романа «Няня из Москвы» (*Шмелев И.С.* Судьба. Рассказ старушки // Россия и славянство. 1933. 7 января. № 209. С. 2), но рецензий на этот роман не появлялось. О книге Шмелева положительно отзывались в печати А.В. Амфитеатров (Возрождение. 1936. 29 января. № 3892. С. 2; 13 февраля. № 3907. С. 2; 14 февраля. № 3908. С. 2) и П.М. Пильский (Сегодня. 1936. 25 января. № 25. С. 3). Возможно, Адамович запомнил какой-то из этих отзывов.

...у некоторых сотрудников «Чисел» ее вызывающе российский, «квасной» стиль и склад возбуждал содрогание и глубочайшую скуку... — После выхода романа Шмелева отдельным изданием Адамович писал: «Сравнить только “Няню из Москвы” с чем-либо бесспорно высоким в нашем прошлом, с “Княжной Мэри”, с “Капитанской дочкой”, с “Хозяином и работником”. Какое падение! Какой срыв! Причина не в таланте и не в ма-

стерстве, срыв — потому что, опять скажу, Шмелев очень талантлив и в карикатуру не превращается никогда, ни при каких обстоятельствах, — а срыв в общем творческом кругозоре, в миропонимании и властной, заразительной, облагораживающей силе этого миропонимания» (Адамович Г. Перечитывая Шмелева // Последние новости. 1936. 30 января. № 5425. С. 2).

...«вопросительным крючком»... — Из романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл. 7. XXIII).

Судьба Иннокентия Анненского

Впервые: Русская мысль. 1957. 5 ноября. № 1130. С. 4—5.

Об этой статье Адамович писал И.В. Одоевцевой 16 ноября 1957 г.: «...очень рад, что Вам пришлось по душе мой Анненский. Я это писал с целью “восстановления истины”, ибо теперь получилось, что главный анненкист — Маковский, с покойником Ставровым. (Это он мне говорил о Тютчеве и просил отметить, какие у Тютчева стихи “хорошие”!)» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды. Письма Г.В. Адамовича И.В. Одоевцевой и Г.В. Иванову (1955—1958) // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 513).

С. 105. *Не так давно в «Русской мысли» Ю.К. Терапиано напомнил об Иннокентии Анненском...* — Терапиано Ю. Иннокентий Анненский // Русская мысль. 1957. 5 октября. № 1117. С. 4—5.

Но ни «Кипарисового ларца», ни «Тихих песен», ни других книг Анненского в продаже нет... — Оба сборника И.Ф. Анненского — «Тихие песни» (СПб.: Т-во худож. печати, 1904) и «Кипарисовый ларец» (М.: Гриф, 1910) — уже ко времени революции стали библиографической редкостью. После посмертных переизданий «Тихих песен» (Пг.: Academia, 1923) и «Кипарисового ларца» (Пг.: Картонный домик, 1923) книги И.Ф. Анненского не выпускались на протяжении многих лет. Когда вышел подготовленный А.В. Федоровым томик в малой серии «Библиотеки поэта» (единственное издание между 1923 и 1959 г.), Адамович тут же откликнулся одобрительной заметкой: Г. В. <Адамович Г.В.> Ин. Анненский в советском издании // Последние новости. 1939. 11 мая. № 6618. С. 3. В 1948 г. Адамович в письмах принялся убеждать Бунина, что Анненский «поэт замечательный», и Бунин заинтересовался: «Анненского очень хотел бы перечитать — где можно достать его книжечку или книжечки? Укажите, пожалуйста, к кому мне обратиться в Париже» (Переписка И.А. и В.Н. Буниных с Г.В. Адамовичем (1926—1961) / Публ. О. Коростелева

и Р. Дэвиса // И.А. Бунин: Новые материалы. Вып. I. М.: Русский путь, 2004. С. 73).

С. 106. *Был он довольно значительным чиновником Министерства народного просвещения...* — Анненский был директором коллегии Галагана в Киеве (1891—1893), директором 8-й Санкт-Петербургской гимназии (1893—1896) и гимназии в Царском Селе (1896—1906). В 1906 г. был переведен в Санкт-Петербург окружным инспектором и оставался в этой должности до 1909 года, когда незадолго до своей смерти вышел в отставку.

...в некрологе, помещенном в журнале этого министерства, указывалось, что «покойный был не чужд изящной словесности и отдавал ей свои досуги». — В «Журнале Министерства народного просвещения» некролог написал Борис Васильевич Варнеке (1874—1944), хорошо знавший И.Ф. Анненского и все сферы его деятельности, оставивший также мемуарный очерк о нем, сам филолог-классик, автор сотен публикаций. Адамовичу мог не понравиться сухой тон некролога и то, что о стихах Анненского в нем было сказано гораздо меньше, чем о его переводах и статьях: «За последние двадцать пять лет классическая филология заметно отодвинула в сторону все остальные интересы И.Ф. Анненского. <...> Кому не нравятся ни “Тихие песни” ни обе Книги отражений, тот легко сможет заставить их на полках своей библиотеки томом “Театра Еврипида” и кипой оттисков хотя бы “Педагогических писем”» (Варнеке Б. И.Ф. Анненский (Некролог) // Журнал Министерства народного просвещения, новая серия. Ч. XXVI. 1910. Март. Отд. IV. С. 37—48). Возможно, Адамович имеет в виду статью, написанную письмоводителем Николаевской гимназии Л.А. Козминым, в которой говорилось: «Не чужд был И.Ф. и чистой лирики: много занимаясь, в особенности последние годы, вопросами искусства, он выпустил два сборника стихов и ряд переводов западно-европейских поэтов» (Краткий отчет об Императорской Николаевской Царскосельской гимназии за последние XV лет ее существования (1896—1911). СПб., 1912. С. 22—23).

...Брюсов, человек, который мог «опрокинуть свою чернильницу на любую поэтическую репутацию»... — В другой своей статье Адамович приписывает авторство этого выражения Блоку: «Валерий Брюсов — “мэтр”. Против его авторитета не спорили. Как писал когда-то Блок, — “он мог опрокинуть чернильницу на любую поэтическую репутацию”» (Адамович Г. Избранный Брюсов // Последние новости. 1933. 7 декабря. № 4642. С. 3).

...дал о сборнике отзыв холодновато-одобрительный, с признанием достоинств, но достоинств ограниченных... — В.Я. Брюсов посвятил «Кипарисовому ларцу» И.Ф. Аннен-

ского раздел своей статьи «Поэты-импрессионисты», опубликованной в № 6 «Русской мысли» за 1910 г., и этот отзыв трудно назвать «холодноватым», Брюсов мало о ком отзывался с таким пиететом: «Истинный поэт, тонкий критик, исключительно эрудит, человек во всем и всегда оригинальный, на других не похожий <...> И. Анненский обладал способностью к каждому явлению, к каждому чувству подходить с неожиданной стороны. <...> Как последовательный импрессионист, И. Анненский далеко уходит вперед не только от Фета, но и от Бальмонта; только у Верлена можно найти несколько стихотворений, равносильных, в этом отношении, стихам И. Анненского. <...> его поэзия поразительно искренна. Его стихи раскрывают перед нами душу нежную и стыдливую, но слишком чуткую, и потому привыкшую таиться под маской легкой иронии. И эта ирония стала вторым лицом И. Анненского, стала неотделима от его духовного облика» (*Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7 т. М.: Художественная литература, 1975. Т. 6. С. 328—329*). Вероятно, Адамович спутал, имея в виду другую рецензию В.Я. Брюсова, на сборник «Тихие песни», где тот отозвался об Анненском именно «холодновато»: «Это еще не поэзия, но уже предчувствие поэзии, обещание ее. <...> Книга Ник. Т-о — дебют неизвестного нам автора. У него хорошая школа. Его переводы, часто непозволительно далекие от подлинника, из Бодлера, Леконт де Лиля, Верлена, Малларме, Роллина, Рембо, Корбьера, Шарля Кро показывают, по крайней мере, что он учился у достойных учителей. В его оригинальных стихотворениях есть умение дать движение стиху, красиво построить строфу, ударить рифму о рифму как сталь о камень; иногда он достигает музыкальности, иногда дает образы, не банальные, новые, верные. В нем есть художник, это уже явно. Будем ждать его работы над самим собой» (*Весы. 1904. № 4. С. 62—63. Подп.: Аврелий*).

Гораздо выше оценил книгу Вячеслав Иванов... — И.Ф. Анненскому В.И. Иванов посвятил единственную статью, в которой нет оценки «Кипарисового ларца» и даже упоминания о нем, поскольку во время написания статьи В.И. Иванову были известны лишь отдельные стихотворения из «Кипарисового ларца», и большинство его суждений в статье носило общий характер: «Лирика Анненского первоначально обращает всю энергию своей жалости на собственное, хотя и обобщенное я поэта, потом же охотнее объективируется путем перевоплощения поэта в наблюдаемые им души ему подобных, но отделенных от него гранью индивидуальности и различием личин мирового маскарада людей и вещей. <...> Смерть застигла Анненского в пору расцвета его таланта и приоткрывания новых, уже поредевших перед его духовным взором завес» (*Иванов В.И. О по-*

эзии Иннокентия Анненского // Аполлон. 1910. № 4. С. 19). Однако Адамовича впечатлила именно эта статья, правда, не в журнальном, а в книжном варианте (см. примеч. ниже).

...«совершеннейший истукан», как много позднее говорил мне Бунин, встречавшийся с ним в Крыму. — См. в воспоминаниях Адамовича: «Бунин рассказывал о единственной своей встрече с Анненским в Крыму:

— Сидел на террасе с пледом на ногах, читал что-то французское... Кажется, кроме “здравствуйте” и “до свидания”, мы ничего друг другу и не сказали... Вы что, действительно думаете, что это был замечательный поэт, или так, больше оригинальничаете?

Помню при этом пристальный бунинский взгляд, тот, который я не раз замечал у него, когда он предполагал или хотя бы только допускал в собеседнике притворство» (Адамович Г. Бунин. Воспоминания // Новый журнал. 1971. № 105. С. 126).

В «Русском богатстве» был другой Анненский, более знаменитый... — Брат И.Ф. Анненского, общественный деятель, публицист, экономист Николай Федорович Анненский (1843—1912) с 1894 г. был членом редакции журнала народников «Русское богатство» (после смерти Н.К. Михайловского в 1904 г. главой литературного комитета).

С. 106. ...несколько молодых людей, — преимущественно поэтов, и скорей петербургских, чем московских, — подлинно «влюбились» в стихи Анненского ~ К началу революции культ окреп... — Речь идет прежде всего об акмеистах. Подробнее см.: Тименчик Р.Д. Подземные классики: Иннокентий Анненский. Николай Гумилев. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2017. С. 77—284.

...пожалуй, у Анны Ахматовой какие-то следы подражания можно было найти... — Подробнее об этом см.: Аникин А. Ахматова и Анненский. О “петербургском” аспекте темы // Ахматовский сборник: Вып. I: К столетию со дня рождения Анны Ахматовой / Сост. С.В. Дедюлин, Г.Г. Суперфин. Париж, 1989. С. 33—42; Салма Н. Анна Ахматова и Иннокентий Анненский (к вопросу о смене моделей мира на рубеже двух веков) // Царственное слово / Сост. Н.В. Королева, С.А. Коваленко. М.: Наследие, 1992. С. 126—134; Магомедова Д.М. Анненский и Ахматова (к проблеме “романизации” лирики) // Царственное слово / Сост. Н.В. Королева, С.А. Коваленко. М.: Наследие, 1992. С. 135—140.

С. 107. Гумилев, уже мечтавший о том, чтобы сменить москвича-Брюсова на диктаторском посту... — Анненский оказался «промежуточной» фигурой между символизмом (который «возглавлял» Брюсов) и акмеизмом (вождем которого был Гумилев), обозначив своей смертью в 1909 году начало

конца символизма и оказав влияние на будущих акмеистов. В «Письмах о русской поэзии» Гумилев обозначил дистанцию, стоящую между символистами и Анненским, небезосновательно определив последнего как учителя всех новаторов в русской поэзии: «Русские символисты взяли за тяжелую, но высокую задачу — вывести родную поэзию из Вавилонского плена идейности и предвзятости, в котором она томила почти полвека. Наряду с творчеством, они должны были насаждать культуру, говорить об азбучных истинах, с пеной у рта защищать мысли, которые на Западе стали уже общим местом. В этом отношении Брюсова можно сравнить с Петром Великим. Анненский оставался чужд этой борьбе. Эстетизм ли тонкой, избалованной красотами Эллады души, или набожное, хотя с виду и эгоистическое, стремление использовать свои силы наилучшим образом заставили его уединиться духовно, — кто знает? Но только теперь, когда поэзия завоевала право быть живой и развиваться, искатели новых путей на своем знамени должны написать имя Анненского, как нашего “завтра”» (Гумилев Н. Письма о русской поэзии // Аполлон. 1910. № 8. Хроника. С. 59).

...une chapelle... — клан, узкий круг (фр.).

Гумилев пришел и сразу заявил, что он свое отношение к Анненскому пересмотрел, — а истинно великий поэт наших лет, непонятый, неоцененный — граф Комаровский. — Василий Александрович Комаровский (1881—1914) издал единственный поэтический сборник «Тихая пристань» (1913), умер от последствий душевного заболевания и после смерти превратился в один из царскосельских мифов (см.: Иванов Г. Петербургские зимы. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. С. 154—159). Этот эпизод позже был рассказан Адамовичем более подробно: «Гумилев был в этот день как-то особенно благодушно настроен и словоохотлив, делился своими литературными планами, много рассказывал о Париже, где ни Георгий Иванов, ни я не бывали, говорил о философии Бергсона, которую по-своему толковал. Само собой, однако, разговор перешел на поэзию и поэтов, на Пушкина, на Некрасова, потом на Анненского. Я не могу теперь передать с совершенной точностью того, что Гумилев об Анненском сказал, но был его словами настолько удивлен, что в общих чертах они врезались мне в память. Добавлю, что Гумилев говорил с подчеркнутым убеждением, будто касаясь открытия, которым дорожит и даже гордится.

— Анненский, — сказал он, — поэт незначительный, пожалуй, даже слабоватый, лишенный настоящей творческой энергии и невзрастенический. Я ошибся в его оценке и должен теперь признать это. Что же, ошибки бывают у всякого, и когда-то я Анненского очень любил! Но теперь я пересмотрел свое

отношение к его стихам и окончательно разлюбил их. Нет, это вялый, скучный поэт, и мне совсем чуждый.

Не помню, кто именно, Георгий Иванов или я, спросил:

— Что же, ваш Брюсов лучше?

Гумилев поморщился.

— Нет, Брюсов, может быть, и не лучше... Но был среди символистов поэт действительно необыкновенный — Комаровский.

Имя Комаровского теперь забыто. Человек это был в самом деле чрезвычайно своеобразный, бесспорно даровитый, писавший до своей душевной болезни стихи, на которые нельзя было не обратить внимания. Однако о сравнении с Анненским не может быть, по-моему, и речи.

Повторяю, это была моя последняя встреча с Гумилевым. Дня через два-три он был арестован и погиб. Вполне возможно, что его охлаждение к Анненскому оказалось бы случайным, преходящим и что он вскоре вернулся бы к своему прежнему “преклонению”...» (*Адамович Г. Анненский и Гумилев // Новое русское слово. 1965. 2 мая*).

...той же группы, которая была ему верна в Петербурге: Георгий Иванов, Николай Оцуп, Ирина Одоевцева. — Все они вместе с Г.В. Адамовичем были участниками последнего «Цеха поэтов», который после гибели Н.С. Гумилева продолжил свою работу за рубежом.

Мы чуть ли не каждый год устраивали вечера его памяти... — Это изрядное преувеличение, известно лишь о трех таких вечерах за весь межвоенный период: организованный редакцией «Звена» вечер 31 мая 1927 г., организованный редакцией «Чисел» вечер 16 декабря 1929 г., и вечер 14 марта 1935 г. (к 25-летию со дня смерти И.Ф. Анненского). Докладчиком на всех трех вечерах был Адамович, и инициатива проведения этих вечеров явно исходила от него. Но к этому надо прибавить еще статьи, а также публичные лекции об И.Ф. Анненском, которые Адамович не раз читал как до войны, так и после. Возможно, кому-то и это казалось слишком частым. Во всяком случае, И.А. Бунин воспринимал все именно так и написал Адамовичу 10 января 1948 г.: «Меня как громом поразило в последн*ем* № “Рус<ских> новостей” сообщение о том, что Вы вскоре читаете лекцию о Блоке и Анненском, — я затопал ногами и закричал на весь “Рус<ский> дом”: Как?! Опять?! Опять?!» (Переписка И.А. и В.Н. Буниных с Г.В. Адамовичем (1926—1961) / Публ. О. Коростелева и Р. Дэвиса // И.А. Бунин: Новые материалы. Вып. I. М.: Русский путь, 2004. С. 70). На что Адамович ответил 13 января 1948 г.: «У меня насчет Ан<не>нского чувство, что я по мере “ничтожных и жалких сил своих” должен его

отстоять от забвения, которое нет-нет да и надвигается на него, если о нем не напоминать. А поэт он замечательный и — скажу по секрету — лучше Блока, который все-таки с годами вянет. Только у Блока был голос, а у этого какая-то прирожденная астма, и все свои чудеса он мог только пробормотать или прошептать» (Там же. С. 72).

С. 108. *...доклад, где довольно искусственно, но остроумно сопоставлял его с толстовским Иваном Ильичом.* — В.Ф. Ходасевич 14 декабря 1921 г. выступал в «Доме искусств» на вечере, посвященном памяти И.Ф. Анненского. Текст доклада был опубликован в берлинском журнале «Эпопея»: «Сравнивая Анненского с Иваном Ильичом, мы не омрачаем память дорогого нам всем, прекрасного поэта. Иван Ильич не образчик никчемного, глупого и пошлого человека. Так не надо судить о нем. Он — человек, просто человек, как все мы люди, — он обыкновенный. Повесть о нем — повесть о человеке. Повесть об Анненском, как она разворачивается перед нами, отраженная его лирикой, есть та же повесть, лишь осложненная тем, что Анненский не обыкновенный чиновник, а поэт. И это понятие, поэт, брошенное на весы, почти всегда перевешивало, давало Анненскому преимущество: он оказывался лучше, значительнее, тоньше, умней, чем Иван Ильич. Но чудо случилось с обыкновенным человеком, а не с поэтом». (Ходасевич В.Ф. Об Анненском // Эпопея. 1922. № 3. С. 55).

...верленовский совет искать «не краски и не цвета, а только оттенка», не бояться «некоторой ошибки в выборе слов»... — из стихотворения П. Верлена «Искусство поэзии» (1884). В переводе В.Я. Брюсова: «Ценя слова как можно строже, / Люби в них странные черты. / Ах, песни пьяной что дороже, / Где точность с зыбкостью слиты! <...> Одни оттенки нас пленяют, / Не краски: цвет их слишком строг!». В переводе Б.Л. Пастернака: «Не церемонься с языком / И торной не ходи дорожкой. / Всех лучше песни, где немножко / И точность точно под хмельком». В переводе Г.А. Шенгели: «К тому ж выбирай твои слова / Слегка небрежно, чуть презирая: / Ведь песенка нам милей хмельная. <...> Ведь мы Оттенков жаждем и ждём! / Не надо Красок, Оттенков нужно».

...за ними неожиданно маячит в своей щемящей беспомощности Акакий Акакиевич Башмачкин... — Творчество И.Ф. Анненского ассоциировалось у Адамовича с «Шинелью» Н.В. Гоголя довольно устойчиво, см., например, в статье «Наследство Блока»: «Блок духовно-щедрее, неизмеримо точнее Анненского, и оттого выигрывает в сравнении с ним. У Анненского при всей его щемящей «шинельности» чувствуется осторожность, сдержанность в излучении энергии...» (Адамович Г.В. Собр. соч.: В 18 т. Т. 14. С. 136).

С. 109. *...было сопротивление еще со стороны Марины Цветаевой...* — Свидетельств об отношении Цветаевой к Анненскому немного. И тем не менее редкие сохранившиеся высказывания Цветаевой противоречат этому замечанию Адамовича. В статье «Герой труда», приводя реплику Пастернака: «Первым был Брюсов, Анненский не был первым», — Цветаева отвечает: «единственный не бывает первым» (Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. Т. 4: Воспоминания о современниках. Дневниковая проза / Сост., подгот. текста и коммент. А. Саакянц и Л. Мнухина. М.: Эллис Лак, 1994. С. 19). В статье «Пушкин и Пугачев», цитируя строчку из стихотворения Анненского «Невозможно», Цветаева замечает: «Здесь во всей полноте звучит бессмертное анненское слово» (Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5: Автобиографическая проза. Статьи. Эссе. Переводы / Сост., подгот. текста и коммент. А. Саакянц и Л. Мнухина. М.: Эллис Лак, 1994. С. 502).

С. 109–110. *...«учителем поэзии для поэтов»...* — Горнфельд А.Г. Ф.И. Тютчев // История русской литературы XIX в. М.: Мир, 1910. Т. 3. С. 460.

С. 110. *...«не зарастет народная тропа».* — Из стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг...» (1836).

В статье Вячеслава Иванова, о которой я упомянул, было замечание о «скупых нищих жизни»... — Об этом говорилось в статье «О поэзии Иннокентия Анненского», но не в журнальном ее варианте (Аполлон. 1910. № 4. С. 16–24), а в книжном издании, куда Иванов добавил в конце статьи еще один абзац, в котором, в частности, написал: «Анненский становится на наших глазах зачинателем нового типа лирики, нового лада, в котором легко могут выплакать свою обиду на жизнь души хрупкие и надломленные, чувственные и стыдливые, дерзкие и застенчивые, оберегающие одиночество своего заветного уголка, скупые нищие жизни» (Иванов Вяч. Борозды и межи: Опыты эстетические и критические. М.: Мусaget, 1916. С. 311).

...Блока, который был и водянистее Анненского и стилистически гораздо неряшливее его, но который в лучшие свои мгновения рискует, взлетает, сгорает, жертвует собой... там, где Анненский только мерцает и тлеет. — К сопоставлению творчества Блока и Анненского Адамович обращался неоднократно, иногда меняя свои предпочтения. Ср., напр., сноску в статье «Несколько слов о Мандельштаме»: «Есть темы, которые стоили бы того, чтобы в них вдуматься и их разработать, хотя, вероятно, они так и останутся никем не задетыми. Одна из них возможность победы Сальери над Моцартом, — не историческим Моцартом, которого не победит никогда никто, а над Моцартом нарицательным. Есть, например, проблематическая, но в некоторых умах и сердцах уже почти осуществляющаяся

победа Анненского над Блоком» (Адамович Г. Несколько слов о Мандельштаме // Воздушные пути. 1961. № 2. С. 91).
...«душу свою теряет...» — Мф. 16:25.

Нео-нигилизм

Впервые: Русская мысль. 1957. 21 ноября. № 1137. С. 4–5.

С. 110. ...общий отзыв о которой, вместе с книжкой пятидесятой, я надеюсь дать в самое ближайшее время... — Отзыв о двух новых номерах журнала появился через месяц: Адамович Г. «Новый журнал». Книги 49 и 50 // Русская мысль. 1957. 19 декабря. № 1149. С. 4–5. См. ниже в наст. изд.

С. 110–111. В. Набоков-Сири и В. Яновский, в трогательном согласии называют речь Достоевского о Пушкине «вздором». — У В. Яновского: «Доказательство того, что русский человек обязательно всечеловек, Достоевский избрал чисто беллетристическое. Пушкин-де так описал сценки из западного средневековья, что и тамошним художникам по сей день завидно! Значит, всечеловек. А если у Пушкина универсальная душа, то и у всех его соплеменников. Кто судья, что Пушкин так хорошо описал скупого рыцаря? Этот самодовольный вздор так польстил русачкам, что за почти сто лет никто не сообразил следующего: ведь Пушкин перевел Песни Западных Славян с французского, сочиненные Мериме. Пушкин их счел подлинными! Значит, и француз бывает всечеловеком, если он мог так подделаться под славян» (Яновский В. Челюсть эмигранта // Новый журнал. 1957. № 49. С. 65). У В. Набокова: «Я знаю поклонников Толстого, которые думают, что Анна бросилась под паровоз, и поклонников Пушкина, которые думают (вместе с Достоевским — судя по вздору в его пресловутой речи), что муж Татьяны был “почтенный старец”» (Набоков-Сирин В. Заметки переводчика // Новый журнал. 1957. № 49. С. 131).

С. 111. ...«реках вавилонских»... — Пс. 136:1.

С. 112. Перефразируя Тютчева, можно бы сказать, что мы оказались «застигнуты ночью России»... — Отсылка к стихотворению Ф.И. Тютчева «Цицерон» (1929): «Оратор римский говорил / Средь бурь гражданских и тревоги: / “Я поздно встал — и на дороге / Застигнут ночью Рима был!”».

...«легкости в мыслях необыкновенной»... — В комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (1836) эти слова произносит Хлестаков (Действ. 3. Явл. 6).

С. 113. ...«в два века своей политики Россия ничего другого не делала, как только служила Европе, может быть больше, чем самой себе». — Адамович верно передает смысл, цитируя, видимо, по памяти. В опубликованном тексте пушкинской речи Достоевского (Дневник писателя. 1880. Август. Гл. II.

Пушкин) эта фраза выглядит немного по-другому: «Если захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!» (*Достоевский Ф.М.* ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1984. Т. 26. С. 147—148).

Белинский кончает свою монументальную статью о Пушкине похвалами «изяществу» его созданий и называет его «симпатичным существом»! — В своей заключительной, одиннадцатой статье из цикла «Сочинения Александра Пушкина» (Отечественные записки. 1846. Т. XLVIII. № 10. С. 41—68) В.Г. Белинский писал: «Пушкин был по преимуществу поэт, художник, и больше ничем не мог быть по своей натуре. Он дал нам поэзию, как искусство, как художество. И потому он навсегда останется великим, образцовым мастером поэзии, учителем искусства. К особенным свойствам его поэзии принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство *гуманности*, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека как человека. Несмотря на генеалогические свои предрассудки, Пушкин по самой натуре своей был существом любящим, симпатичным, готовым от полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему “человеком”. Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характере сильном и мощном, в нем было много детски кроткого, мягкого и нежного. И все это отразилось в его изящных созданиях. Придет время, когда он будет в России поэтом *классическим*, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство» (*Белинский В.Г.* ПСС: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 7. С. 579).

С. 114. ...*le pur chef-d'œuvre de l'esprit humain...* — чистый шедевр человеческого духа (*фр.*).

...назвал «дурацкой», притом, как водится, в виде окончательного приговора, без малейшего объяснения. — Речь идет об отрывке из книги «Другие берега», в котором В. Набоков описывает Mademoiselle: «в эту минуту она казалась сущим воплощением Иезавели из “Athalie”, дурацкой трагедии Расина, куски которой мы, конечно, должны были знать наизусть вместе со всяким другим лжеклассическим бредом» (*Набоков В. Другие берега* // Новый журнал. 1954. № 37. С. 95).

...«юная Франция», упоминаемая в «Тамани»... — В романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Печорин пишет о героине «Тамани»: «В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит юной Франции. Она, то есть порода, а не юная Франция, большею частью изобличается в поступки, в руках и ногах; особенно нос много значит» (*Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 4. С. 62*). «Юная Франция» — группа молодых романтиков, писателей и художников, сложившаяся после революции 1830 г. (лидерами были Жерар де Нерваль, Петрюс Борель, чуть позже Теофиль Готье) и задавшая тон всему поколению «младофранцузов», вплоть до манер и моды. Эксцентричной творческой молодежи летом 1831 в «Le Figaro» был посвящен цикл очерков под общим названием «Юная Франция» («Jeunes France»). Теофиль Готье откликнулся на это пародийной книгой «Юные французы» («Les Jeunes-France», 1833). Идеальный нос у женщины важен для героя романа Теофиля Готье «Мадемуазель де Мопен» (1835).

Памяти Аминадо

Впервые: Русская мысль. 1957. 28 ноября. № 1140. С. 4–5.

С. 116. Читали мы их до войны чуть ли не каждый день, в «Последних новостях»... — Эти слова Адамовича не выглядят преувеличением, когда видишь библиографию публикаций Дон-Аминадо, которые появлялись в «Последних новостях» с 27 апреля 1920 г. по 9 июня 1940 г. если не ежедневно, то через день: *Caratozzolo M. Interventi di Don Aminado sul quotidiano “Poslednie novosti”, 1920–1940* // *Caratozzolo M. Don Aminado. Una voce russa a Parigi tra le due guerre*. Bari: Stilo Editrice, 2013. P. 185–279.

...талантом Аминадо неизменно восхищался Бунин, и в одной из книжек «Современных записок» он свое восхищение выразил... — В своей рецензии на книгу Дон-Аминадо «Наша маленькая жизнь» (Париж: Я. Поволоцкий и К°, 1927) Бунин написал: «Дон-Аминадо гораздо больше своей популярности (особенно в стихах), и уже давно пора дать подобающее место его большому таланту художественному, а не только газетному, злободневному» (*Современные записки. 1927. № 33. С. 523*).

Когда-то Аминадо показывал мне письмо Марины Цветаевой, полное восхищения не меньшего. — Копия письма сохранилась в архиве Г.В. Адамовича (РГБ. Ф. 754. Карт. 3. № 6). В СССР это письмо было опубликовано в одной из первых подборок цветаевских писем: Новый мир. 1969. № 4. С. 211—213. М.И. Цветаева написала Дон-Аминадо 31 мая 1938 г.: «Мне совершенно необходимо Вам сказать, что Вы совершенно замечательный поэт. Я уже годы от этого высказывания удерживаюсь — à quoi bon? [к чему? (фр.)] — но в конце концов, — несправедливо и неразумно говорить это *всем*, кроме Вас, — который, единственный, к этому отнесется вполне серьезно и, что важнее, — не станет спорить. (Остальные же (дураки) Вам верят на слово — веселее.) Да, совершенно замечательный поэт (инструмент) и куда больше — поэт, чем все те молодые и немолодые поэты, которые печатаются в толстых журналах. В одной Вашей шутке больше *лирической жилы*, чем во всем “на серьёзе”» (Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. Т. 7: Письма / Сост., подгот. текста и коммент. Л. Мнухина. М.: Эллис Лак, 1991. С. 653). Ранее Адамович уже цитировал это письмо в рецензии на книгу Дон-Аминадо, отзывавшись о нем очень высоко: «Далеко не все суждения Марины Цветаевой значительны или хотя бы только интересны... Но чутье у нее было острое и в стихах она, во всяком случае, толк знает. С ее оценками в этой области не считаться нельзя... Bravo! хочется сказать Марине Цветаевой, рукоплещая ей, как она сама рукоплещет Аминадо. Умный она была человек, когда хотела, когда благоволила умной быть» (Адамович Г. В те баснословные года // Новое русское слово. 1951. 13 мая. № 14262. С. 8). Адамович упоминает об этом письме и в статье «Памяти Аминадо» (Русская мысль. 1968. 18 января. № 2670. С. 5), см. ниже в наст. изд.

С. 117. «Особенный, еврейско-русский воздух...» — из стихотворения Довида Кнута «Я помню тусклый кишиневский вечер...» (1929).

С. 118. ...«черствый хлеб изгнания»... — из стихотворения В.К. Кюхельбекера «Суров и горек черствый хлеб изгнания» (1829).

«Сквозь слезы»? — Отсылка к лирическому отступлению из «Мертвых душ» (Том I. Глава VII) Н.В. Гоголя: «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирая всю громадно несущуюся жизнь, озирая ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!» (Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев: Изд-во Московской патриархии, 2009. Т. 5. С. 130).

Впервые: Русская мысль. 1957. 19 декабря. № 1149. С. 4—5.

С. 120. ...ряд «придаточных предложений», — как в таких случаях говорил Гумилев... — Об этом вспоминали многие участники «Цеха поэтов», в том числе и сам Адамович: «За каждым прочитанным стихотворением следовало его обсуждение. Гумилев требовал при этом “придаточных предложений”, как он любил выражаться: то есть не восклицаний, не голословных утверждений, что одно хорошо, а другое плохо, но мотивированных объяснений, почему хорошо и почему плохо» (Адамович Г. Мои встречи с Анной Ахматовой // Воздушные пути. 1967. № 5. С. 104). Ср. у Георгия Иванова: «В “Цехе поэтов” существовало правило: всякое мнение о стихах обязательно должно быть мотивировано. На соблюдении этого правила особенно настаивал Мандельштам. Он любил повторять: “Предоставьте барышням пищать: Ах, как мне нравится! Или: Ох, мне совсем не нравится!” Звонок синдика Гумилева, прерывавший оценки “без придаточного предложения”, всегда вызывал у Мандельштама одобрение. Не следует при этом забывать, что в первом, “настоящем”, “Цехе поэтов”, в тщательно отобранном кругу наиболее ярких представителей тогдашних молодых поэтов, “разговор” велся на том культурном уровне, где многое подразумевалось само собой и не требовало пояснений. И тем не менее придаточное предложение считалось необходимым» (Иванов Г. Осип Мандельштам // Новый журнал. 1955. № 43. С. 273).

«Трудные дороги» Г. Андреева, печатавшиеся в четырех книжках «Нового журнала»... — Произведение Г. Андреева выходило в кн. 42, 44, 47 и 49 «Нового журнала».

С. 121. Сектант-украинец Твердохлеб негодует на тех, кто «хочет устроить по книжкам жизнь». — У Г. Андреева: «А трудные люди. Которые не по книжкам живут. Ты что в книжке вычитал, то у тебя и на уме. Своего ума у вас нет. Придумаете по книжкам план, и давай кромсать. Кому руку прочь, кому ногу, кому голову. Не пашете, не сеете, а людей калечите...» (Андреев Г. Трудные дороги // Новый журнал. 1957. Кн. 49. С. 30—31).

С. 122. ...все во всем виноваты и все за всех отвечают, — как утверждали иные русские мыслители... — Слова Маркела из «Жития <...> старца Зосимы» в «Братьях Карамазовых» (Ч. 2. Кн. 6. II): «“Магушка, кровинушка ты моя, говорит (стал он такие любезные слова тогда говорить, неожиданные), кровинушка ты моя милая, радостная, знай, что воистину всякий пред всеми за всех и за всё виноват”» (Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 262).

В «Двух вариантах» Л. Ржевского... — Ржевский Л. Два варианта // Новый журнал. 1957. № 50. С. 5—58.

С. 123. *...недавним судорогам, прошедшим в советской литературе, ~ после «исчерпывающих указаний тов. Хрущева»...* — Доклад Н.С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС 25 февраля 1956 г. «О культе личности и его последствиях» вызвал изменения в самых разных областях жизни. В литературной среде одним из самых драматичных событий стало самоубийство 13 мая 1956 г. А.А. Фадеева, который с 1946 по 1954 г. занимал пост генерального секретаря и председателя правления Союза писателей СССР.

С. 124. *«Челюсть эмигранта» В. Яновского на днях вышла отдельным изданием. О ней и высказаться, значит, можно будет отдельно.* — Повесть В.С. Яновского «Челюсть эмигранта» была напечатана в «Новом журнале» (1957. № 49. С. 52—100; № 50. С. 58—109) и одновременно вышла отдельной книгой (Нью-Йорк: Диалог, 1957). Отзыв Адамовича на нее к тому времени уже появился в нью-йоркской газете: *Адамович Г.В.* «Челюсть эмигранта», повесть В. Яновского // Новое русское слово. 1957. 8 декабря. № 16234. С. 8.

...обратить особое внимание на статью Р. Плетнева... — Плетнев Р. Н.Ф. Федоров и Ф.М. Достоевский // Новый журнал. 1957. № 50. С. 220—246.

В советской же России Федорова полностью игнорируют... — Первое развернутое описание философии Н.Ф. Федорова в СССР появилось двадцатью годами позже: *Семенова С. Николай Федорович Федоров. Жизнь и учение* // Прометей. Т. 11. М.: Молодая гвардия, 1977. С. 86—105.

...прокрустовы рамки... — Адамович перефразировал крылатое выражение «прокрустово ложе», идущее от разбойника Прокруста из древнегреческой мифологии, подгонявшего путников под размеры ложа (Мифы народов мира: В 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1988. Т. 2. С. 337).

С. 125. *«Природа не храм, а мастерская»...* — В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» (Гл. 9) Базаров говорит Аркадию: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник» (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1981. Т. 7: Сочинения. С. 43).

...появление спутника... — Первый искусственный спутник был запущен в СССР 4 октября 1957 г.

...Бердяева, назвавшего в одной из своих книг Федорова «гениальным и дерзновенным мыслителем». — Н.А. Бердяев писал в «Примечаниях и экскурсах» к книге «Смысл творчества»: «Есть в России гениальный и дерзновенный мыслитель Н.Ф. Федоров, автор “Философии общего дела”» (*Бердяев Н.А.* Смысл творчества: Опыт оправдания человека. М.: Изд-во Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1916. С. 342).

Бердяев, очень интересовавшийся Федоровым, высказывал о нем суждения противоречивые... — Н.А. Бердяев признавался: «Я во многом и коренном стою на почве иной, чем Федоров, но не могу не сочувствовать его исключительному и дерзновенному сознанию активной роли человека в мире» (Там же. С. 336).

На современников, включая и Льва Толстого, он впечатление святого и произвел. — О реакции современников на Н.Ф. Федорова писал Н.А. Бердяев в статье «Три юбилея»: «Замечательнейшие русские люди его времени отзывались о Н. Ф. восторженно и преклонялись перед его личностью. Достоевский, не знавший лично Н. Ф., пишет об его “идее”, что “в сущности, совершенно согласен с этими мыслями. Их я принял бы за свои”. Вл. Соловьев, на которого Н. Ф. имел огромное и еще не раскрытое влияние, пишет ему: “Прочел я Вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа... Проект Ваш (речь идет о Федоровской идее воскрешения) я принимаю безусловно и без всяких разговоров... Ваш проект есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я, со своей стороны, могу только признать Вас своим учителем и отцом духовным”. Фет сообщает Н. Ф. отзыв о нем Л. Толстого: “Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком”, и прибавляет от себя: “я не знаю человека, знающего Вас, который не выражался бы о Вас в этом же роде”. Л. Толстой преклонялся перед нравственным обликом Н.Ф. и прощал ему самые резкие о себе отзывы. Друг Н. Ф. В. А. Кожевников написавший о нем книгу, говорит о нем: “то был мудрец и праведник, а более близкие к нему добавляют: то был один из тех праведников, которыми держится мир”» (Бердяев Н.А. Три юбилея (Л. Толстой, Ген. Ибсен, Н.Ф. Федоров) // Путь. 1928. № 11. С. 89).

С. 126. ...памятники выдающимся писателям, Наркомпрос составил перечень их и представил на утверждение Ленина. Из списка этого Ленин выбросил имя Владимира Соловьева... — Проект предусматривал постановку памятников не только писателям, но всяким «великим людям». Во исполнение декрета Совнаркома «О памятниках Республики» от 12 апреля 1918 г. и «Постановления о постановке в Москве памятников великим людям» от 17 июля 1918 г. Наркомпрос представил на рассмотрение правительства список из 69 имен (писателям отводилось 20 мест, среди них Радищев, Огарев, Чернышевский, Михайловский, Новиков). Кандидатуры обсуждались на заседании Совнаркома 30 июля 1918 г., было решено «исключить Владимира Соловьева», «включить Баумана и Ухтомского» (Действия и распоряжения правительства // Известия ВЦИК. 1918. 2 августа. № 163(427). С. 3).

...статьи Л. Сабанеева о Стравинском, Ю. Иваска о Боратынском, воспоминания покойного Бориса Романова о Павловой и Нижинском, ~ воспоминания Е.Д. Кусковой... — В № 50 «Нового журнала» за 1957 год были опубликованы материалы Л.Л. Сабанеева «Стравинский» (С. 120—135); Ю.П. Иваска «Боратынский» (С. 135—157), Б.Г. Романова «Павлова и Нижинский» (С. 157—173), Е.Д. Кусковой «Давно минувшее» (С. 173—198).

Тютчев по-французски

Впервые: Русская мысль. 1958. 18 февраля. № 1175. С. 4—5.

С. 126. *«Переводчик в прозе — раб, в стихах — соперник»*. — Из статьи В.А. Жуковского «О басне и баснях Крылова» (1809): «Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах — соперник» (Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем. М.: Языки славянских культур, 2012. Т. 12. С. 208).

С. 127. ...*«mais il est plat, votre poète!»*... — «но он плоский, этот ваш поэт» (фр.). См. примеч. к статье «“Весть” — стихи поэта».

...книжку, составленную знаменитым славистом проф. Андре Мазоном и Николаем Оцупом... — *Tiouttchev F.I. Poésies choisies / Publiées en russe avec introduction et notes par Nicolas Otzoupe; traduites en français par Charles Salomon; précédées d'un avant-propos par André Mazon.* Paris: Institut d'études slaves, Librairie H. Didier, 1957.

...Розанов ~ сказал, что это будто эпитафия над древним Египтом... — О стихотворении М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» (1841) В.В. Розанов писал: «В двух последних строчках написана как бы эпитафия над всей могилой Египта. Что-то пустынное... молчаливое... устремленное к Небу, религиозное...» (Розанов В. Люди лунного света: Метафизика христианства. 2-е изд. СПб., 1913. С. 48).

С. 128. ...политические стихи Тютчева. Оценивает их Оцуп довольно сурово, утверждая даже, что между ними и подлинно тютчевскими созданиями такая же пропасть, как между «Дневником писателя» и художественным творчеством Достоевского. — Н.А. Оцуп вступил в полемику с Адамовичем на страницах «Русской мысли»: «Что значит “утверждая даже”? Значит, что сам Г. А. ставит “Дневник писателя” чрезвычайно низко. Это его право. Но откуда он взял, что я ни во что не ставлю эту важнейшую для целостного отношения к Достоевскому часть его гигантского труда? В плане художественном “Дневник писателя”, конечно, не идет в сравнение с “Братьями Карамазовыми”, но и для Достоевского и для всей русской культуры это — литературно-историческое событие, которое требует самого серьезного отношения к себе. Если бы

в “Избранном Достоевском” по-французски пришлось жертвовать чем-то из-за отсутствия места, наверное, пришлось бы опустить “Дневник”, но сам по себе он — явление значительнейшее» (*Оцуп Н. О «Тютчеве» и о Тютчеве // Русская мысль. 1958. 27 мая. № 1217. С. 4—5*). Адамович ответил Оцупу в постскриптуме к статье «Новый журнал. Книжки 51—52» (*Русская мысль. 1958. 5 июня. № 1221. С. 4—5; см. ниже наст. изд.*).

С. 129. *...отсутствует один из чудеснейших тютчевских шедевров: Есть в осени первоначальной...* — Н.А. Оцуп объяснял пропуск этого стихотворения так: «Да, и для меня это стихотворение, исполненное волшебства. Но оно, как бы это лучше сказать, не Тютчев-Тютчев, а Тютчев-Пушкин. Поэт достигает своей высшей силы, когда его созданий нельзя мыслью и ощущением перенести в серию созданий другого поэта» (*Оцуп Н. О «Тютчеве» и о Тютчеве // Русская мысль. 1958. 27 мая. № 1217. С. 5*).

Кстати, эта «Осень» могла бы дать в примечаниях повод к любопытному и до сих пор никем еще не сделанному указанию. — Этот пассаж Адамовича возмутил Н.А. Оцупа: «Г. А. сожалеет и о комментариях, которые “можно было бы сделать”, если бы я это стихотворение в сборник включил. И, не сказав ни слова ни об одном из комментариев, которые сделаны мною, он посвящает целый столбец тому, что можно было бы сказать об этом одном, не включенном в книгу, стихотворении» (*Оцуп Н. О «Тютчеве» и о Тютчеве // Русская мысль. 1958. 27 мая. № 1217. С. 5*).

Тютчев, как известно, был широко образованным человеком и, в частности, усердным читателем французских классиков. — Тютчев воспитывался на образцах немецкой поэзии (Гейне, Ленау, Эйхендорф, Шиллер, Гёте), но ценил и некоторых французских классиков: Гюго, Ламартина, де Сталь и др. Подробнее см.: *Пигарев К.В. Жизнь и творчество Тютчева. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 55—56; Мильчина В.И. Тютчев и французская литература // Известия АН СССР: Серия литературы и языка. 1986. Т. 45. № 4. С. 338—349.*

...знаменитое уподобление человека «мыслящему тростнику» заимствовано у Паскаля. — В переводе С. Долгова: «Человек самая ничтожная былинка в природе, но былинка мыслящая» (*Паскаль. Мысли о религии / Пер. С. Долгова. М., 1892. С. 26*). В переводе П.Д. Первова: «Человек — это лишь тростник, и притом очень слабый по природе, но этот тростник мыслит» (*Паскаль Б. Мысли. (О религии). Изд. 2-е, испр. М.: Типо-лит. Д.А. Бонч-Бруевича, 1899. С. 49*). В переводе Э.Л. Линецкой: «Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий» (*Ларошфуко Ф. Максимумы. Паскаль Б. Мысли. Лабрюйер Ж. Характеры.*

М.: Художественная литература, 1974. С. 169). Тютчев использовал этот образ в стихотворении «Певучесть есть в морских волнах...» (1865): «И ропщет мыслящий тростник».

...*день «как бы хрустальный», восхищавший Брюсова...* — В статье «Ф.И. Тютчев: Смысл его творчества» В.Я. Брюсов писал: «Пушкин умел определять предметы по их существу; Тютчев стремился их определять по впечатлению, какое они производят в *данный миг*. Именно этот прием, который теперь назвали бы “импрессионистическим”, и придает стихам Тютчева их своеобразное очарование, их магичность. <...> Этим объясняется, почему у Тютчева звезды — “чуткие”, луна — “магическая”, мгла — “очарованная”, день — “как бы хрустальный”» (Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7 т. М.: Художественная литература, 1975. Т. 6. С. 206).

...*в одном из писем мадам де Севинье...* — Письма Мари де Рабютен-Шанталь, маркизы де Севинье (Sévigné; 1626—1696) впервые вышли отдельным изданием в 1726 г. и считаются самым знаменитым эпистолярием в истории французской литературы.

...*«les journées de cristal du début de l'automne»*. — «Хрустальные дни начала осени» (фр.). У мадам де Севинье в письме от 9 октября 1676 г. сказано немного по-другому: «Ce sont de ces beaux jours de cristal de l'automne» («Таковы лучшие дни хрустальной осени») (Lettres de Madame de Sévigné de sa famille et de ses amis / Précédées d'une notice par Charles Nodier. Paris: Auguste Desrez, 1938. Т. 1. Р. 536).

С. 129—130. ...*«Царь небесный»*... — Речь о стихотворении Ф.И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

С. 130. В стихах о «*поздних бледных роз дыхании*»... — Речь о стихотворении Ф.И. Тютчева «1-ое декабря 1837» (1837).

С. 131. ...*«слезы людские, о, слезы людские»*... — Заглавная строка стихотворения (1849) Ф.И. Тютчева.

Недаром Лев Толстой сказал, притом сказал в те годы, когда этого не говорил еще никто: «без Тютчева нельзя жить». — Эти слова Л.Н. Толстого привел в своих воспоминаниях Владимир Федорович Лазурский (1869—1947), приглашенный летом 1904 г. в Ясную Поляну для занятий с детьми Толстых Андреем и Михаилом: «Так не забудьте же достать Тютчева. Без него нельзя жить» (Лазурский В.Ф. Воспоминания о Л.Н. Толстом. М.: Тип. В.М. Саблина, 1911. С. 46).

...*некрасовская оценка была все-таки сдержанна и отводила Тютчеву место среди поэтов «второстепенных»*. — Н.А. Некрасов в статье «Русские второстепенные поэты» (1850) отзывался о стихах Ф.И. Тютчева очень высоко, и Н.А. Оцуп в своем ответе Адамовичу не преминул написать об этом: «Думаю, что все-таки говоря о литературно-истори-

ческих фактах, да еще поучая своего коллегу, следовало дать себе труд перечитать материалы или хотя бы справиться о том, что утверждаешь. Г. А. помнит, что статья Некрасова называлась “Второстепенные поэты”, но либо он этой статьи, напечатанной в “Современнике” 1850 года, не читал, либо ее забыл. В ней же сам Некрасов предупреждает: “Несмотря на заглавие наших статей (русские второстепенные поэты) мы решительно относим талант г. Ф. Т. к русским первостепенным поэтическим талантам”. Разбирая стихи г-на Ф. Т., Некрасов ставит его рядом с самим Пушкиным, замечая: “Казалось, только сам издатель журнала (то есть Пушкин) мог быть автором их”» (*Оцуп Н. О «Тютчеве» и о Тютчеве // Русская мысль. 1958. 27 мая. № 1217. С. 5*).

С. 131–132. Слово «великий» было, если не ошибаюсь, впервые употреблено Достоевским, в одном из его последних писем: «Покойник Ф.И. Тютчев, наш великий поэт...» ~ «Отверженных» Виктора Гюго. — Н.А. Оцуп и здесь стал спорить с Адамовичем: «Г. А. делает и вторую ошибку, приписывая Достоевскому заслугу, которой у него нет. Достоевский будто бы впервые назвал Тютчева великим... в частном письме. Снова здесь тот факт, ничего по существу не значащий, предпочтен тому, что было на самом деле. Вот что писал Достоевский в декабрьской книге “Дневника писателя” за 1877 г.: “Был, например, в свое время поэт Тютчев, поэт обширнее его (Некрасова) и художественнее, и однако Тютчев никогда не займет такого видного и памятного места в литературе нашей, какое бесспорно остается за Некрасовым. В этом смысле он (Некрасов) в ряду поэтов, то есть приходивших с “новым словом”, должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым» (*Оцуп Н. О «Тютчеве» и о Тютчеве // Русская мысль. 1958. 27 мая. № 1217. С. 4–5*). Между тем Адамович на этот раз привел точную цитату, Ф.М. Достоевский действительно писал С.Е. Лурье 17 апреля 1877 г., говоря об «Отверженных» Виктора Гюго: «Покойник Ф.И. Тютчев, наш великий поэт, и многие тогда находили, что “Преступление и наказание” несравненно выше “Misérables”. Но я спорил со всеми искренно, от всего сердца, в чем уверен и теперь, вопреки общему мнению всех наших знатоков» (*Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1986. Т. 29. Кн. 2. С. 151*).

Скиф в Европе

Впервые: Русская мысль. 1958. 27 февраля. № 1179. С. 4–5.

Об этой статье Адамович писал И.В. Одоевцевой 3 марта 1958 г.: «Водов мне пишет, что Гуль едва ли будет доволен моим отзывом о его “Скифе”. Но этот “Скиф” такая дрянь, что

мне было тошно читать, будто как в Рязани одеваются по последней моде и шику. Я выжал из себя все, что мог, дабы не ссориться» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г.В. Адамовича И.В. Одоевцевой и Г.В. Иванову (1955—1958) // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 523).

С. 132. *«Скиф в Европе»...* — Новое издание книги Р.Б. Гуля «Скиф в Европе: Бакунин и Николай I» (Нью-Йорк: Мост, 1958) было переработанным вариантом его довоенной книги «Скиф» (Берлин: Петрополис, 1931).

...по образцу тех «художественных биографий», которые стали в наш век распространенным литературным жанром. — Жанр художественной биографии (*«biographie romancée»*) возник в 1910—1920-х гг. в западноевропейской литературе (А. Моруа, С. Цвейг) и быстро завоевал популярность. Эмигрантские критики обратили внимание на это явление уже в начале 1930-х гг.: «После войны во Франции вошли в моду так называемые “романсированные биографии”. <...> Эта мода на романсированную биографию заразила и эмиграцию» (*Философов Д.В.* Как надо писать биографии? // За свободу. 1931. 1 апреля. № 88. С. 3). Мода очень быстро переросла в индустрию, породив «бесчисленные биографии, выпущенные в Европе за последние три-четыре года, сперва заинтересовавшие многих, а теперь успевшие многим надоесть» (*Вейдле В.В.* Об искусстве биографа // Современные записки. 1931. № 45. С. 491).

С. 133. *Николаю I в нашей литературе не повезло. Два гиганта, Лев Толстой и Герцен обрушились на него с такой ненавистью...* — Л.Н. Толстой в повести «Хаджи-Мурат» (опубл. 1912. XV), А.И. Герцен в хронике «Былое и думы» (1861. Ч. 1. Гл. III, VI; Ч. 2. Гл. XII, XV).

...вопреки тому, что сказал о нем Тютчев... — Имеется в виду стихотворение Ф.И. Тютчева «Не богу ты служил и не России...» (1855).

...был в нем и солдат, «прапорщик», по Пушкину... — 21 мая 1834 г. Пушкин записал в дневнике: «Кто-то сказал о государе: Il y a beaucoup du praporchique en lui, et un peu du Pierre le Grand <В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого. — фр.>» (*Пушкин А.С.* ПСС: В 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. VIII. С. 52).

...перед Севастополем и во время него... — Оборона Севастополя 1854—1855 гг. продолжалась 11 месяцев, русские войска оставили город 9 сентября 1855 г. Николай I умер 2 марта 1855 г., не дождавшись ее окончания.

...страницы в мемуарах Сен-Симона, где рассказано о смерти Людовика Четырнадцатого? — Имеются в виду «Полные и доподлинные воспоминания герцога де Сен-Симона о веке Людовика XIV и Регентстве» (Кн. 2. Гл. 24—25): *Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la regence*. Vol. 1—40. Paris: H.-L. Delloye, 1842—1845.

«Король-Солнце» — Людовик XIV получил это прозвище после Большой Карусели Тюильри 1662 г., где гарцевал перед зрителями на коне в костюме римского императора, держа в руке золотой щит с изображением Солнца.

С. 134. *Маклаков рассказывает в своих воспоминаниях, как он был поражен, когда студентом впервые прочел Герцена...* — В главе «Юность моего поколения» своей мемуарной книги В.А. Маклаков писал: «Личность Николая I в широкой среде обывателей не только не вызывала злобы, но была предметом благоговения. Когда я студентом прочел “Былое и думы”, ненависть Герцена к Николаю оказалась для меня “откровением”. Я до тех пор встречал восхищение Николаем» (Маклаков В. Власть и общественность на закате старой России (Воспоминания современника). Париж: Иллюстрированная Россия, 1936. Т. 1. Ч. 1. С. 15).

...«северной Семирамиды»... — Екатерину II часто называли «северной Семирамидой» (впервые Фридрих II в 1745 г.), хотя до нее так титуловали королеву Дании, Норвегии и Швеции Маргрету I (1353—1412), а Вольтер сперва называл так Елизавету Петровну.

...чуть ли не с благоговением добавляет: «И при каком дворе! Тогда не то, что ныне! При государыне служил Екатерине». — Из пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824. Действ. 2. Явл. 2).

...Ключевский в своей знаменитой, ~ «любили, как любят артиста, блестяще исполнившего свою роль». — В статье «Императрица Екатерина II (1729—1796)» В.О. Ключевский писал: «В ее всесветной славе русское общество впервые почувствовало свою международную силу, она открыла ему его самого: Екатериною восторгались, как мы восторгаемся артистом, открывающим и вызывающим в нас самим нам дотоле неведомые силы и ощущения; она нравилась потому, что через нее стали нравиться самим себе» (Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М.: Правда, 1990. С. 340).

С. 135. «Слава Богу, смертной казни у нас нет, и не мне ее вводить. Провести двенадцать раз сквозь тысячу человек»... — У Л.Н. Толстого в «Хаджи-Мурате» (XV): «Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: “Заслуживает смертной казни. Но, слава Богу, смертной казни у нас нет.

И не мне вводить ее. Провести 12 раз сквозь тысячу человек. Николай”, — подписал он своим неестественным, огромным росчерком» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1950. Т. 35. С. 72).

...«он умный и хороший малый». Об этом рассказано и в «Былом и думах», и у Герцена, так же, как теперь у Гуля, получается тут явная неувязка. — А.И. Герцен в «Былом и думах» (Ч. 7. Гл. IV) приводит этот эпизод так: «Николай похвалил храброе поведение Бакунина в Дрездене и посадил его в Алексеевский рavelин. Туда он прислал к нему Орлова и велел ему сказать, что он желает от него записку о немецком и славянском движении (монарх не знал, что все подробности его были напечатаны в газетах). Записку эту он “требовал не как царь, а как духовник”. Бакунин спросил Орлова, как понимает государь слово “духовник”: в том ли смысле, что все сказанное на духу должно быть святой тайной? Орлов не знал, что сказать, — эти люди вообще больше привыкли спрашивать, чем отвечать. Бакунин написал журнальный leading article. Николай и этим был доволен. “Он умный и хороший малый, но опасный человек, его надобно держать назаперти”, и *три целых года* после этого высочайшего одобрения Бакунин был схоронен в Алексеевском рavelине» (Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1957. Т. 11. С. 357).

У Р.Б. Гуля: «К кофе в кабинет императора, как было приказано, вошел граф Орлов. Николай шутил с лейб-медиками Арндтом и Енохиным. Поздоровавшись с Орловым весело, отпустил врачей. Не прожевав еще сухарь, поэтому чуть нагнув голову, вынул из письменного стола “Исповедь” и остановился перед Орловым, усмехаясь в усы.

— Много любопытного. Но это, брат, как какой-то немец сказал, “Wahrheit und Dichtung” [“Правда и поэзия” (нем.)]...”, — потряхивал разлетающимися, трепыхавшимися, живыми листами рукописи. — Он хороший малый, Орлов, но опасный, его надобно держать взаперти» (Гуль Р.Б. Скиф в Европе: Бакунин и Николай I. Нью-Йорк: Мост, 1958. С. 203).

«Австрия предложила России выдать Бакунина. Николаю вовсе не нужно было его, но отказаться он не имел сил». — У А.И. Герцена: «В Ольмюце Бакунина приковали к стене и в этом положении он пробыл *полгода*. Австрии наконец наскучило даром кормить чужого преступника; она предложила России его выдать; Николаю вовсе не нужно было Бакунина, но отказаться он не имел сил» (Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1957. Т. 11. С. 356–357).

С. 136. *...Ленин, унаследовавший от Маркса неприязнь и пренебрежение к Бакунину...* — К. Маркс, в 1864 г. предложивший М.А. Бакунину вступить в I Интернационал, вскоре обна-

ружил, что тот создал собственную секцию и намерен стать во главе всего движения. И теория, и практика бакунистов вызвала резкую критику Маркса, и в 1872 г. на Гаагском конгрессе Бакунин был исключен из I Интернационала. Подробнее см: Дюкло Ж. Бакунин и Маркс. Тень и свет. М.: Прогресс, 1975; М.А. Бакунин: pro et contra. Антология. 2-е изд., испр. / Сост., вступ. ст., коммент. П.И. Талерова. СПб.: Изд-во РХГА, 2015. В.И. Ленин вслед за Марксом анархистов не жаловал, считая бакунизм мирозерцанием «отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа» (Ленин В.И. ПСС: В 55 т. М.: Политиздат, 1968. Т. 21. С. 257).

...в своей *«Новой Рейнской газете»* он намекнул, будто неукротимый бунтарь ведет игру двойную... — 6 июля 1848 г. в *«Новой Рейнской газете»* (*«Neue Rheinische Zeitung»*), выходившей в Кёльне под редакцией Маркса, была опубликована корреспонденция из Парижа немецкого эмигранта Эвербека, в которой, со ссылкой на Жорж Санд, у которой якобы находились компрометирующие документы, утверждалось, что Бакунин — агент царского правительства. Бакунин опубликовал письмо протеста в выходившей в Бреславле (Вроцлаве) *«Всеобщей одерской газете»* (*«Allgemeine Oder-Zeitung»*), заявив, что эти слухи о нем распространяют русские посольства, и обратился к Жорж Санд с просьбой разъяснить ситуацию. Письмо Жорж Санд о том, что она не располагает ни малейшими доказательствами для подобных суждений, появился в *«Новой Рейнской газете»* 3 августа с пояснениями Маркса: «В № 36 нашей газеты мы сообщали, что в Париже распространился слух, будто Жорж Санд имеет в своем распоряжении документы, рисующие русского эмигранта Бакунина как агента императора Николая. Мы сообщили об этом, потому что эти сведения были нам переданы одновременно двумя корреспондентами, совершенно не связанными друг с другом. Поступая таким образом, мы лишь выполнили долг, лежащий на публичной печати, которая должна проявлять строгую бдительность по отношению к общественным деятелям. В то же самое время мы предоставили г-ну Бакунину возможность рассеять подозрения, выдвигаемые против него в некоторых парижских кругах. Мы даже перепечатали из “*Neue Oder-Zeitung*” заявление г-на Бакунина и его письмо, адресованное Жорж Санд, не дожидаясь его просьбы. Теперь мы публикуем текстуальный перевод письма Жорж Санд, адресованного редактору “*Neue Rheinische Zeitung*”, которое полностью исчерпывает этот инцидент» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М.: ГИПЛ, 1957. Т. 9. С. 297). В конце августа 1848 г. Маркс встретился с Бакуниным в Берлине и «возобновил с ним тесную дружбу» (Там же), а позже, когда его однофамилец Фрэнсис Маркс

23 августа 1853 г. опубликовал в газете «Morning Advertiser» заметку «Русский агент Бакунин», написал письмо в редакцию, еще раз опровергая слухи и излагая всю историю (Там же. С. 296—298).

...французской работе о Бакунине русского автора Б. Гепнера. — Имеется в виду вышедшая незадолго до того книга юриста Бенно (Бруно) Павловича Гепнера (1899—?) «Бакунин и революционный панславизм»: *Heppner B.-P. Bakounine et le panslavisme révolutionnaire.* Paris: Libraire Marcel Rivière, 1950.

...рафаэлевской Сикстинской Мадонной он, как известно, при наступлении пруссаков на Дрезден предложил рискнуть, как щитом!.. — Бакунин был руководителем майского восстания 1849 г. в Дрездене. А.И. Герцен рассказывает об этом в «Былом и думах» (Ч. 7. Гл. IV): «Бакунин является военным начальником Дрездена; бывший артиллерийский офицер учит военному делу поднявших оружие профессоров, музыкантов и фармацевтов... советует им “Мадонну” Рафаэля и картины Мурильо поставить на городские стены и ими защищаться от пруссаков, которые zu klassisch gebildet [образованы в слишком классическом духе. — нем.], чтобы осмелиться стрелять по Рафаэлю» (Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1957. Т. 11. С. 356).

С. 137. *Ко времени, когда Луи Бонапарт был провозглашен императором, Бакунин давно был в России, а когда родился так называемый «императорский принц», единственный сын Наполеона III, то по повелению Александра II Бакунин был переведен в Шлиссельбург и никаких бесед с Герценом вести не мог.* — Луи Бонапарт был провозглашен императором 1 декабря 1852 г., его сын родился 16 марта 1856 г. Бакунин же с 1851 по 1854 г. отбывал заключение в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, а с 1854—1857 сидел в крепости Шлиссельбургской.

«message» — сообщение, послание (фр.).

...«слушать музыку революции»... — Отсылка к статье А.А. Блока «Интеллигенция и революция» (1918).

Если не ошибаюсь, это ведь именно Бакунин советовал своим друзьям гегельянкам «искать в революции Бога»... — Из письма М.А. Бакунина Илиодору Скуржевскому (1792—1858), написанного в январе 1849 г.: «Я ищу Бога в людях, в их свободе, а теперь я ищу Бога в революции» (Бакунин М.А. Собр. соч. и писем: В 4 т. / Под ред. Ю.М. Стеклова. М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1935. Т. 3. С. 370).

Памяти доктора Б.Н. Беляева (Б. Щербинского)

Впервые: Русская мысль. 1958. 22 мая. № 1215. С. 6.

С. 138. *...два года со смерти доктора Бориса Никандровича Беляева...* — Борис Никандрович Беляев (литературный псевдоним Б. Щербинский; 1880—1956) свои последние годы провел в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа и скончался 15 мая 1956 г.

Сиротинин Василий Николаевич (1856—1934) — врач-терапевт, ученик С.П. Боткина. До революции профессор Военно-медицинской академии, директор госпитальной клиники внутренних болезней академии, лейб-медик и член Главного управления Красного Креста; в гражданскую председатель медицинского совета при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России генерале Деникине; с 1920 г. в эмиграции в Югославии, консультант Белградского госпиталя и врач короля Петра I, председатель Русско-Сербского медицинского общества; с 1924 г. во Франции, врач хирургической больницы в Вильжюйфе (под Парижем), товарищ председателя Общества русских врачей имени Мечникова, редактор журнала «Медицинское обозрение», кавалер ордена Почетного легиона (1928).

...охотнее всего он беседовал о музыке и сам был превосходным пианистом. — Б.Н. Беляев избирался в правление и административный совет Российского музыкального общества за границей.

...музыка в сравнительно новом, ницшевском понимании термина... — См. работу Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1872) с ее формулой: «Музыка есть подлинная идея мира» (*Ницше Ф.* ПСС: В 13 т. М.: Культурная революция, 2012. Т. 1. С. 127).

С. 139. *...«нервический» — как выражался Тургенев...* — См., например, в романе И.С. Тургенева «Дым»: «Да, очень она нервическое существо» (Гл. 8).

...Достоевский, считавший сервантесовское создание самым высоким и чистым поэтическим образом в истории человечества. — В «Дневнике писателя» (1877. Сентябрь—октябрь. Гл. 2) Достоевский оценивал роман Сервантеса чрезвычайно высоко: «О, это книга великая, не такая, какие теперь пишут; такие книги посылаются человечеству по одной в несколько сот лет. И таких подмеченных глубочайших сторон человеческой природы найдете в этой книге на каждой странице <...> Эту самую *грустную* из книг не забудет взять с собою человек на последний суд Божий» (*Достоевский Ф.М.* ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1984. Т. 26. С. 25).

С. 140. ...*большой роман «Постскриптум»*. — Орывок из романа печатался в «Числах» (1930/1931. № 4. С. 122—127), затем вышло отдельное издание: *Щербинский Б.Н. Post Scriptum*. Париж: Возрождение, 1938, на которое Адамович откликнулся одобрительной рецензией: «Книга по-своему замечательная, хотя и очень неровная, неизменно распухшая, вся какая-то рыхлая, с явными художественными срывами, со смесью интереснейшего с банальным и верного, смелого с наивным <...> Перед нами случай раздробления сознания, расщепления или распыления души <...> затронута тема, теснейшим образом связанная с общими и важнейшими мотивами новой европейской литературы» (Адамович Г.В. Литературные заметки // Последние новости. 1938. 18 августа. № 6353. С. 3).

...замечание Толстого о Чехове, что, не будь Чехов доктором, он писал бы еще лучше. — М. Горький в мемуарном очерке «Лев Толстой» (1919) приводит фразу Л.Н. Толстого о Чехове: «Ему мешает медицина, не будь он врачом, — писал бы еще лучше» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М.: ГИХЛ, 1951. Т. 14. С. 294).

Толстой считал медицину наукой лживой... — Л.Н. Толстой неоднократно отзывался о бесполезности и ненужности медицины, см., к примеру, запись в дневнике 11 декабря 1904 г.: «Врачебная наука и практика составляет так же, как пьянство, милитаризм, роскошь и угнетение рабочих, одно из величайших бедствий нашего времени и одного со всеми другими бедствиями происхождения: именно, отсутствия религии, т. е. признания своего положения в мире. Основа разумного (религиозного) понимания жизни есть *memento mori*, память о смерти, — не столько память, сколько понимание краткости и убегаемости жизни. Врачебная же наука должна смотреть только на жизнь, отыскивая средства продлить ее. И этот взгляд усваивается толпой. Кончается же тем, что продлить жизнь медицина не достигает, а достигает только того, что портит жизнь, лишая ее разумного понимания; не говорю уже о нравственных ужасах страха зараз и нелепых теорий заразительных бактерий» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1937. Т. 55. С. 106). Подробнее см.: Лобанов С.В. Врачи и медицина в произведениях Л.Н. Толстого. Томск: Тип. Губернского управления, 1912; Конюс Э.М. Лев Толстой и пропаганда медицинских знаний. М.: Наркомздрав, 1940.

С. 140—141. ...*отрицание медицины заставило его, кажется, единственный раз в жизни согласиться с Наполеоном, ~ из лас-казовского «Мемориала Св. Елены» насчет необходимости оставить человеческий организм жить и умирать без всякого вмешательства*. — Граф Эммануэль Огюстен де Лас Каз (Las Cases, 1766—1842) последовал за Наполеоном на остров Святой Елены, где на протяжении полутора лет записывал его выска-

зывания. На основе этих записей по возвращении во Францию выпустил книгу «Мемориал Святой Елены» («Mémorial de Sainte-Hélène», 1822—1823). Л.Н. Толстой внимательно читал эту книгу, использовал при написании «Войны и мира» и в письме А.И. Эртелю от 15 января 1890 г. назвал ее «самым драгоценным материалом» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1937. Т. 65. С. 4—5). В книге есть запись 25 ноября 1815 г. под названием «Организм императора — Верховные поездки — Мнение о медицине». В переводе Л.Н. Зайцева: «Император не доверяет медицинским снадобьям и никогда их не принимает. Он взял на вооружение странный способ самолечения. Всякий раз, когда он чувствует недомогание, он прибегает к крайностям, прямо противоположным его привычкам на тот момент. Он называет это восстановлением равновесия природы» (Лас Каз. Мемориал Святой Елены: В 2 кн. М.: Захаров, 2010. Кн. 1. С. 248). См. также запись 26 октября 1816 г.: «Несмотря на все болезни, которым подвергается человек, иногда необходим палач, чтобы положить конец всем его мучениям» (Там же. Кн. 2. С. 406). В романе «Война и мир» (Т. 2. Ч. 2. XI) эти мысли высказывает Андрей Болконский в споре с Пьером Безуховым: «Ах, да, больницы, лекарства. У него удар, он умирает, а ты пустил ему кровь, вылечил. Он калекой будет ходить десять лет, всем в тягость. Гораздо покойнее и проще ему умереть. Другие родятся, и так их много. Ежели бы ты жалел, что у тебя лишний работник пропал — как я смотрю на него, а то ты из любви же к нему его хочешь лечить. А ему этого не нужно. Да и потом, что за воображение, что медицина кого-нибудь и когда-нибудь вылечивала!» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1938. Т. 10. С. 112).

...на робкий вопрос Ивана Ильича, опасна ли его болезнь, отвечает: «я сказал все, что считал нужным сказать»... — Адамович по памяти цитирует «Смерть Ивана Ильича» (Гл. 4). У Л.Н. Толстого: «Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным, — сказал доктор. — Дальнейшее покажет исследование. — И доктор поклонился» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1936. Т. 26. С. 85).

«Новый журнал». Книги 51—52

Впервые: Русская мысль. 1958. 5 июня. № 1221. С. 4—5.

С. 143. *...с чего начал и предыдущую статью о «Новом журнале»... — См. выше статью «Новый журнал. Книги 49 и 50».*

...«Комментарии» М.М. Карповича, на этот раз полностью посвященные литературе, в частности Достоевскому. — Карпович М. Комментарии // Новый журнал. 1958. № 52. С. 278—291.

С. 144. *Когда-то существовала пресловутая парижская «нота», ~ В наши дни никаких «нот» больше нет.* — Пик активности «парижской ноты» пришелся на 1930-е годы. После войны, несмотря на то, что многие из ее адептов еще писали, и даже заявили о себе в полную силу новые поэты похожего склада (И.В. Чиннов), само мироощущение «ноты» отошло в историю. 23 апреля 1956 г. Ю.К. Терапиано писал В.Ф. Маркову: «С 1939 г. прежняя парижская атмосфера кончена, теперь нужно ждать, как послевоенные поэты определяют свою “ноту” <...> нового мироощущения, новой атмосферы, несмотря на то, что прошло столько лет с 1945 г., еще нет» («...В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда...»: Письма Ю.К. Терапиано к В.Ф. Маркову (1953—1966) // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 264). По аналогии с «парижской нотой» Ю. Иваск после Второй мировой войны пытался выделять «американскую ноту» «в поэзии некоторых поэтов, переселившихся в Америку» (*Иваск Ю. Американская нота* // *Русская мысль*. 1971. 15 апреля. № 2838. С. 9; *Иваск Ю. Поэзия «старой» эмиграции* // *Русская литература в эмиграции: Сборник статей*. Под ред. Н.П. Полторацкого. Питсбург, 1972. С. 68), но эти идеи не получили развития. Подробнее см.: *Коростелев О.А. «Парижская нота»* // *Русская литература 1920—1930-х годов. Портреты поэтов: В 2 т. / Ред.-сост. А.Г. Гачева, С.Г. Семенова*. М.: ИМЛИ РАН, 2008. Т. 2. С. 500—552.

...из состояния того «буйного цветения», которое Константин Леонтьев считал признаком эпох истинно творческих. — Согласно «органической теории» К.Н. Леонтьева каждое общество в своем историческом развитии проходит три этапа: начинает с первичной простоты, затем входит в фазу «сложного цветения» («цветущей сложности»), и завершает свой творческий путь новым упрощением, ведущим к гибели. См., например: *Бердяев Н.А. Константин Леонтьев: Очерк из истории русской религиозной мысли*. Париж: YMCA-Press, 1926.

...звучит стихотворение покойного Б.В. Савинкова. — Речь идет о стихотворении Б.В. Савинкова «Как невысохшие слезы...» (*Новый журнал*. 1958. № 52. С. 20).

...если бы не имя автора, человека, который в истории нашей след оставил, помещать его в большом журнале не стоило бы. — Схожие суждения Адамович высказывал еще до войны, рецензируя посмертный сборник Б.В. Савинкова «Книга стихов» (Париж: Родник, 1931): «Едва ли кому-нибудь придет в голову подойти к сборнику стихов покойного Савинкова

с оценкой узко литературной или эстетической. <...> свидетельства о личности Савинкова будут интереснее и ценнее его попыток творчества» (Адамович Г. Литературные заметки // Последние новости. 1932. 18 февраля. № 3984. С. 2).

...в изданиях вроде «Огонька» или «Солнце России». — Речь о тонких иллюстрированных журналах, предназначенных для массового читателя. «Огонек» с 1899 г. выпускал в Петербурге С.М. Проппер как еженедельное иллюстрированное литературно-художественное приложение к газете «Биржевые ведомости» (в 1902—1917 гг. выходил как самостоятельное издание в Петербурге, с 1923 г. в Москве). Иллюстрированный еженедельник «Солнце России» выпускал в петербургском издательстве «Копейка» А.Э. Коган в 1910—1916 гг.

...прочтет стихи Д. Кленовского... — В «Новом журнале» (1958. № 52. С. 47—50) были опубликованы стихотворения Д. Кленовского «О, славные содружества поэтов...», «Ты была в моей судьбе...», «Как бушевали соловьи...», «Я к Богу с жалобой пришел...», «Ангелу-хранителю».

С. 145. ...неожиданное «перешептали» в стихотворении об украинских соловьях... — Из стихотворения Д. Кленовского «Как бушевали соловьи...»: «Их было не перекричать! / Но, неуверенно вначале, / Еще пугаясь все сказать, / Мы их с тобой... перешептали».

Олег Ильинский... — В «Новом журнале» были опубликованы стихотворения О. Ильинского «Микеланджело», «В поездке по Италии» (1957. № 51. С. 55—56), «В распутицу опаздывают письма...», «Анакреонтический мотив», «Взмывают волны. Зацветает вишня...» (1958. № 52. С. 45—46).

Слово «синтез», например, в русской поэзии употреблено, вероятно, впервые. — Имеется в виду заключительная строфа стихотворения О. Ильинского «В распутицу опаздывают письма...»: «И вальдшнеп, протянувший за осиной, / И почтальон, захваченный в разлив, / В одной огромной правде согласились, / Один могучий синтез донесли».

...«души отчаянный протест»... — из стихотворения Ф.И. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах...» (1865).

...Ильинский рифмует «завладел» и «в воде», «разлив» и «донесли». — См. стихотворение «В распутицу опаздывают письма»: «В распутицу опаздывают письма, / Разлив уже дорогой завладел, / И перелески в воздухе повисли / Прозрачно отраженные в воде».

С. 146. ...Набоков-Сири́н писал с необычным для себя лиризмом, что строка из «Онегина» ~ «насквозь осветила и окрасила полжизни»... — О строке «Напев торкватовых октав...» В.В. Набоков писал в «Заметках переводчика»: «Эта строка и следующие за ней стихи — обаятельны, они для меня на-

сквозь осветили и окрасили полжизни, я до сих пор слышу их весной во сне сквозь все вечерние схождения — но как согласовать с далью и музыкой сухой факт, что эти гондольеры, поющие эти октавы, сводятся к одному из самых общих мест романтизма?» (*Набоков-Сири В.* Заметки переводчика // *Новый журнал.* 1957. № 49. С. 135).

...«Пять “о” подряд! Вы спускаетесь по ступенькам под сводами, в склеп. Да, да, тут под сводами — эхо». — Эта запись Ю.К. Олеси первоначально была опубликована в альманахе: «Пять раз подряд повторяющееся “о” — “гробовогово”». Вы спускаетесь по ступенькам под своды, в склеп. Да-да, тут под сводами — эхо!» (*Олеша Ю.* Из литературных дневников // *Литературная Москва. Сборник второй.* М.: ГИХЛ, 1956. С. 730—731). Позже этот пассаж вошел в книгу Ю.К. Олеси «Ни дня без строчки» (1960).

Олеша, если не ошибаюсь, одессит... — Юрий Карлович Олеша (1899—1960) родился в Елизаветграде, детство и юность провел в Одессе (1902—1921).

У Ирины Одоевцевой... — В «Новом журнале» были опубликованы стихотворения И.В. Одоевцевой «Средиземноморский ад в стрекотании цикад...» и «Скользит слеза из-под закрытых век...» (1957. № 51. С. 57—58) и «Ночь в вагоне» (1958. № 52. С. 50—53).

С. 146—147. *Не случайно одно из ее стихотворений кончается упоминанием о «райском ужасе»...* — Имеются в виду заключительные строки стихотворения И. Одоевцевой «Ночь в вагоне»: «Лейте, лейте, серафимы, / Райский ужас между слов».

С. 147. *Лев Троцкий ~ отметил черты, принадлежащие ей одной...* — См. примеч. к статье «Новый журнал» [№ 44] в наст. изд.

О стихах Игоря Чиннова... — В «Новом журнале» были опубликованы стихотворения И.В. Чиннова «Жил да был Иван Иванович» и «Что же — взорвется... (и взрывом очистится...)» (1958. № 52. С. 54).

Был в русской истории «тишайший» царь... — Тишайшим именовался русский царь (с 1645) Алексей Михайлович (1629—1676), второй царь из дома Романовых, сын Михаила Федоровича. Этот почетный титул (от латинского «clementissimus») не имел отношения к характеру государя, а должен был обозначать спокойствие в стране во время его правления.

С. 148. *А. Величковский пишет все лучше...* — В «Новом журнале» (1958. № 52. С. 40—42) были опубликованы стихотворения Анатолия Евгеньевича Величковского (1901—1981) «Пространство между двух окошек», «Осень», «Река раскинулась по воле...», «Цветок в стакане от горчицы...», «Весною на дворе тепло...».

Школа Ходасевича? — В.Ф. Ходасевич стремился к продолжению классической традиции русской поэзии, привлекал своих учеников, входивших в литературную группу «Перекресток» (1928—1937), учиться у Пушкина, равняться на «хорошие образцы». А.Е. Величковский начал публиковаться уже после войны, в 1947 г., но стилистически был близок Ходасевичу, что отмечал Ю.П. Иваск в предисловии к сборнику «Нерукотворный свет»: «Величковского несомненно привлекал Владислав Ходасевич — антипод Адамовича и его поклонников. Ходасевич был тоже мрачным пессимистом, видел суету, жестокость, бессмысленность, но, в противоположность “парижско-нотным” поэтам, не разочаровывался в искусстве, ценил мастерство и свой скепсис, иронию заключал в чеканные стихи» (Иваск Ю. Предисловие // Величковский А. Нерукотворный свет. Париж: Альбатрос, 1981. С. 5).

Но что же, школа это хорошая, а Величковский — один из немногих, кто с пользой для себя в ней побывал! — До войны Адамовичу доводилось сомневаться в положительном влиянии «школы Ходасевича» на молодых поэтов: «Ходасевич — бесспорно, исключительный мастер, один из самых умелых и самых изысканных наших поэтов. Но именно поэтому невозможно “школа Ходасевича”, то есть группа молодых стихотворцев, перенимающих его внешние приемы. У Ходасевича может учиться и может многому научиться тот, кто после его уроков станет еще самостоятельнее. Но группа, десяток, два десятка “маленьких Ходасевичей” — люди обреченные» (Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1927. 23 янв. № 208. С. 1—2).

Стихи Н. Тuroверова, как всегда, ладно скроены... — В «Новом журнале» были опубликованы стихотворения Н.Н. Туроверова «Баллада», «Еще сердце, как будто, исправное...» (1957. № 1. С. 60) и «Два восьмистишия» (1958. № 52. С. 53).

О Юрии Трубецком... — В «Новом журнале» были опубликованы стихотворения Ю.П. Трубецкого «Зачем так просто и безвольно...» (1957. № 51. С. 119), «Когда руладой соловьиной...», «Правдивей и грустней сейчас...», «Середина марта. Потеплевший воздух...» (1958. № 52. С. 70, 106, 139).

...первое стихотворение которого сразу вызывает в памяти блоковское восьмистишие «Ночь, улица, фонарь, аптека...» — См. вторую строфу стихотворения Ю.П. Трубецкого «Зачем так просто и безвольно...»: «Ведь все равно — все повторится: / Холодный вечер, край зари, / Мелькающие вереницей / Вдруг вспыхнувшие фонари».

...о Екатерине Таубер, о Лидии Алексеевой, о Н. Евсееве, о Георгии Евангулове... — В «Новом журнале» были опубликованы стихотворения Е.Л. Таубер «Вечной памятью — только имя...», «Девушка на мотоциклетке» (1957. № 51. С. 18, 50);

Л.А. Алексеевой «Прозрачно море с пристани до дна...», «Леса и звезды и метели...» (1957. № 51. С. 86, 172); Н.Н. Евсеева «Все одно и то же бездорожье» (1957. № 51. С. 104), Г.С. Евангулова «Мысль о тебе», «Я ночью видел иногда», «Орфей» (1958. № 52. С. 43–45).

Новое имя — по крайней мере, для меня — Мих. Дороганов ~ подождет подписи его под другими произведениями. — Стихотворение Михаила Дороганова «Распятие» осталось его единственной публикацией в «Новом журнале» (1958. № 52. С. 93).

...шесть стихотворений Георгия Иванова... — Под общим названием «Дневник» в номере были напечатаны стихотворения Г.В. Иванова «Скучно, скучно мне до одуренья!», «Накипевшая за годы / Злость, сводящая с ума...», «Смилоствовала погода...», «Туман. Передо мной дорога...», «Отвлеченной сложностью персидского ковра...» и «Нечего тебе тревожиться...» (1957. № 51. С. 51–54).

...моя статья о стихах Георгия Иванова... — Адамович Г. Наши поэты. I. Георгий Иванов // Новый журнал. 1958. Кн. 52. С. 55–63.

«*День гнева*» — рассказ Г. Андреева (Новый журнал. 1957. № 51. С. 5–19).

...слышалось у Андреева и в «Трудных дорогах». — На повесть Г. Андреева «Трудные дороги» (Новый журнал. 1956. № 42, 44, 47, 49) Адамович откликнулся в статье «Новый журнал. Кн. 47 и 48» (см. наст. изд.).

С. 148–149. *...очерк Н. Ульянова «Педро Иванович»...* — Ульянов Н. Педро Иванович // Новый журнал. 1958. Кн. 52. С. 21–40.

С. 149. «*Ремизов о самом себе*»... — Под таким названием Н.В. Кодрянская опубликовала (Новый журнал. 1958. Кн. 52. С. 63–71) отрывок из книги, которая вышла на следующий год: Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959.

«*Не имамы иныя помощи...*», ~ *предисловии к «Людям лунного света».* — Кондак, глас 6-й, из молитвы пред иконою Смоленскую, именуемую «Одигитрия». Розанов приводит эти слова, рассказывая о женщине с парализованной рукой у образа Богородицы: «...Не имамы иныя помощи, Владычица наша! Иного заступления не имамы!» (Розанов В. Люди лунного света: Метафизика христианства. 2-е изд. СПб., 1913. С. 10).

...в предыдущей книжке журнала «Плачужной канаве»... — Отзыв Адамовича об этой публикации отрывка романа Ремизова см. выше в статье ««Новый журнал». Кн. 47 и 48».

...статьи — М. Слонима о романе Пастернака... — Слоним М. Роман Пастернака // Новый журнал. 1958. № 52. С. 94.

...есть ли надежда, что роман этот мы прочтем по-русски? — Первоначально роман был издан в ноябре 1957 года

на итальянском языке в Милане в издательстве Фельтринелли (*Pasternak B. Il Dottor Živago*, traduzione di Pietro Zveteremich. Milano: Feltrinelli, 1957). Впервые на русском языке (без ведома автора) роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» вышел в сентябре 1958 г. в Голландии. О сложной истории первых публикаций романа см.: *Толстой И.Н.* Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ. М.: Время, 2009; *Толстой И.Н.* «Доктор Живаго»: Новые факты и находки в Нобелевском Архиве. Прага: Human Rights Publishers, 2010.

...*прот. В. Зеньковского о «Мирозерцании Тургенева»...* — *Зеньковский В.* Мирозерцание И.С. Тургенева // Новый журнал. 1958. № 52. С. 199—216.

В. Седуро о Достоевском... — *Седуро В.* Достоевский как создатель полифонического романа // Новый журнал. 1958. № 52. С. 71—94.

...*воспоминания Е.Д. Кусковой...* — *Кускова Е.* Давно минувшее // Новый журнал. 1957. № 51. С. 147—173.

Статья Ник. Оцуна о сборнике переводов из Тютчева — в ответ на мою статью... — Имеется в виду статья Н.А. Оцуна «О “Тютчеве” и о Тютчеве» (Русская мысль. 1958. 27 мая. № 1217. С. 4—5). См. примечания к статье Адамовича «Тютчев по-французски» в наст. изд.

С. 150. *Так! Но прощаясь с римской славой...* — из стихотворения Ф.И. Тютчева «Цицерон» (1829).

«*О, этот юг, о, эта Ницца...*» — из стихотворения Ф.И. Тютчева «О, этот Юг, о, эта Ницца!..» (1864).

...*Где поздних, бледных роз дыханьем...* — Из стихотворения Ф.И. Тютчева, «1-ое декабря 1837» (1837).

...*сохранило бы шеллингианский оттенок, у Тютчева если не постоянный, то не редкий.* — Шеллинг оказал большое влияние на философское мировоззрение того поколения, к которому относился Ф.И. Тютчев. См.: *Топоров В.Н.* Заметки о поэзии Тютчева (Еще раз о связях с немецким романтизмом и шеллингианством) // Тютчевский сборник. Статьи о жизни и творчестве Ф.И. Тютчева. Таллинн: Ээсти Раамат, 1990. С. 32—107.

«Марьянка». Рассказы Леонида Зурова

Впервые: Русская мысль. 1958. 9 августа. № 1249. С. 2—3.

С. 151. «*Память сердца*»... — из стихотворения К.Н. Батюшкова «Мой гений» (1815).

Зуров пишет уже давно, лет тридцать или немногим меньше. — Л.Ф. Зуров печатался с 1925 г., его первые книги «Кадет» и «Отчина» вышли в 1928 г., когда он жил в Эстонии.

...книги «имеют свою судьбу», — по Горацию, меланхолически процитированному Пушкиным в связи с тем, что «Полтава» «не имела успеха»... — Адамович имеет в виду заметку А.С. Пушкина «Возражения критикам “Полтавы”», которая начиналась словами: «Habent sua fata libelli <Книги имеют свою судьбу (лат.)>». “Полтава” не имела успеха». В черновой рукописи эта строка имела другую редакцию: «Самая зрелая из всех моих стихотворных повестей, та, в которой все почти оригинально (а мы из этого только и бьемся, хоть это еще и не главное), — “Полтава”, которую Жуковский, Гнедич, Дельвиг, Вяземский предпочитают всему, что я до сих пор ни написал, “Полтава” не имела успеха» (Пушкин А.С. ПСС: В 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. VII. С. 190, 688). «Habent sua fata libelli» — ставший поговоркой фрагмент стиха 1286 раздела «О слогах» поэмы древнеримского грамматика Теренциана Мавра (Terentianus Maurus; конец II в.) «О буквах, слогах и метрах» (De litteris, de syllabis, de metris). Полный стих: «Pro captu lectoris habent sua fata libelli» — «В зависимости от способностей читателя, книги имеют свою судьбу» (лат.).

Первая повесть Зурова «Кадет» обратила на него особое внимание, — отчасти благодаря Бунину... — И.А. Бунин одобрительно отзывался в печати о первых книгах Л.Ф. Зурова «Кадет» (Рига: Саламандра, 1928) и «Отчина» (Рига: Саламандра, 1928): «Недавно я, совсем неожиданно, испытал большую радость: прочел книжку нового молодого русского писателя, Леонида Зурова, изданную в Риге и состоящую из повести “Кадет” и нескольких небольших рассказов: подлинный, настоящий художественный талант» (Бунин И.А. Леонид Зуров // Россия и славянство. 1929. 12 января. № 7. С. 3). Тогда же Бунин предложил Зурову переехать во Францию, и в ноябре 1929 г. тот прибыл в Грасс.

«Марьянка» (Париж, 1958) — сборник рассказов Л.Ф. Зурова 1930—1950-х гг.

С. 152. ...«не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный»... — из стихотворения Ф.И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

...«несравненного благоухания России», как, если не ошибаюсь, сказано где-то у Бориса Зайцева... — В книге «Преподобный Сергей Радонежский» Б.К. Зайцев писал о русском пейзаже: «В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и кресты и несравнимое ни с чем благоухание России» (Зайцев Б.К. Собр. соч.: В 3 т. М.: Terra, 1993. Т. 2. С. 36).

...у Герцена, ~ фраза о «зимних глазах» Николая Первого. — А.И. Герцен в «Былом и думах» (Ч. 1. Гл. III) писал о Николае I: «Он был красив, но красота его обдавала холодом <...> Но главное — глаза, без всякой теплоты, без всякого милосер-

дия, зимние глаза» (Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 8. С. 62).

С. 153. *Остановимся для примера на рассказе «Дозор», рассказе сравнительно длинном...* — Рассказ «Дозор» был впервые напечатан еще до войны (Русские записки. 1937. № 2. С. 72—98), и Адамович уже тогда откликнулся на него в печати: «“Дозор” Зурова — по-видимому, глава из романа. Глава сама по себе прекрасная, очень типичная для Зурова, спокойная в основном ощущении бытия, вопреки всем страхам и тревогам, о которых рассказывает. Странное дело — творчество! Зуров пишет о бегстве помещиков из разоренного гнезда, о революционных бедствиях и невзгодах, о России, охваченной темными предчувствиями, но, в противоречие дословному содержанию текста, повесть излучает тепло и мир, даже, пожалуй, какой-то уют. Над всем, что Зуров рассказывает, как бы стоит незримый эпитет: “да здравствует жизнь”. А вот другой говорит о любовных идиллиях, о довольстве и блаженстве, и все-таки чувствуется, что ему на земле не по себе. Зуров едва ли не самый “почвенный” из наших молодых писателей, потому, вероятно, и душевно стойкий, что у него крепче, чем у кого бы то ни было, скрытая, не идущая на убыль связь с родной землей. Он живет во Франции, как мог бы по прихоти судьбы жить на Антильских островах, — мало ли что в наши дни случается! Но сознанием и даже вниманием он в России, и оттого выносливее своих сверстников, что никакие сквозные ветры на него ниоткуда не дуют» (Адамович Г. «Русские записки» <№ 2> // Последние новости. 1938. 16 декабря. № 6109. С. 3). Рассказ «Дозор» по размеру оказался самым большим в сборнике: Зуров Л. Марьянка. Париж, 1958. С. 46—69.

«Если смысл художественного произведения можно передать иными словами, незачем было писать художественное произведение». — Не совсем точная цитата из «Предисловия к роману В. фон Поленца “Крестьянин”» Л.Н. Толстого. В оригинале: «Если смысл художественного произведения может быть выражен словами, то незачем было и писать мнимо-художественное произведение» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1952. Т. 34. С. 520).

С. 155. *«Гуси-лебеди»* — рассказ Л.Ф. Зурова, сперва опубликованный в «Новом журнале» (1955. № 43. С. 25—32), а затем включенный в сборник: Зуров Л. Марьянка. Париж, 1958. С. 152—161.

...«всепоглощающей и миротворной бездне»... — из стихотворения Ф.И. Тютчева «От жизни той, что бушевала здесь...» (1871).

«Встреча». Стихи Софии Прегель

Впервые: Русская мысль. 1958. 28 августа. № 1257. С. 2—3.

С. 155. *Сборник стихов Софии Прегель «Встреча»...* — Прегель С.Ю. Встреча: Пятая книга стихов. Париж: Новоселье, 1958. Адамович получил книгу от автора и 17 июля 1958 г. писал С.Ю. Прегель: «Читаю “Встречу” — со смутными и глубокими (это не ко мне относится!) откликами. Прежде всего, très humain <очень человечно. — фр.>, и при том naturellement humain <естественно человечно. — фр.>, без признака позы. Какой-то итог жизни, в сущности рано (для Вас) подведенный, и с большой горечью, тем более горькой, что для автора как будто неожиданной» (Письма Георгия Адамовича / Публ. и примеч. В. Крейда // Новый журнал. 1994. № 194. С. 296).

...в ней ~ запечатлена какая-то драма. — У С.Ю. Прегель был длительный роман с А.В. Бахрахом, который прекратил отношения, в 1952 г. женившись на Марии Кирсти (урожд. Веннола; 1913—1995). В книгу «Встреча» вошли стихи 1953—1958 гг., т.е. написанные как раз после разрыва. 18 сентября 1952 г. Адамович писал А.В. Бахраху: «Только что был — завтракал — у Софьи Юльевны <...> Разговор был туманный, о каких-то горьких разочарованиях, о верности и о измене, о том, что если бы она приехала раньше, то не страдала бы так теперь... Все это без имен и фактов. Мимоходом она сказала: “да вы сами все знаете” — и отвернулась. Я человек жалостливый, et cela me déchiré les entrailles <и у меня все внутри перевернулось. — фр.>. В чем-то Вы перед ней виноваты, не знаю точно, в чем. Может быть, в обещаниях, вызвавших у нее “бессмысленные мечтания”. Но все равно из Вашего предполагавшегося сожительства или брака ничего хорошего не вышло бы, я в этом уверен» (Письма Г.В. Адамовича А.В. Бахраху / Публ. Вадима Крейда и Веры Крейд // Новый журнал. 1999. № 217. С. 57). 10 мая 1953 г. Адамович писал А.В. Бахраху о предыдущем сборнике С.Ю. Прегель, на который откликнулся добродушной рецензией: «На днях выходят “Берега” — Софи Ровницкой-Прегель! Я чувствую некую растерянность, оттого что придется высказаться, а entre nous, большей поэтической дребедени на свете не существует. Есть, конечно, темперамент, но это скорее свойство физическое, и, кстати, Вами не оцененное и не использованное» (Там же. С. 76).

С. 156. ...«*муть и пустота*»... — из стихотворения С.Ю. Прегель «Усну и кончится в тумане...».

...«*одиночество и так далее*»... — из стихотворения С.Ю. Прегель «Как в романсе: разбито, распито...».

...«*товарищ, дай мне руку... как страшно все!*» — из стихотворения А.А. Блока «Миры летят. Года летят. Пустая...» (1912).

У Блока: «Как страшно всё! Как дико! — Дай мне руку, / Товарищ, друг! Забудемся опять!».

...Прегель и теперь склонна допустить, что мир прекрасен, хотя бы личный ее опыт оказался другим... — Об этом Адамович писал С.Ю. Прегель 20 августа 1958 г.: «Я не верю в Ваш пессимизм, т.е., вернее, — в общее Ваше отталкивание от мира. Вы — один из тех людей, которые должны сказать: мне плохо, но если кому-нибудь и где-нибудь хорошо, этого достаточно для оправдания жизни!» (Письма Георгия Адамовича / Публ. и примеч. В. Крейда // Новый журнал. 1994. № 194. С. 294—295).

...в годы чулковского «мистического анархизма»... — Георгий Иванович Чулков (1879—1939) пытался обосновать новое направление в статье «О мистическом анархизме» (Вопросы жизни. 1905. № 7. С. 199—204), а более подробно в книге с одноименным названием (СПб.: Факелы, 1906), к которой вступительную статью написал В.И. Иванов. Новое направление было встречено по преимуществу скептически, а то и совсем неодобрительно, не нашло много серьезных сторонников, и к 1908 г. споры о нем прекратились.

...«каждая блоха, у которой нога подвернется, не приемлет мира». — В статье, посвященной Л.Н. Андрееву, Д.С. Мережковский писал: «Да, богоборчество опошло — вот что надо, наконец, понять раз навсегда; может быть, снова когда-нибудь и где-нибудь облагородится, но сейчас в России опошло оно почти до уличной пошлости — до “мистического анархизма” — мистического шарлатанства — мистического хулиганства. Слишком легким промыслом сделалось “неприятие мира”: нынче, можно сказать, всякая блоха, у которой подвернулась нога, мира не приемлет и Бога проклинает. Велико долготерпение Божие, но надо же, наконец, и честь знать — нельзя на Бога валить все наши собственные пакости» (Мережковский Д.С. В обезьяньих лапах // Русская мысль. 1908. № 1. С. 97).

С. 157. «мессаж» — от фр. «message», сообщение, идея.

...в статье о Маклакове и Толстом... — Адамович Г.В. Маклаков и Толстой (Отрывок из готовящейся книги «В.А. Маклаков») // Новое русское слово. 1958. 20 июля. № 16558. С. 8.

...смехотворное предсказание Влад. Соловьева насчет того, что «Баллада о камергере Деларю» переживет «Войну и мир». — «История о камергере Деларю» («Вонзил кинжал убийца нечестивый...») впервые увидела свет в произведении В.С. Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе» (1900) как неопубликованное стихотворение А.К. Толстого. Некоторые современники и исследовате-

ли не исключали, что, полемизируя с идеями Л.Н. Толстого, Соловьев пошел на мистификацию, приписав покойному поэту с той же фамилией собственное сочинение, см.: *Немзер А.С.* «Вонзил кинжал убийца нечестивый...»: авторство и семантика текста // *Natales grate numeras?* Сборник статей к 60-летию Георгия Ахилловича Левинтона. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. С. 397—408. Адамович имеет в виду слова одного из участников третьего разговора, господина Z.: «У меня нет ни малейшего сомнения, что, когда герои иных всемирно знаменитых романов, искусно и серьезно распахивающих психологический чернозем, будут только литературным воспоминанием для книжников, этот фарс, в смешных и дико карикатурных чертах затронувший подпочвенную глубину нравственного вопроса, сохранит всю свою художественную и философскую правду» (*Соловьев В.С.* Собр. соч.: В 10 т. Изд. 2-е. Т. 10. СПб.: Просвещение, 1914. С. 168). В статье «Маклаков и Толстой» Адамович упомянул не только «Войну и мир», но и «Анну Каренину», заметив при этом: «Соловьев, правда, толстовских романов не назвал, но намек совершенно ясен» (*Новое русское слово.* 1958. 20 июля. № 16558. С. 8).

...«святую муз шумящим балаганом» ~ «расчетливом обмане». — Из стихотворения В.С. Соловьева «Восторг души расчетливым обманом...» (1885).

С. 157—158. ...*Достоевский, отнюдь не единомышленник Некрасова, сказавший о нем сразу после его смерти столько справедливого, глубокого, нужного и верного!* — См. «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского за 1877 г. (Декабрь; Глава вторая. II. Пушкин, Лермонтов и Некрасов).

С. 158. ...*как бодлеровскому альбатросу, ~ были именно крыльями и созданы были для полета.* — Имеется в виду строки из стихотворения Ш. Бодлера «Альбатрос», вошедшего во второе издание сборника «Цветы зла» (1861). В переводе П.Ф. Якубовича: «Поэт, вот образ твой! Ты также без усилия / Летаешь в облаках, средь молний и громов, / Но исполинские тебе мешают крылья / Внизу ходить, в толпе, средь шиканья глупцов».

Заметки о Тургеневе

Впервые: *Русская мысль.* 1958. 13 сентября. № 1264. С. 5—6.

С. 160. *По свидетельству современника «Дворянское гнездо» читалось «в пароксизмах наслаждения».* — Адамович не совсем точен. А.В. Дружинин в статье ««Обломов», роман И.А. Гончарова» (1859) писал: «Успех “Дворянского гнезда”

оказался таким, какого мы за много лет не упомним. Небольшим романом г. Тургенева зачитывались до иступления, он проник повсюду и сделался таким популярным, что не читать “Дворянского гнезда” было непозволительным делом. <...> Но вот “Обломов” г. Гончарова. <...> В каких-то пароксизмах наслаждения все грамотные люди прочли “Обломова”» (*У-нов М. [Дружинин А.В.] «Обломов», роман И.А. Гончарова. Два тома. СПб., 1859 // Библиотека для чтения. 1859. № 12. Отд. IV. С. 6).*

«Что за роскошь!» — сказал Чехов об «Отцах и детях»... — А.П. Чехов писал А.С. Суворину 24 февраля 1893 г.: «Боже мой! Что за роскошь “Отцы и дети”! Просто хоть караул кричи. Болезнь Базарова сделана так сильно, что я ослабел и было такое чувство, как будто я заразился от него. А конец Базарова? А старички? А Кукшина? Это черт знает как сделано. Просто гениально» (*Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1977. Т. 5: Письма. С. 174).*

С. 161. ...были у Тургенева черты боборыкинские: во что бы то ни стало уловить последние, наиновейшие веяния! — Об этом качестве Петра Дмитриевича Боборыкина (1836—1922) И.С. Тургенев писал М.Е. Салтыкову 31 октября 1882 г.: «То, что Вы мне пишете о Боборыкине — меня не удивляет. Я легко могу себе представить его на развалинах мира, строчащего роман, в котором будут воспроизведены самые последние “веяния” погибающей земли. Такой торопливой плодovitости нет другого примера в истории всех литератур! Посмотрите, он кончит тем, что будет воссоздавать жизненные факты за пять минут до их рождения!» (*Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 12. С. 564).*

Как известно, Толстой заснул над «Отцами и детьми», к великой, молчаливо затаенной обиде Тургенева... — Об этом писала дочь Л.Н. Толстого Александра Львовна: «По дороге к Фетам Толстой заехал к Тургеневу в Спасское. То, что случилось здесь, Толстой без ужаса не мог вспомнить до глубокой старости. Тургенев предложил Толстому прочитать рукопись его повести “Отцы и дети”. После сытного ужина — а Тургенев любил и сам хорошо поесть и других угостить — Тургенев усадил Толстого в мягкое кресло в гостиной, поставил ему стакан воды и сам удалился. “Не знаю, как это случилось, — рассказывал Толстой, — только я крепчайшим сном заснул, а когда проснулся, то увидел в дверях удаляющуюся фигуру Тургенева, со свечой в руке... Я был ужасно смущен!”. Легко себе представить, как глубоко оскорбился Тургенев равнодушием Толстого к его знаменитой повести “Отцы и дети”, если он, действительно, заметил, что Толстой заснул во время ее чтения» (*Толстая А. Отец. Жизнь Льва Толстого. М.: Книга, 1989. С. 128).*

...умолял «великого писателя русской земли» не оставлять литературы... — И.С. Тургенев писал Л.Н. Толстому из Буживаля 29 июня 1883 г., за два месяца до своей кончины: «Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас действует!! <...> Друг мой, великий писатель Русской земли — внемлите моей просьбе!» (Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 12. С. 580).

...романист тургеневского ранга, жестоко и болезненно Тургенева ненавидевший, ~ Гончаров. — О сложных взаимоотношениях двух романистов написано очень много, см., в частности: И.А. Гончаров и И.С. Тургенев. По неизданным материалам Пушкинского Дома / С предисл. и примеч. Б.М. Энгельгардта. Пб.: Academia, 1923; Недзвецкий В.А. Конфликт И.С. Тургенева и И.А. Гончарова как историко-литературная проблема // Slavica. Debrecen. 1986. Т. XXIII. С. 315—332. Дело доходило до обвинений в плагиате и третейского суда. Выяснениям отношений И.А. Гончаров посвятил рукопись «Необыкновенная история», которая увидела свет лишь посмертно (Сборник Российской публичной библиотеки. Пг., 1924. Т. II. Вып. 1. С. 7—189). См. академическую публикацию: Гончаров И.А. Необыкновенная история: (Истинные события) / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. Н.Ф. Будановой // Литературное наследство. Т. 102: И.А. Гончаров. Новые материалы и исследование. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2000. С. 184—304.

...даже Чехов, обычно мягкий в суждениях, отозвался о нем пренебрежительно. — Имеется в виду письмо А.П. Чехова А.С. Суворину, написанное в начале мая 1889 г.: «Между прочим, читаю Гончарова и удивляюсь. Удивляюсь себе: за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем? Его «Обломов» совсем неважная штука. Сам Илья Ильич, утрированная фигура, не так уж крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяй, каких много, натура не сложная, дюжинная, мелкая; возводить сию персону в общественный тип — это дань не по чину. Я спрашиваю себя: если бы Обломов не был лентяем, то чем бы он был? И отвечаю: ничем. А коли так, то и пусть себе дрыхнет. Остальные лица мелкие, пахнут лейковщиной, взяты небрежно и наполовину сочинены. Эпохи они не характеризуют и нового ничего не дают. Штолыц не внушает мне никакого доверия. Автор говорит, что это великолепный малый, а я не верю. Это продувная бестия, думающая о себе очень хорошо и собою довольная. Наполовину он сочинен, на три четверти ходулен. Ольга сочинена и притянута за хвост. А главная беда — во всем романе холод, холод, холод... Вычеркиваю Гончарова из списка моих полубогов» (Чехов А.П.

Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1976. Т. 3: Письма. С. 201—202).

С. 162. ...сцена в Венеции, где Елена с умирающим Инсаровым слушают новую оперу, «Травиату»... — Этому посвящена гл. XXXIII повести И.С. Тургенева «Накануне» (1859). Опера Джузеппе Верди (1813—1901) «Травиата» впервые была поставлена в Венеции в 1853 г., Тургенев относился к ней (не без влияния Виардо) более чем прохладно: «В театре давали оперу Верди, довольно пошлую, сказать по совести, но уже успевшую облететь все европейские сцены, оперу, хорошо известную нам, русским,— “Травиату”» (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1981. Т. 6: Сочинения. С. 287).

...в «Обломове», с переездом героя на Выборгскую сторону для окончательной спячки, появляется женщина по имени, — если не изменяет мне память! — Агафья Михайловна... — Адамович путает отчество, героиню звали Агафья Матвеевна Пшеницына, она появляется во второй главе третьей части романа «Обломов».

С. 163. Андре Моруа, кажется, первый сказал, и совершенно правильно сказал, что Тургенев смотрит на Рудина с разных сторон... — Адамович имеет в виду лекцию Андре Моруа о Тургеневе, на которую откликнулся в «Последних новостях», приводя слова Моруа: «Рудин не похож на персонажей плохих романов с их цельными характерами. Мы меняем о нем мнения как о живом человеке. Он восхищает нас в первых главах, потом мы презираем его, потом мы думаем о нем то же, что и друзья его. Никто до Тургенева не давал этого многостороннего освещения героя — не показывал нам его в разных видах. Даже в конце романа мы остаемся по отношению к Рудину в таинственном недоумении» (Адамович Г. «О Тургеневе» Андре Моруа // Последние новости. 1930. № 3298. С. 2).

...Некрасова, которого совсем недавно — в статье о стихах С. Прегель — мимоходом назвал поэтом «глубоко религиозным». — См. статью «Встреча». Стихи Софии Прегель» в наст. изд.

С. 164. ...Базаровский «лопух» казался ему страшным и непреложным символом. — Отсылка к реплике Базарова в разговоре с Аркадием Кирсановым в XXI главе романа «Отцы и дети»: «Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, — она такая славная, белая, — вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из

меня лопух расти будет; ну, а дальше?» (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1981. Т. 7: Сочинения. С. 120—121).

Зощенко

Впервые: Русская мысль. 1958. 23 октября. № 1281. С. 4—5.

С. 165. *...никто, кажется, не называл покойного Михаила Зощенко большим писателем.* — М.М. Зощенко в эмиграции многие любили, хотя назвать большим писателем действительно решались не все. Очень высоко ставил его, например, П.М. Бицилли: «Гениальность Зощенко в том, что он, как никто другой, уловил сущность “полуинтеллигенции”, как социологического фактора, и художественно выразил ее культурно-историческую роль, стилизуя специфические особенности ее языка» (*Бицилли П.М.* Литературные эксперименты: Зощенко // Россия и славянство. 1932. 9 июля. № 189. С. 3).

...кроме коротких рассказов в его литературном наследстве нет почти ничего... — М.М. Зощенко писал и более крупные произведения: «М.П. Синягин (Воспоминания о Мишеле Синягине)» (1930), «Возвращенная молодость» (1933), «Перед восходом солнца» (1943), а также пьесы «Уважаемый товарищ» (1930), «Опасные связи» (1939), «Парусиновый портфель» (1945) и др. Но славу и в России, и в эмиграции ему принесли рассказы.

...«книжку небольшую томов премногих тяжелей»... — из стихотворения А.А. Фета «На книжке стихотворений Тютчева» (1885).

С. 166. *...замечаний у Достоевского ~ по поводу Байрона, который потому и потряс сердца современников, что носившуюся в воздухе тоску и разочарование уловил...* — Имеется в виду мысль Достоевского, высказанная в «Дневнике писателя» (1877. Сентябрь—октябрь. Гл. 2): «Старые кумиры лежали разбитые. И вот в эту-то минуту и явился великий и могучий гений, страстный поэт. В его звуках зазвучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и в обманувших его идеалах. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятия и отчаяния. Дух байронизма вдруг пронесся как бы по всему человечеству, все оно откликнулось ему» (*Достоевский Ф.М.* ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1984. Т. 26. С. 114).

...внучатый племянник Акакия Акакиевича... — В эмиграции произведения Зощенко с творчеством Гоголя сравнивали не раз, причем и сопоставляя, и противопоставляя. П.М. Бицилли, разбирая рассказ М.М. Зощенко «Мудрость», написал: «В мировой литературе мало образцов подобного ху-

дожественного совершенства: подобной сосредоточенности на художественной идее, и обусловленной этим безошибочности в выборе средств, — а отсюда сжатости, устранения лишнего, строгости, с которой отброшено все смешное ради смешного, целесообразности каждого комического эффекта, его глубочайшей осмысленности; так что, когда вспоминаешь другие произведения, аналогичного рода, само собою навязывается одно — единственное — имя: Гоголь» (*Биццilli П.М.* Зощенко и Гоголь // Числа. 1932. № 6. С. 214). К.В. Мочульский придерживался противоположного взгляда: «Недавно пришлось читать: талантливейший из современных русских юмористов М. Зощенко происходит прямо от Гоголя. Захотелось понять, чем вызвано это недоразумение. После первых же прочитанных рассказов популярного бытописателя стало ясно: молодой автор имеет дар мимической имитации. Действительно, что-то такое у Гоголя он перенял; манеру морщить нос, подмигивать глазом, внешние тики его стиля. Проникновение не бог весть какое глубокое, а выходит смешно, похоже. Гоголь делает мир неожиданно новым, глядя на него наивными глазами Рудого Панька; Зощенко изображает некого мещанина Синебрюхова; прием “отстранения” реальности, окраски ее личностью простодушного рассказчика. Разрушена инерция привычного, обыденного восприятия. Предметы передвинулись; переместились источники света — отсюда резкая ломка линий, сдвиг перспектив, изменение оценки. Но Гоголю нужно перевернуть действительность, сделать черта “немчиком”, посадить нос в экипаж и отправить Чичикова за мертвыми душами — для того, чтобы построить иную, правдивейшую реальность. Зощенке — ничего не нужно: ему забавно делать все человеческие дома карточными, дуть на них и смотреть, как они разваливаются. Гоголь трагически переживает свой страшный дар разрушения, Зощенко — зубоскалит» (*Мочульский К.В.* О юморе Зощенко // Звено. 1927. 20 февраля. № 212. С. 3).

С. 167. ...в фойе Мариинского театра угощающим не в меру проголодавшуюся «аристократку» пирожными... — Отсылка к рассказу Зощенко «Аристократка» (1923).

...строчку Ходасевича о скуке и раздражении «пред идиотствами Шарло»... — Речь о стихотворении В.Ф. Ходасевича «Баллада» (1925): «Мне невозможно быть собой, / Мне хочется сойти с ума, / Когда с беременной женой / Идет безрукий в синема. / Мне лиру ангел подает, / Мне мир прозрачен, как стекло, — / А он сейчас разинет рот / Пред идиотствами Шарло».

...вроде такого, например, восклицания: «шумел, шумел, ну и схлопотал себе по морде!» — Возможно, отсылка к фельетону М.М. Зощенко «Не забавно» (1928): «Один обрубщик, беспар-

тийный с 1895 года, схватился с ним, начал ругаться и схлопотал себе по морде» (Зощенко М.М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Время, 2006. Т. 5. С. 647). А в «Рассказе про одну корыстную молочницу» монтер «схлопотал по морде за такое свое безобразное поведение, но мнения своего не изменил» (Там же. С. 369).

С. 168. *Он уже и тогда был болен, страдал одышкой...* — Зощенко был отравлен газами во время Первой мировой войны, что сказалось на его здоровье.

Серапионовы братья — объединение молодых писателей, сложившееся в феврале 1921 г. из учеников петроградских литературных студий, руководимых Е.И. Замятиным, В.Б. Шкловским, К.И. Чуковским, Н.С. Гумилевым, Б.М. Эйхенбаумом. Помимо М.М. Зощенко в объединение входили И.А. Груздев, Вс. В. Иванов, В.А. Каверин, Л.Н. Лунц, Н.Н. Никитин, Е.Г. Полонская, М.Л. Слонимский, Н.С. Тихонов, К.А. Федин. Наибольшую активность объединение проявляло в 1921—1922 гг. Подробно см.: *Фрезинский Б.Я.* Судьбы Серапионов (Портреты и сюжеты). СПб.: Академический проект, 2003.

«Чудотворная»

Впервые: Русская мысль. 1958. 13 ноября. № 1290. С. 4—5.

С. 169. *В первые революционные десятилетия ~ чуть ли не в каждом, даже самом захолустном городке устраивались собрания для «борьбы с предрассудками».* — Адамовичу в те годы и самому доводилось принимать участие в подобных мероприятиях, см. например, заметку в хронике новоржевской газеты: «Президиумом Новоржевского Университета 2 мая в клубе “Коммунар” устроен диспут на религиозную тему. Зал переполнен. Многие приехали из деревень. За религию агитируют — священник М.Р. Ратьковский и Каролинский, а также председатель Педагогического Совета — председатель Новоржевского Университета Орловский. Против — Г. Адамович и П. Дав» (Непогасимое пламя (Новоржев). 1920. 8 мая. С. 1).

...знаменитой соловьевской шутке о философии шестидесятничества: человек происходит от обезьяны, следовательно люди должны любить друг друга. — В.С. Соловьев писал в работе «Византизм и Россия» (1896. VIII): «Люди, требовавшие нравственного перерождения и самоотверженных подвигов на благо народное, связывали эти требования с такими учениями, которыми упраздняется самое понятие о нравственности: “ничего не существует, кроме вещества и силы, человек есть только разновидность обезьяны, а потому мы должны думать только о благе народа и полагать душу свою за меньших братьев”»

(Соловьев В.С. Собр. соч.: В 10 т. СПб.: Просвещение, 1914. Т. 7. С. 302). Эту мысль повторяли все, от Н.А. Бердяева до А.В. Луначарского, пока она не отлилась в афоризм: «Вл. Соловьев очень остроумно говорил, что гуманистический позитивизм у русской интеллигенции покоится на странном силлогизме: "человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга"» (Бердяев Н.А. Философия свободы. М.: Путь, 1911. С. 184).

Переиздаются даже объемистые труды Ем. Ярославского, ветерана и специалиста по предрассудкам... — Емельян Михайлович Ярославский (наст. имя Миней Израилевич Губельман; 1878—1943) был основателем (в 1925) и до конца жизни председателем Союза воинствующих безбожников, а также председателем Антирелигиозной комиссии при ЦК. В период оттепели переиздали большими тиражами его книги «О религии» (М.: Госполитиздат, 1957; 1958), «Библия для верующих и неверующих» (М.: Госполитиздат, 1958; 1959 и др.).

...«глубже копнуть трудно, да и боязно, вдруг обернется она поклепом на советского человека. Смотри-ка: хороший человек, а в Бога верит!» — Из статьи, посвященной повести В.Ф. Тендрякова «Чудотворная»: Суровцев Ю. Как это могло быть // Звезда. 1958. № 10. С. 210—214.

С. 170. *Месяца три или четыре тому назад появилась повесть, ~ вышедшая отдельным изданием...* — Повесть В. Тендрякова «Чудотворная» в мае была опубликована в журнале (Знамя. 1958. № 5. С. 3—56), а к осени вышла отдельным изданием (М.: Молодая гвардия, 1958).

...в прежних его повестях и рассказах («Ухабы», «Ненастье» и др.). — Очерк В.Ф. Тендрякова «Ненастье» был напечатан в журнале (Новый мир. 1954. № 2. С. 66—85) и затем включен в сборник «Среди лесов: Повести и очерки» (М.: Советский писатель, 1954). Повесть «Ухабы» (Наш современник. 1956. № 2. С. 43—69) вскоре дала название сборнику: Тендряков В.Ф. Ухабы: Повести и рассказы. М.: Советский писатель, 1959.

С. 172—173. *...«Религия всегда была великолепным средством умственного обмана, одурачивания и оглушения народа... ~ единственно достойным человека научным взглядом на мир».* — Из статьи, посвященной повести Тендрякова: Виноградов И. Оптимистическая трагедия Родьки Гуляева // Новый мир. 1958. № 9. С. 247—256.

С. 173. *Покойный Фадеев охарактеризовал однажды Фихте и Шеллинга как «пошлых попов» ~ поставил в пример нашего недоучку Белинского!* — В главке «Белинский — корифей русской философии» своей статьи «Белинский и наша современность» (1948) А.А. Фадеев спорит с Г.В. Плехановым, выделяв-

шим этапы философского развития Белинского, и категорически не соглашается с тем, что на первом этапе «Белинский находился будто бы под влиянием немецкого идеалиста Фихте» (Фадеев А.А. Собр. соч.: В 7 т. М.: Художественная литература, 1971. Т. 6. С. 13).

Памяти Николая Оцупа

Впервые: Русская мысль. 1959. 3 января. № 1312. С. 5.

С. 174. ...«на роковой стоим очереди»... — из стихотворения Ф.И. Тютчева «Брат, столько лет сопутствовавший мне...» (1870).

С. 174–175. ...«вежлив с жизнью современной»... — из стихотворения Н.С. Гумилева «Я вежлив с жизнью современною» (1916).

Несколько слов о «Докторе Живаго»

Впервые: Русская мысль. 1959. 9 июля. № 1392. С. 2–3.

С. 175. ...*косвенное одобрение безобразной и глупой шумихи, поднятой в Москве...* — 1 ноября 1958 г. Адамович писал А.С. Гингеру: «Мне сильно (и заочно) надоел Пастернак. Романа я не читал, пока не выйдет русское издание, читать не стану, но надоел гвалт, поднятый вокруг, — и то, что одни говорят: “Война и мир”!, а другие — “нет, это не “Война и мир”! Я лично думаю, что, скорей, нет» (Письма Георгия Адамовича / Публ. и примеч. В. Крейда // Новый журнал. 1994. № 194. С. 297). После прочтения первой главы «Доктора Живаго» в «Новом журнале» Адамович своего мнения не изменил. В письме Гингеру от 17 ноября 1958 г. он резюмирует: «Он, верно, надеялся, что его напечатают в СССР и подгонял к этому фактуру. Говорят, это “Война и мир”: чтобы да, так нет» (Письма Георгия Адамовича / Публ. и примеч. В. Крейда // Новый журнал. 1994. № 194. С. 298).

7 декабря 1958 г. Адамович написал И.В. Чиннову: «Читали Вы Пастернака? Мне надоела вся шумиха вокруг, а самый роман я читаю (в “Н<овом> р<усском> с<лове>”) с двойным чувством: внутренне — многое хорошо, внешне, именно как роман, — на 3 с плюсом или скорей с минусом. Разгадка, мне кажется, в том, что Пастернак более талантлив, чем умен — помимо того, что “Войну и мир” ему писать не следовало. Повесть ему, вероятно, удалась бы» («Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотекафонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 49).

Вынесем же «за скобки» Нобелевскую премию и все, что произошло затем... — Пастернак выдвигался на соискание

Нобелевской премии по литературе с 1946 по 1950 год. Когда в 1958 г. Пастернак удостоился награды, Президиум ЦК КПСС принял постановление от 23 октября 1958 г. «О клеветническом романе Б. Пастернака», расценив решение Нобелевского комитета как попытку втягивания в холодную войну. 27 октября 1958 г. постановлением совместного заседания президиума правления Союза писателей СССР, бюро оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР Пастернак был единогласно исключен из Союза писателей СССР. Речь заходила даже о лишении Б.Л. Пастернака советского гражданства.

...*время ее ждало, было «беременно» ею.* — Возможно, отсылка к стихотворению О.Э. Мандельштама «А небо будущим беременно...» (1923).

Ф.А. Степун (в «Новом журнале») в связи с пастернаковским романом вспомнил Достоевского... — В статье о Б.Л. Пастернаке Ф.А. Степун писал: «Такие сцены, как предсмертный разговор Стрельникова с Живаго, приезд Лары в Москву, где она как бы случайно попадая в комнату, где студентом жил ее покончивший с собою муж, видит Живаго в гробу, так потрясаясь сильно, что сравнимы только с лучшими сценами Достоевского» (Степун Ф.А. Б.Л. Пастернак // Новый журнал. 1959. № 56. С. 200).

С. 176. *...его больше сравнивали с Толстым...* — Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» с романом «Война и мир» Л.Н. Толстого первым сравнил шведский поэт, постоянный секретарь Шведской академии Андерс Эстерлинг (Österling; 1884—1981) в своем выступлении по радио 23 октября 1958 г., объявляя о присуждении Пастернаку премии по литературе.

С. 177. *...«его величеством случаем», по формуле Фридриха Второго...* — В письме к Вольтеру от 12 марта 1759 г. Фридрих II писал: «Чем старше становишься, тем яснее видишь, что в этом несчастном мире Его Величество Случай делает три четверти дела» (*Guerlac O. Les citations françaises; recueil de passages célèbres, phrases familières, mots historiques. Paris: Armand Colin, 1954. P. 119—120*).

...писал об этом виднейший американский критик Эдмунд Вильсон... — См.: *Wilson E. Doctor Life and His Guardian Angel // New Yorker. 1958. November 15. P. 213—237.*

С. 178. *Написал же Бунин в «Темных аллеях» «они сидели возле друг друга»...* — Адамович неточно цитирует рассказ И.А. Бунина «Ворон»: «Но чем больше старалась она не видеть меня, тем холоднее косился отец в мою сторону: не только он, но и я понимал, чувствовал, что за этим мучительным старанием не видеть меня, а слушать отца и следить за злой, непоседливой, хотя и молчаливой Лилей, скрыт был совсем иной страх, —

радостный страх нашего общего счастья быть возле друг друга» (Бунин И.А. Ворон // Темные аллеи. Париж: О. Zeluck, 1946. С. 283).

С. 179. *«Пусть будет ~ Если в вашем журнале будет газетный язык, то все пропало»* (Письмо Л. Толстого П.И. Бирюкову 1884 года). — Адамович указывает неверную дату и не вполне точно цитирует письмо Л.Н. Толстого П.И. Бирюкову от 17—18 сентября 1884 г.: «Пусть будет язык Карамзина, Филарета, попа Аввакума, только не наш газетный. Если газетный язык будет в нашем журнале, то все пропало» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1934. Т. 63. С. 286).

С. 180. *...«страшный мир», по Блоку*. — Образ-символ из стихотворении А.А. Блока «Черный ворон в сумраке снежном...» (1910) стал названием раздела в книге «Ночные часы» (1911), а позже — названием первого раздела в окончательной редакции третьего тома собрания его стихотворений.

С. 181. *...«бесчеловечное владычество выдумки»...* — В романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (Ч. 16. 2) Дудоров говорит Гордону: «Когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки» (Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч.: В 11 т. М.: Слово/Slovo, 2004. Т. 4. С. 503).

...«И в ночь идет, и плачет уходя...» — из стихотворения А.А. Фета «А.Л. Бржеской» («Далекий друг, пойми мои рыдания...») (1879).

...«Господи, воззвах к Тебе, услыши мя». — Пс. 140.

...бывал на «башне» у Вячеслава Иванова... — Имеется в виду петербургская квартира В.И. Иванова, располагавшаяся в башенной части углового дома у Таврического сада (Таврическая, 25, угол Тверской, 1, кв. 24). В 1905—1912 гг. в ней проходили «среды», на которые съезжались ученые, поэты, писатели, артисты, художники, а также «Вечера Гафиза», заседания Общества ревнителей художественного слова, театральные представления и др. Подробнее см.: Шишкин А.Б. История башни Вячеслава Иванова. Рим, 1996; Башня Вячеслава Иванова и культура серебряного века. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2006.

С. 182. *...заявления вроде того, которое в Лондоне сделал Шолохов, ~ «не роман, а чепуха и бестолочь»*. — М.А. Шолохов посетил Лондон 24—29 апреля во время своего европейского турне. Советские газеты давали лишь короткие сообщения об этом, без особых подробностей: Прибытие М.А. Шолохова в Лондон // Московская правда. 1959. 24 апреля. С. 4; М. Шолохов в Англии // Правда. 1959. 29 апреля. С. 6; Известия. 1959. 29 апреля. № 101 (13028). С. 4; Пребывание

М.А. Шолохова в Англии // Молот (Ростов н/Д), 1959. 29 апреля. С. 4. Несколькокими днями ранее, 22 апреля 1959 г. Шолохов высказался о «Докторе Живаго» в интервью парижской ежевечерней газете «Франс-суар»: «Я считаю, что творчество Пастернака в целом лишено какого-либо значения, если не считать его переводов, которые являются блестящими. Что касается книги “Доктор Живаго”, рукопись которой я читал в Москве, то это бесформенное произведение, аморфная масса, не заслуживающая названия романа» (Цит. по: *Васильев В.* Шолохов и Нобелевская премия: история вопроса // Литература. 2002. 16–22 июня. № 23 (446). С. 3).

Младое племя

Впервые: Русская мысль. 1959. 26 ноября. № 1452. С. 2.

С. 183. ...*спор, поднявшийся вокруг статьи Ю.П. Денике...* — Статья Ю.П. Денике «Племя младое, незнакомое» была опубликована в журнале (Социалистический вестник. 1959. № 8–9) и затем перепечатана газетой (Русская мысль. 1959. 10 октября. № 1432. С. 3, 6), вызвав ряд откликов: *Померанцев К.* «Еще о племени незнакомом» (по поводу статьи Ю.П. Денике) // Русская мысль. 1959. 5 ноября. № 1443. С. 3; *Водов С.* По поводу одной статьи // Русская мысль. 1959. 5 ноября. № 1443. С. 1; *И. С.-Т.* Письмо в редакцию // Русская мысль. 1959. 5 ноября. № 1443. С. 3.

...*«du choc des opinions jaillit la vérité»*... — «в спорах рождается истина» (*фр.*).

...*заметка г. И. С.-Т., недавно появившаяся в «Русской мысли»*. — Автор заметки иронизировал: «Из статьи очевидно явствует, что Денике прислушивался к речам своих советских знакомых с восхищенным умилением. По его мнению, они представляют собой категорию “людей будущего”. Оказывается, именно коммунизм создал этих идеальных людей, мягких и душевных. В них и залог будущего. О чем же мы спорим? Против кого ведем борьбу? Для чего устраиваем “дни нетерпимости”? Прочитайте статью Денике и вы увидите, как это все глупо. За какую “абстрактную” свободу мы воюем, когда при коммунизме люди имеют более глубокое понимание “реальной свободы”?» (*И. С.-Т.* Письмо в редакцию // Русская мысль. 1959. 5 ноября. № 1443. С. 3).

С. 184. ...*вслед за Гегелем воскликнуть: «тем хуже для фактов!»* — Имеется в виду приписываемый Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю афоризм: «Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов». Во Франции выражение «Тем хуже для фактов!» («*Tant pis pour les faits!*») употреблялось с начала XIX в. с отсылкой к анонимному французскому фило-

софу или историку. См.: Душенко К.В. Большой словарь цитат и крылатых выражений. М.: ЭКСМО, 2011. С. 232.

С. 186. *«Молодые люди»* — повесть Арона Исаевича Эрлиха (1896—1963), вышедшая отдельным изданием (М.: Советский писатель, 1958).

«Часть старшего поколения воспитывает у молодежи некоммунистическое отношение к труду, стремление к легкой жизни, желание войти в жизнь с черного хода»... — Воеводский А., Зюзин А. В человеке должно быть все прекрасно // Октябрь. 1959. № 9. С. 160—161.

...или даже с подражанием дикарскому племени «мюмбо-юмбо»... — Отсылка к образу Элочки-людоедки из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», словарь которой состоял из 30 слов, уступая представителю людоедского племени «Мумбо-Юмбо», который мог обходиться 300 словами. Название восходит к английскому Mumbo jumbo, что означает фразу, которая вносит путаницу.

С. 188. *Ренан когда-то писал, что лучшее государство то, существования которого граждане не чувствуют и не замечают...* — Эта сентенция восходит к изречениям Лао-Цзы («Самые лучшие вожди те, существование которых народ не замечает»).

С. 189. *«Гордимся мы всем тем, что вместе выстроили».* — Из стихотворения Е.А. Евтушенко «Что делает великою страну» (1959).

Пьесы Чехова

Впервые: Русская мысль. 1960. 11 февраля. № 1485. С. 6—7.

С. 190. *Ходасевич утверждал в статье о Грибоедове, перепечатанной в его посмертном, не так давно вышедшем, сборнике, что в «Горе от ума» — «нет поэзии».* — Статья была написана к столетию со дня смерти Грибоедова и впервые опубликована в газете: Ходасевич В.Ф. Грибоедов // Возрождение. 1929. 14 февраля. № 1353. С. 3—4. После войны Н.Н. Берберова включила ее в сборник статей В.Ф. Ходасевича: «Мы вечно будем перечитывать “Горе от ума” — этот истинный “подвиг честного человека”, гражданский подвиг, мужественный и своевременный. Мы всегда станем искать в комедии Грибоедова живых и правдивых свидетельств о временах минувших. Мы отдадим справедливость яркости и правдивости изображения. Но в глубокие минуты, когда мы, наедине с собой, ищем в поэзии откровений более необходимых, насущных для самой души нашей, — станем ли, сможем ли мы читать “Горе от ума”? Без откровения, без прорицания нет поэзии. Вот почему сам Грибоедов не продолжил его традиции, не захотел использо-

вать опыт, добытый в создании этой вещи. Он знал, что такое поэзия, к ней стремился мучительно, — но этот путь был для него закрыт» (*Ходасевич В.* Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. С. 46).

Воспоминания — как острый нож они! — Не совсем точная цитата из пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума». В оригинале: «Воспоминания! как острый нож оне» (Действ. 4. Явл. 12).

С. 191. *Мопассан, например, у нас был оценен очень высоко, в частности, тем же Чеховым...* — И.А. Бунин писал о Чехове: «Он горячо любил литературу, и говорить о писателях, восхищаться Мопассаном, Флобером или Толстым, — было для него наслаждением. Особенно часто он с восторгом говорил именно о них да еще о «Тамани» Лермонтова» (*Бунин И.А.* О Чехове. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 55). Вл. И. Немирович-Данченко в своих воспоминаниях написал о Чехове: «Очень высоко ценил Мопассана. Пожалуй, выше всех французов» (*Немирович-Данченко Вл. И.* Из прошлого. М.: Academia, 1936. С. 356). В рассказе А.П. Чехова «Бабье царство» (1894) Лысевич говорит Анне Акимовне: «Милая, читайте Мопассана! Одна страница его даст вам больше, чем все богатства земли! Что ни строка, то новый горизонт. Мягчайшие, нежнейшие движения души сменяются сильными, бурными ощущениями, ваша душа точно под давлением сорока тысяч атмосфер обращается в ничтожнейший кусочек какого-то вещества неопределенного, розоватого цвета, которое, как мне кажется, если бы можно было положить его на язык, дало бы терпкий, сладострастный вкус. Какое бешенство переходов, мотивов, мелодий! Вы покоитесь на ландышах и розах, и вдруг мысль, страшная, прекрасная, неотразимая мысль неожиданно налетает на вас, как локомотив, и обдаёт вас горячим паром и оглушает свистом. Читайте, читайте Мопассана! Милая, я этого требую!» (*Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1985. Т. 8: Сочинения. С. 285).

За последнее время в Англии намечается нечто вроде пересмотра «дела о Байроне» и протеста против беспощадного приговора, вынесенного сто лет тому назад Суинберном. — Весной 1816 г. Байрон развелся с женой, настроив против себя общественное мнение и вызвав множество слухов, продал свое имение и в апреле 1816 г. покинул Англию. После этого на протяжении нескольких десятилетий в английском обществе считалось неприличным читать и вообще вспоминать Байрона. Алджернон Чарлз Суинберн (Swinburne; 1837—1909) летом 1866 г. не без вызова выпустил сборник избранных стихов Байрона со своим предисловием: A Selection from the Works of Lord Byron / Edited and prefaced by A.C. Swinburne. London: Edward Moxon, 1866.

...а о некоторых из них («В овраге», «Архиерей») сказал, что принадлежат они к драгоценнейшим сокровищам не только русской, а мировой литературы вообще. — У И.А. Бунина: «В овраге» — одно из самых замечательных произведений не только Чехова, но во всей всемирной литературе» (Бунин И.А. О Чехове. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 124). Рассказ «Архиерей», по оценке И.А. Бунина, «подлинный шедевр <...> Сомерсет Моэм справедливо называет рассказ “Архиерей” “one of the most beautiful and touching of his stories”» (Там же. С. 14–15).

Но чеховских пьес он терпеть не мог и признался даже, что при мысли о них ему за Чехова «неловко»... — У И.А. Бунина: «Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого Дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу, ни к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, — уж не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя: Симеонов-Пищик. <...> Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно» (Бунин И.А. О Чехове. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 215–216).

...многие даже вознегодовали, — в том числе покойная Кускова... — Об этом Бунин вспоминает в книге «О Чехове»: «В 1948 году я публично читал в Париже мои литературные воспоминания и, оговорившись, что считаю Чехова одним из самых замечательных русских писателей, позволил себе сказать, что не люблю его пьес, что они, по-моему, все очень плохи и что ему не следовало бы писать пьесы из дворянского быта, которого он не знал. Это вызвало во многих негодование против меня, обиды. Е.Д. Кускова написала по поводу этих воспоминаний два больших фельетона в “Новом русском слове”. “В Женеве, — писала она, — и старики, и молодые обиделись на Бунина за Чехова, за Бальмонта, за Горького... Этих писателей любят и сейчас. Чеховым зачитываются, хотя, казалось бы, эта старая, унылая Русь с ее нытиками ушла в прошлое...” Вот это было уже подлинное оскорбление Чехова — низводить его до бытописателя “старой, унылой Руси”. Вот на Е.Д. Кускову следовало бы оскорбиться весьма основательно, а женевским “старикам” не мешало бы помнить, что Горький называл их, русских интеллигентов, со свойственной ему гадкой грубо-

стью, “чуланом с тухлой провизией”» (Бунин И.А. О Чехове. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 115).

...на той памятной многим русским парижанам его лекции, где он на Чехова за его пьесы обрушился... — 23 октября 1948 г. в парижском зале Русского музыкального общества за границей (26, avenue de New York) состоялся литературный вечер И.А. Бунина, на котором он выступил с воспоминаниями, оставившись, в частности, и на пьесах Чехова. Многих в публике суждения Бунина озадачили, это отразилось даже в газетном отчете: «Традиционный вечер И.А. Бунина собрал в прошлую субботу полный зал. Публика тепло встречала писателя: при появлении его на эстраде все встали — редкое для публичных вечеров проявление почтения. К сожалению, вечер не оправдал ожиданий слушателей. Рассказывая о своих современниках — писателях, художниках и артистах — И.А. Бунин ограничился их странными или смешными сторонами, а говоря о Чехове, например, остановился лишь на его пьесах, в которых многое ему не по душе. А публика, по-видимому, ждала другого» (М. Вечер И.А. Бунина // Русские новости. 1948. 29 октября. № 178. С. 6). Через несколько лет, уже после смерти Бунина, Адамович посвятил этой теме отдельную статью: Адамович Г. Бунин о чеховских пьесах // Новое русское слово. 1956. 19 февраля. № 15576. С. 8.

С. 192. ...шуточками вроде «многоуважаемого шкапа». — Отсылка к монологу Гаева из пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» (Действ. 1), в котором он обращается к книжному шкафу: «Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая (сквозь слезы) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания» (Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1986. Т. 13: Сочинения. С. 206–208).

«sensiblerie» — чувствительность, сентиментальность (фр.).

С. 193. ...«Душечка», прочитав которую, Лев Толстой сказал, что после нее «поумнел»! — Старшая дочь Толстого, Татьяна Львовна, писала об этом Чехову 30 марта 1899 г.: «Ваша “Душечка” — прелесть! Отец ее читал четыре вечера подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи» (Литературное наследство. Т. 68. Чехов. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 872).

...Чехов говорил Станиславскому о «Вишневом саде»: это будто бы не драма, а веселая комедия, чуть ли не водевиль. — Чехов говорил об этом не Станиславскому, а его жене М.П. Алексеевой (Лилиной) в письме от 15 сентября 1903 г.:

«Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс» (Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1982. Т. 11: Письма. С. 248).

С. 194. ...создать драму «из ничего», — как сказал бы Шестов... — Отсылка к названию статьи Л. Шестова, посвященной Чехову, — «Творчество из ничего» (1905).

...«самым неклассическим народом в мире»... — см. примеч. к статье «Задача России».

Лет двадцать пять тому назад, например, в парижском театре Питовых шли «Евреи», драма Чирикова. — Премьера спектакля по пьесе Е. Чирикова «Евреи» состоялась 10 июня 1933 г. в театре Г. Питоева. Главные роли исполняли Л. Питоева, Л.И. Розен, Г. Питоев. Вступительное слово произнес Жозеф Кессель. Адамович откликнулся рецензией: «Едва ли кому-нибудь пришло бы в голову извлекать из “мрака забвения” эту старую драму, если бы не последние политические события. <...> Чириков бьет по нервам, ищет внешнего трагизма. Драматург он слабый, и пьеса его тянется вяло и монотонно, пока не обрывается на сцене вторжения пьяной озверелой толпы в мирный еврейский дом. Попадают отдельные остроумные или меткие реплики, есть в пьесе несколько живо очерченных типов. Но скудость замысла удручает. <...> Питоевы неплохо справились со своей задачей. “Колорит” соблюден» (Г. А-ч. «Евреи» у Питовых // Последние новости. 1933. 13 июня. № 4465. С. 5).

...зрители-французы, ~ глубокомысленно обсуждали спектакль, качали головами, одобряли... — В своей рецензии Адамович объяснял это экзотикой и новизной темы для французской публики: «Французам все это в диковину и возбуждает у них интерес скорее всего экзотический» (Там же).

...репутации Питовых как театральных новаторов. — Супруги Жорж и Людмила Питовы считаются создателями «чеховского направления» во французском театре, реформаторами драматического искусства, познакомившими французскую публику с принципами нового русского театра, заложенными Станиславским и Мейерхольдом.

С. 195. ...о включении в московский репертуар пьес Скриба... — Огюстен Эжен Скриб (Scribe; 1791–1861), французский драматург, автор многочисленных комедий и водевилей. В России после революции пользовался популярностью спектакль Камерного театра «Адриенна Лекуврер», поставленный (1919) А.Я. Таировым по пьесе Э. Скриба и Э. Легуве с Алисой Коонен в главной роли (до закрытия театра в 1949 г. спектакль выдержал около 800 представлений). До войны Адамовичу доводилось писать отзыв на французский фильм, поставленный Марселем Л'Эрбе по этой пьесе Скриба, правда, он сразу по-

спешил оговориться: «С известной драмой Скриба, которую когда-то играла Рашель, а после нее почти все знаменитые актрисы, сценарий фильма Марселя Л'Эрбе имеет мало общего. <...> Сохранена, разумеется, историческая канва пьесы. В целом, однако, действие развивается совсем свободно, — и, кажется, не без тайной мысли дать в последних картинах новый вариант “Дамы с камелиями”» (Г. А. «Адриенна Лекувер» // Последние новости. 1938. 7 октября. № 6403. С. 4).

В январской книжке «Нового мира» помещен короткий рассказ В. Дудинцева «Новогодняя сказка». — Дудинцев В. Новогодняя сказка // Новый мир. 1960. № 1. С. 78—97.

По поводу Толстовского съезда в Венеции

Впервые: Русская мысль. 1960. 18 августа. № 1566. С. 4—5.

С. 195. *В статье своей о чествовании Льва Толстого в Венеции Е. Ананьин-Чарский...* — Речь идет о международном конгрессе, посвященном 50-летию со дня кончины Л.Н. Толстого, который проходил в Венеции с 29 июня по 2 июля 1960 г. Адамович был на этом конгрессе и своими впечатлениями поделился с В.Н. Буниной в письме от 12 июля 1960 г., см.: И.А. Бунин: Новые материалы. Вып. I. М.: Русский путь, 2004. С. 159. Е.А. Ананьин-Чарский опубликовал подробный отчет о конгрессе, упомянув, в частности, и Адамовича: «Доклад другого нашего соотечественника Г. Адамовича, зачисленного на этот раз в “англичанина”, открыл широкую перспективу на самый характер творчества Толстого» (*Ананьин (Чарский) Е.А. Чествование Толстого в Венеции // Русская мысль. 1960. 21 июля. № 1554. С. 4*). Г.П. Струве в своем отчете откликнулся на это: «Отзываясь лестно о докладе Г.В. Адамовича, Е.А. Ананьин не отметил, что доклад этот тоже вызвал возражения, особенно со стороны иностранных участников конференции, отметивших чувствовавшуюся в докладе тенденцию возвеличивать Толстого за счет Достоевского. Такой подход, не впервые проявляемый Г.В. Адамовичем, показался многим неправомерным» (*Струве Г. Дневник читателя: О толстовской конференции в Венеции // Русская мысль. 1960. 16 августа. № 1565. С. 4—5*).

С. 196. *...«несказанную прелесть этого волшебного города». ~ «...дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок...»* — из романа И.С. Тургенева «Накануне» (гл. XXXIII).

С. 197. *...навевала «сны золотые»...* — Отсылка к стихотворению П.Ж. Беранже «Безумцы» (1833). В переводе В.С. Курочкина: «Честь безумцу, который навевает / Человечеству сон золотой!»

...общее впечатление от съезда было скорей смутное, временами даже хаотическое. — Свое впечатление Адамович вы-

сказал и в письме к В.Н. Буниной: «Было очень пышно, нарядно, многолюдно, вроде какого-то парламента. Но по существу довольно сумбурно, “кто в лес, кто по дрова”». (И.А. Бунин: Новые материалы. Вып. I. М.: Русский путь, 2004. С. 159).

...в последней речи Сальвадора де Мадариага ~ обращаясь к «великой, дорогой, святой, таинственной России»... — Рукопись этого выступления опубликована: *Сальвадор де Мадариага*. Весть Толстого / Пер. с фр. Кирилла Корконосенко // К истории идей на Западе: «Русская идея» / Под ред. В.Е. Багно и М.Э. Маликовой. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, Издательский дом «Петрополис», 2010. С. 632—643.

С. 198. ...«*Яйца, яйца курицу учат*»... — В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (Т. 3. Ч. 3. XVI) граф Ростов радовался так решению дочери отдать подводы раненым: «“Яйца... яйца курицу учат...” — сквозь счастливые слезы проговорил граф и обнял жену» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1940. Т. 11. С. 316).

С. 199. ...как приблизительно сказал он это Тургеневу, когда тот звал его в Москву на пушкинские торжества. — Об этом писал К.М. Станюкович: «Хотя перед пушкинским юбилеем и шли, как водится, пререкания насчет характера празднования, и дума не без колебаний решилась дать необходимые деньги для торжества, хотя любители общества российской словесности не особенно толково вели дело организации празднества, но тем не менее все обошлось более или менее благополучно и праздник как-то сам собой вышел достойным памяти великого поэта. На праздник явились в достаточном количестве представители литературы, в числе коих были и писатели-корифеи, за исключением, впрочем, таких первоклассных писателей, как гр. Л.Н. Толстой, М.Е. Салтыков и И.А. Гончаров. За графом Толстым ездил к нему в деревню с приглашением Тургенев, но, как известно, Толстой не поехал. Если верить г. Незнакомцу, то граф Толстой выслушал Тургенева и сказал, будто бы, что все это комедия. С точки зрения Толстого, как публициста и мыслителя, этот отказ вполне последователен. Гр. Толстой высказывал не раз, что наша литература служит приятным времяпрепровождением для обеспеченных людей, а народу решительно все равно, существовал ли Пушкин или нет» (Станюкович К.М. Пушкинский юбилей // Полн. собр. соч. СПб.: Изд. А.Ф. Маркса, 1907. Т. 7. С. 237).

По поводу одной из глав «Воскресения»

Впервые: Русская мысль. 1960. 17 ноября. № 1605. С. 2—3.

Статья вызвала полемический отклик: *Забезжинский Григорий*. Еще несколько слов о «Воскресении» // Русская мысль. 1960. 6 декабря. № 1613. С. 7.

С. 200. ...«Жил на свете...», одно из прекраснейших стихотворений когда-либо человеком написанных, по счастью, сохранилось в нашей памяти без тех шутливых, будто Вольтером навеянных строк, которые не могли быть пропущены цензурой. — Стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829), названное Пушкиным в одном из автографов «Легенда», посланное Дельвигу для «Северных цветов» не прошло цензуру и не было напечатано. В сокращенном и несколько переработанном виде было включено в драму «Сцены из рыцарских времен» (1935). Этот вариант был опубликован Жуковским после смерти Пушкина в журнале «Современник» (1837. Т. V. С. 220—221). Полный текст со всеми вариантами был опубликован М.Л. Гофманом в книге: Неизданный Пушкин. Собрание А.Ф. Онегина. М.; Пг., 1923. С. 113—118.

...Юрий Терапиано привел в выдержках страницу из «Воскресения»... — В своем очередном обзоре книжных новинок Ю.К. Терапиано написал о брошюре А. Чернова «Л.Н. Толстой. Христианство и церковь»: «В конце помещена также 39-я глава из романа “Воскресение”, содержащая описание богослужения в православной церкви. <...> Читая эту главу, трудно удержаться от недоумения — как мог такой предельно-честный и совестливый художник не заметить, просмотреть у себя такие предельно-нечувствительные и духовно-безвкусные (ибо явно издевательские) пассажи, как, например, следующие: “Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и положенные в вино, при известных манипуляциях и молитвах, превращаются в тело и кровь Бога. Манипуляции эти состояли в том, что священник равномерно, несмотря на то, что этому мешал надетый на него парчовый мешок, поднимал обе руки вверх и держал их так, потом опускался на колени и целовал стол и то, что было на нем. <...> “Изрядно о пресвятей, пречистой и преблагословенной Богородице”, — громко закричал после этого священник из-за перегородки, и хор торжественно запел, что очень хорошо прославлять родившую Христа без нарушения девства девицу Марию, которая удостоена за это большей чести, чем какие-то херувимы, и большей славы, чем какие-то серафимы”. Приведенные цитаты, безусловно, возмутят подавляющее большинство читателей» (Терапиано Ю.К. Новые книги // Русская мысль. 1960. 15 октября. С. 6—7).

...давшую Победоносцеву непосредственный повод к отлучению Толстого от Церкви... — Мысль об отлучении Толстого от церкви возникла задолго до принятия синодом «определения» от 20—22 февраля 1901 года. В ноябре 1899 года архиепископ Амвросий составил проект постановления синода об отлуче-

нии Толстого от церкви, но решение по этому поводу синодом не было принято.

С. 201. ...«великим писателем русской земли»... — см. выше примеч. к статье «Заметки о Тургеневе».

«О, если бы ты был холоден или горяч...» — Откр. 3:15—16.

...Толстой бился головой о стену, ища мира для своего вечно встревоженного сознания. — У самого Л.Н. Толстого см. в «Записках сумасшедшего» (1884): «Тут на меня нашло. Я стал рыдать, рыдать. И долго никто не мог меня успокоить. <...> И на меня опять нашло, рыдал, рыдал, потом стал биться головой об стену» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1936. Т. 26. С. 476).

В «Критике догматического богословия» есть у него удивительная страница, написанная в связи с догматом Троичности... — Имеется в виду глава «Отношение догмата о троичности лиц во едином Боге к здравому разуму».

С. 202. ...как пишет где-то Лев Шестов (если не ошибаюсь, ссылаясь на Гегеля) — «Богу иная хула должна быть сладостнее славословия». — Адамович не совсем точно цитирует Льва Шестова, который ссылался на Лютера: «Непримиримые враги, основатель иезуитского ордена Лойола и расстрига монах Лютер, оба учат, что только человек, затерявшийся в вечности и предоставленный самому себе и своему безмерному отчаянию, способен направить свой взор к последней Истине. Отсюда и загадочные слова Лютера в его комментарии на Послание к Римлянам: *Blasphemiae... aliquanto sonant gratiores in aure Dei quam ipsum Alleluja vel quaecumque laudis jubilatio... Quanto enim hominior et fedior est blasphemia, tanto est Deo gratior*, — т. е. богохульство звучит иной раз приятнее для слуха Божьего, чем даже Аллилуйя или какое хотите торжественное славословие. И чем ужаснее и отвратительнее богохульство, тем приятнее Богу» (Шестов Л. На весах Иова. Странствования по душам. Paris: YMCA-Press, 1975. С. 224).

С. 203. «Христос сказал то, что сказал»... — Выводя из слов Нагорной проповеди свое учение о непротивлении злу, Л.Н. Толстой писал в трактате «В чем моя вера» (1884): «Христос говорил то, что говорил. Можно утверждать, что всегдашнее исполнение этого правила очень трудно, можно не соглашаться с тем, что каждый человек будет блажен, исполняя это правило, можно сказать, что это глупо, как говорят неверующие, что Христос был мечтатель, идеалист, который высказывал неисполнимые правила, которым и следовали по глупости его ученики, но никак нельзя не признавать, что Христос сказал очень ясно и определенно то самое, что хотел сказать: именно, что человек, по его учению, должен не противиться злу» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 23. С. 312).

Восьмидесятилетие Бориса Константиновича Зайцева

Впервые: Русская мысль. 1961. 11 февраля. № 1642. С. 2. Приурочено ко дню рождения Б.К. Зайцева — 10 февраля 1881 г.

С. 204. *...великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате»...* — см. примеч. к статье «Облик и дух советской литературы».

С. 205. *...«идет к черту», как говорил Чехов, боясь смерти Толстого...* — Имеется в виду фраза, сказанная Чеховым в разговоре с Бунинным: «Вот умрет Толстой, все пойдет к чорту!» (Бунин И.А. О Чехове. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 85).

...«все позволено»... — см. примеч. к статье «Алданов — человек и писатель».

«На врачебном посту в земстве»

Впервые: Русская мысль. 1961. 2 марта. № 1650. С. 6—7.

С. 206. *Первые страницы воспоминаний доктора С.Ф. Вербова...* — Вербов С.Ф. На врачебном посту в земстве: из воспоминаний. Париж, 1961.

С. 208. *...у Селина в его замечательном «Путешествии вглубь ночи»...* — О романе Луи Фердинанда Селина (Céline; наст. фам. Детуш; 1894—1961) «Путешествие на край ночи» («Le voyage au bout de la nuit») (Paris: Denoel et Steele, 1932) Адамовичу доводилось писать еще до войны, вскоре после выхода того в свет: Адамович Г. Литературные заметки // Последние новости. 1933. 27 апреля. № 4418. С. 3.

С. 209. *...Базарову казалось, что для постижения всех ее тайн достаточно «резать лягушек»...* — отсылка к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» (V).

...«Даром землю отдам, говорит, только подпишись!.. Подпишись вдвоем с другим мужиком, Тит! Мало они нашего брата околпачивали». — Отсылка к роману Л.Н. Толстого «Воскресение» (Ч. 2. VII).

С. 209—210. *...«вы наши отцы», ~ «барин, вот и захотелось языком почесать!»* — В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» (XXVII) мужик отвечает Базарову: «Известно, господская воля; потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику», а другому мужику объясняет: «Так, болтал кое-что; язык почесать захотелось. Известно, барин; разве он что понимает?» (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1981. Т. 7: Сочинения. С. 172—173).

Русская литература на Западе (по поводу книги Софи Лаффит)

Впервые: Русская мысль. 1961. 16 марта. №. 1656. С. 6—7.

С. 211. ...«*Анненский, Тютчев, Фет*»... — из стихотворения В.В. Маяковского «Надоело» (1916).

С. 212. *Вот тут-то и запятая*, — как говорит Иван Карамазов. — См. примеч. к статье «Не хлебом единым».

С. 213. *София Григорьевна Лаффит служит России и русской культуре*... — Софи Лаффит (Софья Григорьевна Глиман-Тумаркина; 1905—1979) была уроженкой Киева, в эмиграцию попала с родителями, сначала в Берлин, с 1922 г. в Париж, где училась в Сорбонне и Школе восточных языков.

...*в качестве заведующей русским отделом Национальной библиотеки*... — Софи Лаффит работала в Bibliothèque Nationale de France с 1946 по 1961 г., была основателем и руководителем Славянского отдела.

Первая литературная работа Софи Лаффит появилась вскоре после войны — большая монография о Блоке. — Монография вышла в серии «Bibliothèque Russe de L'Institut d'études slaves. Tome XX» и под фамилией мужа: *Bonneau S. L'Univers poétique d'Alexandre Blok*. Paris: Institut d'études slaves, 1946.

За этим последовали книги о других русских поэтах, — о Есенине, с обстоятельной вступительной статьей, об Анне Ахматовой... — *Laffitte S. Serge Essénine, choix de textes, bibliographie, portraits*. [Paris:] Pierre Seghers, [1959]; *Akhmatova A. Poésies / Présenté et traduit du russe par Sophie Laffitte*. Paris: Pierre Seghers, 1959.

Последняя работа Софи Лаффит — «Лев Толстой и его современники»... — *Laffitte S. Léon Tolstoï et ses contemporains*. Paris: Pierre Seghers, [1960].

...*в редакции «Нового времени», в достопамятном Эртелевом переулке*. — Редакция находилась в Эртелевом переулке, д. 6.

В кабинете старика-Суворина сидят Чехов и Розанов и беседуют с хозяином о Толстом. Была ли когда-нибудь такая беседа? — Чехов перестал сотрудничать в суворинской газете с февраля 1893 года, Розанов получил приглашение писать для «Нового времени» в 1899 году. Событие, изображенное в книге Лаффит, тем более невероятно, что 9 сентября 1899 года Чехов переехал жить в Ялту.

С. 214. ...*по вине Толстого, который отказался от предложения Страхова познакомить его с Достоевским, когда оба они были в Соляном Городке на лекции Владимира Соловьева*... — 10 марта 1878 г. Ф.М. Достоевский с женой был на лекции В.С. Соловьева из цикла «Чтений о Богочеловечестве». В зале сидели и Н.Н. Страхов с Л.Н. Толстым. А.Г. Достоевская за-

писала этот эпизод в своих «Воспоминаниях» (Ч. 9. I) и привела объяснение Н.Н. Страхова: «Со мной на лекцию приехал граф Лев Николаевич Толстой. Он просил его ни с кем не знакомить, вот почему я ото всех и сторонился» (*Достоевская А.Г. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1981. С. 325*).

С. 215. ...«*всемства*», которое ужасало К. Леонтьева. — Слово «всемство» выдуманно Ф.М. Достоевским, впервые встречается у него в «Записках из подполья» (1864. Ч. 2. Гл. X): «Знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердитесь, закричите, ногами затопаете: “Говорите, дескать, про себя одного и про ваши мизеры в подполье, а не смейте говорить: “все мы”. Позвольте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим всемством» (*Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 178*). Позже вслед за Достоевским это слово употребляли Л.И. Шестов и Н.А. Бердяев. Как раз у К.Н. Леонтьева обнаружить его не удалось, хотя сам смысл его действительно ужасал.

Не «самая головокружительная в мировой истории карьера», по формуле Алданова... — См. выше примеч. к статье «Алданов — человек и писатель».

В недавно вышедшей шестой книжке «Мостов» напечатаны отрывки из писем Марины Цветаевой к А.В. Бахраху. — Бахрах А. Письма Марины Цветаевой // Мосты. 1961. № 6. С. 319–349.

Оказывается, Цветаева, приезжая в Париж, останавливалась не где придется, а на rue Bonaparte — «из любви к Императору». — Адамович цитирует письмо М.И. Цветаевой к А.В. Бахраху от 27 сентября 1923 г.: «Я была в Париже в первый раз 16-ти лет, одна: взрослая, независимая, суровая. Поселилась на Rue Bonaparte из любви к Императору и, кроме N (торжествующего Non всему, что не он) в Париже ничего не увидела. Этого было достаточно» (*Бахрах А. Письма Марины Цветаевой // Мосты. 1961. № 6. С. 335*).

...заинтересовался же он Лобачевским, судя по трактирному разговору Ивана с Алешей! — См. выше примеч. к статье «Не ко двору: Достоевский в СССР».

Ко времени смерти Достоевского едва кончился вагнеровшопенгауэровский период в умственном развитии Ницше... — Достоевский умер 28 января (9 февраля) 1881 г. Ницше к тому времени написал свои первые сочинения: «Рождение трагедии из духа музыки» (1872), «Шопенгауэр как воспитатель» (1874) и «Рихард Вагнер в Байрейте» (1876). В них философ излагал требования, предъявляемые им к новейшей культуре, которую Ницше хотел основать на обобщении трех начал: греческой трагедии, музыкальной драмы Вагнера и философии Шопенгауэра.

...при жизни Достоевского Ницше ни для кого еще авторитетом не был... — В России впервые философия Ницше была изложена в 1892 г. в журнале «Вопросы философии и психологии», вторым редактором которого был В.П. Преображенский — исследователь и популяризатор ницшеанской философии. См.: *Преображенский В.П.* Фридрих Ницше, критика морали альтруизма // Вопросы философии и психологии. 1892. № 15. С. 115—160.

С. 216. *...об этой «благочестивой лжи» правильно и проникательно писал покойный Мочульский в своей книге о Достоевском.* — У К. Мочульского: «Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, *по какому-то приговору слепой судьбы*». Эта черта завершает его величественный образ. У сильного человека нет достойных противников, один у него враг — судьба. *Раскольников погиб, как трагический герой в борьбе со слепым Роком.* Но как мог автор преподнести читателям-шестидесятиникам в благонамеренном журнале Каткова бесстрашную правду о новом человеке? Ему пришлось набросить на нее целомудренный покров. Сделал он это, впрочем, наспех, небрежно, “под занавес”. На каторге, после болезни, герой бросается к ногам Сони... и любит. “В их больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, *полного воскресения в новую жизнь.* Их воскресила любовь”. “Но, — осторожно прибавляет автор, — тут начинается новая история...” Роман кончается туманным предсказанием “обновления” героя. Оно обещано, но не показано. Мы слишком хорошо знаем Раскольникова, чтобы поверить в эту “благочестивую ложь”» (*Мочульский К.* Достоевский. Жизнь и творчество. Париж: YMCA-Press, 1947. С. 255).

...Бунин утверждал, что записи Горького насквозь лживы. — В книге о Л.Н. Толстом Бунин назвал воспоминания Горького «безмерно лживыми чуть не на каждом шагу» (*Бунин И.А.* Освобождение Толстого. Paris: YMCA-Press, 1937. С. 191).

Лошадь, и та поняла, что надо Толстому дать дорогу! — В своих воспоминаниях «Лев Толстой» Горький писал: «В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. <...> У границы имения великого князя А.М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один, — кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, — все brave, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от

него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

— Узнали, дураки.

И еще через минуту:

— Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М.: ГИХЛ, 1951. Т. 14. С. 274–275).

С. 217. ...говоря языком Пушкина — «дьявольская». — Из письма А.С. Пушкина П.А. Вяземскому от 4 ноября 1823 г.: «Я теперь пишу не роман, а *роман в стихах* — дьявольская разница».

Николай Оцуп

Впервые: Русская мысль. 1962. 18 января. № 1788. С. 5.

С. 217. *Оцуп появился в Петербурге года за два до революции. Приехал он из Парижа, где учился в Сорбонне, и вызван был, если не ошибаюсь, по делам, связанным с воинской повинностью.* — После окончания Царскосельской гимназии, «заложив за тридцать два рубля золотую медаль» (Оцуп Н. Автобиография // Новая русская книга. 1922. № 11–12. С. 43), Николай Оцуп в 1913 году уехал в Париж, где учился на юридическом факультете Сорбонны и слушал в Коллеж де Франс лекции Анри Бергсона. Он вернулся в Петербург в августе 1914 года, после того, как Россия вступила в Первую мировую войну.

С. 220. ...*ради спасения «добра и света», по Блоку...* — из стихотворения А.А. Блока «О, я хочу безумно жить...» (1914).

«*Сие буди, буди!*» — из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (Ч. I. Кн. II. V).

Анна Присманова

(вступительное слово на собрании 16 декабря)

Впервые: Русская мысль. 1962. 6 февраля. № 1796. С. 2–3.

С. 220. ...*отрезок эмигрантской поэзии, или даже шире — поэзии русской, — который принято называть «парижским»...* — Подробно см.: Коростелев О.А. «Парижская нота» и противостояние молодежных поэтических школ русской литературной эмиграции // Литературоведческий журнал. 2008. № 22. С. 3–50.

С. 223. «*Если смысл художественного произведения можно передать своими словами, незачем было писать художественное произведение.*» — См. выше примеч. к статье «“Марьянка”». Рассказы Леонида Зурова».

С. 224. «*Мой дар убог и голос мой не громок, ~ любезно бытие...*» — первые строки стихотворения Е.А. Боратынского «Мой дар убог и голос мой не громок» (1828).

«*Ecrire en moi naturel. Tels écrivent en moi dièse*». — «Писать своим естественным голосом. А эти пишут на полтона выше» (фр.). Запись Поля Валери из книги: Valéry P. Rhumbs (Notes et autres). Paris: Le Divan, 1926.

Недаром она дружила с Цветаевой... — Об отношениях Присмановой и Цветаевой см. в кн.: Лосская В. Марина Цветаева в жизни. Неизданные воспоминания современников. Tenaflly, N.J.: Эрмитаж, 1989. С. 199—200.

...«*уверенность большая / в непогрешимости моей судьбы*»... — из стихотворения А.С. Присмановой «Равновесие» (сб. «Соль», 1949).

...«*он весь — дитя добра и света*»... — из стихотворения АА. Блока «О, я хочу безумно жить...» (1914).

Пушкин

Впервые: Русская мысль. 1962. 17 марта. № 1813. С. 1.

С. 225. Слова Достоевского о тайне, которую Пушкин унес с собой в гроб... — Заключительные слова пушкинской речи Ф.М. Достоевского (Дневник писателя. 1880. Август. Гл. II): «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» (Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1984. Т. 26. С. 149).

...о славянофильской «гордыне под личиною смирения» метко и пронизательно писал в свое время Тургенев. — Речь идет о письме И.С. Тургенева М.М. Стасюлевичу от 13 июня 1880 г.: «...Во всех газетах сказано, что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне одобряю. Но это не так, и я еще не закричал: ты победил, галилеянин! Это очень умная, блестящая и хитро искусная при всей страстности речь всецело покоится на фальши... И к чему этот всечеловек, которому так неистово хлопала публика? Да быть им вовсе не желательно: лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим безличным всечеловеком. Опять все та же гордыня под личиною смирения... Но понятно, что публика сомлела от этих комплиментов...» (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Л.: Наука, 1968. Т. 13. Кн. 2: Письма. С. 90).

...в «Станционном смотрителе» впервые наметил один из тех новых человеческих образов, которые позднее вошли в русскую литературу, как ее отличительное достояние. — Имеется в виду тип «маленького человека», восходящий к герою повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» (1830) Самсону Вырину.

С. 226. ...Пушкин не предлагает «рисковать миром», как сказал Бердяев о Толстом... — У Н.А. Бердяева: «Все творчество

Л. Толстого направлено против лжи, есть художественное обличение лжи, на которой покоится цивилизация, государства, организации общества. В сущности, Л. Толстой предлагает всем рискнуть, все поставить на карту» (*Бердяев Н. Парадокс лжи* // *Современные записки*. 1939. № 69. С. 276).

...«на ловлю счастья и чинов»... — из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» (1837).

«От судеб защиты нет»... — заключительная строка поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» (1827).

С. 228. ...«пробуждал чувства добрые ~ милость к падшим призывал». — Из стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

Литература и жизнь [Советская молодежь]

Впервые: Русская мысль. 1962. 5 апреля. № 1821. С. 1, 5.

С. 229. ...то, что Пастернак в своем романе метко и верно назвал «бесчеловечным владычеством выдумки». — См. выше примеч. к статье «Несколько слов о «Докторе Живаго»».

...от молодых людей, причисляющих себя к племени «нюмбо-юмбо»... — см. выше примеч. к статье «Младое племя».

...юношей, страстно заинтересованных абстрактной живописью... — Во второй половине 1950-х в СССР сложилось неформальное творческое объединение художников-абстракционистов, студия «Новая реальность», которой руководил Элий Михайлович Белютин (1925–2012), среди участников: В.К. Зубарев, Л.Д. Грибков, Т.Р. Тер-Гевондян, А.И. Сафохин, В.И. Преображенская и др. Кампания против абстракционизма началась после того, как Н.С. Хрущев раскритиковал работы участников студии на выставке в московском Манеже 1 декабря 1962 г., подробнее см.: *Герчук Ю.* Кровоизлияние в МОСХ, или Хрущев в Манеже 1 декабря 1962 года. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

...«додекафонической» музыкой Шёнберга и его школы... — Додекафония как метод композиции возникла в конце 1910-х — начале 1920-х гг. Арнольд Шёнберг и его ученики венского периода Альбан Берг, Антон Веберн и др. (т. наз. «Новая венская школа») были наиболее известными, но не единственными сторонниками и теоретиками додекафонии (также Й.М. Хауэр, Н.А. Рославец). В СССР после войны додекафония не приветствовалась, хотя теоретические статьи о ней появлялись в профессиональной печати: *Тильман И.* О додекафонном методе композиции // *Современная музыка*. 1958. № 11; *Денисов Э.В.* Додекафония и проблемы современной композиторской техники (1963) // *Музыка и современность*. Вып. 6.

М., 1969. Наиболее ярким советским приверженцем додекафонии считается преподаватель Московской консерватории Эдисон Васильевич Денисов (1929—1996), которому, однако, на протяжении 1960—1980-х гг. не разрешалось открыто вести класс композиции.

В начале революции было довольно широко распространено убеждение в срочной необходимости создания новой, чисто пролетарской культуры... — Речь идет об идеологии Пролеткульта, которую развивали А.А. Богданов, А.К. Гастев, В.Ф. Плетнев.

...смотрел на эту презируемую им «богдановщину»... — Главный идеолог «пролеткульта» А.А. Богданов оказался идейным противником Ленина много раньше, его трехтомник «Эмпириомонизм» (1904—1906) Ленин подверг резкой критике в работе «Материализм и эмпириокритицизм» (1908), позже в идеях Пролеткульта он узнавал идеи, ранее высказанные в этой работе Богданова.

...по всей стране расплодилось «пролеткульти»... — После Октябрьской революции пролетарские культурно-просветительные организации создавались во многих городах, членами Пролеткульта числились десятки тысяч человек.

...достаточно было ленинского окрика в 1920 году... — Ленин подверг критике идеологию Пролеткульта в речи на III съезде РКСМ 2 октября 1920 г. и в проекте резолюции «О пролетарской культуре» (8 октября 1920), составленной им для I съезда Пролеткульта, где он писал: «Не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры» (Ленин В.И. ПСС: В 55 т. М.: Политиздат, 1981. Т. 41. С. 462).

С. 230. *...в последние годы и с Достоевского опала оказалась снята.* — См. примеч. к статье «Не ко двору: Достоевский в СССР».

...читающего «Воскресение» и узнающего на последних страницах, по указанию Толстого самых важных, что прощать врагов надо всегда, до бесконечности, без единого исключения... — Речь о просветлении Нехлюдова после чтения Евангелия в последней главе романа Л.Н. Толстого «Воскресение» (Ч. 3. XXVIII): «И с Нехлюдовым случилось то, что часто случается с людьми, живущими духовной жизнью. <...> Ответ, которого он не мог найти, был тот самый, который дал Христос Петру: он состоял в том, чтобы прощать всегда, всех, бесконечное число раз прощать, потому что нет таких людей, которые бы сами не были виновны и потому могли бы наказывать или исправлять» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1936. Т. 32. С. 441—442).

...провозгласил совсем другой принцип, не без каннибальского привкуса: «если враг не сдается, его уничтожают». — Статья

М. Горького «Если враг не сдается, его уничтожают» была опубликована 15 ноября 1930 г. одновременно в двух советских газетах — «Правде» и «Известиях».

Литература и жизнь [«При свете дня» Э. Казакевича]

Впервые: Русская мысль. 1962. 19 апреля. № 1827. С. 1.

С. 231. *Теперь в Москве повелось все прошлые и настоящие грехи объяснять «культом личности» и его последствиями...* — «Теперь», т.е. после доклада Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» на закрытом заседании XX съезда КПСС 25 февраля 1956 г.

С. 232. *...«человек — это звучит гордо»...* — Слова Сатина из пьесы М. Горького «На дне» (1902. Действ. 4).

...«кланяюсь вам, красавец-человек!» — из письма М. Горького К.С. Станиславскому от 10 января 1933 г.

...в одной из последних книжечек «Нового мира» рассказ или небольшую повесть Эм. Казакевича... — Казакевич Эм. При свете дня // Новый мир. 1961. № 7. С. 52—80.

Литература и жизнь [150 лет со дня рождения Герцена]

Впервые: Русская мысль. 1962. 3 мая. № 1833. С. 1.

С. 234. *...его «Мысли»...* — Записи Блезе Паскаля (Pascal; 1623—1662), которые он вел в 1657—1662 гг., намереваясь объединить в книгу «Апология христианской религии», были опубликованы посмертно под названием «Мысли о религии и других предметах» (1670).

...«патент на благородство»... — из стихотворения А.А. Фета «На книжке стихотворений Тютчева» (1883).

...полтора века со дня рождения Александра Ивановича Герцена. — А.И. Герцен родился 25 марта (6 апреля) 1812 г.

С. 234—235. *Лев Толстой, по свидетельству Гольденвейзера, как-то говоря о крупнейших русских писателях, первыми назвал пять имен — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского и Герцена.* — А.Б. Гольденвейзер 9 августа 1901 г. записал слова Л.Н. Толстого: «Если бы меня спросили, кого из русских писателей я считаю наиболее значительными, я назвал бы: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, которого наши либералы забыли, Достоевского, которого они совсем не считают. Ну, а затем: Грибоедова, Островского, Тютчева» (Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого (Записи за пятнадцать лет). М.: Кооперативное изд-во; Голос Толстого, 1922. Т. I. С. 66).

С. 235. ...*Сен-Симон, старый, первый Сен-Симон...* — см. примеч. к статье «Скиф в Европе».

С. 236. *Самые высокие порывы и начинания, — как с сердечным сокрушением писал после французской революции Карамзин, — таптываются порой в кровь и в грязь, а если кто-нибудь за это и ответственен, то прежде всего мы сами...* — В «Записке о древней и новой России» (1811) Н.М. Карамзин писал: «Время ли теперь предлагать россиянам законы французские, хотя бы оные и могли быть удобно применены к нашему гражданственному состоянию? Мы все, все любящие Россию, государя, ее славу, благоденствие, так ненавидим сей народ, обогранный кровью Европы, осыпанный прахом столь многих держав разрушенных, и, в то время, когда имя Наполеона приводит сердца в содрогание, мы положим его Кодекс на святой алтарь Отечества?» (*Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях*. М.: Наука, 1991. С. 93).

Литература и жизнь [О культе личности Хрущева]

Впервые: Русская мысль. 1962. 17 мая. № 1839. С. 1.

С. 236. ...*со смерти Сталина...* — Сталин умер 5 марта 1953 г.

С. 237. ...*«величайшего мужа человечества»...* — В статье к юбилею И.В. Сталина М.А. Шолохов писал: «Склоним в молчании головы над святым для нас прахом маленькой, скромной грузинской женщины, 70 лет тому назад подарившей миру того, кто стал величайшим мужем человечества, нашим вождем и отцом» (*Шолохов М.А. Отец трудящихся мира* (к 70-летию со дня рождения И.В. Сталина) // Правда. 1949. 20 декабря. № 354. С. 2).

Литература и жизнь [«Мы — май» А. Вознесенского]

Впервые: Русская мысль. 1962. 31 мая. № 1845. С. 1.

С. 239. ...*среди всех даров, которыми боги наградили людей, самый ценный тот, который дан был последним — «дар забвения».* — Имеется в виду афоризм Еврипида: «Люди не могли бы жить, если бы боги не дали им дара забвения». Вероятно, из монолога Тиресия в пьесе «Вакханки» (Действие первое. Явление третье. 270—280). В переводе И.Ф. Анненского: «Тот винный сок, усладу всех скорбей. / В нем он и сон нам даровал, забвенье / Дневных забот — иного ж не найти / Им исцеленья» (*Еврипид. Трагедии: В 2 т. М.: Художественная литература, 1969. Т. 2. С. 439*).

...в «Литературной газете» статьи Андрея Вознесенского, написанной к празднованию Первого мая. — Вознесенский А. Мы — май // Литературная газета. 1962. 1 мая. № 52. С. 2.

С. 240. ...что это за новый Александр Македонский с новыми стульями? — В комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (1836) Городничий говорит об учителе (Действ. 1. Явл. I): «Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах — еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и что силы есть хватить стулом об пол. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» (Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев: Изд-во Московской патриархии, 2009. Т. 4. С. 225).

Вознесенский — молодой поэт из группы, возглавляемой Евтушенко... — Свое отношение к поэзии Е. Евтушенко и А. Вознесенского Адамович высказал в письме Р.Б. Гулю от 31 октября 1962 г.: «Евтушенко — фонтан, поток: дряни много, но есть и такие строчки и строфы, как дай Бог написать всем нашим поэтам сообща. Вот другая новая знаменитость, Вознесенский, — дрянь на 99% и даже на 100 (как и Роберт Рождественский)» (Письма Георгия Адамовича к Роману Гулю / Публ. В. Крейда // Новый журнал. 1999. № 214. С. 219). А также — в письме Р.Н. Гринбергу от 2 декабря 1962 г.: «Вы пишете о Евтушенко и Вознесенском. Лично я ни того, ни другого не знаю, — хотя Вознесенский должен быть на днях в Париже, и, м.б., я с ним встречусь. Но стихи его мне не по душе совсем, да и другие его писания. А зато Евтушенко, по моему, — талант редкий и настоящий, только, к сожалению, пишет слишком много и часто пишет хлам, рассчитанный только на политический отзвук. Но есть у него и такие строчки и строфы, каких не написать всем нашим местным поэтам сообща» («...Поговорить с Вами долго и длинно и даже посплетничать...») Переписка Г.В. Адамовича с Р.Н. Гринбергом (1953—1967) // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 409—410).

«la nouvelle vague» — «новая волна» (фр.).

С. 241. ...стал читать воспоминания Эренбурга в последней книжке «Нового мира». — Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Книга четвертая // Новый мир. 1962. № 4. С. 9—64.

Эренбург рассказывает, что однажды в Париже журналисты с упрёком показали ему советскую газету... — У И. Эренбурга: «В 1949 году во время Первого конгресса сто-

ронников мира, собравшегося в Париже, французы потребовали, чтобы я устроил пресс-конференцию. Один журналист спросил меня, как я отношусь к статье, напечатанной в советской газете, где Мольер назван слабым драматургом, что особенно ясно, когда смотришь пьесы Островского. Журналист держал в руке русскую газету, но я не мог разглядеть какую. Я ответил, что не знаю, верен ли перевод, я такой статьи не читал; если она действительно была напечатана, то это показывает, что ее автор не очень сведущ в литературе, да и не блещет умом. “Мы говорим, что уничтожили в нашей стране эксплуататоров, это правда. Но мы никогда не утверждали, что уничтожили дураков...” Журналисты рассмеялись и стали более внимательно слушать ответы о «холодной войне», о политике Трумэна, о задачах сторонников мира. А я был весь в поту — гадал, какую газету он процитировал. Когда пресс-конференция закончилась, журналист, поставивший каверзный вопрос, подошел, показал газету. Я облегченно вздохнул: “Вечерка”...» (*Эренбург И.* Люди, годы, жизнь. Книга четвертая // Новый мир. 1962. № 4. С. 26).

Литература и жизнь

[«Власть тьмы» в постановке Малого театра]

Впервые: Русская мысль. 1962. 28 июня. № 1857. С. 1.

С. 241. *«Власть тьмы» в исполнении труппы московского Малого театра...* — В июне 1962 г. Малый театр участвовал в ежегодном парижском фестивале Театра наций. Для показа было выбрано два спектакля: «Власть тьмы» Л. Толстого и инсценировка повести В. Аксенова «Коллеги».

С. 243. *...«сами все знаем, молчи».* — Из стихотворения В.Я. Брюсова «Каменщик» (1901).

В 1892 году он прочел «Власть тьмы» в немецком переводе и писал, если не ошибаюсь, Георгу Брандесу... — Г. Ибсен писал не Брандесу, а Эммануэлю Ганзену, и несколькими годами ранее, 27 ноября 1888 г.: «Драму “Власть тьмы” я прочел с большим интересом. Не сомневаюсь, что она в надлежащем, верном и беспощадном, исполнении должна произвести сильное впечатление со сцены. Мне кажется, однако, что автор не вполне владеет драматургической техникой. В пьесе больше разговоров, чем драматических явлений, и диалог во многих местах кажется мне скорее эпическим, нежели драматическим; вообще вся вещь является не столько драмой, сколько рассказом в диалогах. Но главное ведь налицо. Дух гениального поэта живет и проявляется здесь во всем» (*Ибсен Г.* Собр. соч.: В 4 т. М.: Искусство, 1958. Т. 4. С. 725–726).

Для Ибсена, великого специалиста по части драматического построения, великого мастера, в сравнении с которым все Скрибы и Сарду — сущие дети и дилетанты... — О Скрибе — см. примеч. к статье «Пьесы Чехова». Викторьен Сарду (Sardou; 1831—1908) — французский драматург, чрезвычайно популярный во Франции в 1850—1860-е гг.

Литература и жизнь

[«Товарищ время и товарищ искусство» В. Турбина]

Впервые: Русская мысль. 1962. 26 июля. № 1869. С. 1—2.

С. 243. ...у России «стать» особенная и измерить ее «аршином общим» невозможно. — Отсылка к стихотворению Ф.И. Тютчева «Умом Россию не понять...» (1866).

С. 244. ...вышедшую в прошлом году книгу В. Турбина... — Турбин В. Товарищ время и товарищ искусство. М.: Искусство, 1961.

Редактор выпустившего ее издательства сказал в свое оправдание, что идеи, в ней отраженные, будто бы «носятся в воздухе»... — Строчков П. От реализма — на ракете // Октябрь. 1962. № 5. С. 194—208.

Маститый критик В. Ермилов, очевидно, старающийся уловить все то, что теперь «носится в воздухе», признал книгу «талантливой»... — В.В. Ермилов отозвался о книге В. Турбина в своем выступлении на первом заседании Совета по литературной критике при Правлении Союза писателей СССР. В журнальном отчете были приведены тезисы его выступления: «Книга написана, по мнению оратора, талантливо, но в ней сказывается тенденция к машинизации, к вытравлению гуманистического начала литературы. Нужен серьезный разбор этой книги, с научной полемикой, объективным анализом, а не отписочная рецензия, смазывающая сущность книги, или статья, где вместо того, чтобы концепция автора анализировалась, на него наклеивались бы различные ярлыки» (Первое заседание Совета // Вопросы литературы. 1962. № 2. С. 58).

С. 246. ...«сбросить их с парохода современности»... — Неточная цитата из манифеста будетлян, опубликованного в сборнике «Пощечина общественному вкусу. В защиту свободного искусства» (М., 1912). По свидетельству А. Кручёных, «открывавший сборник коллективный манифест писали долго и спорили из-за каждой фразы, слова, буквы. Кручёных предложил: “Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина”. Маяковский добавил: “С парохода современности”. Маяковский: “Сбросить — это как будто они там были, нет, надо бросить с парохода” <...> Получилось: <...> “Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода

современности» (Цит. по: Крусанов А. Русский авангард: 1907—1932. Т. 1. Боевое десятилетие. СПб.: Новое литературное обозрение. 1996. С. 91—92).

В «Октябре» недавно приведен был разговор, подслушанный в очереди. — Адамович имеет в виду статью Ларисы Крячко «“Модерн” — мещанство и его обличители»: «Недавно в очереди в книжном магазине мне довелось случайно услышать, как молодая женщина в пальто из пушистого искусственного меха горделиво рассказывала своей приятельнице: “Моя комната — настоящая модерняшка!” У нее облегченная мебель, торшер, подвесные керамические вазочки, магнитофон с записью песенок Булата Окуджавы, “абстрактные занавесочки”. Несколько лет назад она увлекалась собиранием подписных изданий, но шкафы, забитые книгами, — это тяжело, такой вид комнаты не соответствует ее образцам, рекомендуемым выставками декоративного искусства, и вот уже многотомье подписных изданий переселяется к букинистам... Энергичная устроительница “модернизированного” уюта приобрела сразу десять книжек только что вышедшего однотомника Марины Цветаевой. “Для всех наших, — пояснила она и озабоченно прибавила: — На днях должен поступить в продажу Пастернак, не прозевать бы!..” Эта публика зачитывалась сначала Ремарком, потом Сэлинджером. В живописи она почти обожествляет Пикассо, которого толком не понимает, но в его оценке вполне полагается на И. Эренбурга...» (Крячко Л. «Модерн» — мещанство и его обличители // Октябрь. 1962. № 3. С. 186—187).

...«гордый взор иноплемennyй»... — из стихотворения Ф.И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

Литература и жизнь

[«Литература для детей старшего возраста»]

Впервые: Русская мысль. 1962. 9 августа. № 1875. С. 1.

С. 247. ...наших «кающихся дворян». — Выражение принадлежит Н.К. Михайловскому, который в статье «Из литературных и журнальных заметок 1874 г.» (Отечественные записки. 1874. № 4) подразделил «людей шестидесятых годов» на разnochинцев и «секту кающихся дворян» и подробно описал кодекс правил личного поведения последних: «Когда бездна крепостничества и всего старого строя русской жизни развернулась во всем своем ужасающем безобразии, в обществе явилась непреодолимая потребность самообругания, самонаказания, покаяния. С течением времени эта потребность удовлетворилась в большинстве и замерла. Но осталась группа людей, <...> которые теперь сосредоточили все свои помыслы на выработке правил личного повеления: как жить свято? <...> такая-то или такой-то, вытерпев страшную домашнюю бурю, ушел из полно-

го, как чаша, родительского дома и стал жить своим трудом, потому что того требовал кодекс; такой-то, глотая слезы, привел к своей жене любимого человека, потому что кодекс требовал изгнания ревности, такой-то отказался от блестящей карьеры и проч., и проч., и проч. Микроскопические детали кодекса разрабатывались с педантической тщательностью: как жить, чем жить, с кем жить, как с кем обращаться, как есть, спать, пить, как учиться, чему учиться и т.д. Все было смиренно и взвешено. Таков был характер секты кающихся дворян» (*Михайловский Н.К.* Сочинения: В 6 т. СПб.: Изд. ред. ж. «Русское богатство», 1896. Т. 2. С. 648). Автор выражения он сам назвал себя в опубликованных при жизни мемуарах: *Михайловский Н.К.* Литературные воспоминания и житейская смута. СПб., 1900. Т. I. С. 139. В 1876—1877 гг. Михайловский опубликовал в «Отечественных записках» цикл очерков «Вперемежку», написанных от лица «кающегося дворянина».

С. 248. «*Микрорайон*» — роман Лазаря Викторовича Карелина (наст. фам. Кац; 1920—2005) о молодом партийном агитаторе, опубликованный отдельным изданием (М.: Советская Россия, 1962).

...«не принять грядущей нови в ее отвратной нагоде». — Из стихотворения И.А. Бунина «Шепнуть заклание при блеске» (1922).

...Конст. Леонтьев содрогался при одной мысли о будущем «всемстве», однако под самый конец жизни сказал «что же делать!» — Адамович цитирует последнее письмо К.Н. Леонтьева В.В. Розанову от 18 октября 1891 г.: «Кончина моего старца от. Амвросия не застала меня врасплох; он был так слаб, что я дивлюсь, как он мог еще дожить до 79 лет. Я столько лет ждал со дня на день его смерти, что теперь ничуть этим не поражен. Понимаю, конечно, что встретятся еще не раз случаи, если проживу еще долго, когда я буду восклицать: “Где от. Амвросий”!.. Но что же делать! Воля Божия! Господь, если нужно, и другого человека нам пошлет!» (Из переписки К.Н. Леонтьева, с предисловием и примечаниями В.В. Розанова // Русский вестник. 1903. Кн. VI. Июнь. С. 428).

Литература и жизнь

[Дискуссия о Маяковском в журнале «Октябрь»]

Впервые: Русская мысль. 1962. 23 августа. № 1881. С. 1—2.

С. 249. ...*Маяковский нередко стремился к тому, чтобы придать своему творчеству черты, обычно связываемые с именем одного из сыновей библейского Ноя.* — Имеется в виду Хам: Быт. 9:20—27.

Несчастливцев — персонаж комедии А.Н. Островского «Лес» (1870).

С. 250. Мочалов Петр Степанович (1800—1848) — актер московского Малого театра, трагик, которого К.С. Станиславский считал родоначальником школы переживания.

...дискуссия, отчет о которой помещен в июльской книжке «Октября». — В № 7 «Октября» за 1962 г. были опубликованы статьи А.И. Метченко «Как мы понимаем наследие Маяковского» (С. 199—200), В.Б. Шкловского «Вина перед другом» (С. 200—202), С.А. Трегуба «Обсуждать спорные вопросы» (С. 202—204), В.О. Перцова «По эту сторону Маяковского» (С. 205—210).

...оценившего как «полезное» одно только стихотворение Маяковского («Прозаседавшиеся»)... — В речи «О международном и внутреннем положении Советской республики» на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 г. В.И. Ленин сказал: «Вчера я случайно прочитал в “Известиях” стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно» (*Ленин В.И.* ПСС: В 55 т. М.: Политиздат, 1970. Т. 45. С. 13).

«*Это Их марш, а не наш!*» — А. Мариенгоф привел рассказ Бонч-Бруевича в книге «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги»: «В 1919 г. в Кремле красноармейцами был устроен литературно-музыкально-вокальный вечер, на котором, между прочим, должна была выступить артистка Гзовская. Ленин решил пойти послушать и пригласил меня пойти вместе с ним. Мы сели в первый ряд. Гзовская заодно объявила “Наш марш” Владимира Маяковского. <...>

— Что за чепуха! — воскликнул Владимир Ильич. — Что это, “мартобря” какое-то?.. <...> Ведь это же черт знает что такое! Требуется, чтобы нас на небо взяли живьем. Ведь надо же договориться до такой чепухи! Мы бьемся со всякими пред-рассудками, а тут, подите пожалуйста, со сцены Кремлевского красноармейского клуба нам читают такую ерунду. <...>

Владимир Ильич долго помнил этот вечер, и, когда его звали на тот или другой концерт, он часто спрашивал: “А не будут ли там читать нам “Их марш”?..”» (*Мариенгоф А.* Бессмертная трилогия. М.: Вагриус, 1999. С. 207—209).

...не прошло и года, как в них вмешался Сталин: Маяковский, заявил он, был «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи»... — 24 ноября 1935 г. Л.Ю. Брик обратилась

к Сталину с просьбой об издании сочинений Маяковского и увековечении его памяти. На письме Л.Ю. Брик Сталин оставил резолюцию, адресуя ее секретарю ЦК Н.И. Ежову: «Т. Ежов! Очень прошу Вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и к его произведениям — преступление» (*Сталин И.В. Сочинения*. Тверь: Информационно-издательский центр «Союз», 2006. Т. 18. С. 115). Две недели спустя, 5 декабря 1935 г. фрагмент записки был опубликован в «Правде» и на десятилетия определил отношение к Маяковскому в СССР.

«Нет ничего ошибочнее мысли, ~ будто слава Маяковского рождена известным отзывом Сталина». — Цитата из статьи: Метченко А. Как мы понимаем наследие Маяковского // Октябрь. 1962. № 7. С. 199.

С. 251. *«Некоторые товарищи полагают, что величие Маяковского связано с той формулой, ~ критику культа следует распространить и на эту известную формулу».* — Адамович цитирует статью: Трегуб С. Обсуждать спорные вопросы // Октябрь. 1962. № 7. С. 202.

...Гёте, по Клоделю, — «осел»... — Поль Клодель записал это в дневнике 1932 г. (*Claudé P. Journal: 2 vol. / Introd. par F. Varillon; texte établi et annoté par F. Varillon et J. Petit. Vol. I. 1904—1932. Paris: Gallimard, 1968. P. 1000*). Адамович обсуждал этот отзыв с М.А. Алдановым, у которого он упоминается в книге «Ульмская ночь»: «Клодель сказал, как вы знаете: “Этот торжественный осел Гёте”» (Алданов М.А. Ульмская ночь. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 214).

Когда-то В. Шкловский попробовал сказать, что Горький, как художник, — «под сомнением»... — см. выше примеч. к статье «Записные книжки Фадеева».

«Встречи» Федора Степуна

Впервые: Русская мысль. 1962. 25 августа. № 1882. С. 2—3.

С. 252. *Это очень интересная книга...* — Степун Ф. Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962.

...«великие тени прошлого»... — В предисловии к своей книге Ф.А. Степун писал: «В моей памяти, уже давно немолодого человека, много самых разнообразных встреч. В предлагаемую вниманию читателя книгу я включил только наиболее для меня важные. Среди них и две встречи с великими тенями прошлого — с Достоевским и Толстым» (Степун Ф. Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962. С. 6).

...поставить «вопросительный крючок», — как ставил его Онегин... — В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл. 7.

XXIII) Татьяна смотрит пометы Онегина на книгах: «Везде Онегина душа / Себя невольным выражает / То кратким словом, то крестом, / То вопросительным крючком» (Пушкин А.С. ПСС: В 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. V. С. 150).

Из «столкновения мнений» вовсе не всегда, вопреки французской поговорке, «брызжет» истина... — Адамович дословно переводит французскую поговорку «Du choc des opinions jaillit la vérité» — «Из столкновения мнений брызжет истина».

С. 253. *...чаепитие, — вроде тех, о которых вспоминает Степун в статье об Андрее Белом...* — У Степуна: «В “Мусагете”, в уютной редакционной квартире на Арбатской площади, где чуть ли не ежедневно собирались “мусагетцы”, “орфики”, “символисты”, “идеалисты”, и где под бесконечные чаи и в чайнии бесконечности шла непрерывная беседа о судьбах мира, кризисе культуры и грядущей революции» (Степун Ф. Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962. С. 170).

Удивительно, однако, что Бунина он возвеличивает и приписывает ему «царственную свободу» ~ «нет ни одной внутренней лживой и пустой страницы»... — У Ф.А. Степуна: «И та свобода и самостоятельность, с которыми Бунин прошел и мимо всех эстетических нарочитостей декадентства, и мимо всех политических утробностей общественности, представляются, поэтому мне, поистине, замечательными. Этой царственной свободе, укорененной в твердом, инстинктивном знании того, что ему, т. е. его таланту, нужно и что не нужно, он, прежде всего и обязан всем тем, чего он достиг. А достиг Бунин, в известном смысле, абсолютного, ибо он достиг, по-своему, непреложного. У него, как у всякого писателя, есть вещи сильные и слабые, в нем свыше зачатые и им самим задуманные, но у него нет ни одной внутренне лживой или пустой страницы» (Степун Ф. Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962. С. 91).

...как и тот, кого он в малоизвестной статье, написанной к восьмидесятилетию Толстого, справедливо назвал «солнцем над Россией». — Речь идет о статье А.А. Блока «Солнце над Россией» (1908).

...с «Отца Кронида» и других ранних его вещей... — Рассказ Б.К. Зайцева называется «Священник Кронид» (1903).

С. 254. *...например, что «в сущности, Ставрогина в романе нет» и что «он присутствует в нем, как только что опустившееся за горизонт солнце».* — У Ф.А. Степуна: «В сущности, Ставрогина в романе нет: он присутствует в нем, как только что опустившееся за горизонт солнце. О том, чем Ставрогин был до своего появления в романе, читатель может лишь смутно догадываться по той сложной борьбе идей и чувств, которыми он

где-то за границей сумел отравить души своих, впоследствии отвернувшихся от него, друзей и последователей — Кириллова, Шатова и Верховенского. Эта изытость Ставрогина из всего происходящего в романе, эта его отодвинутость в будущее, а быть может даже и никогда не бывшее, эта его омертвелость, были впервые отмечены опять-таки С. Булгаковым: «Героем трагедии, — читаем мы у него, — бесспорно, является Ставрогин; из него исходят все мысли романа, а на самом деле его нет»» (*Степун Ф.* Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962. С. 44).

...по тем мыслям, которые принадлежат философству ющим героям Достоевского, нельзя судить о миросозерцании автора. — У Ф.А. Степуна: «Моя попытка раскрыть в художественном творчестве Достоевского его философское миросозерцание сопряжена с рядом трудностей, с которыми, как доказывают многие работы, не так легко справиться. Герои Достоевского, правда, непрерывно философствуют, но обращение к ним за разрешением вопроса, каково же было миросозерцание их творца, не правомерно уже потому, что эти герои защищают весьма разные миросозерцания: христианские и атеистические, либеральные и коммунистические, западнические и славянофильские и т. д. Делить их на миросозерцания, близкие к взглядам самого Достоевского и на такие, которые свойственны только его героям, но не ему самому, неверно, так как все образы большого художника зарождаются у него в крови и вынашиваются в его душе и сознании» (*Степун Ф.* Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962. С. 11—12).

...«возвращении билета на вход в мир». — В романе «Братья Карамазовы» (Часть вторая. Книга пятая. IV) Иван говорит Алеше: «Слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возратить его как можно заранее. Это и делаю. Не бога я не принимаю, Алеша, а только билет ему почтительнейше возвращаю» (*Достоевский Ф.М.* ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 223).

...сменяется слезливым раскаянием лишь под самый конец, «под занавес», в явную уступку среднечитательским требованиям, как правильно подметил это покойный Мочульский. — См. выше примеч. к статье «Русская литература на Западе (по поводу книги Софи Лафит)».

С. 255. *...«слишком разработанное миросозерцание и слишком убежденное его исповедание мешают искусству»...* — Из главы «Миросозерцание Достоевского» (*Степун Ф.* Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962. С. 11).

...есть в нем глава ужасающе-тягостная, — та, конечно, где высмеяна православная обедня... — Имеется в виду 39 глава из романа Л.Н. Толстого «Воскресение». См. выше статью «По поводу одной из глав “Воскресения”».

«И многое по той же причине пришлось ему серьезными мыслителями и философами». — Из главы «Религиозная трагедия Льва Толстого» (Степун Ф. Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962. С. 59).

...Ален, — говоря об «Анне Карениной», он охарактеризовал толстовские размышления как «мысли каменного века»... — Дословно: «ces robustes pensées de l'âge de fer» («прочные мысли железного века». — *фр.*). Эти слова Ален (Alain; наст. имя Эмиль Огюст Шартье; 1868—1951) написал, говоря не об «Анне Карениной», а в эссе «Война и мир» (1928), входящем в цикл «Суждения». В переводе Б.М. Скуратова: «Читайте и перечитывайте эти вечные страницы. Не надейтесь, что найдете что-либо сравнимое с ними. Такие глубокие мысли рождаются лишь раз, подобно тому как лишь однажды была написана Библия и явился Христос. <...> Все это будет вас сопровождать, когда вы последуете за Пьером Безуховым, мыслителем, вашим другом, и узнаете, какие мысли, достойные каменного века, у него возникают в этом вихре столкнувшихся сил» (Ален. Суждения / Сост. В.А. Никитин. М.: Республика, 2000. С. 319).

С. 256. *Говорит ли он об эпизоде с причастием, — «дарованной ему благодатной возможности обрести и принять созданные Церковью формы выражения непостижимой глубины христианства»...* — У Ф.А. Степуна: «Давая себе полный отчет в своем расхождении с народной церковной верой, Толстой все же решил смириться: ходить на службы, становиться утром и вечером на молитву, поститься и говеть. Деля это, Толстой почувствовал, что его разум перестал противиться его вере, и что все для него прежде невозможное перестало вызывать в нем протест. Это очень важное признание. Оно явно свидетельствует о том, что в ответ на решение смириться Толстому была дарована благодатная возможность обрести и принять созданные Церковью формы выражения непостижимой глубины христианства. Этой данной ему помощи Толстой, очевидно, не заметил. Его примирение с народной верой длилось недолго. Отход начался с невозможности духовно осилить тайну причастия, о чем Толстой в “Исповеди” еще говорит со скорбью и болью, отнюдь не с той мстительной озлобленностью, как в “Воскресении”» (Степун Ф. Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962. С. 64—65).

...русское «декадентство», с его тяготением к «тайновидцу духа» за счет «тайновидца плоти». — Д.С. Мережковский в книге «Л. Толстой и Достоевский» (1900—1902) назвал

Достоевского «тайновидцем духа», а Толстого — «тайновидцем плоти».

...не случайно называет его «несравненным». — У Ф.А. Степуна: «Есть, впрочем, в семье поэтов-символистов одно имя, упоминание которого не только возможно, но даже и необходимо для выяснения внутреннего соотношения между ними. Это имя несравненного Блока» (*Степун Ф.* Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962. С. 154).

...после всех нападок на чудесного поэта, после недавних, довольно-таки нелепых попыток уличить его в малограмотности. — Адамович имеет в виду, в частности, С.К. Маковского, который вспоминал о том, как оппонировал на выступлении Блока в «Поэтической академии» («Обществе ревнителей художественного слова» при «Аполлоне»): «Зная, что мне предстоит “бранить Блока”, я постарался, слушая его, запомнить отдельные промахи в этой “Италии”, этимологические и синтаксические — в первую очередь (многое в ней и по существу показалось мне тогда же и претенциозным, и плохо звучащим). <...> за полвека эти стихи не стали для меня совершеннее. Напротив, многое теперь мне кажется в них еще беднее, случайнее, поверхностнее, а иногда и грубее; никакие звуковые изысканности и ритмические ухищрения не искупают их недостатков» (*Маковский С.К.* На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен: ЦОПЭ, 1962. С. 151—152).

С. 257. *...Блок по сравнению с Белым был «менее богат, но метафизически более правдив»...* — У Ф. Степуна: «Белый еще дописывал “мистическую” панораму своего сознания как объективную картину возникающей новой жизни, в то время как Блок, талант менее богатый, сложный и ветвистый, но зато гораздо более предметный и метафизически более правдивый, прозрев беспредметность и иллюзионистичность себя самое мистифицирующей мистики “рубежа двух столетий”, уже отходил на тыловые позиции своей мучительной, горькой, жестокой разочарованности» (*Степун Ф.* Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962. С. 168).

...«воняет литературой»... — см. выше примеч. к статье «“Новый журнал” [№ 44]».

...не «пописывает», читатель в ответ не «почитывает»... — см. выше примеч. к статье «После войны».

Литература и жизнь [300 лет со дня смерти Паскаля]

Впервые: Русская мысль. 1962. 13 сентября. № 1890. С. 1.

С. 258. *...Паскаль для Москвы — «устарел», не мог не «устареть»...* — Показателен контраст между дореволюционным

(а также постперестроечным) интересом к Паскалю-мыслителю и полным безразличием к нему в советский период. В России в конце XIX — начале XX в. появилось с полдесятка переводов «Мыслей» Паскаля: П.Д. Первова (М., 1888), А.И. Орлова (М., 1889), С. Долгова (М., 1892), М.Э. Гюнсбурга (СПб., 1902), некоторые выходили несколькими изданиями. В СССР более или менее представительная подборка «Мыслей» (274 фрагмента в переводе Э.Л. Линецкой) впервые появилась в составе 42 тома «Библиотеки всемирной литературы» (М.: Художественная литература, 1974) и затем дважды перепечатывалась (в 1987 и 1990 г.). Новые переводы стали выходить лишь в 1990-е гг.: О.М. Хомя (М.: REFL-book, 1994); Ю.А. Гинзбург (М.: Изд. им. Сабашниковых, 1995). При этом закон Паскаля для жидкостей и газов, как и его «треугольник» проходили в советской школе на уроках физики и математики.

«*Страшный гений*», «*un génie effrayant*», сказал о Паскале Шатобриан... — В книге «Гений христианства» (1802) Шатобриан написал: «*Cet effrayant génie se nommait Blaise Pascal*» (*Chateaubriand F.-R. Le Génie du christianisme. Paris: Migneret, 1802*).

...открытия, изумлявшие Лейбница... — Паскалевский «Полный труд о конических сечениях» Лейбниц прочитал в рукописи в 1675 г., после чего настойчиво советовал племяннику Паскаля Этьену Перье его опубликовать. Лейбниц также совершенствовал изобретенную Паскалем счетную машину. В своих исследованиях Паскаль использовал метод бесконечно малых, предвосхитив математический анализ, основателями которого стали Ньютон и Лейбниц.

С. 258–259. ...внезапное охлаждение, даже больше — его презрение к науке... — В ночь с 23 на 24 ноября 1654 года Паскаль пережил то, что назвал «мистическим озарением». После этого ученый попросил главу Пор-Рояля Антуана Сенглена статью его духовником, оборвал светские связи, покинул Париж и прекратил занятия наукой, переселившись в Пор-Рояль.

С. 259. ...«вечным безмолвием беспредельных пространств»... — У Б. Паскаля: «Вечное безмолвие этих бесконечных пространств меня пугает» (*Паскаль Б. Мысли / Пер., вступ. ст. и коммент. Ю.А. Гинзбург. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995. С. 137*).

...пытался математически доказать существование Бога и истинность христианской веры с главнейшими ее догматами... — См. раздел VIII «Разумнее верить, чем не верить в то, чему учит христианская религия» «Мыслей» Паскаля.

...как за две тысячи лет до него Платон доказывал бессмертие души... — Платон изложил четыре аргумента в пользу бессмертия в диалоге «Федон».

С. 260. ...*«среди лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы»*... — из стихотворения Н.А. Некрасова «Внимая ужасам войны...» (1855 или 1856).

Литература и жизнь [Стихи Е. Евтушенко]

Впервые: Русская мысль. 1962. 27 сентября. № 1896. С. 1.

С. 260. ...*в связи с его недавней заграничной поездкой*. — В июле—августе 1962 г. Е.А. Евтушенко выезжал в Хельсинки на VII Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

С. 261. *«ведетта»* — от фр. *«vedette»*, звезда.

...*шесть стихотворений Евтушенко, помещенных в июльской книжке «Нового мира»*. — В подборку вошли стихотворения «Тайны», «Размышления над Клязьмой», «Мне нравится, когда мне кто-то нравится...», «Большой талант всегда тревожит...», «Играла девка на гармошке...», «Давайте, мальчики!» (Евтушенко Е. Шесть стихотворений // Новый мир. 1962. № 7. С. 34—40).

«Взмах руки» (М.: Молодая гвардия, 1962) — сборник стихов Е.А. Евтушенко, выпущенный сотысячным тиражом.

«Я никогда с тобой не встречусь и никогда не разлучусь»... — из стихотворения Е.А. Евтушенко «Я только внешне, только внешне» (1960).

С. 262. ...*картина Чурляниса, ~ о которой писал когда-то Вячеслав Иванов*... — В статье «Чурлянис и проблема синтеза искусств», опубликованной в журнале (Аполлон. 1914. № 3. С. 5—21), а потом включенной в книгу «Борозды и межи» (1916), В.И. Иванов описывает несколько картин М.К. Чюрлениса. Адамович, вероятно, имеет в виду анализ картины «Гимн»: «За сидящим на троне светлым царем, чьи ноги покоятся на сфере нижнего, грубее овеществленного бытия, чьи руки лежат на окружности иной, высшей, вмещающей первую, сферы, из-за края которой восходят, каждое для своей райской кущи, девять неведомых солнц, чьи плечи помещены на границе еще высшего мира, где обитают сонмы ангелов, — за этим светлым царем смутно вырисовывалась тень как бы некоего другого, темного, увенчанного такой же, но темной короной, на глубинах нового неба, где светит новое, великое солнце и новая, великая луна... Но дальше художник уже не видит и, быть может, не знает: есть ли там, в вышних, верховно объемлющий все, что мы видим на картине, еще другой, уже не тускло, а ослепительно белый, сидящий на нетварном престоле? <...> Мы видим, по отдельным моментам этого творчества, религиозный путь художника. Мы видим его “Те Деум” в этом сотканном из солнечных лучей «Гимне», который весь как бы поет золотом. Видим мрачные

долины его чистилища, заросшие какою-то адскою флорой, но над ними и далекий мистический храм, воздвигнутый на чудовищной главе inferнального утеса-зверя. Мы подслушиваем его вопль *de profundis*: «Верую, Господи, помоги моему неверию» — в виде двух молитвенно и беспомощно воздетых рук-теней в холоде тусклого, ночного, пустого неба. <...> Какое-то покрывало просквозило, и перед нами — Невеста. Вот сидит Она на эфирном троне, сотканном из солнечных нитей, неясно зримая от избытка наводняющего все небо света и ликования» (Иванов Вяч. Борозды и межи: Опыты эстетические и критические. М.: Мусагет, 1916. С. 332—333).

С. 263. «*Какие девочки в Париже, черт возьми!*» — Из стихотворения Е.А. Евтушенко «Парижские девочки» (1960).

...надо иметь «пробку вместо уха», — как выражался Ремизов, — чтобы этого не расслышать. — См. выше примеч. к статье «После войны» (II).

Стихи Л. Ганского

Впервые: Русская мысль. 1962. 6 октября. № 1900. С. 7.

С. 263. «*На весу*» (Париж, 1962) — первая книга стихов Леонида Иосифовича Ганского (наст. фам. Гатинский; 1905—1970).

...один из сравнительно редких стихотворных сборников, где есть содержание. — Вспомнил ли Адамович, делая этот комплимент, как сорока годами ранее М.А. Кузмин в статье «Парнассские заросли» написал схожую фразу о его собственном сборнике, заметив в обзоре современной поэзии, что «из десятков книг лирическое содержание можно найти в книге Г. Адамовича “Чистилище”» (Завтра. Литературно-критический сборник. I. Берлин, 1923. С. 119).

«Слова, слова, слова!» — из пьесы Шекспира «Гамлет» (Действие 2. Сцена 1). Ответ Гамлета на вопрос Полония: «Что вы читаете, принц?»

...пользуясь выражением Блока из предисловия к «Земле в снегу», сборник этот можно было бы охарактеризовать как «мало словесный». — Третий сборник стихов «Земля в снегу» (М.: Золотое руно, 1908) предварялся страничками «Вместо предисловия», где А.А. Блок говорил о своих сборниках и, в частности, написал: «Кто захочет понять, — пусть поймет неумолимую логику этих малословесных книг».

С. 264. «*Sois belle et sois triste*» — «Будь красива и будь грустна» (фр.); из стихотворения Шарля Бодлера «Грустный мадригал» («*Madrigal triste*»).

С. 265. ...«как дай вам Бог любимой быть другим!» — Из стихотворения А.С. Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть может...» (1829).

Литература и жизнь [«Война и мир» и 1812 год]

Впервые: Русская мысль. 1962. 11 октября. № 1902. С. 1—2.

С. 266. ...*Тургенев — к концу жизни «Войной и миром» восхищавшийся...* — И.С. Тургенев уже к выходу четвертой части романа Л.Н. Толстого начал отзываться о нем очень высоко. 27 февраля (10 марта) 1868 г. он написал И.П. Борисову: «В этом романе столько красот первоклассных, такая жизненность, и правда, и свежесть — что нельзя не сознаться, что с появлением “Войны и мира” — Толстой стал на первое место между всеми нашими современными писателями» (*Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1990. Т. 8: Письма. С. 139*). И годом позже, 12 (24) февраля 1869 г. в письме к И.П. Борисову: «Очень радуюсь известию о скором выходе V-го тома “Войны и мира”; при всех своих слабостях и чудачествах, при всем даже своем вранье, Толстой — настоящий гигант между остальной литературной братьей — и производит на меня впечатление слона в зверинце: нескладно, и даже нелепо — но огромно — и как умно! Дай бог написать ему еще двадцать томов!» (*Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1995. Т. 9: Письма. С. 146*).

...на первых порах отозвался о романе, как о «несчастном продукте»... — 16 (28) марта 1865 г. И.С. Тургенев написал И.П. Борисову: «Я успел прочесть драму Островского (“Воеводу”) и начало романа Толстого. К истинному своему огорчению, я должен признаться, что роман этот мне кажется положительно плох, скучен и неудачен. Толстой зашел не в свой монастырь — и все его недостатки так и выпятились наружу. Все эти маленькие штучки, хитро подмеченные и вычурно высказанные; мелкие психологические замечания, которые он, под предлогом “правды”, выковыривает из-под мышек и других темных мест своих героев — как это всё мизерно на широком полотне исторического романа! И он ставит этот несчастный продукт выше “Казаков”! Тем хуже для него, если это он говорит искренно. И как это всё холодно, сухо — как чувствуется недостаток воображения и наивность в авторе, — как утомительно работает перед читателем одна память, память мелкого, случайного, ненужного. И что это за барышни! Все какие-то золотушные кривляки. Нет, эдак нельзя; эдак пропадешь, даже с его талантом. Мне это очень больно — и я желал бы обмануться» (*Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1989. Т. 6: Письма. С. 123—124*).

«Какая громада и какая стройность! ~ все есть в этой картине». — Почти точная цитата из статьи Н.Н. Страхова «Война и мир. Сочинение гр. Л.Н. Толстого. Томы V и VI»,

впервые опубликованной в № 1 журнала «Заря» за 1870 г. Ср.: *Страхов Н.Н.* Литературная критика. М.: Современник, 1984. С. 323—324.

...Сомерсет Моэм пошел еще дальше: в книге, посвященной десяти лучшим романам мировой литературы... — Имеется в виду сборник критических статей С. Моэма «Десять романов и их романы» («Ten Novels and Their Authors»; 1954).

С. 267. *...у Толстого Наполеон не только тупица, но и пошляк. Об этом писал еще Чехов... — 25 октября 1891 г. А.П. Чехов писал А.С. Суворину: «Каждую ночь просыпаюсь и читаю “Войну и мир”. Читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжки, и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Всё, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов,— всё это хорошо, умно, естественно и трогательно; всё же, что думает и делает Наполеон,— это не естественно, не умно, надутости и ничтожно по значению» (Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1976. Т. 4: Письма. С. 291).*

...главы о приезде генерала Балашева во французскую ставку... — В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (Т. 3. Ч. 1. Гл. III—VII) подробно описана миссия генерал-адъютанта Александра Дмитриевича Балашова (1770—1837) в ставку Наполеона в июне 1812 года.

*Эпизод этот полностью заимствован из «Истории империи» Тьера... — Имеется в виду четырехтомный труд Луи Адольфа Тьера «История Консульства и Империи» («Histoire du consulat et de l'empire»; 1845—1862). Л.Н. Толстой при написании глав о миссии А.Д. Балашева пользовался этим трудом (равно как и работами А.И. Михайловского-Данилевского, М.И. Богдановича, а также запиской самого Балашева), но именно упомянутый эпизод взят не у Тьера, а из книги: *Богданович М.И.* История Отечественной войны 1812 года: В 3 т. СПб.: Тип. Торгового дома С. Струговщика, Г. Похитонова, Н. Водова и К°, 1859. Т. I. С. 145.*

...установил это лет тридцать тому назад один из советских исследователей, если не ошибаюсь — Б. Эйхенбаум: в действительности Наполеон взял за ухо не Балашева, а своего посла Коленкура... — Первым указал на это военный историк М.И. Богданович в подписанной криптонимом статье (М. Б. За и против. Что такое «Война и мир» графа Толстого? // Голос. 1868. 10 мая. № 129). Б.М. Эйхенбаум в своих работах о Л.Н. Толстом много ссылался на труды М.И. Богдановича, но этот эпизод не упоминал. Возможно, Адамович прочитал о нем в книге В.Б. Шкловского, который подробно останавли-

вался на этом эпизоде: *Шкловский В.* Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М.: Федерация, [1928]. С. 176. Позже об этом писали многие: *Тарле Е.В.* Лев Толстой и миссия генерала Балашева // Литературная газета. 1938. 20 марта. № 16. С. 4; *Бендерский И.И.* Миссия Балашева и Лев Толстой: Романное слово и историческая рефлексия // Новый мир. 2011. № 11. С. 116—129; *Готовцева А.В.* Встреча в Вильне. Еще раз о миссии А. Балашева в осмыслении Л. Толстого // Вопросы литературы. 2018. № 1. С. 280—307.

С. 268. *Это взято из знаменитого ласказовского «Мемориала».* — См. примеч. к статье «Памяти доктора Б.Н. Беяева (Б. Щербинского)».

Литература и жизнь [«Живой как жизнь» К. Чуковского]

Впервые: Русская мысль. 1962. 25 октября. № 1908. С. 1—2.

С. 268. *Мой язык. Как хочу, так и говорю.* — Известное бонмо П.А. Столыпина Адамович мог обсуждать, в частности, с Алдановым, который привел этот эпизод в своем романе «Ключ»: «Еще Столыпин сказал, что это только инородцев интересует, как можно и как нельзя говорить: мой язык, как хочу, так и говорю» (*Алданов М.А.* Ключ. Берлин: Слово; Современные записки, 1929. С. 59).

С. 269. *...«закрыты ставни, окна мелом забелены»...* — из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл. 6. XXXII).

Одно из прекраснейших стихотворений в нашей литературе, «Внимая ужасам войны», начинается с ошибки, за которую всякий школьник получил бы двойку... — Стихотворение Н.А. Некрасова «Внимая ужасам войны...» (1855 или 1856) начинается строками: «Внимая ужасам войны, / При каждой новой жертве боя / Мне жаль не друга, не жены...».

...«из пламя и света»... — из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье...» (1840).

С. 270. *«Живой как жизнь»...* — книга К.И. Чуковского, посвященная развитию русского языка (М.: Молодая гвардия, 1962).

...у нашей России, как известно, «особенная статъ»... — Отсылка к стихотворению Ф.И. Тютчева «Умом Россию не понять...» (1866).

...заметка, подписанная четырьмя именами, в том числе Анной Ахматовой. ~ «светская чернь целеустремленно преследовала поэта». — Имеется в виду письмо в редакцию в защиту публикации Эммы Герштейн «Вокруг гибели Пушкина» (Новый мир. 1962. № 2. С. 211—226): *Ахматова А., Иванов Вс., Бонди С., Маршак С.* в редакцию «Нового мира» // Новый мир. 1962. № 7. С. 286.

Литература и жизнь [Льежский процесс и Ватикан]

Впервые: Русская мысль. 1962. 22 ноября. № 1920. С. 1.

С. 271. ...недавним льежским процессом и неожиданным вмешательством Ватикана в это взволновавшее весь мир дело. — Речь об одном из судебных процессов, связанных с талидомидовой трагедией. Бельгийская машинистка Сюзанна Вандепут-Койпель (Suzanne Vandeput-Coipel), принимавшая во время беременности талидомид, 22 мая 1962 г. родила ребенка с врожденными уродствами (без рук, с деформированными ногами). На семейном совете, в котором приняли участие, помимо супругов, также сестра и бабушка, было решено усыпить ребенка путем введения в пищу барбитуратных препаратов, что предложил врач Жак Кастерс, чувствовавший свою ответственность за случившееся (именно он прописывал талидомид). В октябре 1962 г. все пятеро предстали перед судом по обвинению в убийстве и после долгого разбирательства были оправданы присяжными. 12 ноября 1962 г. радио Ватикана выступило с решительным осуждением оправдательного приговора. Подробнее см.: *Paulus J., Rozet J. Le procès de la thalidomide. Paris: Gallimard, 1963. P. 15–18.*

«История Церкви есть история измены»... — Адамович имеет в виду фразу Ренана из «Апостолов»: «L'histoire de l'Église sera le plus souvent désormais l'histoire des trahisons que subira l'idée de Jésus» (*Renan E. Les Apôtres. Paris: Michel Lévy Frères, 1866. P. 56*). В переводе М.А. Шишмаревой: «Отныне история церкви будет всего чаще историей измен идеи Иисуса».

Гарнак Адольф фон (von Harnack; 1851–1930) — немецкий протестантский богослов, профессор Берлинского университета, признанный вождь и глава церковно-исторической науки в Европе. Свои основные воззрения на христианство сформулировал в 16 лекциях (1899–1900, изданы под заглавием «Сущность христианства» (Лейпциг, 1901), несколько раз переводились на русский язык в начале века), намереваясь вернуться «назад к Евангелию», очищенному от «позднейших наслоений».

Луази Альфред (Loisy; 1857–1940) — французский теолог, священник (1879), профессор католического института в Париже (1881–1893), один из идеологов католического «модернизма». Вступил в полемику с Гарнаком в своей книге «Евангелие и церковь» (*Loisy A. L'Évangile et l'Église. Paris: Alphonse Picard et fils, 1902*), называя ее «Анти-Гарнаком» и утверждая вслед за немецким протестантским теологом Иоганном Вайсом (Weiss; 1863–1914), что Иисус не намеревался основывать Церковь, ожидая близкого конца света,

поэтому путь, пройденный исторической церковью, входит в противоречие с раннехристианскими умонастроениями, к которым нельзя вернуться. В 1908 г. отлучен от церкви за вольнодумные книги и со следующего года до 1931 г. занимал кафедру истории религий College de France. Подробнее см.: Метель О.В. Альфред Луази: интеллектуальный портрет на фоне эпохи // Вестник Омского университета. 2013. № 1. С. 48—52.

С. 273. ...«не судите, да не судимы будете». — Мф. 7:1.

Литература и жизнь

[«О философской аргументации современного православия»

Н. Гордиенко]

Впервые: Русская мысль. 1962. 13 декабря. № 1929. С. 1.

С. 273. *«Вопросы философии»* — научный журнал, выходящий с июля 1947 г., орган Президиума Академии наук. Главным редактором в 1960—1967 гг. был академик М.Б. Митин.

С. 274. ...*«юрким ничтожествам»*, — как обозвал когда-то Троцкий эфемерного литературного диктатора Авербаха... — В заметке «Самоубийство В. Маяковского»: Л.Д. Троцкий написал: «Юркие ничтожества, вроде Авербаха, были назначены в Белинские... “пролетарской” (!) литературы» (Т. Самоубийство В. Маяковского // Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). 1930. Май. № 11. С. 39—40).

...некоего Н. Гордиенко... — Религиовед Николай Семенович Гордиенко (1929—2011) в то время преподавал в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте, позже был зав. кафедрой научного атеизма, этики и эстетики Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена.

«О философской аргументации современного православия» — статья Н.С. Гордиенко, опубликованная в № 10 «Вопросов философии» за 1962 г.

С. 276. ...«все это не было так грустно»... — неточная цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Александре Осиповне Смирновой» (1840). У Лермонтова: «Всё это было бы смешно, / Когда бы не было так грустно».

Литература и жизнь

[«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына]

Впервые: Русская мысль. 1963. 3 января. № 1938. С. 1.

С. 276. Появление повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича»... — Повесть впервые была опубликована в ноябре 1962 г. в журнале (Новый мир. 1962. № 11. С. 8—74), че-

рез два месяца, в январе 1963 г., переиздана «Роман-газетой» (№ 1/277) тиражом 700 тысяч экземпляров, а еще через несколько месяцев вышла отдельной книгой (М.: Советский писатель, 1963).

...«зрелое мастерство». — Твардовский А. Вместо предисловия // Новый мир. 1962. № 11. С. 8.

Стиль и тон напоминают раннего Селина... — Имеется в виду первый роман Селина «Путешествие вглубь ночи» (1932). См. выше примеч. к статье «На врачебном посту в земстве».

С. 278. ...*достаточно перечесть его письмо к Зиновьеву после убийства Володарского...* — Революционер Володарский (наст. имя Моисей Маркович Гольдштейн; 1891—1918) был убит эсером-боевиком 20 июня 1918 г. Через несколько дней после убийства, 26 июня 1918 г. В.И. Ленин писал Г.Е. Зиновьеву: «Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере *рабочие* хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали. Протестую решительно! <...> Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров» (Ленин В.И. ПСС: В 55 т. М.: Политиздат, 1970. Т. 50. С. 106).

...«бесчеловечное владычество выдумки»... — см. примеч. к статье «Младое племя».

«Не говорите: „то — былое...“» — заглавная строка стихотворения (1846) А.С. Хомякова.

Литература и жизнь

[Речь Ильичева в «Литературной газете»]

Впервые: Русская мысль. 1963. 17 января. № 1944. С. 1.

С. 279. ...*стереотипно-казенную речь Ильичева на недавней московской «встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства»...* — Встреча руководителей Коммунистической партии и Советского правительства с деятелями литературы и искусства состоялась 17 декабря 1962 г. в Доме приемов на Ленинских горах. Сообщение об этом появилось на следующий же день на первых страницах центральных газет, см.: Творить для народа во имя коммунизма // Правда. 1962. 18 декабря; Известия. 1962. 18 декабря. № 299 (14153). С. 1. Речь Леонида Федоровича Ильичева (1906—1990), в то время секретаря ЦК КПСС (1961—1965) и председателя Идеологической комиссии при ЦК КПСС (1962—1965), была опубликована тремя днями позже: Творить для народа, во имя коммунизма: Речь секретаря ЦК КПСС Л.Ф. Ильичева на встрече руководителей партии и правительства с деятеля-

ми литературы и искусства 17 декабря 1962 года // Известия. 1962. 22 декабря. № 303 (14157). С. 3—4. Многие из присутствовавших оставили записи об этой встрече (Е.А. Евтушенко, А.И. Солженицын, Э.И. Неизвестный, А.А. Вознесенский и др.).

...надежд на прекращение надзора и опеки над творчеством почти ничего не осталось. — Эмигрантские кремленологи объясняли эти метания следующим образом: «В ноябре 1962 года должен был состояться пленум ЦК КПСС, которому предстояло принять по проектам Хрущева решения. Осенью 1962 года борьба вокруг них становится особенно острой, открыто выносятся на страницы печати. И именно тогда Президиум ЦК, по настоянию первого секретаря, большинством голосов (но не единогласно!) решил опубликовать такие произведения, как повесть «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына (хронику самого страшного в сталинском прошлом) и стихотворение «Наследники Сталина» Е. Евтушенко <...> Хрущев решил их использовать. Однако, взяв на вооружение одну сторону либеральных настроений — антисталинизм, он был вынужден сделать уступку всему их комплексу. Этим-то и объясняется особенно стремительный темп развития осенью 1962 года тех четырех процессов в искусстве, о которых шла речь выше. <...> А 1-го декабря, всего неделю спустя после своей «либеральной» речи, Хрущев объявил беспощадную войну всему, что отступает от соцреалистических традиций. <...> Хрущев в сопровождении членов Президиума ЦК и его секретарей посетил две художественные выставки в Москве. На следующий день отчет об этом был опубликован во всей советской печати. И даже по газетному тексту “замечаний” Хрущева стало ясно, что в культурной политике партии произошел поворот на 180 градусов» (*Бург Д.* Партия и писатели // Грани. 1963. № 54. С. 104—105).

С. 281. *Ильичев избрал своей мишенью абстрактную живопись, будто бы насмерть коммунизму враждебную.* — Критике абстракционизма Л.Ф. Ильичев посвятил большую часть своего доклада: «Лишенная всякого здравого смысла абстракционистская мазня на холстах представляет собой не что иное, как патологические выверты, жалкое подражание растленному формалистическому искусству буржуазного Запада. <...> Абстракционистские и модернистские новации — это течение, которое никогда не было знаменем здорового искусства, это отход от основной линии развития советской литературы и искусства, это отказ от связи художественного творчества с жизнью народа, с практикой коммунистического строительства. <...> Наши, так сказать, доморощенные абстракционисты и поклонники буржуазных мод вступили в явное противоре-

чие с Программой партии, одобренной всем советским народом» (Творить для народа, во имя коммунизма: Речь секретаря ЦК КПСС Л.Ф. Ильичева на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 17 декабря 1962 года // Известия. 1962. 22 декабря. № 303 (14157). С. 3).

«ташизм» (от фр. *tache* — пятно) — художественное течение в западноевропейском искусстве 1940—1960-х гг., разновидность абстрактного экспрессионизма.

Газета «Труд» поместила статью бывшего официального портретиста Сталина, художника Герасимова, с резкой критикой формализма и модернизма. — Имеется в виду статья «Своевременно!», опубликованная в газете «Труд» 9 января 1963 г. за подписью президента Академии художеств СССР (в 1947—1957), лауреата четырех Сталинских премий (1941, 1943, 1946, 1949) Александра Михайловича Герасимова (1880 или 1881—1963). По мнению некоторых исследователей, настоящим автором этой статьи был писатель Иван Михайлович Шевцов (1920—2013), см.: *Абашев В.В.* Языком «квартирной склоки»: десакрализация советского искусства в романе Ивана Шевцова «Тля» (1964 г.) // Вестник Пермского университета. 2017. № 3 (38). С. 90.

Литература и жизнь

[«О культуре поведения молодого человека»]

Впервые: Русская мысль. 1963. 7 февраля. № 1953. С. 1.

С. 281. *Маленькая книжка, лежащая предо мной, издана в Москве...* — *Краснов Ю.М., Маскулия А.В.* О культуре поведения молодого человека. М.: Молодая гвардия, 1962.

С. 282. *«Барышням вашего круга надо приличия знать»...* — из оперы «Пиковая дама» (Действие 1. Картина вторая. Сцена II), текст М.И. Чайковского по повести А.С. Пушкина.

С. 283. *У Пушкина, не то в дневнике, не то в одном из писем, есть такая фраза: «Х. дурно воспитан. Я уронил платок, он его поднял».* — Неточная цитата из «Table Talk» (1834—1836) А.С. Пушкина: «Я встретился с Надеждиным у Погодина. Он показался мне весьма простонародным, *vulgar*, скучен, заносчив и безо всякого приличия. Например, он поднял платок, мною уроненный» (*Пушкин А.С.* ПСС: В 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. VIII. С. 108).

«Или раздвинет / Пред нею пестрый полк ливрей, / Или платок поднимет ей» — из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл. 8. XXX).

Литература и жизнь
[«Исторический опыт России» Н.И. Ульянова]

Впервые: Русская мысль. 1963. 23 марта. № 1972. С. 1, 5.

С. 284. *«Исторический опыт России»* — выпущенный отдельной брошюрой (Нью-Йорк, 1962) текст доклада историка и писателя Николая Ивановича Ульянова (1904—1985).

...доклада, сделанного им прошлой весной в Нью-Йорке, а затем и в Париже. — С докладом «Исторический опыт России» Н.И. Ульянов выступил сперва в Нью-Йорке (в зале New York City College) 13 мая 1962 г. на собрании, посвященном 1100-летию Российского государства, а затем в Париже (в зале Русской консерватории) 7 июня 1962 г. на вечере, организованном Союзом русских писателей и журналистов в Париже и также посвященном 1100-летию Российского государства.

...«писатель пописывает, читатель почитывает». — См. выше примеч. к статье «После войны».

С. 285. *...Милюковым, который наставительно ему возразил...* — Полемика П.Н. Милюкова с В.А. Маклаковым началась еще до революции и продолжалась в эмиграции, см. подробнее: *Карпович М.* Два типа русского либерализма: Маклаков и Милюков // Новый журнал. 1960. № 60. С. 265—280; *Будницкий О.В.* Маклаков и Милюков: два взгляда на русский либерализм // Либерализм в России: исторические судьбы и перспективы. М.: РОССПЭН, 1999. С. 416—428; *Будницкий О.В.* Милюков и Маклаков: к истории взаимоотношений. 1917—1939 // П.Н. Милюков: историк, политик, дипломат. М.: РОССПЭН, 2000. С. 358—383.

С. 286. *Хороши, например, слова о вековом терпении русского народа, терпении, в котором «русская поэзия почувствовала возвышенное начало».* — У Н.И. Ульянова: «России выпала доля — итти путем подчинения частного общему, личного государственному. Казалось бы, это и есть тот путь рабства, о котором твердят ее хулители. Он и был бы таким, яви она пример тысячелетней неподвижности, затвердения принципов власти и покорности. Но Россию не случайно сравнивали всегда с военным лагерем, ведущим отчаянную борьбу на все стороны. <...> Что русский народ терпел немало насилий, это верно, но рабское ли это было терпение? Не права ли русская поэзия, почувствовавшая в нем возвышенное начало?» (*Ульянов Н.* Исторический опыт России. Нью-Йорк, 1962. С. 16).

«Эти бедные селенья...» — заглавная строка стихотворения (1855) Ф.И. Тютчева.

...«вздергивание России на дыбы»... — Отсылка к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»: «О мощный властелин

судьбы! / Не так ли ты над самой бездной / На высоте, уздой железной / Россию поднял на дыбы?»

«Несчастный! Да понимаешь ли ты, что ты своей сентенцией в России оправдываешь?» — Адамович по памяти цитирует обращенные к Аркадию слова Павла Петровича из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (X): «Несчастный! — возопил Павел Петрович; он решительно не был в состоянии крепиться далее, — хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь твоею пошлою сентенцией!» (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.: Наука, 1981. Т. 7: Сочинения. С. 51—52).

Литература и жизнь [Хрущев и конец «оттепели»]

Впервые: Русская мысль. 1963. 18 апреля. № 1983. С. 1.

С. 287. Конец московской «оттепели» в области литературы и искусства многих поразила своей неожиданностью. — 1 декабря 1962 г. Н.С. Хрущев посетил приуроченную к 30-летию московского отделения Союза художников СССР выставку художников-авангардистов в Манеже, где с резкой бранью обрушился на непонятное ему искусство. Эта положило начало кампании, которая развернулась в советской печати. Подробно см.: Герчук Ю.Я. «Кровоизлияние в МОСХ», или Хрущев в Манеже 1 декабря 1962 года. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

...маленькая, ничтожная Албания, с обидной для него дерзостью, стала учить его революционной ортодоксальности и упрекать в ревизионизме... — После XX съезда КПСС отношения Албании и СССР стали портиться. Албанские коммунисты посчитали антисталинские выступления Хрущева ревизией марксистско-ленинского учения. На Международном совещании коммунистических и рабочих партий в Москве в ноябре 1960 г. китайская делегация обвинила советское руководство в ревизионизме, а лидер Албании Энвер Халиль Ходжа (Нохха; 1908—1985) в знак несогласия с новой политикой КПСС демонстративно покинул совещание. В 1961 году Энвер Ходжа потребовал передать Албании гроб с телом Сталина для последующего установления его в мавзолее в Тиране. В декабре 1961 г. Албания разорвала дипломатические отношения с Советским Союзом.

...наступает Термидор. — После событий во Франции 27 июля 1794 года (9 термидора II года по республиканскому календарю), в результате которых была ликвидирована якобинская диктатура и положен конец Французской революции, слово «термидор» стало нарицательным названием любого контрреволюционного переворота.

С. 288. ...смехотворные рассуждения Хрущева о музыке... — Вероятно, имеется в виду выступление Хрущева перед творческой интеллигенцией 8 марта 1963 года в Кремле: «Оказывается, что среди творческих работников встречаются такие молодые люди, которые тщатся доказывать, что будто бы мелодия в музыке утратила право на существование и на смену ей приходит “новая” музыка — “додекафония”, музыка шумов. Нормальному человеку трудно понять, что скрывается под словом “додекафония”, но, по всей вероятности, то же самое, что и за словом какофония. Так вот эту самую какофонию в музыке мы отмечаем начисто. Наш народ не может взять на свое идейное вооружение этот мусор» (Высокая идейность и художественное мастерство — великая сила советской литературы и искусства. Речь товарища Н.С. Хрущева на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года // Правда. 1963. 10 марта. № 69 (16290). С. 1). Речь Н.С. Хрущева была опубликована также в журнале (Новый мир. 1963. № 3. С. 3—33).

...порядок, высшая форма которого — по Тациту — «царит в пустыне». — В «Жизнеописании Юлия Агриколы» (98) Тацит приводит мнение британцев о римлянах: «Расхитителям всего мира, им уже мало земли <...> отнимать, резать, грабить на их лживом языке зовется господством; и создав пустыню, они говорят, что принесли мир» (Тацит. Сочинения: В 2 т. СПб.: Наука, 1993. Т. 1. С. 328).

С. 289. ...«величайшего мужа человечества»... — См. выше примеч. к статье «Литература и жизнь [О культе личности Хрущева]».

Книга о Брюсове

Впервые: Русская мысль. 1963. 20 апреля. № 1984. С. 6.

С. 289. Вышедшая этой осенью книга покойного К.В. Мочульского о Валерии Брюсове... — Мочульский К. Валерий Брюсов. Paris: YMCA-Press, 1962.

Очень содержательно, очень вдумчиво и предисловие, написанное В.В. Вейдле. — Вейдле В. Брюсов через много лет // Мочульский К. Валерий Брюсов. Paris: YMCA-Press, 1962. С. 5—15.

С. 290. ...его большие работы о них... — Мочульский К. Достоевский. Жизнь и творчество. Париж: YMCA-Press. 1947; Мочульский К. Александр Блок. Париж: YMCA-Press, 1948.

С. 291. «Я сам тружусь, и ты работай!» — Из стихотворения В.Я. Брюсова «В ответ» (1902).

...«преодоленной бездарностью»... — Из статьи Ю.И. Айхенвальда «Валерий Брюсов»: «Он ищет себя, он усердно работает, он — не “раздружившийся с трудом”. Но, как правило, за его

стихами не чувствуешь ничего, кроме стихов, и как-то плоски они, лишены третьего измерения, высшего измерения живой человеческой глубины. И Брюсовым еще можно иногда за любоваться, но его нельзя любить. В объективном отношении слишком скудны результаты его напряжений и ухищрений, он трудом не обогатил красоты; но если Брюсову с его сухой и тяжеловесной, с его производной и литературной поэзией не чуждо некоторое значение, даже некоторое своеобразное величие, то это именно — величие преодоленной бездарности. Однако таковы уже изначальные условия человеческих сил, что преодоленная бездарность — это все-таки не то, что дар» (Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Том III: Новейшая литература. Берлин: Слово, 1923. С. 146).

«И станов всех бойцы ~ Валерий Брюсов...» — Из стихотворения В.Я. Брюсова «Памятник» (1912).

С. 292. ...на Пушкина, которого боготворил и без конца перечитывал, подражая ему всегда неудачно. — О подражаниях Брюсова Мочульский упоминает в главе 6-й своей книги, рассказывая — со ссылкой на работу В.М. Жирмунского «Валерий Брюсов и наследие Пушкина» (Петербург: Эльзевир, 1922) — о том, как Брюсов попытался дописать «Египетские ночи» Пушкина. Мочульский приводит резко отрицательные мнения Айхенвальда и Эренбурга об этой работе. Сам Мочульский подробно разобрал это сочинение еще в 1923 году: *Мочульский К. Брюсов и о Брюсове* // Звено. 1923. 5 февраля. № 1. С. 2.

...Брюсов, лет за пятнадцать до того пренебрежительно полемизировавший с марксистами ленинского типа... — Имеется в виду отклик В.Я. Брюсова на статью В.И. Ленина «Партийная организация и партийная литература»: *Брюсов В. Свобода слова* // Весы. 1905. № 11. С. 61—66.

Литература и жизнь

[Отказ от «мирного сосуществования» в идеологии]

Впервые: Русская мысль. 1963. 6 июня. № 2004. С. 1, 2.

С. 292–293. ...то, что недавно произошло в Москве и что повсюду вызвало взволнованные отклики. — Адамович имеет в виду речь Хрущева с резкой критикой современного художественного процесса, произнесенную перед творческой интеллигенцией 7 и 8 марта 1963 года в Кремле.

С. 293. музыкантов, увлеченных додекафонизмом, — слово, по мнению Хрущева, для «нормального человека» непонятное! — См. примеч. к статье «Литература и жизнь [Хрущев и конец «оттепели»]».

С. 294. «Двадцать первый век... да будет ли двадцать первый век?» — Неточная цитата из «Ульмской ночи» М.А. Алда-

нова. В оригинале: «Вы совершенно уверены, что 21-ое столетие будет?» (Алданов М.А. Ульмская ночь. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 333).

ПЕРЕФРАЗИРУЯ ГЕГЕЛЯ, МОЖНО БЫ СКАЗАТЬ, ЧТО ЕСЛИ НЕ ВСЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ РАЗУМНО, ТО НИЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ НЕ СЛУЧАЙНО... — У Гегеля (в пер. Б. Столпнера): «Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно» (Гегель Г.В.Ф. Собр. соч.: В 14 т. Т. VII: Философия права. М.; Л.: Соцэкгиз, 1934. С. 15).

...последними выдумками, вроде «нового романа». — «Новый роман» («Le nouveau roman»), или, по определению Ж.-П. Сартра, «антироман» — экспериментаторское направление французской прозы 1950—1960-х гг., противопоставлявшее себя традициям социально-критического романа и «литературы больших идей» и пытавшееся отказаться от фабулы, психологизма, идеологии. Критики относили его и к модернизму, и к неоавангардизму. Наиболее видные представители: Натали Саррот, Ален Роб-Грийе, Мишель Бютор, Клод Симон.

С. 295. Конечно, тех молодых художников и поэтов, на которых обрушились кремлевские громы, можно понять. — Имеется в виду реакция Н.С. Хрущева на выставку в Манеже 1 декабря 1962 г. и последовавшая за ней кампания. См. выше примеч. к статьям «Литература и жизнь [Советская молодежь]» и «Литература и жизнь [Хрущев и конец «оттепели]».

«Надо дело делать»... — слова Серебрякова из пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня» (1898. 4 действ.).

Памяти ушедших: А.М. Элькан

Впервые: Русская мысль. 1963. 25 июня. № 2012. С. 6.

С. 296. Прошел год со дня смерти Анны Морисовны Элькан... — Анна Морисовна (Морицевна) Элькан (урожд. Абельман) умерла 22 июня 1962 г.

...многих принимала у себя... — А.М. Элькан была хозяйкой единственного в послевоенном Париже литературного салона (в своей большой квартире на ул. Тильзит), который посещал и Адамович, приезжая из Манчестера в Париж. См.: Крейд В. Неточкин салон: О салоне Анны Элькан // Русское еврейство в зарубежье. Т. 3 (8). Иерусалим, 2001. С. 121—130.

...знал я ее очень давно... — Адамович был знаком с А.М. Элькан еще по Петербургу. Она упоминала его в своих воспоминаниях о том времени: «Георгий Викторович, несмотря на большую молодость, даже юность, в то время казался более сосредоточенным, чем его окружение, менее развязным, не выдумывал никакой игры для других и позы для себя» (Элькан А. «Дом искусств» // Мосты. 1960. № 5. С. 293).

С. 297. *Дороже всего для нее были воспоминания о Петербурге...* — Собственные воспоминания она напечатала в «Русской мысли»: *Элькан А.* «Дом искусств» 1920—21 года в Петербурге // *Русская мысль*. 1956. 20 сентября. № 954. С. 4—5; 25 сентября. № 956. С. 4—5. Несколькоми годами позже был опубликован журнальный вариант: *Элькан А.* «Дом искусств» // *Мосты*. 1960. № 5. С. 289—298.

Памяти В.В. Вырубова

Впервые: *Русская мысль*. 1963. 10 августа. № 2032. С. 6.

С. 297. *Вырубов* Василий Васильевич (1879—1963) — общественный деятель. С 1904 г. земский гласный. В годы Первой мировой войны член Главного комитета Всероссийского Земского союза, затем заведующий земскими делами при Ставке Главнокомандующего Западным фронтом генерала М.В. Алексеева. После Февральской революции уполномоченный Временного правительства по реформированию военных управлений и слиянию общественных организаций на фронте. В 1918 г. командирован А.В. Колчаком за границу для ведения переговоров с бывшими союзниками России по Антанте. В 1919 г. управляющий делами Политического совещания при российском посольстве на мирной конференции, представитель Временного всероссийского земского союза за границей. В эмиграции член множества политических, культурных и благотворительных организаций. В 1930—1935 гг. член совета Российского торгово-промышленного и финансового союза, затем коммерческий директор балетной антрепризы Н.П. Ефимова. В 1950-х гг. один из инициаторов создания «Золотой книги русской эмиграции».

С. 298. ...*«люди смертны, Кай человек, Кай смертен»*. — Из «Учебника логики» Иоганна-Готфрида-Карла-Христиана Кизеветтера (1766—1819).

Узнал я его и дружески с ним сошелся сравнительно недавно... — Стараниями В.В. Вырубова, в частности, вышли книги и брошюры Адамовича «Василий Алексеевич Маклаков: Политик, юрист, человек» (Париж: В.В. Вырубов, 1959), «Вклад русской эмиграции в мировую культуру» (Париж: В.В. Вырубов, 1961), «L'apport de l'émigration russe à la culture universelle» (Paris: W. Wyrouboff, 1962).

...*«кающимся дворянам»*... — См. примеч. к статье «Литература и жизнь [«Литература для детей старшего возраста»]».

С. 299. ...*родного дяди, князя Львова, первого председателя Временного правительства*. — Князь Георгий Евгеньевич Львов (1861—1925) был министром-председателем и министром вну-

тренних дел первого состава Временного правительства с марта по июль 1917 г. В.В. Вырубов в июне 1917 г. был назначен товарищем министра внутренних дел в этом правительстве, но в должность вступить не успел из-за ухода Г.Е. Львова. Мать В.В. Вырубова Евдокия Александровна (1845—1904) — урожденная княжна Львова.

...во время мирной конференции в Париже... — Парижская мирная конференция была созвана державами-победительницами в Первой мировой войне для выработки и подписания мирных договоров с побежденными государствами и проходила с перерывами с 18 января 1919 г. по 21 января 1920 г.

...графиня Клейнмихель с ее знаменитым политическим салоном... — Имеется в виду великосветский салон в Петербурге, существовавший с 1893 по 1914 г. Хозяйкой салона была графиня Мария Эдуардовна Клейнмихель (урожденная графиня Келлер; 1846—1931), принимавшая гостей по четвергам на своей Каменноостровской даче, а также в особняке на Сергиевской улице, 33—37. Сама она в мемуарах категорически отказывалась считать свой салон политическим: «Имела ли я политический салон? Я утверждаю, что не имела! Одни поздравляли меня с этим салоном, будто пользовавшимся европейской славою, другие говорили о нем с возмущением. На самом же деле этого салона никогда не существовало, — существовал он только в воображении тех, которые у меня не бывали и лишь читали в газетах о моих приемах, где перечислялись среди других моих гостей послы и министры» (Клейнмихель М.Э. Из потонувшего мира. Берлин: Глагол, 1922. С. 186).

...рассказывал о встречах своей бабушки, — или прабабушки — княгини Марии Андреевны Львовой с Грибоедовым и Пушкиным, читавшим в ее доме «Полтаву». — Княгиня Мария Андреевна Львова (урожд. кн. Долгорукова; 1805—1889) приходилась В.В. Вырубову родной бабкой (мамой его матери Евдокии Александровны).

...«нашу маленькую жизнь», как не без иронической горечи сказал эмигрантский бытописатель-юморист... — Отсылка к названию книги Дон-Аминадо «Наша маленькая жизнь» (1927).

Литература и жизнь [«Для пользы дела» А. Солженицына]

Впервые: Русская мысль. 1963. 21 сентября. № 2050. С. 1.

С. 300. *Новая повесть А. Солженицына «Для пользы дела», помещенная в седьмом номере «Нового мира», вероятно, разочарует большинство его поклонников...* — Солженицын А. Для пользы дела // Новый мир. 1963. № 7. С. 58—91.

А.И. Солженицын считал свое произведение не повестью, а рассказом, и сам остался неудовлетворен результатом, отозвавшись позже в мемуарах: «Весной 1963 я написал для журнала рассказ, которого мог бы и не писать: “Для пользы дела”. <...> Противный осадок остался у меня от напечатания этого рассказа, хотя при нашей всеобщей запретности даже он вызвал немало возбужденных и публичных откликов. В этом рассказе я начал сползать со своей позиции, появились струйки приспособления» (*Солженицын А.И.* Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996. С. 88).

*...«со времен Толстого», — сказал о Солженицыне на одном из собраний в Париже недавно гостивший здесь московский литератор Виктор Некрасов. — В.П. Некрасов в декабре 1962 г. приезжал во Францию с К.Г. Паустовским и А.А. Вознесенским, в своем очерке о поездке он написал: «В один из первых же дней мне предложили выступить в клубе “Жар-птица”. <...> Мне приходилось выступать перед различными аудиториями, но никогда еще не приходилось выступать перед эмигрантами. И должен сказать, что, выходя на большую, совершенно голую сцену, на которой сиротливо торчал микрофон на длинной ножке, я слегка волновался. <...> вот сидят они все в этом громадном зале, семидесяти- и двадцатилетние, бывшие москвичи, петербуржцы, ростовчане, кубанские и донские казаки, и смотрят на стоящего перед ними посреди пустой сцены человека, приехавшего из Москвы, и ждут, что же он им скажет, а он стоит перед ними и тоже думает, что же он им скажет? И начал он им говорить о Сталинграде, каким он был двадцать лет назад и каким стал сейчас, о Москве, о своем родном Киеве, о фронтовых друзьях, о новом поколении писателей, рожденных войной, о Солженицыне, о театре “Современник”, о нашей молодежи... Такой внимательной, такой тихой и так сосредоточенно слушающей аудитории я еще не встречал» (*Некрасов В.П.* Месяц во Франции // Новый мир. 1965. № 4. С. 134).*

...но зачем же ломать стулья... — См. выше примеч. к статье «Литература и жизнь [«Мы — май» А. Вознесенского]».

С. 302. *...райские видения Верочки из романа Чернышевского? — Отсылка к четверем снам Веры Павловны из романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (1862—1863).*

Литература и жизнь **[«Наместник» Рольфа Хохгута]**

Впервые: Русская мысль. 1963. 12 октября. № 2059. С. 1—2.

С. 303. *...драмой Рольфа Хохгута «Наместник», впервые поставленной в Германии, теперь идущей в Англии и Швейцарии... — Пьеса Рольфа Хоххута (Hochhuth; p. 1931)*

«Наместник» (1963) за 10 лет была поставлена в 60 театрах 26 стран.

...пророчества Достоевского, что когда-нибудь римский первосвященник выйдет из своего раззолоченного дворца и, босой, нищий, отправится проповедовать забытую благую весть? — См. «Дневник писателя за 1877 г.» (Май—июнь. Гл. 3. III. И сердиты и сильны): «Если папство когда-нибудь будет покинуто и отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма может случиться, что оно бросится в объятия социализма и соединится с ним воедино. Папа выйдет ко всем нищим пеш и бос и скажет, что всё, чему они учат и чего хотят, давно уже есть в Евангелии, что до сих пор лишь время не наступало им про это узнать, а теперь наступило, и что он, папа, отдает им Христа и верит в муравейник» (Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1983. Т. 25. С. 160).

Литература и жизнь [Жан Кокто]

Впервые: Русская мысль. 1963. 24 октября. № 2054. С. 1.

С. 305. Жан Кокто, на днях скончавшийся... — Жан Кокто умер 11 октября 1963 г.

...пользуясь гоголевским выражением, — самой столичной из «столичных штук»... — В комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» (1836) Анна Антоновна дважды называет Хлестакова «столичной штучкой» (Действ. 3. Явл. III; Явл. VIII).

С. 306. «*Plain chant*» — «Церковное пение» (фр.), вышедшая отдельным изданием (Paris: Stock, 1923) поэма Жана Кокто, написанная в неоклассицистском духе.

...или ранний роман «*Фома-обманщик*»... — Cocteau J. Thomas l'imposteur. Paris: Nouvelle Revue Française, 1923.

...«тон делает музыку»... — выражение, существующее как на французском («le ton fait la musique»), так и на итальянском языке («è il tono che fa la musica»).

«*Aux morts on ne doit que la vérité*» — «О мертвых только правду» (фр.). Не вполне точная цитата из трагедии Вольтера «Эдип» (1718). У Вольтера: «On ne doit que la vérité aux morts» (Voltaire. Oedipe. 2de ed. Preface. Note 20 de la première des huit lettres).

С. 307. В начале эмиграции я встречался с Кокто, раз или два был у него на дому. Помню встречу после того, как он познакомился с Маяковским, в те годы довольно часто в Париже гостившим. — Маяковский познакомился с Жаном Кокто во время своего визита в Париж 18—25 ноября 1922 г. и зафиксировал это в своих заметках: Маяковский В.В. Парижские очерки // Известия. 1923. 29 марта. № 69 (1806). С. 2. Адамовича

в то время в Париже еще не было, и его встреча с Кокто могла произойти лишь несколько месяцев спустя.

...«*mais, c'est un nourrisson, un nourrisson*»... — «но это же младенец» (фр.).

...со своей тогдашней «комфутской» запальчивостью... — «Комфут» (коллектив коммунистов-футуристов) создавался В.В. Маяковским и О.М. Бриком в январе 1919 г. при Выборгском райкоме РКП(б), председателем был избран Б.А. Кушнер, секретарем М.Я. Натансон. «Программная декларация» и «Устав» были опубликованы в газете «Искусство коммуны» (1919. 26 января. № 8). Райком, однако, рассмотрев заявление, отклонил его, мотивируя это тем, что «уставом нашей партии не предусмотрены подобного рода коллективы» (Кушнер Б. Коммунисты-Футуристы // Искусство коммуны. 1919. 2 февраля. № 9). Подробнее см.: *Валюженич А.В. Вокруг Маяковского: Инженерица Муся Натансон и другие* // Литературный факт. 2017. № 5. С. 128—129.

Je crois qu'il serait temps de lancer Victor Hugo! — «Я думаю, пришло время бросать Виктора Гюго» (фр.).

Литература и жизнь [10 лет со дня смерти И.А. Бунина]

Впервые: Русская мысль. 1963. 9 ноября. № 2071. С. 1.

С. 308. *Прошло десять лет со дня смерти Ивана Алексеевича Бунина.* — И. А. Бунин умер 8 ноября 1953 г. в Париже.

С. 309. «*Ни Тургеневу, ни мне так не написать бы...*» — Адамович по памяти цитирует отзыв Л.Н. Толстого, приведенный в книге А.Б. Гольденвейзера и совсем неоднозначный: «Потом Л.Н. вспомнил рассказ Бунина, который он прочитал где-то недавно. “Сначала превосходное описание природы — идет дождик, — и так написано, что и Тургенев не написал бы, а уж обо мне и говорить нечего. А потом девица — мечтает о нем (Л.Н. рассказал вкратце содержание рассказа), и все это, и глупое чувство девицы, и дождик, все нужно только для того, чтобы Б. написал рассказ. Как обыкновенно, когда не о чем говорить, говорят о погоде, так и писатели: когда писать нечего, о погоде пишут, а это пора оставить. Ну шел дождик, мог бы и не идти с таким же успехом. Я думаю, что все это в литературе должно кончиться. Ведь просто читать больше невозможно!”» (Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого (Записи за пятнадцать лет). М.: Кооперативное изд-во; Голос Толстого, 1922. Т. I. С. 89).

...«*Несрочная весна*»... — Рассказ И.А. Бунина, написанный в 1923 г. и опубликованный в журнале (Современные записки. 1924. № 18. С. 5—18).

...главу о доме купца Ростовцева, где маленький герой повествования оказывается жильцом, или страницу о приезде Арсеньева ясным морозным вечером в Витебск. — См. в романе И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» (Кн. 2. Гл. III; Кн. 5. Гл. XVI).

...«патент на благородство»... — см. примеч. к статье «Литература и жизнь [150 лет со дня рождения Герцена]».

С. 310. ...книгу Бунина о Чехове, последнюю его большую работу, оставшуюся незаконченной. — Подготовленная В.Н. Буниной книга вышла посмертно: Бунин И.А. О Чехове. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955.

Литература и жизнь [Софи Лаффит о Чехове]

Впервые: Русская мысль. 1963. 14 декабря. № 2086. С. 1.

С. 310. Книга Софи Лаффит о Чехове написана по-французски и для французов. — *Laffitte Sophie. Tchekhov. 1860—1904. Paris: Hachette, 1963.*

...молодого сорбоннского профессора Софи Лаффит... — См. выше примеч. к статье «Русская литература на Западе (по поводу книги Софи Лаффит)».

С. 311. ...фраза о «нежном певце сумеречных настроений» или о «поэте безвременья»... — О «сумеречных настроениях» критики стали писать сразу после выхода сборника А.П. Чехова «В сумерках» (1887). Первым был Н.К. Михайловский, написавший в рецензии на сборник: «До сих пор достаточно выяснилась только одна сторона этого своеобразного и симпатичного таланта, сторона, для которой сам автор подсказывает характеристику заглавием своего нового сборника, — сумеречное творчество» (Северный вестник. 1887. № 9. С. 83). «Поэтом безвременья» Чехова называли неоднократно, М.А. Протопопов озаглавил свою статью «Жертва безвременья (повести г-на Антона Чехова)» (Русская мысль. 1892. № 6. С. 95—122).

...Бунин потратил немало сил и энергии, чтобы эту болтовню высмеять. — См., в частности, в книге «О Чехове»: «Долго иначе не называли его, как “хмурым писателем”, “певцом сумеречных настроений”, “больным талантом”, человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно. Теперь гнут палку в другую сторону» (Бунин И.А. О Чехове. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 114).

...Львом Шестовым, автором замечательной статьи «Творчество из ничего». — См. примеч. к статье «Алданов — человек и писатель».

...«царство науки не знает предела»... — заглавная строка стихотворения (1855) Я.П. Полонского.

...«в паре и электричестве больше любви к человечеству, чем в воздержании и вегетарианстве». — Адамович цитирует по памяти, неточно. А.П. Чехов писал А.С. Суворину 27 марта 1894 г.: «Толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6—7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса» (Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1982. Т. 5: Письма. С. 283—284).

...«порт-пароль»... — от фр. porte-parole, представитель.

С. 311—312. ...поездке Чехова на Сахалин, ~ подробности чеховского путешествия забыты, да никогда и не привлекали большого внимания. — Чехов отправился на Сахалин весной 1890 г. Путь через Сибирь занял 82 дня. На Сахалин писатель прибыл 11 (23) июля. Чехов провел на острове несколько месяцев. Возвращался морским путем, на пароходе Доброфлота «Петербург»: Владивосток — Гонконг — Сингапур — остров Цейлон — Суэцкий канал — Константинополь — Одесса — Тула 7 (19) декабря 1890 г. Писали об этой поездке довольно много, и даже называли ее «одним из “вечных” вопросов чеховедения» (Новикова Е.Г. Кругосветное путешествие А.П. Чехова как поездка на Сахалин: Позиция писателя // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2012. № 3 (19). С. 75).

С. 312. ...возражения Бунину насчет Лидии Авилловой... — В предисловии к книге «О Чехове» В.Н. Бунина написала: «В 1953 году, перечитывая воспоминания Авилловой и делая на страницах многочисленные отметки, Иван Алексеевич говорил, что он теперь по-новому почувствовал скрытую от всех внутренне целомудренную жизнь Чехова» (Бунина В.Н. Вступление // Бунин И.А. О Чехове. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 22—23). И затем в самом тексте книги сделала примечание к записи И.А. Бунина на 10 томе собрания сочинений, изданного «Петрополисом»: «В 1953 году Иван Алексеевич в том же томе, на странице 237, красным карандашом, отметив слова “Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? Думаю, что нет”, на нижнем поле страницы твердым почерком написал: “Нет, была. К Авилловой”» (Бунин И.А. О Чехове. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 134).

...начиная с Толстого, будто бы не понимаем новизны чеховских приемов... — Л.Н. Толстой очень высоко ценил прозу Чехова и отрицательно относился к его драматургии. См. характерный отзыв о пьесах Чехова в записи Д.П. Маковицкого 26 ноября

1905 г.: «Чехов — несомненный талант, но пьесы его плохие. В них не решаются вопросы, нет содержания: внешняя техника выработана» (Литературное наследство. Т. 90: У Толстого: 1904—1910. «Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого. М.: Наука, 1979. Кн. 1. С. 472). Ср. отзыв Толстого о Чехове-прозаике: «...новые формы создал Чехов и, отбрасывая всякую ложную скромность, утверждаю, что по технике он, Чехов, гораздо выше меня!.. Это единственный в своем роде писатель...» (Литературное наследство. Т. 68: Чехов. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 875).

«Избранные стихи» Юрия Терапиано

Впервые: Русская мысль. 1964. 7 марта. № 2122. С. 7.

С. 313. *...Терапиано всюду бывал и во всем участвовал...* — Юрий Константинович Терапиано (1892—1980) впрямь принимал активнейшее участие в литературной и общественной жизни русского Парижа: один из основателей и первый председатель Союза молодых поэтов и писателей (1925), со-редактор молодежных журналов «Новый дом» (1926—1927) и «Новый корабль» (1927—1928), член поэтического объединения «Перекресток» (1928—1937), участник собраний «Зеленой лампы», «Круга» и др., составитель антологий «Эстафета» (1948) и «Муза диаспоры» (1966), а кроме того эзотерик, член масонской ложи «Юпитер» (1930—1932) и многое другое.

...во всех главнейших эмигрантских журналах появлялись и его стихи. — Начиная с 1926 г. стихи Ю.К. Терапиано печатались в журналах и альманахах: «Новый дом», «Новый корабль», «Современные записки», «Русские записки», «Воля России», «Круг», «Числа», «Опыты», «Новый журнал», «Новоселье», «Возрождение», «Ковчег», «Грани» и др.

...сборник своих «Избранных стихов»... — Терапиано Ю. Избранные стихи. Вашингтон: Русское книжное дело в США, 1963.

«Идти сквозь одиночество и тьму ~ что это такое?» — Из стихотворения Ю.К. Терапиано «Уметь молиться, верить и любить».

С. 314. *Не могу сейчас точно вспомнить строчку Случевского, до странного совпадающую в своей дребезжащей интонации с этим терапиановским «что это такое».* — Возможно, Адамович имеет в виду завершающую строфу стихотворения Случевского «В больнице всех скорбящих»: «Чтоб тот же мрак не опустился в вас; / Он ближе к нам, чем кажется порою... / Да кто ж, поистине, скажите, кто из нас / За долгий срок не потемнел душою?».

«Служенье муз не терпит суеты»... — из стихотворения А.С. Пушкина «19 октября» (1827).

...«Оставь свой край родной и грешный, оставь Россию навсегда...» — Из стихотворения А.А. Ахматовой «Мне голос был. Он звал утешно...» (1917).

С. 315. ...богатых смыслом и содержанием стихотворений, каких в «Избранных стихах» немало. — Адамович благожелательно писал о стихах Терапиано не только из вежливости. По части критики публикациями Терапиано он не всегда был удовлетворен, см., например, письмо Адамовича И.В. Одоевцевой от 17 июня 1956 г.: «По-моему, Терапиано — лиса, “и нашим, и вашим”» («Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2008. С. 486). Но некоторые его стихи одобрял вполне искренно, см. письмо И.В. Чиннову от 23 июля 1953 г.: «Посмотрите Терапиано в “Опытах”. Против ожидания, совсем не дурно» (Там же. С. 18).

Литература и жизнь

[Лермонтовские дни в эмиграции]

Впервые: Русская мысль. 1965. 13 марта. № 2281. С. 1.

С. 315. *Лермонтовские дни были этой осенью отмечены эмиграцией в соответствии с ее силами и возможностями.* — В эмигрантских журналах юбилею М.Ю. Лермонтова были посвящены следующие публикации: Анненков Ю. Лермонтов-художник // Возрождение. 1965. № 157. С. 85—92; Нарциссов Б. Стихи о Лермонтове // Возрождение. 1965. № 163. С. 48; Мейер Г. Фаталист (К 150-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова) // Грани. 1965. № 57. С. 125—142; Зуров Л. Герб Лермонтова // Новый журнал. 1965. № 79. С. 98—116.

На собраниях присутствовать мне не удалось... — К 150-летию М.Ю. Лермонтова в октябре—декабре 1964 г. эмигранты устраивали вечера и собрания не только в Париже, но и в Ницце, Ментоне. Адамович не мог присутствовать на этих мероприятиях, поскольку попал в больницу. 31 октября 1964 г. он писал А.В. Бахраху: «Все думал, во всех смыслах, что мне 30 лет, прыгал — и допрыгался. <...> Пролежал с инфарктом месяц в госпитале (перед тем 10 дней ходил с ним, думая, что это так, пустяк), теперь нахожусь в maison de repos в Neuilly (недели на 2—2½), а там видно будет. Если все будет благополучно, поеду отдыхать в ту же Ниццу, но без казино и прочих развлечений» (Письма Георгия Адамовича А.В. Бахраху (1957—1965) / Публ. В. Крейд // Новый журнал. 2001. № 225. С. 176).

Однако в архиве сохранился текст доклада о Лермонтове, с которым Г.В. Адамович выступал в 1964 г. в ложе «Юпитер» (ОР РГБ. Ф. 754. К. 2. Ед. хр. 2).

Некоторые кропотливые биографические изыскания интересны и ценны, — в частности те, которые принадлежат Ираклию Андроникову. — Андроников (Андроникашвили) Ираклий Луарсабович (1908—1990), советский актер, литературовед, исследователь творчества М.Ю. Лермонтова, автор многих книг о нем: «К биографии М.Ю. Лермонтова» (1936), «Жизнь Лермонтова» (1939), «Лермонтов. Новые разыскания» (1948), «Лермонтов» (1951), «Лермонтов. Исследования, статьи, рассказы» (1952), «Лермонтов в Грузии в 1837 году» (1955) и др.

С. 316. *...в знаменитой статье Ключевского «Грусть».* — Ключевский В.О. Грусть (памяти М.Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.) // Русская мысль. 1891. № 7. С. 1—18.

...«из пламя и света»... — из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье...» (1840).

Белинский после беседы с Лермонтовым высказал убеждение, что «это будет поэт с Ивана Великого»... — См. письмо В.Г. Белинского В.П. Боткину от 16—21 апреля 1840 г.: «Кстати: вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговаривал с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!» (Белинский В.Г. ПСС: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР. 1956. Т. 11. С. 508—509).

С. 317. *...Гоголь правильно сказал, — и притом сказал уже после смерти Пушкина, — что «никто у нас так не писал»? — Адамович по памяти цитирует «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847. XXXI).* У Н.В. Гоголя: «Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни — готовился будущий великий живописец русского быта... Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла» (Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев: Изд-во Московской патриархии, 2009. Т. 6. С. 190).

«Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских...» — из пьесы А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830. Сцена 1).

Поклон былому

Впервые: Русская мысль. 1965. 24 апреля. № 2299. С. 4—5 (то же: Мосты. 1970. № 15. С. 150—153; то же: Русская мысль. 1980. 30 октября. № 3332. С. 9).

С. 318. ...*сквозь «магический кристалл»*... — из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл. 8. L).

...*о Ершове, незабываемом Гришке Кутерьме в «Китеже», незабываемом и несравненном Тристане*... — Известнейший драматический тенор, солист Мариинского театра с 1895 по 1929 г., Иван Васильевич Ершов (1867—1943) был первым исполнителем партии Гришки Кутерьмы в опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии». Партию Тристана в опере Вагнера «Тристан и Изольда» исполнял с 1900 г.

С. 319. ...*«неслыханными переменами, невиданными мятетжами»*... — из поэмы А.А. Блока «Возмездие» (1921).

С. 320. «*О, если б знали дети, вы, холод и мрак грядущих дней...*» — из стихотворения А.А. Блока «Голос из хора» (1910—1914).

...*«святых чудесах»*... — из стихотворения А.С. Хомякова «Мечта» (1835).

С. 321. ...*«есть с чего с ума сойти»*... — из письма Грановского от 1850 г., приведенного А.И. Герценом в «Былом и думах» (Ч. IV. Гл. XXIX. II).

«...*Тургенев, что единственной его отрадой, единственной драгоценностью остается великий русский язык?*» — Имеется в виду тургеневское стихотворение в прозе «Русский язык» (1882).

«Толстой» Анри Труайя

Впервые: Русская мысль. 1965. 27 апреля. № 2300. С. 4—5.

С. 321. ...*к книге Анри Труайя о Толстом*... — *Troyat A. Tolstoï*. Paris: Fayard, 1965. Об этой книге Адамович писал А.В. Бахраху 2 мая 1965 г.: «Troyat я не только прочел от доски до доски, но даже написал о нем пространную статью в “Р. Мысли”. Он очень талантливый рассказчик, но дальше этого не идет и, по-моему, не во всем осведомлен» (Письма Г.В. Адамовича А.В. Бахраху (1957—1965) / Публ. В. Крейд // Новый журнал. 2001. № 225. С. 169).

С. 322. ...*словами Софии Андреевны, что полвека прожила она со Львом Николаевичем и так и не узнала, что он был за человек*. — Т.И. Полнер в своей книге приводит слова С.А. Толстой: «Сорок восемь лет прожила я с Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек!» (Полнер Т.И. Лев Толстой

и его жена. История одной любви. Париж: Современные записки, 1928. С. 233).

С. 323. ...*«критика, это когда глупые пишут об умных»*. — Выражение принадлежит Николаю Николаевичу Ге-младшему (1857—1938), сыну художника Н.Н. Ге, секретарю Л.Н. Толстого. 27 июня 1894 г. В.Ф. Лазурский записал в дневнике слова Л.Н. Толстого: «Чтобы критиковать, нужно возвыситься до понимания критикуемого, и в этом уже важная заслуга. А у них выходит так, как прекрасно сказал мой приятель Ге: “Критика — это когда глупые судят об умных”» (Лазурский В.Ф. Дневник // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Художественная литература, 1978. Т. 2. С. 56—57). Сам Л.Н. Толстой в тот день после беседы с Лазурским также сделал запись в дневнике: «Разговор с Владимиром Федоровичем о критике. Вспомнил знаменитое Количкино изречение, что критика — это когда глупые говорят об умных» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1952. Т. 52. С. 124).

С. 324. ...*усердно трудился покойный Маклаков*... — В.А. Маклакову принадлежит ряд опубликованных работ о Л.Н. Толстом: «Толстой и большевизм» (Париж: Русская земля, 1921), «О Льве Толстом: Две речи» (Париж: Современные записки, 1929) и др., и еще больше устных выступлений на эмигрантских вечерах и собраниях.

...*«как ты смеешь быть хорошим, когда я плохая?»* — Неточная цитата из рассказа «Тьма» (1907). У Л.Н. Андреева проститутка говорит: «Какое же ты имеешь право быть хорошим, когда я — плохая?» (Андреев Л.Н. Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М.: Наука, 2012. Т. 5. С. 99).

...*«пока не требует поэта»*... — из стихотворения А.С. Пушкина «Поэт» (1827).

С. 325. ...*перед лицом человека, который — как правильно сказал Пастернак, — спокойствия не знал никогда*. — Б.Л. Пастернак дал такую характеристику персонажу романа «Доктор Живаго» Выволочнову: «Это был один из тех последователей Льва Николаевича Толстого, в головах которых мысли гения, никогда не знавшего покоя, улеглись вкушать долгий и неомраченный отдых и непоправимо мельчали» (Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч.: В 11 т. М.: Слово/Slovo, 2004. Т. 4. С. 42).

...*«Царствие Божие — внутри вас»*... — Лк. 17: 21.

С. 326. ...*Нагорную Проповедь, ~ Толстой принял полностью, ничего в ней не перетолковывая*... — В 1884 г. В.Г. Чертков предложил Л.Н. Толстому выпустить отрывки из Евангелия в народном издании. Л.Н. Толстой ответил ему 25—27 апреля 1884 г.: «Начал я писать введение к Наг[орной] Пр[оповеди] и написал два таких, но оба не годятся, и я убедился, что я не могу и не имею права писать такого введения. <...> слова

Евангелия 5, 6, 7 гл. М[атфея] так святы, так божественны, все от начала до конца (один стих только VII гл. 6 может показаться неясным), что прибавлять к ним, рядом с ними ставить какое-нибудь объяснение, толкование — есть кощунство» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1935. Т. 85. С. 52).

«Христос сказал то, что сказал»... — См. выше примеч. к статье «По поводу одной из глав “Воскресения”».

Тут само собой вспоминается Владимир Соловьев и его «Три разговора», где это учение высмеяно. — В «Предисловии» к «Трем разговорам» (1899) В.С. Соловьев писал: «Много лет тому назад прочел я известие о новой религии, возникшей где-то в восточных губерниях. Эта религия, последователи которой назывались *вертидырниками* или *дыромоляями*, состояла в том, что, просверлив в каком-нибудь темном углу в стене избы дыру средней величины, эти люди прикладывали к ней губы и много раз настойчиво повторяли: “Изба моя, дыра моя, спаси меня!”. Никогда еще, кажется, предмет богопочитания не достигал такой крайней степени упрощения. Но если обоготворение обыкновенной крестьянской избы и простого, человеческими руками сделанного отверстия в ее стене есть явное заблуждение, то должно сказать, что это было заблуждение правдивое: эти люди дико безумствовали, но никого не вводили в заблуждение; про избу они так и говорили: *изба*, и место, просверленное в ее стене, справедливо называли *дырой*. Но религия дыромоляев скоро испытала “эволюцию” и подверглась “трансформации”. И в новом своем виде она сохранила прежнюю слабость религиозной мысли и узость философских интересов, прежний приземистый реализм, но утратила прежнюю правдивость, своя изба получила теперь название “царства Божия на земле”, а дыра стала называться “новым евангелием”, и, что всего хуже, различие между этим мнимым евангелием и настоящим совершенно такое же, как между просверленной в бревне дырой и живым и целым деревом, — это существенное различие новые евангелисты всячески старались и замолчать и заговорить» (Соловьев В.С. Собр. соч.: В 10 т. СПб.: Просвещение, 1914. Т. 10. С. 83—84).

...что шутливая баллада Ал. Толстого о камергере Деларю, ~ останется живым литературным созданием и тогда, когда «Война и мир» и «Анна Каренина» будут безвозвратно забыты. — См. выше примеч. к статье «“Встреча”. Стихи Софии Прегель».

С. 327. ...«*рискнуть миром*»... — См. выше примеч. к статье «Пушкин».

...«*Fais ce que dois, advienne que pourra*»... — «Делай, что должно, и будь, что будет» (фр.).

...раннюю, чудесную повесть «Три смерти»... — Рассказ «Три смерти» написан в 1858 г., когда Л.Н. Толстому шел тридцатый год.

С. 328. ...Толстой говорит, что у Левина было много недостатков, не было только одного: притворства. — У Л.Н. Толстого в «Анне Карениной» (Ч. 3. IX): «Дети знали Левина очень мало, не помнили, когда видали его, но не выказывали в отношении к нему того странного чувства застенчивости и отвращения, которое испытывают дети так часто к взрослым притворяющимся людям и за которое им так часто и больно достается. Притворство в чем бы то ни было может обмануть самого умного, проникательного человека; но самый ограниченный ребенок, как бы оно ни было искусно скрываемо, узнает его и отвращается. Какие бы ни были недостатки в Левине, притворства не было в нем и признака» (Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1934. Т. 18. С. 282).

...а то и онегинским «вопросительным крючком». — См. выше примеч. к статье ««Встречи» Федора Степуна».

С. 328–329. Толстой будто бы не поехал в Москву на пушкинские торжества преимущественно потому, что опасался соперничества с автором «Карамазовых». — У Л.Н. Толстого было другое объяснение: «Я противник всяких демонстраций... Даже и Тургеневу еще — он нарочно ко мне приезжал приглашать на пушкинские торжества — отказал тогда по тем же соображениям; потому что это мой давнишний взгляд: не надо демонстраций никаких, особенно посмертных» (Литературное наследство. Т. 68: Чехов. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 875).

С. 329. ...книга Мережковского о «тайновидце плоти и тайновидце духа». — См. выше примеч. к статье ««Встречи» Федора Степуна».

С. 330. ...он первый по-настоящему оценил «Войну и мир», и в хоре умеренных похвал, а то и шестидесятилетней брани, признал ее явлением в своем роде единственным. — Статьи Н.Н. Страхова о «Войне и мире» появились в журнале «Заря» в 1869–1870 гг., когда многие критики уже высказали свою точку зрения. В предисловии к книге «Критический разбор «Войны и мира»» (СПб., 1871) Страхов писал: «В таких великих произведениях, как «Война и мир» всего яснее открывается истинная сущность и важность искусства. Поэтому «Война и мир» есть также превосходный пробный камень всякого критического и эстетического понимания, а вместе и жестокий камень преткновения для всякой глупости и всякого нахальства. Кажется, легко понять, что не «Войну и мир» будут ценить по вашим словам и мнениям, а вас будут судить по тому, что вы скажете о «Войне и мире»» (Страхов Н. Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862–1885). Издание третье. СПб., 1895. С. 392).

Литература и жизнь [Тейяр де Шарден]

Впервые: Русская мысль. 1965. 20 мая. № 2310. С. 1–2.

С. 330. *Десять лет тому назад в Нью-Йорке скончался ~ Тейяр де Шарден.* — Пьер Тейяр де Шарден умер 10 апреля 1955 г.

С. 330–331. *...тысячи и тысячи русских читателей с жадностью набросились бы на книги Тейяра, будь они им доступны...* — В России в этом же году вышел главный труд Тейяра де Шардена в переводе Н.А. Садовского: *Тейяр де Шарден П. Феномен человека.* М.: Прогресс, 1965. Правда, это издание появилось под грифом «Для научных библиотек», в широкую продажу не поступало, и достать его в СССР обычному читателю было очень непросто вплоть до переизданий, которые последовали лишь в 1980-е годы. Кроме того, в первое издание не вошли эпилог, касающийся христианства, и приложение, посвященное проблеме зла, они были напечатаны в эмиграции с предваряющей заметкой прот. И. Мейендорфа: *Тейяр де Шарден П. Феномен христианства* // Вестник РСХД. 1970. № 95/96. С. 32–43.

С. 331. *...Канта и его критики, которая должна бы на веки веков отбить у разума охоту что-либо в этих областях доказывать или опровергать...* — Имеется в виду главный труд Иммануила Канта «Критика чистого разума» (1781).

...«божественный Платон»... — Российские литераторы вслед за иностранными часто называли Платона «божественным»: А.С. Пушкин, Н.И. Гнедич, А.С. Хомяков и др.

...его грандиозная и стройная система привлекает сейчас внимание даже тех, которым он должен бы остаться чужд, — например, внимание марксиста Гароди... — Марксистом Роже Гароди (Garaudy; 1913–2012) был лишь временно и позже несколько раз менял свои воззрения: в 1970 г. исключен из Французской коммунистической партии как ревизионист, в 1982 г. принял ислам. Первое советское издание Тейяра де Шардена открывалось предисловием Гароди (см.: *Тейяр де Шарден П. Феномен человека.* М.: Прогресс, 1965. С. 5–29).

С. 332. *Полемизирует с Тейяром и авторитетный биолог Жан Ростан...* — Жан Ростан (Rostand; 1894–1977), французский биолог и автор книг афоризмов, полагал, что Тейяр де Шарден не обладает должным для биолога складом ума и пренебрегает эмбриологией.

...«последняя лесть»... — Мф. 27:62–64.

...внезапное и широкое увлечение Тейяром... — Немало поклонников нашлось у Тейяра де Шардена и в эмиграции, о нем писали и усиленно пропагандировали В.С. Варшавский, Э.М. Райс, И.Ф. Мейендорф, протоиерей Г. Клиnger и др.

С. 333. ...«Любовь, что движет солнце и другие звезды». — Из «Божественной комедии» (Рай. XXXIII. 145) Данте. В переводе М.Л. Лозинского: «Любовь, что движет солнце и светила» (*Данте Алигьери. Божественная комедия.* М.: Наука, 1967. С. 293).

Литература и жизнь [«Далекое» Б.К. Зайцева]

Впервые: Русская мысль. 1965. 7 августа. № 2344. С. 1.

С. 333. *Новая книга Бориса Константиновича Зайцева...* — Зайцев Б. Далекое. Washington: Международное литературное содружество, 1965.

С. 334. ...«*За все благодарите*». — 1 Фес. 5 : 16—18.

«*Дух голубиный*» — очерк Б.К. Зайцева о К.В. Мочульском, впервые напечатанный в газете: *Зайцев Б.К. Дух голубиный* // Русская мысль. 1948. 9 апреля. № 52. С. 3.

...в рассказе об одной из встреч с Бунинным, писателем и человеком Зайцеву, в сущности, чуждым... — Б.К. Зайцев и И.А. Бунин долгие годы дружили, дружили и их жены — В.Н. Муромцева-Бунина и В.А. Зайцева. Кризис в их отношениях наступил после окончания Второй мировой войны. В 1945 году Бунин вышел из парижского Союза писателей и журналистов, который возглавлял Зайцев, в знак протеста против исключения из него литераторов, принявших советское подданство.

С. 335. ...одно из самых прекрасных в мировой поэзии стихотворений, пушкинский «*Рыцарь бедный*», было, к счастью, подчищено цензурой... — См. примеч. к статье «По поводу одной из глав «Воскресения»».

Но едва ли Блок — только «побежденный», как определяет его Зайцев... — В книгу вошел очерк Б.К. Зайцева, посвященный А.А. Блоку, впервые опубликованный сорока годами ранее: *Зайцев Б.К. Побежденный* // *Современные записки.* 1925. № 25. С. 250—261.

«Паруса» Стихи Юрия Терапиано

Впервые: Русская мысль. 1965. 30 октября. № 2380. С. 7.

С. 336. ...*последней, маленькой книге Юрия Терапиано...* — Терапиано Ю. Паруса. Washington: Русская книга, 1965.

В ней всего тридцать стихотворений, или немногим больше. — В книге «Паруса» тридцать одно стихотворение.

...«*дитя страшных лет России*»... — Отсылка к стихотворению А.А. Блока «Рожденные в года глухие...» (1914).

Эта мечта о Крыме, о Черном море... — Юрий Терапиано был уроженцем Керчи.

Литература и жизнь [Сто лет со дня рождения Льва Шестова]

Впервые: Русская мысль. 1966. 26 февраля. № 2431. С. 1—2.

С. 337. *...сто лет со дня рождения Льва Шестова...* — Л.И. Шестов родился 31 января (12 февраля) 1866 г.

С. 338. *«Апофеоз беспочвенности»* — основополагающая книга Л.И. Шестова, опубликованная в 1905 г.

...эпиграфом к одному из отделов стояло короткое предостережение, взятое автором из немецкого путеводителя по Альпам: «только для тех, кто не страдает головокружением». — Вторая часть *«Апофеоза беспочвенности»* открывалась эпиграфом: *«Nur für Schwindelfreie! (Из альпийских воспоминаний)».*

В эмиграции я встречался с Шестовым довольно редко. — Н. Баранова-Шестова в своей книге приводит отзывы Л.И. Шестова о статьях Адамовича, а также сведения об их встречах на парижских собраниях: *Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова: По переписке и воспоминаниям современников: В 2 т. Paris: La Presse Libre, 1983. указ.*

...как сердце в пушкинском стихотворении не может не любить. — Отсылка к стихотворению А.С. Пушкина *«На холмах Грузии лежит ночная мгла»* (1829).

С. 339. *...Бунин неизменно отзывался о его статье о Чехове «Творчество из ничего», как о самом пронизательном, что о Чехове вообще написано.* — У И.А. Бунина: *«Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его беспощадным талантом» (Бунин И.А. О Чехове. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 116).*

...всю страсть своего ума обращает у Толстого, скажем, на «Записки сумасшедшего», ~ а у Достоевского на «Записки из подполья». — Об этих произведениях Л.И. Шестов пишет в первых двух главах книги *«На весах Иова»* (Париж: Современные записки, 1929): *«Преодоление самоочевидностей»* (К столетию рождения Ф.М. Достоевского), *«На страшном суде»* (Последние произведения Л.Н. Толстого).

Памяти Анны Ахматовой

Впервые: Русская мысль. 1966. 12 марта. № 2437. С. 1.

С. 340. *Известие о смерти Анны Андреевны Ахматовой...* — А.А. Ахматова скончалась 5 марта 1966 года.

...после смерти Пастернака. — Б.Л. Пастернак умер 30 мая 1960 г.

С. 341. *Я очень спокойная... только не надо...* — из стихотворения А.А. Ахматовой «Чернеет дорога приморского сада...» (1914).

Магдалина билась и рыдала, ~ взглянуть и не посмел. — Из «Реквиема» (X, «Распятие»).

...*Анне Андреевне в Париже, где она провела три дня.* — Ахматова встречалась с Адамовичем в Париже в июне 1965 г., выехав из СССР в Англию для получения диплома почетного доктора Оксфордского университета. Подробнее см.: Адамович Г. Мои встречи с Анной Ахматовой // Воздушные пути. 1967. № 5. С. 99—115.

...*Осипа Мандельштама, о котором сказала, — передаю ее замечание дословно: «после Блока другого такого поэта у нас не было».* — В статье «Мои встречи с Анной Ахматовой» Адамович вспоминал реплику Ахматовой о Мандельштаме, сказанную еще в начале XX века: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт...», при этом сделав замечание и о Блоке: «Что значило это “наш”? Был ли для нее Мандельштам выше, дороже Блока? Не думаю. Царственное первенство Блока, пусть и расходясь с его поэтикой, мы все признавали без споров, без колебаний, без оговорок, и Ахматова исключением в этом смысле не была. Но под непосредственным воздействием каких-нибудь только что прослушанных мандельштамовских строф и строк, лившихся как густое, расплавленное золото, она могла о Блоке и забыть» (Адамович Г. Мои встречи с Анной Ахматовой // Воздушные пути. 1967. № 5. С. 104). См. также воспоминания, опубликованные в том же альманахе номером ранее: Ахматова А. Мандельштам (Листки из дневника) // Воздушные пути. 1965. № 4. С. 23—43.

...*когда-то бродила со своим юным другом Модильяни...* — Воспоминания Ахматовой о Модильяни были опубликованы в том же альманахе: Ахматова А. Амедео Модильяни // Воздушные пути. 1965. № 4. С. 15—22.

Литература и жизнь

«Война и мир» Сергея Бондарчука

Впервые: Русская мысль. 1966. 14 мая. № 2464. С. 1.

С. 342. *В Париже идет сейчас первая из четырех частей большого советского фильма по «Войне и миру».* — Фильм С.Ф. Бондарчука «Война и мир» (1965—1967 гг.) с Людмилой Савельевой и Вячеславом Тихоновым в главных ролях во французском прокате шел под названием «Guerre et paix».

С. 344. ...*манерой сложившейся, как известно, под воздействием Стендаля и его Ватерлоо.* — Сражение при Ватерлоо

описывается в романе Стендаля «Пармская обитель» (1839). Толстому приписывают признание: «Я больше, чем кто-либо другой, многим обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну. Кто до него описал войну такую, какова она есть на самом деле?» (*Буайе П.* Три дня в Ясной Поляне // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Художественная литература, 1978. Т. 2. С. 266–270).

С. 345. «Если бы жизнь могла писать, она писала бы именно так». — В оригинале фраза французского критика Шарля дю Боса (Du Bos; 1882–1939) о романе Л.Н. Толстого «Война и мир» выглядит немного по-иному: «La vie parlerait, si elle pouvait parler».

«Архимандрит»

Впервые: Русская мысль. 1966. 3 ноября. № 2538. С. 4.

С. 345. «Архимандрит» — первый роман французского писателя русского происхождения Габриэля (Гавриила Николаевича) Мацнева (Matzneff; р. 1936): *Matzneff G. L'Archimandrite*. Paris: La Table ronde, 1966.

...небольшую его книгу «Вызов», где некоторые из этих статей собраны. — Речь о книге: *Matzneff G. Le Défi*. Paris: La Table ronde, 1965.

...пяти страничек о «Смерти полковника»... — Имеется в виду очерк Г. Мацнева «Tombeau d'un colonel», включенный в книгу «Le Défi».

Бастьен-Тири Жан-Мари (Bastien-Thiry; 1927–1963) — военный инженер, подполковник ВВС Франции, 22 августа 1962 г. совершивший попытку покушения на президента Шарля де Голля и расстрелянный за это.

С. 346. Неизвестно, как и когда автор этого романа оказался православием «ранен», по розановскому выражению... — Выражение это относили и к самому Розанову: «Розанов в личной своей жизни был среди многих других людей глубоко, болезненно ранен одним из церковных процессов» (*Поселянин Е. [Погожев Е.Н.] Религиозная революция г. Розанова (по поводу книги «Уединенное») // Новое время.* 1912. 7 ноября).

Г. Мацнев в своих интервью объяснял это влиянием семьи и окружения: «Я постоянно вращался в русской среде. В детстве я встречал многих людей еще из старой русской эмиграции, это были блестящие люди: Адамович и др. Константин Мочульский, автор замечательной книги о Достоевском, был моим крестным отцом. Эти люди были очень интеллектуальны, говорили на пяти языках, и хотя многие из них жили в очень стесненных материальных условиях, все они были высокообразованны. Это была очень интересная среда: Лифарь,

Кусевский <...> в начале моей литературной жизни критики говорили обо мне, что я ввел православие во французскую литературу, как новую тему. Конечно, сам я никогда не претендовал на право говорить от имени православия. Но какое-то время я активно участвовал в церковной жизни. Именно я вместе с Константином Андрониковым, переводчиком генерала Де Голля, был инициатором открытия на французском телевидении передачи «Православие», я также создал с Кириллом Ельчаниновым и другими Комитет православной молодежи Франции. Это было в 60—70-е годы. <...> я знаю, что в разных странах многие люди приняли православие из-за моих книг» (Православный либертэн. Интервью с Габриэлем Мацневым // НГ-Exlibris. 1998. 20 января).

«Да и что за жизнь без клобука?» — Из стихотворения А.А. Блока «Ветер стих, и слава заревая...» (1914).

«Смерть — всех загадок разрешение»... — Отсылка к завершающим строкам стихотворения Е.А. Боратынского «Смерть» (1836): «Ты всех загадок разрешение, / Ты разрешение всех цепей».

С. 347. ...«среди лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы»... — из стихотворения Н.А. Некрасова «Внимая ужасам войны...» (1855 или 1856).

Литература и жизнь [«Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова]

Впервые: Русская мысль. 1967. 3 января. № 2564. С. 1, 6.

С. 348. В одиннадцатой книжке журнала «Москва»... — Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» впервые был опубликован (с сокращениями) в двух номерах журнала «Москва» — № 11 за 1966 г. и № 1 за 1967 г. Одиннадцатый номер «Москвы» Адамовичу послал А.К. Бабореко сразу после выхода журнала в свет в ноябре 1966 г., см. письмо Адамовича А.К. Бабореко от 1 декабря 1966 г.: «Только что получил “Москву” с романом Булгакова» (Письма Георгия Адамовича / Публ. и коммент. А. Бабореко // Русская провинция. 1994. № 4 (12). С. 85).

...говорит в предисловии Конст. Симонов. — Симонов К.М. Предисловие // Москва. 1966. № 11. С. 6—7.

...А. Вулис, дающий кропотливый анализ романа с точки зрения критика-формалиста. — Вулис А. Послесловие к первой публикации романа «Мастер и Маргарита» // Москва. 1966. № 11. С. 127—130.

Булгаков работал над ней двенадцать лет, в самый разгар сталинских неистовств, не надеясь, конечно, что роман выйдет в свет еще при его жизни. — Подробнее об истории романа см.: Чудакова М. Творческая история романа М. Булгакова

«Мастер и Маргарита» // Вопросы литературы. 1976. № 1. С. 218—253.

С. 349. *Взгляд этот, довольно распространенный еще в начале нашего века, преимущественно под влиянием немецкого историка Дрекса...* — Речь идет о книге «Миф о Христе» (Die Christusmythe, 1909) немецкого философа и писателя Артура Дрекса (Dreux; 1865—1935), отрицающего реальность существования Иисуса Христа в истории.

...с монументальным трудом Шарля Гиньебера «Иисус»... — Guignebert C. Jesus. New York, 1956.

Воспоминания [М.А. Алданов]

Впервые: Русская мысль. 1967. 15 апреля. № 2608. С. 3—4.

С. 351. *...через десять лет после смерти Марка Александровича Алданова...* — М.А. Алданов умер 25 февраля 1957 г.

...особенно в последние годы его жизни, в Ницце, где он после войны обосновался... — Алданов жил в Ницце с 1947 г. до смерти.

Сабанеев Леонид Леонидович (1881—1968) — музыковед, композитор. С 1926 г. в эмиграции во Франции. Преподаватель русской консерватории имени С.В. Рахманинова, сотрудник «Современных записок» и «Нового журнала».

С. 352. *...адвокат из «Ключа» и следующих романов той же серии...* — Речь идет о трилогии М. Алданова: «Ключ» (1929), «Бегство» (1932), «Пещера» (1934—1936).

...незабываемый флюберовский аптекарь из «Мадам Бовари»... — Имеется в виду персонаж романа «Мадам Бовари» — аптекарь Омэ.

В романе «Начало конца» есть страница, представляющаяся мне одной из самых характерных для Алданова и одной из самых у него замечательных. — Страница, которую Адамович цитирует по памяти, в оригинале выглядит так: «Да, так больше жить невозможно... Чем жить? Для чего жить? Допустим, я сейчас умру: поднимет ли мою душу близость смерти? Нет, едва ли, и я не могу этого приписывать только собственному ничтожеству, вот и этот человек, один из величайших в мире, почти так же был опутан жалкими чувствами — не так же, пусть по-своему, а все-таки был опутан, — и в ненужно откровенные свои минуты сам в этом сознавался — не одному себе, но и другим людям. Старый, так много знавший, так много о разном, обо всем, о жизни думавший человек, чему ты можешь научить без “парадоксов”, без стихов, без звонких речей, чему ты можешь по-настоящему научить другого старого человека, которому тоже осталось жить недолго? Не заглядывая в книги, помня только общий твой облик, посметь думать за тебя, по-

пытаться, не пользуясь твоими словами, проникнуть в твою не книжную, а настоящую “мудрость”?

— Делать в жизни свое дело, делать его возможно лучше, если в нем есть, если в него можно вложить хоть какой-нибудь, хоть маленький разумный смысл. <...> Не задевать предрасудков, по крайней мере, грубо, не сражаться ни с ветряными мельницами, ни даже со странствующими рыцарями, если только не в этом заключается твоя профессия, профессия политического донкихота, такая же, по существу, профессия, как труд сапожника или ветеринара... Не потакать улице и не бороться с ней: об улице думать возможно меньше, без оглядки на нее, без надежды ее исправить. Но в меру отпущенных тебе сил способствовать осуществлению в мире простейших, бесспорнейших положений добра» (Алданов М.А. Начало конца. Париж: Русские записки, 1939. С. 317—318).

С. 355. *«У того, кто долго жил и всматривался в людей, сердце должно разбиться или окаменеть».* — В переводе Ю.Б. Корнеева и Э.Л. Линецкой: «У каждого, кто живет с людьми и общается с ними, сердце рано или поздно должно либо разорваться, либо оледенеть» (Шамфор. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты. М.; Л.: Наука, 1966. С. 138). Перевод Адамовича, надо сказать, ближе к оригиналу.

«Хранитель древностей»

Впервые: Русская мысль. 1967. 10 августа. № 2647. С. 4.

С. 356. *«Хранитель древностей»* — роман Юрия Осиповича Домбровского (1909—1978), напечатанный в № 7 и 8 «Нового мира» за 1964 г., а затем вышедший отдельным изданием (М.: Советская Россия, 1966).

...городе Верном по прежнему его названию. — Город Верный, основанный в 1854 г., в 1921 г. был переименован в Алма-Ата.

...«я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был». — Из вступления к поэме А.А. Ахматовой «Реквием» (1934—1963).

С. 357. *...местным архитектором-фантастом Зенковым...* — Андрей Павлович Зенков (1863—1936) участвовал в застройке административного центра Алма-Аты.

...о некоем Кастанье, французе, неутомимом исследователе и знатоке тогда еще полудикого края. — Жозеф-Антуан Кастанье (Castagné; 1875—1958), российский археолог и историк-востоковед, преподаватель французского языка в России, французский политический историк, специализирующийся по Средней Азии. В романе Ю.О. Домбровского «Хранитель древностей» упоминается как Иосиф Антонович Кастанье, ученый секретарь Оренбургской архивной комиссии.

...«*жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее*»... — Из выступления И.В. Сталина на Первом всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г. Полностью этот пассаж звучал так: «Основой стахановского движения послужило прежде всего коренное улучшение материального положения рабочих. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится. Отсюда высокие нормы выработки. Отсюда герои и героини труда» (*Сталин И.В. Сочинения*. М.: Изд-во «Писатель», 1997. Т. 14. С. 69).

С. 358. ...«*есть с чего с ума сойти*»... — см. выше примеч. к статье «Поклон быломu».

...«*хорошо бы сегодня выбраться в горы!*» — Роман завершается словами: «И хорошо бы сегодня всем троим выбраться в горы» (*Домбровский Ю. Хранитель древностей*. М.: Советская Россия, 1966. С. 254).

Стихи автора «Колымских рассказов»

Впервые: Русская мысль. 1967. 24 августа. № 2649. С. 4.

С. 359. ...*не так давно помещенные без ведома автора в двух книжках «Нового журнала»*... — Первые две порции «Колымских рассказов» были напечатаны в 85 и 86 номерах «Нового журнала» с редакционным примечанием: «Рукопись этих рассказов мы получили с оказией из СССР. Автор их В.Т. Шаламов, прошедший в концентрационных лагерях около 20 лет. Мы печатаем Колымские рассказы без согласия и ведома автора. В этом мы приносим В.Т. Шаламову наши извинения» (Новый журнал. 1966. № 85. С. 5). Затем «Новый журнал» продолжал публиковать рассказы Шаламова на протяжении десятилетия почти в каждом номере: в № 89, 91, 96, 98, 100—104, 106—108, 110—113, 115—121, 124—125. Первое отдельное издание вышло за рубежом: *Шаламов В. Колымские рассказы*. Кёльн, 1967.

...*прогремевший на весь свет «Один день Ивана Денисовича»*... — См. выше примеч. к статье «Литература и жизнь. [«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына]».

...*за Солженицыным остается преимущество новизны и открытия: он первый рассказал о том, что многие на Западе отрицали...* — На Западе выходил не один десяток книг о лагерях до Солженицына, ему первому удалось привлечь к этой теме внимание мировой общественности.

С. 360. *Книга не совсем обычно, но, по-моему, хорошо и выразительно названа...* — *Шаламов В. Дорога и судьба*. Книга стихов. М.: Советский писатель, 1968.

...«*поэзия В. Шаламова привлекает глубоко заложенным в ней философским началом, ~ круг интересов поэта разнообра-*

зен». — Адамович цитирует издательскую аннотацию к книге В.Т. Шаламова.

...*свести счеты с «подлецами, подхалимами и лицемерами»*... — Отсылка к строкам стихотворения В.Т. Шаламова «Прямой наводкой» (1957): «Чтоб прицельные угломеры / Добирались до подлнца, / Подхалима и лицемера, / Черно книжника и лжеца».

...*равнодушную природу*... — из стихотворения А.С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

...*«велеием эпохи слетенную с моей судьбой»*. — Из стихотворения В.Т. Шаламова «Когда после разлуки...» (1962).

Воспоминания С.М. Алянского о Блоке. Сергей Городецкий

Впервые: Русская мысль. 1967. 14 сентября. № 2652. С. 4.

С. 362. В шестой, июньской книжке «Нового мира» помещены воспоминания С.М. Алянского об Александре Блоке. — Алянский С.М. Встречи с Блоком (Из записок издателя) / Предисловие Конст. Федина // Новый мир. 1967. № 6. С. 159—207.

«Алконост» — частное книжное издательство, основанное С.М. Алянским в Петрограде и действовавшее в 1918—1923 гг. Подробнее см.: Глейзер М.М. Издательство «Алконост», 1918—1923. СПб.: Реноме, 2015.

Он же был первым издателем блоковской поэмы «Двенадцать» с иллюстрациями Юрия Анненкова. — Блок А. Двенадцать. Пб.: Алконост, 1918. Подробнее см.: Алянский С.М. Об иллюстрациях к поэме А. Блока «Двенадцать» / Публ. З.Г. Минц // Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 437—446.

Блоковская поэма, появившаяся в левозсеровской газете, ошеломила читателей и оттолкнула от поэта большинство его прежних друзей, в особенности старших. — Поэма А. Блока «Двенадцать» была опубликована 3 марта 1918 г. в газете «Знамя труда», испортив отношения поэта с З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковским, Ф. Сологубом, В. Пястом и многими другими. О восприятии поэмы современниками и жизни Блока после ее публикации существует целая литература. См., напр.: Долгополов Л. Поэма Александра Блока «Двенадцать». Л.: Художественная литература, 1979; Орлов Вл. Поэма Александра Блока «Двенадцать»: Страница из истории советской литературы. Изд. 2-е, доп. М.: Художественная литература, 1987; Смола О.Л. «Черный вечер. Белый снег». Творческая история и судьба поэмы А. Блока «Двенадцать». М.: Наследие, 1993; Иванова Евг. Александр Блок: Последние годы жизни. СПб.: Росток, 2012.

Адамович оказался в числе «ошеломленных» поэмой. 7 апреля 1918 г. Блок сделал запись: «Георгий Викторович

Адамович предлагает издать “Двенадцать” для начала нового издательства “Арзамас»» (Блок А.А. Записные книжки. 1901—1920. М.: Художественная литература, 1965. С. 398).

А. Ахматова, Ф. Сологуб и В. Пяст отказались принять участие в назначенном на 13 мая 1918 г. вечере литературного кружка «Арзамас», узнав, что в программе вечера стоит чтение женой Блока Л.Д. Менделеевой поэмы «Двенадцать». Узнав об этом от Иванова-Разумника, Блок также решил отказаться от участия в вечере. Накануне, 12 мая 1918 г. Адамович писал Блоку: «Вы, вероятно, сами знаете все, что сплелось вокруг Вас и “Двенадцати”. Лично для меня это неожиданно и непонятно.

Но теперь, когда Арзамасский вечер почти гибнет от этого, нам надо все-таки думать о нем. Это не только по общим соображениям, но и из-за всего, что говоришь и слушаешь, мы просим Вас Быть самому на вечере и читать стихи.

Это было бы очень дорого нам, и “показательно”, и очень мы надеемся, что, может быть, Вы измените первоначальное Ваше решение.

Мне очень стыдно, что это письмо надоедливое и “деловое”, и что обращаясь к Вам и говоря о “Двенадцати”, мне сейчас, в этом письме, невозможно говорить, что для меня с “Двенадцатью” связано и как я “привязан” к ним» (РГАЛИ. Ф. 55 (Блок). Оп. 2. Ед. хр. 20. Л. 7).

С. 364. ...о публичных выступлениях Блока в Петербурге и в Москве... — Алянский пишет о вечере А.А. Блока 25 апреля 1921 г. в петроградском Большом драматическом театре и его московских выступлениях. А.А. Блок пробыл в Москве со 2 по 10 мая 1921 г.; 3, 5 и 9 мая выступал в Политехническом музее; 6 мая — в Доме печати на Никитском бульваре и в Институте итальянской культуры «Lo Studio Italiano».

Имажинисты подняли в зале неистовый шум, а один из них громко крикнул, что Блок — мертвец и стихи читает мертвые. — О вечере А.А. Блока в Доме печати вспоминают многие мемуаристы с разными вариациями: К.И. Чуковский, П.Г. Антокольский, И.Н. Розанов, Н.А. Ноле-Коган, Б.Л. Пастернак, И.В. Одоевцева, Б.К. Зайцев и др. С.М. Алянский на вечере не присутствовал и написал о нем со слов Блока: «Блок рассказал, что его на машине привезли в Дом печати, там он был тепло встречен, прочитал несколько стихотворений и собирался уже уходить в итальянское общество, где его ждало еще одно выступление в этот вечер. Вдруг кто-то из публики крикнул, что прочитанные стихи мертвы и что автор их — мертвец. Поднялся шум. Крикнувшему эти слова предложили выйти на эстраду, тот вышел и пытался повторить брошенные слова или объяснить их, но кругом было так шумно, что невозможно было ничего разобрать. <...> Блоку

назвали фамилию автора недостойной выходки. Ничего больше Блок о нем не знал» (*Алянский С.М. Встречи с Блоком (Из записок издателя)* // Новый мир. 1967. № 6. С. 198—199).

Есть об этом скандале рассказ и в воспоминаниях Пастернака, который вместе с Маяковским был глубоко возмущен случившимся. — Имеется в виду очерк Б.Л. Пастернака «Люди и положения»: «В этот вечер он выступал с чтением своих стихов в трех местах: в Политехническом, в Доме печати и в Обществе Данте Алигьери <...> На вечере в Политехническом был Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовят бенефис, разнос и кошачий концерт. Он предложил вдвоем отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость. Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление в машине, и пока мы добрались до Никитского бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился и Блок уехал в Общество любителей итальянской словесности. Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти. Блоку после чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался. Это говорилось за несколько месяцев до его действительной кончины» (*Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч.: В 11 т. М.: Слово/Slovo, 2004. Т. 3. С. 310—311*).

Если не изменяет мне память, «автором» был Вадим Шершеневич... — Мемуаристы высказывали разные предположения по поводу «авторства» и описывали выступавшего очень по-разному. У К.И. Чуковского это «ожесточенный вития», у П.Г. Антокольского «лысый юноша», И.Н. Розанов назвал Михаила Струве. На самом деле это был Александр Филиппович Струве (1874—ок. 1939), заведующий литературным отделом Мосгубпролеткульта в 1920—1921 гг., мстивший А.А. Блоку за нелестный отзыв в обзоре новых книг о сборнике его стихотворений «Kýklos» (М.: Фрам, 1908): «И по содержанию, и по внешности дряхлое декадентство, возбуждающее лишь отвращение. Таких книг в России мало кто не стыдился выпускать» (*Русская мысль. 1909. № 1. С. 2 (паг. 3-я)*). Об этом обзоре подробнее см.: *Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Наука, 2010. Т. 8. С. 169, 458—459.*

...сам Есенин, относившийся к Блоку с неизменным преклонением... — В июне 1960 г. в беседе с Ю.П. Иваском Г.В. Адамович рассказал ему под магнитофонную запись: «Как-то мы шли по Невскому. Есенин сказал: “Если Блок сказал бы: “Сережа, пойдил ляг мне под ноги, ножкам моим жестко”, — я, не задумываясь, лег бы ему под ноги”» (Проект «Акмеизм») / Вступ. ст.,

подгот. текста и коммент. Н.А. Богомолова // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 146).

...о предсмертном отречении Блока от «Двенадцати», об ужасе и отчаянии, которые охватывали его при одном упоминании об этой поэме. — От поэмы «Двенадцать» публично Блок никогда не отрекался, чему есть целый ряд свидетельств.

1 апреля 1920 г. Блок написал в «Записке о “Двенадцати”»: «Недавно я говорил одному из тогдашних врагов, едва ли и теперь простившему мне мою деятельность того времени, что я, хотя и не мог бы написать теперь того, что писал тогда, не отрекаюсь ни в чем от писаний того года» (Памяти Александра Блока. Издание Вольной Философской ассоциации. Пб., 1922. С. 46).

13 февраля 1921 г. Блок выступил с речью «О назначении поэта» на собрании в Доме литераторов в годовщину смерти Пушкина. Надежда Павлович вспоминала об этом вечере: «Злободневность его речи почувствовали участники этого вечера <...> и многие начали злорадствовать... Один из них позволил себе в передней, когда Блок уходил, спросить его не без ехидства: “А как же с ‘Двенадцатью’?” И Блок ответил ему, что ни от чего не отрекается и ничего не меняет в своем отношении к революции» (Павлович Н.А. Воспоминания об Александре Блоке / Вступ. заметка З.Г. Минц, коммент. З.Г. Минц и И. Чернова // Блоковский сборник. Труды научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А.А. Блока, май 1962 г. Тарту, 1964. С. 488).

К.И. Чуковский особо подчеркивал: «В последнее время много писали, будто Блок отрекся от “Двенадцати”. Это вздор. Всякий раз, как у него заходила речь об этой поэме с обывателями, с посторонними людьми, он считал своим долгом в самом начале беседы предупредить каждого, что он не изменил своих взглядов и не раскаивается в написании этих стихов. Он всегда любил эту поэму» (Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт. Пг.: А.Ф. Маркс, 1924. С. 28).

...«блоковским чудом». — К.А. Федин в предисловии к публикации воспоминаний Алянского написал: «Самуил Миронович Алянский — организатор издательства “Алконост”, выпустивший в 1918 году блоковское чудо — “Двенадцать” с рисунками Ю.П. Анненкова» (Алянский С.М. Встречи с Блоком (Из записок издателя) // Новый мир. 1967. № 6. С. 159).

Скончался Сергей Городецкий... — Сергей Митрофанович Городецкий ушел из жизни 7 июня 1967 г.

...знаменитого стихотворения «Звоны, стоны, перезвоны», положенного на музыку Игорем Стравинским. — Стихотворение С.М. Городецкого «Весна» («Весна монастырская»), написанное в 1906 г., было положено на музыку И.Ф. Стравинским

в июне 1907 г.: «Две песни на стихи С. Городецкого для голоса (меццо-сопрано) и фортепиано» (Ор. 6).

С. 365. *Гумилев привлек Городецкого к двойному, вместе с собой, возглавлению «Цеха поэтов»...* — Оба в 1911 г. выступили организаторами и соруководителями первого Цеха поэтов, куда три года спустя Адамович «был со всем церемониалом принят обоими синдиками, Гумилевым и Городецким, на квартире Городецкого» (Новый журнал. 1988. № 172/173. С. 569). Городецкому принадлежат два отзыва на ранние стихи Адамовича в обзорах поэзии: *Городецкий С.* Поэзия для себя // Лукоморье. 1916. 6 февраля. № 6. С. 15–16; *Городецкий С.* Поэзия, как искусство // Лукоморье. 1916. 30 апреля. № 18. С. 19–20.

...«заговорило ожившее лампадное масло». — В статье «Как делать стихи?» (1926) В.В. Маяковский писал: «Есенина я знал давно — лет десять, двенадцать. В первый раз я его встретил в лаптях и в рубаше с какими-то вышивками крестиками. <...> Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежды:

— Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло» (*Маяковский В.В.* Собр. соч.: В 8 т. М.: Правда, 1968. Т. 5. С. 477–478).

Анна Ахматова, ~ вражда вызвана поведением Городецкого в годы «культы личности». — Городецкий начал вызывать у Ахматовой неприязненные чувства задолго до эпохи культа личности, как минимум с того времени, как он опубликовал в цикле «Друзья ушедшие» стихотворение «Николай Гумилев» («На львов в агатной Абиссинии...») с такими строками: «Когда же в городе огромнутом / Всечеловеческий встал бунт, / Скитался по холодным комнатам, / Бурча, что хлеба только фунт. / И ничего под гневным заревом / Не уловил, не уследил, / Лишь о возмездье поговаривал / Да перевод переводил» (Стык: Первый сборник стихов Московского цеха поэтов. М.: Издание Московского цеха поэтов, 1925. С. 36).

Облик и дух советской литературы

Впервые: Русская мысль. 1967. 9 ноября. № 2660. С. 4.

С. 366. ...как утверждал Алданов — «великая русская литература кончилась на “Хаджи-Мурате”...» — Этот эпизод Адамович вспоминал несколько раз, обстоятельнее всего в статье «Мои встречи с Алдановым» (Новый журнал. 1960. № 60. С. 113), затем в эссе «Оправдание черновики» (Новый журнал. 1965. № 81. С. 81), включенном в книгу «Комментарии» (Washington: Русское книжное дело в США. V. Kamkin, 1967. С. 95).

С. 367. ...«юркие ничтожества»... — См. выше примеч. к статье «Литература и жизнь [«О философской аргументации современного православия» Н. Гордиенко]».

С. 368. *Думаю, что имена Евтушенко с одной стороны и Бродского с другой были бы наиболее показательны в качестве представителей того и другого течения.* — Оба имени были названы Ахматовой в разговоре с Адамовичем при встрече в Париже в июне 1965 г.: «У нас множество молодежи, которая только поэзией и живет. Пишут отличные стихи, но не желают печататься. Целыми днями, вечерами, ночами спорят о стихах, обсуждают стихи, читают стихи, — как бывало прежде, даже больше, чем прежде! Бродского вы читали? По-моему, это замечательный поэт, и уже почти совсем зрелый. <...> Вы напрасно стараетесь убедить меня, что Евтушенко очень талантлив. Это я знаю сама» (Адамович Г. Мои встречи с Анной Ахматовой // Воздушные пути. 1967. № 5. С. 112).

«Необыкновенные москвичи»

Впервые: Русская мысль. 1967. 30 ноября. № 2663. С. 4.

С. 369. «Необыкновенные москвичи» — роман Георгия Сергеевича Березко (1905—1982), опубликованный в 6 и 7 номерах журнала «Москва» за 1967 г. и одновременно вышедший отдельным изданием (М.: Советский писатель, 1967).

С. 370. ...«лакирует», — пользуясь ходким советским термином... — Термин «лакировка действительности» использовался еще рапповцами в 1930-е гг., но тогда означал уклонение от изображения классовой борьбы. С конца 1940-х употреблялся в литературной и театральной критике в значении приукрашивания действительности.

С. 371. *Кто помнит стенограмму процесса Иосифа Бродского...* — Фрида Абрамовна Вигдорова (1915—1965) 18 февраля и 13 марта 1964 г. присутствовала на рассмотрении в народном суде Дзержинского района Ленинграда дела о тунеядстве И.А. Бродского и сделала записи, получившие широкое распространение в самиздате под названием «Судилище» или «Суд над тунеядцем Бродским», а затем опубликованные в разных странах. В России запись была впервые опубликована четверть века спустя: Вигдорова Ф.А. Судилище / Публ. А.А. Раскиной, вступ. ст. Л.К. Чуковской, коммент. Э.Л. Безносова // Огонек. 1988. № 49 (3202). 3—10 декабря. С. 26—31. См. также: Вигдорова Ф.А. Записи суда над Иосифом Бродским // Антология самиздата. М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. Т. 1. Кн. 2. С. 262—275.

С. 372. «А культура и есть доброта» — из стихотворения Е.А. Евтушенко «Алмазы и слезы» (1967).

Памяти Аминадо [2]

Впервые: Русская мысль. 1968. 18 января. № 2670. С. 5.

С. 373. ...в «Последних новостях», эмигрантском издании, о котором следует, наконец, сказать, что это была одна из лучших газет за все время существования русской печати. — О газете «Последние новости» (Париж, 1920—1940) существует уже изрядная литература, список основных работ из трех десятков позиций см. в Сводном каталоге периодики русского зарубежья: <http://www.emigrantica.ru/item/poslednie-novosti-parizh-1920-1940#библиография>. Адамович сотрудничал в газете в 1928—1940 гг., был постоянным литературным обозревателем и ведущим критиком, см.: Георгий Адамович в «Последних новостях»: Материалы к библиографии / Сост. и предисл. О.А. Коростелева // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2010. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2010. С. 517—590. Избранные статьи Адамовича из «Последних новостей» составят тома 3—5 настоящего собрания сочинений.

С. 374. ...незадолго до войны Аминадо дал мне прочесть письмо Марины Цветаевой... — См. выше примеч. к статье 1957 г. с таким же названием: «Памяти Аминадо».

Цветаева дальше сравнивает Аминадо с чеховскими героями, ~ Не совсем убедительно и ее замечание о высших и низших ценностях... — М.И. Цветаева писала Аминадо 31 мая 1938 г.: «Кажется, знаю: чтобы стать поэтом, стать тем поэтом, который Вы есть, у Вас не хватило любви — к высшим ценностям; ненависти — к низшим. Случай Чехова, самого старшего — умного — и безнадёжного — из чеховских героев. Самого — чеховского» (Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. Т. 7: Письма / Сост., подгот. текста и коммент. Л. Мнухина. М.: Эллис Лак, 1991. С. 654).

Книга А. Бабореко о Бунине

Впервые: Русская мысль. 1968. 14 марта. № 2678. С. 4.

С. 375. ...вышедшая в Москве книга А. Бабореко... — Бабореко А.К. И.А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М.: Художественная литература, 1967.

Андрей Седых в своей статье об этой книге... — Рецензия Андрея Седых (наст. имя Яков Моисеевич Цвибак; 1902—1994) на книгу А.К. Бабореко была опубликована в Нью-Йорке месяцем раньше: Седых А. Новое о Бунине // Новое русское слово. 1968. 11 февраля.

...с неизменными указаниями на то, что он в эмиграции «ослабел», «выдохся»... — 2 декабря 1965 г. Адамович писал

А.К. Бабореко: «На днях я здесь познакомился с Твардовским и говорил с ним о Бунине. По-моему, он не прав, утверждая — как и многие другие, — что Бунин, уехав из России, “ослабел”, “выдохся”. Но, по-видимому, это его мнение искреннее, а не напускное. Что же, “о вкусах не спорят”! Но ничто так Бунина не возмущало, как подобные утверждения» (Письма Георгия Адамовича / Публ. и коммент. А. Бабореко // Русская провинция. 1994. № 4 (12). С. 84).

...едва мы переходим к последнему периоду жизни Бунина... — Глава «Последние годы», где повествуется об эмигрантском периоде жизни Бунина, занимает в книге А.К. Бабореко немногим более тридцати страниц.

С. 376. *Он и сам в последние свои годы работал над книгой о Чехове...* — Имеется в виду книга И.А. Бунина «О Чехове», оставшаяся незаконченной (опубл. в 1955 г.).

Была еще жива О.Л. Книппер... — Ольга Леонардовна Книппер-Чехова умерла 22 марта 1959 г.

С. 377. *...большое письмо Бунина Льву Толстому, будто бы не отправленное ~ юношески-многословное и несколько «панибратское»...* — Речь идет о письме от 21 марта 1896 г., написанном в Полтаве: «Мне захотелось написать Вам, потому что мне решительно больше некому сказать этого, а тяжело мне невыносимо! Вы же когда-то приняли участие во мне. <...> жизнь моя как письмо это. Не удивляйтесь ему, дорогой Лев Николаевич, и не спрашивайте — зачем написано. Ведь вы один из тех людей, слова которых возвышают душу и делают слезы даже высокими и у которых хочется в минуту горя заплакать и горячо поцеловать руку, как у родного отца!» (Бабореко А.К. И.А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М.: Художественная литература, 1967. С. 55–57). Письмо это впервые опубликовал В.Г. Лидин, высказав предположение, что оно не было отправлено: *Лидин В.Г.* Друзья мои — книги. М.: Искусство, 1962. С. 113–114. Комментаторы научного издания писем Бунина добавляют: «Это подтверждается отсутствием каких-либо сведений об этом письме в фондах ГМТ» (*Бунин И.А.* Письма 1885–1904 годов / Под общ. ред. О.Н. Михайлова; Подгот. текстов и коммент. С.Н. Морозова, Л.Г. Голубевой, И.А. Костомаровой. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 549).

...«самую мелкую черту превращал в незабываемый образ». — А.К. Бабореко в своей книге привел слова В.Н. Муромцевой из очерка «Будни в Васильевском» (Новое русское слово. 1955. 28 августа): «Ян указывал на уменье Льва Николаевича даже о переписи писать интересно и самую мелкую черту превращать в незабываемый образ» (Бабореко А.К. И.А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М.: Художественная литература, 1967. С. 114–115).

Крайне интересно все, что Бабореко по неизвестным до сих пор данным сообщает о Варваре Владимировне Пашенко... — История с Пашенко описана на двадцати пяти страницах книги А.К. Бабореко (С. 25—50).

Девушку эту многие отождествляли с Ликой из «Жизни Арсеньева», что Бунина раздражало... — Бунин неоднократно утверждал, что роман «Жизнь Арсеньева» не автобиографичен, в частности, говорил Андрею Седых: «Вот думают, что история Арсеньева — это моя собственная жизнь. А ведь это не так. Не могу я правды писать. Выдумал я и мою героиню» (Новое русское слово. 1933. 28 ноября). Об этом же писала Бабореко В.Н. Бунина 30 марта 1957 г.: «Лика — Пашенко только в самом начале, при первом знакомстве, но и то автор сделал ее выше ростом. В Лике собраны черты разных женщин, которых любил он. Скорее чувства Алеши Арсеньева совпадают с его чувствами к Пашенко. Иван Алексеевич написал, что “Лика вся выдумана”. Кроме того, он был так влюблен в Пашенко, что не мог даже мысленно изменять ей, как изменял Алеша Арсеньев» (Бабореко А.К. И.А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М.: Художественная литература, 1967. С. 49).

...письмо Веры Николаевны Буниной, написанное Андрею Седых через несколько дней после смерти мужа... — Имеется в виду письмо от 13 ноября 1953 г., в котором В.Н. Бунина подробно рассказала о последних днях жизни И.А. Бунина: Бабореко А.К. И.А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М.: Художественная литература, 1967. С. 243—252).

За и против Маяковского

Впервые: Русская мысль. 1968. 4 апреля. № 2681. С. 4.

С. 378. *...часто приходилось писать о Маяковском, ~ Но никогда я не предполагал, что возникнет у меня желание выступить в роли его защитника... —* Одной из первых критических публикаций Адамовича была рецензия на книгу В.В. Маяковского «150.000.000» (Альманах Цеха поэтов. 1921. № 2. С. 72—74). За последующие полвека он писал о Маяковском десятки раз, как большие статьи, так и заметки по случаю (хорошо бы опубликовать такую подборку в каком-нибудь сборнике). Но о том, чтобы защищать его, речи и впрямь никогда не шло, сам тип поэзии Маяковского и его отношение к миру были принципиально иными, чтобы вызвать сочувствие у Адамовича. Общая тональность отзывов с самого начала и до конца мало менялась, хотя Адамович признавал и талант, и мощь голоса Маяковского, и его лидерские качества. Но общий вывод всегда был примерно таким: «У меня нет никакого влечения к поэзии Маяковского, никогда ни одна вещь

его мне не нравилась. Это, на мой вкус, скучная поэзия, искалеченная и часто фальшивая. <...> Я помню его первые выступления в 1912—13 году, в Тенишевском зале, в “Бродячей собаке”. Уже тогда Маяковский был насквозь разрушитель, и от него корбило, уже тогда была в нем вся та ненависть, едкая насмешка, желание все стереть до основания, все сравнять с землей, пройтись Мамаем по миру, которая так пышно расцвела в нем теперь, после революции» (Адамович Г.В. Литературные беседы // Звено. 1925. 26 января. № 104. С. 2).

Правда, брани по адресу Маяковского за все это время слышал я немало... — Маяковский наряду с Горьким был в эмигрантской печати главной фигурой для инвектив в адрес решившихся на сотрудничество с большевиками литераторов. Если собрать все, что публиковалось о Маяковском в эмигрантской прессе, получилась бы большая книга, правда, одно-сторонняя.

Бунин неизменно отделялся восклицаниями, ~ большей частью этим и ограничивался. — У Бунина есть и развернутые суждения о Маяковском, см., например: Бунин И.А. Воспоминания. Париж: Возрождение, 1950. С. 54—55, 237—247.

Ходасевич бывал убедительнее, последовательнее, и в некоторых своих резко отрицательных отзывах о Маяковском был, на мой взгляд, прав. — В.Ф. Ходасевич посвятил Маяковскому немало откликов, наиболее показательны: Ходасевич В.Ф. Декольтированная лошадь // Возрождение. 1927. 1 сентября. № 821. С. 2—3; Ходасевич В.Ф. О Маяковском // Возрождение. 1930. 24 апреля. № 1787. С. 3—4; Маслов Ф. По советским журналам // Дни. 1926. 21 марта. № 960. С. 3; Маслов Ф. По советским журналам // Дни. 1926. 28 мая. № 1019. С. 3.

...книгу проф. Сергея Космана... — Косман С. Маяковский. Миф и действительность. Париж: Maison du livre étranger, 1968. О нем см.: Waegemans Emmanuel. Антверпенский профессор Сергей Косман // Slavica Gandensia. 1997. Vol. 24.

«И жил он, по-моему, нехорошо, и умер, как дурак». — Из стихотворения В.В. Маяковского «Глупая история» (1927).

«...Маяковскому приготовлено место там, в дальнем углу, между стихиками Саши Черного и бездарнейшими романами Чернышевского». — Р.Б. Гуль, во многом соглашаясь с С. Косманом, основной пафос его книги разделить не смог, написав в своем отзыве: «В состоянии запальчивости автор (вслед за Буниным) хочет лишить Маяковского всякого литературного таланта. Это, конечно, суждение не только пристрастное, но и опрометчивое. <...> Живи Маяковский в нормальное, мирное (а не большевицкое) время, он нашел бы свое место в русской поэзии, где-то между Майковым и Мережковским» (Новый журнал. 1969. № 96. С. 280).

С. 379. *...недавно появившуюся «Траву забвения» Вал. Катаева...* — Отрывки из мемуарной повести В.П. Катаева «Трава забвения» публиковались в «Известиях» (1967. 25 января, 1 и 3 февраля) и в «Огоньке» (1967. 19 февраля. № 8; 26 февраля. № 9; 5 марта. № 10; 12 марта. № 11). Целиком повесть была напечатана в «Новом мире» (1967. № 3. С. 3—129) и вскоре появилась отдельным изданием (М.: Детская литература, 1967).

...Маяковский ~ Блока любил настолько, что без колебаний ставил выше себя. — В книге «Трава забвения» В.П. Катаев писал: «Маяковский любил Блока, едва ли не считал его самым великим русским поэтом со времен Пушкина. Он никогда об этом не говорил. По крайней мере, прямо. Но я чувствовал, что это именно так. <...> Уверен, что вечно в душе Маяковского жил Александр Блок, тревожа его, заставляя завидовать и восхищаться. Блок был совестью Маяковского» (Катаев В. Собр. соч.: В 10 т. М.: Художественная литература, 1984. Т. 6. С. 385).

С. 380. *...с творчеством Некрасова, творчеством, в котором по знаменитому приговору поэзия будто бы «и не ночевала».* — И.С. Тургенев писал Я.П. Полонскому 13 (25) января 1868 г.: «Некрасов — поэт с натугой и штучками; пробовал я на днях перечесть его собрание стихотворений... Нет! Поэзия и не ночевала тут» (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1990. Т. 8: Письма. С. 99—100).

«Страстный к страданию человек»... — В очерке «Смерть Некрасова» «Дневника писателя» (1877. Декабрь. Гл. 2) Ф.М. Достоевский писал: «Это было раненое сердце, раз на всю жизнь, и незакрывавшаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает» (Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1984. Т. 26. С. 112).

...«Господи, воззвах к Тебе, услыши мя»... — церковнославянский текст 140 псалма, молитва из всенощного бдения.

«Расчетливый обман, шумящий балаган»... — См. выше примеч. к статье ««Встреча». Стихи Софии Прегель».

...«смирненно преклонившим колени» перед авторитетом Белинского... — Н.А. Некрасов обращался к Белинскому в «Сценах из лирической комедии «Медвежья охота»» (1867. Действ. 1. Сцена 5): «Учитель! перед именем твоим / Позволь смиренно преклонить колени!» (Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л.: Наука, 1982. Т. 3. С. 19).

...«юркими ничтожествами». — См. примеч. к статье «Литература и жизнь [«О философской аргументации современного православия» Н. Гордиенко]».

...Сталин неожиданно провозгласил его «лучшим и талантливейшим». — См. примеч. к статье «Литература и жизнь [Дискуссия о Маяковском в журнале «Октябрь»]».

...я не знал слов Марины Цветаевой, ~ «Двенадцать лет подряд человек-Маяковский убивал в себе поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил». — М.И. Цветаева написала это в статье «Искусство при свете совести» (1932), опубликованной в журнале «Современные записки» (1932. № 50; 1933. № 51). Адамович ухитрился не прочитать ее, хотя сам напечатал в № 50 статью и рецензию.

...это приблизительно то же, что писал и говорил Пастернак. — В очерке «Люди и положения» (1956) Б.Л. Пастернак написал: «Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого, что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие» (Пастернак Б.Л. Полн. собр. соч.: В 11 т. М.: Слово/Slovo, 2004. Т. 3. С. 331).

С. 381. ...и по поводу «неталантливости» Маяковского в придумывании неологизмов... — У С. Космана: «Маяковский был очень высокого мнения о своем таланте создавать “новые слова”, вроде “овазиться”, “иззахолустничать”, “мышиться” и т.п. В действительности же попытки словотворчества Маяковского были неудачны, именно в них проявилась с большей ясностью неталантливость Маяковского. Русский язык не удержал ни одного из многочисленных нелепых неологизмов, созданных Маяковским, ни один из них не вошел в русский язык» (Косман С. Маяковский. Миф и действительность. Париж: Б.и., 1968. С. 33).

...его отношением к Ахматовой... — У С. Космана: «Об Анне Ахматовой Маяковский выразился на диспуте в Московском Художественном театре так: “Великий грех критика Осинского тот, что он считает хорошей писательницей Анну Ахматову, которую лучше назвать Ахматкиной. Стишки Ахматовой очень удобно петь на мотив: “Ехал на ярмарку ухарь-купец”. Корреспондент “Правды” прибавляет: “Маяковский изображает сие в натуре на потеху публике”. В другой раз Маяковский назвал Ахматову “поэтом дурной репутации... никчемным, жалким и смешным анахронизмом”» (Косман С. Маяковский. Миф и действительность. Париж: Maison du livre étranger, 1968. С. 11).

...«заговорило ожившее лампадное масло». — См. выше примеч. к статье «Воспоминания С.М. Алянского о Блоке. Сергей Городецкий».

«Эх, сыть, эх, жарь, ~ Обокрал Уитмена». — Частушка, впервые опубликованная в подборке под названием «Частушки (О поэтах)» с пометой «Записал С. Есенин» (Голос трудового крестьянства. 1918. 19 мая. № 127. С. 2). Позже ее приводил А.Б. Мариенгоф в своем «Романе без вранья» (Л.: Прибой, 1927. С. 96), И.В. Грузинов в книге «С. Есенин разговаривает о литературе и искусстве» (М.: Всероссийский Союз поэтов,

1927. С. 9) и сам Адамович в «Table talk» (Новый журнал. 1961. № 64. С. 110).

«Раковый корпус». Повесть А. Солженицына

Впервые: Русская мысль. 1968. 23 мая. № 2688. С. 4; то же: Новое русское слово. 1968. 25 августа.

С. 381. ...*замечательная, необыкновенная книга*. — Солженицын А. Раковый корпус. Париж: YMCA-Press, 1968.

С. 383. ...*«все прочее — литература»*... — завершающая строка стихотворения П. Верлена «Искусство поэзии» («Art poétique», 1874).

...*разговор о толстовском рассказе «Чем люди живы»*... — Этому эпизоду в «Раковом корпусе» посвящена отдельная глава (Ч. 1. Гл. 8) и затем в нескольких следующих главах герои то и дело возвращаются к своим размышлениям.

С. 383–384. ...*визит его дочери, ~ возмущающейся «мерзким, длинным словом «ре-а-би-ли-тирован»*, ~ *«каждому новому периоду надо быть созвучным»*. — Адамович объединяет два визита в один. В «Раковом корпусе» П.Н. Русанова посещает сперва жена Капитолина Матвеевна, которую возмущает «мерзкое, длинное слово “ре-а-били-ти-рован”» (Ч. 1. Гл. 13), а затем дочь Авиета Павловна, которая учит отца, что «каждому новому периоду мы должны быть созвучны!»

С. 386. ...*в Россию, и не лично Солженицыну, а его читателям, если в конце концов удивительная его книга окажется им доступна*. — В СССР «Раковый корпус» ходил в самиздате и был впервые напечатан лишь в 1990 г.

...*прочтите «Раковый корпус»*. — Прочесть роман Солженицына Адамович настоятельно советовал и А.В. Бахраху в письме от 8 мая 1968 г.: «Прочтите Солженицына со вниманием <...> Но прочтите только в том случае, если у Вас есть обе части. Весь цимес во второй. Я тоже начал читать без большого восхищения. Но это замечательная книга, какой давно не было, — не помню даже, когда. Вы удивитесь, если я скажу: со времен Толстого. Но, пожалуй, это именно так. Роман растянут, с массой лишних деталей, но в целом, особенно под конец, это вещь перворазрядная. Это меньше “Смерть Ив<ана> Ильича” на новый лад, как может показаться вначале, чем “документ нашего времени”. “Живаго” был тоже “документом”, но он — легковесная литература рядом с этим “Корпусом”. Я подумал: а Бунин, лучше или хуже? Не хуже, Бунин писал даже лучше, но это настолько значительнее всего бунинского, что “Арсеньева” после этого смешно и вспомнить. Словом, прочтите — но повторяю, только *обе части подряд*» (Письма Георгия Адамовича А.В. Бахраху (1966–1968) / Публ. В. Крейд // Новый журнал. 2002. № 228. С. 178).

Памяти Тургенева. К 150-летию со дня его рождения

Впервые: Русская мысль. 1968. 14 ноября. № 2712. С. 1. И.С. Тургенев родился 28 октября (9 ноября) 1818 г.

С. 387. ...*когда-то удивившим Андре Моруа умением показать человека «под разными углами»*... — См. выше примеч. к статье «Заметки о Тургеневе».

С. 388. ...*чудесные венецианские главы, ~ когда Елена с умирающим Инсаровым слушают новую, впервые поставленную оперу «Травиата»*. — См. выше примеч. к статье «Заметки о Тургеневе».

...и в особенности «Клары Милич»... — Имеется в виду повесть И.С. Тургенева «После смерти (Клара Милич)» (1883).

С. 389. ...*финальный «лопух на могиле» неизбежен и в этом смысле Базаров прав*. — См. выше примеч. к статье «Заметки о Тургеневе».

...«*постепеновищины*», — слово, Тургеневым придуманное... — И.С. Тургенев в романе «Новь» (Ч. I. Гл. XX) употребляет слово «постепеновец», но придумал его не он, слово встречалось в русской печати еще в 1860-е гг. А слово «постепеновищина» стало употребляться, наоборот, позднее, уже в конце XIX в.

Наш народ спит. Но сдастся мне, если что его разбудит, это будет не то, что мы думаем... — не вполне точная цитата из романа «Новь» (Гл. XXX). У И.С. Тургенева Нежданов в постскриптуме своего письма к Силину написал: «Да, наш народ спит... Но, мне сдаётся, если что его разбудит — это будет не то, что мы думаем...» (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.: Наука, 1982. Т. 9: Сочинения. С. 329). Постскриптум этот был добавлен Тургеневым в корректуре при первой публикации романа в журнале «Вестник Европы», см. коммент. к тому: Там же. С. 506.

Петербургский университет

Впервые: Русская мысль. 1969. 6 марта. № 2728. Приложение. С. II; то же: Новое русское слово. 1969. 2 марта. № 20446. С. 2.

С. 390. ...*к 150-летию со дня его основания*... — Петербургский университет был основан 8 (20) февраля 1819 г. в результате переименования и последующей реорганизации Главного педагогического института, ведущего свою историю от Учительской семинарии, основанной в 1786 году.

Я поступил на историко-филологический факультет... — На историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета Адамович поступил в 1910 г.

...*курс приват-доцента Каля о музыке Шумана*. — Алексей Федорович Каль (1878—после 1923) окончил в 1901 г. исто-

рико-филологический факультет Петербургского университета, занимался историей музыки у Гуго Римана и Кречмара в Лейпциге, защитил и опубликовал диссертацию: *Kahl A. Die Philosophie der Musik nach Aristoteles*. Leipzig: Druck von Breitkopf & Härtel, 1902. По возвращении в Россию приват-доцент Санкт-Петербургского университета, преподавал историю музыки. Сотрудничал в музыкальных изданиях («Русская музыкальная газета», «Театр и искусство»). Специально занимался Р. Шуманом, читал курс о нем, опубликовал ряд статей.

...восторженного «Флорестана» Каля, как он сам себя величал... — В 1833 г. Роберт Шуман придумал музыкальное братство «Давидсбунд» для борьбы с мещанским отношением к музыке, куда включил своих современников (Шопен, Лист, Паганини, Клара Вик), композиторов прошлого (Бетховен, Шуберт, И.С. Бах) и выдуманных персонажей — Эвзебия и Флорестана. В шумановских «Танцах давидсбюндлеров» (Op. 6) первый воплощал лирическое, второе — импульсивное начало.

С. 391. *...деканом факультета был Ф. Браун, секретарем М. Ростовцев, будущая всесветная знаменитость.* — Филолог Федор Александрович Браун (1862—1942) был деканом с 1906 по 1920 г. (с перерывами) и проректором Петербургского университета в 1906—1908 гг. Историк Михаил Иванович Ростовцев (1870—1952) был секретарем историко-филологического факультета недолгий срок, до него этот пост занимал Ф.А. Браун, затем С.А. Жебелев.

...только что оконченной, постылой гимназии. — Адамович окончил 1-ю петербургскую гимназию в 1910 г.

В первый мой университетский год наиболее усердно посещал я лекции историка Платонова... — Сергей Федорович Платонов (1860—1933) читал лекции по русской истории с 1882 г., стал приват-доцентом в 1889 г., профессором в 1890 г. и вышел на пенсию в 1913 г., когда Адамович был студентом третьего курса.

...Овсяннико-Куликовский или Петражицкий... — Дмитрий Николаевич Овсяннико-Куликовский (1853—1920) читал лекции по психологии художественного творчества, Лев Иосифович Петражицкий (1867—1931) — по теории права.

...только позднее я узнал, что это — его «конек». — В 1899 г. С.Ф. Платонов защитил докторскую диссертацию «Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI—XVII вв.»

...лекции Ф.Ф. Зелинского по древнегреческой культуре. — Фаддей Францевич Зелинский (1859—1944) преподавал в Петербургском университете с 1887 по 1922 г. Н.П. Анциферов в своих воспоминаниях писал, что Ф.Ф. Зелинский был «одним из наиболее популярных профессоров <...> слушать его

собирались студенты всех факультетов» (Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспоминания / Вступ. ст., сост., примеч. и аннот. указ. имен А.И. Добкина. М.: Феникс; Культурная инициатива, 1992. С. 157).

С. 391–392. *...Ростовцева, крупнейшего специалиста по Древнему Риму, мы считали «сухарем» и популярностью он не пользовался.* — Н.П. Анциферов пишет об этом мягче: «В популярности Зелинскому намного уступал Михаил Ростовцев. Студенты других факультетов реже посещали его лекции» (Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспоминания / Вступ. ст., сост., примеч. и аннот. указ. имен А.И. Добкина. М.: Феникс; Культурная инициатива, 1992. С. 161).

С. 392. *Ал. И. Введенский, профессор философии...* — Александр Иванович Введенский (1856–1925) преподавал в Петербургском университете с 1877 по 1925 г., читал курсы логики, психологии, истории философии, вел семинары по философии Канта, Аристотеля, Платона.

...читал лекции приват-доцент Лосский, приверженец «интуитивизма»... — Николай Онуфриевич Лосский (1870–1965) стал приват-доцентом Санкт-Петербургского университета в 1900 г., экстраординарным профессором в 1916 г. Степень доктора философии он получил в 1907 г., защитив диссертацию «Обоснование интуитивизма».

Лингвистическое отделение, во главе с Шахматовым и тогда еще молодым Щербой... — Алексей Александрович Шахматов (1864–1920) был приват-доцентом Петербургского университета с 1908 г., профессором с 1910 г. Лев Владимирович Щерба (1880–1944) стал приват-доцентом Петербургского университета в 1909 г., когда ему не было и тридцати лет.

С. 393. *...лекции Венгерова или Бороздина...* — Семен Афанасьевич Венгеров (1855–1920) читал лекции по истории русской литературы с 1897 г., в 1899 г. был отстранен за неблагонадежность и возобновил преподавание в университете в 1906 г. С 1908 г. руководил пушкинским семинарием. Александр Корнилиевич Бороздин (1863–1918) читал лекции по истории русской литературы с 1896 г., специализировался по старообрядческой литературе. С 1912 г. руководил семинарием по изучению творчества Ф.М. Достоевского.

Проф. Шляпкина, стоявшего, если не ошибаюсь, во главе отдела... — Илья Александрович Шляпкин (1858–1918) был приват-доцентом Петербургского университета с 1888 г., профессором с 1901 г., занимался преимущественно древнерусской литературой. Деканом исторического отделения он был одно время на высших женских курсах, где преподавал с 1890 г.

...насмешливый рассказ Гумилева ~ «Он меня принял за гимназиста». — Ранее Адамович уже приводил этот эпизод

в несколько ином варианте, см.: *Адамович Г.В. Мои встречи с Анной Ахматовой // Воздушные пути. 1967. № 5. С. 99.*

...в качестве вольнослушателя... — Н.С. Гумилев был зачислен на романо-германское отделение историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета в октябре 1912 г., откуда уволен «за неуплату» 5 марта 1915 г., когда находился в действующей армии.

...под руководством проф. Петрова... — Дмитрий Константинович Петров (1872—1925), медиевист, историк всеобщей литературы, специалист по романским языкам, переводчик, с 1899 г. был приват-доцентом историко-филологического факультета университета, с 1908 г. экстраординарным профессором.

...штаб-квартира недавно возникшего акмеизма... — Н.С. Гумилев, О.Э. Мандельштам, интересуясь проблемами поэтики, участвовали в романо-германском семинаре при историко-филологическом факультете Петербургского университета. В начале 1913 г. Н.С. Гумилев читал реферат об «Эмалях и камнях» Теофиля Готье, О.Э. Мандельштам — доклад о Франсуа Вийоне. В 1915 г. Б.М. Эйхенбаум прочитал доклад «О поэзии Анны Ахматовой».

...первые русские формалисты, впоследствии люди с крупными именами... — Романо-германский семинар стал первой лабораторией формального метода. В нем участвовали В.М. Жирмунский и Б.М. Эйхенбаум. С романо-германским семинаром также были связаны поэты, переводчики, литературные критики В.А. Пяст, Н.С. Гумилев, О.Э. Мандельштам, К.В. Мочульский, В.В. Гиппиус, М.Л. Лозинский, Г.Л. Лозинский, Д.И. Выгодский.

Солженицын

Впервые: Русская мысль. 1969. 20 марта. № 2730. Приложение. С. I.

С. 394. *...Великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате».* — См. выше примеч. к статье «Облик и дух советской литературы».

С. 395. *«Матренин двор»* — рассказ А.И. Солженицына, опубликованный в первом номере «Нового мира» за 1963 год.

...тех «судеб», от которых, по Пушкину, «защиты нет». — Отсылка к заключительным строкам поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» (1827).

С. 396. *Один из них, в «Круге первом», утверждает даже, что наконец вполне свободен, — потому что у него все отнято и ему нечего больше бояться.* — Персонаж романа «В круге первом» инженер Бобынин говорит Абакумову: «Поймите

и передайте там, кому надо выше, что вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у людей *не все*. Но человек, у которого вы отобрали все, — уже неподвластен вам, он снова свободен» (Солженицын А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2011. Т. 2. С. 103).

Шулубинский «осколок мирового духа»... — В романе «Раковый корпус» (Ч. 2. Гл. 34) Шулубин говорит Костоготову: «А иногда я так ясно чувствую: что во мне — это не все я. Что-то уж очень есть неистребимое, высокое очень! Какой-то осколок Мирового Духа. Вы так не чувствуете?» (Солженицын А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2012. Т. 3. С. 404).

...его предсмертные, страстные призывы к нравственному социализму... — В романе «Раковый корпус» (Ч. 2. Гл. 31) Шулубин излагает Костоготову свое кредо: «Именно для России, с нашими раскаяниями, исповедями и мятежами, с Достоевским, Толстым и Кропоткиным, один только верный социализм есть: нравственный! <...> Явить миру такое общество, в котором все отношения, основания и законы будут вытекать из нравственности — и только из нее! Все расчеты: как воспитывать детей? к чему их готовить? на что направить труд взрослых? и чем занять их досуг? — все это должно выводиться только из требований нравственности. Научные исследования? Только те, которые не пойдут в ущерб нравственности» (Там же. С. 370).

...таинственный, как видение, Грааль... — См. главу «Замок святого Грааля» романа «В круге первом» (Гл. 46), в которой художник Кондрашев показывает Нержину эскиз: «Эскиз главной картины моей жизни. Я ее, наверно, никогда не напишу. Это то мгновение, когда Парсифаль впервые увидел — замок! святого!! Грааля!!!» (Солженицын А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2011. Т. 2. С. 331).

Стихи Беллы Ахмадулиной

Впервые: Русская мысль. 1969. 17 апреля. № 2734. С. 4.

С. 397. *В предисловии Н. Тарасовой к недавно выпущенному издательством «Посев» сборнику стихов Беллы Ахмадулиной...* — Тарасова Н. От составителя // Ахмадулина Б. Озноб: Избранные произведения / Под ред. Н. Тарасовой. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1968. С. 5—6.

С. 398. *...«стать огнем или сгореть в огне».* — Из стихотворения И.Ф. Анненского «Мучительный сонет».

...сменившееся у Гумилева резким отрицанием лишь в самые последние дни жизни. — Наиболее подробно Адамович написал об этом в заметке «Анненский и Гумилев», где высказался и о возможных причинах столь резкого поворота: «Гумилев

рано или поздно должен был ощутить в Анненском враждебную себе силу, мешающую ему в его литературной стратегии и борьбе за власть. Не было вероятно никаких сделок с совестью. Он искренне пересмотрел свои былые оценки в соответствии со своими новейшими взглядами. Гумилеву представлялось, что в поэзии важнее всего ясность и боевая, неуступчивая, победоносная мужественность, и перечитывая «Кипарисовый ларец», он не мог не убедиться, что этих свойств в хрупкой, скрытной, уклончивой и порой будто сомнамбулической поэзии Анненского не найти. Оттого и решил он, что пора сбросить Анненского с пьедестала, над возведением которого сам же усердно потрудился» (Адамович Г. Анненский и Гумилев // Новое русское слово. 1965. 2 мая. С. 8).

С. 399. ...«не стой на ветру!» — из стихотворения А.А. Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью...» (1911).

...в прекрасном, неподдельно-взволнованном отрывке о встрече с Пастернаком. — Адамович имеет в виду «Главы из поэмы (О Пастернаке)», где при рассказе о встрече автор от волнения переходит на прозу: «Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских деревьев поздно вечером, в октябре, более двух лет назад. На нем был грубый и опрятный костюм охотника: синий плащ, сапоги и белые вязанные варежки. От нежности к нему, от гордости к себе я почти не видела его лица — только ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз. <...> Спиной и ладонями я впитывала диковинные приемы его речи — нарастающее пение фраз, доброе восточное бормотание, обращенное в невнятный трепет и гул дощатых перегородок. Я, и дом, и кусты вокруг нечаянно попали в обильные объятия этой округло-любовной, величественно-деликатной интонации. <...> он как-то легко и по-домашнему ладил с корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, — с выпяченными, дешево сверкающими звездами, с впадиной на месте луны, с грубо поставленными, неудобными деревьями» (Ахмадулина Б. Озноб: Избранные произведения / Под ред. Н. Тарасовой. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1968. С. 95—96).

...в юмористическом повествовании о некоем ученом и хлебосольном литературоведе. — Имеется в виду стихотворение Б.А. Ахмадулиной «Описание обеда» («Как долго я не высыпалась...») (1967).

С. 400. «Но тело мое опустело...» — из стихотворения Б.А. Ахмадулиной «Прощание» (1960).

«Врач объяснил: ваша болезнь проста...» — из стихотворения Б.А. Ахмадулиной «Озноб» (1962).

«Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить». — Заключительная строка стихотворения О.Э. Мандельштама «Природа — тот же Рим и отразилась в нем...» (1914).

Роман Бориса Шлёцера

Впервые: Русская мысль. 1969. 16 октября. № 2760. С. 3. С редакционным примечанием: «Настоящая статья Георгия Адамовича, была написана до получения известия о кончине Бориса Шлёцера». Б.Ф. Шлёцер скончался 7 октября 1969 г.

С. 400. *«Мое имя — никто», «Mon nom est personne», роман Бориса Шлёцера... — Schloezer B. Mon nom est personne. Paris: Seghers, 1969.*

С. 403. *Борис Шлёцер давно уже перестал быть русским писателем и составил себе, как эссеист и критик, крупное имя в литературе французской.* — Борис Федорович Шлёцер (Schloezer; 1881—1969) в эмиграции был секретарем редакции парижского журнала «La Revue musicale», постоянным автором «La Nouvelle revue française», на французском языке выпустил книги о Скрябине, Гоголе, Бахе и множество статей о музыке, литературе, философии, а также переводы произведений Гоголя, Достоевского, Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.К. Толстого, Лескова, Чехова, Бунина, Шестова и др. До 1940 г. параллельно с этим продолжал публиковаться и на русском языке, в том числе в тех изданиях, где сотрудничал Адамович («Звено», «Современные записки», «Последние новости»). Адамович переписывался с ним, см.: «Не поспособствуете ли советом?»: Письма Г.В. Адамовича, Н.А. Оцупа, А.М. Ремизова из архива Б.Ф. Шлёцера / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. М.В. Ефимова и О.А. Коростелева // Русская литература. 2014. № 3. С. 200—212.

...под псевдонимом «никто» выпустил первый свой сборник стихов Иннокентий Анненский, правда, в слегка завуалированном виде — «Ник. Т-о»? — Речь идет о сборнике И.Ф. Анненского «Тихие песни» (1904).

Памяти Корнея Чуковского

Впервые: Русская мысль. 1969. 6 ноября. № 2763. С. 2.

С. 403. *Он начал свою литературную деятельность больше шестидесяти лет тому назад и почти сразу обратил на себя внимание.* — К.И. Чуковский начал публиковаться в «Одесских новостях» в 1901 г.

С. 403–404. *Едва ли не основной заслугой Чуковского надо признать долгое, страстное, убежденное отстаивание Некрасова как одного из великих русских поэтов...* — К.И. Чуковский на протяжении нескольких десятилетий, с 1910-х гг. занимался изучением жизни и творчества Н.А. Некрасова, опубликовал ряд рукописей из его архива, множество работ о Некрасове, подготовил несколько изданий,

в том числе академическое собрание: Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: В XII т. / Под общ. ред. В.Е. Евгеньева-Максимова, А.М. Еголина и К.И. Чуковского. М.: Гослитиздат, 1948—1953.

С. 404. ...*вопреки упорно державшемуся мнению, что поэзия в некрасовских стихах будто бы «и не ночевала»*... — см. выше примеч. к статье «За и против Маяковского».

...*вопреки пренебрежительному утверждению Влад. Соловьева, что ничего, кроме «расчетливого обмана» и «шумящего балагана», в творчестве Некрасова нет*... — См. выше примеч. к статье «Встреча». Стихи Софии Прегель».

Некрасову Чуковский остался верен до конца жизни и посвятил ему большое, обстоятельное исследование. — Имеется в виду монография К.И. Чуковского, над которой он работал несколько десятилетий и за которую в 1962 г. получил Ленинскую премию, — «Мастерство Некрасова» (М.: ГИХЛ, 1952).

В одной из своих недавних книжек ~ «У нас приволье, выйдешь за ворота, тут же — зеленый массив»... — Не совсем точная цитата из книги К.И. Чуковского «Живой как жизнь»: «В поезде молодая женщина, разговорившись со мною, расхваливала свой дом в подмосковном колхозе:

— Чуть выйдешь за калитку, сейчас же *зеленый массив!*

— В нашем *зеленом массиве* так много грибов и ягод!

И видно было, что она очень гордится собою: у нее такая “культурная” речь» (Чуковский К. Живой как жизнь. М.: Молодая гвардия, 1963. С. 124).

Есть замечательный репинский портрет Чуковского. — И.Е. Репин в 1910 г. в Пенатах написал маслом портрет К.И. Чуковского, жившего в то время неподалеку. См. запись К.И. Чуковского в дневнике 20 апреля 1910 г.: «Репин в 3 сеанса написал мой портрет» (Чуковский К.И. Собр. соч.: В 15 т. М.: Терра, 2013. Т. 11. С. 159). Портрет был подарен К.И. Чуковскому, но в 1912 г. по недоразумению продан с репинской выставки в Риме М.О. Цетлину. Подробно непростую историю портрета К.И. Чуковский воспроизвел на нескольких страницах своего дневника 14 апреля 1968 г.: Чуковский К.И. Собр. соч.: В 15 т. М.: Терра, 2013. Т. 11. С. 477—480. Ныне портрет находится в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.

Православный язычник (О книге Габриэля Мацнева «Comme le feu mêlé d'aromates»)

Впервые: Русская мысль. 1969. 13 ноября. № 2764. С. 6.

С. 404. ...*отвечает внутреннему складу книги Габриэля Мацнева*... — Matzneff G. Comme le feu mêlé d'aromates. Paris: La Table Ronde, 1959.

С. 405. ...цитату из Гераклита. Не имея под рукой греческого текста, не знаю, как лучше перевести с французского: пожалуй, «Пламя, смешанное с ароматами»... — Из «Фрагментов» (31) Гераклита. В переводе В.О. Нилендера: «Огонь, благодаря управляющему всем “Логосу” и Богу — с помощью воздуха обращается во влагу — как бы в некое семя миропорядка, которое он зовет “морем”; а из него снова рождается земля и небо и объемлющий их (воздух)» (Гераклит Ефесский. Фрагменты. М.: Мусaget, 1910. С. 15–17). Лукреций, излагая Гераклитову картину мира в своей книге «О природе вещей» (Кн. 1. 784–786), писал об огне, который обращается в «токи воздуха». В переводе Ф.А. Петровского: «...сначала огонь обращается в токи / Воздуха, воздухом дождь порождается, дождь образует / Землю, и снова затем из земли все выходит обратно» (Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М.: Художественная литература, 1983. С. 47).

С. 405–406. Достаточно вспомнить «Темный Лик», главы о «Христе, судии мира» и об «Иисусе сладчайшем», а в особенности удивительные примечания к помещенному в той же книге рассказу Сикорского о сектантах-самосожженцах... — Книга В.В. Розанова «Темный лик. Метафизика христианства» (СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1911) включила часть материалов из его запрещенной и уничтоженной книги «В темных религиозных лучах» (СПб., 1910). Другая часть вышла отдельным изданием «Люди лунного света» (СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1911). В изначальном варианте труд Розанова увидел свет 84 года спустя в его собрании сочинений под редакцией А.Н. Николюкина: *Розанов В.В. Собр. соч.* [В 30 т. Т. 3:] В темных религиозных лучах. М.: Республика, 1994. Статья «Христос — судия мира», вошедшая в книгу «Темный лик», была впервые опубликована под названием «Обоснованиях церковной юрисдикции, или О Христе — Судии мира» (Новый путь. 1903. № 4. С. 134–150). «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» — доклад Розанова, прочитанный на заседании Религиозно-философского общества 21 ноября 1907 г., впервые опубликованный в «Русской мысли» (1908. № 1. С. 33–42), а затем в «Записках С.-Петербургского Религиозно-философского общества» (СПб., 1908. Вып. II. С. 19–27). Текст этого доклада стал важнейшей частью книги «Темный лик». В эту книгу (раздел «Русские могилы») была включена также статья профессора психиатрии и нервных болезней Киевского университета св. Владимира Ивана Алексеевича Сикорского (1845–1919) «Эпидемические волновые смерти и смертоубийства в Терновских хуторах (близ Тирасполя). Психологические исследования» (опубликована во втором томе журнала «Вопросы нервно-психической меди-

цины» (Киев, 1897), в том же году издана в Киеве отдельной брошюрой). Эту статью Розанов сопровождал обширными примечаниями, в которых доказывал, что стремление к добровольному уходу из жизни заложено в самой сути христианства.

С. 406. ...«все добро зело»... — Быт. 1:31.

...«возмущился духом при виде города, полного идолов». — Деян. 17:16.

Писания его были уничтожены, и только по гневным возражениям Тертуллиана, Оригена и других... — Доктрина Маркиона (ок. 85—ок. 160) известна лишь по цитатам и полемическим выступлениям его противников: Тертуллиана, Оригена, Ириния Лионского, Ипполита Римского, Климента Александрийского, Ефрема Сирина и др.

...под впечатлением посланий апостола Павла, написанных до Евангелий... — Имеются в виду четырнадцать посланий апостола Павла: «Послание к Римлянам», «1-е к Коринфянам», «2-е к Коринфянам», «Послание к Галатам», «Послание к Ефесянам», «Послание к Филиппийцам», «Послание к Колоссянам», «1-е к Фессалоникийцам», «2-е к Фессалоникийцам», «1-е к Тимофею», «2-е к Тимофею», «Послание к Титу», «Послание к Филимону», «Послание к Евреям».

С. 406—407. ...у альбигойцев с их трагической участью, недалеко от участи розановских самосожженцев! — Имеется в виду альбигойская (или катарская) ересь, распространившаяся в Западной Европе в XII и XIII в. Альбигойцы исповедовали вероучение, близкое к манихейству, видя зло в материальном мире, и считали себя истинными приверженцами христианской веры, критикуя католичество за его чересчур мирской характер. В начале XIII в. папа Иннокентий III объявил крестовый поход против альбигойцев (1209—1229), а затем для борьбы с ними была создана папская инквизиция в 1229—1232 гг. Тех, кто не желал отречься от ереси, сжигали на костре.

С. 407. ...Августин, дошел в своем возвеличении аскетизма до утверждения, что Царство Божие настало бы много быстрее, если бы люди отказались от деторождения... — См., напр., рассуждения Августина в трактате «О Граде Божием» (Кн. 14. Гл. XX).

...«стиль это человек»... — выражение французского естествоиспытателя Жоржа Луи Леклерка Бюффона (Buffon; 1707—1788) из «Рассуждения о стиле», произнесенного 25 августа 1753 г. после избрания его в члены французской Академии. Подробно см.: Мильчина В. О Бюффоне и его «Стиле» // Новое литературное обозрение. 1995. № 13. С. 237—241.

Прекрасная глава о покойном о. Петре Струве, в особенности заключение ее... — Т.е. о протоиерее Петре Алексеевиче Струве (1925—1968), внуке П.Б. Струве.

С. 408. *Константин Леонтьев любил и небо, и море, и все средиземные красоты не меньше его, а умер оптинским иноком.* — За несколько месяцев до смерти, 23 августа 1891 г., в Предтечевом скиту Оптиной пустыни К.Н. Леонтьев принял тайный постриг с именем Климент.

Памяти ушедших. Р.Н. Гринберг

Впервые: Русская мысль. 1970. 22 января. № 2774.

С. 408. ...*«монпарнасский» период нашей эмигрантской литературы.* — См. об этом: *Коростелев О.А.* «Парижская нота» и противостояние молодежных поэтических школ русской литературной эмиграции // Литературоведческий журнал. 2008. № 22. С. 3—50.

...*«Поэма без героя»...* — Поэмой открывался первый номер альманаха: *Ахматова А.* Поэма без героя // Воздушные пути. 1960. № 1. С. 5—42. В редакционном предисловии сообщалось: «Поэтический триптих Анны Андреевны Ахматовой “Поэма без героя” — редкое произведение большой формы в творчестве одного из первых поэтов России — печатается здесь без ведома автора. Эта поэма, по неизвестной нам причине, нигде раньше не печаталась» (С. 3).

...*ряд нигде еще не появлявшихся стихотворений Осипа Мандельштама.* — Р.Н. Гринберг опубликовал присланные ему из СССР большие подборки стихов О.Э. Мандельштама в трех номерах подряд: «57 стихотворений» (Воздушные пути. 1961. № 2. С. 7—69); «Пять стихотворений» (Воздушные пути. 1963. № 3. С. 19—23); «Пять стихотворений» (Воздушные пути. 1965. № 4. С. 162—166).

...*в первых номерах журнала «Опыты», вышедших под его редакцией.* — Под редакцией Р.Н. Гринберга в 1953—1954 гг. вышли первые три номера «Опытов», остальные шесть номеров выходили под редакцией Ю.П. Иваска в 1955—1958 гг. Подробнее см.: *Коростелев О.А.* «Опыты» в отзывах современников // Литературоведческий журнал. 2003. № 17. С. 3—46.

Пушкин

Впервые: Русская мысль. 1970. 29 января. № 2775. С. 1.

С. 409. *Каждый год 29 января мы вспоминаем Пушкина.* — А.С. Пушкин умер 29 января (10 февраля) 1837 г.

С. 409—410. ...*«роскошную», — как выразился Тургенев о Шуберте...* — И.С. Тургенев очень высоко ценил Шуберта, употребляя по отношению к нему различные обороты в превосходных степенях: «божественный», «великолепно», «пре-

лестную», «блаженство благоговения» и др., но эпитета «ро-скошный» обнаружить не удалось.

С. 410. *Именно это восьмистишие представлялось Флоберу «плоским»...* — См. примеч. к статье «“Весть” — стихи поэта».

«Как некий херувим»... — из «Моцарта и Сальери» (1830) А.С. Пушкина.

С. 411. *...заметил и в гроб сходя благословил»...* — из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл. 8. II).

Гениальный варвар... — Отсылка к известному отзыву о Державине из письма А.С. Пушкина А.А. Дельвигу начала июня 1825 г.: «...читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски — а русской грамоты не знал за недосугом» (Пушкин А.С. ПСС: В 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. X. С. 148).

...до ее «страшных лет», если еще раз сослаться на Блока. — Отсылка к стихотворению А.А. Блока «Рожденные в года глухие...» (1914).

Пушкин — мой отец, — сказал Толстой... — С.А. Толстая записала в дневнике слова Л.Н. Толстого: «Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться» (Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1928. С. 35).

Солженицын — Нобелевский лауреат

Впервые: Русская мысль. 1970. 15 октября. № 2812. С. 1.

С. 412. *Солженицын получил Нобелевскую премию!* — О при-суждении А.И. Солженицыну Нобелевской премии объявили 8 октября 1970 г.

...вроде исключения Солженицына из Союза писателей. — А.И. Солженицына исключили из Союза писателей в ноябре 1969 г., после того, как за границей были опубликованы романы «В круге первом» и «Раковый корпус».

Года два тому назад Евгений Евтушенко в нашушедшей телеграмме... — В августе 1968 г. Е.А. Евтушенко послал Брежневу телеграмму с протестом против ввода войск в Чехословакию. См. об этом в воспоминаниях: *Евтушенко Е.* Волчий паспорт. М.: Вагриус, 1998. С. 102; *Аксенов В.* Нас тянет в Коктебель ушедших лет // Наше наследие. 2007. № 82. С. 102.

...в согласи с суждением Алданова, сказавшего однажды, притом в присутствии Бунина, что началом ее были юношеские стихи Пушкина, а завершением толстовский «Хаджи-Мурат». — См. выше примеч. к статье «Облик и дух советской литературы».

С. 413. *...разговор умирающего Шулубина с Костоготовым в конце романа, — разговор, вполне достойный сравнения с не-*

забываемыми карамазовскими беседами... — См. выше примеч. к статье «Солженицын».

С. 414. ...чудесный «Матренин двор», — вызвавший слезы у Анны Ахматовой... — А.А. Ахматова в беседе с Н.А. Струве сказала: «Когда вышла его большая вещь (“Один день Ивана Денисовича”), я сказала: это должны прочесть все 200 миллионов. А когда я читала “Матренин двор”, я плакала, а я редко плачу» (Струве Н. Восемь часов с Ахматовой // Ахматова А. Сочинения: В 3 т. Мюнхен: Международное литературное содружество, 1968. Т. 2. С. 342).

...не случайно он говорит об «осколочке Мирового Духа»... — См. выше примеч. к статье «Солженицын».

Бунин — обличитель

Впервые: Русская мысль. 1970. 22 октября. № 2813. С. 7; то же: Новое русское слово. 1970. 25 октября.

С. 415. ...к столетию со дня его рождения... — И.А. Бунин родился 10 (22) октября 1870 г.

...к тому «все позволено»... — См. выше примеч. к статье «Алданов — человек и писатель».

...с Достоевским, впервые утвержденным в своем равенстве Толстому и в противостоянии ему... — О Достоевском соразмерно его масштабу заговорили литературные критики и философы лишь на рубеже веков: Д.С. Мережковский, В.В. Розанов, Л.И. Шестов, Н.А. Бердяев и др. Д.П. Святополк-Мирский писал об этом: «Литературное его влияние при жизни и в восьмидесятые годы было незначительным <...> Но влияние Достоевского в целом, как феномен, невозможно переоценить. Предреволюционное поколение, особенно те, кто родился между 1865 и 1880 гг. (это значит — странное совпадение! — между датами появления его первого и последнего великих романов), были буквально пропитаны его идеями и его мышлением» (Мирский Д. История русской литературы с древнейших времен по 1925 г. Новосибирск: Изд-во «Свиный и сыновья», 2005. С. 480).

С. 416. ...все его сверстники, за исключением Вячеслава Иванова... — См. выше примеч. к статье «Судьба Иннокентия Анненского».

Когда-то Чехов сказал Бунину: «Вот умрет Толстой и все пойдет к черту»... — См. примеч. к статье «Восьмидесятилетие Бориса Константиновича Зайцева».

В недавно вышедшей книге покойного Н. Валентинова «Два года с символистами»... — Валентинов Н. Два года с символистами / Под ред., с предисл. и примеч. проф. Г.П. Струве. Стэнфорд, 1969.

С. 417. ...«усмешкой горькою обманутого сына»... — У М.Ю. Лермонтова в стихотворении «Дума» (1838) немного иначе: «Насмешкой горькою обманутого сына...».

Нобелевская премия

Впервые: Русская мысль. 1970. 10 декабря. № 2820. С. 1.

С. 419. *...в конце прошлого века Альфред Нобель завещал чуть ли не все свое огромное состояние на ежегодное присуждение премий...* — 27 ноября 1895 г. в Шведско-норвежском клубе в Париже Альфред Бернхард Нобель (Nobel; 1833—1896) подписал завещание, согласно которому большая часть его состояния — около 31 миллиона шведских марок — должна была пойти на учреждение премий за достижения в химии, физике, медицине, литературе и за деятельность по укреплению мира.

...первое же присуждение премии по литературе, в 1901 году, вызвало недоумение и недовольство. — Известие о том, что первым лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1901 г. стал французский писатель Сюлли-Прюдом, было воспринято неоднозначно — многие рассчитывали, что лауреатом станет Лев Толстой. Группа шведских писателей (включая будущую нобелевскую лауреатку Сельму Лагерлеф) во главе с Августом Стриндбергом выступила с открытым письмом, протестуя против решения Академии и выступая в поддержку Толстого.

...ни после «Воскресения», ни после «Не могу молчать»... — Многих современников возмутили нападки Л.Н. Толстого в романе «Воскресение» (1889—1899) на церковные, общественные, судебные порядки, а еще больше его протест против смертной казни в статье «Не могу молчать» (1908). См. публикацию нескольких писем из отдела рукописей Государственного музея Л.Н. Толстого: *Гнатюк К.* «Твои писульки бесам читать приятно...»: ругательные письма обрушились на Льва Толстого к концу жизни // Родина. 2016. № 8. С. 108—111.

С. 420. *...«Есть с чего с ума сойти!»* — См. выше примеч. к статье «Поклон былому».

...демонстративного отказа от премии со стороны известного французского писателя... — Ж. П. Сартр не принял присужденную ему Нобелевскую премию по литературе в 1964 г.

...«шумим, братец, шумим!» — из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824. Действ. 4. Явл. 4).

...драмы с Пастернаком. — См. выше примеч. к статье «Несколько слов о “Докторе Живаго”».

...присуждения Нобелевской премии Солженицыну. — Нобелевскую премию Солженицыну присудили 8 октября 1970 г., связанные с этим материалы см.: *Солженицын А.И.* Собрание сочинений. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1973. Т. 6.

...поехал ли Солженицын в Стокгольм, предпочел ли остаться в Москве — в сущности, все равно. — В 1970 г. А.И. Солженицын отказался ехать в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии, опасаясь, что власти не пу-

стоят его обратно в СССР. Свою Нобелевскую лекцию он прочитал в Стокгольме 10 декабря 1974 г., когда его выслали из Советского Союза.

Памяти М.Л. Кантора

Впервые: Русская мысль. 1971. 14 января. № 2825. С. 8.

С. 421. *...только что скончавшемся Михаиле Львовиче Канторе...* — М.Л. Кантор умер 23 декабря 1970 г.

Он был секретарем журнала «Звено», редактировавшего М.М. Винавером. — М.Л. Кантор был секретарем редакции «Звена» до кончины М.М. Винавера (10 октября 1926 г.), затем главным редактором.

...работал вместе с ним над различными изданиями... — Адамович совместно с М.Л. Кантором редактировал журнал «Встречи» (Париж, 1934), а также составлял антологию эмигрантской поэзии: Якорь: Антология зарубежной поэзии / Сост. Г.В. Адамович и М.Л. Кантор. Берлин: Петрополис, 1936. Их переписку тех лет опубликовал Г.П. Струве: К истории русской зарубежной литературы: Как составлялась антология «Якорь» / Публ. и коммент. Г. Струве // Новый журнал. 1972. № 107. С. 222—254; К истории русской зарубежной литературы: О парижском журнале «Встречи». С приложением переписки двух редакторов / Публ. и коммент. Г. Струве // Новый журнал. 1973. № 110. С. 217—246.

С. 422. *...замечательную страницу в статье Маклакова «Толстой и суд», ~ «в адвокате развивается способность убеждения».* — В.А. Маклаков писал об опасностях профессиональной деформации личности адвоката: «Адвокатура — профессия, которая, конечно, имеет свои профессиональные черты, и в них много отрицательных. Мы сами их знаем. Это, конечно, не продажность, на которую так часто напирает общее мнение, — это свойство может быть в отдельных представителях адвокатуры, но это не свойство профессии, оно совсем не необходимо; это свойство падает на человека; но есть нечто неизбежное, яд самой профессии, который в большей или меньшей степени ложится на каждого; это та гибельная школа ума, в которой принужден жить адвокат и из которой не всякий выходит здоровым. Если вдуматься в условия адвокатской профессии, то нельзя не признать, что она ставит человеческий ум в положение, противное его назначению. Все мы мыслим и должны мыслить от фактов к выводу; умение читать факты, находить в них правду — это и есть задача ума. В адвокатской профессии — наоборот; вывод дан заранее, к нему человек идет не от фактов, он привносится в дело; вывод готов, и уже факты подгоняются к выводу. В адвокате вырабатывается умение

найти в фактах то, что нужно найти; находить положительную сторону там, где ищут ее, и черные пятна там, где их ожидают. Вырабатывается умение не только находить то, что ищут, но не видеть того, что не хотят видеть. Напрасно думают, что адвокат обманывает других; он больше всего обманывает себя сам. Никогда не бывает, чтобы адвокату принесли дело и предложили стать на ту или другую сторону, по его выбору и усмотрению; чтобы он мог выбрать ту сторону, которая ему кажется наиболее справедливой. У адвоката ищут защиты, просят защитить определенную сторону, найти все то, что говорит в ее пользу. И если в некоторых исключительных случаях он признает ту или иную позицию незащитимой и от дела отказывается, то это исключение; нормальная работа адвоката в том и заключается, что, принимая дело, он принимает на себя обязанность глядеть на него предвзято, и все его искусство в том, чтобы отстоять эту предвзятую мысль. Оттого-то в адвокате развивается усиленная способность аргументации, и исчезает способность убеждения. Адвокаты — люди беспринципные» (Маклаков В.А. Толстой и суд // Речи. Судебные, думские и публичные лекции. 1904—1926. Париж: Издание юбилейного комитета, 1949. С. 187—188).

Он писал и стихи, но только под конец жизни, уступая настояниям друзей, согласился выпустить сборник их. — Кантор М. Стихи. Paris: Imprimerie Beresniak, 1968.

«Поймете ль вы, друзья, ~ в ваших играх я?» — Из стихотворения М.Л. Кантора «Земных божеств сияющие храмы...».

К 90-летию Б.К. Зайцева

Впервые: Русская мысль. 1971. 11 февраля. № 2829. С. 1. Б.К. Зайцев родился 29 января (10 февраля) 1881 г.

С. 423—424. *Ахматова, например, осталась и с гордостью подчеркивала это, начиная со стихов раннеревolutionных лет до вступительного четверостишия к позднему «Реквиему».* — Речь о стихотворении А.А. Ахматовой «Мне голос был. Он звал утешно...» (1917) и написанном в 1961 г. четверостишии, открывавшем «Реквием»: «Нет, и не под чуждым небосводом, / И не под защитой чуждых крыл, — / Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был».

С. 424. *...«Анну», пожалуй, лучшую, самую законченную из его повестей... — Повесть Б.К. Зайцева «Анна» была напечатана в журнале (Современные записки. 1928. № 36. С. 35—68; № 37. С. 57—89; 1929. № 38. С. 5—31) и вскоре вышла отдельным изданием (Париж: Современные записки, 1929).*

«Путешествие Глеба» — биографическая тетралогия Б.К. Зайцева, публиковавшаяся частями с 1937 по 1953 г.

«Дом в Пасси» — посвященный эмиграции роман Б.К. Зайцева, опубликованный в «Современных записках» (1933. № 51. С. 5—45; № 52. С. 107—151; 1934. № 53. С. 79—112; № 54. С. 5—45), а затем вышедший отдельным изданием (Берлин: Парабола, 1935).

...одно имя вспоминается прежде всех остальных: Жуковский. Отчасти, пожалуй, и Тургенев... — Б.К. Зайцев написал о них книги «Жуковский» (Париж: YMCA-Press, 1951) и «Жизнь Тургенева» (Париж: YMCA-Press, 1932).

...«пленительной сладости»... — из стихотворения А.С. Пушкина «К портрету Жуковского» (1818): «Его стихов пленительная сладость / Пройдет веков завистливую даль».

С. 425. ...посвятил прекрасную книгу монастырю на о. Валааме... — Зайцев Б.К. Валаам. Таллин: Странник, 1936.

...красоту и значение иночества, легковесно высмеянного Белинским... — Рецензируя книгу Ф. Садовникова «Могила инок. Истинное происшествие XIX столетия» (СПб.: Тип. Губернского правления, 1845), В.Г. Белинский писал: «Истинное происшествие XIX столетия — презабавная книжка, она же и не велика. Читая ее, вы беспрестанно смеетесь — и там, где герои ее страдают, плачут и говорят высоким слогом, и там, где они шутят и снисходят до низкого слога или выражаются средним. <...> И вот какие произведения не перестают еще появляться в русской словесности! <...> Спасибо им хоть за то, что смешны, и рецензент может перелистывать их для потехи; особенно хорошо действуют они на расположение духа рецензента...» (Белинский В.Г. ПСС: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 9. С. 366—369).

...«бесчеловечное владычество выдумки»... — См. примеч. к статье «Младое племя».

Печальное имя Блока

Впервые: Русская мысль. 1971. 18 марта. № 2834. С. 4.

С. 425. «Веселое имя Пушкина» — статья З.А. Шаховской, опубликованная месяцем ранее в газете (Русская мысль. 1971. 18 февраля. № 2830), а позже включенная в книгу: Шаховская З. Рассказы. Статьи. Стихи. Париж: Les Editeurs Reunis, 1978. С. 67—70.

Принадлежат же эти слова Блоку. — Речь А.А. Блока «О назначении поэта» (1921), произнесенная в Доме литераторов в 84-ю годовщину смерти Пушкина, начиналась словами: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин».

«Пушкин — наше все»... — из работы А.А. Григорьева «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859. Статья 1. Разд. 2).

...утверждая, что это «почти бесспорно». — В статье «Веселое имя Пушкина» З.А. Шаховская писала: «Пушкин — наше все» — это почти бесспорно, хотя и до Пушкина была Россия со своей “особенной статью”» (*Шаховская З. Рассказы. Статьи. Стихи. Париж: Les Editeurs Reunis, 1978. С. 67*).

«От страшной жажды песнопенья, пускай, Творец, осво-божусь»... — из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Молитва» (1839).

«скудным песням земли» — из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ангел» (1831).

«Монастырь ваш — Россия»... — из письма Н.В. Гоголя к гр. А.П. Толстому, включенного в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» (XX. Нужно проездиться по России).

С. 426. «Боже, как грустна наша Россия!» — В книге «Выбранные места из переписки с друзьями» (XVIII. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ». 3) Н.В. Гоголь писал: «Когда я начал читать Пушкину первые главы из “Мертвых душ”, в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: “Боже, как грустна наша Россия!” Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести “Мертвые души”» (*Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев: Изд-во Московской патриархии, 2009. Т. 6. С. 83*).

...*Достоевского, пушкинская речь которого...* — Имеется в виду речь, произнесенная Ф.М. Достоевским 8(20) июня 1880 г. на заседании Общества любителей русской словесности и опубликованная в августовском выпуске «Дневника писателя».

...«дитя страшных лет России»... — Отсылка к стихотворению А.А. Блока «Рожденные в года глухие...» (1914).

«Наше солнце в муках погасшее»... — у А.А. Ахматовой в стихотворении «А Смоленская нынче именинница...» (1921): «Наше солнце, в муке погасшее».

«Август четырнадцатого». Роман Солженицына

Впервые: Русская мысль. 1971. 24 июня. № 2848. С. 1; то же под названием: Новый роман Солженицына // Новое русское слово. 1971. 4 июля.

С. 427. *...обстоятельств, о которых он говорит в послесловии...* — В послесловии к зарубежному изданию романа «Август четырнадцатого» А.И. Солженицын писал: «Эта книга сейчас не может быть напечатана на нашей родине, иначе как в Самиздате — по цензурным возражениям, не доступным нормальному человеческому рассудку, да даже из-за того одного, что потребовалось бы писать слово Бог непременно с маленькой буквы. На это унижение я уже не могу пригнуться. Директива писать Бога с маленькой есть дешевая атеистическая мелочность, мелкость. И верующие и неверующие соглашались, что когда Областное Управление Заготовок пишется с больших, а КГБ или ЗАГС — из одних больших, то для понятия, обозначающего высшую творческую силу Вселенной, можно бы отпустить одну большую букву. Не говорю уже, что в устах и представлениях людей 1914 года “бог” с маленькой резало бы исторической фальшью» (Солженицын А. Август четырнадцатого. Париж: YMCA-Press, 1971. С. 572).

«Великая русская литература кончилась на “Хаджи-Мурате”», — сказал однажды покойный Алданов. — См. примеч. к статье «Облик и дух советской литературы».

С. 428. *...о несчастном, плохо продуманном, еще хуже подготовленном наступлении русских войск в восточной Пруссии...* — Речь идет о Восточно-Прусской операции Первой мировой войны, наступательной операции войск русского Северо-Западного фронта 4 (17) августа — 2 (15) сентября 1914 г.

...привело к самоубийству генерала Самсонова. — Александр Васильевич Самсонов (1859—1914) командовал 2-й армией во время Восточно-Прусской операции, покончил с собой после поражения при Танненберге.

Памяти Блока

Впервые: Русская мысль. 1971. 16 сентября. № 2860. С. 1—2.

С. 430. «*Вседержитель моей души*» — из стихотворения М.И. Цветаевой «Ты проходишь на Запад Солнца...» (1916).

«*Наше солнце*», — сказала Ахматова в день погребения поэта. — Из стихотворения А.А. Ахматовой «А Смоленская ныне именинница...» (1921).

«*Будьте ж довольны жизнью своей...*» — из стихотворения А.А. Блока «Голос из хора» (1914).

...в январе 1921 года, в ледяном зале петербургского Дома литераторов... — В январе 1921 г. Блок по случаю 84-й годовщины смерти Пушкина выступил в Доме литераторов с речью «О назначении поэта».

С. 431. *...«трагического ее тенора»...* — Отсылка к стихотворению А.А. Ахматовой «И в памяти черной, пошарив, най-

дешь...» (1944—1960): «Тебе улыбнется презрительно Блок — / Трагический тенор эпохи».

С. 432. *Бунин как-то заметил о Чехове, — если не ошибаясь, о рассказе «Архиерей», — что он писал «небесно».* — Из подготовительных записей Бунина для книги о Чехове, включенных В.Н. Буниной в посмертное издание: «Ни одно произведение Чехова не написано так — легко, небесно — как “Арх<иерей>”» (Бунин И.А. О Чехове. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 374).

...«песен дивного дара»... — Отсылка к поэме А.С. Пушкина, «Цыганы» (1827).

С. 433. *Le vers se sent toujours des bassesses du coeur.* — Из трактата в стихах «Поэтическое искусство» (1674. IV. 110) Никола Буало-Депрео. В переводе Э.Л. Линецкой: «Испорченность души всегда видна меж строк».

...«пробкой вместо уха»... — См. примеч. к статье «После войны» (II).

...«дитя добра и света»... — из стихотворения А.А. Блока «О, я хочу безумно жить...» (1914).

...«стиль это человек»... — См. примеч. к статье «Православный язычник (О книге Габриэля Мацнева “Comme le feu mêlé d’aromates”)».

Достоевский. 1821—1971

Впервые: Русская мысль. 1971. 28 октября. № 2866. С. 1—2.

С. 434. ...*сочетающееся с восхищением «драгоценной деятельностью Победоносцева».* — Ф.М. Достоевский писал К.П. Победоносцеву 25 июля 1880 г.: «За Вашею драгоценною деятельностью слежу по газетам» (Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л.: Наука, 1988. Т. 30. Кн. 1. С. 204).

...*Ницше, один из властителей дум нашей эпохи, утверждал, что у Достоевского он научился большему, чем у кого-либо другого.* — См. выше примеч. к статье «Писатель для юношества».

С. 435. ...*вышла в свет переписка двух больших писателей первой половины нашего века, Андре Жида и Розже Мартен дю Гара.* — Переписка вышла двухтомным изданием в серии «Collection Blanche»: André Gide — Roger Martin du Gard. Correspondance / Introduction de Jean Delay. Tome I: 1913—1934. Tome 2: 1935—1951. Paris: Gallimard, 1968.

...*слова Альбера Камю, приведенные философом Жаном Гренье, его старшим другом и наставником, в предисловии к собранию сочинений в издании «Плеяды».* — Жан Гренье (Grenier; 1898—1971) в 1930—1938 гг. преподавал философию в Алжире, где его студентом и другом стал Альбер Камю. Позже была

опубликована их переписка: Albert Camus — Jean Grenier. Correspondance 1932—1960. Paris: Gallimard, 1981. Упомянутые Адамовичем слова он привел в предисловии к одному тому собранию Камю в серии «Bibliothèque de la Pléiade» (вып. 161): «Il y a de grandes chances pour que l'ambition réelle de nos écrivains, écrivait-il, soit, après avoir assimilé "Les Possédés", d'écrire un jour "La Guerre et la Paix"... Ils gardent l'espoir de retrouver les secrets d'un art universel» (Camus A. Théâtre, récits, nouvelles / Préface de Jean Grenier, textes établis et annotés par Roger Quilliot. Paris: Gallimard, 1962. P. XXII).

...*«Стремление большинства писателей сводится к тому, чтобы усвоив все, что заключено в "Бесах", написать когда-нибудь новую "Войну и мир"»*... — Адамович цитирует статью Камю «Роже Мартен дю Гар» (1955). В переводе И. Кузнецовой: «Истинным стремлением наших писателей, пропустивших через себя "Бесов", станет однажды написать "Войну и мир". После долгого мучительного пути через войны и отречения они сохраняют надежду, даже если и не признаются в этом, вновь отыскать секреты общечеловеческого искусства, обрести смирение и мастерство, необходимые, чтобы воскресить наконец своих персонажей, сделать их живыми и долговечными» (Камю А. Творчество и свобода / Сост. и предисл. К. Долгова. Комментар. С. Зенкина. М.: Радуга, 1990. С. 149).

...*Андре Мальро в сопоставлении Великого Инквизитора с умирающим Иваном Ильичом.* — Пятью годами ранее Адамович в «Table talk» уже приводил эту остановившую его внимание фразу Андре Мальро: «Толстой в изображении заурядного чиновника перед лицом смерти не менее велик, чем Достоевский в речах Великого Инквизитора» (Адамович Г.В. Table talk <II> // Новый журнал. 1961. № 66. С. 88).

...*о том его состоянии, когда человеку «пойти некуда»*... — В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (Ч. 1. II) Мармеладов говорит Раскольникову: «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти!» (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 6. С. 14).

С. 435–436. *Рассказ Мармеладова, ~ глава о полунищей, испуганной матери, пришедшей во французский пансион, ~ старый пьяница, который каждую ночь молится об упокоении души графини Дюбарри*... — Адамович на протяжении жизни несколько раз упоминал в статьях эти задевшие его сцены из романов Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (Ч. 1. II), «Подросток» (Гл. 9. II), «Идиот» (Ч. 2. II).

С. 436–437. ...замечательная предсмертная беседа старика Шулубина с Костоглотовым в солженицынском «Раковом корпусе». — См. выше примеч. к статье «Солженицын».

С. 437. ...как он сам в речи о Пушкине утверждал, что «мы разгадываем его тайну»... — См. выше примеч. к статье «Пушкин».

«Арабский дневник». На полях книги Гавриила Мацнева

Впервые: Русская мысль. 1971. 4 ноября. № 2867. С. 4.

С. 437. ...вспомнил слова Зинаиды Гиппиус: «Надо интересоваться интересным». — Формула З.Н. Гиппиус, упоминаемая в большинстве воспоминаний, ей посвященных. 4 августа 1927 г. З.Н. Гиппиус писала Адамовичу: «Ах, я все возвращаюсь к своему “овсу и сену”: только одно важно — интересоваться интересным <...> Это главное, а там уж, конечно, что кому Бог дал» (Письма Г.В. Адамовича к З.Н. Гиппиус: 1925–1931 / Подгот. текста, вступит. ст. и коммент. Н.А. Богомолова // Диаспора: Новые материалы. [Вып.] III. СПб.: Феникс, 2002. С. 482). В следующих письмах они подробно обсуждали смысл этого выражения, см.: Там же. С. 482–483.

С. 438. ...политическая распря Израиля с арабскими государствами... — Имеется в виду арабо-израильский конфликт, тянувшийся с основания государства Израиль в 1948 г. и уходящий корнями в противостояние арабского населения палестинских территорий и сионистского движения. В июне 1967 г. было очередное обострение конфликта, получившее название Шестидневной войны.

С. 440. ...созерцание древнейшей иконы, по преданию написанной апостолом Лукой... — Согласно преданию, Лука стал первым иконописцем, написав восемь икон Пресвятой Богородицы (Мацнев упоминает восьмую по счету, Иерусалимскую). Подробнее см.: Кондаков Н.П. Иконография Богоматери: В 2 т. СПб.: Тип. Имп. Акад. Наук, 1914–1915; Поселянин Е. Богоматерь. Полное иллюстрированное описание Ее земной жизни и посвященных Ее имени чудотворных икон. СПб.: П.П. Сойкин, 1909.

С. 441. ...если Христос не воскрес, то «тщетна проповедь наша, тщетна и вера наша». — 1 Кор. 15:14.

...до недавнего «космического» христианина Тейяра... — См. выше примеч. к статье «Литература и жизнь [Тейяр де Шарден]».

Гёте сказал о Евангелии: «Это не может быть превзойдено»... — 11 марта 1832 г. в беседе с Эккерманом Гёте произнес: «Высот нравственной культуры христианства, озаряющей нас

из евангелия, мы никогда не превзойдем! <...> И если меня спросят: соответствует ли моей натуре поклоняться солнцу? я также скажу: конечно. Ибо это тоже откровение высшего начала и притом самое мощное из всего того, что дано воспринимать нам, детям земли» (*Эккерман И.П. Разговоры с Гёте*. М.; Л.: Academia, 1934. С. 847—848).

С. 442. *Знаем мы о Маркионе только по полемическим возращениям Тертуллиана, Оригена и других.* — См. примеч. к статье «Православный язычник (О книге Габриэля Мацнева «*Comme le feu mêlé d'aromates*»)».

«Не любите мира, ни того что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. ...Мир лежит во зле». — 1 Ин. 2:15; 5:19.

С. 443. *...теперешнего римского первосвященника...* — Речь идет о Павле VI (1897—1978), папе Римском в 1963—1978 гг.

Памяти Газданова

Впервые: Русская мысль. 1971. 30 декабря. № 2875. С. 10; то же: Новое русское слово. 1971. 11 декабря.

С. 444. *...начал писать в двадцатых годах...* — Первый рассказ Г. Газданова был опубликован в пражском студенческом журнале в июне 1926 г.: *Газданов Г.* Гостиница Грядущего // Своими путями. 1926. № 12/13. С. 9.

...повесть «Вечер у Клэр». — Сам автор считал свое произведение не повестью, а романом. «Вечер у Клэр» был написан в 1929 г. и сперва предназначался для издательства «Петрополис», но в результате книга была отпечатана в декабре 1929 г. в другом издательстве (Париж: Изд-во Я.Е. Поволоцкого, 1930).

...в последнем, большом романе Газданова, печатающемся в «Новом журнале»... — Роман «Эвелина и ее друзья» печатался в «Новом журнале» с 1968 по 1970 г. (№ 92, 94—102, 104—105).

Книгу свою Газданов послал и Максиму Горькому, чего писатели-эмигранты почти никогда не делали. — В 1930-е гг. М. Осоргин присылал Горькому на Капри выходившие в Париже книги русских писателей, он и убедил Газданова послать Горькому «Вечер у Клэр», выступив в роли посредника в их переписке.

Горький Газданову быстро ответил... — М. Горький ответил Газданову в конце февраля 1930 г.: «Сердечно благодарю Вас за подарок, за присланную Вами книгу. Прочитал я ее с большим удовольствием, даже — с наслаждением, а это — редко бывает, хотя читаю я немало. <...> Вы, разумеется, сами чувствуете, что Вы весьма талантливый человек. К этому я бы

добавил, что Вы еще и своеобразно талантливы. Право сказать это я выношу не только из “Вечера у Клэр”, а также из рассказов Ваших — из “Гавайских гитар” и др. <...> У меня был еще экземпляр “Вечера”, вчера послал его в Москву, изд<ательство> “Федерация”. Вы ничего не имеете против? Очень хотелось бы видеть книгу Вашу изданной в Союзе Советов» (*Газданов Г. Собр. соч.: В 5 т. М.: Эллис Лак, 2009. Т. 5. С. 39—40*). Несмотря на рекомендацию Горького, книга в СССР в то время не вышла, и в библиотеке Горького не сохранилось ни одного экземпляра.

...сделав только какие-то оговорки насчет досадного, по его мнению, отрыва молодых писателей от родины. — Как раз в этом письме Горького ничего подобного не было, его оговорки касались лишь некоторой несамостоятельности молодого автора: «В рассказах Ваших чувствуются влияния, чуждые Вам, — как мне думается. Virtuозность французской литературы, очевидно, смущает Вас <...> Вы кажетесь художником гармоничным, у Вас разум не вторгается в область инстинкта, интуиции там, где Вы говорите от себя. Но он чувствуется везде, где Вы подчиняетесь чужой virtuозности словесной. Будьте проще — Вам будет легче, будете свободней и сильнее» (Там же. С. 39).

Вероятно, письмо это в бумагах Газданова сохранилось... — Газданов переслал это письмо матери в Орджоникидзе, ныне оно хранится в Архиве А.М. Горького (ИМЛИ РАН). В 1979 г. письмо было опубликовано: *Зильберштейн И.* Новое о Горьком // Литературная газета. 1979. 25 апреля. № 17. С. 6. Всю их переписку с Горьким опубликовал С.С. Никоненко в пятом томе собрания сочинений Г.И. Газданова (М.: Эллис Лак, 2009. С. 39—45).

...до тех пор, пока он жил, как и я, в Париже. — Газданов жил в Париже до 1954 г., после чего переехал в Мюнхен, подписав контракт о сотрудничестве с Радио «Освобождение» (с 1959 г. Радио «Свобода»).

С. 445. *На одном из собраний общества «Зеленая лампа», ~ с особым блеском ораторствовал Мережковский, ~ Не мог удержатъ улыбки и сам Газданов.* — Возможно, речь о собрании «Зеленой лампы» на тему «В чем соблазн большевизма», состоявшемся в парижском Очаге русской музыки (26, av. de Токуо) 9 марта 1937 г. Вступительное слово на собрании произнес Д.С. Мережковский. Упоминания об этом случае есть и у других мемуаристов, но они были опубликованы позже и очень заметно повторяют сказанное Адамовичем: «В памяти у меня удерживалось немало всяческих анекдотов, похожих на столкновение Газданова с Мережковским в “Зеленой Лампе”, где Мережковский совершенно «уничтожил “своим ответом зарвав-

шегося полемиста»» (*Тератиано Ю.* Гайто Газданов // *Русская мысль*. 1972. 27 января. № 2879. С. 8); «Что до Мережковского, то мне случилось присутствовать на собрании “Зеленой лампы”, когда во время его выступления Газданов с места громко крикнул что-то весьма неласковое. Оратор, казалось бы, пропустил мимо ушей этот выкрик, но затем, закончив свою речь и выдержав небольшую паузу, добавил: “Христос заповедал нам любить врагов наших. Газданов мне не враг, но я его и не люблю”. Легко угадать реакцию зала, и легко понять, что после такой отповеди отталкивание от Мережковского могло только усилиться» (*Бахрах А.* Газданых // *Русская мысль*. 1980. 24 января. № 3292. С. 8—9).

Кто-то, говоря о поэзии, назвал имя Валерия Брюсова. Газданов поморщился ~ Марина Цветаева и принялась кричать... — Возможно, этот инцидент произошел на вечере памяти Андрея Белого, который устроило «Кочевье» 18 января 1934 г. в парижском Salle de la Société de Géographie (184, bd St-Germain). Г.И. Газданов и М.И. Цветаева принимали участие в вечере.

Вл. Варшавский. «Ожидание»

Впервые: *Русская мысль*. 1972. 25 мая. № 2896. С. 4. Несколькими днями ранее тот же текст был напечатан в нью-йоркской газете под названием «Об “Ожидании” Варшавского» (Новое русское слово. 1972. 14 мая. № 22615. С. 4). Внутренняя рецензия Адамовича на книгу В.С. Варшавского «Ожидание» (Paris: YMCA-Press, 1972) была предназначена для издательства, написана в августе 1970 г. и опубликована посмертно. К подготовке книги Адамович имел самое непосредственное отношение, по просьбе В.С. Варшавского читал книгу в рукописи, помогал выбрать название, см. в его письмах: «Я с Вами привык к переписке идеологической...»: Письма Г.В. Адамовича В.С. Варшавскому (1951—1972) / Предисл., подгот. текста и коммент. О.А. Коростелева // *Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына*. 2010. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2010. С. 255—344. Современный исследователь пишет: «В истории издания романа “Ожидание” именно Георгий Адамович и Александр Шмеман, а также большой друг Варшавского Борис Физ сыграли решающую роль» (*Васильева М.А.* Роман «Ожидание» как документ // *Варшавский В.* Ожидание: Проза, эссе, литературная критика / Предисл. Т.Н. Красавченко; сост., подгот. текста и коммент. Т.Н. Красавченко, М.А. Васильевой; послесл. М.А. Васильевой; вступ. ст. к прилож., сост. и подгот. текста М.А. Васильевой при участии О.А. Коростелева.

М.: Дом русского зарубежья имени А. Солженицына; Книжница, 2016. С. 537).

С. 446. ...*«детей страшных лет России»*. — Отсылка к стихотворению А.А. Блока «Рожденные в года глухие...» (1914).

С. 447. ...*«стиль это человек»*... — См. примеч. к статье «Православный язычник (О книге Габриэля Мацнева «Comme le feu mêlé d'aromates»).

...*«мировая чепуха»*... — из стихотворения А.А. Блока «Не спят, не помнят, не торгуют...» (1909).

С. 448. ...*отъезд в Америку*... — В.С. Варшавский перебрался из Парижа в США весной 1951 г.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абашев В.В. – 588
- Аввакум Петров, протопоп – 179, 546
- Августин Блаженный Аврелий – 406, 407, 639
- Авербах Л.Л. – 274, 585
- Аверченко А.Т. – 168
- Авилова Л.А. – 312, 600
- Авксентьев Н.Д. – 495
- Адамович Г.В. – 5–16, 449–453, 455–458, 460, 463, 464, 466–468, 470–476, 479–481, 486, 488, 490, 496–507, 509–512, 514–518, 524–527, 529–536, 539, 542, 544–546, 551–554, 556, 557, 559, 567, 570, 571, 573, 574, 577, 579, 580, 582–584, 590, 592–594, 597, 598, 600–604, 610–615, 617–636, 644, 650, 651, 653, 654
- Айхенвальд Ю.И. – 291, 591, 592
- Аксенов В.П. – 568, 641
- *Алданов (Ландау) М.А. – 6–10, 83, 86, 87, 90–100, 102, 103, 134, 190, 200, 204, 205, 215, 241, 242, 293, 294, 351–356, 366, 394, 412, 427, 456, 464, 474, 488, 492–494, 496, 557, 559, 573, 583, 592, 593, 599, 614, 615, 621, 641, 642, 648
- Александр II – 95, 137, 522
- Александр Македонский – 240, 567
- Александра Федоровна – 140
- *Александрова (Мордвинова; Шварц) В.А. – 85, 487
- Алексей Михайлович, царь (с 1645), сын царя Михаила Федоровича – 149, 528
- Алексеев М.В. – 299, 594
- *Алексеева (Девель) Л.А. – 52, 53, 148, 467, 529, 530
- Алексеева (Лилина) М.П. – 551, 552
- *Ален (Шартье Э.О.) – 255, 576
- Альбертини Т.М. – 198
- Альтшуллер Г.И. – 51, 466
- Алянский С.М. – 362–365, 617–620, 628
- Амвросий (Ключарёв А.И.) – 555, 556
- Амвросий Оптинский (Гренков А.М.) – 77, 481, 482, 571
- Амфитеатров А.В. – 498

- Анакреонт (Анакреон) – 527
- Ананьин (*Чарский) Е.А. – 195, 197, 198, 553
- *Андреев (Хомяков) Г.А. – 84–86, 120–122, 148, 486, 487, 511, 530
- Андреев Л.Н. – 257, 324, 535, 605
- Андреев Н.Е. – 476
- Андроников (Андроникашвили) И.Л. – 315, 603, 612
- Андроников К.Я. – 613
- Аникин А. – 502
- Анненков Ю.П. – 90, 362, 491, 602, 617, 620,
- Анненский И.Ф. – 58, 105–110, 211, 262, 341, 362, 392, 398, 399, 403, 416, 432, 499–507, 558, 566, 634–636, 642
- Анненский Н.Ф. – 106, 502
- *Анстей О. (Штейнберг О.Н.) – 89, 491
- Антокольский П.Г. – 6, 618, 619
- Анциферов Н.П. – 631, 632
- Аристотель – 632
- Аронсон Г.Я. – 476
- Арьев А.Ю. – 466
- *Аскольдов (Алексеев) С.А. – 462
- Ахмадулина Б.А. – 397–400, 634, 635
- *Ахматова (Горенко) А.А. – 77, 106, 164, 213, 270, 314, 340–342, 356, 365, 381, 393, 397–399, 408, 414, 423, 424, 426, 430–432, 481, 502, 511, 558, 583, 602, 610, 611, 615, 618, 621, 622, 628, 633, 635, 640, 642, 645, 647, 648
- Бабель И.Э. – 13, 486
- Бабореко А.К. – 11, 12, 375–378, 613, 623–625
- Багно В.Е. – 554
- Байрон Дж. Н.Г. – 94, 166, 191, 215, 316, 438, 440, 540, 549
- Бакунин М.А. – 132, 135–137, 518, 520–522
- Балашев (Балашов) А.Д. – 267, 582, 583
- Бальзак О. де – 401
- Бальмонт К.Д. – 110, 291, 334, 431, 443, 501, 550,
- Баранова-Шестова Н.Л. – 610
- Баратынский Е.А. – 27, 65, 82, 109, 126, 223, 224, 346, 360, 361, 393, 422, 514, 561, 613
- Бастьен-Тири Ж.-М. – 345, 612
- Батюшков К.Н. – 411, 531
- Бауман Н.Э. – 513
- Бах И.С. – 631, 636
- Бахрах А.В. – 6, 7, 11, 215, 449, 458, 534, 559, 602, 604, 629, 654
- Безносков Э.Л. – 622
- Белинский В.Г. – 44–47, 82, 86, 113, 164, 173, 308, 316, 380, 409, 425, 462, 471, 485, 487, 508, 543, 544, 585, 603, 627, 646
- Белов С.В. – 488
- *Белый А. (Бугаев Б.Н.) – 49, 50, 90, 181, 252, 253, 256, 257, 363, 416, 433, 463, 465, 491, 574, 577, 654
- Белютин Э.М. – 563
- Беляев Б.Н. (*Щербинский Б.) – 138–143, 523–525, 583
- Бендерский И.И. – 583
- Бенедиктов В.Г. – 485
- Бенуа А.Н. – 334

- Беранже П.Ж. – 553
 Берберова Н.Н. – 6, 548
 Берг А. – 563
 Бергсон А. – 339, 340, 503, 561
 Бердяев Н.А. – 47, 53, 125, 226, 326, 334, 463, 467, 481, 512, 513, 526, 543, 559, 562, 563, 642
 Березко Г.С. – 369–372, 622
 Берлин И. – 198
 Бернар С. – 299
 Бестужев (*Марлинский) А.А. – 19
 Бетховен Л. ван – 136, 138, 140, 318, 631
 Бирюков П.И. – 179, 546
 Бисмарк Отто фон Шёнхаузен – 215
 Бицилли П.М. – 540, 541
 Блок А.А. – 51, 66, 88, 90, 110, 137, 138, 156, 180, 213, 218, 220, 224, 253, 256, 257, 263, 290, 291, 309, 319, 320, 335, 341, 346, 362–365, 367, 379, 399, 411, 415, 416, 425, 426, 430–433, 447, 466, 488, 489, 491, 500, 504–507, 522, 534, 535, 546, 558, 561, 562, 574, 577, 580, 591, 604, 609, 611, 613, 617–620, 627, 628, 641, 646–649, 655
 Боборыкин П.Д. – 112, 161, 537
 *Богданов (Малиновский) А.А. – 229, 564
 Богданович М.И. – 582
 Богомолов Н.А. – 463, 464, 620, 651
 Бодлер Ш. – 30, 52, 158, 264, 461, 467, 501, 536, 580
 Бондарчук С.Ф. – 342–345, 611, 612
 Бонди С.М. – 583
 Бонч-Бруевич Д.А. – 515
 Бонч-Бруевич М.Д. – 250, 515, 572
 Боратынский Е.А. – см. Баратынский Е.А.
 Борель П. – 509
 Борис Годунов – 391
 Борисов И.П. – 581
 Бороздин А.К. – 393, 632
 *Боске А. (Биск А.А.) – 455
 Боткин В.П. – 86, 487, 603
 Боткин С.П. – 523
 Брандес Г. – 243, 568
 Браун Ф.А. – 391, 393, 631
 Брежнев Л.И. – 641
 Бржеская А.Л. – 546
 Брик Л.Ю. – 572, 573
 Брик О.М. – 598
 Бродский И.А. – 368, 371, 372, 622
 Бродский Н.Л. – 19, 450
 Брокгауз Ф.А. – 458–460
 Брусянин В.В. – 466, 467
 Брюсов В.Я. – 66, 106, 107, 110, 129, 243, 289–292, 369, 431, 445, 467, 475, 500–506, 516, 568, 591, 592, 654
 Буайе П. – 612
 Буало (Буало-Депрео) Н. – 433, 480, 649
 Бугаев Н.В. – 50, 465
 Буданова Н.Ф. – 538
 Будницкий О.В. – 589
 Булгаков М.А. – 13, 348–351, 484, 486, 613, 614
 Булгаков С.Н. – 575
 *Бунаков (Фондаминский) И.И. – 102, 103, 495–497
 Бунин И.А. – 53, 54, 83, 94, 106, 116, 129, 147, 151, 178, 191, 193, 195, 204, 205, 209,

- 214, 216, 245, 248, 252, 253,
290, 308–312, 330, 334, 339,
375–378, 394, 412, 414–418,
424, 432, 434, 444, 454, 469,
472, 485, 499, 500, 502, 504,
509, 532, 545, 546, 549–551,
553, 554, 557, 560, 571, 574,
598–600, 609, 610, 623–626,
629, 636, 641, 642, 649
- Бунина (Муромцева) В.Н. – 377,
472, 499, 500, 504, 553, 554,
599, 600, 609, 624, 625, 649
- Бург Д. – 587
- Буркхардт Я. – 63, 473
- Бухарин Н.И. – 452
- Бютор М. – 593
- Бюффон Ж.Л.Л. – 639
- Вагнер Р. – 136, 318, 393, 559,
604
- Вайс И. – 584
- Вайсберг Ф. – 638
- *Валентинов Н. (Вольский Н.В.)
– 7, 8, 90, 416, 491, 642
- Валери П. – 7, 204, 224, 474, 562
- Валуженич А.В. – 598
- Вандепут-Койпель С. – 584
- Варнеке Б.В. – 500
- Варшавская Т.Г. – 495
- Варшавский В.С. – 101, 103,
446–448, 495, 496, 498, 608,
654, 655
- Васильев В. – 547
- Васильева М.А. – 470, 495, 654
- Введенский А.И. – 392, 632
- Веберн А. фон – 563
- Вейдле В.В. – 38–42, 289, 458–
461, 518, 591
- Вейнбаум М.Е. – 9, 10
- Вейнингер О. – 461
- Веласкес (Родригес де Сильва
Веласкес) Диего – 293
- Величковский А.Е. – 57, 58, 88,
148, 470, 471, 490, 528, 529
- Веллингтон А.У. – 215
- Венгеров С.А. – 393, 632
- Вербов С.Ф. – 206–210, 557
- Вергилий Марон Публий – 63
- Верди Дж. – 539
- *Вересаев (Смидович) В.В. –
486
- Верлен П. – 52, 62, 108, 147, 383,
473, 501, 505, 629
- Виардо-Гарсия П. – 539
- Вигдорова Ф.А. – 622
- Вийон Ф. – 633
- Вик (Шуман) К. – 631
- Вильсон Э. – см. Уилсон Э.
- Винавер М.М. – 421, 644
- Виноградов И.А. – 462
- Виноградов И.И. – 172, 543
- Витте С.Ю. – 299
- Вишневский А.А. – 474
- Вишняк М.В. – 7, 8, 100–105,
494–499
- Водов Н. – 582
- Водов С.А. – 6–8, 10, 11, 480,
517, 547
- Воеводский А. – 548
- Вознесенский А.А. – 11, 12,
239–241, 281, 287, 566–568,
586, 587, 596
- Волконский С.М. – 269
- *Володарский В. (Гольдштейн
М.М.) – 278, 586
- Вольский Н.В. – см. *Валенти-
нов Н. (Вольский Н.В.)
- *Вольтер (Аруэ М.Ф.) – 114,
200, 306, 335, 519, 545, 555,
597

- Воронцов М.С. – 71, 478
 Вулис А.З. – 348, 349, 613
 Выгодский Д.И. – 633
 Вырубов В.В. – 297–300, 594, 595
 Вырубова (Львова) Е.А. – 595
 Вяземский П.А. – 474, 532, 561
- Гагарин Е.А. – 53, 468
 Газданов Г.И. – 443–446, 652–654
 Галаган П.Г. – 500
 Гальцова Е.Д. – 450
 Ганзен Э. – 568
 *Ганский (Гатинский) Л.И. – 263–265, 580
 *Гари Р. (Кацев Р.Л.) – 455
 Гарнак А. фон – 271, 584
 Гароди Р. – 331, 332, 608
 Гаршин В.М. – 19, 485
 Гастев А.К. – 564
 Гачева А.Г. – 526
 Гварди (Гуарди) Ф. – 196
 Ге Н.Н. – 605
 Гегель Г.В.Ф. – 184, 202, 294, 338, 339, 547, 556, 593
 Гейне Г. – 515
 Гепнер Б.П. – 136, 522
 Гераклит – 405, 638
 Герасимов А.М. – 281, 588
 Герман Ю.П. – 13
 Герчук Ю.Я. – 563, 590
 Герцен А.И. – 27, 33, 35, 41, 115, 133–137, 152, 233–236, 321, 358, 386, 420, 460, 461, 518–520, 522, 532, 533, 565, 566, 599, 604
 Герштейн Э.Г. – 583
 Гершунин П. – 638
- Гёте И.В. – 30, 40, 128, 198, 215, 251, 260, 350, 352, 355, 409, 441, 472, 515, 573, 651
 Гзовская О.В. – 572
 Гингер А.С. – 8, 10, 63–68, 474–476, 544
 Гинзбург М.С. – 495
 Гинзбург Ю.А. – 578
 Гиньебер Ш. – 349, 614
 Гиппиус В.В. – 633
 Гиппиус (Мережковская) З.Н. – 35, 102, 104, 108, 109, 290, 363, 365, 402, 437, 457, 465, 498, 617, 651
 *Гитлер (Шикльгруббер) А. – 304
 Гладков Ф.В. – 81
 Глейзер М.М. – 617
 Глухова Е.В. – 450
 Гнатюк К. – 643
 Гнедич Н.И. – 88, 488, 489, 532, 608
 Гоголь Н.В. – 21, 27, 36, 44, 46, 47, 55, 58, 60, 73, 94, 118, 160, 164, 168, 190, 226, 235, 268, 305, 308, 317, 334, 389, 409, 425, 426, 457, 462, 465, 469, 496, 505, 507, 510, 540, 541, 550, 565, 567, 597, 603, 636, 647
 Голлербах Э.Ф. – 456
 *Голон С. (Голубинов В.С.) – 455
 Голубева Л.Г. – 624
 Гольденвейзер А.Б. – 234, 565, 598
 Гомер – 41, 242, 328, 461, 489,
 Гонкур Э. де – 464
 Гончаров И.А. – 19, 95, 161–163, 352, 536–538, 554,

- Гораций, Квинт Гораций
Флакк – 151, 291, 417, 532
- Гордиенко Н.С. – 273–276, 585,
622, 627
- Горнфельд А.Г. – 110, 506
- Городецкий С.М. – 364, 365,
617, 620, 621, 628
- *Горький М. (Пешков А.М.) –
83, 84, 216, 217, 230, 232,
251, 255, 257, 330, 444, 456,
485, 486, 524, 550, 560, 561,
564, 565, 573, 626, 652, 653
- Готовцева А.В. – 583
- Готье Т. – 52, 114, 115, 467, 509,
633
- Гофман М.Л. – 555
- Грановский Т.Н. – 604
- Грачева А.М. – 490
- Гренье Ж. – 435, 649, 650
- Греч Н.И. – 466
- Грибков Л.Д. – 563
- Грибоедов А.С. – 117, 190, 268,
299, 464, 519, 548, 549, 565,
595, 643
- Григорьев А.А. – 425, 646
- Гринберг Р.Н. (*Эпре) – 10, 11,
408, 409, 453, 471, 567, 640
- Гринберг С.М. – 408
- Груздев И.А. – 542
- Грузинов И.В. – 628
- Гуаньелли С. – 466
- Губайловский В. – 453
- Гудзий Н.К. – 199
- Гукасов (Гукасянц) П.О. – 9
- Гуковский А.И. – 495
- Гуль Р.Б. – 87, 132–138, 466,
488, 517–522, 567, 626
- Гумилев Н.С. – 59, 66, 106,
107, 120, 145, 174, 175, 218,
341, 365, 393, 398, 476,
502–504, 511, 542, 544,
621, 632–635
- Гурилев А.Л. – 29, 454
- Гуссерль Э. – 255
- Гюго В.М. – 94, 132, 307, 515,
517, 598
- Гюнсбург М.Э. – 578
- Дав П. – 542
- Давыдов З.С. – 484
- Данилевский А.А. – 464, 465, 490
- Данилевский Н.Я. – 39, 40, 459,
460
- Данте Алигьери – 198, 333, 409,
493, 609, 619
- Дантес Ж.Ш. (барон Геккерен)
– 430
- Дега Э. – 64, 474
- Де Голль Ш. – 612, 613
- Дедюлин С.В. – 502
- Дельвиг А.А. – 532, 555, 641
- Демокрит – 275
- Денике Ю.П. – 183–189, 547,
548
- Деникин А.И. – 5, 523
- Денисов Э. В. – 563, 564
- Державин Г.Р. – 66, 174, 291,
411, 641
- Джойс Дж. – 177
- Дзержинский Ф.Э. – 275
- Диккенс Ч. – 461
- Дикушин Н.И. – 483
- Дмитрий Иванович, царевич –
391
- Добкин А.И. – 632
- Добролюбов Н.А. – 40, 102, 258,
266, 329, 495, 496
- Добычин Л.И. – 13
- Долгов К.М. – 650

- Долгов С. – 515, 578
Долгополов Л.К. – 617
Долинин А.С. – 459
Домбровский Ю.О. – 12, 356–359, 615, 616
*Дон Аминадо (Шполянский А.П.) – 92, 116–119, 372–375, 509, 510, 595, 623
Дороганов М. – 148, 530
Дос Пассос Д. – 199
Достоевская (Сниткина) А.Г. – 86, 488, 558, 559
Достоевский Ф.М. – 9, 16, 19–24, 27, 30, 31, 38, 43–45, 47, 52, 60, 74–79, 83, 85, 86, 93, 94, 111–115, 124, 125, 128, 131, 132, 139, 143, 149, 157, 160, 161, 163, 166, 175, 176, 181, 187, 204, 214–217, 225, 226, 230, 235, 239, 241, 252, 254, 256, 271, 290, 303, 308, 324, 328, 329, 339, 369, 380, 382, 385, 387, 389, 396, 409, 412, 415, 426, 434–437, 446, 450–453, 457, 459–461, 465, 469–471, 478–482, 487–491, 494, 507, 508, 511–515, 517, 523, 525, 531, 536, 540, 545, 553, 558–562, 564, 565, 569, 573, 575–577, 591, 597, 610, 612, 627, 632, 634, 636, 642, 647, 649, 650
Древс А. – 349, 614
Дружинин А.В. – 536, 537
Дудинцев В.Д. – 68–74, 87, 97, 195, 476–479, 488, 494, 553
Дудинцева М.В. – 476, 477
Дудинцева (Гордеева) Н.Ф. – 476, 477
Душенко К.В. – 548
Дэвис Р. – 450, 472, 499, 500, 504,
Дюбарри (Бекю) М.Ж. – 436, 488, 650
Дю Бос Ш. – 345, 612
Дюкло Ж. – 521
Евангулов Г.С. – 86, 148, 487, 488, 529, 530
*Евгеньев-Максимов (Максимов В.Е.) – 637
Еврипид – 108, 239, 500, 566
Евсеев Н.Н. – 148, 529, 530
Евтушенко Е.А. – 11, 12, 189, 240, 260–263, 287, 288, 368, 372, 400, 412, 548, 567, 579, 580, 587, 622, 641
Евклид – 23, 452
Еголин А.М. – 637
Егоров И.Я. – 484
Ежов Н.И. – 573
Екатерина II Великая – 134, 519
Елагин И.П. – 29, 89, 491
Елизавета Петровна – 519
Ельчанинов К.А. – 613
*Емельянова Н. (Козловицкая Н.А.) – 484
Еремин Д. – 478, 479
Ермилов В.В. – 198, 199, 244, 454, 470, 569
Ершов И.В. – 318, 604
Есенин С.А. – 52, 213, 364, 365, 381, 431, 466, 558, 619–621, 628
Ефимов М.В. – 497, 636
Ефимов Н.П. – 594
Ефрем Сирин – 639
Ефрон И.А. – 458–460

- Жданов А.А. – 287, 288,
 Жебелев С.А. – 631
 Жид А. – 89, 307, 435, 490, 491,
 649
 Жиликова Э.М. – 462
 Жирмунский В.М. – 290, 592,
 633
 Жуковский В.А. – 126, 317, 411,
 424, 466, 514, 532, 555, 646

 Забежинский Г.Б. – 554
 Заболоцкий Н.А. – 6
 Зайцев Б.К. – 6, 11, 152, 178,
 204–206, 252, 253, 290,
 333–335, 423–425, 464, 532,
 557, 574, 609, 618, 642, 645,
 646
 Зайцев Л.Н. – 525
 Зайцева В.А. – 609
 Замятин Е.И. – 542
 Занд Ж. – см. Санд Ж.
 Зелеер В.Ф. – 5
 Зелинский Ф.Ф. – 391, 392,
 631, 632
 Зенкин С.Н. – 650
 Зенков А.П. – 357, 615
 Зеньковский В.В. – 149, 531
 Зерчанинов А.А. – 450
 Зивельчинская Л.Я. – 454
 Зильберштейн И.С. – 653
 *Зиновьев (Радомысльский)
 Г.Е. – 278, 586
 Злобин В.А. – 58, 471
 Золя Э. – 464
 Зонин А.И. – 454
 Зощенко М.М. – 13, 118, 119,
 165–168, 178, 540–542
 Зубарев В.К. – 563
 Зубов П.А. – 134

 Зуров Л.Ф. – 151–155, 531–
 533, 561, 602
 Зюзин А. – 548

 Ибсен Г. – 190, 243, 338, 484,
 513, 568, 569
 Иванников М.Д. – 48–51, 463–
 465
 Иванов Вс. В. – 542, 583
 Иванов Вяч.И. – 64, 106, 110,
 148, 181, 252, 262, 334, 363,
 392, 416, 501, 502, 506, 535,
 546, 579, 580, 642
 Иванов Г.В. – 51, 52, 89, 107,
 148, 462, 464, 466, 468, 480,
 486, 490, 491, 499, 503, 504,
 511, 517, 518, 530
 *Иванов-Разумник (Иванов
 Р.В.) – 618
 Иванова Е.В. – 617
 Иваск Ю.П. – 33, 34, 37, 126,
 455–458, 463, 464, 476, 514,
 526, 529, 619, 620, 640
 Игорь Святославич – 60
 Ильинский О.П. – 88, 89, 145,
 146, 490, 491, 527
 Ильичев Л.Ф. – 279–281, 586–
 588
 *Ильф И. (Файнзильберг И.А.)
 – 548
 Иннокентий III – 639
 Иосиф Волоцкий (Санин И.) –
 60
 Ипполит Римский – 639
 Ириней Лионский – 639
 Исаковский М.В. – 82, 485

- Каверин В.А. – 542
 Казакевич Э.Г. – 231–233, 565
 Казаков Ю.П. – 12
 Калинин П. – 471
 Каль А.Ф. – 390, 630, 631
 Камю А. – 266, 435, 481, 649, 650
 Каналетто (Каналь) Дж. А. – 196
 Каннак (Залкинд) Е.О. – 53, 467
 Кант И. – 173, 331, 349, 350, 392, 608, 632
 Кантор М.Л. – 421–423, 479, 644, 645
 Карамзин Н.М. – 51, 179, 236, 386, 466, 546, 566
 *Карелин (Кац) Л.В. – 248, 571
 Каролинский – 542
 Карпович М.М. – 58, 143, 146, 471, 486, 525, 589
 Кастанье Ж.-А. – 357, 615
 Кастерс Ж. – 584
 Катаев В.П. – 379, 627
 Катков М.Н. – 560
 Кафка Ф. – 166, 167, 264, 265, 354
 Кессель Ж. – 552
 Кизеветтер А.А. – 104
 Кизеветтер И.-Г.-К.-Х. – 104, 594
 Киркегард (Кьеркегор) С. – 455
 Кирпотин В.Я. – 450, 454
 Кирсти (Веннола) М. – 534
 Киршон В.М. – 454
 Клейнмихель (Келлер) М.Э. – 299, 595
 Клемансо Ж. – 299
 *Кленовский (Крачковский) Д.И. – 144, 145, 527
 Климент Александрийский – 639
 Клиnger Г. – 608
 Клодель П. – 250, 573
 Клосс К.М. (*Ларионова К.) – 484
 Клюев Н.А. – 365
 Ключевский В.О. – 59, 134, 316, 472, 519, 603
 Книппер-Чехова О.Л. – 376, 624
 *Кнут Д. (Фиксман Д.М.) – 117, 510
 Ковалева Н.В. – 502
 Коваленко С.А. – 502
 Коган А.Э. – 527
 Кодрянская Н.В. – 149, 530
 Кожевников В.А. – 513
 Козин В. – 484
 Козмин Л.А. – 500
 Козовой В.М. – 474
 Кокто Ж. – 55, 305–307, 443, 469, 597, 598
 Коленкур А.О.Л. – 267, 582
 Колумб Х. – 188, 401
 Колчак А.В. – 594
 Кольцов А.В. – 82, 83, 365, 485
 Комаровский В.А. – 107, 503, 504
 Кондаков Н.П. – 651
 Конюс Э.М. – 524
 Коонен А.Г. – 552
 *Корбьер Т. (Жоашен Э.) – 501
 Корвин-Пиотровский В.Л. – 52, 467
 Корконосенко К.С. – 554
 Корнеев Ю.Б. – 615
 Корнель П. – 61, 63

- Королева Н.В. – 502
 Короленко В.Г. – 70, 477, 478, 485
 Коростелев О.А. – 7–9, 11, 453, 456, 464, 468, 472, 476, 480, 490, 494–497, 499, 500, 504, 517, 518, 526, 544, 561, 567, 602, 623, 636, 640, 654
 Косман С. – 378–381, 626, 628
 Космодемьянская З.А. – 275
 Костомарова И.А. – 624
 Кранкшоу Э. – 68, 71, 477, 478
 Красавченко Т.Н. – 654
 Краснов Ю.М. – 588
 Крейд В. (Крейденков В.П.) – 6–8, 10, 11, 458, 471, 474, 486, 534, 535, 544, 567, 593, 602, 604, 629
 Крейд В.В. – 6, 7, 471, 486, 534
 Кречмар Г. – 631
 Кро Ш. – 501
 Кропоткин П.А. – 634
 Крупская Н.К. – 386
 Крусанов А.В. – 570
 Кручёных А.Е. – 569
 Крылов И.А. – 117, 268, 514
 Крячко Л. – 570
 Кузмин М.А. – 365, 580
 Кузнецова И. – 650
 Купер Дж. Ф. – 75
 Курочкин В.С. – 19, 553
 Кусевицкий С.А. – 612
 Кусков В.В. – 462
 Кускова Е.Д. – 53, 58, 89, 90, 126, 149, 184, 191, 192, 468, 491, 514, 531, 550
 Кушнер Б.А. – 598
 Кюхельбекер В.К. – 493, 510
 Лабрюйер Ж. де – 515
 Лавров А.В. – 465
 Лагерлеф С. – 643
 Лажечников И.И. – 19
 Лазаревский В.А. – 5, 7
 Лазурский В.Ф. – 516, 605
 Ламартин А. – 515
 Лао-Цзы (Ли Эр) – 548
 Ларошфуко Ф. де – 515
 Лас Каз Э.О. де – 141, 461, 462, 524, 525
 *Лаффит С. (Гликман-Тумаркина С.Г.) – 210–217, 310–313, 558–561, 575, 599–601
 Лебеденко А.Г. – 13
 Левинтон Г.А. – 536
 Левитан И.И. – 192
 Легуве Э. – 552
 Лейбниц Г.В. – 258, 578
 Лейкин Н.А. – 471
 Леконт де Лиль Ш. – 501
 *Лелевич Г. (Калмансон Л.Г.) – 454
 Леман Г.А. – 512
 Ленау Н. – 515
 *Ленин (Ульянов) В.И. – 21, 126, 136, 198, 216, 229, 230, 250, 277, 289, 302, 513, 520, 521, 564, 572, 586, 592
 Леонардо да Винчи – 275
 Леонов Л.М. – 12, 13, 85
 Леонтьев К.Н. – 20, 27, 33, 35, 66, 77, 78, 124, 144, 215, 248, 408, 438, 439, 443, 475, 480–482, 526, 559, 571, 640
 Лермонтов М.Ю. – 57, 65, 82, 94, 114, 115, 127, 204, 214, 215, 226, 235, 261, 269, 308, 315–317, 425, 432, 454, 470, 490, 493, 509, 514, 517, 536,

- 549, 563, 565, 583, 585, 602,
603, 636, 642, 647
- Лесков Н.С. – 636
- Летаева Н.В. – 470
- Ливак Л. – 475
- Лидин В.Г. – 624
- Линецкая Э.Л. – 515, 578, 615,
649
- Лист Ф. – 631
- Лифарь С.М. – 612
- Лихоносов В.И. – 12
- Ллойд Джордж Д. – 299
- Лобанов М.Е. – 474
- Лобанов С.В. – 524
- Лобачевский Н.И. – 23, 215,
452, 453, 559
- Лозинский Г.Л. – 633
- Лозинский М.Л. – 609, 633
- Лойола И. – 556
- Ломоносов М.В. – 275
- Лосская В.К. – 562
- Лосский Н.О. – 53, 392, 467,
480, 632
- Луази А. – 271, 584, 585
- Лукреций, Тит Лукреций Кар –
638
- Лумумба П.Э. – 275
- Луначарский А.В. – 126, 543
- Лунц Л.Н. – 542
- Лурье С.Е. – 517
- Львов Г.Е. – 299, 594, 595
- Львова (Долгорукова) М.А. –
299, 595
- Л'Эрбье М. – 552, 553
- Людвик XIV – 133, 235, 519
- Людвик XV – 87, 436, 488,
- Лютер М. – 556
- Магомедова Д.М. – 502
- Мадариага (Мадарьяга и Ро-
хо) С. де – 197, 198, 554
- Мазон А. – 127–129, 132, 514
- Майков А.Н. – 454, 459, 626
- Майн Рид Т. – см. Рид Т.М.
- Макаров А.А. – 496
- Маклаков В.А. – 7, 8, 45, 134,
157, 285, 299, 324, 422, 462,
519, 535, 536, 589, 594, 605,
644, 645
- Маковицкий Д.П. – 600, 601
- Маковский С.К. – 499, 577
- Маликова М.Э. – 554
- Малларме С. – 64, 65, 474, 501
- Мальро А. – 435, 650
- Мамай – 59
- *Мамин-Сибиряк (Мамин) Д.Н.
– 27, 83, 453
- Малмстад Дж. – 475
- Мандельштам О.Э. – 341, 398–
400, 408, 431, 432, 506, 507,
511, 545, 611, 633, 635, 640
- Мандельштам Ю.В. – 498
- Манн Т. – 190
- Маргарита Датская (Маргре-
те I) – 519
- Мариенгоф А.Б. – 572, 628
- Маркион – 406, 442, 639, 652
- Марков В.Ф. – 29, 53, 454, 467,
468, 526,
- Марков Г.М. – 199
- Маркс А.Ф. – 489, 554, 620
- Маркс К. – 21, 136, 197, 520, 521
- Маркс Ф. – 521
- *Марлинский А. – см. Бесту-
жев А.А.
- Мартен дю Гар Р. – 435, 649,
650
- Маршак С.Я. – 583

- Маскулия А.В. – 588
 Маслов Ф. – 626
 Мац И.Л. – 454
 Мацнев Г.Н. – 345–348, 404–408, 437–443, 455, 612, 613, 637–640, 649, 651, 652, 655
 Маяковский В.В. – 74, 146, 211, 249–251, 261, 292, 307, 364, 365, 371, 378–381, 431, 479, 558, 569, 571–573, 585, 597, 598, 619, 621, 625–629, 637
 Межиров А.П. – 12
 Мейендорф И.Ф. – 608
 Мейер Г.А. – 602
 Мейерхольд В. Э. – 552
 Мейлах Б.С. – 450
 Менделеева Л.Д. – 618
 Мережковский Д.С. – 102, 108, 156, 256, 313, 329, 445, 462, 535, 576, 577, 607, 617, 626, 642, 654
 Мериме П. – 507
 Метель О.В. – 585
 Метерлинк М. – 242, 243,
 Метнер Н.К. – 90, 491
 Метченко А.И. – 572, 573
 Мечников И.И. – 523
 Микеланджело Буонарроти – 527
 Мильчина В.И. – 515, 639
 Милюков П.Н. – 5, 9, 111, 285, 299, 496, 589
 Минц З.Г. – 617, 620
 Митин М.Б. – 585
 Михаил Федорович, царь (с 1613), первый царь из династии Романовых – 528
 Михайлов О.Н. – 12, 624
 Михайловский Н.К. – 45, 502, 513, 570, 571, 599
 Михайловский-Данилевский А.И. – 582
 Мнухин Л.А. – 506, 510, 623
 Модильяни А. – 341, 611
 Мокроусов А.Б. – 470
 *Молотов (Скрябин) В.М. – 280
 Мольер (Жан Батист Поклен) – 241, 568
 Монтень М. де – 318
 Мопассан Г. де – 191, 549
 *Моравиа (Пинкерле) А. – 19
 Мориак Ф. – 325, 327
 Морозов С.Н. – 624
 *Моруа А. (Эмиль Эрзог) – 163, 387, 518, 539, 630
 Моцарт В.А. – 99, 317, 409, 410, 467, 468, 506, 603, 641
 Мочалов П.С. – 250, 572
 Мочульский К.В. – 216, 254, 289–292, 334, 541, 560, 575, 591, 592, 609, 612, 633
 Моэм У.С. – 266, 550, 582
 Муратов П.П. – 334
 Мурильо Б.Э. – 522
 Мюллер Ф. – 441
 Набоков (*Сирин) В.В. – 49, 110–112, 114, 146, 463, 465, 507, 509, 527, 528
 Надеждин Н.И. – 588
 Надсон С.Я. – 19, 27, 83, 291, 453, 466
 Наполеон I (Наполеон Бонапарт) – 55, 76, 94, 130, 132, 141, 214, 215, 267, 268, 300, 344, 394, 480, 481, 493, 524, 559, 566, 582
 Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) – 137, 522

- Нарциссов Б.А. – 602
 Натансон М.Я. – 598
 Недзвецкий В.А. – 538
 Неизвестный Э.И. – 587
 Некрасов В.П. – 300, 596
 Некрасов Н.А. – 30, 44, 45, 47,
 53, 65, 82, 90, 127, 131, 147,
 149, 157, 163, 164, 261, 380,
 404, 462, 463, 468, 491, 503,
 516, 517, 536, 579, 583, 613,
 627, 636, 637
 Немзер А.С. – 536
 Немирович-Данченко Вл. И. –
 549
 *Нерваль Ж. де (Ж. Лабрю-
 ни) – 114, 509
 Нижинский В.Ф. – 126, 514
 Никитин Афанасий – 61, 472
 Никитин В.А. – 576
 Никитин Н.Н. – 542
 Николай I – 115, 132–135, 137,
 152, 518–521, 532
 Николай II – 299
 Николай Николаевич, вел.
 князь – 429
 Никольский Б.Н. – 476, 477
 Никольский Ю.Д. – 459
 Николукин А.Н. – 455, 638
 Никоненко С.С. – 653
 Нил Сорский (Майков Н.) – 60
 Нилендер В.О. – 638
 Ницше Ф. – 42, 63, 76, 138, 194,
 215, 254, 338, 354, 392, 434,
 438, 461, 473, 480, 481, 523,
 559, 560, 649
 Нобель А.Б. – 419, 420, 643
 Новиков Н.И. – 513
 Новикова Е.Г. – 600
 Ноле-Коган Н.А. – 618
 Ньютон И. – 245, 578
 Овсяннико-Куликовский Д.Н. –
 391, 631
 Огарев Н.П. – 513
 Оден У.Х. – 78
 *Одоевцева И.В. (Гейнике И.Г.)
 – 54–56, 58, 107, 146, 147,
 464, 466, 468, 469, 471, 479,
 480, 490, 499, 504, 517, 518,
 528, 602, 618
 Окуджава Б.Ш. – 570
 Олеша Ю.К. – 13, 56, 85, 146,
 528,
 Оман Э. – 475
 Онегин А.Ф. – 555
 Оржоникидзе Г.К. – 386
 Ориген – 406, 442, 639, 652
 Орлов А.И. – 578
 Орлов А.Ф. – 520
 *Орлов (Шапиро) В.Н. – 617
 Орловский, председатель Но-
 воржевского ун-та – 542
 *Осинский Н. (Оболенский
 В.В.) – 628
 *Осоргин (Ильин) М.А. – 100,
 102, 652
 Островский А.Н. – 19, 190, 241,
 565, 568, 571
 Офросимов Ю.В. (*Росимов Г.)
 – 476
 Оцуп Н.А. – 74, 75, 77, 107,
 127–129, 131, 132, 149, 150,
 174–175, 217–220, 476, 479,
 480, 504, 514–517, 531, 544,
 561, 636
 Павел VI – 305, 652
 Павел, апостол – 326, 406, 440,
 441, 639
 Павлова А.П. – 126, 514

- Павлович Н.А. – 620
Паганини Н. – 631
Пантелеевых братьев типография (с 1903 г. – Пантелеев П.Ф.) – 460
Паскаль Б. – 33, 37, 129, 234, 258–260, 331, 441, 455, 456, 461, 515, 516, 565, 577–579
Пастернак Б.Л. – 149, 175–182, 186, 212, 229, 278, 325, 334, 340, 364, 380–382, 397–399, 420, 425, 431, 432, 505, 506, 530, 531, 544–547, 563, 570, 605, 611, 618, 619, 628, 635, 643
Паустовский К.Г. – 281, 368, 596
Пашенко В.В. – 377, 625
Первов П.Д. – 515, 578
Перцов В.О. – 572
Перье Э. – 578
Петников Г.Н. – 6
Петр I Великий – 42, 111, 300, 461, 503, 518, 523
Петражицкий Л.И. – 391, 631
Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) М.В. – 481
Петров Д.К. – 393, 633
*Петров Е. (Катаев Е.П.) – 548
Петровский Ф.А. – 638
Петроний – 305
Пигарев К.В. – 515
Пий XII – 303–305
Пикассо П. – 240, 245, 281, 570
Пильняк Б.А. – 13
Пильский П.М. – 498
Писарев Д.И. – 115, 266, 454
Питоев Г. (Ж.) – 194, 552
Питоева (Сманова) Л. – 194, 552
Платон – 61, 227, 259, 331, 338, 578, 608, 632
*Платонов (Климентов) А.П. – 13, 14
Платонов С.Ф. – 391, 472, 631
Плетнев В.Ф. – 564
Плетнев Р.В. – 124, 125, 472, 512
Плеханов Г.В. – 543, 544
Плещеев А.Н. – 495
Победоносцев К.П. – 200, 434, 555, 649
*Поволоцкий (Бендерский) Я.Е. – 509, 652
Погодин М.П. – 588
Погодина Е.И. – 482
Поджиоли – 198
Поленец В. фон – 533
Полнер Т.И. – 604
Полонская Е.Г. – 542
Полонская Л.А. – 6
Полонский Я.П. – 484, 599, 627
Полторацкий Н.П. – 526
Полудинская – 136
Поляков А.А. – 7, 8, 10
Полянский В.В. – 5
Померанцев К.Д. – 547
Помпадур (Пуассон Ж. А.), маркиза де – 488
Поплавский Б.Ю. – 66, 104, 475
*Поселянин Е. (Погожев Е.Н.) – 612, 651
Поспелов П.Н. – 476
Потапенко И.Н. – 27, 453
Похитонов Г. – 582
Прегель С.Ю. – 155–159, 163, 534–536, 539, 606, 627, 637
Преображенская В.И. – 563

- Преображенский В.П. – 560
 Преображенский Е.А. – 452
 Прибытков Я. – 248
 *Присманова (Присман) А.С. – 220–225, 561, 562
 Пришвин М.М. – 14
 Прокофьев С.С. – 90, 491
 Проппер С.М. – 527
 Протопопов М.А. – 599
 Протопопова А.В. – 450
 Пруст М. – 177, 446
 Пугачев Е.И. – 275, 506
 Пуришкевич В.М. – 495
 Пушкин А.С. – 20, 27, 28, 32, 40–42, 57, 63–66, 71, 76, 82, 83, 89, 94–96, 111–115, 126–128, 131, 133, 145, 146, 151, 181, 182, 192, 199, 200, 204, 214, 215, 217, 218, 220, 225–228, 230, 234, 245, 246, 265, 268–270, 275, 283–285, 291, 292, 299, 313, 314, 316, 317, 324, 325, 328, 329, 335, 338, 360, 379, 391, 394, 395, 409–411, 412, 417, 424–426, 430, 431, 437, 460–462, 465, 469, 470, 474, 475, 478, 482, 486, 491, 493, 499, 503, 506–508, 515–518, 529, 532, 536, 554, 555, 561–563, 565, 569, 573, 574, 580, 583, 588–590, 592, 595, 602–606, 608, 610, 617, 627, 633, 640, 641, 645, 646, 647–649, 651
 Пушкин Л.С. – 474
 Пушкина (урожд. Гончарова, во втором браке Ланская) Н.Н. – 227
 *Пяст (Пестовский) В.А. – 617, 618, 633
 Рабле Ф. – 168
 Радищев А.Н. – 513
 Райс Э.М. – 608
 Райхин Д.Я. – 450
 Рапп Е.Ю. – 462, 463
 Расин Ж. – 40, 61, 63, 114, 115, 128, 190, 473, 474, 509
 Раскина А.А. – 622
 Распутин (Новых) Г.Е. – 41
 Ратьковский М.Р. – 542
 Рафаэль Санти – 136, 245, 522
 Рахманинов С.В. – 72, 614
 Рашель (Элиза Рашель Феликс) – 553
 Ремарк Э.М. – 570
 Рембо А. – 501
 Рембрандт Харменс ван Рейн – 293
 Ремизов А.М. – 11, 29, 87, 88, 149, 263, 290, 434, 454, 488–490, 530, 580, 636
 Ренан Ж. Э. – 188, 271, 548, 584
 Репин И.Е. – 293, 404, 637
 Решетников Ф.М. – 19
 *Ржевский (Суражевский) Л.Д. – 56, 57, 122–124, 470, 511
 Рид Т.М. – 75
 Рике о., французский проповедник – 272
 Риман Г. – 631
 Римский-Корсаков Н.А. – 604
 Роб-Грийе А. – 593
 Рождественский Вс. А. – 218
 Рождественский Р.И. – 567
 Розанов В.В. – 33–37, 48, 78, 127, 149, 213, 214, 248, 346, 405, 407, 438, 441, 449, 455–458, 463, 482, 514, 530, 558, 571, 612, 638, 639, 642
 Розанов И.Н. – 618, 619

- Розен Л.И. – 552
 Роллина М. – 501
 Романов А.М., вел. князь – 560
 Романов Б.Г. – 126, 514
 Романов Г.М., вел. князь – 560
 Романов П.Н., вел. князь – 560
 Романовых дом – 134, 528, 560
 Рославец Н.А. – 563
 Ростан Ж. – 332, 608
 Ростан Э. – 194, 195
 Ростовцев М.И. – 391, 631, 632
 Рудинский В.А. – 472
 Руднев В.В. – 495
 Руманов А.В. – 455
 Руссо Ж. Ж. – 234, 325, 347
 *Рыкачев (Шихман) Я.С. – 13, 56, 470,
 Рюккерт Г. – 39, 460

 Саакянц А.А. – 506
 Сабанеев Л.Л. – 126, 193, 351, 514, 614
 Сабашниковы М.В. и С.В. – 578
 Саблин В.М. – 516
 *Савельев А. (Шерман С.Г.) – 470
 Савельева Л.М. – 344, 611
 Савинков Б.В. – 144, 526, 527
 Садовников Ф. – 646
 Садовской (Садовский) Б.А. – 475
 Садовской Н.А. – 608
 Сазонова (Слонимская) Ю.Л. – 58–63, 472–474
 Саломон Ш. – 129
 Салтыков (Салтыков-Щедрин) М.Е. (*Н. Щедрин) – 19, 20, 453, 464, 537, 554
 Сальери А. – 317, 468, 506, 603, 641
 *Самарин (Соколов) В.Д. – 12
 Самсонов А.В. – 428, 648
 *Санд Ж. (Дюпен-Дюдеван А.) – 136, 521
 Сарду В. – 243, 569
 *Саррот Н. (Черняк Н.) – 455, 593
 Сартр Ж. П. – 354, 481, 593, 643
 Сафохин А.И. – 563
 Сахаров С.И. – 512
 Святополк-Мирский Д.П. (*Мирский Д.) – 313, 497, 642
 Севинье де, Рабютен-Шанталь Д. – 129, 516
 Седуро В. – 149, 531
 *Седых А. (Цвибак Я.М.) – 10, 375, 377, 623, 625
 *Селин (Детуш) Л. Ф. – 208, 276, 557, 586
 Семенова С.Г. – 512, 526
 Сен-Симон А. – 133, 235, 519, 566
 Сенглен А. – 578
 Сент-Бёв Ш.О. – 129
 *Серафимович (Попов) А.С. – 486
 Сервантес С.М. де – 139, 198, 523
 Сергей Радонежский – 532
 Сесиль Д. – 198
 Сикорский И.А. – 406, 455, 638
 Симон К. – 593
 Симонов К.М. – 79, 348, 477, 483, 484, 613
 Сиротинин В.Н. – 138, 523
 Скабичевский А.М. – 31, 454

- Скриб О.Э. – 195, 243, 552, 553, 569
- Скрябин А.Н. – 636
- Скуратов Б.М. – 576
- Скуржевский И. – 522
- Слоним М.Л. – 87, 109, 149, 198, 199, 313, 488, 498, 530
- Слонимский М.Л. – 542
- Случевский К.К. – 314, 601
- Смирнова-Россет А.О. – 585
- Смит Дж. – 497
- Смола О.П. – 617
- Сойкин П.П. – 651
- Сократ – 227
- Солженицын А.И. – 7–9, 276–278, 300–302, 359, 360, 381–386, 394–396, 412–414, 420, 427–429, 437, 456, 496, 585–587, 595, 596, 616, 623, 629, 633, 634, 641–644, 647, 648, 651
- Соловьев В.С. – 27, 33, 35, 38, 39, 100, 126, 157, 169, 214, 257, 326, 380, 404, 458–460, 494, 513, 535, 536, 542, 543, 558, 559, 606, 637
- *Сологуб (Тетерников) Ф.К. – 365, 475, 617, 618
- Софокл – 61
- Спартак – 275
- *Ставров (Ставропуло) П.С. – 499
- Сталь А.Л.Ж. де – 515
- *Сталин (Джугашвили) И.В. – 72, 73, 123, 187, 230, 236–238, 250, 277, 280–282, 287–289, 304, 348, 356, 357, 365–368, 380, 383, 386, 413, 566, 572, 573, 587, 588, 590, 616, 627
- *Станиславский (Алексеев) К.С. – 193, 232, 550–552, 565, 572
- Станюкович К.М. – 554
- Стасов В.В. – 42
- Стасов В.П. – 80, 484
- Стасюлевич М.М. – 562
- Стахович А.А. – 299
- *Стеклов Ю.М. (Нахамкис О.М.) – 522
- *Стендаль (Бейль А. М.) – 344, 481, 611, 612
- Степун Ф.А. – 102, 175, 252–257, 496, 545, 573–577, 607
- Столпнер Б.Г. – 593
- Столыпин П.А. – 268, 299, 583
- Стравинский И.Ф. – 126, 364, 514, 620, 621
- Страдивари (Страдивариус) А. – 432
- Стражев В.И. – 450
- Страхов Н.Н. – 214, 266, 329, 459, 558, 559, 581, 582, 607
- Стремоухов Д.Н. – 198
- Стриндберг Ю.А. – 643
- Строков П. – 569
- Струве А.Ф. – 619
- Струве Г.П. – 9, 468, 476, 490, 553, 642, 644
- Струве М.А. – 619
- Струве Н.А. – 642
- Струве П.А. – 407, 639
- Струве П.Б. – 104, 105, 490, 498, 639
- Струговщик С. – 582
- Ступницкий А.Ф. – 5
- *Суварин (Лифшиц) Б.К. – 8
- Суворин А.С. – 213, 266, 311, 456–458, 537, 538, 558, 582, 600

Суинберн А.Ч. – 191, 549
Суперфин Г.Г. – 502
Суровцев Ю.И. – 169, 543
Сэлинджер Д.Д. – 570
*Сюлли-Прюдом (Прюдом
Р.Ф.А.) – 419, 643

Таиров А.Я. – 552
Талеров П.И. – 521
Тарасова (Жук) Н.Б. – 397,
634, 635
Тарле Е.В. – 583
Тартак И.Л. – 94
Тассо Торквато – 146, 527
Таубер Е.Л. – 148, 529
Тацит – 288, 591
Твардовский А.Т. – 276, 586,
624
Тейяр де Шарден П. – 330–333,
339, 441, 608, 609, 651
Тельман Э. – 275
Тендряков В.Ф. – 170–173, 543
Терапиано Ю.К. – 6, 10, 11, 105,
200, 313–315, 336, 337, 476,
499, 526, 555, 601, 602, 609,
610, 654
Тер-Гевондян Т.Р. – 563
Теренциан Мавр – 532
Тертуллиан Квинт Септимий
Флоренс – 406, 442, 639,
652
Тильман И. – 563, 564
Тименчик Р.Д. – 502
Тихонов В.В. – 611
Тихонов Н.С. – 542
Тойнби А. – 39
Толстая А.Л. – 537
Толстая С.А. – 198, 199, 322,
323, 604, 641

Толстая Т.Л. – 198, 551
Толстой А.К. – 198, 326, 454,
535, 606, 636
Толстой А.Н. – 299, 300, 484
Толстой Андрей Л. – 516
Толстой А.П. – 647
Толстой И.Н. – 531
Толстой Л.Н. – 20–22, 27, 28,
31, 35, 37, 41, 42, 44, 45, 47,
49, 60, 63, 75, 77, 81, 83, 93,
94–96, 108, 111, 114, 125,
131, 133, 135, 140, 141, 153,
157, 160–162, 171, 176, 178,
179, 182, 192, 193, 195–205,
212–214, 216, 217, 223, 226,
230, 232, 234, 235, 241–243,
245, 246, 252–256, 260, 266–
268, 286, 300, 308, 309, 312,
313, 317, 321–330, 338, 339,
342–344, 347, 352, 366, 377,
379, 382, 383, 385, 387, 389,
394, 395, 401, 409, 411–413,
415, 416, 419, 420, 422, 423,
426–428, 433–435, 446, 461,
462, 473–475, 480, 482, 485,
488, 489, 493, 507, 513, 516,
518–520, 524, 525, 533, 535–
538, 545, 546, 549, 551, 553–
565, 568, 569, 573, 574, 576,
577, 581–583, 596, 598, 600,
601, 604–607, 610–612, 621,
624, 629, 634, 636, 641–645
Толстой М.Л. – 516
Толстой С.С. – 198
Топоров В.Н. – 531
Трегуб С.А. – 572, 573
Триббл К. – 472
*Троцкий (Бронштейн) Л.Д. –
54, 147, 274, 367, 380, 468,
469, 528, 585

- *Труайя А. (Тарасов Л.А.) – 32, 321–330, 454, 455, 604
- Трубецкой С.Н. – 494
- *Трубецкой Ю.П. (Нольден-Меншиков) – 148, 529
- Трумэн Г. – 568
- Туниманов В.А. – 488
- Турбин В.Н. – 243–246, 569, 570
- Тургенев И.С. – 38, 40, 47, 49, 65, 81, 82, 91, 115, 126, 127, 139, 149, 159–165, 196, 199, 201, 214, 225, 235, 257, 266, 286, 308, 309, 321, 322, 324, 327, 352, 387–389, 410, 424, 459, 462, 464, 465, 475, 484, 492, 512, 523, 531, 536–540, 553, 554, 556, 557, 562, 581, 590, 598, 604, 607, 627, 630, 640, 646
- Туроверов Н.Н. – 148, 529
- Тьер Л.А. – 267, 582
- *Тэффи (Лохвицкая Н.А.) – 118, 139, 465
- Тютчев Ф.И. – 27, 40, 64, 65, 82, 97, 109, 110, 112, 126–133, 145, 149, 150, 152, 165, 174, 187, 204, 211, 243, 246, 286, 341, 454, 474, 494, 499, 506, 507, 514–518, 527, 531–533, 540, 544, 558, 565, 569, 570, 583, 589
- Уилсон Э. – 177, 545
- Уитмен У. – 381, 628
- Ульянов Н.И. – 28, 149, 284–287, 454, 530, 589, 590
- Успенский Г.И. – 485
- Успенский Л.В. – 484
- Ухтомский А.А. – 513
- Фадеев А.А. – 79–84, 173, 482–486, 512, 543, 544, 573
- Федин К.А. – 13, 245, 364, 542, 617, 620,
- Федоров А.В. – 490, 499
- Федоров Н.Ф. – 124–126, 512, 513,
- Федотов Г.П. – 34, 35, 37, 102, 103, 457, 496, 497
- Фельтринелли Джанджакомо – 531
- Фет (Шеншин) А.А. – 64, 65, 165, 181, 211, 360, 454, 474, 475, 485, 501, 513, 537, 540, 546, 558, 565
- Фигнер В.Н. – 136
- Физ Б.Ю. – 654
- Филарет (Дроздов В.М.), митр. – 179, 546
- Филипп II – 487
- Философов Д.В. – 518
- Фихте И.Г. – 173, 543, 544
- Флейшман Л.С. – 497
- Флобер Г. – 65, 95, 126, 127, 352, 401, 410, 475, 493, 549, 614, 641
- Фондаминский – см. *Бунаков (Фондаминский) И.И.
- *Фондан (Векслер) Б. – 58, 471
- Фонтана Риккардо – 304
- Франк С.Л. – 104, 497
- Фрезинский Б.Я. – 542
- Фрейд З. – 152, 417
- Фридрих II – 177, 519, 545
- Фруг С.Г. – 27, 453
- Фурцева Е.А. – 476
- Хайдеггер М. – 255
- Хауэр Й.М. – 563

- Хиндемит П. – 90, 492
Хлебников В.В. – 486
Ходасевич В.Ф. – 32, 43, 67,
102, 108, 109, 148, 167, 190,
283, 378, 461, 462, 465, 475,
505, 529, 541, 548, 549, 626
Ходжа Э. – 590
Хома О.М. – 578
Хомяков А.С. – 33, 278, 320,
586, 604, 608
Хохгут (Хоххут) Р. – 302–305,
596
Хрущев Н.С. – 15, 16, 123, 231,
236–238, 279–282, 287–289,
293, 478, 512, 563, 565, 566,
587, 590–593
Хьюз Р. – 475
- Цвейг С. – 518
Цветаева М.И. – 109, 116, 215,
224, 374, 380, 381, 398, 430,
431, 445, 506, 510, 559, 562,
570, 623, 628, 648, 654
Цвибак Я.М. – см. *Седых А.
(Цвибак Я.М.)
Цетлин М.О. – 637
Цицерон Марк Туллий – 63,
507, 531
- Чаадаев П.Я. – 20, 27, 33
Чайковский П.И. – 192, 486, 588
Чаплин Ч.С. – 118, 167
Червинская Л.Д. – 498
Черниченко Л.Л. – 455
Чернов А. – 555
Чернов И.А. – 620
*Черный С. (Гликберг А.М.) –
378, 626
- Чернышевский Н.Г. – 20, 40,
69, 83, 164, 258, 302, 329,
378, 513, 596, 626
Чертков В.Г. – 605
Чехов А.П. – 20, 49, 53, 58, 83,
96, 115, 140, 160, 161, 165,
178, 179, 189–195, 205, 211,
213, 214, 232, 243, 245, 267,
295, 308, 310–313, 339, 374,
376, 416, 417, 423, 432, 467,
471, 485, 493, 524, 537–539,
549–553, 557, 558, 569, 582,
593, 599–601, 607, 610, 623,
624, 636, 642, 649
Чижевский Д.И. – 58, 472
Чиннов И.В. – 147, 480, 526,
528, 544, 602
Чириков Е.Н. – 194, 195, 552
Чудакова М.О. – 613, 614
Чуковская Л.К. – 622
*Чуковский К.И. (Корнейчу-
ков Н.В.) – 268–270, 403,
404, 542, 583, 618–620, 636,
637
Чулков Г.И. – 156, 535
Чурлянис (Чюрлёнис М.К.) –
262, 579, 580
- Шаламов В.Т. – 359–362, 616,
617
Шамфор Н. – 355, 615
Шарден Т. – см. Тейяр де Шар-
ден П.
Шатобриан Ф. Р. де – 258, 578
Шахматов А.А. – 392, 632
Шаховская З.А. (*Круазе Ж.) –
425, 426, 455, 646, 647
Шварц М. – 460
Шевцов И.М. – 588

- Шекспир У. – 40, 190, 198, 211, 242, 332, 371, 409, 461, 580
- Шеллер (*Михайлов) А.К. – 27, 453
- Шеллинг Ф.В.Й. – 130, 150, 173, 531, 543
- Шёнберг А. – 229, 563
- Шенгели Г.А. – 505
- Шершеневич В.Г. – 364, 619
- *Шестов Л. (Шварцман Л.И.) – 58, 96, 194, 202, 311, 329, 337–340, 471, 481, 493, 552, 556, 559, 599, 610, 636, 642
- Шиллер И.Ф. – 58, 468, 471, 515,
- Шипов Д.Н. – 299
- Шишкин А.Б. – 450, 546
- Шишмарева М.А. – 584
- Шкловский В.Б. – 84, 251, 485, 486, 542, 572, 573, 582, 583
- Шлёцер Б.Ф. – 400–403, 636
- Шляпкин И.А. – 393, 632
- Шмелев И.С. – 6, 102, 105, 154, 498, 499
- Шмеман А.Д. – 654
- Шолохов М.А. – 175, 182, 237, 245, 251, 289, 484, 546, 547, 566
- Шопен Ф. – 72, 631
- Шопенгауэр А. – 215, 559
- Шпенглер О. – 39, 460
- Шруба М. – 494
- Штейнер Р. – 363,
- Шуберт Ф. – 410, 631, 640
- Шуман Р. – 390, 630, 631
- Эвербек А. – 521
- Эвклид – см Евклид
- Эйнштейн А. – 125, 174, 245, 385, 417
- Эйхенбаум Б.М. – 267, 290, 542, 582, 633
- Эйхендорф Й. – 515
- Эккерман И.П. – 441, 651
- *Эллис (Кобылинский Л.Л.) – 467
- Элькан (Абельман) А.М. – 296, 297, 593, 594
- Энгельгардт Б.М. – 538
- Энгельс Ф. – 521
- Эренбург И.Г. – 81, 241, 287, 567, 568, 570, 592
- Эрлих А.И. – 186, 548
- Эртель А.И. – 83, 213, 485, 525
- Эстерлинг А. – 545
- Эсхил – 61, 392
- Ювенал, Децим Юний Ювенал – 117
- Югов А.К. – 484
- Юлий Агрикола (Гней Юлий Агрикола) – 591
- Юрьева (Микуловская) З.О. – 58
- Якубович П.Ф. – 536
- Яновский В.С. – 51, 110–113, 124, 464, 465, 471, 507, 512
- *Ярославский Е.М. (Губельман М.И.) – 169, 543
- *Щедрин Н. – см. Салтыков М.Е.
- Щерба Л.В. – 392, 632

Akhmatova A. – см. *Ахматова
 (Горенко) А.А.
 Alain – см. *Ален (Шартье
 Э.О.)
 Bastien-Thiry – см. Бастьен-
 Тири Ж.-М.
 Blok A. – см. Блок А.А.
 Bonneau S. – см. *Лаффит С.
 (Гликман-Тумаркина С.Г.)
 Buffon – см. Бюффон Ж.Л.Л.
 Burckhardt – см. Буркхардт Я.
 Byron – см. Байрон Дж.Н.Г.
 Camus A. – см. Камю А.
 Caratozzolo M. – 509
 Chateaubriand F.-R. – см. Шато-
 бриан Ф. Р. де
 Chevrel Y. – 475
 Claudel P. – см. Клодель П.
 Cocteau J. – см. Кокто Ж.
 Crankshaw – см. Кранкшоу Э.
 D'hulst L. – 475
 Don Aminado – см. *Дон Ами-
 надо (Шполянский А.П.)
 Dudintsev V. – см. Дудинцев
 В.Д.
 Essénine S. – см. Есенин С.А.
 Gide A. – см. Жид А.
 Grenier J. – см. Гренье Ж.
 Guerlac O. – 545
 Guignebert C. – см. Гиньебер
 Ш.
 Naumant E. – см. Оман Э.
 Nepner B.-P. – см. Гепнер Б.П.
 Hugo V. – см. Гюго В.
 Kahl A. – см. Каль А.Ф.

Kamkin V. – 456, 466, 621
 Laffitte S. – см. *Лаффит С.
 (Гликман-Тумаркина С.Г.)
 Lombez C. – 475
 Louis XIV – см. Людовик XIV
 Martin du Gard R. – см. Мартен
 дю Гар Р.
 Matzneff G. – см. Мацнев Г.Н.
 Maurus T. – 532
 Mazon A. – см. Мазон А.
 Oztoupe N. – см. Оцуп Н.А.
 Paulus J. – 584
 Pierre le Grand – см. Петр I
 Великий
 Renan E. – см. Ренан Э.
 Rozet J. – 584
 Saint-Simon – см. Сен-Симон
 А.
 Schloezer B. – см. Шлөцер Б.Ф.
 Swinburne A.C. – см. Суинберн
 А.Ч.
 Tiouttchev F.I. – см. Тютчев
 Ф.И.
 Tolstoi L. – см. Толстой Л.Н.
 Troyat A. – см. *Труайя А. (Та-
 расов Л.А.)
 Valéry P. – см. Валери П.
 Vandeput-Coipel S. – см. Ванде-
 пут-Койпель С.
 Voltaire – см. *Вольтер (Аруэ
 М.Ф.)
 Waegemans E. – 626
 Wilson E. – см. Уилсон Э.
 Wyrouboff W. – см. Вырубов
 В.В.

Содержание

текст / прим.

<i>Т.М. Климова.</i> «Надо печататься и во Франции...»: Георгий Адамович в парижской газете «Русская мысль»	5

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ («РУССКАЯ МЫСЛЬ»: 1955–1972)

Не ко двору: Достоевский в СССР	19 / 450
После войны	24 / 453
Розанов	33 / 455
Задача России.....	38 / 458
Против России	43 / 461
«Новый журнал» [№ 44]	48 / 463
«Новый журнал», книга 45-я	53 / 468
Древняя Россия	58 / 472
«Весть» — стихи поэта.....	63 / 474
«Не хлебом единым».....	68 / 476
Писатель для юношества	74 / 479
Записные книжки Фадеева	79 / 482

«Новый журнал». Кн. 47 и 48	84 / 486
Алданов — человек и писатель	90 / 492
«Современные записки». Воспоминания М.В. Вишняка	100 / 494
Судьба Иннокентия Анненского	105 / 499
Нео-нигилизм	110 / 507
Памяти Аминадо	116 / 509
«Новый журнал». Книги 49 и 50	119 / 511
Тютчев по-французски	126 / 514
Скиф в Европе	132 / 517
Памяти доктора Б.Н. Беляева (Б. Щербинского)	138 / 523
«Новый журнал». Книги 51—52	143 / 525
«Марьянка». Рассказы Леонида Зурова	151 / 531
«Встреча». Стихи Софии Прегель	155 / 534
Заметки о Тургеневе	159 / 536
Зощенко	165 / 540
«Чудотворная»	169 / 542
Памяти Николая Оцуа	174 / 544
Несколько слов о «Докторе Живаго»	175 / 544
Младое племя	183 / 547
Пьесы Чехова	189 / 548
По поводу Толстовского съезда в Венеции	195 / 553
По поводу одной из глав «Воскресения»	199 / 554
Восьмидесятилетие Бориса Константиновича Зайцева	204 / 557
«На врачебном посту в земстве»	206 / 557
Русская литература на Западе (по поводу книги Софи Лаффит)	210 / 558

Николай Оцуп	217 / 561
Анна Присманова (вступительное слово на собрании 16 декабря)	220 / 561
Пушкин.....	225 / 562
Литература и жизнь [Советская молодежь]	228 / 563
Литература и жизнь [«При свете дня» Э. Казакевича]	231 / 565
Литература и жизнь [150 лет со дня рождения Герцена]	233 / 565
Литература и жизнь [О культе личности Хрущева]	236 / 566
Литература и жизнь [«Мы — май» А. Вознесенского]	239 / 566
Литература и жизнь [«Власть тьмы» в постановке Малого театра]	241 / 568
Литература и жизнь [«Товарищ время и товарищ искусство» В. Турбина]	243 / 569
Литература и жизнь [«Литература для детей старшего возраста»]	246 / 570
Литература и жизнь [Дискуссия о Маяковском в журнале «Октябрь»]	249 / 571
«Встречи» Федора Степуна	252 / 573
Литература и жизнь [300 лет со дня смерти Паскаля].....	258 / 577
Литература и жизнь [Стихи Е. Евтушенко]	260 / 579
Стихи Л. Ганского.....	263 / 580
Литература и жизнь [«Война и мир» и 1812 год]	265 / 581
Литература и жизнь [«Живой как жизнь» К. Чуковского]	268 / 583
Литература и жизнь [Льежский процесс и Ватикан].....	271 / 584

Литература и жизнь [«О философской аргументации современного православия» Н. Гордиенко]	273 / 585
Литература и жизнь [«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына]	276 / 585
Литература и жизнь [Речь Ильичева в «Литературной газете»]	279 / 586
Литература и жизнь [«О культуре поведения молодого человека»]	281 / 588
Литература и жизнь [«Исторический опыт России» Н.И. Ульянова]	284 / 589
Литература и жизнь [Хрущев и конец «оттепели»]	287 / 590
Книга о Брюсове	289 / 591
Литература и жизнь [Отказ от «мирного существования» в идеологии]	292 / 592
Памяти ушедших: А.М. Элькан	296 / 593
Памяти В.В. Вырубова	297 / 594
Литература и жизнь [«Для пользы дела» А. Солженицына]	300 / 595
Литература и жизнь [«Наместник» Рольфа Хохуга]	302 / 596
Литература и жизнь [Жан Кокто]	305 / 597
Литература и жизнь [10 лет со дня смерти И.А. Бунина]	308 / 598
Литература и жизнь [Софи Лаффит о Чехове]	310 / 599
«Избранные стихи» Юрия Терапиано	313 / 601
Литература и жизнь [Лермонтовские дни в эмиграции]	315 / 602
Поклон былому	318 / 604
«Толстой» Анри Труайя	321 / 604
Литература и жизнь [Тейяр де Шарден]	330 / 608
Литература и жизнь [«Далекое» Б.К. Зайцева]	333 / 609

«Паруса». Стихи Юрия Терапиано	336 / 609
Литература и жизнь [Сто лет со дня рождения Льва Шестова]	337 / 610
Памяти Анны Ахматовой	340 / 610
Литература и жизнь [«Война и мир» Сергея Бондарчука].....	342 / 611
«Архимандрит».....	345 / 612
Литература и жизнь [«Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова]	348 / 613
Воспоминания [М.А. Алданов]	351 / 614
«Хранитель древностей»	356 / 615
Стихи автора «Колымских рассказов»	359 / 616
Воспоминания С.М. Алянского о Блоке. Сергей Городецкий	362 / 617
Облик и дух советской литературы	365 / 621
«Необыкновенные москвичи»	369 / 622
Памяти Аминадо [2]	372 / 623
Книга А. Бабореко о Бунине	375 / 623
За и против Маяковского	378 / 625
«Раковый корпус». Повесть А. Солженицына.....	381 / 629
Памяти Тургенева. К 150-летию со дня его рождения	387 / 630
Петербургский университет	390 / 630
Солженицын	394 / 633
Стихи Беллы Ахмадулиной	397 / 634
Роман Бориса Шлёцера	400 / 636
Памяти Корнея Чуковского	403 / 636
Православный язычник (О книге Габриэля Мацнева «Comme le feu mêlé d'aromates»)	404 / 637
Памяти ушедших. Р.Н. Гринберг	408 / 640

Пушкин	409 / 640
Солженицын — Нобелевский лауреат.....	412 / 641
Бунин — обличитель	414 / 642
Нобелевская премия	419 / 643
Памяти М.Л. Кантора	421 / 644
К 90-летию Б.К. Зайцева.....	423 / 645
Печальное имя Блока	425 / 646
«Август четырнадцатого». Роман Солженицына	427 / 647
Памяти Блока	430 / 648
Достоевский. 1821—1971.....	434 / 649
«Арабский дневник». На полях книги Гавриила Мацнева	437 / 651
Памяти Газданова	443 / 652
Вл. Варшавский. «Ожидание»	446 / 654
<i>Примечания</i>	449
<i>Именной указатель (Т.М. Климова)</i>	655

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ
Собрание сочинений в 18 томах
Том 11
Литература и жизнь
(«Русская мысль»: 1955–1972)

Редактор *Т.И. Шагова*
Художественный редактор *Е.В. Березина*
Технический редактор *Е.Ю. Тихомирова*

Подписано в печать 19.11.18.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная.
Гарнитура «Petersburg». Печать офсетная. Усл. печ. л. 36,12.
Тираж 500 экз. Заказ № 9962

ООО «Издательство «Дмитрий Сечин»
Ул. Ирины Левченко, 2. Москва, 123298, а/я 33.
Тел. +7 910 432-77-09
www.d-sechin.ru
E-mail: sechinbook@mail.ru

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59

**Издательство «Дмитрий Сечин» выпускает
научное комментированное Собрание
сочинений литературного критика, поэта
и эссеиста, вдохновителя «парижской ноты»**

**Георгия Викторовича Адамовича
(1892–1972).**

*Перспект Собрания сочинений
Г.В. Адамовича в 18 томах*

Т. 1. Стихи, проза, переводы

Стихи

- «Единство» (1967)
- «Облака» (1916)
- Из сборника «Чистилище» (1922)
- Из сборника «На Западе» (1939)
- Стихотворения, не включавшиеся в сборники

Проза

Переводы

Т. 2. Литературные беседы

Литературные беседы: «Звено» (1923–1928)

Т. 3–5. Литературные заметки

Литературные заметки: «Последние новости»
(1928–1939)

Т. 6. От Ахматовой до Кафки

Статьи и рецензии 1915–1971 гг.: «Современные записки», «Числа», «Встречи», «Русские записки», «Опыты», «Новый журнал», «Мосты», «Воздушные пути» и др.

Т. 7. На парижских экранах

«На парижских экранах»: О кино, театре и балете («Звено», «Последние новости», «Русские новости»)

Т. 8. L'autre patrie

«L'autre patrie» (1947)
Публицистика 1930–1940-х гг.

Т. 9. Литературные заметки

Литературные заметки: «Русские новости» (1945–1949)

Т. 10. Литературные размышления

Литературные размышления: «Новое русское слово» (1950–1972)

Т. 11. Литература и жизнь

Литература и жизнь: «Русская мысль» (1955–1972)

Т. 12. Одиночество и свобода

«Одиночество и свобода» (1955)

Литературные портреты

Т. 13. Василий Алексеевич Маклаков

«Василий Алексеевич Маклаков» (1959)

«Толстой. Речь на собрании в Париже 3 декабря 1960 года» (1960)

«Вклад русской эмиграции в мировую культуру» (1961)

Публицистика 1950–1960-х гг.

Т. 14. Комментарии

«Комментарии» (1967)

Эссеистика 1923–1971 гг.

Т. 15. Литературная хроника

«Отклики»

«Литературная неделя»

«Литература в СССР»

Т. 16–18. Письма

Письма

Тома-сателлиты к собранию

Библиография публикаций Г.В. Адамовича и о нем

Летопись жизни и творчества Г.В. Адамовича

Вышли из печати:

Том 1. «Стихи.Проза.Переводы» (2015)

Том 2. «Литературные беседы» (2015)

Том 11. «Литература и жизнь» (2018)

Том 14. «Комментарии. Эссеистика 1923–1971»
(2016)

Готовятся к печати:

Тома 3–5. «Литературные заметки»

